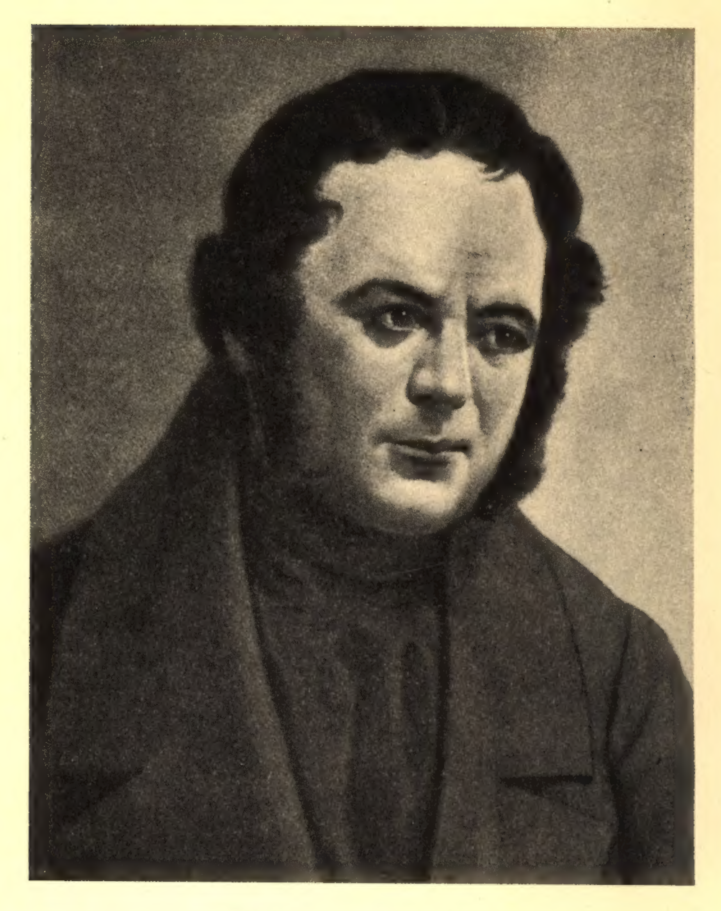
А. Виноградов
ТРИ
ЦВЕТА
ВРЕМЕНИ



АНРИ БЕЙЛЬ (СТЕНДАЛЬ)

Портрет работы Дедре-Дорси

АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ

ТРИ ЦВЕТА ВРЕМЕНИ

РОМАН В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ

Предисловие
А. М. ГОРЬКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Подготовка текста,
послесловие и примечания
Э. И. БАБАЯНА

Предисловие

Для того чтобы хорошо изобразить, художник должен прекрасно видеть и даже — предвидеть, не говоря о том, что он обязан много знать. Есть художники, которые обладают искусством изображать правду жизни гораздо совершеннее, чем это доступно историкам, заслужившим титул «великих». Это объясняется не только различием работы над книгами, документами и работой над живым материалом, над людьми; различием между тем, что совершалось в прошлом, более или менее далеком, и тем, что произошло вчера, происходит сегодня и неизбежно произойдет завтра.

Историк смотрит в даль прошлого с высоты достижений своей эпохи, он рассказывает о процессах законченных, рассказывает, как судья о преступлениях или как защитник преступников; он сочувственно вздыхает о «добром старом времени» безнаказанных насилий или окрашивает некоторые события прошлого особенно мрачной краской, для того чтобы тяжкий сумрак его эпохи казался светлей. «Объективизм» историка — такая же легенда, как справедливость бога, о котором Стендаль очень хорошо сказал: «Извинить бога может только то, что он — не существует».

Как везде, здесь тоже встречаются исключения. Гиббон смотрел на «историю упадка и разрушения Римской империи» сквозь туман пятнадцати веков глазами человека XVIII столетия, но он изобразил рост христианства,

его разрушительную работу и политическую победу так ярко, как будто он сам лично был свидетелем процесса, который утвердил физическое рабство рабством духовным, заменив языческую свободу критикующей мысли бешеным фанатизмом церковников и монахов. Но Гиббон был чудовищно талантлив и обладал качеством художника, редкой способностью оживлять прошлое, воскрешать мертвых. Вообще же об историке очень верно сказал Гизо, сам прославленный историк: «Даже не желая обманывать других, он начинает с того, что обманывает себя; чтоб доказать то, что он считает истиной, он впадает в неточности, которые кажутся ему незначительными, а его страсти заглушают его сомнения». Советский читатель, конечно, понимает, что эти слова говорят о давлении класса на «свободу» и правду мысли историка.

Художник прежде всего — человек своей эпохи, непосредственный зритель или активный участник ее трагедий и драм. Он может быть объективен, если он в достаточной мере свободен от гипноза предрассудков и предубеждений своего класса, если у него честные глаза, если он сам — частица концентрированной энергии эпохи, — творческой энергии, устремленной к цели, которая твердо поставлена историей роста правосознания трудового народа. Работа литератора отличается не только силою непосредственного наблюдения и опыта, но еще и тем, что живой материал, над которым он работает, обладает способностью сопротивления произволу классовых симпатий и антипатий литератора. Именно этой силой сопротивления живого материала личному произволу художника можно объяснить такие факты, что в среде буржуазного общества все чаще литераторы являются беспристрастными историками быта своего класса, беспощадно изображают его пороки, его пошлость, жадность, жестокость, законный процесс его «упадка и разрушения». Славословия европейских авторов устойчивости мещанской жизни постепенно сменяются панихидами.

Стендаль был первым литератором, который почти на другой день после победы буржуазии начал проницательно и ярко изображать признаки неизбежности внутреннего социального разложения буржуазии и ее туповатую близорукость. Историки французской литературы поставили его в ряд «классиков», но это было сделано

с оговорками. Едва ли можно сказать, что французы гордятся Стендалем.

Причины холодного отношения французской критики к этому оригинальнейшему художнику и некоторым другим совершенно правильно отмечены автором этой книги А. К. Виноградовым в одном из его полноценных предисловий к переводам французских книг. На А. К. Виноградове лежит социальная обязанность развить его домыслы о причинах несправедливых и неверных оценок французской критикой подлинного социально-политического значения работы некоторых литераторов Франции. Эти домыслы крайне важны и поучительны для наших читателей, так же как и для молодых авторов.

Стендаль является очень ярким примером искажения критикой лица автора. Профессор Лансон в своей «Истории французской литературы» говорит о нем: «Его личные приключения вовсе не интересны».

Это сказано о человеке, который участвовал в походе интернациональной армии Наполеона на Москву и пережил трагедию отступления, гибель этой армии, о человеке, который жил в близкой связи с главнейшими вождями национально-революционного движения итальянских карбонариев, был приговорен австрийским правительством к смертной казни, почти всю жизнь прожил под надзором полиции, — что тоже весьма интересно.

Не помню, кто, кажется — Фагэ, отметил, что в трагические дни отступления и вымерзания армии, в дни полного развала дисциплины Стендаль ежедневно являлся на службу чисто выбритым, в полной военной форме, «спокойный, не теряя своей страсти к анализу событий и точно не веря в поражение Наполеона».

Это — черта человека сильного духом и настроенного исторически, человека, который, хотя и восхищался энергией Наполеона, однако понимал, что если расчет завоевателя Европы на восстание русских крепостных рабов не оправдался, так это еще не значит, что история остановилась.

Лансон сказал: «Литературная деятельность Стендаля возникла из его любви к жизни активной и руководилась этой любовью». «Больше всего Стендаль любил энергию», — правильность этой догадки подтверждается всей беспокойной жизнью Стендаля. Истинной и единственной героиней книг Стендаля была именно воля к жизни, и он

первый стал писать романы, в которых не чувствуется тенденциозного насилия автора над его героями, над действительностью. Силою своего таланта он возвел весьма обыденное уголовное преступление на степень историко-философского исследования общественного строя буржуазии в начале XIX века. Он первый заметил в среде буржуазии и монументально изобразил Жюльена Сореля, молодого человека двадцати трех лет, «крестьянина, возмутившегося против его низкого положения в обществе» мещан, которые разбогатели, и дворянства, которое, обеднев за годы революции, омещанивалось.

Жюльен Сорель жил среди людей, которые «никогда не просыпаются утром с мучительной мыслью: «Где я сегодня пообедаю?»

Слова, взятые в кавычки, сказаны самим Сорелем на суде его класса. Но этими словами он, как бы против воли автора, принизил свое будущее значение и значение своей драмы, которая не кончилась со смертью его, а продолжалась в течение ста лет и все еще разыгрывается молодежью Европы.

Жюльену Сорелю буржуазное общество отрубило голову, но этот молодой, честолюбивый человек воскрес под другими именами в ряде книг крупнейших авторов Европы и России: в романах Бульвера-Литтона и Альфреда Мюссе, Бальзака и Лермонтова, Сенкевича, Поля Бурже и других. В эскизных, но верных рисунках он ожил даже у таких наших недооцененных авторов, как Слепцов, Помяловский, Кущевский.

Жюльен Сорель Стендаля — родоначальник всех «героев», которые начинали жить, веруя, что высокое интеллектуальное развитие совершенно обеспечивает им соответственно высокую и независимую социальную позицию, обеспечивает свободу мысли и воли. Общая всем им черта: у них огромное честолюбие, но они живут «без догмата», — без того социального догмата, который гармонизирует разум и волю. Буржуазное общество при всем обилии «догматов», выработанных им, тоже лишено этого главного, который очеловечивает зоологические инстинкты, поскольку возможно очеловечить их в анархических условиях капиталистического строя.

В романе «Красное и черное» Стендаль изобразил драму противоречий между личностью и обществом, — драму, по поводу которой так много и так бесплодно фи-

лософствовали у нас в 1870—80 годах и которую мещанское общество изживет лишь тогда, когда оно окончательно погибнет.

Политическое творчество мелкой буржуазии, именуемое фашизмом, усиливая количество этих драм, создает их тысячи в формах еще более грубых, и не нужно быть пророком, чтобы уверенно сказать: это ускорит гибель мещанства.

Проницательность ума и сила воображения Стендаля позволили ему прекрасно видеть лицемерие, лживость мещанства, непримиримость противоречий мещанского строя. А. К. Виноградов совершенно прав, указывая, что «буржуазная критика закрывала глаза на опасные выводы Стендаля. Он был чужим человеком в литературе его эпохи и, понимая это, шутливо, но почти безошибочно сказал: *«Меня будут читать в 1935 году»*. Читать и понимать его стали раньше, но литераторы учились на его книгах всегда и еще долго будут учиться.

И, кажется, еще долго будут судить о нем, исходя из оценок французской критики, как это случилось с талантливым Стефаном Цвейгом, который причислил Стендаля к «певцам своей жизни», не заметив в нем поэта и апологета творческой энергии.

Молодым нашим литераторам особенно полезно учиться у человека, который умел из обычного факта уголовной хроники развернуть широкую, яркую картину своей эпохи. Наши молодые писатели весьма часто компрометируют темы глубокого социального значения, приступая к работе над ними без достаточно внимательного изучения материалов вчерашнего дня и при очень поверхностном знании действительности сего, быстротекущего дня.

Несколько слов о «стиле» Стендаля. Лансон, как многие, говорил: «Форма сочинений Стендаля не представляет ничего особенного; в ней нет никакого искусства; она является лишь аналитическим выражением его идей». Бальзак тоже был невысокого мнения об изобразительном искусстве Стендаля. Видимо, подчиняясь мнению французов, и Цвейг утверждает, что Стендаль писал, «не заботясь о стиле, о цельности, рельефности до такой степени, словно бы это — частное письмо к приятелю». Если допустимо сравнение сочинений Стендаля с письмами, то было бы правильнее назвать его произведения письмами в будущее.

Против всех отрицательных оценок словесного искусства Стендаля стоит одна — ее дал Густав Флобер в письме к другу своему Альфреду ле Пуатвену:

«Вчера вечером я прочел в постели первый том «Красного и черного» Стендаля. Эта вещь отличается изысканным умом и большой тонкостью. Стиль — французский; но разве это про́сто стиль? Это подлинно стиль! Тот старый стиль, которым теперь не владеют вовсе».

Эта оценка величайшего мастера стиля перекрывает все оценки критиков, которые, между прочим, упрекали Стендаля и в том, что он будто бы писал торопливо, потому что «не хотел давать времени художнику стилизировать, приукрашать действительность». Но действительность требует и достойна «приукрашивания» только тогда, когда она — неуклонное продолжение борьбы ее главного героя, человека, массы, за свободу от физического и морального плена, а не тогда, когда она — «творимая легенда» и прямо или косвенно оправдывает рабство человека.

Предлагаемая книга показывает Стендаля таким, каков он был и каким его не видели до сей поры.

М. ГОРЬКИЙ

От автора

В 1933 году исполнилось полтораста лет со дня рождения Анри Бейля. В 1942 году исполнилось сто лет со дня смерти Стендаля. Обе эти даты никак и нигде серьезно не отмечены рассеянной критикой. Но событие более значительное отметило память писателя: за четверть века в СССР книги этого писателя вышли в количестве, превышающем тиражи за сто лет во всей мировой печати более чем вдвое. Стендаль «советский» признанный автор. Никогда никому из писателей не приходилось испытывать такую странную и прихотливую судьбу, как Стендалю. Сто лет со дня выхода его больших романов были веком постарения критического ума буржуазии и веком возвращения юности нашего автора. Это закономерное явление отмечается как «прихоть» теми французами, которые во что бы то ни стало хотели разорвать на куски цельный образ Стендаля, человека и писателя, и на каждом куске запечатлеть имя лжетолкователя.

Настоящая книга является опытом воссоздания цельного образа не из разорванных частей, оставленных критиками разных десятилетий и, между прочим, теми «литературоведами» формалистической группировки, которые плетутся в хвосте французских комментаторов, пересаживая просто политически выхолощенные «лжекомментарии» Ed. Pleiade [1] в русские издания. Автор этой книги имеет

[1] Изд(ательство) «Плеяда» *(франц.)*.

смелость опираться на новые, собственные, вполне удавшиеся архивные искания, позволяющие ему не быть «авторитетом» по типу простого перевода чужих мыслей из французских изданий. Прокурорский крик мещанского критика Эмиля Фагэ требует общественного суда над Стендалем, как человеком опасным в наши дни. «Стендаль интересуется только низшими классами!», «Стендаль безрелигиозен и активно атеистичен!», «Стендаль несет старинный материалистический яд!» Одним словом, «судьба сыграла с ним плохую шутку, пересадив писателя в *чужую* эпоху».

Мы без страха принимаем наследника французского материализма и атеизма в *нашу* эпоху. «Стендаль является очень ярким примером искажения критикой лица автора». «Едва ли можно сказать, что французы гордятся Стендалем», — пишет М. Горький. До последних дней острое любопытство волнует французов, читающих Стендаля, и бессильные попытки разгадок автора свидетельствуют о его неумирании.

Но делается все, чтобы исказить Стендаля вольно и невольно. Конечно, заменяя классовое бессилие героя «Арманс» виконта Маливера его специфически мужским бессилием, комментатор 1928 года намеренно искажает социальный анализ, даваемый Стендалем, доказывая больше всего бессилие собственной кастрированной критики. Конечно, превращая Стендаля в эстета и сноба в книге «Стендаль — кавалерист», граф Комменж в 1930 году невольно останавливается на тех чертах биографии Бейля, которые было по силам усвоить аматерскому мозгу г-на Комменж. Конечно, те, кто ради своеобразной объективности требовал, чтобы я «снизил образ Стендаля, ибо в нем были черты подлости и приспособленчества», доказывают правильность поговорки: «У кого что болит, тот о том и говорит». Я счастлив сказать, выпуская пятое издание этой книги, что горячее отношение к ней основано на той же прекрасной эмоции будущего, которая вдохновляла нашу молодежь и которая делает Стендаля более близким нашей стране, чем странам капитализма. Стендаль лучше всего сам выразил это чувство будущего: *«Золотой век, которому до сих пор слепое предание отводило место в прошлом, — впереди нас!»*

Безусловной новостью по материалу этой книги являются связанные единством объекта выписки из огромного тургеневского архива. Эти материалы неизвестны не только на родине Стендаля, но и в России не были напечатаны. Способ введения их в изложение можно оспаривать, но самый факт их публикации дает новое освещение русских связей писателя.

ПРОЛОГ

Глава первая

Едва сентябрьское солнце озарило утренними прозрачными лучами вершины рябин с красными кистями, как воздух прорезали звуки военного рожка. Заиграл хор трубачей, и старинная русская усадьба, дремавшая в утреннем тумане, ожила и заволновалась. Эскадроны французской гвардейской конницы наскоро строились в колонну и вдогонку Великой армии выступили по узкой дороге по трое рядами. Голова колонны уже спускалась по косогору, мимо пруда, минуя село, тихое и безлюдное, без единого дымка, и вошла, скользнув вереницею, в промежуток между высокими каменистыми грядками и холмами, поросшими молодым дубом, держа путь на Можайскую дорогу. Прошло десять минут. Колонна, извиваясь, как змея, растянулась уже на целый километр, когда между каменными столбами полуразрушенной дворянской усадьбы, в большом разрыве между хвостом ранее выступившей и головой новой колонны, показался всадник на белой лошади, щуривший глаза и морщивший лоб, осматривая дорогу навстречу солнцу. За ним в расстоянии ста шагов ехала большая группа пестро одетых людей, не державших кавалерийского строя. Это был Бонапарт, и за ним генералитет Великой армии. Сильно простуженный полководец, усталый и не выспавшийся после Бородина, в этот день чувствовал себя бодро. Генералы ликовали. Был последний переход на Москву.

Безмолвие выжженных сел сменилось странным молчанием опустевших, но не тронутых огнем деревень. Уже не было слышно птиц, не было видно дымков. Безлюдье усиливало тягость молчаливого умирания русской осени. Перешли границы Можайского уезда. Дозорные то и дело подъезжали с донесениями. Принимались меры предосторожности. Лошадей переводили на мягкий грунт, запретили песни и громкие разговоры. Горнистам приказали убрать трубы. Блестящие предметы — накрыть. Но русские ушли без боя. Нигде не было ни следа. Растаяла армия старого Кутузова.

Рвы и холмы делали движение беспокойным. На самом высоком холме обнаружены были траншеи. Гусары, шедшие небольшими разъездами за милю вперед и по трое на таком же расстоянии по бокам колонны, влезали на деревья, чтобы дальше видеть, спешиваясь и отдавая коней. Но нигде никакого признака русской армии.

К полудню беспокойство сменилось торжеством. Солнце, игравшее на касках, на штандартах и золотых орлах, это изменчивое и бледное русское солнце, вдруг заиграло необычайным огнем, словно ликуя вместе с корсиканским сердцем одинокого всадника, праздновавшего конец тяжелого похода. Голоса раздавались увереннее, глаза смотрели бодрее, начались шутки и перекличка офицеров. Холм становился все выше и выше. Все чаще и чаще одна колонна догоняла другую.

Было два часа пополудни, когда в молчаливом изумлении французские отряды остановились на вершине, за которой открылась картина «сердца Азии». Сверкая золотом и пестротою красок, перед глазами французов расстилался этот город Великого Могола. Маршалы, блестящими глазами смотря на Москву, оглашали воздух восклицаниями и пышными сравнениями. Говорили: «Северные Фивы», «Сказочная Индия», «Пальмира Востока перед новым Александром».

В свите маршала Дарю только один человек не разделял риторического восхищения. Это был двадцатидевятилетний военный комиссар — Анри Бейль, двоюродный брат маршала.

Всадники сгрудились. Офицеры смешались с рядовыми, военные комиссары оказались в гораздо большей близости к маршалу, нежели то полагается по чину, но никто не обратил внимания на беспорядок. Были забыты

опасности и пережитые страдания. Перестали мучить загадки странного похода и необъяснимые случайности азиатской страны. Пьер Дарю, словно продолжая говорить давно начатую речь, со спокойной важностью бросал закругленные фразы, в которых отчетливая мысль наполеоновского администратора сочеталась с изяществом речи лучшего переводчика Горация. Дарю со сдержанным восхищением говорил:

— Этот день для всех станет блестящим историческим воспоминанием. Начинается новая эпоха. Каждый француз, возвращающийся из русского похода, пойдет по пути славы. Взоры удивленной Европы до конца дней будут провожать восхищением и славой каждый наш шаг. Какой счастливый удел!..

Серые глаза старого маршала рассеянно мелькали по лицам, отвечавшим почтительной улыбкой. Взгляд Дарю встретился с глазами Бейля: никакого восторга; холодно и спокойно молодой комиссар смотрел на гребень холма, где черные султаны и блестящие каски развевались и сверкали вокруг маленького человека на белой лошади.

— Кузен!..

«Кузен»... Это слово прозвучало для Бейля несколько необычно. Со времени последней встречи в семье Дарю, в круглом зале Башвильского замка, не раздавалось это родственное обращение. Итальянские походы, прерываемые такими житейскими провалами, как служба приказчиком в Марселе ради маленькой актрисы, — все это делало Бейля в глазах Пьера Дарю «ненадежным человеком». Для всех других Анри Бейль был счастливцем, вице-директором коронных имуществ, из якобинца ставшим беспечным чиновником Бонапарта, ежедневно выезжавшим из Парижа в Сен-Клу на паре собственных темногнедых рысаков. Дарю знал цену этой карьеры. Дарю смотрел на Бейля глазами разочарованного педагога, глазами умного покровителя плохой креатуры.

В пятницу 14 августа, когда Бейль догнал Великую армию, везя в маленькой венской коляске зеленый сафьяновый портфель с донесениями парижских министров, он сделал первый свой визит Пьеру Дарю. За околицей Красного гремели пушки. Семитысячный отряд русских мяли и крошили артиллерия Нея и конница Мюрата. Дарю пил кофе в деревенском доме с таким видом, как будто он слушает ресторанный оркестр. Бейль, еще

недавно имевший аудиенцию у императрицы, говоривший с фрейлиной Монтескью, показывавшей ему, как курьеру с императорским портфелем, новорожденного сына Бонапарта, римского короля в пеленках, этот самый Бейль осмелился на нечаянную дерзость — по старой памяти обратился к Пьеру Дарю со словами:

— Кузен, я могу передать вам...

И вдруг холодные глаза маршала оборвали его речь:

— Никаких кузенов: на поле битвы я — маршал!

Ни Смоленск, ни Витебск, ни Вязьма не могли поправить этого впечатления. Пьер Дарю в хорошие минуты улыбался, но Бейль оставался холоден. Одно слово Дарю могло кончить военную карьеру Бейля. Бейль это знал, и тем не менее злая память была сильнее личных опасений. Еще тогда, под Красным, маршал пытался, дослушав рапорт Бейля, легкой остротой смягчить свою резкость.

— Красное, — сказал он, — по-французски это обозначение революционного цвета, но я сказал императору, что если мы продолжим агитацию среди крестьян против помещиков, то нам предстоят черные дни.

— Я уверен, — ответил Бейль, — если мы не уничтожим рабства в этой стране, то черные дни настигнут нас и во Франции.

Маршал нахмурился. Примирение не удалось.

И вдруг теперь, на Поклонной горе, не довольствуясь восторженным отзвуком своей свиты на слова о конце похода, Дарю решил по-родственному обратиться к Бейлю.

— Кузен, Опера и Французская комедия с нами. Не позже как завтра в Кремлевском замке будет парадный концерт, а послезавтра в Азии впервые зазвучат бессмертные голоса Французского театра.

Бейль поклонился молча и ничего не ответил, главным образом потому, что улыбка сбежала с лица маршала. Рядом с Бейлем стоял только что приехавший в армию Декардон — юноша с лицом Адониса, с пышными кудрями.

Снявши каску, спешившись и держа повод вместе с каской в левой руке, Декардон улыбался счастливой, беспечной улыбкой. Маршал не мог простить ему парижской шутки. Эдмон Декардон, живший, так же как и Дарю, на улице Делилль и постоянно бывший гостем молодого Марциала Дарю, такого же, как он, повесы, имел дерзость, переодевшись в женское платье, прицепиться к Пьеру

Дарю с наглостью уличной женщины и преследовать его легкомысленными речами до самого подъезда, невзирая на удивленные взгляды портье и лакея. Участник этого предприятия, Анри Бейль, был свидетелем того, как маршал Дарю с негодованием кричал, что лучшая из улиц Парижа сделалась достоянием шлюх, осаждающих прохожих. Но увы... проделка была раскрыта, и с того дня Дарю приходил в молчаливую ярость при виде Декардона. Прошло много лет. Дарю забыл об этом происшествии, но присутствие Декардона продолжало его беспокоить.

Сейчас, на Поклонной горе «в такой исторический, в такой неизмеримо важный момент, когда Восточная Европа побежденной львицей ложилась у ног французского императора», лукавые глаза Декардона казались Дарю оскорблением. Родственные чувства к Бейлю мгновенно заглохли.

На гребне холма началось оживление. С холма на холм, из отряда в отряд бежали слова о том, что перед императором появился русский офицер. Значит, будет сейчас же установлен порядок сдачи великого города.

Усатый гренадер подъехал к маршалу Дарю. Император его требовал.

Желтое лицо Бонапарта было злобно. Между бровями появилась морщина. Офицеры и маршалы, стоявшие в отдалении, видели только гневные жесты, настолько широкие, что шевелился плюмаж на шляпе Дарю. Через четверть часа маршал повторял:

— Император гневен. Сейчас был адъютант Милорадовича и потребовал, чтобы дали полную возможность уйти последним казакам из города. Знаете, побежденные ставят ультиматум: «Или разрешите уйти из Москвы, или мы сожжем Москву». Император согласился на все и приказал «привести бояр, которые обязаны знать порядок сдачи городов»... Этот наглый офицер говорит, что Москва пуста, — добавил маршал. — Что за вздор! Какие лгуны эти славяне!

Затем, обратившись к военным комиссарам, он, как тонкий дипломат, решил сгладить впечатление неловкости:

— Легко сказать «привести бояр»! Не хватает, чтобы в Австралии раздавались этакие слова команды. Однако, друзья, успокойтесь. Неаполитанский король уже вошел

на фобурги Москвы. Он пишет мне письмо. Его со всех сторон с криками восхищения окружили бородатые номады, спутники сказочного Немврода, конные мужики, которых зовут казаками. Это дикое племя провозгласило его своим хетьманом, — древние полководцы Запорожской Сечи. Если император сейчас опрашивает храбрейших и при возгласах целого полка награждает солдат, то казаки делали это только в XVII веке. Московские цари отняли у них свободу. Друзья, Мюрат сейчас герцог казаков, но (Дарю развел руками), провозгласив его хетьманом, эти дикие люди с хохотом ускакали по улицам Москвы. Поэтому, хотя нет оснований ожидать сражений, все-таки будьте готовы ко всяким засадам и козням.

Была середина сентября, а ночь наступила теплая. Небо было прозрачно и сине. Луна серебрила лежавшую перед французскими отрядами Москву. Бейль не спал. Он смотрел, как метеориты и астероиды чертят осеннее небо, как звезды улетают в пространство. Широкоплечий и высокий его спутник Бюш говорил:

— Я суеверен. Когда падают звезды в этих равнинах, я боюсь заката наполеоновской звезды.

— Звезды падают не в равнинах, а в астрономических пространствах, — ответил Бейль. — Твое сравнение красиво, и, право же, тебе нужно было бы писать стихи. Скорость падения астероидов давно вычислена; в августе и сентябре наша планета проходит в пространствах, где падающих звезд мелькает столько, что героического населения земного шара не хватило бы для ликвидации жизни и карьеры. В такую ночь, как сегодня, следуя твоим воззрениям, должны погибнуть все герои мира. Вряд ли на земле их столько, сколько выпало звезд сегодня. Меня гораздо больше волнует вопрос о том, что ожидает нас после Москвы. Завтра вступаем в город. Три месяца тому назад я читал книгу о России. Московскому дистрикту свойственны сто морозных и солнечных дней зимой. Как мы их перенесем? Император недавно прочел маршалам целую лекцию по географии. Он говорил об ужасах здешнего климата и предупреждал о необходимости быстро кончить поход. В ночь на девятое число помнишь этот ужасный ледяной холод после полуночи? С того дня у Наполеона непрекращающийся озноб.

— Тогда нужно говорить не о географии, а о медицине, — проворчал Бюш. — Пока не наступила полночь, я пойду спать.

Громко зевая, Бюш удалился в палатку.

Бейль разбудил ординарца Франсуа, дремавшего в коляске после усталости дневного перехода и таскания тяжелых баулов. Заспанный Франсуа, стряхивая сон, вскинул правую руку и вытянулся, отдавая честь.

Бейль просил, спокойно и словно конфузясь, оттого что разбудил Франсуа, принести походные шандалы, кожаный сундучок вместо письменного стола и, сев на деревянный обрубок в палатке, расположился писать письма во Францию.

Тишина и безмолвие города поразили Бейля. Когда-то Жакмон, один из его друзей, рассказал ему об индийских и кашмирских городах, в которых население погибло от чумы. Роскошные дворцы и улицы, мощенные самоцветами, остались пустынными и безмолвными почти на целое столетие. Скелеты с копьями в руках кое-где у входа в жилище раджи оставались единственными следами пребывания людей.

В Москве было полное безлюдье. Закрытые ставни, забитые наглухо двери, спокойное солнце, освещавшее немощеные улицы с порыжелой травой у тротуара, встретили французов. Щемящее чувство и досада от несбывшихся ожиданий давили на сердце всех — и солдат, и генералов, и больного Бонапарта. Оказаться хозяевами пустынного города и сожженной страны — это не входило в расчеты Бонапарта. Но понемногу досада унималась. Опять возникла волна горделивого чувства, когда лязгание пушечных цепей и колес по кремлевской мостовой прекратилось и когда штандарт с золотыми пчелами, пьяный от утреннего ветра, словно язык пламени, забросал над Кремлевским дворцом великолепную игру своих переливов.

Было семь часов утра, когда старый корсиканский гвардеец поднял над шпилем самой высокой кровли московских царей этот знак пребывания императора. Бонапарт, взяв подзорную трубу, наблюдал с колокольни святого Иоанна то место, на котором еще вчера, неуверенный и ожидающий, он впервые смотрел на Москву. Иван Великий — эти слова понравились ему. Он подозвал инженера Пуатье и приказал тут же поставить на

колокольне семафорные аппараты Шаппа и дать гелиограмму в Париж по первой императорской литере, то есть вне всяких очередей. И так как эта гордость Конвента — первый телеграф Европы, изобретенный Революцией вместе с метрической системой мер и новым календарем — был любимым детищем Наполеона, и так как Пуатье, безумно любя Бонапарта, всегда умел опередить его желания, то менее нежели четверть часа прошло до той минуты, когда зеркала и цветные прожекторы заговорили с отдаленным французским постом на западной коммуникационной линии. Ликующая световая депеша летела в Париж.

Это подняло настроение Наполеона. Судороги в руках прошли. Он мог писать и воспользовался этим для двух писем: первое письмо — Марии Луизе, с вопросом о здоровье римского короля, второе — в Петербург, царю, с предложением заключить мир. Первое письмо не отняло у него много времени. Второе прерывалось неоднократно, так как внезапно кружилась голова, озноб и чувство мучительного недуга доводили Бонапарта почти до беспамятства. Он с усилием подогревал себя самовнушением, он шепотом говорил самому себе слова восхищения, он сам произносил себе хвалу за жест великодушный и прекрасный, ибо предложить мир побежденному противнику — что может быть более великодушным? После письма начался обычный деловой день. Был на приеме Дарю, принятый холодно: ему не удалось «привести бояр». Дарю был свидетелем того, как император гневно посмотрел на толпу нищих, пригнанных ему из ближайшей деревни каким-то услужливым офицером. Император громко и неприлично выругался. После Дарю пришел Иоахим Мюрат, неаполитанский король. Его конница попрежнему объезжала Москву, не находя никаких следов населения. Пустынные дворцы и рядом жалкие лачуги, молчащие улицы — и лишь кое-где жалобный вой голодных собак.

— Что это — самоуничтожение? — закричал Бонапарт. Мюрат вздрогнул и ничего не ответил. Между свояками воцарилось молчание. Прошла минута. Мюрат вскинул глазами. Бонапарт отвернулся. Потом Бонапарт вскинул глазами. Мюрат показал спину. Взбешенный Бонапарт выругался так, как ругаются торговки в Аяччо или пьяные контрабандисты Сартены. Дышать стало легче. Между ними начался старинный разговор по-

итальянски, без титулов, просто на «ты». Мюрат качал головой и сердился. Бонапарт имел вид измученного, больного ребенка. В первый раз Мюрат услышал от него странные слова:

— Жаль, что нет моего младшего брата Люсьена. Он обладает даром Сибиллы, а ты сейчас сможешь только пророчить несчастье.

— Ты сам изгнал из Франции Люсьена. Люсьен — республиканец, он — якобинец. Уезжая, он прямо говорил: «Как не похож Наполеон Первый на египетского героя Бонапарта». Воображаю, что сказал бы он тебе в Москве!

В московской медицинской школе, во втором этаже, куда вела мраморная лестница, расположились генералы и офицеры главного интенданта Великой армии — Матье Дюма. На перемычке стеклянной двери, в одной из комнат, была повешена забавная ироническая надпись: «Ici demeurent M-eurs Troibès»[1]. Раздались шаги. Из комнаты вышел гладко выбритый и чисто одетый молодой человек. Это был Анри Бейль. Увидев надпись, постучал опять в комнату и сказал, обращаясь к Бюшу:

— Это, очевидно, шутки Декардона.

— В самом деле, три «Б», — сказал Бюш, — в одной комнате — Бейль, Бергонье и Бюш.

Был обеденный час. Армия отдыхала за Москвою по деревням. Гвардия обедала в Кремле. Артиллерия дивизионного генерала Гриуа фуражировала в Серебряном бору, растаскивая копны крестьянского сена.

«Трое Бэ» обедали также. Был ленивый, томительный день, но был сытный, хороший обед с хорошим вином, которое генерал Дюма роздал своим комиссарам. После вина, под впечатлением усталости последних больших переездов, все за столом вдруг почувствовали омертвение в членах и, не смогши преодолеть дремоты, заснули с вилками в руках. Когда проснулись — не знали, сколько времени. Багровый закат предвещал ветреную погоду. Окна домов, выходивших на площадь, отражали золото и пурпур осеннего заката. Проснувшиеся будили спящих. Позванивая шпорами, медленными шагами из угла в угол ходили генерал Жерар, граф Дарю, генерал Дюма, лейтенант Жуанвиль. За круглым столом, в углу комнаты,

---

[1] Здесь живут г(оспо)да Трибе (три «Б») *(франц.)*.

сидели незнакомые офицеры. Дарю смеялся жестким и трескучим смехом. Он рассказывал:

— Неаполитанский король, бывший гражданин Мюрат, с разбегу проделав девятьсот миль до Москвы и выдержав шестьдесят битв, не может во-время остановиться, а между тем уменье во-время отдохнуть, сняв сапоги и легши под одеяло, — это, пожалуй, такая же умная вещь, как и уменье двое суток пробыть в седле. Бархатный плащ, расшитый золотом, желтые сапоги, пунцовые панталоны; на громадных черных кольцах волос — ошеломляющего вида шляпа с перьями и эгретками, — все это мелькает по улицам Москвы. Не могу привыкнуть к удивительному облачению неаполитанского короля. Вчера он ринулся вслед за русскими, нынче он едва не погиб. В переулке, верхом во главе колонны, он был застигнут толпою сумасшедших русских: двадцать полуголых мужчин и женщин бросились на него с вилами и кольями, но он в совершенстве изучил московские ругательства, и только это его спасло.

Дарю засмеялся опять мелким, дробным, сухим смешком. Бейль встал и обратился к генералу Дюма с просьбой разрешить ему посылку писем во Францию в пакетах Главного интендантства под печатями Дюма. Генерал дал согласие кивком головы и сказал, обращаясь одновременно к Пьеру Дарю и Бейлю:

— Надо завтра устроить хороший ужин.

Дарю остановился, резко повернулся на каблуках и спросил:

— Почему завтра? Почему ужин?

Дюма лукаво усмехнулся.

— Потому что к этому представятся бо́льшие возможности, чем сегодня.

— Как будто у интенданта когда-нибудь иссякают эти возможности! Я начинаю бояться за армию.

— Ну, когда у меня такие комиссары, как господин Бейль, за снабжение бояться не нужно, — ответил Дюма, жестом указывая на Бейля. — Кстати, император прислал мне короткую записку с требованием платить наличными и всячески поощрять крестьян, привозящих в Москву продукты. Желал бы я видеть этих крестьян!

Дверь отворилась и от поспешного движения влетевшего в нее офицера громко ударилась скобкой о стену.

— Я должен видеть генерала Дюма, — сказал вошедший.

— Что вы хотите, лейтенант? — спросил Дюма.

Красный, взволнованный офицер произнес:

— Генерал, единственный продовольственный склад на базаре загорелся по неизвестным причинам. Я просил генерала Кригенера дать батальон для тушения пожара. Генерал отказал, заявив, что немецкие войска пришли с Наполеоном вовсе не для того, чтобы нести пожарную службу. Как прикажете поступить?

— Дурак! — закричал Дюма. — Простите, лейтенант, это не к вам. Проклятый немец!

Дюма заскрипел зубами. Делал он это мастерски.

Казалось, тысячи крыс вгрызаются в дверь.

— Бейль, вам придется распорядиться.

Дарю написал несколько строк. Бейль вышел с офицером. Через полчаса он был на Красной площади перед Покровским собором и вручил дежурному офицеру приказ Дарю о посылке в распоряжение военного комиссара Бейля двух эскадронов спешенных драгун.

Лошади занимали весь нижний этаж церкви Василия Блаженного. В верхней церкви и приделах спали драгуны. Горнист протрубил тревогу. Офицер во мгновенье ока построил пешую колонну, скомандовал «бегом», и все устремились в направлении базара, на котором черные клубы дыма и языки пламени достигли огромного размера.

Драгуны работали без устали, но не было воды; пришлось действовать железными ломами, топорами и в конце концов уступить прожорливому пламени огромные провиантские склады.

— Быть может, это неосторожность походной кухни? — сказал Бейль, стараясь покрыть голосом треск падающих стропил, крики драгун и какой-то странный свист огня, подхваченного ветром.

— Наши кухни не здесь, — ответил офицер. — Склад был заперт, однако пожар начался изнутри.

— Красное небо всегда предвещает ветер, — сказал Бейль. — Это плохо. Не удастся локализовать пожар. Разыщите бочки, посадите драгун на кровли соседних домов с мокрыми метлами и прикажите им ловить огненные шапки, разносимые ветром.

— Слушаю, господин комиссар, — отвечал офицер.

Бейль пошел назад.

«Это несомненный поджог, — думал он. — Мы можем посадить всю армию на крыши, но это не спасет безлюдных домов, у которых огонь вылетает изнутри».

К ночи пожар разросся. Ветер усилился. Борьба с огнем становилась невозможной. Маршалы собрались в Кремле. Наполеон был болен. Он не мог писать, и когда говорил, то минутами его трудно было понять. Язык плохо слушался и зубы стучали.

— Это страна самоубийц, — сказал он, с усилием выдавливая слова.

Поздно ночью Дарю приехал к генералу Дюма.

— Вам придется отменить завтрашний ужин, — услышал Бейль замечание маршала, — зато сегодня гвардейские драгуны поужинали на славу: спасая дома от огня, они грабят их дочиста, пользуясь тем, что владельцы не жалуются. Проклятый город!

Генералы сели за стол. Ординарцы принесли пунш, но беседа за стаканами не состоялась, так как на стене соседней неосвещенной комнаты вдруг показались красные отблески нового пожара. Вбежал квартирьер и с волнением заявил, что соседний дом охвачен пламенем. Рухнули мечты о спокойном сне.

Глава вторая

Бейль ехал в коляске. Франсуа сидел на козлах. Это была девятнадцатая по счету коляска. По узким немощеным улицам вся вереница экипажей продвигалась с трудом и крайне медленно, так как огонь распространялся с неимоверной быстротой, при полном безлюдье на улицах и в пустынных дворах. Лошади прядали ушами и тревожно ржали, когда волны огня и едкого дыма буквально выплескивались на улицу из окон, лопавшихся с треском и звоном. Наконец, головная коляска остановилась. Была обширная площадь, пустая, с розовой церковью между двух бульваров. Бейль услышал странное татарское слово: «Арбат». Началась выгрузка баулов, портфелей и ящиков. Из одной коляски со звоном посыпались на каменные плиты у красивого дворца бутылки. Черепки и винные лужи покрыли тротуар. Из другой коляски вывалилась со звоном настоящая серебряная восточная лютня, очевидно

подобранная кем-нибудь из ординарцев в опустевшем дворце. Прихрамывая ушибленной ногой, Дарю прошел мимо и сказал своим спутникам:

— Кажется, удастся переночевать. Моя квартира в вашем распоряжении. Это дворец графа Апраксина.

Комнат было множество. Они поражали ослепительной роскошью. Все было в полном порядке. Старик дворецкий, голубоглазый, с жилистым и скуластым лицом, почтительно поклонился маршалу Дарю. Бейлю показалось, что кратковременное пребывание маршала уже успело превратить этого дворецкого в удивленного и почтительного слугу французского графа. Старый барский кучер Артемисов, как послышалось Бейлю, по приказанию Дарю отвел Бейля в прекрасную комнату, убранную в роскошном английском стиле.

Бейль остался один. Он пытался читать, но мигающий свет канделябра заставил его бросить книгу. Волнения дня, неожиданное разочарование всей армии, заставшей русскую столицу пустой, но непокорной, — все это вызывало мысли, от которых хотелось отвлечься.

Последний год во Франции был годом наибольшего благополучия Бейля. Хорошо ли было менять эту спокойную жизнь на неожиданности московской войны?

— Да, эту жизнь нужно было сломать, — произнес Бейль вслух. — Из беспокойного младшего офицера Шестого драгунского полка я довольно быстро стал превращаться в сытого и самодовольного буржуа. После скучных дневных часов возвращаться к себе в отель на собственных лошадях, потом посылать Франсуа с коляской к театральному разъезду оперы Буфф за полновесной Анжелиной Барейтер, потом ждать ее возвращения, посматривая на бутылку шампанского и холодную куропатку, потом ужинать с нею, потом раздевать ее и укладывать с собою под одно одеяло, а утром пуховкой разглаживать синие круги у нее под глазами и будить ее этой привычной лаской... ну, сколько лет еще это могло продолжаться? И как мало это было похоже на любовь! Как легко было с этим расстаться!

Словно в ответ на эти мысли, Бейль услышал где-то в дальнем коридоре голос, поющий негромко, но с каким-то странным упоением. Шаги приближались. Мягкий итальянский тенор, тенор настоящего артиста, пел.

Бейль расслышал слова: «Soglion questi tranquilli e lieti-amanti» [1].

Со словами Петрарки, бесцеремонно распахивая дверь и нисколько не смущаясь, певец вошел в комнату Бейля. Певец казался только чрезвычайно удивленным. Он с трудом держался на ногах и, качаясь, выплескивал на ковер вино из большого зеленого бокала. Молодой свежий голос принадлежал старику, артисту Парижской оперы Таркини. Делая вид, что снимает шляпу с низким мольеровским поклоном, с театральной важностью Таркини произнес:

— Извините.

Бейль привскочил:

— Таркини, марсельский тенор!

— Бейль, марсельский бакалейщик!

Молча пожали друг другу руки.

— Я сейчас приду, — сказал Таркини.

— Куда? — спросил Бейль. — Не пущу! Посидите минутку.

— Вы должны помочь мне допить вино. Я один не могу. Сейчас принесу остатки.

— Послушайте, ведь вы не найдете дороги, ведь вы совсем не держитесь на ногах, — сказал Бейль.

— Совсем нет, совсем нет, держусь, но не за ноги, а за вашу руку.

Бейль крепко схватил его за рукав и посадил на кожаный диван.

— Вы подумайте, Таркини, я видел вас в последний раз в Марселе! Это было семь лет тому назад, и вы ни капли не изменились.

— Зато вы все изменились,— резко сказал Таркини.— Я рад, что не видел вас в Париже. Ненавижу Париж, а больше всего мне надоела война. Меня возят в походах в театре, словно имущество зоологического сада; я зверь в зверинце... а я хочу легких овощей из Лангедока. Я хочу козьего сыра из Оверни. Я хочу винограда из Арденн. Скажите, приказчик, как это может раскаленный мергель под нашим солнцем отдавать виноградной лозе пьяную влагу, мешая ее с искрами света. Я хочу слушать песни и пить Дженцано!

— Вы болтаете вздор, вас не слушается язык!

---

[1] Эти безмятежные и веселые влюбленные *(итал.)*.

— Вранье! Мой голос — это голос трезвого человека, — ответил Таркини. — Терпеть не могу трезвых людей, презираю и ненавижу, и вас тоже!

— Ну, я могу снова заслужить вашу любовь. Я быстро пьянею, — сказал Бейль. — Как же связать вашу ненависть к Франции с перечислением лучших французских мест: ведь, кроме Дженцано, вы не назвали ни одного итальянского имени.

— Итальянские имена! Где? Что? Ваш император распродал Италию с молотка. Он роздал ее безработным принцам и жуликам из своей семьи.

— Но, послушайте, что вы говорите! — воскликнул Бейль. — Вы знаете дерзость наших офицеров, вы знаете, как они могут вам ответить на дерзости!

— Мне все равно, — сказал Таркини. — Черт с ними! Что такое ваши офицеры? Это пестрая команда, аристократы, затаившие злобу на Бонапарта, и вчерашние мужланы, лезущие в аристократы, вроде этого, нашего, ну... сын бочара.

— Михаил Ней? — спросил Бейль.

— Да, маршал, сволочь, отнявшая у меня книжку Аретино с рисунками Джулио Романо! Знаешь, что это за штука, Бейль? Сколько раз служила мне эта книга! Ведь она — лучшее руководство для просвещения молоденьких девушек.

— Что с вами сделалось, Таркини? — спросил Бейль. — Вы никогда так много не болтали. Вы говорите, как сводник-мальчишка в Неаполе. Я рад. Но где ваша жена?

— Жена? Жена от меня сбежала, если, впрочем, не я от нее убежал. Вы мне лучше скажите, почему вы бросили Мелани Гильбер?

Бейль с трудом овладел собою. Ему вспомнилась маленькая, прекрасно сложенная женщина с удивительным, волнующе тремолированным голосом, эта артистка, ради которой он, Бейль, переехал в Марсель, бросив все, из блестящего адъютанта Итальянской дивизии Мишо превратившись в марсельского приказчика бакалейной лавки. С ясностью, дразнящей и раздражающей, вспомнился ему тенистый берег речки Ювонны и голая, смеющаяся Мелани, кончающая купанье обычной шалостью — брызгами речной воды, бросаемой пригоршнями маленьких рук.

Таркини продолжал:

— Да, Мелани... Вот она вышла замуж за Баскова, за этого русского богача, только потому, что вы ее бросили, а сейчас она живет в соседнем квартале, и вам в голову не придет ее навестить!

Таркини был старым другом обоих: и писателя комедий, у которого ни одна пьеса не была принята, и артистки, которая превосходила его талантом экспрессии; Таркини видел в Марселе дни их наибольшего счастья. Эти дни когда-то казались нескончаемыми. Для обоих, и для Бейля и для Мелани, солнце не заходило и не иссякала беспечность. Давались клятвы друг другу в полной уверенности, что впереди еще много времени для того, чтобы нарушить эти клятвы. *Воспоминание.* Тонкая, белая марсельская пыль, разносимая по кровлям, по листве деревьев средиземноморским бризом. В сущности это была только пыль размолотых колесами горных дорог, ведущих к марсельской купеческой гавани. Семь лет тому назад именно эта пыль казалась Бейлю той самой дымкой туманящего счастья, сквозь которую он смотрел на все вещи и все предметы этого мира. За семь лет он стал понимать, что это только пыль,— не потому, чтобы внутренние ощущения его угасали, но потому, что возникли иные, более могущественные и сильные восприятия жизни. После Мелани Бейль ни к кому не мог привязаться. Он испытывал потребность в женском общении, но это было проявление того же острого любопытства к жизни, которое заставляло его с волнением входить в незнакомые кварталы Парижа, любопытство, влекшее его в чужие города, когда новое небо, облачная или солнечная погода, сливаясь с очертанием зданий и улиц, с разговорами незнакомых лиц, давали ему новые ощущения в жизни и восстанавливали его силы.

Ночная Москва с начавшимися пожарами и неожиданная встреча с Таркини в английской комнате Апраксина сделали Бейля необщительным. Мгновенно закипевшее волнение при мысли о том, что Мелани совсем рядом, не вырвалось у него наружу. С напускным спокойствием он спросил, который час. Но старик, улыбаясь, с пьяным лукавством сказал:

— Сейчас все равно поздно. Вежливый человек не приходит с визитом к сопернику в такое время. А впрочем, попытайтесь! Супруги Басковы, — с ударением произнес

Таркини, — счастливо живут в доме князей Волконских. Местность эта называется Зубово. Там, около двухэтажного дома, сегодня утром я случайно встретил вашу марсельскую подругу. Адрес я узнал потому, что обещал навестить ее.

Голова Таркини свисла на плечо, и, развалясь в кресле, он заснул.

Бейль тихо, стараясь не разбудить Таркини, оделся, достал из баула два английских дальнобойных пистолета, спрятал за жилет короткий шварцвальдский кникер и, жалея, что этим исчерпывалось вооружение, привезенное им из разных странствований, направился к выходу. Он решил идти в канцелярию московского губернатора — маршала Мортье, единственное место, куда он мог бы добраться пешком, и там просить дежурного офицера указать ему дорогу. Но потом, взглянув на часы, заколебался.

Северная и западная башни Кремля были заняты офицерскими постами, чтобы наблюдать за движением огня. Он то затихал, то вспыхивал в разных местах. К полуночи ветер погнал огонь в направлении Кремля. Железные крыши и сплошь деревянные лачуги то там, то здесь покрывались языками пламени. В ночной темноте эти кварталы, охваченные пожаром, под ветром превращались в какого-то пятнистого, золотого леопарда, выкидывающего вперед огромную огненную лапу. Но вдруг ветер переменился. Усталые офицеры, успокоившись за участь армейского корпуса, положили сонные головы на письменный стол и, легши всей грудью, задремали.

В Кремлевском дворце в это время начинался военный совет. За большим красным столом, с которого нарочно не убирали алое сукно с двуглавыми золотыми орлами, сидели девяносто семь человек. Наполеон чувствовал себя лучше. Генералы шутили. Озабоченно ходил Мортье. Бессьер и Бертье, взявши друг друга под руку, стояли у окна, сговорившись по самому тревожному вопросу. У них в руках было доказательство невозможности похода на Петербург.

— Какой главный аргумент? — шепотом говорил Бессьер.

— Тот, что сам император предложит поход на Петербург, не веря в наше согласие.

— Да, но есть другое, — отвечал Бессьер, — вот перевод письма Александра к Салтыкову.

Уже 4 июля Александр пишет:

«Нужно вывезти из Петербурга: Совет, Сенат, Синод. Департаменты министерские. Банки. Монетный двор. Кадетские корпуса. Заведения, под непосредственным начальством императрицы Марии Федоровны состоящие. Арсенал. Архивы коллегии иностранных дел, Кабинетской. Из протчих всех важнейшие бумаги. Из придворного ведомства: серебро и золото в посудах. Лучшие картины Эрмитажа также и камни разные, хранящиеся также в ведении придворном, одежды прежних государей. Сестрорецкой завод с мастеровыми и теми машинами, которые можно будет забрать.

По достоверным известиям, Наполеон, в предположении вступить в Петербург, намеревается увезти из оного статую Петра Великого, подобно как он сие учинил уже из Венеции вывозом известных четырех коней бронзовых с плаца Св. Марка, и из Берлина триумфальной бронзовой колесницы с конями с ворот, называемых Бранденбургскими, то обе статуи Петра 1-го, большую и ту, которая перед Михайловским замком, снять и увезти на судах, как драгоценности, с которыми не хотим расставаться».

— Но как сделать, чтобы из твоей канцелярии это письмо не попало в руки императора? И насколько оно достоверно?

— Письмо это уже не попадет к нему в руки,— сказал Бессьер. — Как бы ни боялись русские, но зимний поход на Петербург против Витгенштейна кончится уничтожением армии. Теперь мы знаем, что такое русские дороги...

— Кстати, — сказал Бертье, — известно ли тебе, что Александр, русский царь, и Салтыков, которому написано это письмо, двоюродные братья?

— Какой вздор! — воскликнул Бессьер.

— Уверяю тебя. Здесь, за дверьми, мною приведен оставшийся в Москве директор русских архивов Бестужев. Император поручил мне разыскать в московских царских архивах доказательства незаконности русской династии. После резни помещиков в Витебской и Минской губерниях, которую устроила наша агитация среди крепостных рабов, пришлось отказаться от этого способа, как

от якобинского террора. Но все же наш император оскорблен русским чванством. Он не дворянин. Теперь мы докажем, на какой соломе щенятся русские коронованные суки.

Бессьер не успел задать вопрос. Красный мундир, черное лицо и огромные белки навыкате показались из-за портьеры. Мамелюк Рустан и за ним два гвардейских гренадера торжественно вышли из-за дворцового занавеса и, встав по обе стороны входа, стукнули прикладами о ковер. Потом сделали честь ружьем от правой ноги правой рукой на штык. Воцарилось мертвое молчание. Быстрыми, короткими шагами Наполеон подошел и, резко отодвинув коленом широкое кресло, взял простой деревянный стул. Царское кресло с гербом упало. Рустан подошел и непочтительно уволок его в угол. Военный совет начался.

— Скифы жгут свое жилище, — начал Наполеон, — а Европа будет кричать о якобинском варварстве французов. Что сделали вы, господа маршалы и офицеры, для спасения Москвы от пожаров? Есть ли у вас доказательство того, что три четверти пожара не произошли от пьяного буйства солдат?

— Французская рука не поднималась на московские дома. Ручаюсь, как губернатор нашего нового города, ваше величество!

Наполеон ударил в ладоши. Под конвоем вошел пьяный французский гренадер с потушенным смоляным факелом в руках.

— Кто это? — спросил Бонапарт.

Мортье подошел и, взяв пьяного за ворот левой рукой, разорвал ему мундир. Восьмиконечный старообрядческий крест вывалился из-под грязной рубахи.

— Кто ты? — спросил Мортье.

Переодетый молчал.

— Привести переводчика! — сказал Мортье, обращаясь к начальнику конвоя.

Наполеон жадно слушал звуки чужого языка, быстро перекидывая глаза от переводчика на переодетого.

— Спросите, почему он молчал до сих пор, — сказал Наполеон.

— Это русский ночной сторож, ваше величество. Ему приказано молчать под угрозой казни. Сейчас он заговорил только потому, что, как он сам заявил, он готов к смерти.

Еще минута разговора. Переводчик оборачивается с бледным взволнованным лицом, повторяя:

— В Москве, оказывается, десятки тысяч крепостных, которым обещана вольная за поджоги, и столько же выпущено злодеев и убийц из тюрем с обещанием помилования за поджоги. Он говорит, что Москву сожгут дотла.

Бонапарт сделал резкий и пренебрежительный жест. Конвоиры вывели переодетого.

Вбегавший по лестнице на заседание совета граф Сегюр, едва успевший пробиться в Кремль со своими младшими офицерами, увидел, как тут же, на каменной черной лестнице, французские солдаты колют штыками гренадера со смоляным факелом в руке. Сегюру было не до вопросов. Вбежав в зал совета, он с негодованием разыскивал Мортье. В ту минуту, когда военный совет выслушивал донесение Мюрата о том, что в русской армии, стоящей неподалеку от Москвы, начались бунты по случаю сдачи города и пожаров, Сегюр сделал знак губернатору. Мортье, злой и взбешенный, подошел к нему.

— Известно ли вам, — с бешенством шипел ему на ухо Сегюр, — что сейчас сквозь ряды спящих часовых вошел артиллерийский парк в незапертые кремлевские ворота? Достаточно одной искры, если пламя повернется на Кремль, чтобы все сидящие здесь, не исключая его...

Сегюр хотел сказать «его величества» — и запнулся...

Мортье понял и выбежал из зала.

Докладчик читал:

— «На аванпостах происходили мирные встречи французских солдат с казаками. Дважды приводили неукрощенных длинногривых коней, чтобы показать нашим солдатам бесконечные возможности роста русской кавалерии. Казаки уверяли, что в необъятных степях Азии неиссякаемые табуны перебрасываются все ближе и ближе к московскому дистрикту».

— Успел ли прочесть неаполитанский король эту болтовню? — спросил Наполеон резко. — Какому несчастному идеологу вы поручаете писать мне этот вздор? Прикажите ему написать стихи, а сейчас на словах переходите к делу. Бросьте вашу бумагу! Нынче утром я отправил царю предложение заключить мир. Если он откажется, пусть пеняет на себя.

Бонапарт разыскивал глазами Дарю. Маршал быстро встал и, отчеканивая каждое слово, произнес:

— В два часа пополудни русский штаб-офицер из госпиталя под специальной охраной парламентеров и снабженный всем необходимым отбыл по Петербургской дороге с письмом вашего величества.

Наполеон поднял руку. Дарю сел.

— Если Александр не ответит в установленный срок, то мы сами сожжем Москву и пойдем на Тверь, куда двинутся Макдональд, Мюрат и Даву.

Бертье осторожно толкнул локтем Бессьера. Бессьер шепнул:

— Это лишь пробный шар.

Но среди генералов уже шло большое движение. Все эти лица, такие разнообразные, очень молодые или очень старые, все эти недавние солдаты и дворяне старинной Франции, смешавшиеся за царским столом горящей Москвы, задвигали плечами, задергали концы аксельбантов, закачали головами.

Бонапарт смотрел по сторонам и быстро спросил, ни к кому не обращаясь:

— А как же Даву? Как здоровье герцога Экмюльского?

— Он в армии, — ответил Лористон. — Рана тяжелая. В Кремль приехать не мог. Врач советует ему не ездить в Москву.

Свистящий ветер, похожий на смерч, крутясь высоко в ночном небе, нес огненные шапки и искры горящего Замоскворечья. Огненный хвост, крутясь и извиваясь, ясно был виден в окна Кремлевского дворца. Острые моменты военного совета миновали. Воцарилось деловое спокойствие, оживляемое быстротою работы Наполеона. Послышались знакомые шутки и остроты, памятные многим по заседаниям Государственного совета, в которых обсуждались живо и остроумно бытовые казусы нового гражданского кодекса.

Часовой, стоявший у драпировки, смотрел, как огонь из Замоскворечья вычерчивает силуэт татарской мечети и островерхой церкви. Красные отблески оживляли муаровую портьеру из оранжевых и черных полос. Это сочетание цветов французский гренадер видел недавно на груди убитого русского солдата. Белый крестик на оранжево-черной ленте у русских был высшей наградой. Гренадеру хотелось дремать. Свинец наливал колени, виски и плечи, суставы пальцев дрожали. Ружье казалось

расплавленным свинцом. Но долголетняя привычка брала верх. Летние мухи родимой Шампани жужжали в мозгу вместо мыслей. Это привычное состояние. Если к этому добавить еще стакан смоленской водки, то жужжание мух превращается в пение волынок, тает свинец в ногах, и тяжесть уходит из тела. Тогда под этот оркестр можно плясать и петь. Красные усталые веки раскрываются, чтобы отогнать сон.

За столом жарко спорят генералы, а стравивший их в споре император улыбается улыбкой тигра и ждет, кто победит. На другом конце стола спит усталый герцог Тревизский. В дверь осторожно заглядывает опальный генерал Коленкур, обманутый Александром и ненавидимый Бонапартом.

Потом опять начинается дремота. Здесь все-таки лучше, чем спать у лафета. Русские траншеи далеко. Лучше стоя заснуть в кремлевском зале, чем под пулями ночью в Москве-реке. Гвардеец не качнется. Он спит с открытыми глазами, превратившись в статую. Мухи шампанской деревни тихо жужжат вместо мыслей. Здесь он сам себе хозяин. Полногрудая Маргота не дерет его за волосы. Старик отец не ворчит по поводу дешево проданного урожая, а в обозе второго разряда имущества столько, что хватит прожить остаток дней безбедно.

Глухая и темная осенняя московская ночь. Пятый час утра. Бонапарт окончательно оживился. Но все меньше и меньше становится группа спорящих маршалов. Император встает, подходит то к одному, то к другому, трясет за плечи, наклоняет голову с шуткой над ухом заснувшего.

И вот, совсем неподалеку, раздаются ружейные выстрелы, совсем близко слышится свист огненных ракет, и уже нет никакой надобности трясти за плечи усталых маршалов, склонивших головы к столу. Все проснулись, все в движении, все ожило, весь зал заговорил.

Маршал Мортье ожесточенно кричит соседу:

— Я проклинаю тот день, когда я сделался преемником Растопчина.

Мортье вдруг останавливается. Железные корсиканские когти впиваются ему в плечо.

— Кого проклинаешь, маршал? — кричит ему Наполеон.

— День! — ответил Мортье.

— Смотри, как бы этот день не был твоим последним.
— Ваше величество, чем скорее, тем лучше.

Но Бонапарт уже не слушал, хотя в оправдание себя Мортье пытался рассказать о том, что происходит в Москве. Выбежав после предупреждения Сегюра, разогнав лучших кавалеристов по районам, он решил добыть сведения о работе восьмитысячного отряда, выделенного им специально для тушения пожара. Только часть вернулась. Сведения были неутешительны. Губернаторская власть была лишена связи с городом. Окраины лучше знали положение Москвы, нежели центр.

Опаленный и едва держащийся на ногах от усталости офицер, держа в левой руке синий императорский пропуск, ворвался в комнату, отыскал глазами губернатора и, задыхаясь, с перерывами заговорил:

— Господин маршал, башенные дозоры спят. Офицеры — за столами, на которых тлеют сальные огарки, солдаты — в лужах спирта. Никакого наблюдения из Кремля за ходом пожара. Огонь достиг невероятной силы, а сейчас началась перестрелка между солдатами из-за обладания винным погребом, совсем неподалеку от стены, в том месте, которое называется... — Офицер вынул из каски клочок бумаги и прочел строчку рапорта:

— За-ря-дье.

Мортье хотел подойти к императору, но, проклявши день своего губернаторства, он тщетно стремился поймать Бонапарта, бегавшего от группы к группе по обширному залу. Эта погоня за маленьким человеком с окаменевшим лицом и злыми глазами была трагедией маршала. Четверть часа среди неперестающего гула и шума ста голосов он тщетно бегал за Наполеоном и, наконец, поймал его у кресла. Это было кресло Дарю. Выпихивая осторожным, но настойчивым движением маршала с его сиденья, Бонапарт кричал:

— Заседание военного совета продолжается. Маршалы Франции, офицеры Великой армии, займите места!

Мгновенно воцарилась тишина. Дарю с незаконченной запиской, уронив карандаш, освободил для императора свое место. Генерал Дюма с поднятой правой рукой, убеждавший своего соседа, не кончил речи, так как генерал Лористон, встав лицом к императору, показал Дарю спину своего синего мундира. Несколько движений стульев и кресел — и зал замер.

Наполеон кричал:

— Какое ужасающее зрелище! Это они сами жгут сокровища, добытые руками рабов. Сколько дворцов! Какое невероятное решение! Что это за люди? Чего можно ждать от этой страны? Но раз я решил...

В эту минуту раздался дерзкий голос обезумевшего Мортье:

— Кремль минирован, под каждой стеною порох. Государь, мы взлетим на воздух!

Никто не шелохнулся. Никто не посмотрел на Мортье. Бонапарт улыбался и недоверчиво качнул головой. Он встал и, ходя от одной двери зала к другой, посматривая на гренадер со спокойным видом, говорил:

— Ну, кто же еще осмелится прервать меня в те минуты, когда я, завладев дворцом царей, должен, по-вашему, трепетать от их азиатского поджога?!

Мортье, осмелевший и дерзкий, с бледным лицом, на котором суеверная почтительность к Бонапарту смешалась с железной решимостью спасти своего любимца, также встал с места.

— Государь, — сказал он, — пренебрегая собственной жизнью, я готов спасти вас. Вся Москва объята пламенем, и горит Кремль.

Часовые у двери сделали на караул. Вошел принц Евгений, прихрамывая, с лицом мальчика и с больной улыбкой. За ним громадная фигура грубого, пестро одетого, как в балагане, неаполитанского короля — Иоахима Мюрата. Оба подошли к Бонапарту. Евгений — сын Богарне, простой гражданин Мюрат, сделавшийся неаполитанским королем, по-родственному преклонили колена. Евгений скрестил руки на груди, и Мюрат, позабыв, что он в военном совете, обращается к Бонапарту со словами мольбы немедленно покинуть горящий Кремль. Бонапарт, отвернувшись, подходит к окнам. Ящики с ядрами, пороховые банки громадным неуклюжим обозом стоят перед окнами.

— Одна искра, — говорит Мортье, — и все мы будем взорваны собственным артиллерийским парком. Добавьте к этому пороховые мины под лестницей, на которой Петр казнил стрельцов, и вы, государь, дадите такую беспримерную картину гибели французской славы, какая и не снилась вашим врагам в Европе.

Безыменный офицер, все еще не ушедший из зала, начал говорить, как в бреду:

— Огненный шар опустился на дворец князя Трубецкого. С этого все началось. Дворец воспламенился мгновенно. Потом загорелась соседняя биржа. Каторжане, длиннобородые и длинноволосые, вылезали из окон с пылающими, просмоленными волосами. Эти живые поджигатели разносят пожар. Наши злосчастные солдаты пытались готовить себе пищу в русских печах. Заложенные гранаты разносили дома в куски. И от этого тоже начинались пожары. Весь город горит!

Слова офицера, наконец, достигли слуха Бонапарта. Бонапарт, все время, казалось, колебавшийся, резко обернулся к Мюрату и сказал, указывая на офицера кивком головы:

— Расстрелять негодяя!

Потом вызвал начальника гвардии и сказал:

— Выступать!

И пока тот, поворачиваясь на каблуках, уходил из зала, обратился к Мюрату, переводя глаза с неаполитанского короля на принца Евгения. Каждый раз, как глаза Наполеона переходили с Мюрата на Евгения Богарне, на спокойном лице появлялась презрительная улыбка. Принц Евгений был слишком похож на недавнюю императрицу Жозефину, с детской и нежной улыбкой больничной сиделки. Мюрат резко и отчетливо произнес:

— В Петровский дворец! — словно поняв это безмолвное обращение Наполеона с вопросом: куда?

Наполеон тихо говорил Мюрату:

— Что же это? Я должен отдать Москву! Став господином положения, я должен уйти без всяких жизненных припасов, расположиться лагерем у ворот завоеванного города, бросив такую удобную стоянку для гвардии!

Мюрат говорил:

— Да, иначе взлетишь на воздух.

Кремлевские дома горели. Горели избушки у Боровицких ворот. Горело Зарядье, базары за Красной площадью. Горела вся Моховая. Артиллерийский парк длинной лентой едва пробился через море пламени. Бонапарт, накинув серую шинель, ходил по парапету около Троицких

ворот. Кутафья башня пылала. Не было никаких надежд на выход из Кремля.

Наконец, прибежал Мортье:

— Ваше величество, я вас ищу. Есть ход совершенно безопасный.

И, следуя за Мортье, Наполеон и маршалы, несшие важнейшие бумаги и секретную переписку Великой армии, смахивая искры, падавшие на плечи и кое-кому испортившие страусовые египетские перья на шляпах, дошли до башен, выходивших на Москву-реку. Скрипя и воя, открылись заржавленные двери погреба. Бонапарт спустился в подземный ход вслед за Мортье и польским офицером Вонсовичем, у которого оказался на руках русский чертеж московского Кремля и Тайницкой башни.

Сквозь море огня, под искрами, через шипящие, дымные улицы, едва дыша, пробрались Бонапарт и его генералы на улицу у старого Москворецкого моста. Там стоял еще хвост колонны артиллерийского парка с зарядными ящиками. Бонапарт шел пешком. Гвардия, прорвавшаяся сквозь завесу огня, салютовала ему сквозь дым и пламя. Развернутое знамя, захваченное под Бородином, легло перед ним на мостовую. Ординарец подвел лошадь. Рустан держал под локоть отяжелевшего Бонапарта, когда тот, топча знамя конскими ногами, грузно садился на лошадь. Гвардейские трубачи, несмотря на огонь и дым, заиграли встречу. И вдруг появились носилки. Восемь человек вынесли из коляски раненого Даву. Он привстал на локте с рукой на перевязи, с глазами, горящими в лихорадке, и криком приветствовал Бонапарта. Наполеон снова соскочил с коня. Он подошел к Даву и упрекал его в безрассудстве.

Даву кричал, чтобы покрыть оркестр гвардейских музыкантов, бешено сверкая глазами:

— Я приехал за тобой, Наполеон, так как боялся за твою судьбу.

Бонапарт протянул ему левую руку. Вопреки всем кавалерийским правилам, правой схватился за седельную луку. Опять мамелюк ловким движением помог тяжелому корсиканцу удариться в седло. Лошадь вздрогнула. Императорский поезд под эскортом национальной гвардии сквозь гнилую гарь и дым горящей Москвы поехал к Ходынскому полю.

Был восьмой час утра. Моросил легкий осенний дождь. Небо было тускло. Наступал серенький осенний моросливый денек. И, как гигантский смерч, пирамида из дыма и огня поднималась над Москвою, когда Бонапарт, усталый, смотрел сквозь желтую листву парка на горящую Москву с башни Петровского дворца.

Бейль осторожно пробирался по лестницам апраксинского дома. На полу спали ординарцы маршала. Спустившись по винтовой лестнице в поисках выхода, Бейль услышал разговор. В людской и в кухне повар-француз пытался объясниться — и делал это довольно удачно — с кучером и дворецким. Старуха, оставленная бежавшими барами и, очевидно, привыкшая к французской болтовне в апраксинском доме, не без успеха выступала в роли переводчицы.

— Черномазый говорит, — объясняла она, — что ихний генерал — самый важный генерал.

— Уважительный барин! — отозвался Артемисов. — Если бы все такие, можно было б не жечь.

Повар кипятил крепкий кофе. На широкой лавке в кухне дремал другой повар — негр, любимец интендантского генерала Дюма. На подоконнике, у изголовья негра, стоял огромный четырехгранный штоф, пустота которого объясняла крепкий сон повара. Бейль распахнул дверь. Прислуга встала.

Обращаясь к повару, Бейль спросил:

— Как пройти в Зубово?

Повар в свою очередь обратился к кучеру. С помощью старухи удалось установить направление жестами направо и налево, поворотами головы, счетом переулков и улиц по пальцам. Кучер покачал головой и произнес по-русски:

— Не ходите, ваше сиятельство, огонь!

Бейль не понял. Он был уже за дверью. Раз овладевшая им решимость гнала его на крыльях, но, пройдя пятнадцать — двадцать шагов, он пожалел, что не взял с собою Франсуа. Район Пречистенки горел. Дома, примыкавшие к Гагаринскому переулку, пылали. Эскадрон вюртембергских гусар довольно безуспешно боролся с пожаром. На улице было светло, как днем, и все пространство от Волхонки до Москвы-реки, покрытое большими

и малыми строениями, было наполнено едким дымом, а снопы пламени делали улицы светлыми, как днем.

Немецкий офицер пытался открыть двери большой конюшни. Они были заперты изнутри, и большое здание, единственное не пылавшее среди моря огня, вызывало невольное удивление немецких солдат. Под ударами топоров ворота слетели с петель, и тогда жуткая картина открылась перед глазами Бейля. Солдаты поспешно шарахнулись в стороны. Дикая толпа полуголых людей, с безумными глазами, с пьяными криками и руганью, с вилами, лопатами и кольями, с диким гиком выскочила и понеслась вприпрыжку по улицам. Солдаты открыли стрельбу. Пьяные работали вилами, стараясь ударить гусар в лицо.

Бейль поспешно устремился вдоль Остоженки. На повороте в первый переулок из временного военного госпиталя вытаскивали раненых, оставленных русскими, и приканчивали их прикладами и выстрелами. Двое солдат дрались на шашках, и каждый из них тянул к себе левой рукой большой золотой оклад с иконы. Стоны и крики слышались во дворе. Чем дальше по Остоженке, тем сильнее гулял огонь. В конце улицы горели маленькие двухэтажные дома. Здесь было полное безлюдье, так как продвигаться по тротуару было невозможно, а середина немощеной улицы осыпалась таким потоком искр, что пробраться было прямо немыслимо.

Бейль не думал об опасности. Он шел в какой-то ярости, в каком-то исступлении, как бесноватый, охваченный безумной мыслью спасти из огня марсельскую подругу. При выходе из апраксинского дворца он думал лишь о том, чтобы ее увидеть, хотя бы на нее взглянуть; теперь им овладело всецело его охватившее стремление спасти ее из огня. Пробегая среди горящих домов, он чувствовал, как огненный вихрь сорвал с него головной убор, как волосы быстро подсыхают такой странной сухостью, что начинают сами шевелиться на голове; он чувствовал, как твердеют брови и загибаются концы ресниц. Едкий дым, гарь и удушливый, горячий воздух вызывали спазмы и приступы кашля. Из глаз струились слезы. В голове промелькнуло: «Лишь бы никого не увидеть, лишь бы никто не встретил, лишь бы кто-нибудь не думал, что я лишился рассудка и не владею собой».

Наконец, вот тот самый дом, про который, очевидно, говорил Таркини. Дом горит. Бейль бросается под деревянную лестницу — она проваливается и с грохотом падает вниз. Он вскакивает, стиснув зубы и тяжело дыша. Страшная боль в руке. Разорванный мундир и гвоздь, пробивший ногу. В доме пусто, не слышно ни вздоха, ни крика. И в следующем доме — то же. Зубовский парк пылает. Деревья сохнут. При ярком свете видно, как пожухли ветки, и в мгновение ока вся купа древесной листвы превращается в золотые метелки, в миллионы золотых кружков. Потом начинается медленное сгорание ствола, пылающего, как сальная оплывшая свеча. Некогда оглянуться. Дома тают в огне. И вот в одном из них несомненно тает, как восковая фигура, его подруга. Как мог он забыть ее ради легкомысленных парижских связей, ради венской аристократической кокетки Пальфи! Все это самообман тщеславных увлечений, в то время как настоящее счастье вот сейчас, тут где-то, сгорело в огне. Никаких других мыслей и прежде всего никаких мыслей о супруге господина Баскова.

Повалившиеся набок стропила внезапно перегородили ему дорогу. Перелезать через тлеющие и горящие бревна стало невозможно. Но Бейль попытался это сделать. Обжегся, проскользнул. Дальше начиналось Девичье поле. Остатки каруселей говорили о недавнем развлечении москвичей. Растопчин был оптимистом и, устраивая крестные ходы, не чуждался балаганов и каруселей: «это отвлекает простонародье от размышления».

Бейль выбежал из клубов красного дыма и вдыхал перегретый пожаром воздух, давая легким отдых от мучительного удушья. Хотелось действовать, хотелось что-то предпринять; и вдруг мелькнула мысль: «Мелани была слабогруда и после выступлений на сцене часто страдала сердцем. Может ли она дышать хотя минуту в таком огне?» Потом поймал себя на мысли: голос был глубокий, грудной, богатый переливами, настоящий голос артистки, и на сцене Мелани была хороша. Зная, что никто его не видит, Бейль заломил руки и схватился за виски с чувством незнакомого прежде отчаяния. Он знал, что в эту минуту он отдал бы жизнь с легкостью и без раздумья только за то, чтобы увидеть Мелани живою или мертвою.

Потом, смотря на пожар и ничего не видя, он стал уверять себя, что ошибся домом.

Войдя в переулок, он решил, минуя обвалившиеся стропила, вернуться к предполагаемому дому Волконских. По описаниям, это было, несомненно, Зубово. Вот типичный фронтон и железные решетки провиантских магазинов. Каменные пустые сараи с полукруглыми верхними окнами. Это — то самое, о чем говорил повар Дарю. Вот против них и должен быть этот дом. Но как к нему пройти? Еще один поворот, как будто приближающий к цели. Раздается выстрел. Пуля свистит где-то над головой и шлепается в штукатурку. Бейль вынимает пистолет и прячется за контрфорс. Трое пробегают мимо.

«Мародеры!» — думает Бейль и бросается в узкий переулок, по обе стороны которого горят дома. Бежит, зажмурив глаза и закрыв голову руками. Добегает до конца и видит каменную грязную стену тупика. В отчаянии, уверившись, что заблудился, бросается назад. Рухнувший дом загораживает ему дорогу. Остается ход через ворота и дворы. Обезумев и почти в бреду, Бейль останавливается на мгновение. Красные и лиловые огни, зеленоватое пламя — все указывает на то, что горят масла и какие-то вещества, окрашивающие огонь, как фейерверк. И вдруг, как во сне, раздаются крики и голоса — голос русского: «Эй!» и голос француза: «M-r Beyle! M-r Beyle!»

Раздается взрыв. Печь разлетается в соседнем доме. Обломок кирпича падает к ногам Бейля. Апраксинский кучер, провожающий маршальского повара, выбегает из ворот с криком:

— Ну, вот и они сами!

Еще мгновение — и, путаясь в хворосте, лежавшем во дворе, вылезает из ворот Франсуа. Бейль смотрит на него дикими глазами. Лиловатый отблеск пламени светит ему прямо в лицо, и трое нашедших его видят, как в этом отблеске зрачки Бейля кажутся красными пуговицами. Кровь в невидящих глазах — обычное явление отражения прямого света и преломления его в зрачках. Русские крестятся. Маршальский повар смотрит с удивлением на Бейля, словно на какой-то адский призрак. Только Франсуа спрашивает:

— Что случилось с господином Бейлем? Все ли благополучно? Император покинул Москву. Уж скоро наступит утро, и маршал приказал господину Бейлю немедленно в коляске переезжать в Серебряный бор. Артемисов свезет, — сказал он, указывая на апраксинского кучера.

Глава третья

Наступило тусклое, серое и сырое утро. В открытые окна врывался воздух, отравленный гарью, смешанный с осенней сыростью. Бейль вытянул руки и застонал. Перед самым пробуждением, в тяжелом сне, он хотел протянуть руку, чтобы поднять занавеску из марсельских кружев. Он всегда просыпался первый, думал сделать это и теперь. Потом Мелани варила кофе. Вместо этого — холодное, дымное, серое московское утро. Жизнь сломалась, и вот ее уже нет. И еще наступит жизнь. И еще пройдет год. Будет московская зима, и будут снова многие месяцы ненужных встреч и ненужных разлук.

По возвращении после ночного путешествия и поисков Бейль наотрез отказался ехать. От усталости он бросился в постель не раздеваясь. Таркини в комнате не было. Франсуа поставил на стол стакан крепкого алкоголя и кусок сыра с серым армейским хлебом. Все это было уже не нужно. Бейль проспал до утра и лишь утром решил ехать.

Пожар не прекращался. Пока кучера хлопотали у колясок, Франсуа и Луи — ординарцы, обязанные сопровождать коляски, — без умолку рассказывали Бейлю о том, что все пожарные инструменты вывезены главнокомандующим Растопчиным нарочно, чтобы дать волю огню.

Бейль, взяв с полки английский перевод «Поля и Виргинии», пытался забыться чтением. Это всегда удавалось. Гравюры, изображавшие далекие южные ландшафты чужих стран, юношу, спасающего девушку из воды, отвлекшие Бейля на мгновение, опять вызвали в нем картину гибели Мелани в огне. Потом, почти не думая, он протянул руку и взял вторую книгу. Это была странная книга — издание 1803 года с портретом негра в треуголке и мундире генерала Конвента. Бейль вздрогнул: это был несомненный портрет Туссена Лувертюра, вождя восставших негров. Это была книжка офицера Кузена Д'Аваль — она

о жизни и смерти негрского героя. Тонким английским почерком Растопчин сделал надпись: «Негры сожгли свою столицу, и французам ничего не досталось». Бейль бросил книгу. Пожар Москвы приобретал страшный смысл. Встал. Лошади были готовы. Бейль вышел на крыльцо и вдруг схватился за притолоку. Зубная боль, как удар в челюсть, едва не повалила его на землю. Выпив стакан спирта, он почувствовал себя легче. На другой стороне площади конные канониры вытащили единственную пожарную машину и пробовали ее на соседнем загоревшемся доме. Коляска направилась в веренице других экипажей, увозивших из Москвы людей и военный багаж, вместе с огромным количеством награбленного имущества, в направлении к Тверской. Вскоре, достигнув одного из переулков по Тверской улице, Бейль увидел, как со стороны Кузнецкого моста, где жила французская колония, выбежала купчиха Готье, госпожа Сент-Альб и две женщины с узлами. Сент-Альб бросилась на колени перед коляской, умоляя вывезти ее из Москвы. Бейль уступил ей место в коляске и пошел пешком.

Движение экипажей было настолько медленно и каждый перекресток подавал на главную магистраль Тверской такое количество повозок, что пешая ходьба нисколько не затрудняла Бейля. Генерал Кригенер поровнялся с ним и рассказывал ему все сплетни о ночном военном совете в Кремле. Несмотря на рассеянность, Бейль уловил оттенок злорадства в его повести о французских неудачах.

Только к вечеру сквозь деревья старинного парка замелькал императорский штандарт на Петровском дворце. А через час Бейль входил в большую избу села Всесвятского, где ждал его, негодуя и ворча, старый Дюма, окруженный товарищами Бейля — Бюшем, Бергонье, двоюродным братом Гаэтаном Ганьоном, бароном Жуанвилем и Марциалом Дарю. Молодежь не сдавалась. Привыкнув к зрелищу горящего города, она уже не смотрела в сторону Москвы и развлекалась по-своему.

Через какие-нибудь полчаса дремлющий Бейль увидел над своим изголовьем карикатуру с надписью:

«Pekin des cendre, duc de brandspuit»[1].

---

[1] «Пепельная штафирка, герцог пожарной кишки». *(Примеч. автора.)*

Французская колония и русские купцы в поддевках с большими бородами сидели у бивуачных огней в Серебряном бору. Огромная поляна от Петровского парка до Серебряного бора была сплошь уставлена артиллерийскими повозками. Гвардия снова ушла в Москву, с ведрами оцепила Кремль и отбивала у огня место, облюбованное Бонапартом. Восемь тысяч людей работали без передышки. Наполеон был мрачен и настроен плохо. Он почти не отпускал от себя Дюма, требуя у него точных сведений о возможности восстановления фуража. Бейль, не разгибаясь, сидел за работой.

Блестящие математические способности Бейля помогали ему оперировать огромными цифрами с быстротой и легкостью, поражавшей военных инженеров, кончивших учрежденную Конвентом знаменитую парижскую Политехническую школу имени Эйлера. В этих занятиях прошел весь день.

Бонапарт, усталый, сел за стол с карандашом в руке и не мог решить уравнения с двумя неизвестными. Он гневно пытался поймать Дюма на ошибке и не мог этого сделать, так как сам горел в лихорадке. Генерал Дюма взял с собою Бейля на доклад. Стоя перед обеденным столом императора, Бейль, замороженный от отчаяния и измученный до крайности, спасался только огромным напряжением способностей математика. Бонапарт, жуя куски холодной индейки и запивая глотками белого вина, говорил ему цифры, предлагая карандаш. Бейль вычислял наизусть и с каждым итогом, с каждым решением задачи, не замечая прояснившегося лица Бонапарта и восхищенного взгляда генерала Дюма, чувствовал только одно облегчение: он менее ощущал невыносимую боль пережитой утраты. Записав решение задачи о длине пути, пробеге лошадей, потере конского веса на ста километрах, Бонапарт подвел итоговую цифру и, передавая Дюма листок, сказал:

— Обеспечить конницу!

Прием был кончен. Бонапарту подавали кофе, когда Бейль выходил из Петровского дворца. Франсуа развернул кожаный чемодан. Бейль, порывшись, достал зеленую тетрадку с брауншвейгским дневником, книжку Ланци «История живописи в Италии» и запись своих собственных впечатлений об итальянских музеях и галереях, перелистал дневник 1806 года. Там были поездки на Брокен,

масонская ложа, спуск в шахту «Доротея» на Гарце, наконец, в виде отдыха после брауншвейгской стычки, когда он, вооружив больных и раненых, отбив нападение на французский гарнизон в Брауншвейге, выехал всего на три дня в маленький саксонский городок Стендаль, записки: «Стендаль красивый город. Было тринадцать башен. Родина Винкельмана, написавшего вот эту восхитительную «Историю искусств». Отряды Гофера и тирольского разбойника Катта с вооруженными крестьянами бродят вокруг. Катта видел в корчме, охотясь за козами в девяти милях от города Стендаля».

Наутро следующего дня, по поручению генерала, отправился верхом вместе с Франсуа в апраксинский дворец. Маршал Пьер Дарю и повеса Марциал Дарю — оба просили осмотреть дворец Салтыкова и дать распоряжение генерал-квартирьеру об оставлении его за маршалом Дарю, генералом Дюма и командиром голландского отряда, генералом Ван-Дэдэм. Доехал без приключений. Дворец Салтыкова нашел легко. Он не был тронут пожаром и даже еще не разграблен, равно как и дворец главнокомандующего Растопчина. Бейль осмотрел их оба, отправил Франсуа за вещами, заняв библиотечную комнату салтыковского дворца, и, сдав лошадь в комендатуру, пошел скитаться по Москве.

Проходя мимо Страстного монастыря, Бейль увидел рядом с красивым старым домом Римской-Корсаковой небольшое здание Дворянского пансиона и в ту минуту, когда поровнялся с окнами первого этажа, едва не был сбит мальчуганом, бросившимся из окна. Сочтя мальчика воришкой, Бейль схватил его за руку. Дерзкие глаза пойманной птицы были ему ответом. Мальчик в темнолиловом расстегнутом мундире с низким воротом и обшлагами, покрытыми золотым шитьем, изображавшим лавровые ветки, смотрел на него дерзко и презрительно.

— Кто ты? — спросил Бейль по-французски.

— Я гимназист Петр Каховский, — ответил беглец, не смущаясь и произнося французские слова довольно чисто.

— Откуда бежишь?

— От ваших товарищей, — сказал мальчик и поднял окровавленный палец, на котором прочно держалось отбитое горлышко узкой бутылки.

Бейль взял мальчика за руку, вошел во двор и, стукнув ногой в незапертую дверь, увидел в широкой большой

комнате, в облаках табачного дыма, человек восемь французских офицеров и с ними старика в колпаке, в вязаной куртке, с шарфом на шее. Один из офицеров кричал пьяным голосом:

— Он приказал: «Расстрелять негодяя!» — только за то, что я осмеливался сказать правду о смертельной опасности. Однако сам уехал, а мы — оставайся в Москве. Наши лошади повезли генеральский скарб, а младшие офицеры спешились. Вот что значит смертельная охота посидеть на троне русских тиранов.

— А ты бы молчал, — ответил другой. — Тебя вывели, постреляли в стену и отпустили. Так последнее время все мы делаем. Недоставало, чтобы мы своих французов расстреливали в Москве!

Внезапно говорившие остановились. Бейль, держа Каховского за руку, старался вглядеться в лица. Пьяный офицер закричал:

— А, вот ты, чертенок! Будешь обливать вареньем голову моему денщику?

Каховский с горящими глазами объяснил Бейлю, что с тех пор, как господа офицеры поселились в его пансионе, он жил с ними хорошо и ходил вместе на добычу, но его заставили засунуть палец в бутылку с вареньем, и он от боли, размахнувшись, действительно ударил денщика по голове.

— А это что за адвокат? — вдруг спросил один из собутыльников, пальцем указывая на Бейля остальным.

— Это интендант, организатор легального мародерства! — крикнул другой.

— А здесь организаторы нелегального мародерства! — закричал Бейль.

— Какое оскорбление! — раздалось несколько голосов.

Но встал усатый швейцарец и, загремев грубым голосом, потребовал:

— Никаких ссор, пусть пьет с нами!

— Да, не время ругаться, — сказал другой. — Пусть пьет!

Бейль присел и выпил большой стакан. Это была смесь всевозможных московских вин с водкой. Один из офицеров кричал:

— Мой дед был почтальоном в Дижоне. Мой отец с большим трудом с помощью брата купил себе офицерский патент, но принужден был уступить его другому, так

как аристократы в полку стали его травить. Какая разница с теперешним положением! Все неперевешанные графы сделались маршалами. Армия полна неперевешанным дворянским сбродом. А вы — дворянин? — обратился он внезапно к Бейлю.

Бейль отрицательно покачал головой.

— Ну тогда вы — наш товарищ. Надо испечь в московской золе всех аристократов.

Каховский наклонился к Бейлю и сказал:

— Уйдемте, пока не поздно. К вечеру дело всегда кончается побоищем.

— Идем со мной! — сказал Бейль. — Захвати свое имущество.

— Все мое на мне, — шепнул Каховский.

По дороге Бейль пытался узнать о судьбе Зубова. Каховский ничего не знал, но сказал, что у каких-то Волконских сгорела женщина с ребенком. Бейль поник головой. Шли молча, выбирая уже сгоревшие места, и иногда утопали ногами в золе.

И вдруг при виде большого пустыря с сожженным бурьяном Бейль остановился. Из маленькой лачуги, в углу двора, примыкавшего к пустырю, с раскиданным сгоревшим забором, осторожно вышел человек, несущий узел на правом плече и большую оркестровую арфу на левом. В туфлях и серых чулках, в оливковом фраке и широкополой шляпе, он показался до странности знакомым Бейлю. Бейль ждал, когда он выйдет на улицу, и воскликнул:

— Фесель, неужели это ты?!

Арфист остановился в недоумении, потом, поставив арфу и скинув узел, бросился, протягивая Бейлю обе руки.

— Боже мой, китаец, великий египтянин, ты ли это? — воскликнул арфист, припоминая итальянские и марсельские прозвища Бейля.

— Что ты здесь делаешь на пожарище, с оркестровой арфой? — спросил Бейль.

— Собираюсь улизнуть из Москвы, а перед этим думал проситься к вам в Оперу. Ведь вся французская колония ждала вас с нетерпением. Долго ж вы шли до Москвы! Еще неделю тому назад Растопчин выслал в Сибирь сорок французских семей, разорив их дочиста. Тут были купцы...

Бейль прервал его:

— А как Баскова?

— Жива, жива! Мелани жива! Она во-время успела уехать по горящим улицам с мужем и ребенком, получив двойной пропуск в Петербург. Она почти что разошлась с мужем и тянула отъезд до последнего дня, надеясь на медлительность мужа и скорость ваших маршей.

Бейль почувствовал, как исчезает тяжесть в теле, как отхлынули мучительные мысли. Дослушав рассказ и дав адрес салтыковского дома арфисту, он быстро вместе с мальчиком направился в свое новое жилище.

Глава четвертая

Давно прошел обеденный час. Бейлю хотелось есть, но все ждали генерала Дарю, и никто не решался ускорить начало обеда. Должны были дождаться важных вестей. Закончив работу, Бейль сидел в библиотеке Салтыкова с Каховским и слушал, как тот с запинками, но довольно чисто переводит на французский язык фразу за фразой обширную рукопись князя Щербатова «О порче нравов в России». История русских самозванцев и в особенности самозванца Пугачева, выступившего под именем убитого женою Петра III, воспламенила его воображение. Россия казалась ему страной неслыханной грязи, самозванства, тупой покорности рабов и тупого самодурства господ.

Из окон виднелись кое-где поднимающиеся дымы одиноких пожаров и обуглившиеся кварталы Москвы. В соседней комнате Бюш вычислял по бюллетеню Мортье количество сгоревших домов. За три дня пожара сгорело двенадцать тысяч зданий и двадцать три тысячи человек. Погибли четыре тысячи лошадей. Голос Каховского мерно и спокойно продолжал: «По количеству любовников оная Северная Семирамида превзошла всех развратных женщин мира. Одному только Зубову да сербу Зоричу выпали на долю счастливые имения и двенадцать с половиной тысяч душ».

«Своеобразное исчисление имущества! — думал Бейль. — Богатство помещиков, в большинстве случаев бездушных скотов, определяется таким странным понятием, как душа. Какая огромная разница между теми русскими, которых я видел в Париже! Это элегантные

люди, весьма любезные и даже блестящие по уму. Но во что они превращаются у себя на родине, в своих деревнях!»

За портьерой в соседней комнате отрывистый голос Бюша продолжал диктовку военному писарю. Бейль вынул английский брегет и нажал пружинку. Прозвонило два часа сорок пять минут, а маршал не возвращается из дворца. Шаги, раздавшиеся в коридоре, увы... не были шагами маршала. То был ординарец генерала Ван-Дэдэм, рыжеволосый, голубоглазый валлон, который, весело осклабившись, ставил на стол обеденной залы в бывшей маленькой гостиной салтыковского дворца желтую деревянную кадку с виноградной лозой. Восемнадцать небольших кистей винограда, помятых и слегка сморщенных, свисали довольно уныло по черенкам лозы. Но все-таки это был подарок из Франции. Ван-Дэдэм не зря сделал этот шаг любезности навстречу Дарю, который становился любимцем императора.

Декардон подошел, сорвал ягоду, бросил в рот и, сделав отчаянно кислую гримасу, выплюнул ее на паркет.

Этот жест всех развеселил своей неожиданностью. Раздался взрыв хохота.

— Ты стал совсем русским, — сказал Бергонье. — Ты ведешь себя, как свинья.

Декардон звякнул шпорами с легким поклоном и, повернувшись на носке, произнес:

— Я только прегустатор его светлости. Кто знает замыслы голландцев!

— Какие замыслы? — раздался громкий голос. Дарю вошел и швырнул треуголку на стол.

— Наконец-то! — прокричал генерал Дюма. — Мы могли умереть с голоду.

— Извините, господа, — произнес Дарю. — Я предупреждал, что никогда не следует меня ждать.

Он хлопнул в ладоши. Пока накрывали на стол, он несколько раз внимательно поглядел на Декардона, словно желая что-то вспомнить, и каждый раз переводил глаза на других. Так вопрос о «голландских кознях», предложенный молодому человеку, остался висеть в воздухе. Дарю, видя все взоры обращенными на себя, с любезной предупредительностью начал рассказывать. Попытка отправить первого парламентера к царю в Петербург не удалась.

— Письмо пошло только сегодня, — сказал Дарю. — Шталмейстер Оденард, кирасирский полковник, нашел в Москве брата русского министра, аккредитованного при кассельском дворе. Этот самый брат... (граф Дарю щелкнул пальцем в воздухе) проклятая фамилия, никак не запомню... сегодня повез письмо Александру. Письмо кончается словами: «Я вел войну с вашим величеством без вражды. Простая записка ваша, полученная мною или перед, или после битвы на Москве-реке, могла бы остановить мое вступление в столицу. Я желал бы иметь возможность принести вам в жертву это мое преимущество. Вы можете быть только довольны, что я даю вам отчет о состоянии Москвы. Я прошу господа бога, чтобы он принял под свое святое покровительство ваше императорское величество».

Офицеры переглянулись. Дюма нахмурился. Он был атеистом и республиканцем в душе.

Бейль произнес:

— Великодушно! Но упоминание бога портит стиль. Когда Вольней был у императора и отговаривал его от конкордата, император сослался на то, что религия необходима народу. «Народ ее просит!» Вольней на это ответил правильно: «А если народ станет просить у вашего величества возвращения Бурбонов?»

— Ну, Вольней за это получил удар сапогом в живот и вылетел из комнаты,— поднимая брови, сказал Дарю. — Во всяком случае то, что сделала наша конница с московскими храмами, приказано исправить. Послезавтра церкви перейдут к духовенству, так как оказалось, что Москва уж вовсе не так пуста, как в первый день.

— А когда земли перейдут крестьянам? — спросил Бейль. — Когда Франция объявит в России то, что она объявила в Пруссии, — раскрепощение рабов? Слишком велика разница между ощущениями французов теперь и прежде! Я входил с армией императора в столицы северных государств Италии. Когда войска входили в Милан, то население бурно ликовало. Наши армии были молоды. Австрийские жандармы и попы бежали от них, как от огня. В день 15 мая 1796 года Италия поняла, что все авторитеты, которые стискивали ее свободный ум, были в высшей степени смешны, а иногда и отвратительны...

Дарю поднял руку с протестом. Бейль не унимался.

— А когда мы входили в Милан, то побег последнего австрийского отряда обозначил собою полный разрыв старых понятий. В моду вошло то, что было связано с риском для жизни: общество увидело, что после многовекового лицемерия и приторных ощущений для завоевания счастья нужно научиться любить, любить что-либо истинною, настоящею страстью, ради которой естественно при случае положить самоё свою жизнь.

— У вас остынет жаркое, — сказал Дарю.

— У меня остыла уверенность в успехе московского похода, — парировал Бейль. — Никакой повар ее не подогреет.

— Я попрошу генерала Дюма подвергнуть вас домашнему аресту, — сказал Дарю шутя.

— Не могу на это согласиться, — сказал Дюма. — Это слишком совпадает с желаниями самого Бейля.

— Я согласен на все, — заметил Бейль, — лишь бы мне увидеть снова триумфальную арку и украшения миланских крепостных ворот, надпись из цветов, высеченную потом на камне: «Alla valorosa armata francese!» [1], женщин и детей на стенах в пестрых и нарядных платьях, мужчин, машущих трехцветными знаменами, крестьян с возами, безбоязненно въезжающих на городские рынки, — все это мало похоже даже на Берлин 1806 года: когда император один ехал по улицам германской столицы, толпы народа были от него в трех-четырех шагах, гвардейский эскорт шел далеко впереди. Франция несла с собою новый гражданский кодекс и право на свободный труд. А сейчас мы попали в копошащуюся массу паразитов, пьющую кровь спящего исполина.

— Совершенно не военные рассуждения, — отозвался Бергонье. — Я нахожу, что на тебя дурно повлияли твои упражнения в пожарном деле.

Генерал Дюма постарался внести успокоение и, не предполагая обидеть Бейля, сказал:

— Вчера я шел с адъютантом по Красной площади. Уверяю вас, что московский пожар влияет не на одного только Бейля. Когда я вошел в переулок, я увидел там ожесточенную драку наших гусар с гвардейскими артиллеристами. Пьяные, они вылезали из винного погреба и, едва держась на ногах, отбивали друг у друга бутылки

[1] Доблестной французской армии! *(итал.)*

вина. Выстрелом из пистолета я остановил это безобразие и пытался вытащить из погреба за волосы последнего из пьяниц. Он рычал, сопротивлялся, но медленно вылезал. К моему ужасу, это оказался Банту — негр, мой повар. Он меня буквально осрамил, представ передо мной с бутылками подмышкой и в карманах, делая окровавленной рукой под козырек несуществующего головного убора и заявляя мне, что он действует по моему поручению.

Дарю взял со стола бутылку и, наливая себе вино, спросил:

— Вот это самое?

Не дожидаясь ответа, залпом выпил стакан, потом, иронически смотря на Бейля, произнес:

— Я знаю вашу ненависть к религии. Вам хочется пошарить женские монастыри. Жуанвиль говорит, что монахини здешние отвратительны и уродливы.

— Откуда у Жуанвиля этот опыт? — спросил Бергонье.

— Его солдаты ограбили ризницу и, перепившись, надели на себя священнические облачения. Жуанвиль хотел это поправить.

— А, старый ловелас, — закричали все хором, — он нашел предлог...

Дюма, обращаясь к Дарю, решил, наконец, вернуть разговор на деловую и всех интересующую тему.

— Как вы смотрите, граф, — спросил он, — долго ли мы пробудем в Москве и сможет ли русская армия выдержать снова битву при Москве-реке, как это было седьмого сентября?

Дарю ответил уклончиво:

— Император думает о походе на Петербург. Быть может, придется предложить Бейлю составить прокламации о низложении царя, об уравнении сословий и выставить нового претендента на русский престол из среды русских либералов. Это очень трудно, так как в России нет либеральной партии, нет даже сильного торгового класса.

Бейль ответил:

— Вот это не так смешно, все это возможно. Я слушал вчера на бивуаке разговоры русских (он намеренно сказал «на бивуаке», чтобы не выдавать офицеров, живших на Страстной площади). Я знаю настроения и нашего офицерства. Ваше предложение было бы совсем не плохим предприятием.

— Да, но от этого плана безусловно пришлось отказаться, — решительно заявил Дарю, жестом давая понять, что разговор на эту тему более чем нежелателен.

Бюш произнес, словно желая вставить свое словечко:

— А я никак не предполагал, что бой на Москве-реке был великой битвой. Стойкость русских объясняется вовсе не гением шестидесятисемилетнего Кутузова, а просто боязнью тыловой картечи и хозяйского кнута.

— Что со всеми вами сегодня делается? — вдруг спросил Дарю. — Что это — речи в епископате? Вы кто? Дантонисты и маратисты или офицеры Великой армии?!!

— Просто наблюдения, — сказал Бейль. — Крепостная жизнь отвратительна крестьянину: ему безразлично, где умереть — на господской конюшне или на поле битвы. Я убежден, что пройдет сто лет, и воспоминание о сомкнутой колонне будет названо военным кошмаром старых дней. Активный участник боя — единичный боец в рассыпном строю — будет наносить гораздо более страшные потери врагу, чем сомкнутая колонна, умирающая, как стадо овец. Баранье повиновение толпы будет с меньшим правом выдаваться за героизм, нежели сознательность каждого единичного участника рассыпающейся стрелковой цепи.

Дарю покачал головой.

— Это становится невозможным! Когда штатские люди рассуждают о военных делах, то всегда получается вот этакий вздор.

Все присоединились к мнению Дарю. Военные парадоксы Бейля начали расстраивать аппетит. Обед приходил к концу, когда маршал обратился снова к Бейлю:

— Если император будет здоров (а ему опять хуже), то мы найдем вам применение. Вы будете заведовать кулисами дворцовой Оперы и Комедии.

Бейль ничего не ответил.

Многозначительно и с расстановкой Дарю произнес:

— В Париж посланы курьеры. Коммуникация прекрасна. Огромное количество обозов ожидается через три дня в Москву. Император сожалеет только об одном: что московские улицы и площади превращаются в меняльные лавки и базары, где солдаты, сгибаясь под тяжестью награбленных вещей, меняют серебро на золото, меха и ткани — на кольца и браслеты. Это не предвещает ничего доброго. Да, кстати, чтоб не забыть: мне доставили вот

этот разорванный пополам листок. Мне говорили, что он подписан Растопчиным. Жаль, что не можем прочесть.

— Можно, — сказал Бейль и позвал Петра Каховского.

— Гимназист московской гимназии, обиженный нашими офицерами, участник солдатских грабежей...

— Ну, маленький мародер, прочти и переведи, что тут написано, — обратился Дарю, остановив Бейля и внимательно глядя на мальчика.

Каховский покраснел и сказал:

— Если вы будете звать меня мародером, я не прочту ни строчки и сейчас же уйду.

Дарю улыбнулся. Каховский стал читать нижнюю половину растопчинской афиши.

— «...а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских; а клич кликну дни за два; а теперь не надо; я и молчу! Хорошо с топором, не дурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжеле снопа ржанова; завтра после обеда я поднимаю Иверскую в Екатерининскую Гофшпиталь к раненым; там воду освятим, они скоро выздоровеют, и я теперь здоров; у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба!

Подписал *Граф Растопчин.*

30 августа 1812 года».

Все на мгновение замолчали. Дарю встал в знак конца обеда и поблагодарил всех присутствующих. Растопчинская афиша была прочитана и не вызвала никаких словесных замечаний, но видно было по лицам, что всем хотелось разогнать дурное впечатление. Дарю это заметил и, обращаясь ко всем, произнес:

— Кажется, я довольно неудачно этой афишкой подмешал горечь в ваше последнее блюдо, но (он указал на виноградную лозу, стоявшую посредине стола) у вас, кажется, уже есть чем подсластить эту горькую пилюлю.

Декардон повторил опять свою гримасу. Дарю гневно сверкнул глазами. Бергонье сказал:

— Это ваше личное имущество. Генерал Ван-Дэдэм прислал вам этот кислый подарок в доказательство того, что голландские обозы обгоняют французские.

Дарю обрезал виноградные гроздья, сложил их на блюдо с салтыковским гербом и, сделав вид, что проглотил что-то очень сладкое, предложил виноград присутствовавшим. Дарю вышел. Бейль молча смотрел на растопчинскую афишку и думал о французской книжке «Туссен Лувертюр», — так поспешно напечатанной по-русски в Москве. Подпись Растопчина говорила о страшных и героических замыслах великого народа. Сожжение неграми своей столицы и гибель пятидесяти тысяч французов на Гаити, какое странное совпадение. Вздрогнув, он вспомнил переход Суворова через Альпы. Нет! Этой стране нельзя навязать чужую волю!

Во время обсуждения фланкенмаршей и хакенмаршей русских армий, по донесениям разведчиков, прятавшихся по лесам на Пахре, как раз в ту минуту, когда эти смелые ребята из французского эскадрона гидов рассказывали о ночевках в сырых и пожелтевших лесах под хворостом, как раз в эту минуту загорелся салтыковский дворец. Огромные копны фуражного сена, неизвестно как попавшего в нижний этаж, горели, облитые смолою. Разговор с разведчиком был прекращен. С большим трудом удалось вытащить на руках из обширных конюшен семнадцать колясок. Запрягать пришлось уже на улице. У двух лошадей генерала Дюма оказались подрезаны сухожилия. Выведенные из денников, эти прекрасные кони польского завода Радзивиллов с жалобным храпом пали на колени. Генерал собственноручно пристрелил их и, отвернувшись, разбил пистолет о каменную тумбу.

Через час расположились в растопчинском дворце. Там было тесно. В секретную комнату снесли документы, печати и вместе с курьером императорской почты Броше поместили вице-директора снабжения Анри Бейля. Это была изолированная зала с одной только дверью, со шкафами из желтого ясеня, сквозь которые глядели книги в сафьяновых переплетах, тисненных золотом. Бейль среди книг считал себя счастливейшим человеком, «попавшим в избранное общество». Младший лейтенант Броше, его ординарец, головорез из разведчиков, входивших в состав галицийского эскадрона гидов, усатый парень, прикидывавшийся простаком, несмотря на вечную недобрую усмешку на губах, в первый же день забросал Франсуа вопросами о времяпрепровождении и настроении его господина.

Граф Филипп де Сегюр, граф Пьер Дарю, барон Жерар, барон де Жуанвиль и несколько других «исключительно титулованных» людей поздно вечером, забравшись на антресоли растопчинского дворца, устроили брелан. Тасуя карты, Сегюр говорил:

— Мне было девятнадцать лет. Я тогда не меньше, чем теперь, ненавидел революцию всей ненавистью старинного дворянина Франции. Когда кучка негодяев и мерзавцев топтала наши гербы, жгла наши замки, мне казалось, что гибнет мир. И вот в ясный осенний день, бродя по улице Шантерен, я без всякого дела, без всяких целей добирался до решетки Тюильрийского сада в том месте, где мост соединяет Тюильри с площадью Согласия (тогда еще никакой площади Революции не было). Я с ненавистью смотрел, как солдаты в новой форме ходят взад и вперед, как скопляется конница около Тюильрийского дворца, и вдруг увидел на маленькой лошади маленького генерала. Это был ненавистный мне тогда египетский герой. Он сказал несколько слов солдатам и прямо направил свою лошадь во дворец. Я ушел домой, а через час узнал, что этот самый генерал штыками и прикладами велел разогнать сволочь, называвшуюся народными представителями. С тех пор моя жизнь принадлежит этому генералу. Черт с ней, с этой жизнью, если она плодит каждый день новых графов и маркизов, лишь бы оставили в целости наши титулы. Будет время — разберем!

Дарю засмеялся. Другие одобрительно качали головами.

— Да, да, будет время — разберем, — повторял барон Жуанвиль, выбрасывая слюну беззубым ртом. — Это время наступит скоро!

— Я, — сказал Дарю, — решил сегодня хотя бы час отдохнуть. Я лишился сна от непосильной работы. Если б вы знали, до какой степени император умеет отнимать у человека все силы.

— Император ненавидит якобинцев, значит, он с нами.

— Я боюсь только одного, — сказал барон Жерар, вздыхая, — что, вернувшись в Париж, император опять захочет переженить весь свой двор. Помните, как он заявил: «К концу второго года переженить гвардейских офицеров на богатейших купеческих дочках». Хорошо, что, в отличие от моего деда, он не пользуется правом первой ночи. Когда он сам устраивает свои любовные

дела, то мамелюк помогает даже раздеться, так как ему самому бывает некогда.

— Не сплетничать! — перебил его Дарю. — Вы неучтивы! Но, говоря откровенно, я сам начинаю уставать. Сегодня после доклада я первый раз почувствовал, что у меня лопнет мочевой пузырь.

— А вы знаете, — сказал Жуанвиль, — что самый лучший из министров внутренних дел, действительно умевший всегда отвечать на неожиданные вопросы императора так отчетливо, как будто он целый день провел над изучением этих вопросов...

— Ах, это Крете, — сказал Дарю, — вы о нем говорите? Несчастный Крете, он умер. С ним случилось то, что могло сегодня случиться со мной.

— Да, — сказал Жуанвиль, — он одинаково выжимает силы из старых дворян и из своей новой челяди вроде Оша, но тому легко — он сын торговки яблоками, привык к побоям, привык ночевать на лестницах и никогда в лицо не видел своего отца, даже не знает, есть ли у него отец.

— «Непорочное зачатие», — едко заметил Дарю. Жуанвиль взглянул на него с осуждением.

Этот разговор длился до третьей партии брелана, когда вошел Марциал Дарю и со смехом стал рассказывать, что Бейль, очевидно, нашел себе красотку. Он запирается по ночам, никого не пускает к себе и не гасит свечей.

— Я подбиваю Бюша и Бергонье устроить ему серенаду. Нам надо найти только хороший струнный оркестр.

— Вы все забавляетесь, — сказал маршал. — Смотрите, в скором времени придется плакать!

Окруженный военными писарями, Бейль, только что распечатавший секретный пакет, диктовал новые инструкции фуражирам Смоленского дистрикта. Сам он сидел за маленьким секретером красного дерева и царапал грязным гусиным пером в промежутках между двумя-тремя фразами свои письма. Последнее кончали следующие строчки:

«Сальные свечи догорают, а еще много дела до утра.

Анри Бейль».

«P. S. Я прошу госпожу Морис, портьершу дома № 3 на Ново-Люксембургской, отпереть мою квартиру для Басковой, которая станет ее хозяйкой, если только найдет это жилище подходящим».

Поздняя осенняя заря красной полосой показалась над Москвою. Темные, почти черные тучи понемногу светлели, когда последний писарь вышел из комнаты Бейля. Писаря-стенографы поглотили почти все его время и довели до такой усталости, что он уже не мог спать. Ворочаясь на кожаном диване, снявши ботфорты и прикрыв ноги медвежьей шкурой, Бейль читал «Наставление Честерфильда своему сыну»; книга в красном сафьяновом переплете, с гербом Растопчиных, восхищала его каждой страницей.

«Вообще вся библиотека Растопчина, — думал Бейль, — подбором похожа на библиотеку Неронова века. Какой-нибудь Петроний, утонченный и испорченный патриций, мог подобрать книги с такой иронией и распущенностью».

На полках стояли: Дидро, Большой словарь наук и ремесел, шестидесятитомный Вольтер, Фома Кемпийский «О подражании Христу», «Гений христианства» Шатобриана, эротическая «Дамская академия» и в роскошном переплете, с надписью «La Sainte Bible» [1], рукопись, содержащая трактат «О небытии божием» на французском языке с русскими пометками хозяйской рукой.

«Жаль, что исчез мальчуган Каховский, — думал Бейль. — Он мне помог бы изобличить ханжество Растопчина. Блестящий Честерфильд — последняя заря XVIII века — писал наставления своему сыну даже после смерти последнего. Ему во что бы то ни стало хотелось запечатлеть изощренный талант жизни, тающей на его глазах. Вот откуда эти советы молодому аристократу и беспринципному придворному карьеристу. Роскошное издание. Широкие поля, на которых удобно делать пометки».

Бейль записывает на полях «Наставлений» мысли и наблюдения, впечатления о пребывании в Москве, историю русских самозванцев и генеалогию тех самозванцев, которые, выдавая себя за Романовых, сидят на русском престоле.

---

[1] Святая библия (*франц.*).

Глава пятая

Дни проходили за днями. Обещанные французские обозы не приходили в Москву. Но приходили зловещие слухи о разрыве коммуникаций в целом ряде районов. Фуражиры, посланные Бейлем, второй раз вернулись ни с чем. Бейль не без тревоги смотрел на французских лошадей. Пришлось выехать в обоз для ревизии конского состава. Огромные повозки заполняли Петровский парк. Лошади превратили землю в мягкую грязь.

Осмотр был неприятен по результатам. Копыта и щетки загнивали. Гривы были спутаны. Обозники не чистили лошадей. У некоторых ребра проступали наружу.

— На чем вы поедете, друзья? — спросил Бейль. — Ваши повозки перегружены совсем не военным скарбом. Вам нужны тяжеловозы и першероны из Брабанта, а у вас остались тощие клячи.

Обозники смотрели на него усталыми глазами и отвечали вяло. Люди недоедали так же, как и лошади.

— Ни в одном походе этого не было, — говорил Бейль. — Армия не понимает, за что сражается. Армия распалась.

Ночью, после дневной работы, Бейль заперся на ключ, достал из кожаного чемодана свою рукопись «История живописи в Италии» и стал читать. Франсуа постучался с ужином, Бейль просил ему не мешать.

«Вазари в «Биографиях итальянских живописцев» подобен Плутарху, — думал Бейль. — Вот чего не понял Ланци в своей «Истории итальянской живописи». Итальянские художники — это люди больших характеров и колоссального напряжения воли. Они спаяны со своей эпохой, они были ее выразителями. В них, как в кристаллах, сосредоточилась пересыщенная энергия веществ».

«Гений всегда живет в сердце народа, как искра в кремне», — записал Бейль.

Потом встал и заходил по комнате.

«Как не похоже это племя гигантов на разбогатевших буржуа и одряхлевших аристократов, ставших маршалами Наполеона, — думал он. — Очевидно, кончаются все надежды, связанные с «великим планом». Нужно по-другому взглянуть на жизнь. История с Мелани говорит о смехотворности маленького плана личного счастья. Если

Рус устроит в Париже Мелани на Ново-Люксембургской улице, я никогда туда не вернусь».

Опять большими шагами заходил по комнате. Подошел к открытой странице Честерфильда и записал: «Без тяжелого балласта, даваемого трудом, корабль жизни становится игрушкой любого ветра». Закрыл книгу.

«Новый век несет новые формы жизни. Наступает эпоха большого труда, но, к сожалению, все, кто меня сейчас окружают, думают только о наживе. Отнимите у них деньги — и они будут несчастны. У них нет никаких навыков, нет аттического умения найти себя в жизни, нет дорической суровости в умении переносить лишения без ненависти к жизни. Лишите этих ненужных людей тридцатитысячной ренты — и они мгновенно погибнут. Жизнь хороша только тогда, когда центром тяжести становится то, что у меня не отнимут».

Бейль подходил, поспешно записывал свои мысли и снова маршировал по комнате, как на параде. Потом снова читал.

Ломбардские равнины, зеленые, утопающие в море света, маленькая Иския, вокруг которой светится ночное море, очарование прохладных галерей и библиотек Флоренции, Милана и Рима — заставили его забыть на целые часы о Растопчине, о Москве и о «преступлениях азиатского Нерона, сжегшего город». Перо быстро ходило по бумаге. Бейлем владело огромное, непреодолимое влечение писать, писать без конца. Мысли давили своим богатством мозг, образы ярко вставали в памяти. Основной замысел исследования человеческих нравов был близок и понятен. Как вода, утоляющая жажду, были эти ночные часы в глухой растопчинской библиотеке за писательской работой. Из контраста войны с потерей личного счастья, из тяжелых и мучительных мыслей о том, что гибнет еще вчера счастливый день, рождалось новое и яркое переживание прекрасного, утоляющего труда. Ясность ума, понимание вещей и характеров именно так, как учил Гельвеций в трактате «Об уме», — вот лучший способ найти себя в эпохе. Это радовало, как находка.

Бейль чувствовал, как из легкомысленного офицера драгунского полка он превращается в человека, сумевшего стать над уровнем обычного понимания жизни. Графиня Дарю пишет ему из Парижа, что маленький Наполеон и маленькая Алина купили морских свинок и

беспечно забавляются в детской. Если бы эти дети знали, какие крупные свиньи, какие тупые головы окружают сейчас в Москве их любимого «Китайца», они поняли бы состояние их старшего друга.

«Совершенно невозможно никому из окружающих рассказать о литературных работах, ни с кем нельзя делиться замыслами об «Истории живописи, нравов и энергии в Италии». Все, начиная с генерала Дюма и кончая императором, для которого слово «идеолог» равносильно понятию болван и тупица, могут осудить его и облить презрением».

«Крысы скрипят зубами и бегают по полу, — подумал Бейль внезапно. — Но это не крысы, скрип раздается около самой двери. Это, несомненно, скрипят цветные паркеты растопчинской залы». Быстро закрыв рукопись, Бейль подошел к двери. За дверью слышится сдавленный смех. Бейль распахнул дверь и увидел человека, только что отскочившего от замочной скважины. За ним группа офицеров, человек двенадцать, в расстегнутых мундирах. Все, положив руки на бедра и качаясь, хохотали громким, заливистым и лающим смехом. Кашляя и прерывая самого себя, Марциал Дарю кричал:

— Уморил! Клянусь святой Женевьевой, уморил! Клянусь монашкой Аннушкой из Страстного монастыря, уморил!

Бейль широко раскрыл двери и сказал:

— Войдите! Что же вам стоять у порога?

— А ты покажи, куда ты ее спрятал! — кричал Бюш. — Где твоя красотка? Кого ты щекочешь по ночам на кожаном диване? Признавайся, повеса, или мы пероем все вверх дном.

— Ну, не стойте на пороге, — сказал Бейль. — Ей-богу, его переступить легче, нежели какой-нибудь другой. Право же, вы сейчас доказали, что есть такие пороги для понимания, которых люди вашей породы не переступят.

— Ого! — вскричал Декардон. — Слышите! Он назвал нас дураками. Очевидно, нимфа так хороша, что ревнивый Приап боится наших взглядов. Уйдемте, господа, — запел он вдруг.

— Скажи, что мальчишка, которого ты приводил, был сводником. Смотри, от Меркурия в любви недалеко до меркурия в крови. Не прислать ли к тебе штабного врача? — кричал Бергонье.

Вся группа с песнями и смехом ворвалась в комнату.

— Докажем ему, что мы умеем не только пить, но и петь, — кричал Бюш. — Что касается меня, то я вдребезги пьян и хочу отнять у него красотку.

Чернильница, канделябры с оплывшими свечами, опустевшая и обсаленная кенкетка на стене — все говорило о том, что человек работает ночами.

Декардон опять запел «Птичка упорхнула»:

На берег манила красотка
Меня!
Без весел плывет моя лодка
Три дня!

Бергонье подошел к столу, бесцеремонно раскрыл зеленую тетрадь. Прочел: «История живописи...»

— Чудовище, — закричал он, — ты тратишь сладкие ночные часы на этот вздор! Да ты знаешь, что казаки на пыжи изорвут эту бумагу, если все пойдет так, как сегодня. Дело дрянь! — сказал он, щелкнув пальцем. — Пойдем с нами пить.

— Я хочу спать, — сказал Бейль.

— Спать? Ну, уж это к черту! — закричал Бюш.

Никто не заметил, как вошел курьер Броше. Улучив минутку, он протянул Бейлю короткую синюю депешу. Бейль прочел. С усилием сделал равнодушное лицо и сказал:

— Друзья! Мне сейчас некогда.

Офицеры один за другим ушли. Бейль подошел к окну, откинул штору и отпрянул в ужасе. Улицы, крыши соседних домов и вчера еще черневшие развалины сгоревшего квартала были белы. Выпал первый сухой, глубокий снег на мгновенно замерзшую землю. Бейль открыл форточку. Резкий, колющий, ужасный морозный воздух дохнул на него. Горло перехватило, как однажды под ветром в Сен-Готарде. Задернув штору, Бейль случайно взглянул на крышку зеркальной шкатулки. Он сам был бледен, как снег, и красные веки воспаленных и уставших глаз совсем не весело глянули на него.

Через час он был уже у генерала. Дюма кашлял, кашлял до слез. Когда Бейль вошел, он ругался с кучером в таких выражениях, в каких кучер вряд ли когда-либо с кем-либо объяснялся. У лошадей замерзла вода, и они тщетно совали морды в деревянные кадки.

— Кто же ждал этого проклятого снега, ваше превосходительство! — оправдывался кучер.

Дюма кашлял, топал ногами и махал руками, как ветряная мельница. Успокоился, взглянув на Бейля. Гладко выбритый, элегантно одетый, со шпагой и в полной форме, Бейль стоял, держа небольшой зеленый сафьяновый портфель, готовясь к докладу.

— Да, друг, — обратился к нему Дюма, — вам предстоит нелегкая задача. Выйдите, пожалуйста, — обратился Дюма ко всем находившимся в комнате.

Писарь дернул плечом с досадой, взял тетрадь в зубы, огромный кавалерийский реестр подмышку, банку чернил и песочницу и направился в соседнюю комнату.

Когда кабинет главного интенданта армии опустел, Дюма произнес:

— Итак, вы берете в бауле три миллиона русских рублей. Вы поедете по Калужской дороге, если то окажется возможным. У вас замечательная память. Вы сейчас прочтете главнейшие пункты коммуникации. Описывать их я вам не дам, потому что, если казачья пуля вас настигнет, неловко будет отдавать русским этакий список. Если будет невозможно следовать по Калужской дороге, вы свернете на Смоленский тракт.

Дюма развел руками.

— Голубчик, простите, не я это выдумал. Маршал первый назвал ваше имя императору. Его величество кивнул головой и сказал: «Помню. Аудитор, собравший два миллиона лишней контрибуции в Брауншвейге. Молодец! Пусть едет».

Бейль вздрогнул.

— Так вот видите, — продолжал Дюма, — я совсем не склонен смотреть на вещи оптимистически. Вам могут проломить череп, а мне слишком жаль с вами расставаться. У всех остальных много легкомыслия и беспечности, а вы — веселый, живой человек, знаете математику, как дьявол. Ну, хорошо, — сказал он, торопя самого себя, — довольно слов, переходим к делу.

«Когда у этого черта остановится язык?» — думал Бейль.

— Вы понимаете, что наши дела дрянь. Царь молчит. К этому старому идиоту Кутузову посылали Лористона. Он его не принял. Так через дверь и сказал, что не имеет полномочий. От Москвы осталась треть, от армии оста-

лась треть. Лошади мрут, как мухи, а тут еще этот проклятый снег. Только сегодня император отказался от похода на Петербург. Вот вам большая обстановка! Теперь вот вам малая обстановка: нужны десятки тысяч квинталов ячменя, овса, соломы, сена; нужны десятки тысяч голов скота, нужен хлеб. На вас лежит почетная задача (Дюма встал) обеспечить армию, по крайней мере западные корпуса. В депеше вы нашли все цифры. Если не хватит денег, телеграфируйте по моему шифру с первого семафора. Вот вам карточка.

Он вручил Бейлю костяной значок, обеспечивающий доступ на гелиограф.

— Обещаю вам Синий крест в случае удачи и тридцать панихид в случае вашей смерти. Эскорт драгун в вашем распоряжении — это почти пол-эскадрона. Вам хватит для реквизиции. С вами три кибитки. Имущество распорядитесь сдать в мой личный обоз. Если я доеду до Парижа, то ручаюсь вам, что и оно доедет. Голубчик, не берите с собой много.

— Слушаю, генерал! — ответил Бейль. — Задача мне ясна. Все будет исполнено. Имею к вам просьбу. Вот письмо в Париж. Вложите его в ваш конверт и дайте приказание отправить его с первым курьером.

— Хорошо, хорошо, — быстро закивал Дюма и позвонил.

Дюма вызвал Броше и вручил ему письмо Бейля.

— В пакет с интендантской печатью! Когда вы едете?

— Семнадцатого октября, генерал, — ответил Броше.

— Не поздно? — спросил Дюма Бейля.

— Нет, — ответил Бейль. — Когда мне выезжать самому?

— В депеше сказано — шестнадцатого.

Генерал протянул руку. Бейль вышел.

«Зачем он мне солгал? — подумал Бейль, перебирая все слышанное от генерала Дюма. — Мы знаем, что Кутузов Лористона принял, что Лористон в ужасе от слов Кутузова: *война только начинается*... Итак, император бежит из Москвы... Эта страна не склонилась перед нами!»

Мороз щиплет щеки. Растопчинская кибитка выведена из сарая.

— Везде ли глубокий снег? — спрашивает Бейль.

— Глубокий, — отвечает гид, подтягивая подпругу. —

А если растает, найдем коляску. Положитесь на меня, господин директор, я знаю этот край.

— Сколько разведчиков в отряде? — спросил Бейль.

— Со мной вместе — четверо. Пятнадцать фуражиров тоже прекрасно знают местность. Двое русских, из тех, что в ссоре с правительством, едут с нами.

Бейль покачал головой.

— О, это давнишние наши друзья. Они проделали уже четыре похода. Начальник умеет подбирать людей.

«Кажется, все в порядке. Дальняя дорога, холодное серое небо, дорожная шинель, теплая шапка с султаном. Неизвестно, что впереди. Но есть долг, есть большая работа, освобождающая от вчерашней муки. Жизнь хороша! Труд, ясный ум и понимание — вот наслаждения, которые не может никто отнять. Возможна смерть. Но ее еще нет. А когда она вырвет меня, то некому будет бояться смерти и жалеть о жизни. Итак, да здравствует жизнь!»

Мороз, сухой снег и ледостав на Москве-реке совпали в один день. На третий день, когда лед сменил недавний огонь, в армии начались тяжкие заболевания.

В крестьянской избе, отогревая замерзшие руки, Бейль писал свинцовым карандашом на клочке бумаги:

«Дорогой друг, не знаю, дойдет ли до Вас мое письмо, но, повидимому, оно обгонит меня в дороге и будет в Париже немного раньше. Быть может, положив ноги на каминный экран, как это часто бывало на улице Бак в Париже, Вы скоро будете сидеть, вспоминая о России. Я тщетно искал Вас в Москве. Нет уверенности, что увижу Вас во Франции. Мне хотелось бы точно знать, исполнил ли Рус мою просьбу и согласились ли Вы после меня стать хозяйкой в моей квартире на Ново-Люксембургской улице, дом 3. Располагайте всем моим, как Вашим. Никто Вас не потревожит. Война после стольких высоких и печальных переживаний, испытанных мною в России, повидимому, совершенно меня переменила.

Вряд ли Вы узнаете Вашего

А. Б.».

Свернув это письмо, Бейль положил его за обшлаг, в широкий отворот замшевой перчатки. Минуту спустя лошади, вздымая снег, бежали по пустынному полю. Был

третий день пути. Ближайший французский пост должен совпадать по маршруту с дорогой Броше. Уже издали, выехав на опушку леса, Бейль почувствовал неблагополучие. Зоркий глаз увидел сожженную избу, тонкий слух уловил далекий выстрел. Французского поста не было. Взяв лошадь у драгуна, Бейль скинул полушубок, заменивший ему неудобную шинель, и верхом направился в то место, где, по его мнению, должен быть Броше. Сожженная изба лесничего была единственным свидетельством правильности карты французского штаба. Очевидно, случайным налетом партизан пост был уничтожен. Проехав до перелеска, Бейль увидел два трупа и издыхающую лошадь. Немного дальше — опрокинутые сани. Он соскочил, подошел к убитым. Броше с перерубленным плечом лежал в сугробе. Земля была утоптана. Рядом с телом похолодевшего курьера, с раскроенным черепом и окровавленной ладонью, лежал его ординарец. Оба были уже обморожены. Никаких следов багажа в опрокинутых санях.

Бейль хотел вскочить в седло, как вдруг раздался вблизи короткий выстрел, и пуля прожужжала почти около уха. Второпях, схватившись за руку, уронил перчатку с письмом. Забыв о письме, думал только о перчатке. Вернувшись к драгунам, закутавшись, сел в кибитку и повторял:

— Дешево отделался, но мерзнет рука, а это рука писателя. Что будет, Франсуа, если я ее отморожу?

— Вы бросили перчатку, как вызов богу, мсье! Смотрите, будет плохо, — отвечал слуга, ставший другом.

— Дорогой мой, единственно, что извиняет бога, — это то, что он не существует.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

В декабре 1812 года ранним утром ахтырский поручик князь Ширханов входил в канцелярию грузинского новгородского имения генерала Аракчеева с небольшой сумкой из зеленого сафьяна, опечатанной по шнурам сургучными подвесными печатями. Немедленно впущенный внутрь грузинской дачи, поручик вручил графу пакет с надписью: «По высочайшему повелению».

Через три четверти часа, хрипя и кашляя, Аракчеев позвал к себе посланца и, гнусавя, сказал ему:

— Знаю, голубчик, знаю. Государь мне говорил. Только ведь я и по-русски-то, батюшка, читаю плохо, а эти французы такого в своей сумке наворотили, что сам черт ногу сломит. Одначе сымай шинель, садись и перепиши все это. Поколь не перепишешь, отсюдова в Питербурх не поедешь.

Поручик безмолвно повиновался, хотя приказ свирепого артиллерийского генерала сокращал и без того короткие дни его свидания с родными.

Во вскрытой сумке оказались французские донесения министра Дарю, главного интенданта Дюма и несколько частных писем, попавших, вопреки правилам, очевидно по протекции, в важнейший пакет официальной императорской почты, перехваченной русскими войсками в бою под Красным 5 ноября. Молодой человек расположил материал по степени важности, очинил гусиные перья,

раскрыл железную банку с чернилами. Только он начал писать, как снова вошел генерал.

Пройдя по комнате три-четыре раза, он обратился к поручику:

— Вот что, молодой человек, ты плохо устав знаешь. Во время солдатской кухни не кричат «смирно». А ты тут по высочайшему повелению приехал, каждый раз во фрунт стоишь, как я в комнату вхожу. Да вот, чтоб не забыть. Начни-ка ты с той бумаги, где французы нам бунт готовят.

Ответив по-военному, поручик положил перед собой черновик огромного меморандума, посвященного вопросу о том, насколько успехам французского оружия может содействовать восстание крестьянского населения против помещичьей России. Из этого документа явствовало, что уже в самом начале войны, непосредственно перед Витебском, Наполеон поручил самым опытным своим политическим агентам ознакомиться с вопросом о степени революционности русского крестьянства. Меморандум приводил диаметрально противоположные мнения по этому поводу.

Некий Левен, сын фабриканта, политический агент Наполеона, доносил, что воздействовать на крестьян можно только в немногих зажиточных районах, но что вообще крестьянство, придавленное и порабощенное, не в состоянии «внять голосу свободы и цивилизации, который звучит в грохоте французских победоносных орудий».

Этот же агент сообщал свое мудрое наблюдение, что крестьяне, наиболее податливые на агитацию французских якобинцев, суть не кто иные, как намеренно оставленные в занятых местностях русским правительством шпионы.

Другой французский агент, имя которого не было названо, наоборот, с большим энтузиазмом говорил о возможности общего восстания. Он прямо указывал на четыреста двадцать девять писем, полученных разными штабами и адресованных Наполеону. Он описывал эти клочья бумаги — желтые и синие, испещренные неровными строчками, в которых отличный канцелярский почерк чередовался со «скорописью, унаследованной от XVII века». Эти письма говорили о том, что в России невозможно дышать, что люди и в мирное время погибают, как на войне, — целыми семьями и деревнями, что крестьянами торгуют оп-

том и в розницу, как скотом, разобщая родных, соединяя несоединимое. Безвестные люди предлагали Бонапарту назначить им время и место; они обещали явиться к нему в качестве начальников партизанских отрядов в том случае, если он отменит рабство; они обещали сделать восстание всеобщим. В двух письмах говорилось о том, что сами пишущие, испытавшие на себе неслыханный гнет, не забыли виденного ими в молодые годы за Альпами, куда они были посланы с войсками Суворова.

«И люди там лучше живут, — писали они. — И дышится там вольнее: значит, не везде есть рабы».

Чем дальше читал поручик, тем больше чувствовал, как земля уходит у него из-под ног и перед глазами плывет какой-то туман. Он вспомнил, как его дед засек до полусмерти и отдал в штрафной батальон одного из таких суворовских солдат. Но его поразили заключительные строчки документа: «Из опрошенных партизан ни один не подтвердил этих посулов. Ясно, что этот народ, освободившись от помещиков, станет вдвое страшнее для всякой чужестранной армии, вошедшей в пределы России...»

Снова вошел Аракчеев, презрительно посмотрел на поручика оловянными глазами, прошелся по комнате, прихрамывая затекшей ногой и потирая рукой бедро, и, хмурясь, сказал:

— Вот что, князь, мне с тобой тут недосуг; из комнаты выходить не будешь; когда мемориал кончишь — Настеньке передай, а я прочту. — И, не дав времени ответить, скрылся.

Поручик наспех переводил ловкими русскими фразами тяжелые французские обороты меморандума, взяв уже четвертый лист бумаги большого формата. Из дальнейшего изложения явствовало, что все предложения были Наполеоном отвергнуты. Двое из авторов этих писем были вызваны в штаб генерала Лавуазье и допрошены его адъютантом. Имя адъютанта не упоминалось, говорилось только о том, что он сродни «заслуженному генералу», вандейскому контрреволюционеру. Французский дворянин оскорбился мужицкой революционностью и жестоко отомстил крестьянам: оба русских революционера были казнены.

Общее настроение французских штабов было таково, что императору Наполеону приходилось отказываться от своего курса на крестьянскую революцию в России.

Меморандум твердо и отчетливо устанавливал положение, что «революция и свержение помещичьего гнета не только не обеспечат успеха французскому оружию, но и сделают самое пребывание иностранных войск в России невозможным». Приводились мнения адъютантов главного штаба и чаще всего молодого генерала графа Филиппа Сегюра:

«Уже бывали примеры варварской свободы у варварского народа. Она превращалась в безудержную разнузданность. Мы уже видели несколько собственных примеров тому. Русские дворяне погибли бы от своих рабов, как колонисты от негров в Сан-Доминго. Его величеству угодно отказаться от намерения вызвать такое движение, которое французская политика не в состоянии будет в дальнейшем урегулировать, так как это может и за пределами России разрушить союзы правительств и правящих классов европейских наций».

Тот же граф Сегюр писал, что «русские попы, офицерство и дворяне сумели так напугать крестьянскую массу россказнями о страшных французских зверствах, об отравленной посуде, из которой кормят пленных, о дьявольских печатях, которыми губят не только тела, но и души, обрекая их на вечные муки, что эта агитация, служившая контрманевром русских дворян против императора Наполеона, предупредила его соглашение с бунтарскими организациями в России». Меморандум описывал, как, отступая милю за милей, русские помещики уводили за собой вглубь страны своих крепостных, уничтожая их скудные жилища и хозяйства, оставляя между собою и французами огромные пространства пожаров, запустения и голода.

Меморандум с точностью отмечал, что русскими дворянами на чашку весов брошена в жертву войне судьба всего трудящегося населения страны, что крестьянин такой же враг русского дворянина, как и Наполеон, что, воюя с Наполеоном, русское правительство одновременно стремится обезглавить и истребить организацию собственных крепостных, начинающих с голодного бунта и кончающих истреблением помещиков. Приводились слова графа Сегюра: «Это великое решение русского дворянства направлено столь же против правительства вашего величества, сколько и против собственных крепостных, ибо война императоров и королей уже превратилась в клас-

совую войну, в войну партийную, религиозную, национальную. Словом — это уже не одна, а несколько войн сразу».

Поручик плохо понимал смысл читаемого. Его представления о французском войске совсем не вязались с официальным донесением о смоленском попе, который докладывал Наполеону о способе сохранения церквей от пожара.

Оказывается, что в тех случаях, когда попы сами не вызывали пожаров, ссылаясь на вандализм французов, победители и не думали поджигать церкви. Смоленский поп не поджигал церквей, сваливая вину на французов, а устраивал в церквах столовые и поселял в них горожан и беглых сельчан, лишившихся крова. В проповеди этот священник призывал население к спокойствию и заявлял, что политическая ссора двух императоров не должна ссорить народы и что «французы вовсе не режут младенцев и не кормятся человеческим мясом, как о том говорил с амвона смоленский благочинный».

Против этого места поручик прочел пометку свинцовым карандашом. Почерк был знакомый. Неужели же и этот документ успел прочесть государственный канцлер? «При первом случае попа разыскать и доставить коменданту Петропавловской крепости. Снятие сана».

Поручик тщательно перенес: «На подлинном собственноручная его сиятельства государственного канцлера резолюция...» И тут же задумался: «Шутит или не шутит графушка? Переводить ли канцлеровы слова на российский язык, а ежели это не дозволено?»

В эту минуту сзади тихонько скрипнула половица. Поручик обернулся. Улыбающаяся, румяная, в папильотках и огромной персидской шали, стояла перед ним Настенька.

— Князенька, вы недавно с армии? Оченно там жутко, когда ловили француза под Москвой? — жеманно, неграмотной скороговоркой спросила она.

Поручик первый раз был в Грузине. По протекции возвращенный из действующих отрядов и определенный за свою молчаливость и знание иностранных языков для поручений по секретным портфелям министерства иностранных дел, он только что начал новую службу. Теперь он исполнял второе или третье поручение по разборке корреспонденции, перехваченной у французов. Зеленый сафьяновый ранец с буквой «N» и лавровым венком, перехваченный в бою под Красным вследствие разрыва

французской коммуникации, лежал перед ним на столе, напоминая о кровавом происшествии: опрокинутая в придорожный ров кибитка, испуганные лошади, рвущие сбрую, императорский курьер в енотовой шубе поверх рваного мундира, старающийся зашвырнуть подальше в придорожную грязь этот ранец, и казак из калмыков с раскосыми глазами, свирепым ударом перерубающий меховую шапку и голову француза. «Все это было еще так недавно, — думал поручик. — Неизвестно, что будет дальше. А вот сейчас эта жарко натопленная комната с румяной, неграмотной, лукавой бабой, которую никак нельзя обидеть неучтивым словом, которой поручено передать документы важнейшего значения и с которой прямо не знаешь, как себя вести. И какая досада, что государь разрешил выехать этому проклятому Аракчееву по болезни на три дня в имение, — говорят, просто вследствие очередной ссоры. За два дня загоняли шесть курьеров и столько же лошадей».

— Так точно, из армии я недавно, сударыня.

— Да ты меня сударыней не зови. Я простая и красивых господ офицеров люблю. А сумеешь мне понравиться — и графушка тебя уважит.

С этими словами она быстро подсела на ручку кресла, усадила поручика и, положив ему руку на плечо, сказала:

— Ну, читай, про чего тут написано.

Глава вторая

Быстро передвинув документы, поручик наугад остановился на зеленоватом листке бумаги большого формата и стал читать:

«Москва, 15 октября 1812 г.

Господину Рус, старшему секретарю господина Делоша, нотариуса, улица Гельвеция, № 57. Париж.

Не имеете ли вы случайно, сударь, вестей о госпоже Басковой? В самый день вступления нашего в Москву я счел необходимым покинуть свой пост. Я бегал по московским улицам, с тревогой проникая в горящие дома, тщетно стараясь разыскать Баскову. Я не нашел ее. И лишь через три-четыре дня, случайно встретив одного

знакомого, именно арфиста Августа Феселя, от него узнал, что незадолго до нашего вступления она выехала в Санкт-Петербург, что этот отъезд повел к почти полному разрыву ее с мужем, что она беременна и, болея глазами, ходит в зеленых очках, что ее муж, уродливый карлик и сентиментальный супруг, отличается жестокой ревностью. Фесель сообщил также свое предположение о том, что у Басковой осталось денег в обрез, только на то, чтобы переехать во Францию. Он говорит, что сам Басков некрасив и вовсе уж не так богат, как о том говорили. Увы, это все неутешительные сведения! Впрочем, быть может, сам Фесель имеет зуб против Баскова. Я думал, что наша с вами дружба и приязнь к Басковой обязывали меня собрать эти невеселые сведения. Трудно представить себе расстояние более непроходимое, чем между Петербургом и Москвою в нынешние дни. Если она его успела проделать, то новое путешествие из Петербурга в Париж для Басковой будет свыше сил, и мне кажется, что она останется в Санкт-Петербурге. Но как она поступит с мужем и какая судьба постигнет этого супруга среди всех нынешних пертурбаций? Вероятно, вы узнаете обо всем этом гораздо раньше, чем я. Не будете ли вы так добры, в случае если получите какие-нибудь известия, сообщить их мне? А если она приедет в Париж, то пусть прямо переезжает в мою квартиру в д. № 3 по Ново-Люксембургской улице. В каком я был бы тогда восторге! Не будете ли вы так добры передать ей все это и помочь ей у меня расположиться. Что касается прилагаемых писем, то вы должны проявить ко мне доброту и передать их Марешалю (отель Эльбех, площадь Карусель). Это — личный секретарь графа Дарю.

Простите мне помарки и плохой почерк, я пишу вам далеко за полночь, безумно тороплюсь и отрываюсь от этого письма, одновременно диктуя деловые бумаги пяти-шести военным писарям при свете сального огарка в Кремлевском дворце. Примите уверения в моем исключительном к вам уважении.

Анри Бейль.

P. S. Я прошу госпожу Морис, портьершу дома № 3 на Ново-Люксембургской, отпереть мою квартиру для Басковой, которая станет там хозяйкой, если только найдет это жилище подходящим».

Дочитав письмо, молодой человек осторожным движением попытался освободить плечо, но рука Настеньки держала его крепко.

— Экие эти французы! Должно быть, и в Москву приехал, чтобы искать свою Маланью. Шутка сказать — захотел разыскать иголку в сене! — произнесла Настасья, словно не замечая движения поручика.

Ширханов испытывал состояние все большей неловкости. Быстро обняв его за шею и поцеловав в щеку, Настенька соскочила с кресла и вышла.

Оправившись от смущения и не зная, что думать, боевой поручик чувствовал себя сбитым с толку и сравнивал это ощущение с теми впечатлениями, которые испытывал недавно: не то это было чувство стыда после неизбежного отступления перед врагом, не то смутная тревога, подобная тревоге солдата, попавшего в неизвестную местность. Покрутив еле пробивавшиеся белокурые усы и разгладив рукою лежавшие перед ним бумаги, он стал размышлять о том, как могла вся эта кипа попасть в одну сумку. Меморандум о подготовке восстания, очевидно, не мог быть послан по Смоленской дороге вместе с частными письмами, вроде прочитанного, значит при составлении описи надо было этот материал разобщить.

Поручик знал, что вся перехваченная французская почта попадает на разбор, по высочайшему повелению, к генералу Аракчееву. Вместе с тем он слышал о штабных петербургских интригах, которые связаны с прохождением этой корреспонденции через руки чиновников государственного канцлера. Его удивляла и чрезвычайная небрежность такого старого служаки, каким был Аракчеев. Поручик жалел, что не догадался своевременно спросить, как обычно проходят такие доклады у графа. Сейчас этот трехдневный арест с неожиданным вмешательством крепостной любовницы в политические дела стал рисоваться ему в очень мрачных красках. Очевидно, все происшествие обусловлено только случайным пребыванием Аракчеева в Грузине, а в Петербурге этого не случилось бы.

Было уже далеко за полдень. Поручик проголодался, глаза устали от чтения. Стараясь не делать шума, тихонько позванивая шпорами, он зашагал по комнате, досадуя на скрип длинных половиц. Перед окнами заиндевелые деревья уныло вырисовывались на фоне серозато-красного неба. Солнце красным шаром глядело сквозь

облачные покровы. Мысли поручика были далеко. Ему рисовались парижские улицы, виденные им три года тому назад, когда ни о какой войне с французами не было и помину, вспоминался артист Таркини, тенор парижской оперы, больной и слабый. Его нашли в Москве после ухода французов. Три года тому назад поручик слышал Таркини в Париже. Очевидно, он вошел в труппу постоянной оперы, сопровождавшей штаб Наполеона и бывшей с ним в Москве. «Но откуда это воспоминание? Да, вот в чем дело: имя этого артиста мелькнуло в одном из писем, лежащих на столе». Поручик стал читать это письмо. Его удивили одинаковые обороты, одинаковые мысли, и чем дальше он вчитывался, тем больше его поражало совпадение почерка с почерком письма, которое он прочел вслух по неожиданному требованию Настасьи. Не дочитав письма, он взглянул на подпись. Вместо *Анри Бейль* стояла подпись *Сушвор,* а между тем совершенно несомненно оба письма были написаны одним человеком.

«Очевидно, это тайный агент, — подумал поручик, — или просто я плохо разбираюсь в человеческих почерках. Очень странно, во всяком случае, что один и тот же человек называет себя разными именами в письмах совершенно партикулярного свойства».

Заинтересовавшись загадкой, поручик стал просматривать корреспонденцию дальше. Вот последнее письмо — это жалкий клочок вексельной бумаги, сложенный вчетверо, надорванный, с растекшимися чернилами. На конверте с интендантской печатью «Большой армии» была надпись:

«Господину Керубину Бейлю. Улица Бон. Гренобль».

Молодой человек стал читать:

«Приходится пользоваться этой редкой оказией, дорогой отец, чтобы иметь возможность написать отсюда письмо. Я получил спешное письмо от господина Жоли, который уведомляет меня о переписке с тобой. Пожалуйста, ускорь ход этих дел, чтобы добиться хоть небольшого успеха в результате огромной затраты сил и крайней усталости, угнетающей меня со дня моего отъезда из Москвы, 16 октября. Уезжая, я растерял все свое имущество, все свои запасы; я восемнадцать дней жил, питаясь убийствен-

ным солдатским хлебом и водой, что все-таки обходилось мне в четыре франка. Большая часть армии снабжена продовольствием. Если до тебя дошли мои письма, то ты знаешь, что я теперь назначен главным директором армейского снабжения. В этой должности я пользуюсь полной свободой передвижения. Завтра я выезжаю в Оршу, по дороге на Минск. Я буду в восемнадцати милях в тылу армии. Я вполне здоров, но измучен и умираю от усталости. Был болен в дороге. Если его величество сделает меня бароном, этот титул не будет украден. Гаэтан устал, но здоров так же, как и я. Тысяча приветствий всей нашей семье».

Письмо было написано тем же почерком. Андресовано господину Бейлю, а подписано: *Шарль Шомет.*

Кто же этот странный человек, Бейль, Сушвор или Шомет?

Какой-то Шомет значился в списках министра иностранных дел Франции. Но ведь письмо адресовано Бейлю.

Ну, конечно, это и есть настоящая фамилия француза, а тот Шомет пишется иначе и живет, кажется, теперь на Балканах.

«По долгу службы моей обязан я начальству дать экспликацию сего дела, — думал про себя поручик. — А какая тут может быть экспликация? Ежели отписаться, что письма партикулярные и для графа сугубой важности не имеющие, то, пожалуй, спросит он меня: а как же, дескать, главного интенданта французского снабжения ты не обознал? Ежели у него много ложных имен, то, значит, он на тайной службе состоял или, что того хуже, масон или мартинист, вроде того Верещагина, о котором Растопчин рассказывал и который бунт в Москве поднимал».

Мысли у поручика путались. Среди всех затруднений, какие возникали на новой службе, необходимость угадывать мысли начальства больше всего его терзала и мучила. Он досадовал на тетку за то, что она, прибегнув к протекции, извлекла его из действующей армии и устроила на канцелярскую службу. Все это для того, чтобы хорошенькая Наташа Щербакова, его невеста, не скучала и не томилась больше. Как только кончится война, они уезжают в деревню, там венчаются в сельской

церкви и начинают жить спокойной жизнью. А сейчас надо работать и работать.

Переписывая документ за документом, он делал черновые отметки и против документов № 214 и № 215 поставил: «Партикулярные письма главного интенданта Смоленского округа, чиновника и военного комиссара Анри Бейля. Оный Бейль, по видимости, состоит для секретных поручений при министре-секретаре Наполеона Буонапарта и посему партикулярную свою переписку ведет от разных имен, что явствует из одинаковости как самой корреспонденции, так и подписей руки оного Бейля, а также из адресации чужеименной корреспонденции гражданину Керубину Бейлю, коего оный корреспондент, подписуясь именем Шомета, называет, однакож, своим отцом».

Вошел старик, увешанный крестами и медалями, в валенках и поношенном мундире.

— Его сиятельство приказали кушать вашему сиятельству, — произнес он и, быстро накрыв соседний маленький столик салфеткой, вышел. Через минуту он вернулся, неся на подносе семгу, соленые огурцы, дымящуюся уху и графин перцовой водки. Поручик не заставил себя долго просить.

— Водочку приказано вашему сиятельству оставить, — сказал аракчеевский слуга, входя вновь, чтобы убрать со стола.

— Эй, послушай! Как тебя зовут? — обратился к нему поручик.

— Федоров, ваше сиятельство, — сказал старик, выпрямляясь и по-военному глядя поручику прямо в лицо.

— Вот что, Федоров: доложи генералу обо мне, когда вернется.

— Не приказано ни о ком докладывать, ваше сиятельство.

— Так разве генерал не уезжал?

— Никак нет-с, ваше сиятельство.

— Так, значит, генерал у себя?

— Никак нет-с, ваше сиятельство.

Лицо старика светилось тончайшей хитростью.

Молодой князь опять почувствовал себя неловко в этом странном уединенном жилище Аракчеева. Он никогда не придавал значения рассказам, которые слышал в полку о бытовом укладе артиллерийского генерала. Его

поражало только одно: странное, не соответствующее характеру царя Александра пристрастие к этому упрямому и норовистому служаке с гнусавым голосом, оттопыренными красными ушами и оловянными глазами, похожими на пуговицы. Генерал стремился подражать Суворову в некоторой намеренной простоте, в отсутствии парадности. Поручик помнил, как однажды в свите Александра I среди великолепных туалетов и пестрых мундиров нарочито выделялся в своей серенькой тужурке Аракчеев, скорее похожий на дядьку из кадетского корпуса, чем на могущественного инспектора артиллерии, одного из любимцев царя: никаких украшений на серой тужурке, кроме овального портрета Павла I, сделанного на эмали и осыпанного брильянтами. Тонкая политика! Скромность «без лести преданного» генерала, вечно попрекающего царя Александра Павловича зрелищем портрета Павла I, убитого с молчаливого согласия сына.

Все эти мысли мелькали в голове поручика. Три рюмки водки сделали его, непривычного к вину, рассеянным. Он подошел к окну и посмотрел во внутренний двор аракчеевской усадьбы. Конюх чистил лошадей. Это была первая аракчеевская тройка; небольшие, но крепкие лошадки ржали, хватая друг друга за холку. Конюх, почти подлезая под брюхо лошади, брал ногу между своих колен и очищал щеткой копыта. Очевидно, кто-то собирался уезжать. Маленькая кибитка вывезена на середину двора, но ворота еще закрыты. Наступали сумерки. В комнате уже давно стемнело. Работать стало невозможно. Глаза не различали ни одной буквы. Оставив бумаги на столе, поручик вышел из комнаты, пошел по коридору и негромко позвал Федорова. Ответа не последовало. Он прошел дальше, туда, где, по его мнению, должна была быть людская, толкнул дверь и вышел в сенцы. Следующая дверь, обитая поярком, также не была заперта. Дернув скобку, поручик очутился в клубах снежного пара и вышел в сад. После сумбурных и утомительных впечатлений этих дней и в особенности после недоумений, вызванных странным укладом жизни в Грузине, Ширханов отдыхал, стоя без шапки, с удовольствием вдыхая морозный воздух. Пройдя по запорошенной тропинке, поручик осмотрелся. Он был удивлен, до какой степени скудно и бесталанно было все устройство графского двора. Постройки — низенькие, прямоугольные, оштукатуренные и

выкрашенные в розовый цвет; окна — без наличников; все построено по ранжиру; дорожки в саду такие, что можно пройти только одному человеку.

Ширханов шел тихонько. Снег приморaживал шпоры.

Мимо неуклюжей вазы на низком постаменте он прошел в сад и снова возвратился к сенцам. У самых дверей услышал за углом разговор:

— А вот ежели ты не согласишься, Настасья Федоровна прикажет тебя запороть на погребице, как на прошлой неделе. Шестьдесят кнутов, а то и все семьдесят получишь.

— Помилуй, Василий Кириллович, не могу!

— А не можешь — будет, как сказано.

Хруст ботфортов по снегу остановил разговор. Поручик снова вошел в комнату. Два больших шандала со свечами уже горели на столе. Рядом с графинчиком водки был положен кусок кренделя для закуски. Князь Ширханов сел за работу. Писал долго и, забыв всякую осторожность, часто прикладывался к графину с водкой.

Почувствовав усталость, поручик выпил несколько рюмок подряд и грустно опустил голову на стол. Строчки французского письма прыгали у него перед глазами. С большим трудом очинив перо, он продолжал перевод:

«Милостивая государыня!

Примите выражение моего восторга по поводу вашего сообщения, в котором вы извещаете нас, что маленькая Алина и маленький Наполеон купили себе для забавы великолепных морских свинок; вся Москва говорит об этой новости, пришедшей из Парижа! Мне, конечно, хотелось бы самолично поздравить детей с приобретением, во-первых, потому, что я сам принадлежал к числу обитателей любезного моему сердцу Башвильского замка, а во-вторых, и по той причине, что ко времени получения моего письма дети и вы, вероятно, будете оплакивать смерть великолепных зверушек. Те свинки, или, вернее, свиньи, среди которых сейчас живу я, представляют собою образцы существ совершенно иной породы. За исключением двух-трех собеседников, все остальные способны говорить только о самых тяжелых темах с видом чрезвычайной серьезности и с бесконечным углублением вопросов, не требующих более десяти минут обсуждения. Все, впрочем, идет довольно гладко. Мы совсем лишены женского

общества, пожалуй, со времени последних встреч с польскими почтарками. Утешаемся тем, что стали тонкими знатоками, почти специалистами пожарного дела. Если б вы знали, до какой степени комический вид имели наши молниеносные переброски из горящих домов в кварталы, не тронутые пожаром, в первые же ночи после вступления в Москву! Для вас, милостивая государыня, это вряд ли большая новость: вероятно, в Париже об этих происшествиях говорят так много, что вы представляете себе картину горящей Москвы не хуже нас. Вам, вероятно, известно от курьеров, привозивших вам корреспонденцию, что Москва — город, до сего времени незнакомый Европе, — имела шестьсот или даже восемьсот дворцов, красота которых превосходит все, что знает Париж. Все было рассчитано на жизнь в величайшей неге. Блистательная и элегантная отделка домов, свежие краски, самая лучшая английская мебель, украшающая комнаты, изящные зеркала, прелестные кровати, диваны разнообразнейших форм. Нет комнат, в которых нельзя было бы расположиться четырьмя или пятью разнообразными способами, из которых каждый давал обитателю полное удобство и очаровательнейший уют, соединенные здесь с совершенным изяществом. Только моя счастливая и благословенная Италия давала мне такие впечатления своими старинными дворцами. Но происхождение этой московской изысканности совершенно иное. Русская власть — это своеобразный вид восточной деспотии. Правящая верхушка — восемьсот или тысяча человек — имеет от пятисот тысяч до полутора миллионов франков ежегодного дохода и сотни тысяч рабов. Куда им девать такие деньги? Служить при дворе? Некий гвардейский сержант, ставший императорским фаворитом, унижал своих же дворян, ссылал аристократов в Сибирь только для того, чтобы конфисковать в свою пользу прекрасных лошадей и замечательные экипажи, принадлежавшие сосланным. В этом несчастном круговороте событий, на неверной и зыбкой придворной почве, люди устраивали погоню за счастьем. И если судить по их дворцам, в которых мы теперь обитаем по очереди, самое большее — тридцать шесть часов в каждом, то можно видеть, что их хозяева спешили как можно скорее взять все, что могли, от этого быстрого бега придворных событий. Для них подарком судьбы становился ненасытный царский разврат. В самом деле: ведь одна Екате-

рина успела создать имена четырнадцати знатнейшим русским вельможам. А нынешний граф Салтыков, у которого сейчас поселился наш с вами родственник, маршал Дарю, является настоящим, подлинным, действительным кузеном воюющего с нами императора Александра.

Из этого вы видите, что воюющий с нами император — не более, как гражданин Салтыков: Александр Салтыков! И вот теперь владельцы этих изящных дворцов с перемещением своего счастья сами переместились на низшие ступени. Как быстро потеря внешнего благополучия погружает людей, по внешности столь милых и изящных, в ужасающее и отвратительное варварство! Уверяю вас, милостивая государыня, что вы не узнали бы более ваших недавних, столь любезных русских друзей. Помните ли вы некоего красавца, Аполлона, как вы его назвали, танцуя с ним прошлой зимой? Знаете ли вы, что я сейчас был свидетелем, как этот прекрасный Аполлон вел себя настоящим негодяем, оскорбляя идущих за ним по комнате с плачем двух женщин и трех малых детей, из которых самой старшей была семилетняя девочка!

Когда же, наконец, я снова буду в Вене, в гостиной герцогини Луизы, вдалеке от всех этих отвратительных дикарей?! Идя навстречу этому счастью, я завтра уезжаю в Смоленск, куда назначен на должность главного директора армейского снабжения. Услышь меня, боже, и сделай так, чтобы я снова очутился на Ново-Люксембургской улице в доме № 3, откуда всего лишь три с половиной часа расстояния до Башвиля. Живете ли вы попрежнему в Башвильском замке? Помнится, вы намеревались не оставлять его без крайней надобности. Помните ли, какой чудесный виноград подавался у вас к столу? Нынче вечером генерал Ван-Дэдэм, весьма любезный человек, прислал господину Дарю маленькую виноградную лозу в цветочном горшке. На этом растеньице висели три кисти винограда, два листочка и пять или шесть черенков. Это была эмблема нашей скудости. Господин Дарю, как всегда веселый и любезный, пожелал, чтобы мы все отведали винограда. Жалкие ягодки имели вкус настоящего уксуса. Все это было довольно печально.

На досуге я скитаюсь, ища развлечений. Их нет здесь, и вот я постоянно думаю о Франции. Будьте добры, сударыня, передайте чувства моего уважения князю де Плезанс. Я думаю, он уже вернулся из Боса. Почему-то мне

кажется, что сейчас у вас сидит госпожа N. Пусть она примет мой привет! Ну, я, кажется, не изобрету иного способа приветствовать мадемуазель Канлен и Полину: я просто попрошу их хоть изредка вспоминать обо мне, бедном скитальце, на преданные чувства которого вы, сударыня, вполне можете положиться. Ну, вот! Кажется, ничего нового. Разве только кресты, полученные Сельвеном и Санидье. Мой генерал Дюма прекрасно относится ко всем своим подчиненным.

Анри Бейль.

Кремль, 16 октября 1812 г.»

Как раз во-время дописав последнюю строчку, поручик заметил, как обтаявшая свеча полила по шандалу на бумагу. Взяв щипцы и ножницы с железной коробочкой на лезвиях, поручик срезал фитили и оправил свечи. Темная ночь глядела в окна. До рассвета оставалось еще долго, а самая длинная свеча в шандале была не длиннее третьего кончика его адъютантского аксельбанта. Молодой человек решил все же не спать и храбро вступил в сражение с оставшейся в графине перцовкой. С неудовольствием почувствовал он, что сон разбирает его еще больше. Слова «сражающийся с нами император носит фамилию Салтыков» поразили его своей неслыханной дерзостью.

«Да, этот документ секретнейшего значения, — думал Ширханов. — Желал бы я повстречать этого французского щелкопера, мюскадена! Я показал бы ему, как издеваться и клеветать на законных представителей власти. Ясно, конечно, когда какой-то безродный Буонапарт сотрясает Европу и свергает законных властителей, то всякому Бейлю становится повадным святотатственно оскорблять помазанника божьего».

Поручик Ахтырского гусарского полка расстегнул свой мундир небесного цвета и попробовал сделать несколько шагов по комнате. Неуверенно и жалко задребезжали шпоры, и, царапнув половицу каблуками, Ширханов повалился на кожаный диван. В голове его замелькали беспорядочные видения — крылья огромного аэростата, который он видел под Москвой перед самым вступлением французов. Растопчин готовил этот чудовищный воздушный шар под руководством некоего германского фейерверкера и двух пиротехников. По его затее, этот огромный

баллон с машинными крыльями должен был парить над французским войском, управляемый героем, избранным по жребию, и выбрасывать из подвесной корзины на французских солдат дождь огня и железа. Уже заготовлено было огромное количество ракет. Шар поднялся, но маневры с крыльями не удались. От неосторожного обращения баллон сгорел, и от опыта пришлось отказаться.

Но сейчас, во сне, опыт удавался прекрасно. Тысячи острых стальных стрел падали на французскую армию, оставляя огненные следы, похожие на хвосты кометы. И вот он, поручик, управляет крыльями, стремясь нагнать проклятого француза Бейля и пробить ему голову за дерзкие слова. В ушах стучит: «...Салтыков, Салтыков». Однако императрица Екатерина вовсе не была целомудренной Дианой. Иначе разве входила бы она так, в распашонке, в комнату к офицеру? А все-таки вздор говорили, что она стара. Она и румяна, и плечи упруги, и целует жарко. И хоть он — не безродный поручик, а все-таки шепчет ей на ухо совсем непочтительные, но очень жаркие слова и убеждает ее, что он «вовсе не Салтыков» и что ей «вовсе не нужно было выбирать себе этакого урода с растопыренными ушами, красным носом, оловянными глазами и хриплым голосом». Он убеждает ее, горячо обнимая, уехать с ним отсюда, так как в этой усадьбе в конце концов до добра она не дойдет. Она зажимает ему рот рукой и что-то шепчет на ухо. Что — он никак понять не может, только долго что-то шепчет. А потом начинается тягучее и непонятное время.

С трудом приподнимая голову и раскрывая глаза, поручик слышит, как скрипит половица под босыми ногами и затворяется дверь за уходящей женщиной. Очнувшись, офицер вскакивает с дивана. Под головой вместо подушки лежит огромный том воинского устава, а рядом с диваном валяется небольшой кружевной чепчик.

Солнце еще не всходило. Встряхивая головой, поручик силился вспомнить и понять, что с ним и где он находится. Во время немногочисленных армейских пирушек он неоднократно давал себе обещание не пить. Как все это с ним случилось? Да и что случилось? Он нагнулся, схватил чепчик и быстро сунул его в зеленый сафьяновый ранец.

Во дворе раздавались отчаянные крики. Двое парней сидели на голове и на ногах распростертого на доске

человека, а третий большим парфорсным арапником бил лежачего по спине. Крики скоро прекратились, как-то сразу оборвавшись, и поручика больше чем когда-либо поразила старательность и методичность помещичьего взыскания. Минуту спустя рука, поднимавшая плеть, опустилась. Экзекутор отошел, спокойно и лениво помахивая этой же рукой, на запястье которой болталась плеть. Двое участников экзекуции собирались встать, так же равнодушно и лениво, без злобы и без сожаления. Наклонившись к окну, поручик увидел обыкновенные русские лица: безбородый парень, белобрысая голова без шапки, и кудластый черный мужик с добродушным вялым лицом. Поручик вспомнил то, что он читал минувшей ночью.

Это были совершенно новые для него воззрения. Ни в Пажеском корпусе, ни в полку он ничего подобного не слышал: дворцы, принадлежащие «счастливой тысяче», и миллионы таких, что вот сейчас у него перед глазами.

И словно в ответ на эти мысли, из соседнего окна раздался капризный женский голос:

— Ванька, Настасья Федоровна приказала Федоту поротую спину солью натереть.

Глава третья

Вопреки предположениям генерала Аракчеева, Ширханов кончил работу к полудню следующего дня и ожидал, что свирепый генерал отпустит его в Петербург немедленно.

Поручик написал довольно туманную «репортицу» касательно доставленных его сиятельству документов, надеясь, что окончательное заключение он сможет сделать на основании устного распоряжения графа. Ему уже рисовалась петербургская встреча с Наташей в небольшом особнячке, подле моста, у Кронверкского парка, где она вместе с его теткой проживала последнюю неделю перед отъездом в Воронежскую губернию. Тетка, устроив поручика на хорошую, по ее мнению, службу, спешно собиралась ехать к себе, не заезжая в разоренную подмосковную.

В соседней комнате послышались шаги, и раздался скрипучий голос Аракчеева:

— Федотку посадить в Едикулем. Настасья Федоровна сама видела, как он в окно за работой господина поручика подглядывал.

С этими словами генерал вошел в комнату и подошел к столу Ширханова.

— Ну, как твои дела, князенька? — спросил он благосклонно.

— Честь имею вашему сиятельству доложить, что порученная мне экспликация по высочайшему повелению доставленных на просмотр вашего сиятельства перехваченных французских партикулярных и казенных бумаг мною сейчас закончена.

— А, молодец, молодец! Мне о тебе недаром вчера говорили, что силен ты в чужой грамоте. Докладывай по порядку.

— Дозвольте спросить, ваше сиятельство?

— Ну, чего еще?

— Как прикажете, ваше сиятельство, с партикулярных ли начать, либо со штабных?

— Что в партикулярных?

— Кроме писем интендантского офицера Бейля, на имя жены французского министра Дарю, на имя своего отца, на имя приятелей своих, кои письма оный Бейль подписывает чужими именами, никаких других партикулярных во французском бауле не имеется. Однакож сей интендант с чрезвычайной дерзостью говорит об особе его величества, российского самодержца.

— Так, так, — ответил Аракчеев без всякого возмущения и даже с полным равнодушием, удивившим Ширханова.

Поручик хотел продолжать доклад, чтобы похвастать тонкостью своего понимания этого многоименного Бейля. Но, взглянув на лицо Аракчеева, понял, что это будет напрасное усердие. Аракчеев не придал никакого значения его молодому рвению. Поручик стал докладывать о донесениях главного интенданта французской армии генерала Дюма.

Аракчеев слушал невнимательно, изредка гнусаво вставляя отдельные замечания:

— Нонче пятое декабря. Неужто этот дурак Чичагов второй раз проморгает Буонапарте под Молодечной, как в ноябре проспал его на Березине?

Поручик читал донесения главного интенданта французской армии о том, что Смоленск и Вильна изобилуют запасами, что Литва и Северная Польша обеспечивают хорошее состояние армейского тыла и что единственно, о чем нужно заботиться, — это о том, чтобы генералы его величества вследствие личных ссор не размыкали коммуникаций, ибо, жертвуя тысячами французских граждан вследствие нежелания помочь сопернику на соседнем участке, они тем самым уничтожают всякую возможность планомерного снабжения авангардов французской армии.

Читая, поручик думал, до какой степени велики были заботы о прокормлении по пути отступления ничтожных остатков армии французов.

— Так, так, — вставлял Аракчеев. — Останься они на год в Смоленске заместо похода на Москву, тут нам был бы карачун!

Потом, вдруг спохватившись, что его слушает младший офицер, отнял кулак левой руки от стола, отошел, сел на диван и молча продолжал слушать. Когда чтение доклада и экспликации по нему, касающейся интендантских дел, кончилось, поручик перешел к изложению секретнейшего французского документа о политическом содействии победе французского оружия посредством организации восстания крестьян против своих помещиков.

Уродливое лицо Аракчеева покрылось синими и лиловыми пятнами, уши еще больше покраснели, а свинцовые глаза неожиданно загорелись такой ехидной радостью, что поручик едва не запнулся, читая документ. Вдруг Аракчеева неожиданно прорвало. Он заговорил, ни к кому не обращаясь, но сжимая кулак и нервно подергивая темляком:

— Ага, я говорил, что этот вислоухий семинарист не зря возится с кодексом Наполеона, что не напрасно Сперанский был этим мятежом занят! Вот я его теперь еще раз на этом поймаю! Пусть узнает, собака, чье мясо съела! Ишь затеял! Это его шашни! Это он государю императору шептал «безотлучно при армии находиться». Кабы не Шишков с Балашовым да не я, верный и преданный раб Аракчеев, так бы все и было по его. Поезжай, батюшка-царь, в армию, а мы в Питербурхе якобинским кабинетом заседать будем. Вот что значит доверие разночинцу паче дворянства оказать. Мало ему ссылки — добьется и каторги! Кто молодец?! Молодец — Аракчеев!

Дерзнул на послание к подножью престола. Судьба армии — не судьба царя, а царь и без армии — всё. Вот за то государь император и взыскал меня своей монаршей милостью!

Тут вдруг он смолк и, устремив на поручика потухшие свинцовые глаза, тихо и угрожающе произнес:

— Послушай, молодой человек, вот тебе мой сказ: с незнакомыми людьми языка не распускай и службу свою знай. Одно лишнее слово — и пропала твоя голова! Ввек не вылезешь из солдатчины. До самого Байкала зашлю.

Потом, сделав надписи и пометки на всех копиях без соблюдения каких-либо правил правописания, он сказал поручику:

— В почтовой кибитке ехать не смей. До Питербурху два перегона на перекладных поедешь, в чем тебе будет указано.

И, не дав поручику опомниться, Аракчеев вышел из комнаты.

Князь Ширханов собрал документы и поспешно сунул их в ранец. Раньше чем он успел стянуть ремень, загремели унтер-офицерские шпоры, в соседней комнате отворилась дверь, и усатый фельдъегерь, делая под козырек, заорал:

— Честь имею явиться, ваше высокоблагородие!

Поручик вышел за ним, не поправляя обращения фельдъегеря, и сел в кибитку. Фельдъегерь, постучав шашкой по сапогам и стряхнув снег, сел с кучером на облучок.

Раздался крик, лошади, дружно тронув с места, быстро понеслись по дороге, запорошенной снегом.

Глава четвертая

В то время как неопытный поручик, доставленный фельдъегерем в Петербург, сидел на комендантской гауптвахте, вследствие присланного с тем же фельдъегерем секретного аракчеевского пакета, и раздумывал о причинах непонятного ареста, за шестьсот километров от Петербурга, в городе Вильне, происходили события совершенно другого порядка.

По улицам, где горели костры из целых гор конского навоза, по выбоинам и извилинам, от Острой Брамы до

Ковенских ворот, двигались бесконечные ряды саней, колясок, кибиток, фургонов. На стене Литовского замка была наклеена листовка временного правительства, назначенного французами.

Крупными буквами по-польски и по-французски было напечатано:

«Две соединенные русские армии: молдавская, генерала Чичагова, и армия генерала Витгенштейна, разбиты французскими войсками под Борисовом на Березине 28 ноября.

Великой армии достались в этом бою двенадцать пушек, восемь знамен и штандартов, а также от девяти до десяти тысяч пленных.

Как раз нынче спешно проехал через наш город адъютант герцога Невшательского — барон Монтескью.

Он направляется в Париж.

Его императорское величество Наполеон находится в вожделенном здравии».

Несмотря на эту успокоительную весть, противоречившую действительности, городское население, чувствуя, что произошла беда, с тревогою посматривало на беспрерывный поток людей, лошадей, повозок, пушек, фургонов, стремившихся в западном направлении. Несмотря на то, что из города к Ковенской дороге вели четыре улицы, все эти бесчисленные волны, сливаясь в один поток, стремились пройти только через Ковенские ворота. У маленьких еврейских лачуг на перекрестке образовались горы из сломанных экипажей. Дышла, продетые сквозь колеса, поднимались кверху, как руки; неуклюжие военные фургоны на колесах, кибитка, раздавленная пушкой, и рядом лошадь с переломанной ногой загораживали дорогу. На другой стороне улицы маленький дом с оградой был почти снесен этим потоком. По внутреннему двору струилась та же волна, ломая заборы и пробивая в квартале извилистый канал, выходивший на ту же Ковенскую дорогу.

Это был девятый день после фантастической переправы Наполеона через Березину, когда, окруженный своими министрами, он отдал распоряжение об уничтожении всех документов армии, признал дело проигранным и умчался в Париж.

Утром 7 декабря тот самый Анри Бейль, письма которого два дня перед тем недостаточно внимательно просматривал Аракчеев, входил в кофейню Оливьери вместе со своим двоюродным братом — Гаэтаном Ганьоном. Скинув полушубок и бросив его на подоконник около деревянного столика, Бейль заказал кофе и обильный завтрак.

Когда-то довольно плотный и плечистый, Анри Бейль, участник итальянских походов Бонапарта, теперь был худ и строен. Черты лица заострились и носили следы большого физического страдания, и лишь глаза — холодные, умные, немного необычного синего цвета — смотрели на все остро и проницательно. Узкие бакенбарды колечками спускались к подбородку.

— Послушай, Анри, я не в состоянии больше ехать. Я совершенно разбит и останусь в Вильне, — сказал Ганьон.

— Как хочешь, — ответил Бейль. — Только я не советую оставаться здесь больше трех дней и даже за три не ручаюсь.

— Да, но ведь Вильна обеспечена жизненными припасами для стотысячной армии на три месяца; это мне сегодня сказал Жомини.

— Ты забываешь, что нет этих ста тысяч не только в Вильне, но и во всей армии. Остатки войск так малы, что в три года не съедят виленского запаса и не сумеют даже защитить своих складов.

— Однако Маре привез приказ неаполитанскому королю оставаться в городе неделю, собрать все силы и ожидать подкрепления, которое император пришлет из Варшавы.

— Я не верю ни в подкрепления из Варшавы, ни в новый трехсоттысячный набор. Во Франции все дела остановились, север прекратил производство тканей; нам не во что будет одеть солдат.

— Должно быть, это общее явление. Вчера я смотрел местные газеты. И «Минский временник» и «Литовский курьер» сплошь полны сообщениями о рабочих беспорядках в Англии. В целом ряде округов восстали ткачи, поломали машины, и в самом Лондоне произошли кровавые события: тридцать тысяч солдат и полиция усмиряли восставших. Какой-то поэт — лорд Байрон — выступил на защиту мятежников.

Бейль ничего не ответил. Он смотрел в окно и радовался тихому переулку еврейского квартала, где нет ни

шума, ни криков, ни беспорядочного и дикого потока людей, охваченных животным страхом. Левой рукой он водил по подбородку, словно желая удостовериться, насколько хорошо удалось ему выбриться этим утром, и со смехом вспомнил удивление министра Дарю по поводу того, что даже в трудный день березинской переправы «его кузен Бейль не забыл побриться». Слушая Гаэтана, он думал о тех, кто не успел переправиться через Березину. Где они теперь? Император спешил, бросил всех на произвол судьбы, и лишь небольшой отряд неаполитанских стрелков с обер-гофмаршалом Дюроком и адъютантом Мутоном эскортировал открытую кибитку. В кибитку сели мамелюк Рустан и офицер Вонсович — переводчик. Трещал двадцативосьмиградусный мороз. Лед выдержал. Неаполитанские кавалеристы на рысях взяли гору на противоположном берегу.

«Почему неаполитанцы? — подумал Бейль. — Ведь вот и здесь, в Вильне, дрожа от холода и сверкая глазами, проходят итальянские войска. Ну, хорошо: Иоахим Мюрат неаполитанский король. Император Наполеон — корсиканец. А вот этот содержатель кофейни Оливьери, который так пристально смотрит на жующего Гаэтана и лицо которого расплывается в угодливую и незначительную улыбку, как только он встречается глазами с Бейлем, кто он? Это, очевидно, тоже итальянец», — думает Бейль и обращается к нему по-французски:

— Давно ли вы в этом городе, мой друг?

Оливьери подходит к столу и шепчет:

— Господину Бейлю известно, конечно, что его величество вчера вечером благополучно проехали мимо городских окраин, остановились в Погулянке и ныне уже прибыли в Вильковишки.

— Откуда вы меня знаете?

— Я живал в Милане. Вы останавливались у моей тетки, близ Соборной площади, в сентябре прошлого года. И, если помните, я носил ваши письма синьоре Пьетрагруа.

Стремясь отогнать неприятные воспоминания, возникшие при имени женщины, которая над ним жестоко насмеялась, Бейль резко повернулся к итальянцу и спросил:

— Однако что же ты тут делаешь, гражданин?

— Я состою на службе французского императора, был в распоряжении капитана Вейса, офицера галицийско-

французского эскадрона гидов. Он и деньги дал мне на открытие кафе.

Бейль не задавал больше вопросов. Он смотрел, как птицы, замерзая на лету, падали на мостовые, и после долгих дней невыносимых физических страданий от голода и холода наслаждался глотками горячего кофе и теплом комнаты. Гаэтан, позавтракав, откинулся на спинку стула и уснул глубоким сном бесконечно утомленного человека.

Оливьери, продолжая начатый разговор, предложил Бейлю свои услуги в качестве организатора почтовой связи:

— Вы будете довольны, синьор комиссар, и я по старой памяти возьму с вас не больше пяти франков; ручаюсь, что письмо будет доставлено.

Бейль понимал, что в предстоящем ему пути он может быть больше подвержен случайностям, чем этот лукавый итальянец, но доверить ему серьезную корреспонденцию он все же не хотел. Тогда, вынув карандаш и спросив клочок бумаги, он написал:

Вильна, 7 декабря 1812 г.

Я здоров, дорогой друг! Я очень часто думал о тебе на протяжении долгого пути из Москвы сюда. Эта дорога отняла у меня целых пятьдесят дней. Я все потерял, не имею ничего, кроме того, что на мне надето. Единственно, что мне нравится — это моя теперешняя худоба. Я испытал немало физических страданий и без всякого морального удовлетворения. Но все забыто, и я готов начать вновь службу его величеству».

Сложив эту записку пакетом, он написал адрес сестры Полины, своего единственного друга из всей семьи. Оливьери расплавил кусок рыжего сургуча, Бейль приложил вместо печати нарукавную военную пуговицу и вручил письмо итальянцу.

— Посмотрим, кто прибудет раньше в Гренобль!

— Будьте спокойны, синьор, письмо вас обгонит, — ответил Оливьери.

«Правда, это хорошая мысль — отправить письмо Полине. Оно, может быть, меня обгонит, — подумал Бейль.— Моя роль теперь кончена».

Она кончена была собственно 23 ноября, когда на берегу Бобра министр Дарю от имени императора поздравил Бейля с успехом его предприятия. Бейль, проехав с небольшим эскортом драгун и с тремя миллионами рублей в кармане по вражескому краю, закончил тяжелую операцию закупки хлеба и распределения его в частях отступающей армии. Дарю справедливо заметил, что без этого блестящего предприятия Бейля двигаться на Вильну было бы невозможно. Теперь роль Бейля кончена; виленские склады бесконечно богаты, но им некого обслуживать — армии больше нет. Этот странный генерал Бонапарт, который вчера приехал ночью в Погулянку, не заехав в город Вильну, прислал Коленкура к генерал-губернатору Годердорпу с приказом обеспечить императору лошадь и конвой.

«Я пишу Полине, что снова готов начать служить «его величеству», — думал Бейль, — а «его величество» оставил армию и стремится уйти так поспешно, что когда Годердорп вслед за Коленкуром приехал в Погулянку, то не застал уже «его величества». Так спешит, дезертируя, «генерал Бонапарт», приказав армейским частям держаться в Вильне. Нет, хорошо, что это письмо написано так! Если его перехватят, оно не возбудит ничьего подозрения. Это — короткая, вполне тактичная записка из армии родным во Францию, без малейшего намека на досадное разочарование в императоре-дезертире».

Гаэтан спал. Бейль, чувствуя онемение в ногах, сидел неподвижно.

«Все-таки в Вильне несколько дней обеспеченного покоя. Следует ли двигаться дальше в обгон армии, пользуясь законным отпуском, или нужно остановиться и набраться сил для дальнейшего пути?»

В голову пришла мысль о вчерашнем разговоре с виленским комендантом графом Дюронелем.

«Забавны бывают эти аристократы, когда вдруг ими овладевает благочестие. Вместо того чтобы заниматься делом, граф заказывал мессы в костеле святого Иоанна. Как можно думать о таком вздоре, как месса, в такие серьезные и опасные минуты? Положительно великие характеры и ясные умы выродились со времени «Энциклопедии». Настанет ли такое время, когда ясное и простое понимание законов материи будет определять собой взаимную связь человеческих обществ?»

Припоминались вечера, проведенные за чтением любимых книг на улице Бак в Париже. Лучшие страницы великих французских материалистов, людей свободного ума и пытливого исследования, дали ему спокойную устойчивость в жизни, раскрепостили его волю от всяких авторитетов, внесли свет чистого анализа и ясной диалектики в ту область, где люди обыкновенно строят фантастические догадки или создают фальшивые построения для порабощения чужой мысли и воли. Потом мысли опять перешли на Бонапарта. В голове мелькало:

«Россия... человеческие общества... первые отчетливые представления о вещах этого единственного мира, которому я целиком принадлежу и который также принадлежит мне до момента распада тончайшего вещества, именуемого моими жизненными центрами и заключенного вот в этой черепной коробке».

Первые уроки материализма были преподаны Бейлю во время двух революций замечательным человеком — геометром по фамилии Гро, жившим в Гренобле. Это был отчетливый ум. Гро тайком от родных водил школьника Бейля на собрания якобинского клуба. Где теперь этот ярый приверженец республиканской Франции? Каким прекрасным отдыхом были его уроки после религиозного вздора попов, обучавших Бейля по настоянию отца! Республика объявила священников, не присягнувших ей, вне закона. Но отец прятал попов в своем доме на чердаке и в подвалах, в амбарах и конюшнях. Они выползали оттуда, как тараканы из щели, зловонные и грязные, в засаленных сутанах, и, появляясь в маленькой комнате на Улице старых иезуитов, пожирали огромное количество пищи. Они-то и обучали маленького Бейля латыни и правилам католической религии. И то и другое было ему в одинаковой степени противно. Аббат Раллиан бил ученика по рукам за отказ написать поэму на нелепую тему о том, как во время урока у аббата в чашке молока утонула муха. Мальчик должен был описать это событие латинскими стихами, и так как он упорно отказывался, то Раллиан стал внушать ему, что невыполнение воли священника обрекает непокорного мальчика на вечные муки в аду. Бейль «ничего не имел против», но о мухе писать не хотел. После побоев, остановленных только приходом деда, старого Ганьона, посещавшего когда-то Вольтера,

аббат должен был уступить ученику. Это — очень памятный день. Старый Ганьон в чулках и туфлях, в черном шелковом камзоле, в трехъярусном белоснежном парике был исключением в семье. Насмешливый и мягкий обломок ушедшего века, он носил в своей крови горячность итальянских предков, в нервах — мудрую иронию фернейского философа. В его доме на улице Гренетт все было совершенно иное, не похожее на дом Бейлей. Не было отвратительных скользких лестниц, дверей, обитых железом, как в отцовском доме. Там была чудесная стеклянная галерея, сверху донизу заросшая виноградом, пронизанная светом, большая, просторная, кончавшаяся входом в таинственную комнату — в библиотеку, где столько запретного удалось прочесть мальчику. Дед затратил около тысячи франков на покупку «Большой энциклопедии наук, искусства и ремесел». Как серьезны должны были быть внутренние побуждения старика, чтобы при его сравнительно малом достатке израсходовать такие большие деньги на покупку «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера.

В тот день, когда аббат Раллиан дал волю своим рукам, старик Ганьон уговорил его отказаться от темы «Муха в молоке» и почитать маленькому Бейлю Горация. Но вместо того, чтобы принудить к этому разъяренного мальчика, не знающего, куда девать руки, исполосованные жгутом, старик сам, вынув из кармана книгу, стал читать и комментировать текст, обращаясь попеременно то к аббату, то к внуку.

Хорошо памятен этот день. Отец, Керубин Бейль, вошел как раз в ту минуту, когда старик произнес слова: «O rus! Quando te aspiciam?» [1] Гораций любил деревню. Он сам, подобно Эпикуру, делал посадки в своем саду и деревенский дом предпочитал шумному Риму. Отсюда возглас: «О деревня! Скоро ли снова тебя я увижу?» Керубин прервал своего тестя словами:

— Я тоже склонен воскликнуть это, но с иным значением и совсем по иному поводу. Революция зашла слишком далеко. Единственное спасение от беспорядков и террора — это Rus, вернее, русские войска. И вот, помяните мое слово, дорогой аббат, что на всеобщий возглас Франции: «О Русь! Скоро ли я снова тебя увижу?» — русский

[1] О деревня! Скоро ли снова тебя я увижу? *(лат.)*

император пришлет своих солдат, чтобы вернуть законных королей французскому престолу.

— Я сомневаюсь, дорогой племянник, — ответил Ганьон, всегда называвший зятя «племянником», — чтобы латинская грамматика простила вам эту игру словами, хотя Россия, как я слышал, и является огромною степью с... деревнями, — Ганьон сделал ударение на этом слове, — но все-таки слово Russie [1] нельзя производить от латинского rus. Что же касается вашего мнения о республике, то помните, что стремление народов к правильным и совершенным образам правления свойственно им в гораздо большей мере, нежели стремление аристократии к равновесию других сословий. Природа создала человека свободным. Ребенок, рождаясь, не выбирает себе ни титулов, ни сословной принадлежности, и, будучи правильно воспитан, он имеет те же свойства ума, что и всякий другой, — как хорошо сказал Гельвеций в «Трактате об уме». Следует ли вам, дорогой племянник, отводить времена назад, или ускорять их течение, или обижаться на историю, когда вы знаете, что это бесполезно? Я тоже немало страдаю при звуке выстрелов на площади Гренетт, но скажу вам прямо — я не верю, чтобы террор был прихотью каких-либо безумцев. Люди хотят свободно выявлять свои способности, а не молиться на привилегии дворянства. Что касается русского императора, то я уверен, что помощь, полученная от этой скифской страны, только ухудшит положение нашего отечества.

— Вы говорите ужасные вещи, глубокоуважаемый господин Ганьон! Вспомните, как эти негодяи казнили короля!

— Как же его не казнить, когда он — предатель! — воскликнул мальчик.

И, несмотря на заступничество деда, Бейль был вторично наказан, но уже не попом, а отцом. Дед хотел укрыть мальчика полой камзола, но тот отказался искать убежища и защиты: ведь это было страдание за свои политические убеждения, а он — десятилетний республиканец!

И вот теперь Бейль сидит в Вильне. Республика давно погибла. Франция опять в тупике. Солдаты русского императора преследуют остатки французской армии, которые

---

[1] Россия.

безудержно стремятся к западу. Потеряно все. Кажется, больше нечего терять, кроме жизни. Если бы не твердая решимость остаться в живых во что бы то ни стало, то случай умереть представлялся каждый день тысячу раз. На этом страшном пути на Вильну встречались длинные пролеты и пустыри, где не было ни одного жилья и негде было остановиться. Попытка переночевать в одной придорожной корчме едва не стоила жизни. Однажды ночью набрели на какую-то избу, которая стояла, притаившись, во мраке. На стук никто не отвечал. Ворота висели только на верхних петлях, но дверь была заперта изнутри, — очевидно, кто-то был внутри, но не впускал. Напирая плечом, отбив кулаки, Бейль с трудом открыл дверь. Громадная фигура загородила ему дорогу и бросилась на него. Пистолетный выстрел осветил комнату. Труп, примерзший к двери, повалился на пол. Десятки покойников у столов и у стен, полуголые и объеденные волками, окружали Бейля. Все сидевшее и лежавшее обмерзло и, несмотря на заледенелость, издавало тонкий и страшный запах смерти. Лошади во дворе метнулись в сторону. Бросившись на крыльцо, Бейль во-время успел схватить под уздцы взбесившуюся лошадь. Две других, оборвав постромки, храпели, взмыленные, как в жаркий день. Если бы они унеслись в снежные пространства, гибель стала бы неизбежной. Кибитка упиралась в ворота сарая. В нем слышалась жуткая возня. Один за другим через оконце под самой крышей из сарая выпрыгнули, сверкая глазами, пятеро огромных сытых волков. По крайней мере столько насчитал их Бейль, дважды выстрелив из пистолета.

И вот, наконец, Вильна. Покой и перспектива дальнейшего безопасного пути. Однако Гаэтан уже не дремлет, а спит глубоким, крепким сном. Из попытки растолкать его ничего не выходит. Три с половиной часа дня. Пора возвращаться к себе, на Замковую улицу, и идти к коменданту за подорожными.

В кофейню входит, позванивая шпорами, знакомый командир 8-го уланского полка, князь Доминик Радзивилл, владелец огромных имений в Литве и Польше, двадцатишестилетний камергер двора русского императора, присягнувший на верность Наполеону. Изящный, легкомысленный, болтливый, дважды женатый и дважды разведенный, он на войне чувствовал себя, как на балу. Он

очень любил тыловые города, обеспеченные всегда огромным количеством людей, прожигающих жизнь и мотающих деньги, проводя время в кутежах и устраивая на фольварках балы для французских офицеров с мазурками и полонезами от зари до зари.

Когда-то и Бейль мечтал о такой жизни, но это было очень давно. Он был школьником в Центральной школе, учрежденной Конвентом, и предмет его воздыханий — артистка Кюбли — всегда рисовалась ему в ореоле такого именно бального успеха. Сейчас сердце его было совершенно спокойно, а долговременная привычка к суровой и воздержанной жизни стала его второй природой.

Радзивилл был не один. С ним вместе вошел Жозеф Лефевр, ровесник Радзивилла, человек маленького роста, с блестящими черными курчавыми волосами, огромными черными глазами и маленькими белобрысыми усиками. Этот Лефевр, человек безумной отваги, в двадцать шесть лет имел чин генерала и командовал бригадой, почти сплошь уничтоженной в последних боях. Бригадный генерал без бригады, он сам только неделю назад лежал в виленском госпитале. Он вошел вместе с Радзивиллом в кофейню, продолжая, очевидно, ругать докторов и госпитальные порядки.

— Если бы не мое замечательное здоровье, то эти канальи наверняка уморили бы меня своим уходом. Выживают только те солдаты, у которых хватает силы бросать в докторов тяжелыми предметами, чтобы отогнать их от матраца на грязном полу. Ни коек, ни белья! Черт знает что! В Литовском замке напихано восемь тысяч гниющих и стонущих полутрупов. Умерших тут же выносят во двор и у башни с амбразурой, пересеченной крестом, — ты ее знаешь, — складывают, как бревна. Вот и вообрази: по крайней мере на полтораста метров в длину тянется эта кладь из обледенелых человеческих трупов и доходит до высоты второго этажа.

Проходя мимо столика, оба офицера увидели Бейля. Поздоровались, сели вместе, стали подшучивать над спящим Гаэтаном. Бейль подтвердил, что видел эти невероятные штабеля из восьми тысяч трупов у стены Литовского замка, и в свою очередь рассказал, как один белорус чинил пострадавшую от снаряда стену избы обледенелыми трупами вместо бревен. Разговор перешел на современное

положение дел. Радзивилл, посмеиваясь и хлопая замшевой перчаткой по столу, говорил:

— Вам хорошо. Вы уедете к себе. Но что будет со мной? Король Александр (он называл императора Александра его польским титулом) издал указ о конфискации всего моего имущества. Неужели придется спешно продавать его моим двум женам, четырнадцати детям и восемнадцати кузенам, чтобы оставить себе хоть какие-нибудь доходы?!

«Этот поляк, кажется, думает только о деньгах, — подумал Бейль. — Хорошо, что он по крайней мере не жалуется и не распинается в преданности Наполеону».

Лефевр стал расспрашивать Бейля о Москве. Но не успевал тот начать фразу, как Лефевр перебивал его и быстро говорил сам:

— Ты напрасно бросил Политехническую школу... Франции нужны инженеры и математики... Теперь уж этого не поправишь... Английская промышленность нас обгоняет, и, вместо того чтобы возиться под Москвой, нам нужно было бы строить паровые фабрики... Эти сволочи, санкюлоты в Конвенте, недаром выдумали Эйлеровский политехникум. Они знали, что без машины сейчас никуда не уйдешь... Я артиллерист и командир бригады. А если бы я кончил твою школу, я был бы инспектором артиллерии. Нам нужно обогнать Англию, а вместо этого мы не выходим из тупика. Вчера еще Хох-Годар имел французские газеты. Нехорошо, что во Фландрии распускают последних суконщиков. Не может же его величество посылать армию в Россию без штанов. Это было хорошо в Италии. Тогда мы в таком виде брали приступом женские монастыри. Мне любовница-монахиня сшила рейтузы из сутаны. Сейчас это ни к черту не годится... Однако ты помолодел, Бейль!.. Сколько тебе лет?

— В январе мне будет ровно тридцать.

— Подумать только! Мне было пятнадцать лет, когда я стал конноординарцем и верховым изъездил всю Ломбардию...

— Тебе сейчас — двадцать шесть, но ты успел искрошить столько людей...

— Я тебе говорю — мне было пятнадцать, когда я убил одного человека и сделал другого. Кланяйся моим детям, не знаю, как их зовут, но уверен, что их наберется с сотню во всех городах Италии.

Порыв ветра ударил в стекло, ответившее легким звоном на отдаленное гулкое сотрясение воздуха... Беседа оборвалась. Все переглянулись. На лицах появилось выражение тревоги и досады. В этот день в четыре часа под Вильной началась канонада.

Глава пятая

Сегодня истекали пять месяцев и двенадцать дней французского управления Вильной. Канонада была еще очень далеко, но самая ее возможность была неожиданностью для Бейля и его собеседников. С напряженным вниманием, молча прислушивались они к этим легким, едва заметным волнам, ударявшим в стекла кофейни. Бейль думал, напрягая слух. Он знал, что по звуку трудно определить расстояние: оно могло быть и очень далеким, если по пути воздушные волны встречали большие потоки ветров, могло быть и очень близким, если ветер дул к городу со стороны выстрелов. Опыт войны научил его составлять заключения о дальности и направлении выстрелов лишь по истечении длительного промежутка времени. Обычно такие заключения приходили к нему внезапно, в какую-то одну отчетливую секунду, когда один-два донесшихся выстрела сразу определяли для него расстояние и местонахождение неприятельских батарей.

Эта секунда не наступала. Гаэтан, спавший во время разговора, проснулся, когда все смолкли. Он проснулся сразу, как просыпаются на войне. По лицам собеседников Ганьон понял все. Пожав руки Радзивиллу и Лефевру, он не произнес ни слова. В эту минуту в комнату вошли Бергонье и товарищ Бейля, спутник многих его поездок, аудитор Государственного совета Бюш. Поздоровавшись, Бюш произнес:

— Говорят, это артиллерия казака Сеславина, но разведка показала, что он еще очень далеко.

— А разве у здешних неаполитанцев есть разведка? — спросил Бейль с досадой и иронией.

Лефевр ответил:

— Ну, не военная разведка, конечно!

— Ах, вот как! — воскликнул Бюш. — В таком случае мое заключение о дальности сеславинской артиллерии преждевременно. Прошу извинить!

— Куда же к черту годятся ваши кавалеристы, если вы не высылаете разъездов? — спросил Бейль.

Ответил опять Лефевр:

— О виленских делах вообще судить довольно трудно, но госпитальные врачи говорят, что нет ни одного необмороженного итальянца. Французы, особенно нормандцы, выносят холода значительно легче, а эти сначала зябнут, а потом сразу теряют ощущение холода, после чего им режут руки, ноги или уши. В большинстве случаев даже легкие операции кончаются «снежным одеялом», как здесь говорят.

— Я не об этом говорю, — возразил Бейль. — Я хочу сказать, что армия совершенно разложилась. В Москве я неоднократно видел, как офицеры и солдаты дрались из-за раздела какого-нибудь имущества. А то, что ваша кавалерия бездельничает в Вильне, только подтверждает мою мысль.

— Однако положение довольно неприятное! Мюрат ожидал приближения русских не раньше как через три-четыре дня, — сказал Ганьон. — Ты был совершенно прав, Анри, когда выгонял меня из Вильны.

— Бейль вообще очень предусмотрителен, говорю без преувеличения: если бы не он, то я не сидел бы здесь, а был бы подо льдом Березины, — сказал Бергонье, беря Бейля за руку и пожимая ее. — Если бы вы знали, что это был за ужас, когда проклятая Березина наполнилась водою поверх ледяного покрова и разлилась на целый километр! На второй водной поверхности возникла тонкая ледяная корка. Все это трещало, плыло, качалось под ногой. Нас спас баварец Вреде. Бродя со своей бригадой по лесам и берегам, он встретил около Студенки литовца, ехавшего верхом на мокрой лошади. Уж не могу вам сказать, как Вреде с ним объяснялся, но только литовец показал на Студенке место, где он переехал верхом Березину, «став на конский круп и даже не замочив обуви». Мокрая лошадь служила лучшим переводчиком с литовского языка на немецко-французский, на котором говорит Вреде. К тому времени, когда в штабе узнали об этой переправе, вода опять поднялась. Ширина реки всех испугала. Мюрат убеждал императора, что армейская переправа невозможна, и уговорил его решиться на отъезд без армии. Из соседних сел в штаб пригласили крестьян и корчмарей, долго расспрашивали их о переправах, хо-

рошо вознаградили и отпустили, громко называя те пункты и районы, в которых якобы должна состояться наша переправа. Очевидно, русские поддались на эту удочку, так как именно в этих местах были сосредоточены их поиски. Я не знаю, что произошло потом. Я слышал, что император с Коленкуром, Мутоном и Вонсовичем переправился на следующий день. Я был совершенно болен и разбит и считал себя погибшим, если бы не Анри! Этот мудрец уговорил меня вечером переехать через реку в том месте, где работы понтонеров еще только намечались. Без него я ни за что бы не решился на эту головоломную операцию. И вот — я спасен. Ну, как ты смотришь теперь на дела? — обратился Бергонье к Бейлю.

Бейль заговорил очень резко, взглянув на ослабевшего от болезни Бергонье:

— Я никак не смотрю на дела, потому что никаких дел не делают наши разбогатевшие маршалы и армия, которая совершенно не понимает, за что она дерется. Я ждал, что Франция объявит Польшу свободной от русского деспотизма, что Литва станет на ноги, что в России мы нанесем удар рабовладению. Ничего этого не случилось. В нашей армии исчезла энергия даже тысяча семьсот девяносто шестого года, не говоря уже о тысяча семьсот девяносто третьем! Почему я это говорю? Припомни, Бергонье, сам; по-моему, это было шестого ноября под Смоленском. Помнишь, когда пошел невероятно густой снег и мы не сразу узнали примчавшегося графа Дарю, так он был засыпан? Помнишь, как тотчас же вокруг него и императора был расставлен двойной ряд часовых? Ну, ты помнишь, в чем дело?

— Ну да, продолжай, помню! — сказал Бергонье, смущаясь и словно не понимая, зачем Бейль вызывает это тяжелое воспоминание.

— Ну, так вот: ты помнишь, что было дальше, после того как ты спросил, зачем этот двойной ряд часовых? Все поняли: значит, что-нибудь случилось.

— Ну да, помню! — отвечал Бергонье уже с явной досадой в голосе и отвернулся к окну, чтобы не смотреть в глаза Бейлю. Но тот, с заострившимися чертами лица, наклонясь грудью к столу, старался поймать взгляд Бергонье, заставить его говорить.

Бергонье молчал.

— Вот что, Бергонье. Не делай секретов из того, что все

знают. Мы не будем называть имен тех, кого император пригласил сразу после прочтения эстафеты, привезенной графом. Император был в Смоленске, а в Париже в эти дни подавляли заговор Мале, писали опровержение на подпольные типографские листовки, извещавшие о полном истреблении французской армии и призывавшие произвести аресты министров и префектов, чтобы, как думали одни, посадить Бурбонов, другие — вернуть времена Конвента. Но дело не в этом. Заговор Мале — амальгама монархистов и крайних республиканцев, неожиданно дружно соединившихся против Наполеона... Дело в том, что император позвал нас в числе других офицеров и в резкой форме, ничего не скрывая, рассказал о парижских событиях. Так он всегда, при внезапных поворотах, любит узнавать настоящие мысли и чувства людей.

Бергонье нахмурился.

Бейль продолжал:

— Я не говорю о тебе, но припомни, с какой мукой другие старшие офицеры говорили: «Значит, страшная революция тысяча семьсот восемьдесят девятого года еще не кончена? Значит, возможен новый «Якобинский клуб»? У императора создалась уверенность в том, что офицеры потеряли чувство прочности его власти; у элегантных маршалов и титулованных офицеров штаба было смятение, боязнь якобинцев. И не было мужества вспомнить, что говорил сам Бонапарт в тысяча семьсот девяносто шестом году! Так вот я скажу, что в тысяча семьсот девяносто шестом году в армии было сознание того, что она борется за свое дело. Пожалуйста, не пугай меня жестами. Я вижу твои аргументы. На каждом пальце твоей протестующей руки висят Робеспьеры, Сен-Жюсты, Кутоны и Мараты. Ты помни, что восемнадцать лет тому назад французские крестьяне получили землю, а когда им силой иностранного оружия помешали начать запашку полей и виноградников, они ответили на это высылкой вооруженных отрядов на границы. Тогда не было двора, вежливость была запрещена законом, потому что шитый камзол не нужен хирургу; революционная война придала нравам естественность, умам и характерам — серьезность. С этой революционной войной генерал Бонапарт пошел через Альпы в тысяча семьсот девяносто четвертом году. Это было восемнадцать лет тому назад. Тогда вахмистр, почти солдат, мог быть адъютантом, тогда именем революции

сын бочара из солдат попал в маршалы. Теперь буржуа гоняются за титулами, а император боится смеха. Каждая новая песенка на неделю ссорит его с полицией в Париже. Скажи, Лефевр, чтобы вернуться к нашей теме, сколько людей прошло за эти два года через твою бригаду?

— Семьдесят девять тысяч человек.

— Значит, это не постоянный состав, а проходные ворота, где ни одного дня не бывает тесно сплоченной военной семьи. И не война тому причиной. Этот поток, тридцать пять раз сменивший состав бригады, несет с собою человеческие единицы все худшего и худшего качества, а разложение армии, кроме того, идет еще и сверху. В штабы влилась старая волна титулованных людей, мечтающих о «законной» власти. Я не говорю о Радзивилле — у него свои причины стать сторонником французского оружия. Я говорю о наших аристократах: у них свои счеты с Бонапартом, как они выражаются. Итак, старое вино — в штабных мехах, и неперебродившая молодежь — в составе новых батальонов. А хуже всего — исчезновение живого интереса к тому, за что воюет Франция. Неужели возможно допустить, чтобы безграмотная, дикая толпа донских крестьян, именуемых казаками, могла обращать в бегство тысячи французов, знающих, за что они сражаются? Россия побеждает вовсе не потому, что она хороша, а потому, что мы стали плохи. Я знаю русские войска; я достаточно много читал и видел в Москве. Россия — страна самозванцев, рабства и фальши. Растопчин, призывавший бога в каждой своей прокламации, позабыл припрятать в своей библиотеке рукопись «О небытии божием». Я сам читал ее, проведя сутки в его дворце. Читал с помощью мальчика поляка, кажется, Пьера Каховского, как он себя назвал. На столе лежало распоряжение сжечь дворец. Однако, раскидывая зажигательные ракеты повсюду, Растопчин ухитрился свой дворец оставить в целости. И так всё. Ужаснейшие разоблачения секретов русского двора нашел я в растопчинской библиотеке. Мой кучер Артемисов привел мне этого застрявшего в Москве школьника Каховского, хорошо знающего французский язык. Я просил его читать мне мемуары русских историков. Это были ужасные сказания о трех Лжедмитриях, о Лжепетре, который на самом деле оказался Пугачевым, но тут же я нашел английский памфлет, раскрывший мне тайну нынешней династии. Так называемые

нынешние Романовы тоже самозванцы. Никакой разницы с прежними. Один назывался Петром Третьим, а был Пугачевым, другой называется Александром Романовым, а на самом деле он — просто Салтыков, получивший дворянство прямо из екатерининской спальни. И эта страна...

— Остановись, Бейль, — произнес Бюш. — Я все-таки думал, что ты никогда не вернешься ко времени Гренобля. Ты опять повторяешь свои мальчишеские ошибки.

— Нет, это не ошибки. Что делают здесь французы? Вместо того чтобы освобождать нации и уничтожать торговлю восточными рабами, французы стравливают еврея с поляком и белоруса с литовцем, чтобы иметь возможность держаться в крае со слабыми гарнизонами.

В разговор вмешался Лефевр:

— Но ведь у тебя вообще, очевидно, отвращение к войне? Ты говоришь так, как не может говорить военный комиссар императорского правительства.

— Я говорю как наблюдатель человеческих характеров. Я стараюсь руководствоваться логикой и изучаю разноплеменный состав нашей армии как исследователь.

— А где же твой патриотизм?

— У меня его нет, по крайней мере в твоем смысле. В каждом сословии свое понимание «отечества», совсем не похожее на другие.

— Как? Вот это — новость! Что же ты будешь делать дальше?

— Уеду в Милан. Это — мой любимый город.

— А я думаю — в Марсель, — ядовито вставил Бюш.

Все переглянулись.

— Почему в Марсель? — спросил Бергонье. — Ах, да, — продолжал он, — там эта прекрасная Мелани Гильбер. Кстати, что с ней и где она?

— Неужели ты не знаешь? — начал Бюш. — Бейль, ты можешь не слушать, отвернись! Вы, господа, не представляете, на какие подвиги был способен этот военный комиссар всего каких-нибудь шесть лет тому назад. Артистка Мелани получила ангажемент в Марсель, в городской театр, а Бейль, чтобы не разлучаться с подругой, выхлопотал себе «ангажемент» в бакалейную лавку.

— Черт знает что такое! — воскликнул Лефевр.

Радзивилл вежливо улыбнулся, стараясь показать, что он нисколько не шокирован французами.

Бюш продолжал:

— Ради этой женщины я согласился бы быть сапожником и лакеем. Я видел ее по возвращении в Париж из Марселя, уже после того, как вы расстались, — обратился Бюш к Бейлю. — Она жаловалась на тебя, Анри. Сначала ее восхищал твой поступок: в самом деле, стать бакалейщиком, конторщиком у Менье — это большая жертва. Но ведь и она принесла тебе немало.

— Я слышал, что она принесла ему дочь, — произнес Гаэтан Ганьон. — Ты сам рассказывал мне о вашем совместном купанье на тенистом, заросшем деревьями берегу Ювонны.

Бейль посмотрел на всех холодными глазами и сказал:

— Да, тогда я написал дяде, что эта девочка — моя дочь. Но теперь, когда ребенок умер, а Мелани, вышедши замуж за Баскова, пятый год находится в России, у меня нет причин скрывать что-либо. Девочка не была моей дочерью. Мелани — в Петербурге, и вряд ли ей удастся увидеть снова Францию. Я ничего не имею против того, чтобы перейти к другой теме разговора.

В соседней комнате послышалось движение. Кто-то быстро открыл дверь. Вошел Оливьери и с видимым волнением стал ходить между столами. В кофейне стояло около двадцати столиков; большая часть из них уже опустела.

— Господа, — обратился Оливьери к немногочисленной публике. — Кажется, сегодня я торгую последний день. Все соседние дома наполнены голодными и оборванными людьми, ворвавшимися в город. Небезопасно оставлять двери отпертыми. Есть ли при вас оружие и не разрешите ли вы мне наглухо запереть дверь? Когда господа офицеры кончат, они благоволят выйти со мной другим ходом.

Все встали.

Радзивилл хотел расплатиться и вынул деньги. За соседними столами также собирались уходить. Оливьери с почтительным поклоном вернул деньги польскому князю.

— Ваше сиятельство, я — бедный человек. У меня нет ни Шенберга, ни Радзивиллишек, ни биржанских имений; заплатите французскими деньгами, будьте милостивы!

Радзивилл закричал:

— Как ты смеешь, собачья кровь!

— Ваше сиятельство, потом вы потрудитесь вспомнить

эти слова, а сейчас я прошу взять обратно фальшивые деньги вашего сиятельства.

Радзивилл покраснел, но вмешался Жозеф Лефевр и, положив руку на рукоятку уланского палаша Радзивилла, стал рассматривать ассигнации. На каждой ассигнации вместо обычной надписи «пять рублей» стояло *«пять рубльби»*. Бейль указал на эту ошибку. Радзивилл наклонился и тотчас заметил вторую опечатку, — вместо «ходячею монетою», на ассигнации была надпись *«холячею монетою»*.

— Собачья кровь! — вдруг закричал Радзивилл. — Но эти деньги я вчера получил в канцелярии французского губернатора! Скажите по секрету, где делают эти деньги? — резко обратился он к французам.

Бейль спокойно ответил:

— Во всяком случае, не во Франции. Французские граверы не делают ошибок... хотя не исключена возможность развала вражеского рынка посредством потока фальшивых кредиток. Так англичане делали с нами во времена Конвента.

Радзивилл едва заметно пожал плечами. Потом вынул из кармана золотую монету и, швыряя ее со звоном на стол, сказал:

— Так это, очевидно, здешняя помощь Франции со стороны друзей, работающих в свою пользу.

Бейль поймал эту фразу и, не сморгнув, спокойно ответил:

— Все друзья *работают в свою пользу.*

Французы улыбнулись, Радзивилл нахмурился, найдя намек слишком ясным. В мирной обстановке при подобных обстоятельствах быстро вспыхнула бы ссора, но сейчас ощущение общей опасности действовало на всех умиротворяюще. Гулкие звуки выстрелов сотрясали железный воздух морозного дня. К артиллерии присоединилась ружейная стрельба, доносившаяся из недальнего переулка. Положив на стол деньги и осмотрев пистолеты, посетители кофейни поодиночке стали выходить. Оливьери провел их в погреб и там, повернув камень, вывел наружу темным подземным каналом, сохранявшим теплоту грунтового слоя даже в самые сильные морозы.

Когда Бейль вместе с Бюшем и Ганьоном очутились на пустыре, в другом квартале, и вышли на улицу, странное зрелище представилось их глазам.

Глава шестая

Группа около ста человек, казавшаяся в сумерках каким-то огромным черным пятном, в непонятном молчании не шла, а скорее крадучись пробиралась по улице. Временами раздавались стук в дверь и крики.

Бейль и его кузен с изумлением наблюдали движение толпы, будучи не в состоянии определить, кто эти люди.

— Очевидно, мародеры? — спросил, наконец, Ганьон.

— Не думаю, — ответил Бейль.

В эту минуту раздался звон стекол. Кто-то отчаянно закричал, послышался выстрел. Толпа остановилась и ответила на выстрел грозным рычанием. Бейль и Ганьон подбежали к дому. Люди подымали кулаки, швыряли камнями, стучали в окна и двери, сотрясая дом несчастного виленского обывателя. Сразу стало понятно, в чем дело. Повидимому, в Вильну ворвались остатки какого-то большого отряда. Ноги солдат были повязаны тряпками, бороды и усы заледенели, остекленевшие глаза с кровавыми струйками вместо слез под треснувшими веками смотрели бессмысленно перед собой. Люди, казалось, делали последние усилия, чтобы проникнуть, наконец, под кровлю после многих суток борьбы за жизнь, борьбы с морозом и голодом. Вот они уже ворвались в дом, теперь не встречая никакого сопротивления. Но долгожданный кров слишком запоздал: эти остатки человеческих существ лишились возможности без постороннего ухода вернуть себе разум и память. Некоторые в изнеможении падали, поскользнувшись на обледенелых ступеньках, и больше не вставали, другие, ворвавшись в дом, опрокинули огонь и стали невольными поджигателями своего долгожданного жилища. Деревянный дом, быстро охваченный пламенем, выгонял обратно обезумевших людей, захотевших погреться и получивших вместо этого ожоги. В несколько минут переулок наполнился едкими клубами дыма. А затем пожар перекинулся на соседние дома. Гаэтан, закрыв лицо руками, бросился бежать вдоль улицы.

Спокойно и холодно поглядывая назад, Бейль пошел в комендатуру, стараясь не заходить в переулки, ведущие на Ковенскую улицу, со стороны которой неслись звуки выстрелов, крики и топот нестройно проходивших обозов и человеческих толп. Но уже почти не было улицы и переулка, где не повторялись бы на десятки, сотни ладов

те же сцены: толпы голодных и оборванных людей штурмовали дома и магазины, то быстро ими овладевая, то откидываясь и шарахаясь в сторону под градом пуль из окон. Бейль остановился, удивленный: пятеро солдат, таких же голодных, как и остальные, пытались организовать толпу. Они делили ее на взводы и отделения, убеждали организоваться без офицеров, раз те трусливо бежали, бросив на произвол судьбы свои отряды. Они кричали и угрожали, призывая товарищей к порядку, так как до Франции еще далеко. И, как ни странно, но двести — триста человек около Остробрамских ворот построились в ряды и пошли по улице без криков, в полном порядке, вняв увещанию своих выборных командиров, кричавших, что только этим способом они могут занять хорошее помещение, отдохнуть и получить пищу. На следующей улице Бейль увидел усталую, но идущую в полном порядке немецкую часть. Солдаты говорили между собой. За ними шагом плелись десять повозок, запряженных русскими крестьянскими лошадками. Эти немцы выбирали маленькие переулки. Их родина была близко. Пока они проходили перед Бейлем, он успел услышать, как они перечисляли остановки, ночлеги и сроки своего прибытия в Кенигсберг, Бейль силился понять различие национальных характеров: спокойствие баварцев ему казалось результатом безучастного отношения к исходу борьбы Бонапарта, но его удивляла их организованность и хозяйственная деловитость в такие моменты, когда все распадалось и прежде всего исчезала вера в правоту войны. Каждый поворот и каждый угол открывали перед ним картины — одну неприглядное другой. Смешанный отряд, в котором нельзя было разобрать полковой принадлежности, осаждал провиантские магазины. Неаполитанские стрелки с ружьями наготове стояли в тридцати шагах от стен и никого не подпускали. В окнах верхнего этажа был свет. Громадный костер горел на улице. Тысячная толпа теснилась к огню, сталкивая передние ряды в лужи растаявшего снега, в клубы дыма и в самый огонь. Раздавались крики, угрозы; порою голоса толпы сливались в один яростный, грозный вопль. Но двери и ворота провиантского магазина не открывались. В ближайших рядах стояли солдаты и выкрикивали проклятия по адресу офицеров, трусливо бежавших, бросив отряды, и укрывавшихся в теплых домах. Эти крики французов, обращен-

ные к итальянским солдатам, казалось, не производили никакого впечатления ни на неаполитанских стрелков, ни на офицеров, смотревших из освещенных окон второго этажа на улицу. Форточка открылась. Тяжелый пистолет оглушил воздух резким выстрелом. Толпа замолкла. Неаполитанские стрелки щелкнули оружием и кинули залп в молчаливую толпу. Кое-кто упал. Передние ряды отшатнулись. Раздались стоны, бешеный крик, и толпа смяла стрелков. Откуда-то взялись топоры, ломы, затрещали двери, зазвенели стекла. Через минуту офицера без шапки тащили по площади. С него сорвали погоны и, избив, швырнули в костер.

Ярости не было предела.

Миновав два квартала и стараясь не сбиться с дороги, Бейль ускоренными шагами шел в комендатуру. Следующие улицы уже были оцеплены. Подойдя к кордону, Бейль предъявил свой военный пропуск. Солдат не обратил на него никакого внимания. Он не понимал по-французски, не умел читать и смотрел на черный султан и на лицо Бейля с недоверием, даже с некоторым презрением. В ответ на попытку Бейля пройти солдат загородил ружьем дорогу.

— Нет прохода! Запрещено, — сказал он по-итальянски, с сильным корсиканским акцентом.

Бейль заговорил по-итальянски:

— Земляк! Я не знал, что ты итальянец! Откуда ты родом?

— Я из Сартэны.

— Ах, корсиканец! Родной! А я из Неаполя! Пропусти меня, друг, меня ждут в штабе!

Солдат добродушно улыбнулся и вежливо произнес:

— Пожалуйста, господин начальник.

В комендатуре Дюронеля Бейлю резко отказали в лошадях. Ганьон, прибежавший раньше, узнав об этом, всплеснул руками.

— Ах, ты уже здесь? — спросил Бейль и, не потеряв спокойствия, решил начать с молчаливого изучения обстановки.

Он уже узнал из рассказов и донесений беспрестанно прибывавших офицеров, что в течение полутора часов в Вильну ворвалось свыше тридцати тысяч разбитых, бросивших оружие, голодных солдат Великой армии и что вот-вот по их головам ворвутся в Вильну казачьи орды

генерала Сеславина. Отдавались спешные распоряжения: урегулировать движение по улицам тех частей, которые идут с оружием; расстреливать мародеров; внести хоть какой-нибудь порядок в тот страшный хаос, который воцарился в Вильне, еще вчëра спокойной и «дышащей изобилием», по выражению интенданта.

— Неблагополучно во дворце неаполитанского короля, — сказал один офицер.

— Как, Мюрат убит?!

— Вздор! — перебил Дюронель. — Не советую поддаваться панике. Господа офицеры благоволят не повторять ложных слухов!

— Конечно, вздор! — подтвердил вошедший офицер.— Я только сейчас слышал Мюрата, он обратился с речью к отряду, расположившемуся около Панарских гор. Король осыпал солдат такой отборной руганью и так мастерски перечислял все части своего тела, что солдаты в недоумении на минуту забыли о своих несчастиях. Это — значительный отряд. Он безусловно может задержать вторжение казаков.

— Вздор говорите вы, а не я! — перебил оптимиста паникер.

В эту минуту канонада за городом усилилась, и, словно в ответ на нее, затрещала ружейная стрельба. Дюронель обвел глазами присутствующих и произнес с артистическим спокойствием:

— Это не ближе двадцати километров. — Потом, переведя глаза на Бейля, холодно и твердо сказал: — Господин директор, я прямо не знаю, как мне с вами быть: виленское дворянство, купцы и члены временного правительства с такой невероятной быстротой разобрали всех лошадей, когда тайком покидали город, что я не знаю, на чем вы можете поехать, раз мои квартирьеры вам уже отказали. Попытайтесь добиться лошадей другим способом.

Офицер наклонился к коменданту и стал шептать ему что-то на ухо. Комендант побледнел и быстро вышел. Никто не обратил на это внимания. Усталый, измученный дежурный упаковывал в огромный кожаный баул папки и документы.

Молодой офицер с безумными глазами, отмороженными ушами и рукой на перевязи, сидевший в меховой шубе, несмотря на страшную жару в комнате, рассказы-

вал своему соседу, как во время последней ночевки солдаты жгли деревню и грелись около горевших изб; они не могли войти туда, так как дома были полны трупов; из прогорклого дыма озверелые люди вытаскивали куски человеческого мяса и — он сам это видел — тут же съедали их.

— Очевидно, это было не в первый раз, — продолжал офицер, — так как выработались уже кое-какие приемы: солдаты у костров, за неимением соли, посыпали свое жаркое порохом.

Бейль решил во что бы то ни стало вернуться к Оливьери. Ганьон наотрез отказался, надеясь уехать с комендантом. Тогда Бейль пошел один. Комендантский кордон был снят. Никто из встречных, среди невообразимого беспорядка и диких сцен, не мог ему объяснить, где находится французский штаб. Смешавшись с толпою и перебегая улицы, пустеющие под залпами, Бейль только через два часа добрался до кофейни. Никто не отпер на его стук. Ворота и двери были словно не заперты, а забиты наглухо. Бейль стал громко звать Оливьери. Никто не откликался. Бейль был близок к изнеможению, граничащему с отчаянием.

Вынув пистолет, он хотел стрелять. Выстрелить в воздух? Но для чего? Потом, овладев собой, он решил не тратить выстрела, который мог бы еще пригодиться, и вдруг поймал себя на чувстве самого настоящего страха.

«Неужели я трус?» — подумал он.

Вопросы, предлагаемые себе напрямик, всегда выправляли его поведение. На этот раз вопрос мало подействовал, а между тем каких-нибудь две недели назад его положение было в тысячу раз хуже и безнадежнее. Но тогда его поддерживала здоровая и неразрушенная воля к жизни, та энергия, которая тратится только на целесообразные, необходимые действия. Тогда мозг был занят не расслабляющими, а серьезными и крупными задачами. Он вспоминал, как парировал скептическим холодком шутки офицеров по поводу того, что он является главным организатором «смоленской кухни». Прозаическая работа прокормления десятков тысяч людей делалась им в силу простого и сурового понимания долга. Это сознание удерживало все его центробежные силы и чувства в одном узле.

«Однако совсем несвоевременные размышления: в комендатуре я мог бы по крайней мере переночевать, а сейчас я просто буду застрелен мародерами у первого забора... И это накануне выезда в Европу из этой адской ледяной страны рабов и негодяев!»

Калитка приотворилась, из нее, крадучись, вышел человек. Бейль молча схватил его за руку. Это был Оливьери со свертком. С ножом в руке он хотел защищаться.

— Чудак, разве ты меня не узнал?

— Ах, синьор, как вы меня напугали! Сегодня третий раз я пускаю в ход стилет, чтобы пробраться к моему жилищу. То, что здесь позабыто, не должно попасть в медвежьи лапы казаков.

— Оливьери, ты должен помочь мне уехать.

— Вам *одному* я могу помочь. Сейчас вы можете выехать со мной, но только надо очень, очень спешить. Уверен, что комендант, синьор Дюронель, припрятал лошадей и ночью вывезет целый обоз всякого добра.

Бейль был поражен незримой улицей, по которой они проходили и по которой, очевидно, можно было пройти через весь город. Вся сеть тайных ходов была хорошо известна Оливьери. Они входили в коридоры домов, проникали в погреба; пройдя двадцать шагов под землею, выходили в сарай какого-либо дома и шли по двору; отодвигая колья палисада, выходили на улицу, в какой-нибудь тупик; уверенно откидывали доски забора, висевшие на фальшивых гвоздях и, повидимому, привыкшие к этой операции, потому что они открывались без шума и стука, двигаясь на ременных шарнирах. Потом проходили через жилье, встречая хмурые, безмолвные лица, отворачивавшиеся при простом словечке *гик,* — и все это со страшной быстротой и с легкостью сновидения. Такой путаной дорогой, сообщавшей литовскому городу какую-то магическую проницаемость, они шли около полутора часов.

Бейль думал: «Вот настоящий император, командующий армией минут и секунд, — это *его величество случай!* Ну что же? Я верноподданный этого императора на сегодня. Это все-таки прочнее власти Бонапарта».

Усталость вскоре была забыта. Бейль дышал полной грудью и с восхищенным вниманием всматривался в темную фигуру корсиканского разведчика. Незначительный и угодливый содержатель кофейни, Оливьери внезапно пре-

вратился в ловкача, в стальную пружину, в жонглера каких-то неведомых жизненных сил.

После одного из поворотов, проходя по пустырю, заросшему бурьяном, обледенелому, напоминающему дикой белоснежной растительностью картины дантовского ада, Бейль, пораженный этим видом, остановился вслед за Оливьери. Тот несколько секунд молча прислушивался.

— Артиллерийский бой кончился, — сказал он. — Сегодня через Вильну прошло свыше сорока тысяч французов. Интендантские склады целы и послезавтра перейдут к казакам. Частные дома разгромлены, и нужно много лет, чтобы восстановить этот славный литовский город. А что сделали ваши командиры? Маршал Ней разбросал золото на паперти святого Яна... Там было полное братство народов... Литовцы, поляки, французы и немцы, забыв оружие, набивали карманы... сукины дети!.. Лефевра убили, когда он захотел помешать этому безобразию.

Бейль молчал.

Очевидно, Вильна была далеко. Уже давно казалось ему, что они шли по пригороду. Снег искрился под лучами месяца. Пройдя пустырь и миновав изгородь, путники спустились в лощину. Там, среди заиндевелых тополей, стояла небольшая халупка. Они вошли во двор. Наружные окна были темны, но в окне со двора виднелся огонь. Оливьери достал кремень и огниво, насыпал порох на лезвие стилета, порох вспыхнул, и в ответ на сигнал дверь открылась.

Высокий плечистый человек с горбатым носом и курчавой бородой встретил их и провел в комнату. За столом сидел дряхлый старик. Комната была бедная, и никак нельзя было определить, что представляли собой ее хозяева. Оливьери заговорил на жаргоне. Спорили долго и жарко. Наконец, черноволосый богатырь вышел и через минуту вернулся, неся в руках поношенный кафтан, кушак, рваную барашковую шапку, рукавицы и валенки.

— Вам придется переодеться, — сказал Оливьери Бейлю.

Бейль не возражал. Он спросил только, можно ли ему остаться в своем полушубке. Огромные замшевые карманы полушубка были единственными баулами, в которых хранились последние остатки его имущества. Правая перчатка из замши была давно потеряна, рука была обмотана полотенцем. На Замковой улице, у ординарца,

остались книги: «Брауншвейгский дневник 1806 года» и рукопись «История живописи в Италии», над которой он начал работать еще в Париже.

Оливьери утвердительно кивнул головой и прибавил:

— Надо спешить. Впрочем, сапоги, головной убор и военный сюртук мы положим под солому и возьмем с собой. Не беспокойтесь, ничего не будет потеряно. А если нас зацапают казаки, скажем, что сняли с убитого. Ваше письмо теперь уже наверняка обгонит вас по пути во Францию, — сказал Оливьери с улыбкой.

Бейль стал переодеваться. Еврей-великан опять заговорил. Оливьери обратился к Бейлю:

— Он просит вас подарить ему военный сюртук.

Бейль неохотно согласился. Скаля великолепные белые зубы и улыбаясь страшной и одновременно добродушной улыбкой, великан протянул Бейлю руку и сказал несколько слов.

— Он вас благодарит, — сказал Оливьери, — он говорит, что честному контрабандисту такая одежда завтра будет особенно необходима.

Выйдя из халупы и пройдя шагов двести, Бейль увидел на тропинке между тополями двух лошадей, запряженных гуськом в русские сани. Оба путешественника сели в этот маленький, тесный, варварский экипаж. Мальчик, лежавший в передке, зарывшись в солому, проснулся, свистнул и щелкнул кнутом, ударив переднюю лошадь.

— Я с вами до Кенигсберга, — сказал Оливьери. — Под Вильной дело очень плохо, но, уверяю вас, вам скоро придется вернуться назад. Наш император Наполеон непобедим, а Россия — конченая страна!

Глава седьмая

Адмирал Чичагов и главнокомандующий всех армий Кутузов собирались торжественно вступить в Вильну. Все шло как будто хорошо. Звезда кутузовской славы поднималась высоко. Ходили слухи, что Александр, окончательно помирившись с Аракчеевым, вместе с ним собирается ехать в армию.

Кутузова тревожили только мелкие «хозяйственные заботы»: императорский сервиз Бонапарта попал в руки ад-

мирала Чичагова. Рапортуя, адмирал ни словом не обмолвился об этом. «Ах, этот адмирал! Теперь уж никаких сомнений нет, что это он упустил Бонапарта под Студенкой», — думал Кутузов. И вот, встретясь с Чичаговым, Кутузов смотрел на согнувшуюся спину почтительного адмирала и сам, наклоняясь тучной фигурой, глядя единственным глазом в пространство, сиповатым голосом равнодушно говорил:

— Ваше высокопревосходительство, Бонапарта упустив, сервиз его подобрали?

Адмирал, не разгибая спины, почтительно ответил:

— Ваше сиятельство могли оный сервиз еще в Москве от Бонапарта отобрать, — намекая таким образом на сдачу Москвы.

После этого обмена пилюлями главнокомандующего и адмирала все превосходительства и сиятельства съехались в разграбленную Вильну.

Обратный фельдъегерь, привезший на комендантскую гауптвахту поручика Ширханова, сдав с соблюдением всей почтительности арестованного офицера, отвез ответное письмо во дворец.

Аракчеев писал царю о том, что он за болезнью Настеньки к его величеству выехать не может и что сам он очень сильно занемог и просит простить его, что он даже вызвал грузинского попа, который написал его, Аракчеева, духовное завещание, в коем он, Аракчеев, благодарит царя за все оказанные милости и по смерти своей приказывает вернуть в государеву казну все свои имения и имущества. В конце маленькая приписка, что-де ему, Аракчееву, известно, как Сперанский тетради своих якобинских планов посылал государю тайком, на имя камердинера Мельникова, дабы он, Арачкеев, об том не проведал. «Хоть это — дело прошлое, ваше величество, но я знаю, что оный Мельников есть сущая важная персона, и меня, старика, прошу уволить».

Очередная малая размолвка Александра и Аракчеева продолжалась недолго. 6 декабря 1812 года, или 18 декабря по новому стилю, друзья помирились. В этот день русский царь собственноручно утвердил духовное завещание Аракчеева и в тот же день уехал с ним, как с первейшим и секретнейшим другом-телохранителем, на театр военных действий, и первым делом в город Вильну.

Мы оставили ахтырского поручика Ширханова в самом печальном положении на комендантской гауптвахте, где этот благонамеренный офицер, вымеряя шагами узкую камеру, после сдачи дежурному своей шпаги и министерскому секретарю сафьянового портфеля, силился понять, за какие это провинности мог он быть позорно отвезен прямо под арест от Аракчеева, да еще с обратным фельдъегерем.

«Ох уж эти нижние чины на фельдъегерской службе! Это — какие-то злые собаки: смотрят пронзительно, словечка не проронят, летят как сумасшедшие и чуть что — грубо ругают станционных смотрителей!»

Поручик перебирал в памяти каждую минуту и думал найти хоть в чем-нибудь свою ошибку. Должно быть, недаром тетка всплеснула руками, когда он заявил, что министерство посылает его к Аракчееву.

— Да ты подожди ехать-то. Я хоть у Варвары Петровны побываю. Нехорошо тебе без этого ехать, — умоляла тетка.

Варвара Петровна Пукалова, жена синодского секретаря, была столичной любовницей Аракчеева, в отличие от Настеньки Минкиной, подруги «настоятеля грузинской обители».

Во время этих размышлений в камеру, позванивая шпорами, вошел голубоглазый, коротко подстриженный, широкоплечий кавалерийский офицер, тоже без шпаги, по нашивкам и звездочкам — гусарский штаб-ротмистр. Ширханов опустил руки и, повернувшись лицом к вошедшему, приветствовал его.

Поручик и штаб-ротмистр некоторое время молчали. Штаб-ротмистр заговорил первый:

— Давно сидите, поручик?

— Нынче поутру доставлен сюда фельдъегерем.

— Ах, так это вы из Грузина? Ну, батюшка, не поздравляю. Попали, как кур во щи. Слышал я, что о вас сейчас говорили.

— Да нечего обо мне сказать, господин ротмистр, — возмутился Ширханов.

— Ну, ну! Это вы, батюшка, оставьте. Это вот про меня — нечего сказать! Однакож вот: семь суток гауптвахты! Ведь вы князь Ширханов?

— Так точно.

— Вот! Зря вы, голубчик, ушли из армии и попали, можно сказать, сразу в болото. Ну, да посмотрим. Может, еще все обойдется. Только помните — офицер вы хороший, и честь нужно беречь смолоду, как платье — снову. Вы мне лучше расскажите-ка: по дороге к Аракчееву на чудовском повороте видели вы флажок на шесте?

— Видел, — ответил поручик.

— А как вы его видели, на горизонтальном древке или на вертикальном?

— Кажется, на горизонтальном.

— И вам ямщик ничего не сказал? Ну, батюшка, вот ваш промах: у графа приема не было, а вы к нему влезли.

— Но ведь я привез Аракчееву пакет «по высочайшему повелению».

— Эх! Какой же вы юнец! Какие могут быть для Аракчеева высочайшие повеления?! Фельдъегеря и курьера допустит, а сановники нашей столицы от такого висячего флага поворот на Петербург держат. Ну, как же вас принял граф?

— Да принял хорошо.

— Ну, вот еще — «хорошо»! Скажете, водкой угощал?

— И это было.

Читая насмешку на лице говорившего, Ширханов вспыхнул и приготовился наговорить дерзостей.

Словно угадав его мысли, собеседник произнес:

— Ну, не сердитесь! Я не думаю сомневаться в ваших словах, а только водкой вас не Аракчеев угощал. Имейте в виду, что ему в эти дни было не до вас и что в Грузине не он хозяин. Вы ведь французскую почту ему возили?

— Надеюсь, господин ротмистр не станет любопытствовать и спрашивать меня против данной мною присяги? — произнес запальчиво Ширханов, намеренно и по обычаю повышая кавалерийского офицера чином выше штаб-ротмистра.

— Да я не любопытствую, а лучше вас это дело знаю, — ответил штаб-ротмистр, словно не замечая запальчивости поручика. — Вот и второй ваш промах! Тут уж над вами ваши товарищи подшутили. Известно, что государь повелел всю перехваченную почту доставлять Аракчееву, но Аракчеев в этом деле ничего не смыслит. Дипломат он плохой; все дело в том, что в каждую почту ему напихивают непристойные картинки, повсюду скупаемые для графа, и под видом отобранных у французов ему

доставляют. Я думаю, он собрал столько, что уже на пуды вешать можно. А в вашем пакете их, должно быть, не оказалось. Аракчеев вот уже две недели все какой-то итальянский, Петра Аретина, непристойный альбом, брошенный маршалом Неем, ищет. Он при вас вскрывал пакеты?

— Нет. Я был позван к графу, или, вернее, он вышел ко мне вторично приблизительно через час после получения пакета.

— Ну да, конечно, рылся, неевский альбом искал и обозлился, что не нашел. Сколько же времени вы у него пробыли?

— Около двух суток.

— Однако время немалое. Что же, он вас в «храм» водил?

— Нет, никакой церкви я не видел.

— Да я не про церковь говорю, а про розовый павильон на грузинском пруду: этакая комнатка на островке с зеркалами во весь рост; нажмешь пружинку — зеркало откроется, и такие картины, что черт знает что! Так вот, когда мы сидели там и перья грызли в аракчеевской библиотеке, Аракчеев с князем Енгалычевым, главным его палачом, забавлялись там стариковскими шалостями.

Поручик припомнил и странные ответы Федорова, из которых нельзя было понять, уезжал или не уезжал Аракчеев из усадьбы, и долговременное отсутствие графа. Штаб-ротмистр продолжал:

— Вы, батюшка, лучше б вовсе не ездили. Сказались бы больным, чем ездить туда, не узнавши. Вот все так-то птенцы, вроде вас, сваливаются прямо в огонь из родного гнезда. Ваша тетушка — хорошая женщина, но зря она вас прочит на большую карьеру. В нашей стране большая карьера человеку в канальство обходится, а вам канальей становиться рано! Да уж лучше бы и совсем не нужно!

И, забывая о том, что он на гауптвахте и что его могут слышать, штаб-ротмистр с негодованием заговорил:

— Вы там чугунную вазу из окон видели?

— Видел. Я даже по зимней тропинке до нее доходил.

— Так вот: Аракчеев женился на Хомутовой, а управительницу свою не отослал, эту самую Настасью Минкину. Уверяю вас, что это Минкина вас водкой поила. Аракчеев такой скаред, что хлебной коркой приезжего не угостит. А эта чугунная ваза хоть и поставлена была в год женитьбы на Хомутовой, но, однако, в честь любовницы —

Минкиной. Хомутова об этом узнала и потребовала вазу убрать. Аракчеев не согласился. Однажды, поссорившись и приревновав, Аракчеев приказал жене не выезжать в Петербург, а сам уехал. Хомутова не послушалась и выехала вслед. Кучер повез, а дорогой ей говорит: «Слугам вашего сиятельства приказано обо всем, куда поедете в отсутствие графа, ему немедленно отписать!» Хомутова разозлилась и крикнула кучеру: «Пошел к матушке!» Кучер не сразу понял и лишь в дороге сообразил, что дело у графа с женой разладилось. Он привез графиню к дому ее матери, где она так и осталась. Вот с тех пор Настасья сделалась полной хозяйкой. Есть в его гареме другие, но хозяйка — одна лишь Минкина. Аракчеев повсеместно, где бы он ни был, покупает крестьянских девушек, и Настасью он купил у какого-то помещика, на юге. Она, говорят, дочь кузнеца и не без цыганской крови.

Поручик смутился, вдруг сразу вспомнив самую главную свою провинность перед самим собой. Чтобы скрыть густую краску, залившую щеки, он подошел к окну. Ни одно его движение не ускользнуло от внимательного кавалерийского офицера.

— Я вижу, что тут дело нечисто. Ну-ка, расскажите, как вы увидели аракчеевскую экономку.

— Да что вам это так интересно? Ну, вышла этакая великолепная фигура в папильотах и в персидской шали.

— Эту персидскую шаль Аракчеев у моей матери купил за бесценок. Так, больше для вида были взяты деньги. А шаль стоила три тысячи червонцев. Она вся в обручальное кольцо продевается, если сложить. Середина — голубая, а все поле в тончайшем многоцветном узоре. Ткань такая, что не разорвешь, и огромна она так, что крышу гауптвахты закрыть можно. Я для того это вам рассказываю, чтоб вы знали, до чего эта крепостная баба закрепостила Аракчеева. Смешно сказать, стоит ей только напророчить ему беду, чтобы он остался и не ездил даже на заседания Государственного совета.

Поручик все более и более удивлялся.

Помолчав, штаб-ротмистр спросил:

— Так вы, значит, всю усадьбу осмотрели?

— Этого сделать мне было некогда. Я вышел только испить воды — на мой зов никто не откликнулся; попробовал в сенцах напиться из кадки, обжегся рассолом.

приняв его за воду, и уж в саду, поев снежку, утолил жажду.

— Рассолом... — повторил штаб-ротмистр. — А знаете ли вы, что это за рассол? У графа во всех строениях стоят кадки с рассолом, а в кадках намокают трости и вербные прутья. Ими грузинских крепостных секут. А выполняет всю эту процедуру тамошний помощник Минкиной — архитектор Минут. «Минут — а часами людей истязает». Запоротых крепостных отправляют потом в холодную, которую Аракчеев, неведомо почему, окрестил бессмысленным названием: «Едикулем».

Вдруг поручику вспомнилась и стала понятной фраза, услышанная им при въезде в деревню: «Режь цыпленка, сукин сын, да намажь кровью себе морду, спину и задницу. Да как придешь в усадьбу, хромай и охай, скажи, что пороли больно, и на меня пожалуйся. Только в другой раз меньше пяти алтын не приноси».

— Не понимаю, — обратился Ширханов к своему собеседнику, — какая же сила могла приковать сочувствие государя к Аракчееву?

— Этого нам с вами не понять: государь любит хорошие слова, но боится претворять их в дело. Вот и получается равновесие. Сперанский был для хороших слов, а граф Аракчеев — чтобы слова не перешли в дело. Когда вы, поручик, еще мальчишкой бегали, то нынешний государь, будучи наследником, состоял санкт-петербургским военным генерал-губернатором. Император Павел страдал бессонницей, а генерал-губернатор должен был каждое утро, не позже пяти часов, подписывать рапорт о состоянии столицы. Так вот, рапорт писал Аракчеев и утречком рано брал Александрову подпись и отвозил во дворец. Дружба старая, а сейчас Андрей Алексеевич сделался первым телохранителем царским.

Вошел гренадер и отчетливо произнес:

— Поручика князя Ширханова требуют к коменданту.

В кабинете коменданта как будто никого не было, но отодвинулось кресло с высокой спинкой, и маленькая старушка с голубыми плачущими глазами, роняя платок из левой руки, бросилась навстречу поручику.

— Мишенька, что же это с тобой?! — воскликнула она по-французски. — Не верю, чтоб ты мог так провиниться. Сейчас генерал Вейгель мне сказал, что ты со службы у министра уволен с перечислением в распоряжение ка-

кого-то корпусного командира. Что же это, милый? Так я хлопотала! Я Вейгеля просила узнать, в чем дело, и хочу сама к великому князю поехать, да немец машет рукой и говорит, что он сам ничего не понимает. Ему в министерстве что-то непонятное с насмешкой говорят. Я даже и разобрать этого не могу. «Мы, говорят, его не за чепцами к графу Аракчееву посылали».

Поручик был в полном ужасе. Кое-как старался он успокоить тетку, но и самому ему трудно было овладеть собой.

«Черт знает что такое! Не знаю, что хуже — французские пули, лагерная вошь или петербургские капканы?» — говорил себе поручик, поднимая теткин платочек с полу. Поверхностные оценки человеческих несчастий, сделанные неопытным юнцом, выросшим на крепостных хлебах, вдруг в эту минуту, неведомо почему, обострились и приобрели неожиданную глубину. Волнение тетки показалось ему не вызванным никакими значительными причинами. Все его мечты о службе, о жизни в деревне после войны вдруг показались чем-то незначительным по смыслу и не стоящим достижения. Непонятное, новое зрело в нем, и он мучительно стремился оформить это новое, равнодушно слушая жалобы и стенания суетливой старушки. Он упросил ее не хлопотать и предоставить все течению событий. Тетка сообщила ему о трехдневном аресте. Это его не взволновало. Петербургские улицы и встреча с молодежью, легкомысленно и безраздумно праздновавшей уход французов, вдруг потеряли для него всякую привлекательность. «Нет, не следует мне стремиться в «счастливую тысячу», о которой пишет этот француз, как бишь его фамилия?»

С этой мыслью поручик поцеловал руку плачущей тетки и вернулся в камеру.

Штаб-ротмистр сидел у окна и читал маленький кожаный томик, на корешке которого была надпись: «Рассуждение о начале и основании неравенства». Поручик не любил читать. Его чтение ограничивалось романами и учебными пособиями, развивавшими в нем знания иностранных языков. Штаб-ротмистр отложил книгу Руссо в сторону, показывая тем самым свою готовность быть собеседником.

Нелепость грузинского происшествия и рассказы штаб-ротмистра расшевелили мысли поручика, и вместо

«сугубой осторожности с незнакомыми людьми», о которой говорил Аракчеев, он отдался безудержному потоку откровенности. Не называя источника, передавал он своему товарищу по заключению мысли и наблюдения, почерпнутые из писем, перехваченных у французов. К его удивлению, штаб-ротмистр не волновался. Он слушал молча, одобрительно кивал головой, и холодное, замороженное лицо человека, привыкшего к суровой дисциплине, все больше и больше приобретало черты мягкости, вдумчивой серьезности и под конец сделалось совершенно неузнаваемым. Он не вставлял замечаний, он только предлагал вопросы, но чем дальше, тем эти вопросы становились интересней, и, отвечая на них, Ширханов вдруг почувствовал, что перед ним открываются новые кругозоры.

К вечеру неожиданно пришло сообщение, что арест с поручика Ширханова снят.

— Вам бабушка ворожит, — сказал ему штаб-ротмистр.

— Вернее — тетушка, — с застенчивой улыбкой ответил поручик.

Пожимая руку покидаемому товарищу, Ширханов ожидал, что тот назовет свою фамилию. Но собеседник этого не сделал. Тем не менее поручик предложил ему повидаться после освобождения и со свойственной молодежи откровенностью заявил о чувстве и сердечной симпатии. Штаб-ротмистр улыбнулся и сказал:

— Вам нужно прочистить голову хорошим чтением. Прочтите книги, которые я вам назвал. А когда придет срок, быть может, увидимся. Только помните: раз у вас возникли правильные мысли о свойствах свободного человека, так вы с позорным рабством нашей страны больше не миритесь и знайте, что за вами зоркие глаза незримых друзей наблюдать будут.

С этими словами они расстались.

На следующий день поручик получил предписание явиться в Ахтырский гусарский полк и следовать вдогонку ахтырцам по Ковенской дороге. В петербургском «Отделении почтовых карет и брик» оставались только открытые места. В своем экипаже ехать ему было запрещено. Простившись с рыдающей Наташей и теткой, не помнящими себя от горя, поручик закутал башлыком голову и на извозчике поехал к заставе. Через час военно-почтовая кибитка мчала его по Ковенской дороге.

Изгнание войск Наполеона из Московского Кремля
отрядом легкой конницы генерала Иловайского

Литография И. Иванова

(Первая четверть XIX века)

Глава восьмая

Ночное путешествие Бейля и Оливьери по дороге на Вильковишки, вопреки ожиданиям путников, проходило благополучно. Состояние крайней усталости и сон были естественной реакцией на тяжелые впечатления прошедшего дня. Въезд в Европу Бейль считал избавлением от кошмаров страны, казавшейся ему сочетанием всех ужасов: климата, варварства и несчастий армии. И, как всегда бывает после долгого пути, когда последние километры кажутся самыми тяжелыми, так и в этом случае по дороге на Мемель Бейль особенно сильно чувствовал усталость. Он быстро справился с нервами, кричавшими, что еще не все опасности миновали и что перед самыми воротами в Европу предстоит погибнуть.

Дорога, выбранная его вожатым, пролегала среди огромных лесных массивов, так называемых пущ, спускавшихся из Литвы к району Мазурских озер, почти не исследованных и глухих медвежьих углов, переходила в едва заметные звериные тропы, совершенно непроходимые летом для человека, так как на каждом повороте встречались болотца, водяные окна, шатающиеся кочки, и тысячи комаров и оводов мелкой породы нападали на человека, избегнувшего встречи с крупным и опасным зверем.

Вожатый, очевидно, весьма хорошо знал эту дорогу — после медведя первым знатоком пущи всегда является контрабандист, а Оливьери уже показал, с кем и как он работал. Выдерживая экзамен на звание спасителя военного комиссара, он невольно обнаруживал затаенные свойства своей природы. Его энергия и напор дали Бейлю уверенность в возможности спасения. Бейль заснул глубоким сном и проснулся от внезапного толчка.

Лошади стояли. Открыв глаза, Бейль осмотрелся и увидел заледенелую камышовую заросль. Оливьери сделал предостерегающий знак. Сквозь камышовую чащу едва виднелась ровная и гладкая ледяная поверхность. Через минуту по льду застучали копыта, и конный разъезд заплескался в прибрежной полынье. Некоторое время раздавались дикое ржанье, фырканье лошадей и крепкие ругательства, в которых Бейль узнал неоднократно слышанные, ставшие знакомыми, русские слова. Затем все стихло.

— Утонули, — сказал Оливьери. — Поедемте дальше.

Мальчик вывел лошадей на дорогу, Оливьери рассказал, в чем дело. Двое казаков погнались за ними по дороге, и не оставалось ничего другого, как спуститься к озеру, а потом, около первой береговой полыньи, круто завернуть в камыши.

— Я часто пробовал применять этот способ. Когда казак или пограничник разгонит лошадь, он никогда не соразмерит хода.

— Где мы? — спросил Бейль.

— Это Мазурские озера, — ответил итальянец. — Собственно мы в Германии. Я нарочно сильно беру на север, чтобы никого не встретить. Я слышал, что повсюду уже несколько дней бродят разъезды казака Платова.

Командир партизан казак Платов, получивший графский титул, наводил ужас на французский тыл. Его пешие казаки — *пластуны* — осенью, ползком, накрывшись снопами и соломой, появлялись внезапно и сеяли расстройство в рядах наполеоновских стрелков. Бородатые раскольники, составлявшие платовскую конницу, с гиком *рассыпали лаву,* появившись где-нибудь из-за опушки леса перед французским строем, и налетали вихрем, кружась вокруг платовской булавы. А потом, раскинув походную раскольничью моленную в виде шатра, они слушали молитвы беглого попа, крестились двумя перстами по счету, истово и гнусаво пели в унисон церковные песнопения заунывными басами и тенорами, тягуче и долго, сливая в этом пении какие-то нечеловеческие звуки, похожие одновременно и на волчий вой и на заунывные песни зимней вьюги.

Проезжая ровными пространствами с небольшими редкими холмами, Бейль чувствовал огромную перемену в настроении. Туманы, близость Балтийского моря, озерная гладь, седые, индевеющие линии горизонта — все казалось ему новым и привлекательным. Это были подступы к Европе, еще дикие, населенные мазурами, прибалтийские пустыри. «Но уже не Россия!..» Одно это сознание делало его бодрым.

В тумане на холме очень, очень далеко замелькали перед глазами три полосы цветных фонарей. Бейль вздрогнул: «Неужели здесь работает семафор?» Ошибки быть не могло: «Да, это военный гелиограф передает депешу!»

Оливьери острыми птичьими глазами впивался в световые сигналы, которые играли цветами, переливались, мигали, вспыхивали, чертили полосы сквозь морозный серовато-сизый туман. Оливьери хорошо знал значение каждого взмаха, каждой световой точки. О, как памятна ему увлекательная работа военного сигнализатора! В Литве о прохождении каждого русского отряда, о появлении разъезда на опушке леса, о занятии деревни гренадерами или о расстановке пушек на возвышенности — обо всем этом умел он передать и без азбуки инженера Шаппа соседнему разведчику, сигнализируя двухдымными, трехдымными и многодымными рядами костров, разжигаемых на холмах литовских лесов.

Но эта депеша в глуши Мазурских озер казалась ему невероятным явлением, тем более что, вчитываясь в эти взмахи, точки и цвета, он не мог понять их комбинаций; знакомых слов не получалось из знакомых букв. Он обратился к Бейлю за объяснением и начал называть ему каждый сигнал. Через две минуты Бейль составил десять немецких слов:

«...отступает маршал Ней... остатки... Вильна...
русские войска... Наполеон... без вести...»

— Что это?! — воскликнул Оливьери.

— Депеша германского шпиона. Немцы радуются поражению Великой армии, — ответил Бейль, зевая.

— Невероятно! Что с императором? Они заплатят за эту работу!

— Оливьери, скажи, я, кажется, крепко спал?

— Вы спали пятьдесят шесть часов без еды и без питья. Я не мог вас растолкать ни на одной остановке и уже стал бояться. Один мой приятель заснул так однажды и не просыпался два месяца.

Бейль был поражен. Постоянный четкий контроль над собою был тем его свойством, которым он особенно дорожил. Сейчас у него была полная уверенность, что он спал каких-нибудь полтора часа. Значит, не все еще он знает о самом себе.

Оливьери смотрел в ту точку горизонта, где только что прекратились сигналы. Они не возобновлялись. Ничто не говорило о близости большого населенного пункта. Очевидно, сигналы подавались из какого-нибудь лесничества или сторожки прибалтийского помещика-немца.

«После потерь, понесенных в России, надо ожидать больших перемен в поведении невольных союзников Франции», — думал Бейль. Эти мысли отравили ему настроение во всю остальную часть пути.

— А все-таки вам нужно что-нибудь съесть, — сказал Оливьери.

Вынув из сумки большой кусок серого хлеба и ломоть копченой свинины, он предложил их Бейлю.

Несмотря на то, что куски были огромны, Бейль почти машинально съел их, не почувствовав обременения.

Оливьери смотрел на него с удивлением. Корсиканец, сохранивший свойства племени, был умерен в еде. Через некоторое время после еды Бейль почувствовал, что кровь горячей волной разбегается у него по жилам, в голове стало шуметь, и он снова заснул.

Проснулся он в комнате почтовой станции. Оливьери, толкая его в плечо, протягивал ему стакан с водочной настойкой. Желтый свет лампы отбрасывал огромную тень итальянца на бревенчатую стену. В комнате было тепло, слышались голоса. Бейль выпил залпом и тотчас же встал, как после толчка. У противоположной стены за маленьким столом сидел французский офицер и ногтем отмечал на лежащей перед ним географической карте красные точки.

— А ну-ка, узнаете вы меня или нет? — обратился он к Бейлю. — Вы здесь добрых два часа. Ваш провожатый рассказал мне, откуда вы едете.

Да, конечно, Бейль его узнал: это было тот самый парижский весельчак Бальтасар Маршан, вместе с которым Бейль когда-то проводил вечера в компании Пьера Дарю и башвильской молодежи. Теперь он был в форме военного комиссара, но, в отличие от других участников войны, постаревших в русском походе, располнел на немецких хлебах и имел весьма довольный вид. Бейль поздоровался и охотно принял предложение Маршана продолжать дорогу в почтовой кибитке, запряженной свежими немецкими лошадьми. Это ему улыбалось, тем более что Оливьери шепнул на ухо, что ему необходимо, расставшись с Бейлем, теперь же вернуться в Вильну.

— Я выполнил все, что мне приказано, и снова превращаюсь в содержателя кофейни. Русским не придется долго тешиться Вильной. У нас будет большая работа. А Кутузов наверняка понаставил там перекладин, на кото-

рых пляшут между небом и землей евреи, отказавшие в кредите на вино господам русским офицерам.

— Придумай способ отблагодарить тебя, Оливьери.

— Не называйте моего имени в Кенигсберге. А будете в Милане — передайте привет сестре Виктории и тетке, если остановитесь попрежнему в Каза-Бовара.

Не обращая внимания на то, что Оливьери вполголоса разговаривал с Бейлем, болтливый Маршан осыпал Бейля вопросами и, нисколько не смущаясь неполучением ответов, рассказывал сам о своих успехах в Померании.

Бейлю хотелось сказать какие-то другие слова спасшему его итальянцу. Он готов был повернуться спиной к Маршану, но чувство страшной рассеянности и какая-то тяжесть в ногах от выпитой водки не давали ему возможности ни двигаться, ни выбрать другие слова.

Итальянец крепко пожал его руку и вышел из комнаты, оставив у спутника чувство горести, незавершенности какого-то дела и ожидания, что вот-вот он сейчас вернется.

В разговоре с прислугой Бейль не без труда перешел на немецкую речь. Постепенно приходя в себя, он ухитрился отделаться от навязчивых вопросов Маршана, который всячески старался добиться от него сведений о самых бедственных происшествиях великого отступления. Бейль перешел сам к вопросам, и Маршан, рассказывая о состоянии французских дел в Германии, оказался далеко не легкомысленным собеседником, когда дал такую характеристику:

— После хирургической операции организм не сразу привыкает к ощущению потери хотя бы ампутированной ноги. Очевидно, мы также не сразу привыкнем к нашей кровавой потере. А так как Германия связана с кровообращением всего организма нашей империи, то и она, очевидно, не сразу будет реагировать на французские дела. Пройдет еще много месяцев. За это время император восстановит положение. Он чрезвычайно живуч.

Дорога на Кенигсберг ничем не была замечательна. Понемногу сонливость Бейля проходила. Острое возбуждение виленских дней сменилось ровной и скучной депрессией, а чистые и содержащиеся в порядке, несмотря на то, что находились на военном тракте, германские почтовые

станции производили на него расслабляющее впечатление. Приходилось делать усилия, чтобы не поддаться этому расслаблению.

14 декабря рано утром Анри Бейль и Бальтасар Маршан, миновав зубчатую кенигсбергскую стену с большими башнями, въехали в город.

«Вот здесь восемь лет тому назад умер философ — Эммануил Кант. С его именем в мыслях, как символом большой умственной высоты, на которую я вновь поднимаюсь, я въезжаю в Европу», — думал Бейль. Он простился со своим спутником Маршаном и занял маленькую комнату в уютной, чистенькой немецкой гостинице.

«Первым делом — заказать ванну, потом — бриться, потом — расшить двухъярусные замшевые карманы полушубка. Нет, с этого, пожалуй, придется начать».

Вошедшая прислуга спросила, не желает ли высокоуважаемый господин полковник билет в театр. О да, конечно, он желает! Сегодня идет «Милосердие Тита», опера Моцарта на слова Метастаза. Да, да, конечно, он пойдет в театр. Но прежде всего нельзя ли достать в Кенигсберге чистое белье? Можно? Очень хорошо!

Бейль, распоров замшу, достал деньги, вынул бритву и бумажный сверток. Эта трубочка из бумажных листиков оказалась куском московского дневника. Совершенно непонятно почему, он внезапно вспомнил, что сестра Полина, провожая его в русский поход, зашила в пояс военного сюртука сорокафранковые золотые монеты. «Ну, кажется, я хорошо рассчитался за лошадей с виленским контрабандистом», — подумал Бейль и покачал головой, вспомнив о своих поспешных сборах с Оливьери и об отдаче этого военного сюртука с монетами контрабандисту. Чтобы отогнать сожаление о деньгах, Бейль стал перечитывать свой дневник.

— Неужели я писал его! — воскликнул он.

«Прошло немного больше двух месяцев, — продолжал он уже про себя, — а я чувствую, что столетия отделяют меня от того дня, когда были сделаны эти записи. Как бледен этот дневник! Как я был недальновиден и самодоволен в Москве! Как я ничего не понимал! Где тут хоть намек на те неизвестные мне чувства, которые дает невыносимое страдание, собственная опасность и зрелище несчастий огромной массы людей! Тогда все рассчитывали на быстрый и победоносный конец войны. Никто не сомне-

вался в успехе. Вот почему мои мысли не поднимались выше ворота моего мундира. Мои чувства были не больше подготовлены к опасностям этой страшной страны, чем малиновые гусарские мундиры и белые суконные плащи неаполитанских солдат Мюрата — к виленским морозам и болотам Полесья. Я делал ошибку за ошибкой. Я не понимал Бонапарта. Наполеон не понимал России. Урок жестокий!

Да, надо одуматься и хорошо отдохнуть в Кенигсберге, чтобы понять все, что со мной произошло».

После всех этих невеселых размышлений и полуиронических отзывов о себе Бейль заходил по комнате, ожидая, пока прислуга принесет горячую воду для бритья. На столике лежали старые немецкие газеты. Внимание Бейля привлекла строчка, напечатанная крупным шрифтом, со словом *Бородино*. Он стал читать и с удивлением увидел, что немецкая пресса расценивает Бородинскую битву как одно из величайших исторических сражений. Пышными риторическими фразами немецкий журналист рассказывал о том, как сомкнутые колонны французских войск шли на русские укрепления с музыкой и развернутыми штандартами. Бейль с отвращением бросил газету. Проверяя самого себя и вспоминая все, что слышал, он никак не мог понять того, что Бородинская битва была действительно сражением на огромном пространстве; он не мог свести воедино разбросанных впечатлений боя. Отдельные человеческие группы, жидкие и редкие цепи стрелков, перебегающие через поле пригнувшись, со штыками наперевес, гулкие выстрелы и черные комья взлетающей земли, — никакой тесноты, наоборот, слишком слабо заполненные пространства, никакого намека на густые толпы людей, занимающих огромные пространства и колющих друг друга штыками.

По собственным наблюдениям Бейля, сталкивались лишь небольшие группы, и только в случаях, когда невозможно было показать друг другу спины, одни солдаты кололи других, чтобы своя же артиллерия не расстреляла их картечью.

«Впрочем, — подумал Бейль, — техника военных донесений крепко связана с необходимостью таких сводок и фальшивых картин, которые в корне искажают военную действительность. Надо иметь в виду, что световой телеграф передает депеши в тылу на огромные пространства

гораздо скорее, чем конный ординарец подает сведения в штаб с места боя. Я сам могу вспомнить, что семафорная депеша передавалась от моря, из Бреста до Парижа, обыкновенным гелиографом в семь минут, в то время как из трех посланных от Шевардинского редута адъютантов только один через час достиг ставки императора, а двое были убиты. Когда уцелевший подъехал к императору, боевая обстановка уже изменилась. До какой степени глупа газетная фальшь о молниеносном осведомлении Наполеона!»

Бейль чувствовал себя совершенно разбитым. Отчаянное напряжение последних месяцев оставило его. Он искал и не находил обновляющих впечатлений.

В управлении коменданта говорили об исчезновении генералов и военных комиссаров на пути в Кенигсберг. Говорили о зловещих настроениях в Германии, рассказывали о страшных морозах, губивших армию. Кенигсбергский ресторатор жаловался, что некоторые сорта вин замерзли в погребах. Этого не случалось уже шестьдесят лет. Офицер в комендантском управлении сообщал, как шестами скатывают трупы с дороги и как они под ударами отзываются, словно сосновые бревна под топором. В гостинице старуха немка шептала, что четыреста тысяч семей плачут в Европе, зная, что уже не дождутся детей, отцов, братьев, мужей. Упорнее всего говорили о предстоящем новом французском наборе.

«Никуда нельзя уйти от военных впечатлений. Россия уже далеко, а каждая клетка нервов заморожена ее холодом и чувством смерти. Такова реакция на несоразмерную затрату сил и постоянное напряжение», — сделал заключение о своем состоянии Бейль.

Проходят еще два томительных дня, но силы не возвращаются. Нет никакой возможности взять себя в руки и решиться на что-либо.

Наутро третьего дня Бейль твердыми шагами вышел из гостиницы. Дойдя до маленькой кирки, он повернул за угол и постучался в двери небольшого дома. Там Бейль поднялся на второй этаж. Его любезно приняли и показали комнату, где скончался великий философ. Бейль глянул в окна кабинета, уставленного книжными шкафами: золотые корешки кожаных томиков Руссо смотрели на гостя сквозь стекла книжных шкафов.

За окнами кабинета виднелся тонкий шпиль островерхой кирки, освещенный лучами солнца.

В комнате был еще посетитель. Вежливо поздоровавшись с Бейлем, он назвал себя: граф Вангель. Под серым плащом блестели пуговицы генеральского сюртука. Глаза генерала Вангеля, спокойные и умные, светились холодно и лучисто, как голубые льдинки. Седые усы закрывали губы, скрадывая подбородок.

— Вы чтите память покойного профессора Канта?

— Да, хотя я не успел изучить его, как хотел бы, — ответил Бейль.

— Обратите внимание, — сказал Вангель, — вот эта кирка была предметом особой любви профессора. Он рассказывал, что когда писал «Пролегомены» и «Критику чистого разума», то этот стройный шпиль был именно тем пунктом, на котором он фиксировал свое зрение, чтобы сосредоточиться. И вот однажды сосед построил каменный брандмауер, загородивший от взоров профессора Канта кирку. Именно с этого времени профессор Кант стал писать «Критику практического разума», которая, как вы знаете, является полной сдачей позиций, с таким трудом отвоеванных человеческим гением в «Критике чистого разума». Выкуп этого брандмауера стоил Канту довольно дорого. Он долго копил для выкупа деньги. Но когда каменщики сломали брандмауер и кирка вновь предстала перед глазами мудреца, он уже за протекшие годы потерял остроту зрения. Коперник, сделавшийся Птолемеем, не смог вернуться на прежнюю дорогу. Он переписывал шестой раз свой трактат «О вечном мире», словно предчувствовал пожар мировой войны.

— То, что вы говорите, генерал, чрезвычайно интересно, — ответил Бейль. — После всего, что я перенес в России...

— Ах, вы из России?

— Да, и после впечатлений, полученных в этой стране, я хочу работать над изучением вашего философа снова. Я рад встретить в вас единомышленника, так как всегда полагал, что кантовская этика есть в сущности простое тяготение чувств, одержавших победу над разумом, переставшим себя ценить. Попытка проникнуть в мир трансцендентный, несмотря на то, что сам Кант твердо ограничивал деятельность разума пределами единственно реального, имманентного мира, свидетельствует лишь о том, что он желаемое принял за реальное. Однако вы

меня чрезвычайно заинтересовали сообщением, что Кант работал над проблемой вечного мира.

— Я практически интересуюсь этим сам, — сказал граф Вангель. — Какой-нибудь месяц тому назад, после победы, одержанной моим отрядом, я вдруг почувствовал необходимость бросить армию и выйти из войны, чтобы решить вопрос: имеет ли право один народ менять образ жизни, согласно которому другой народ хочет устроить свое материальное и моральное существование? Пока я не решу этого вопроса, я не вернусь в войска. Здесь я живу в своем имении с единственной дочерью — Минной фон Вангель. Если вы не боитесь косых взглядов полиции, приезжайте ко мне, мы продолжим беседу. Я в опале у немецкой полиции, так же как на плохом счету у полиции Бонапарта, и все за то, что я понял безумие войны с русским народом!

Условившись о встрече с Бейлем, генерал вышел из комнаты Канта.

Поздно вечером Бейль закончил запись рассказа Вангеля о своей дочери, «Минне де Вангель», и, ложась спать, почувствовал сильнейший озноб. Он видел, как левая рука нащупывает пульс на правой. Перед ним стоял доктор Бейль и говорил о трансцендентальном мире, просто, спокойно, его же собственным голосом, доказывая ему, что есть *Бейль — феномен* — явление здешнего мира чувств, и есть *Бейль — нумен* — постигаемый разумом, идеальный Бейль, который один может его вылечить.

— Однако у вас неровный пульс, — произнес доктор Бейль. — С очевидностью становится ясным, что вы переходите в трансцендентальный мир, так как вы чувствуете и постигаете *таяние времени.*

— Никакого иного мира нет, а есть только высокая температура. У меня лихорадка! — громко сказал себе Бейль, приподнимаясь на постели.

Зубы его стучали, спина покрывалась холодным потом. Но было чувство большого удовлетворения оттого, что снова появилась твердая решимость не поддаваться болезни. Не снимая второго сапога, полураздетый, он вынул из полушубка маленькую металлическую коробку, в которой сестра Полина собрала когда-то походную аптечку, и, достав две пилюли хинина, быстро их проглотил. Потом взял томик «Фацеций» Вольтера и скоро заснул с раскрытой книгой в руке.

Глава девятая

От Берлина до старой границы Франции Бейль совершал путь с постоянно меняющимися соседями, в неуклюжем почтовом эйльвагене — громадном экипаже, запряженном шестеркой хороших лошадей, с открытыми местами позади кареты и с украшением в виде огромного почтового рога на обеих дверцах.

Опять, как перед войной, Бейль почувствовал, что на него дышит европейский ветер, попутный и встречный, одинаково ему дорогой. Посматривая сквозь дремоту на красные лица и посиневшие носы пассажиров, закутанных платками, с мужскими муфтами в руках, в сапогах с меховой оторочкой, Бейль засыпал на ровных спусках, просыпался от толчков и поворотов, не реагируя на рожок почтальона при отправках, остановках и перепряжках лошадей.

Уже в Берлине Бейль почувствовал, что немецкая речь соседей по карете становится плавнее, спокойнее и даже несколько громче, как только они узнают в спутнике француза. «Но зато предмет разговора делает полувольт налево, — заметил себе Бейль. — Немцы, узнав француза, быстро, на ходу, меняют темы разговора».

23 января, под утро, в маленьком немецком местечке Бейль вспомнил, что ему исполнилось тридцать лет. «Быть может, это середина моей жизни, — думал Бейль. — Русский поход — водораздел моего возраста и событий моей жизни. Быть может, это самая крутая вершина несчастий. Ну что же? Будем дышать воздухом гор там, где родятся реки. Великие события одни только могли показать мне человеческое сердце таким, каково оно на самом деле. Быть может, этот вершинный холод имеет свое очарование. Я чувствую независимость сердца и полную свободу от страстей, но меня смущают воспоминания о необычайной силе иных внутренних переживаний».

Размышления были прерваны разговором двух немцев об организации «Тугендбунда» — «Союза доблести», о том, что вся Германия покрыта сетью его организаций, с которой не справится французская полиция.

29 января, во время длительной остановки французского дилижанса в местечке, находившемся на расстоянии двух дней езды от Парижа, Бейль пошел пешком, чтобы размять отекшие ноги. Он зашел в гостиницу под

вывеской «Четыре ветра» и заказал себе обед. Весь нижний этаж большого дома был полон посетителей. То были рекруты. На видном месте висел императорский декрет от 8 января 1813 года о новом наборе. Афиша возвещала, что сто пятьдесят тысяч молодых людей призыва 1813 года должны явиться под ружье, что сто когорт император формирует из тех, кто не был призван в 1812 году, и сто когорт — из тех, кто по тем или иным причинам не был призван в 1809—1811 годах.

В трактире царило общее возбуждение. Лица подвыпивших парней были красны. Рекруты требовательно стучали по столу оловянными кружками, разговаривали громко, хриплыми голосами выкрикивали отчетливо крепкие ругательства. Никакого следа серьезности ранних добровольческих отрядов французской армии, никакого следа их веселья и энтузиазма.

Бейль знал Бонапарта как хорошего хозяина с неутомимой энергией, точно вычисляющего количество булыжника, необходимого для ремонта дорог, пропускающих сотни артиллерийских повозок, как человека, мастерски подбирающего кадры своей администрации. Он видел в нем тонкого эксперта человеческого материала. Но сейчас Бейль смотрел на все по-новому. Он сомневался: *«Исполнила ли администрация Наполеона его главное требование — уметь ощипать курицу, прежде чем она успеет закудахтать».*

Перед Бейлем стояла посуда. На тарелке, довольно грубо сделанной из белой глины, он прочел в середине рисунка в виде лаврового венка стихи:

Montagne, Montagne chérie, —
Du peuple les vrais défenseurs!
Par vos travaux la Republique
Reçoit la constitution.
Notre libre acceptation
Vous sert de couronne civile [1].

На миске изображен петух, стоящий на пушке, и надпись:

Je ville pour la nation! 1792 [2].

---

[1] Гора, дорогая Гора — истинная защитница народа. Твоими трудами Республика получает конституцию. Наш свободный выбор венчает тебя короной гражданственности. *(Примеч. автора.)*

[2] Я бодрствую ради нации! 1792. *(Примеч. автора.)*

Бейль удивлялся, как уцелели эти предметы домашнего обихода, которые можно было найти в свое время во всяком доме и которые теперь небезопасно было хранить даже в частной квартире. Тем более странным казалось, что трактирщик подает их на стол в доме, стоящем на перекрестке двух почтовых трактов. Возможно, конечно, что неграмотные жандармы плохо разбирали полустертые надписи.

«Однако галльский петух на пушке умел выставлять, как щетину, свои стальные перья навстречу первой попытке ощипать их чужой рукою. Неужели он превратился теперь в курицу, которая даст вырвать перья, не закудахтав на весь мир? Все зависит от того, чью руку он встретит как чужую».

За соседним столиком молодой человек, повязанный серым шарфом, кричал, что их сельский поп никогда не жил так хорошо, как теперь.

— Дня не проходит без тридцати или сорока панихид. Он прикупил даже соседский виноградник!

За стойкой трактирщик разливал вино. На маленьком шестике над его головой вертелась, прыгала и стрекотала сорока, махая крыльями в лицо мальчишке, протягивающему ей стакан водки. Два молодых крестьянина и «человек неопределенной профессии» в больших очках довольно громко обсуждали последний бюллетень императора. Это был знаменитый 29-й бюллетень Великой армии, в котором Бонапарт сообщал, что «лошади погибали тысячами каждую ночь по дороге из Москвы».

— Ведь вот почему-то император ничего не пишет о людях, — лошади стали дороже!

— Я все-таки думаю, что лошади стали умнее людей. — Человек в очках, сделавший это замечание, стал читать дальше.

Наполеон, очевидно, не представляя, как будут реагировать на бюллетень во Франции, сообщал, что для спасения офицеров пришлось взять лошадей у кавалеристов, составить сплошные офицерские полки и эскадроны, в которых полковники шли за вахмистров, а генералы — за эскадронных командиров. Так, спасая тысячи офицеров, император бросил на произвол судьбы десятки тысяч спешенных солдат без обоза, корма и пехотной обуви.

— Вам грозит та же участь. Император окружил себя аристократами, которые не пропускают простого солдата

к повышению. Теперь уж другие времена. Ты добудешь славу, а господа офицеры ею воспользуются. Императору нужно было повсюду насажать своих безработных братьев, сделать их королями чужих народов, и надо вот много солдат, чтобы их не посшибали с тронов. Охота была ради этого рубить голову Людовику!

— А все-таки, господин Видаль, придется идти на войну, — ответил молодой крестьянин. — Я не знаю, что сделалось с прошлого года, но кажется мне, что жандармов теперь больше, чем солдат. Они ловят дезертиров — это выгодное занятие, но не дай бог попасться им в руки!

— Тогда ты не увидишь Катерины, как ушей своих.

— Да я уж с ней простился на веки вечные. Вы только зря бередите мою рану, господин Видаль. Быть дезертиром, конечно, лучше, чем жандармом. Еще месяц тому назад наш священник предлагал мне похлопотать за меня, просил немного денег, обещая сделать меня жандармом. Но ведь мне же нельзя будет появиться в своей деревне.

Бейль, слушая эти суждения, старался связать воедино первые новые впечатления от Франции. Громкие крики мешали разобрать продолжение разговора, но он вскоре прекратился; раздался звон разбиваемых стекол, в углу началась драка. Две проститутки быстро отбежали от стола, к которому, пошатываясь, подходил огромный солдат, размахивая ножом и крича, чтобы все перед ним расступились. Началась давка. Оловянная кружка, брошенная кем-то, раскровенила лицо солдата. Сорока за стойкой засуетилась и громко кричала: «Император!» Бейль пробирался к двери, озабоченный больше невозможностью заплатить, нежели происходящим. Пять рослых жандармов попались ему навстречу при выходе из трактира. Один из них говорил:

— На прошлой неделе двух жандармов убили на постоялом дворе Кальяра. Это черт знает что! Я не пойду, не вызвав резерва!

— Дурак! Ведь им еще не выдавали оружия! А потом они все так пьяны, что в минуту успокоятся, увидя нас.

— Я думаю, что пора арестовать Видаля: все говорят, что он агитирует против набора, — сказал третий жандарм.

И все пятеро с обнаженными шашками, позванивая шпорами, быстро вошли на ступеньки трактира.

Светложелтый кузов французского дилижанса, битком набитого пассажирами, спешащими обменяться последними военными новостями, снова принял странствующего наблюдателя Бейля. Дорога слишком затянулась! Тому виною тогдашние пути сообщения. Пароход, в виде довольно неуклюжей барки с огромной самоварной машиной и гигантскими колесами, едва только был испробован против течения Сены и забракован инженерами. У Анри Бейля по этому поводу было написано в дневнике: «Как хорошо, что Наполеон совершенно не понял изобретения парохода. Я слишком люблю Англию — единственное мое убежище, где я действительно отдыхаю, Англию — пристанище изгнанников всех стран. Что было бы с нею, если бы император на пароходах затеял переброску армии в Лондон?»

Итак, Бонапарт, не обратив внимания на новое изобретение, проглядел пароход.

Как томительно медленны были передвижения в то время! Выехав из Москвы 16 октября 1812 года, Бейль попал на Лионское шоссе только в январе следующего года и въехал в Париж в девять с половиной утра 31 января 1813 года. Таким образом, французский скиталец пробыл в пути из Москвы в Париж сто шесть дней.

На станции у заставы Бейль сел в извозчичью коляску и через час уже отдыхал после кофе на Ново-Люксембургской улице.

Теперь отдых надолго... Ни в седле, ни в кибитке, ни в розвальнях, ни даже в щеголеватых из красного дерева санках графа Вангеля, в которых он ехал из Кенигсберга в Дрезден, а тем более в почтовых дилижансах он больше ездить не будет.

Госпожа Морис — старая привратница в солидном кружевном чепце — едва узнала его, до такой степени «господин Бейль стал худ, заострились черты лица и суровы стали глаза».

— Никто не спрашивал господина Бейля, только вот несколько писем.

«Это — от Бергонье. Он сообщает о своем назначении на должность префекта Юры и о том, что Бюш получил назначение в префектуру Севра». Бергонье пишет, что необходимо спешить, но не в виде совета Бейлю: «Мы не зевали. Неизвестно, что еще может случиться. Пока там остальные будут возиться в Германии и вязнуть в

Польше, мы, поддерживая друг друга, поспешили устроиться подальше от войны. Черт с ней совсем!»

Ни слова о Бейле. Словно никогда не было Березины, Вильны. Оба эти ловкача хорошо устроились, ни на одну минуту не вспомнив о том, что Бейль получил такое же право на дружеское внимание, как и Бергонье, в тот день, когда Бейль за руку тащил его через реку.

Невнимание друзей — первое огорчение по возвращении в Париж. Но, быть может, этот добрый малый Бергонье, как всегда, слишком уверен в том, что Бейль сам сумеет позаботиться о себе?

Вот маленькая комната. Книги на столе. Госпожа Морис тщательно убирала квартиру. Кругом — ни пылинки. Не тронута только папка с бумагами и, к великому счастью, двенадцать тетрадей с выписками и заметками об итальянских живописцах.

«Вот это действительно находка!» Бейль был в полной уверенности, что систематический подбор заметок по истории итальянской живописи и нравов, сделанный им на синих листах большого формата, утерянных где-то по дороге из России вместе с дневниками, был единственным наброском. Копия цела! У него будет хорошее занятие! «Какое счастье, что можно навсегда расстаться с военной грубостью, с этой компанией «сабреташей»! Кто слишком долго пробыл в армии, того тошнит при виде шашки и эполет, так же как человека, опившегося пуншем, тошнит при виде стакана, при малейшем запахе этого напитка».

Но и в гражданских канцеляриях Наполеона работать было немногим лучше. Министр Крете умер от болезни мочевого пузыря: Наполеон не давал ему вставать с места по шестнадцати часов сряду. Три года такой бешеной работы превратили здоровяка Крете в развалину.

Глава десятая

Ромэн Коломб писал критику Этьену Делеклюзу:

«Милый Этьен!

Приходи ко мне сегодня на новую квартиру, улица Нотр-Дам де Грас, № 3. У меня будет вечером двоюродный брат Анри Бейль, вернувшийся из Москвы. Я встретил его сегодня после многих лет разлуки, и мы услови-

Дом в Гренобле, в котором родился Анри Бейль

лись провести вечер, собравшись в моей большой комнате. Пригласи, кого хочешь. Вина достаточно. Есть холодная дичь и великолепный сыр. Я заметил, что характер Анри очень смягчился. Очевидно, высокие и печальные переживания в России сделали его таким. Он спрашивал про твоего приятеля Руса. Если можешь, пошли сейчас к нотариусу Делошу, чтобы застать Руса наверняка, и пригласи его ко мне. Анри говорит, что он дважды писал ему из Москвы с просьбой помочь той маленькой актрисе, с которой он когда-то жил в Марселе. Я не помню ее русской фамилии, зовут ее Мелани. Если Рус не может прийти, то, пожалуйста, спроси у него, почему он ни разу не был на Ново-Люксембургской улице, несмотря на просьбы Бейля, посланные из Москвы со специальным курьером. Такова первая просьба, с которой обратился ко мне брат, когда я увидел его сегодня. Сам он не нашел конторы Делоша на прежнем месте.

Анри потерял всю свою первоначальную живость. Смотрит холодно, говорит мало, спокойные движения выдают усталость. Появилась несвойственная ему раньше спокойная улыбка. Я не сразу даже узнал Анри. Он стоял на набережной и покупал книги с лотка букиниста. Книги — всегдашняя его страсть. Легкомыслие и повесничание в нем исчезли, а вот пристрастие к книгам осталось. Приходи, милый Этьен. Я знаю, что тебе будет интересно снова встретиться с Анри, которого ты когда-то за бурную порывистость речи называл каскадом.

Твой *Ромэн Коломб*».

Вечером Этьен Делеклюз молча пожимал руку Бейля. Через несколько минут он, обратившись к Ромэну Коломбу, спрашивал:

— А ты мне все-таки скажи, сколько на самом деле гостей у тебя соберется сегодня? Ты об этом не написал. К сожалению, Рус не может быть ни сегодня, ни завтра. Он говорит: «Никаких писем из Москвы не получал...» Много ли гостей у тебя соберется?

— У меня будет человек пять...

— Ну, это хорошо. Хорошо, что не двадцать! Ты знаешь, что на днях мне рассказывал Каилюс, генерал, с которым ты знаком? Он хотел отпраздновать день своего рождения и поехал к Вери в Пале-Рояль. Вери ему сказал: «Вам, конечно, известно, генерал, что раз вы

собираете у себя десять человек, то обязаны пригласить на ужин представителя полиции, который будет сидеть у вас до конца». Каилюс побагровел от злости, пожал плечами и вышел из комнаты, гремя шпорами и ругаясь: «Разве я для того дал себя прострелить на войне восемь раз, чтобы полицейская сволочь жрала моих куропаток и мешала моим гостям?»

Из Пале-Рояля Каилюс поехал к господину Фуше, иначе говоря, к герцогу Отрантскому. Лукавый министр полиции принял Каилюса немедленно и в ответ на его возмущение развел руками: «Я ничего не могу поделать, сколько бы чертей вы ни призывали на голову моей сбитой с ног полиции. Ну что вам сделает плохого какой-нибудь полицейский офицер в штатском, скромно сидящий на углу стола?» Каилюс разругался. Тогда хитрец Фуше говорит, словно его осенило вдохновение: «А ну-ка, покажите мне список ваших приглашенных». Каилюс протянул ему бумажку с фамилиями. Взглянув на список, Фуше осклабился. Возвращая листок генералу, он со вздохом произнес: «Ну, хорошо, вам нет надобности приглашать незнакомых». Так вот, скажи, Ромэн, тебе тоже нет надобности приглашать незнакомых?

— Черт знает что за остроумие! — заметил Бейль. — Что-то не хочется даже понимать.

— Нет, а вы все-таки постарайтесь привыкнуть к новому Парижу, дорогой скиталец, — обратился Делеклюз к Бейлю.

— Посмотрим, посмотрим, — сказал Бейль. — Я мечтаю о том, чтобы, не привыкнув к Парижу, уехать в Милан или Рим. Я хочу заниматься своей «Историей живописи в Италии».

— Вот как! Значит, «хочу писать и... прощай, военный комиссар»? Но знаете ли вы, что римские порядки не очень вас обрадуют? Если в Испании католики восстановили инквизицию и церковный суд средневековья, то в Риме папа восстановил орден Иисуса. И поверьте, что секретнейшая организация иезуитов сумеет убрать с дороги такого вольнодумца, как вы: вам не дописать вашу историю живописи. Кроме того, сделайте себе новую прививку оспы. Во всей Италии попы запретили оспопрививание. Купите хороший фонарь, потому что в Риме духовенство не позволяет освещать улицы, находя, что это опасное проявление якобинства, и, однако, куда бы вы ни

забились, иезуиты сумеют осветить каждый уголок вашего мозга инквизиторским фонарем.

— Гораздо лучше, когда знаешь, с какой стороны ждать выстрела, — ответил Бейль. — Иезуит, конечно, опаснее простого представителя римской церкви. Орден Иисуса все-таки замечательная хозяйственная организация, но я думаю, как при глупом монархе не держатся умные министры, так и нынешний папа Пий VII не сумеет извлечь всю выгоду из деятельности этих церковных подпольщиков. Не забывайте, что Лойола был солдат, монах и фанатик. В нынешний век проложить дорогу фанатизму в среде, которая наживает деньги на военных поставках, на эксплуатации паровых машин, довольно трудно. Здесь можно вести разговор только о взаимной поддержке сторговавшихся мошенников. Деятельность иезуита направляется на то, чтобы во-время взять подпись на духовном завещании в пользу церкви у вдовы-миллионерши или у выжившего из ума эмигранта, который сам не в состоянии получить обратно конфискованные имения. Я считаю конкордат большой ошибкой. Император мог бы не делать никаких шагов для сближения с Римом. Ну, а раз это случилось, теперь уж поздно запирать ворота перед иезуитами. В Польше я читал книжку Захоровского «Монита Секрэта». Это — замечательное произведение XVII века. Особенно интересен способ исповеди с указанием на систему разрешенных и допустимых грехов. Самые тяжелые грехи — это сомнения в догматах, «умничание» и неповиновение. Все остальное разрешается при условии своевременного раскаяния и уплаты в церковную лавочку более или менее значительной суммы. Вот вам вся бухгалтерия праведности. Ну, а система подчинения коадъюторов, генералов, магистров и т. д., система, при которой дисциплина доведена до поразительного совершенства, система, при которой вы никогда не узнаете в веселом и беспечном собеседнике, будь он в военной форме или в штатском платье, опасного иезуитского агента, — замечательна. Тонкие мастера интриги, иезуиты, как на церковном органе, умело играют женским сердцем. Разные культы сердца Иисусова и прочие тонкие эротические образы — пожирание тела небесного жениха — это все капканы для молодых и старых женщин, среди которых вербуется армия экзальтированных агентов, проводников католичества в семье и в

обществе. Когда Вольней просил Наполеона не сноситься с папой, император сказал: «Народ просит религии». Вольней ответил: «А если народ попросит Бурбонов, вы тоже ему дадите?» Наполеон ударил Вольнея сапогом в живот, но Вольней был прав. Я помню, какими приемами один контрреволюционный аббат обучал меня в детстве. Он хорошо уяснил себе мой характер и понимал, что просто меня не возьмешь. Зная мое пристрастие к математике, он очень хорошо руководил моими занятиями именно по этому предмету. Возник вопрос о параллельных линиях в тригонометрии. Тригонометрическая линия — символ функции — уходит в бесконечность и возвращается с обратным знаком. Тут мой аббат стал говорить мне о ликвидации параллельности в пространстве как о чуде и тайне: в бесконечности параллельные линии пересекаются, а линия тангенса преображается, вернувшись оттуда. Вот в этих формулировках он очень ловко попытался запутать мою мысль, внести сознание внезапной загадки и сделать вмешательство религии неизбежным. Он пробовал сыграть на том, что наука не знает безусловных истин, а следовательно, пределы ее влияния ограничены. Что же безгранично, что истинно, кто владеет тайной? Только один человек — это папа! Истины хранятся только в одном месте — в церкви. Я сейчас не припомню всех тончайших приемов наталкивания меня на эти выводы, которые были формулированы совсем не примитивно. И если я ни на секунду не почувствовал в душе никакой религиозности, то все-таки не мог избавиться от смущения, как человек, заглянувший в пропасть. Характерная особенность всех окружавших меня в детстве попов — это дикая и ехидная радость при каждом известии об успехах монархических интервентов.

При этих словах Бейля дверь шумно раскрылась, и, продолжая беседу, вошли двое: Виктор Жакмон и Марест. Один — высокий, спокойный, с иронической улыбкой — Виктор Жакмон; другой — маленький, остробородый, с лицом землистого цвета, в морщинах, со стеклянными зеленоватыми глазами, жестикулирующий на ходу — барон де Марест. Совершенно не интересуясь происходящим в комнате разговором, оба вошедших громко здоровались, не прерывая своего спора.

С большой теплотой встретился с Бейлем Виктор Жакмон. Капитан инженерных войск, малоизвестный писа-

тель, Жакмон был одним из немногих неизменных друзей Бейля.

— Ну вот, — заговорил он, обращаясь к Бейлю, — я доказываю Маресту теперь уже неопровержимую вещь, что твой излюбленный «генерал-император» в конце концов совершенно дутая фигура, игрушка случая, щепка на гребне волны. Сейчас ее выбросили на мель. Марест с истинно баронским величием, вместо того чтобы отвечать мне по существу, брызжет на меня желчью своего остроумия. Знаешь, Анри, только ты теперь можешь дать настоящую оценку событий.

Марест отошел к окну, вынул записную книжку и аккуратно вписал расход: «Наем фиакра и сигаретки». Затем, пряча записную книжку, он стал петушиным голосом выкрикивать невероятные похвалы Наполеону с таким злым выражением лица, с такой желчью и серьезностью, что трудно было понять, шутит он или высказывает свои убеждения.

Бейль прервал его словами:

— Послушайте, дорогой барон. Вы избрали очень плохое место для этих возгласов. Ведь мы же не раздаем крестов и ленточек Почетного легиона.

— Я вполне уверен, что военный комиссар Бейль доведет мои слова до сведения маршала Дарю, если, впрочем, маршал не вернется к своим старым занятиям — переводу Горация. Повидимому, это как раз своевременно. Кстати, скажите, господин военный комиссар, правда ли, что граф Дарю во-время заявил императору о том, что императорский отъезд из армии повлечет за собой ее уничтожение?

— И еще, — добавил к словам Мареста Жакмон, — скажи, пожалуйста, правда ли, что твой хваленый император боялся, что немцы, узнав о гибели армии, зацапают его как пленника?

— Да, было несколько критических дней. Подъезжая к Кенигсбергу, я видел световой телеграф в действии. Очевидно, немецкие государства уже кое-что знали в те дни, когда император ехал в Париж.

— Жаль, что это не случилось, — сказал Жакмон. — Ну, а что ты сам будешь делать?

— Многое зависит не от меня. Мое собственное желание скромно — я хочу отдохнуть, но не в Париже.

— Ну, конечно, ведь вы — миланец, — вставил Марест. — Куда ж ему деваться еще?! Конечно, уедет в Ломбардию, а потом, отдохнув, опять устроится довольно ловко.

— Марест сегодня похож на крысу, ухитрившуюся укусить кошку за хвост, — сказал Бейль. — Вредно так раскачивать желчный пузырь.

— Ого! — поймал Марест эту фразу. — Вот хорошее воздействие сурового климата. Что касается меня, то я не замораживал своей желчи на московском льду.

— Жаль, что вас там не было. Московский огонь растопил бы ледяную корку вашего мозга и заставил бы вас ценить в собеседнике не желчь, а ло-ги-ку, — сказал Бейль, подчеркнув последнее слово.

— Где же здесь ло-ги-ка? — передразнил Марест. — Объявляется новая мобилизация, а военный комиссар, видите ли, изволит ехать в Милан, когда «отечество в опасности».

— Ну, каждый по-своему представляет себе отечество. Мои взгляды на отечество вы знаете, — сказал Бейль и, достав маленькую книжку из кармана, прочел: «Вселенная представляет собой книгу, в которой читатель не пошел дальше первой страницы, если видел только свою страну. Что касается меня, то я перелистал достаточное количество страниц этой книги, для того чтобы прийти к заключению, что все они плохи. Я получил небесполезный опыт».

— Это что за вздор?! — воскликнул Марест.

— Когда вы успели купить это? Что у вас — «Космополит» Фуэкре или книжка Байрона, взявшего из него эпиграф? — вмешался в разговор Делеклюз.

— Сегодня утром на набережной я купил эту книжку на лотке. Это удивительное произведение нового поэта. Его фамилия Байрон. Книжка называется «Странствования Чайльд-Гарольда».

— Это старая книжечка, — сказал Делеклюз. — Она вышла в марте прошлого года.

— Во всяком случае, я с ней познакомился впервые, — сказал Бейль. — Я взял ее у книготорговца только потому, что слова «поэт лорд Байрон выступил на защиту лондонских мятежных рабочих» врезались мне в память. Эту фразу я прочел в Вильне, где местные польские власти всячески старались в мрачном свете пред-

ставить положение Англии. Кстати, что это за лондонская революция, которую подавляли тридцать тысяч конницы и пехоты?

— Ну, какой вздор! Дело гораздо проще, — сказал Жакмон. — У нас повторится такая же история. Паровая машина на три четверти упраздняет применение живой рабочей силы, отсюда — безработица и голод, так как никакой фабрикант не думает о судьбе увольняемых рабочих. Хлеб сейчас подорожал, в особенности в Англии, а к тому же мы порядком перехватили английских кораблей с хлопком. Ну вот и простые результаты сложных причин: десятки тысяч беднейших англичан оказались на улице. Видя, что им грозит неминуемый голод, рассуждая плохо, они, отыскивая причины своего несчастья, решили, что во всем виноваты машины, и стали ломать станки. Хозяева обратились к войскам, а Палата лордов предложила применить расстрелы и виселицы к восставшим рабочим. Автор той книжечки, которую вы держите в руках, выступил в Палате лордов в феврале прошлого года. Я читал его речь в защиту рабочих. Это замечательная речь, хоть и не лишена вздора, какой обычно бывает, когда поэт и гуманист начинает говорить о политике.

— Мне рисовалась совсем иная картина, — сказал Бейль, — я думал, что в Англии начинается девяносто третий год.

Во время беседы Коломб нарезал кусками дичь и жаркое, наполнил бокалы. Все стали пить, поздравляя Бейля с благополучным возвращением. Марест рассказывал анекдоты, покрываемые дружным хохотом. В самый разгар веселья в комнату вошел инженер Изерского департамента Крозе. Бейль встретил его горячим рукопожатием.

— Надеюсь, ты был уже у Дарю? — спросил Крозе у Бейля.

— Нет, — ответил Бейль.

— Я тебе советую сделать это завтра, — сказал Крозе и, подсаживаясь к Бейлю, шепнул ему на ухо: — Найди предлог, чтобы ускользнуть отсюда со мной пораньше.

— Быть может, ты скажешь, в чем дело? — спросил Бейль.

— Скажу, когда выйдем, но не сейчас!

Глава одиннадцатая

Фиакр ехал уже полтора часа. Пробираясь медленно по грязной, горбатой, неосвещенной улице, коляска качалась, скрипела рессорами. Разговор между Бейлем и его спутником не клеился. Крозе упорно молчал, не отвечая даже на самые настойчивые вопросы Бейля. Молчание стало тем более неизбежным, что коляска так стучала железными ободьями о мостовую, что приходилось кричать, чтобы быть услышанным. Наконец, Бейль не вытерпел и крикнул:

— Ну вот мы уже в Сен-Дени! Так как ты сюда нанял фиакр, то, очевидно, мы подъезжаем. Скажи мне, в чем дело?

Крозе остановил извозчика около небольшого одноэтажного дома, заплатил ему деньги и велел дожидаться. Бейль и Крозе вышли.

— Это какие-то причуды. Имей в виду, что если ты хочешь просто повеселиться, то незачем делать вид заговорщика. Во всяком случае, я тебе отомщу, и твоя сердитая Праскед узнает о твоем поведении раньше, чем ты сумеешь ей наврать.

Крозе рассмеялся.

— У тебя еще нет причин для недовольства, но мне не хотелось, чтобы ты, узнав, в чем дело, внезапно собрался и вернулся в Париж. Две недели тому назад, после больших мучений и разрыва с мужем, приехала в Париж Мелани. Хочешь ли с ней увидеться?

Бейль остановился.

— Во всяком случае, не сейчас.

— Нет, именно сейчас, пока никто не успел еще предупредить ее о твоем возвращении в Париж. Ее окно освещено. Вот это, против каштана. Фиакр будет тебя ждать, а я ухожу пешком.

Бейль подошел к двери, потом вернулся и решительно направился к тому месту, где стояли лошади. Фиакр уже уехал. Бейль побежал в том направлении, куда скрылся Крозе. Он кричал, звал Крозе. Маленькая улица была пустынна. Крозе пропал бесследно. Так как было поздно, то предстояло возвращаться в Париж пешком.

«Идти к Мелани сейчас совершенно невозможно, — думал Бейль. — Если бы она хотела, то на Ново-Люксембургской знали бы об этом. Морис — аккуратная старуха.

У нее хорошая память на лица. Она обязательно сказала бы, если б кто-нибудь был. Но ни от госпожи Басковой, ни от госпожи Гильбер, ни просто от Мелани никто не приходил. Значит, все письма, просьбы и предложения не имели успеха. Как после этого войти и о чем заговорить? Мелани очень самолюбива. Прийти без зова к человеку, пережившему столько несчастий, и не выразить ему сочувствия или выразить и оскорбить — все это одинаково плохо, ненужно».

Прошло еще десять минут.

«Но я буду подлецом или трусом, если не найду выхода из положения», — сказал Бейль самому себе, вернулся, поднял дверной молоток и громко постучал.

Ему открыла старая женщина в чепце коричневого цвета и, освещая шандалом вошедшего, осмотрела его с ног до головы. Бейль три раза повторил свой вопрос.

— Моя госпожа уже разделась и спит. Впрочем, назовите вашу фамилию... Ах, господин Бейль... Тогда войдите. Вас она называла, приказывая впустить, как только вы придете.

Бейль сидел на маленьком диване и ждал. Два шандала, по три свечи в каждом, горели на столе. Тонкое марсельское кружево закрывало окна. Маленькая тарелка с кусочком сыра, чашка с недопитым красным вином и ломтик хлеба говорили о том, что кто-то не кончил одинокого ужина. «Как хорошо, что приходится ждать!» — подумал Бейль. Он чувствовал легкое затруднение дыхания, что-то сдавливало ему горло. Все равно сейчас он не может произнести ни слова. А если заговорит, это будут или слова упрека, и тогда повторится невеселая картина старых марсельских ссор, или, если это будут незначительные и мертвые слова, кристаллическая ледяная корка, как на зимнем стекле, сделает Мелани невидимой. Нервная зевота и усталость. Чтобы не дремать, Бейль достал из кармана маленькую книжку и стал читать восхитившие его еще утром английские стихи безвестного поэта Байрона:

Порою, словно тайну вспоминая,
Измену иль погибшую любовь,
За пиршеством немую скорбь скрывая,
Сидел Гарольд, сурово хмуря бровь.
Но тайной оставалася тревога
Его души, друзьям он не вверял
Заветных дум и шел своей дорогой,
Советов не прося. Страдал он много,
Но в утешениях отрады не искал.

В соседней комнате сейчас находится Мелани. Неужели ей нужно одеваться, как на концерт, и тратить на это время? Очевидно, она терпеливо ждала, настолько терпеливо, что ни строчки не написала ему на квартиру, не узнала даже, жив ли он. Однако этот проклятый Крозе ничего не сказал! Быть может, он действовал по ее поручению, если так смело привез его в Сен-Дени? Ведь сказала же старуха, что Мелани его ждала. Значит, она одевается, как перед выходом на сцену, не зная, что сейчас это совершенно неуместно. Единственно, чего не прощает любовь, — это добровольного отсутствия. Бейль чувствовал лихорадку, не ту кенигсбергскую вспышку болезни, которая вызвала бред, а совсем другую, давно позабытую, кажущуюся сейчас смешной. Кровь стучала в висках при мысли о том, что после шести лет разлуки вряд ли осталась у Мелани хотя бы тень прежнего чувства к нему.

Худые, длинные пальцы легли ему на веки и закрыли глаза. Мелани тихонько подкралась сзади, и ее горячие ладони сжимали ему виски и закрывали уши. Щекой она прижималась к его голове.

Мелани говорила:

— Как вы могли подумать, Анри, что я в ваше отсутствие могу поселиться у вас на квартире?! Ваши письма из Москвы, очевидно, не дошли, да если бы даже Рус передал мне ваше предложение, вы знаете, как я люблю самостоятельность и свободу. В Марселе я все-таки предпочитала, чтобы вы жили у меня, а не я у вас.

Не сводя с нее глаз, удивляясь ее свежести, блестящему взгляду, любуясь хорошо знакомыми ямочками на щеках, с восхищением оглядывая всю ее маленькую совершенную фигурку статуэтки из Танагры, Бейль скорее впитывал звуки тремолирующего голоса, чем отдавал себе отчет в значении ее слов. Его собственные слова неслись безудержным потоком. Он рассказывал, как в день приезда в Москву им овладело настоящее безумие, какое-то непреодолимое желание во что бы то ни стало разыскать ее в этом колоссальном горящем северном Риме. Он даже не понимал тогда, насколько нелепа мысль — искать ее среди горящих лачуг и пылающих дворцов. Он до изнеможения довел себя поисками, ставшими под конец опасными. Он попал в тупик среди горящих домов, искры падали ему на платье. Было до такой степени

жарко, что волосы шевелились на голове от горячего ветра, жгло ресницы и брови, и если бы не русский мужик Артемисов, то эти поиски Мелани кончились бы собственной его гибелью. Потом Бейль рассказал о случайной встрече с маленьким арфистом из марсельского театра, о том, как этот арфист сообщил ему подробности об отъезде Мелани из Москвы.

— Анри, очень хорошо, что и для вас и для меня Россия будет только воспоминанием. Я никогда не могла бы стать русской помещицей со ста семьюдесятью шестью душами рабов. Вы подумайте только, что значат эти слова: «сто семьдесят шесть душ»! Душа — это слово, которое так много значит для меня. А там оно — обозначение имущества, живой предмет, которым владеет помещик, в большинстве случаев не имеющий собственной души. Таким был Басков.

— Почему вы говорите «был»?

— Да потому, что его теперь нет.

— Нет для вас?

— Нет, он просто не существует. Его убили крестьяне.

— А!.. — сказал Бейль и остановился.

— Я, кажется, не разучилась читать ваши мысли: для меня Басков не существовал уже задолго до того, как он перестал существовать среди живых.

— Ну, а ваш ребенок? Фесель мне говорил...

— После смерти маленькой Адели, отцом которой вы хотели называться, у меня не было детей, дорогой Анри. Однако какой я стала рассеянной! Вы, вероятно, хотите есть?

— Нет, я только что был у Коломба, где мы пили и ели.

— Для вас я снова приготовлю марсельский ужин.

Под утро Бейль, облокотясь на подушку, рассматривал молча профиль спящей Мелани и перебирал в памяти все прежние впечатления 1805 и 1806 годов в Марселе и 3 августа 1806 года, когда он принял посвящение в масонской ложе «Каролина — Великий Восток Франции».

Постоянным видением его снова была маленькая нимфа на зеленом тенистом берегу Ювонны, голая и смеющаяся под брызгами воды, — Мелани тогдашних лет.

Почему нынче ночью, поднимая бокалы за встречу, она ни разу не спросила его о том, что он будет делать с собою, ничего не сказала ни о себе, ни о своей жизни в Париже? Она тысячу раз права, говоря, что нынешняя,

очень радостная встреча была необходима. Бейль думал, может ли это внезапно охватившее его ощущение физического счастья бросить его надолго в объятия Мелани.

Эта маленькая странная женщина, такая строгая в отношениях с ним и такая правдивая в своем чувстве к нему, отрицает возможность прочного союза с ним даже теперь, встретившись с ним и отдавшись ему, как прежде. Она, конечно, права, говоря, что эта встреча — лишь «последняя цифра в конце страницы, говорящая о том, что счет закончен».

Большая цифра...

На секунду в душе Бейля проснулась ревность: «Как жила, как будет жить дальше Мелани? Ведь не молчит же она с другими, как не молчала эти шесть лет».

Тонкая иголка вошла в сердце, заледенила его холодом, и кончик сломался, но не растаял, как льдинка, а колет и причиняет боль. Захотелось поцеловать Мелани и разбудить. Но вдруг чувство горячей благодарности к ней остановило его. Холод растаял. Какое счастье, что именно с ней он встретился, только что вернувшись во Францию! Именно эта ночь после счастливого и беззаботного вечера с нею, когда она была так проста и так ласкова, дала ему возможность вдруг почувствовать, что растаяли впечатления войны, исчез мертвящий холод в душе, по жилам побежала опять горячая кровь.

«Жизнь хороша, надо вернуться в жизнь. Завтра же будет музыка, великолепный Лувр, картины и гравюры и чтение замечательного английского молодого поэта... Байрон — подарок судьбы!..»

Бейль тихонько оделся и сел у окна. Воображение рисовало ему миланские ворота с надписью «Alla valorosa armata francese!» («Доблестному французскому войску!»), громадные стены, усеянные народом, миланских женщин в ярких и пестрых многоцветных платьях, машущих омбрельками, детей в широкополых шляпах, мужчин в белых чулках и туфлях с бантами, — все это кричит, сыплет цветами, ликует и веселится по поводу вступления французов и ухода последних австрийцев из Милана. Это было очень давно. Теперешний Париж, мрачный и грязный, с немощеными улицами, горбатыми мостами, афишами о рекрутском наборе, сумрачными лицами, говорит о том, что наступили иные времена. «Пусть наступили другие времена, я сам никогда не чувствовал

себя так наполненным жизнью, как сегодня, — ответил Бейль на свои мысли. — Но Мелани права. Я сказал бы, что меняется облик вселенной и время тает, как вот эти облака на светлом небе. Я не узнаю своих чувств, я не узнаю людей и предметов, хотя они носят те же имена и очертания».

Набросав несколько строк Мелани, Бейль вышел из маленького дома и пошел пешком в Париж. Ветер трепал его волосы. Бейль нес треуголку в руке и с наслаждением купался в потоках света. Грудь дышала полно, и чувство огромной, невероятной свободы делало его походку энергичной, уверенной и спокойной.

19 марта, закончив очередную страницу «Истории живописи», Бейль в сотый раз начал разбирать бумаги.

Он записал в тетради, которую вел от имени батальонного командира Коста: «Мелани обнаружила все признаки большого счастья. Она полна ощущений жизни и интереса ко всем ее мелочам». Записав это, Бейль с удовлетворением подумал о том, что его прежняя подруга опять нашла самое себя и не нуждается в нем. Странное и противоречивое чувство: искание любви и побег от любви... Он сделал отметку на полях о том, что все друзья получают административные назначения. Пометил, что не согласился бы стать префектом и ехать в провинциальную трущобу с населением в шесть тысяч жителей.

Разрывая бумаги в старых папках, он нашел письмо, повидимому, очень старое:

«Знаете ли вы, что меня затрудняет в ваших письмах? Это — ваши извинения. На вашем месте я была бы более доверчива и более откровенна. Выбирайте сами, что сочтете более необходимым для себя. Разве я когда-нибудь хоть раз упрекнула вас в том, что вы со мной фамильярны в некоторых ваших письмах? Эх! Разве вы не знаете, что именно этот тон писем скорее трогает мое сердце, что меньше всего вы можете опасаться разонравиться мне именно тогда, когда вы подаете мне такие знаки дружбы? Я скучаю так же, как вы. К тому же я переживаю тревогу. Здоровье мое настолько слабо, что я все меньше и меньше могу переносить утомительные выступления в трагических ролях. У меня слабая грудь, и вот уже несколько дней, как я болею. Это невольно

делает меня злой! Временами мне кажется, что судьба слишком ко мне несправедлива. Во всяком случае, если бы я была одна, я думаю, что сумела бы уйти из жизни, которая становится для меня сплошным горем. Но меня удерживает мысль о моей бедной крошке. Господи боже мой! Это какая-то невероятная жестокость — быть все время жертвой преследующих меня событий. После четырех лет неустанного труда и лишений не иметь возможности осуществить простой разумный план! Если бы вы знали, что я получаю вместо утешения! В конце концов вам нетрудно догадаться, о чем я говорю. О низости человека, который когда-то злоупотреблял несчастными обстоятельствами моей жизни. Я с ужасом думаю об этом, особенно теперь. Посмею ли я признаться самой себе в том, что я должна ненавидеть того, кого когда-то любила? Чувствуете ли вы, до какой степени это отвратительно и ужасно?

Вы написали Манту о том, что если я умру, вы возьмете на себя заботы о моей девочке. Я знаю, что Басков ее любит, как собственную дочь. Но в конце концов и он может умереть. Поэтому я вам поручаю ее. Любите ее! Слышите ли вы? Любите. Она будет вам признательна всю жизнь, как если бы вы были ей родным. Она перенесет на вас привязанность, которую сейчас питает к матери. Если бы она была для вас второй маленькой Мелани! Поговорите о ней с вашей милой сестрой. Я никогда не забуду вашего письма к господину Манту. Простите. Слезы душат меня. Я должна с вами расстаться».

Бейль никак не мог вспомнить, когда было получено это письмо Мелани из Марселя. Снова чувство убегающего времени охватило его. Он не мог воссоздать даже в воображении ни одного из прежних ощущений. Только имя Мант напомнило ему страшные минуты: в Политехнической школе Мант был единственный юноша из Гренобля, с которым Бейль был близок. Горячий республиканец Мант сблизился с заговорщиком генералом Моро и, кажется, виделся с Кадудалем в роковые дни консульства Бонапарта. Сам Бейль осмелился в комедии «Le Bon Partie» [1] осмеивать властолюбие Бонапарта. Сам

---

[1] «Счастливый удел» («Удачная партия») *(франц.)*.

Бейль полюбил речи Моро. Но Бонапарт в 1804 году император. Моро бежал. Бейль тоже... в Марсель. Тогдашняя Мелани и нынешняя были совершенно различны.

Но и сам Бейль менялся дважды после марсельских счастливых дней. Забыв «Bon Partie» и видя силу Бонапарта, Бейль от комедии перешел к жизни, полной силы, и этому помогли странные люди: «вольные каменщики»— масоны ложи *«Каролина»*. Да! Да! Это было в 1806 году, — Бейль — масон... а потом... Ровно через месяц после этого дня Бейль получил приказ отбыть в Германию по военным делам. Прошение об отставке не было принято.

С новыми чувствами ехал он по городам и дорогам Германии. Он не узнавал мира, не узнавал знакомых людей. Все называлось старыми именами, и все было чужое. С глазами вновь родившегося человека он приехал в Дрезден, перенеся перед тем ужасающие пароксизмы страшной саганской лихорадки. Лихорадка стерла память о старой Франции. Прошлое казалось прочитанной когда-то историей чужой жизни.

Чтобы опомниться и понять, что с ним происходит, Бейль подчинился совету военных врачей и уехал в короткий отпуск. Проехал в Ломбардию и вихрем пронесся по городам, с тем чтобы вернуться в Париж. Просьба об отставке снова не имела успеха.

И в Италии и во Франции то же странное, неуловимое чувство: все имена, названия, все очертания оставались старыми, но ничего нельзя было узнать. Был ли новым сам Анри Бейль, или новым стал весь мир? Весеннее и изощренное чувство великого времени, в котором живешь с полнотою участника и творца, сменилось предчувствием конца эпохи и щемящим страхом падения несбывающихся и, вероятно, несбыточных надежд.

Глава двенадцатая

К осени 1813 года армия Наполеона снова достигла четырехсот тысяч бойцов. Против него шли соединенные войска России, Пруссии, Австрии, Швеции и Англии. Это была четвертая и последняя коалиция. Начав с политического выступления против французской революции,

европейские монархи кончили тем, что добивали французского императора. Этот год, начавшийся с переменным счастьем для Бонапарта, закончился поражением французских войск в «битве народов» под Лейпцигом, между 16 и 19 октября 1813 года.

Если десять процентов Великой армии, перешедшей Неман, комплектовались уже из штрафных батальонов, состав которых определялся дезертирами-рецидивистами и многочисленными обитателями французских тюрем, то в лейпцигской битве обнаружилось, что здоровые и сильные солдаты, составлявшие основной кадр новых наборов, были ранены самым странным образом: двадцать процентов самострелов, то есть солдат, задетых ничтожными ранениями, с простреленной рукой, с отстреленным пальцем, с простреленными мышцами ноги, дававшими право уйти из своей части на перевязку и даже просто не возвращаться в свою часть. В полках обнаружены были представители новой своеобразной профессии — старые солдаты, умевшие прекрасно за сравнительно недорогую плату вывести молодых товарищей из строя легчайшим ранением.

Тем временем Александр I со своим верным другом Аракчеевым вечерами просиживал над составлением нескольких необычных планов. Мнение европейских монархов о силе русского оружия польстило Александру. Русская армия не представляла собой чего-либо целого, но в каждой оккупационной армии союзников были русские корпуса, как самые надежные части. И командиры союзных войск с величайшей готовностью обеспечивали русскому крестьянину в мундире возможность умирать от французских ядер и пуль в первых рядах союзных армий. Русский царь обычно проводил время с бароном Штейном и Аракчеевым. Эта прекрасная дружба трех политиков имела особую задачу. Немецкий министр Штейн был в то же время главой русских гражданских властей, назначенных Александром в Литве, Польше и по всей территории Германии. Штейн вел пропаганду во французских тылах. Он отгрызал крупные куски наполеоновской армии, подкупами превращая солдат в дезертиров. Аракчеев вел переговоры с французскими командирами, сторговываясь с ними через специальных агентов о способах и сроках платежей за работу по развалу армии.

31 декабря 1813 года Анри Бейль получил приказ выехать вместе с чрезвычайным комиссаром Сен-Вальером на юг Франции для осмотра савойской границы. Бейль поехал с неохотой, но Сен-Вальер оказался превосходным спутником, умным собеседником и великим лентяем. Делая большие и страшные глаза, разводя руками, он просил Бейля вывести его из затруднительного положения:

— Я ничего не понимаю в южанах, друг мой, делайте все сами. Я преклоняюсь пред вашими военными талантами.

И вот, внезапно оживившись после года вялости и скуки, Бейль загорелся огнем решимости. Его спутник от Гренобля до Каружа — Ромэн Коломб — в полном восхищении писал о нем: «У Анри ясные и живые глаза, с таким великолепным огоньком насмешки и быстрым охватом того, на что они смотрят! Живая и горячая восприимчивость чувствуется в нем, когда эти несколько необычные, не то синие, не то аметистовые глаза переходят с письменного стола, на котором лежат кроки, на сенатора Сен-Вальера. Как лучший топограф, Бейль сам делает эти кроки: маленькие и большие картографические наброски горных местностей к востоку от Гренобля. Работа кипит в руках. Бейль производит наборы, регулирует движение отрядов, но главным образом «с любопытством предается большой игре, к которой сам Наполеон допустил его впервые». Пусть мелкие огорчения иногда заставляют Бейля поднимать в изломе брови — обычное выражение досады, — это никогда не бывает надолго.

Бонапартовский декрет о назначении Бейля прибавил к его фамилии дворянскую частицу «де». И когда печатные афиши с подписью чрезвычайного комиссара «де Сен-Вальера» и «де Бейля» появляются на улицах его родного города, местные лавочники, парикмахер и молодой аббат вперегонку стараются выскоблить на афишах эту частичку «де». Однажды Бейль получил эту афишу в конверте. Против частицы «де» стоял огромный знак вопроса и крупными буквами было написано: *«Опечатка типографии или глупая шутка, неуместная в наших печальных обстоятельствах?»*

Это — мелкие укусы провинциальных москитов. Гораздо хуже обстоит дело с отцом. Старый Керубин менее,

чем когда-либо, проявляет черты характера, соответствующие его имени: это не «херувим», а настоящий черт. Он отрицает получение от сына писем за подписью *Шомет,* в которых Анри просит ускорить «известное им обоим дело». Старик говорит:

— Ты напрасно хлопочешь. Император не сделает тебя бароном, и то дело, о котором ты писал...

— Ах, так вы все-таки получили мои московские письма?

— Да нет же, красный осел! Не получал я твоих шометовских корреспонденций. Но, впрочем, и без них все ясно. Ты рассчитываешь на баронский титул и хочешь, чтобы я выделил тебе майоратную часть наследства. Ты знаешь, что я помещик, а не дворянин, что я готов Полину и Зинаиду обидеть ради тебя, чертова башня! Но ты, конечно, должен возместить мне расходы, понесенные на покупке разоренных революцией дворянских имений. Ты заплатишь мне сорок пять тысяч франков за имение, купленное мной у Сальвенга, и, пока он живет и занимает дом на площади Гренетта, ты получишь верхний этаж, платя за него тысячу двести франков. Ну, а потом будешь платить шестьсот франков моей любезной госпоже Гинэ. Я хочу прожить долго и на твой счет!

Старик был неумолим. Условия были настолько жестки, что Бейль жаловался за ужином Сен-Вальеру и Коломбу на чрезвычайную жадность отца. При этом «старик попрежнему разъезжает то в Клэ, то в Сент-Измьер; во всех имениях — и на молочной ферме и в виноградной сторожке — ему прислуживают хорошенькие крестьянки. Крепкий старик. На это ему не жаль денег!»

— На что тебе этот проклятый Гренобль? — спрашивал Ромэн. — Мир наступает всегда, когда тетка Серафима тебя не видит.

— Да, тетка и отец... Это поразительный союз. Это какой-то небесный синклит. Два ангела. Херувим и серафим... Сведенборгов ад, где все объединяется во имя ненависти, а не во имя любви. Я глубоко убежден, что тетка гнала меня всю жизнь только потому, что я один догадывался о ее связи с моим отцом после смерти матери. До какой степени несхожи характеры моей матери и ее сестры Серафимы! Мне было девять лет, когда мать умерла. Она была бесконечно хороша, необычайно мила. Я до сих пор не могу передать того странного чувства, которое

охватывало меня всякий раз, когда я видел ее живые глаза, трепещущую грудь и удивительные округлые, словно выточенные, локти с маленькими ямочками. Моя мать была самой красивой женщиной, которую я когда-либо знал. Она была умна, она была полна живых интересов, тонкого вкуса. У Ганьонов в ее комнате была масса итальянских книг, альбомов с римскими кипсеками и нот с неаполитанскими песнями. И рядом с этой красавицей — ее сестра Серафима! Ужасная мерзавка!

— Ну, послушай, Анри! Ты сделал все, чтоб она тебя невзлюбила. Она всегда говорила, что ты ниспровергаешь авторитет семейной власти. Ты припомни, — впрочем, ты помнить этого не можешь, но она это хорошо помнит, — ты был в колыбели, госпожа дю Дюгаллан хотела поцеловать тебя, а ты до крови укусил ее щеку. Тебя назвали кровожадным. Тетка всегда рассказывает твои подвиги. Когда ее подруга Шенавац шла по тротуару, ты уронил с балкона кухонный нож и едва ее не убил. Тебе было тогда три года, но тетка убеждена, что эти способности в тебе остались и теперь. Она и сейчас говорит, что ты кончишь дни на виселице или за решеткой.

Сен-Вальер, писавший письмо за обеденным столом, расхохотался. Семейная беседа прекратилась. Ромэн впустил молодого человека, приехавшего из Седьмой дивизии. Это был секретный агент. Он сообщил о том, что в дивизии ежедневно исчезает оружие и что офицеры не все одинаково реагируют на это. Он сказал также, что в дивизии и якобинцы и сторонники бурбонских принцев ведут агитацию против императора. Сведения совершенно совпадали с сообщениями из других войсковых частей. Бейль вспоминал свои разговоры с генералами в Каруже. Он наблюдал, как офицеры говорят друг с другом шепотом, затаенно. Наблюдал выражение их глаз: у одних взгляд концентрированный и пронзительный, стремящийся узнать, о чем думает собеседник. Другие не любят смотреть в глаза и хмурятся; делая доклады, смотрят в сторону. Простоты и обычного армейского доверия друг к другу в командном составе уже не было.

В Каруже они с Коломбом побывали недавно и в сущности выехали оттуда во-время. Рано утром австрийское ядро пробило крышу и разворотило чердак дома, где они остановились. И все-таки контрразведка явно говорит о том, что Австрия ни на савойской границе, ни в другом

месте не желает продвигаться вперед. Бонапарт, обладая теперь только маленькой армией отборных солдат, приобрел невероятную подвижность. С 29 января по 2 февраля он в пяти местах, с тыла, с фронта, с флангов преследуя Блюхера, совершенно раздробил его большую тяжелую армию своими маленькими отрядами. Сен-Вальер был в восторге от всего. Больше всего от того, что ему самому можно было ничего не делать. Он подписывал документы о состоянии савойской границы, не возражал против неосторожной фразы Бейля о том, что «нет никаких причин, кроме нежелания австрийцев вторгнуться во Францию с юга. Австрийцы не идут, хотя французские генералы готовы пропустить их каждую минуту». Императрица Мария Луиза — родная дочь австрийского императора Франца. Если Бонапарт выскочка, то маленький римский король, сын Наполеона и Марии Луизы, все-таки австрийский принц. Положительно, австрийцы не желают быть активными участниками коалиции! «Не исключена возможность, что австрийские корпуса будут заменены шведами и русскими, — думал Бейль. — Тогда дорога на Париж сразу откроется через Савойские ворота». Эта мысль заставила его собрать секретные материалы и поспешить в Париж для личного доклада Наполеону.

Дилижанс господина Бонафуса отходил ночью. Орлеанское шоссе, обсаженное деревьями, было пустынно. Все дальше и дальше уходило оно от берега реки, на которой виднелись острова и старая башня — свидетельница подвигов орлеанского батарда и гибели английского командира Суффолька, упавшего с моста в реку во время битвы с Жанной д'Арк. Все больше и больше уходила в темноту коническая крыша башни и выделялась черным силуэтом в отдалении. Лошади цокали подковами, раздавались щелканье бича, возгласы форейторов. Бейль и два молчаливых буржуа, сидевших внутри желтого кузова кареты, не нарушали молчания. Так доехали до первой перепряжки; оба спутника Бейля сошли. Бейль остался один. Форейтор крикнул кучеру:

— Господин Бонафус сказал, что это последний дилижанс до Парижа. Завтра рейсы прекратятся.

«Почему бы это?» — подумал Бейль, но спрашивать не захотел. Одетый в штатское платье, в низком черном цилиндре, в пальто с огромным капюшоном, спускав-

шимся почти до пояса, он хотел казаться незаметным, везя секретные документы, и на этот раз был особенно осторожен. В большом кармане, у левого бедра, лежал заряженный пистолет, взятый по совету Коломба, хотя смысла в этом не было никакого. Правда, ходил слух, что дезертиры останавливают ночные дилижансы. «Ах, да! Ведь это сам Бонафус говорил о нападениях, вероятно только для того, чтобы оправдать двойной проездной тариф». С этими скептическими мыслями Бейль надвинул цилиндр на лоб, потрогал рукой зашитые документы, прислонил голову к стенке, по старой привычке именно так, а не иначе, чтобы не смять цилиндр, и заснул крепким сном.

Он проснулся от холода. Было сырое, туманное утро. Дождь казался тюлевой сеткой. Рессоры слегка поскрипывали. Сырой и пронизывающий туман поднимался кое-где над полями и виноградниками. Смотря в окна, Бейль замечает, как под туманом на шоссе обозначаются беспорядочные змеевидные ленты, заполняющие сплошь шоссейную дорогу от перекрестка и до самого горизонта. Слышен своеобразный гул, подковы тысяч лошадей стучат о камни. Бейлю кажется, что опять надвигается приступ ужасной лихорадки, перенесенной им в Сагане. Бейль щиплет себе мочку уха, чтобы совсем проснуться. Недаром он так не любил эти вина, которыми его угощал Сен-Вальер. Никакого приятного чувства, а только кошмары и слишком взбудораженное воображение.

Первые солнечные лучи пробежали по долине и осветили Орлеанское шоссе до самой дальней черты горизонта, обнаружив извивающиеся и движущиеся колонны войск. Это была конница с пиками. Знакомые шапки казаков! «Как! Здесь? Перед самым Парижем? Вот почему содержатель почтового двора Бонафус заявил, что это последний дилижанс! Вот почему так сумрачны и молчаливы были спутники в дороге. Не сойти ли здесь? Но куда деваться?»

Русские войска, выступив на заре, шли в Париж парадным походом.

Возница свернул с дороги, спросил у Бейля его билет и остановил лошадей. После получасового отсутствия он вернулся в маленьком крестьянском экипаже и заявил Бейлю, что с крестьянином уже расплатились, что по узкой дороге дилижансу ехать будет трудно, а догонять

казаков — опасно. Ехать за ними в хвосте не имеет смысла. Бейль пересел в тележку и, благополучно обогнав войсковые колонны, утром 1 апреля прибыл в Париж.

Чувство странного оцепенения и любопытства. Сто тысяч белых повязок на чужих мундирах и кое-где белые кокарды Бурбонов. «Белый цвет окрасил Париж!» Дело проиграно. Без гнева и досады Бейль прочел афишу о капитуляции французской столицы.

Из Парижа на Фонтенебло, запряженная цугом, в последний раз мчалась императорская карета. При самом въезде эскортировавший карету драгун налетел на фонарный столб и раскроил себе череп. Кровь брызнула в окно кареты. Наполеон, не отрываясь от своих мыслей, вытер окровавленную руку перчаткой и вышвырнул перчатку в окно. Через час, бродя по залу и не снимая шляпы, он посматривал на маленький письменный стол, на котором лежал документ об отречении.

Бейль получил повестку явиться в Тюильрийский дворец 11 апреля. Там, в числе других аудиторов Государственного совета, он подписал декларацию о падении власти Наполеона. Государственный совет был распущен.

Через два дня граф Аракчеев записывал в дневнике, датируя старым стилем: «31 марта 1814 г. в Парижы Государь император Александр I изволил произвесть графа Аракчеева во фельдмаршолы в месте с графом Барклаим. О чем и приказ собственноручно был написан, но граф Аракчеев оного не принял и упросил Государя отминить».

Министр Беньо после роспуска Государственного совета прислал к Бейлю чиновника с предложением занять место в парижском интендантстве. Во время переговоров молодой человек, улыбаясь, сообщил Бейлю, что нужно только быть уживчивым и не мешать товарищам, тогда господин Бейль увидит, что нет должности более способствующей обогащению. Бейль стремительно встал.

— С меня достаточно того, что в русском интендантском обозе в Париж привезли Бурбонов; мне нечего делать в Париже.

Улыбка и ласковость взгляда сбежали с чиновничьего лица. Чиновник побледнел и в ужасе простился с Бейлем. Бейль подошел к зеркалу, посмотрел на себя.

Собираясь в театр, он быстро переоделся и думал:

«Надо сделать самодовольное лицо. Это — лучшее оружие. Меня будут считать пошляком и аффектированным человеком. Не допускать, чтобы кто-нибудь догадался или сумел прочесть мои мысли. Стиснув зубы, спокойно пойду навстречу старости и бедности. Ничто не может меня умалить и унизить. Теперь я знаю себе цену. Чтобы удержать то место, которое моя голова заняла в жизни (очень некрасивая голова), мне необходимо, чтобы обо мне не говорили. Это, кажется, слова Эпикура: «Lathe biosas» (проживи незаметно). Надо бежать даже от малейшей похвалы, а для этого надо принять самодовольный вид».

Это ему удалось.

В районе Вертю Александр I делает смотр войскам. Русские офицеры за малейшую неточность посылаются в отсидку на английскую гауптвахту в знак «мира и братства народов». Алексей Петрович Ермолов слышит удивительные слова русского царя: «Двенадцать лет я слыл в Европе ничтожеством. Посмотрим, что они скажут теперь».

Ермолов показывает государю рукой на коричневую массу гусар, идущих церемониальным маршем в пешем строю.

— Не узнаю полка, ваше величество. Никогда со мной этого не было.

Пустые светлоголубые глаза Александра загораются гневом, сдвигаются брови, он поворачивается к Ермолову и, быстро овладев собой, начинает играть самой очаровательной улыбкой. Лорнет взлетает под треугольной шляпой с перьями, и, слегка досадуя, насильно улыбаясь, Александр произносит:

— И я не узнаю этого полка, Алексей Петрович.

— Это ахтырцы, государь, — гнусавит Аракчеев, стоящий рядом.

— Ты надо мной второй раз сегодня трунишь, Алексей Андреевич, — обратился Александр к Аракчееву. — Когда же у ахтырцев были коричневые ментики и желтые шнуры? Они всегда имели голубое с серебром.

— А это, государь, дело особенное. Они в дороге голубые мундиры поизорвали, серебро поизносили, а в каком-то женском монастыре обобрали у француженок суконные рясы и пошили себе мундиры, чтобы было в чем прийти в Париж.

— Молодцы ахтырцы! Быть по сему, — сказал Александр.

Аракчеев позвал адъютанта и вполголоса приказал ему внести в полковую книгу высочайшее повеление о присвоении ахтырцам «новой униформы на веки вечные». Гусар шестого эскадрона, князь Ширханов, идя правым флангом мимо Александра, отдал честь поворотом головы и с ненавистью посмотрел на Аракчеева. Настоятель грузинской обители не удостоил его взглядом.

Глава тринадцатая

26 мая 1814 года перед наступлением вечера Бейль шел по направлению к Парижской опере. Фонари еще не были зажжены. Улицы и переулки, выходившие на восток и на север, постепенно погружались в сумерки. Бейль шел на запад, навстречу красному, пламенеющему небу заката; отсветы вечера зажигали стекла домов и бросали длинные тени деревьев на тротуары. Щелканье бичей, крики лавочников, шляпы, подброшенные кверху, цокание копыт по мостовой возвещали приближение дворцовой кареты. Золоченый старинный экипаж, запряженный восьмеркой лошадей, белых в золотых яблоках, с развевающимися гривами и эгретами на челках, неуклюже выкатился из-за угла и попал в полосу закатного света. Двенадцать кавалеристов в неизвестной форме скакали перед экипажем. На козлах старинной полуколяски лимузинского фасона красовались неподвижные лакеи в белых ливреях с вышитыми лилиями. В коляске, развалясь, сидел Людовик XVIII, новый французский король, и равнодушно, не глядя на толпу, смотрел перед собой большими вялыми бычачьими глазами. Лицо, заплывшее жиром, усталое и пресыщенное, не выражало ни приязни, ни приветливости при встрече с парижанами: Людовик не любил Парижа. Но он не пылал и мстительными чувствами короля из семьи, пострадавшей от революции. Он просто был утомлен пьяной ночью с любовницами и с отвращением думал о необходимости встретиться со своими министрами, так как предпочитал общество русских княгинь и немецких князей, обеспечивших ему конец французского террора. «Легитимная власть» ехала в коляске.

Франция вернулась к пределам 1792 года и подписала

отказ от всех своих захватов. Людовик XVIII, король из бурбонской семьи, подписывал государственные акты послереволюционной Франции своим именем и датировал их словами «Лето царствования нашего двадцать первое», вычеркивая этой фразой четверть века человеческой истории. Пока еще в сознании населения не появилась мысль о том, что этих двадцати лет вовсе не существовало, но отцы дворянских семейств и эмигранты, посыпавшиеся во Францию сотнями, считали долгом вовсе не говорить с детьми о роковом опыте истекших лет. Годы были просто вычеркнуты из памяти. А прошло всего полтора месяца после отречения Наполеона.

Бейль вспомнил, как утром мадам Бертуа, двумя руками подбирая юбки, входила по лестнице в комнату своей матери, кокетничая красивыми босыми ногами, и громко кричала: «Русский царь хочет ограничить власть нашего короля: союзники заставляют его подписать конституцию». Мадам Бертуа, бросающая огненные взгляды на Бейля, только что отпустила по черному ходу австрийского адъютанта. Она в постели узнает положение вещей не хуже любого дипломата.

Коляска с Людовиком давно проехала, но вызванные ею размышления не оставляли Бейля. Ему казалось, что Париж этих дней больше, чем когда-нибудь, является сценой человеческих противоречий. Вот этот молодой виконт, возвращающийся со старухой матерью в свой сен-жерменский особняк, везет с собой генеральский патент герцога Брауншвейгского, обещавшего когда-то сжечь и расстрелять революционный Париж. Старуха, в которой едва держится жизнь, уверена, что вернулось царство аристократии. Завтра она предъявит дворянскую грамоту и выгонит из всех замков и имений тех буржуа и мужиков, которые в них засели. А потом великий и милостивый король разрешит ей учинить суд и расправу над всеми якобинцами, расхитителями ее законных владений. А ее сын, молодой человек, покинувший Францию в детстве во время страшного пожара, возвращался на родину, предвкушая удовольствие сыновней мести.

Вот и другие лица: растерянные и сумрачные парижане, не знающие какую надеть форму офицеры, вчерашние адъютанты и командиры, нынешние «люди без определенных занятий», женщины, стремящиеся быстро переменить любовников, запирающие двери перед вчерашними

героями и богачами из «выскочек» времен Наполеона, женщины, стремящиеся поскорее застраховать себя связью с титулованными стариками, и, наконец, умерший вчера утром в Шарантоне полусумасшедший элегантный старик, маркиз де Сад. Еще вчера утром он сидел на берегу грязного ручья, протекающего в саду шарантонского дома умалишенных; камердинер держал перед ним на подносе ворох драгоценных разноцветных роз, а маркиз, автор страшных эротических романов, сделавших его совершенно напрасно пугалом благочестивых семей, совершал свой утренний обряд: длинными сухими пальцами брал цветок за цветком и швырял его в грязную воду ручья, любуясь розами, забрызганными грязью. Еще вчера этот сумасшедший писатель, который никогда не осуществлял своих безумных фантазий любовного бреда, прислушавшись к политическим толкам, сказал: «Теперь бы я мог все осуществить» — и, швырнув последний цветок, испустил последний вздох. Но он умер просто от глубокой старости, а более молодые его современники уже начали осуществлять его безумные затеи. Париж покрылся притонами, роскошнейшими игорными домами. Немецкое и австрийское золото шуршало и звенело под молоточками крупье, женщины снова красились, проститутки готовили невероятные оргии. В полтора месяца и следа не осталось от военной грозы, от грома и молний императорских декретов. И как это ни странно, исчезла революционная дисциплина старых национальных гвардейцев. Как интересен сейчас Париж!

«Но всякое лицо заботливо надевает маску непроницаемости, старается о том, чтобы его не сумели прочесть». С этой мыслью Бейль вошел в театр.

В партере было уже темно. С первых же тактов музыка Россини волной пенистых, искристых и страстных звуков хлынула на Бейля. И опять, как в очень молодые годы, когда он стоял в очереди у итальянской кассы, чтобы получить билет на премьеру «Пинто» («Это был жерминаль восьмого года!» — вспомнил Бейль), он почувствовал то состояние полного счастья, почти физическое ощущение блаженства, которое всегда давала ему музыка. Бейль полно и без остатка погружался в эти волны, обладая лишь одному ему свойственным умением воспринимать вокальные и оркестровые звуки Россини как одно

гармоническое целое. Моментами, очнувшись, он стремился запечатлеть свое мгновенное переживание какой-либо цветовой ассоциацией, он ловил себя на попытках словами передать впечатление от музыкальной фразы и ощущение всего великолепного потока россиниевских мелодий. Он почти добился возможности выразить музыкальные впечатления словами, когда кончился первый акт.

Занавес опустился. На балконе стали зажигать огромные фонари, с потолка спустили снова гигантский фигурный канделябр. Зажгли боковые люстры.

Бейль очнулся. Слева от него сидел молодой русский офицер в коричневом ментике с собольей оторочкой и белыми аксельбантами. Рядом с ним обмахивала веером лицо молодая женщина в розовом платье, высоко подхваченном в талии, с пышными рукавами, спускавшимися не дальше локтя. Скользнув глазами по ряду кресел, она обратилась к офицеру по-французски и стала рассказывать о том, как казаки бесчинствуют в деревнях и замках Шампани. Офицер, смеясь, отвечал ей, что «парижанки как будто не жалуются на казаков», и с этими словами встал, предложил ей руку и, слегка звеня шпорами, пошел по партеру. Бейлем овладело чувство беспричинного восхищения, он вынул записную книжку и записал одно только слово: *Гермиона*. Но этот восхитительный образ классического сравнения относился не к женщине. Это был лишь условный значок, по которому писалась ночью, дома, в полной тиши новая таинственная страница дневника. По одному значку узнавалась вереница живых мыслей. Это слово относилось к молодому задумчивому русскому офицеру, князю Ширханову.

Записав это короткое словечко, Бейль вышел в фойе и стал искать глазами русского офицера среди пестрой шумящей, шуршащей шелками и звенящей шпорами нарядной театральной толпы. Наконец, он заметил его, остановившегося перед своей дамой, словно удивленного каким-то ее замечанием. Молодой человек смотрел на нее с вопросительной улыбкой, несколько смущенный, именно с таким выражением, какое бывает у человека, предостерегающего себя и собеседника от серьезного поворота разговора, могущего снять легкий покров веселости с грустной темы. Женщина в розовом платье что-то быстро сказала, вскинула голубыми глазами и одна поднялась

по лестнице. Ей навстречу спускалась графиня Строганова, а с нею Виргиния Ансло и французская балерина, тоже по имени Виргиния, бывшая замужем за графом Орловым. Через минуту Бейль потерял из виду этих четырех женщин. Русский офицер, привлекший восхищенное внимание Бейля, легкой и быстрой походкой проходил мимо него. На секунду скользнул взглядом в ответ на пристальный взгляд Бейля и прошел через весь зал, направляясь к высокому генералу с черными бакенбардами, рядом с которым стоял Марест. Генерал взял под руку своего адъютанта и, шепча ему что-то на ухо, отвел его в сторону. Бейль поспешил к Маресту, но в эту минуту раздался театральный звонок и начался второй акт «Севильского цирюльника». Дама в розовом платье сидела неподалеку от Бейля, одна. Ахтырца Ширханова с нею не было. Следующий антракт Бейль тщетно разыскивал заинтересовавшего его молодого человека. С трудом отыскав Мареста, он спросил его об офицере. Марест рассказал, что носитель черных бакенбард — русский генерал, сын известного фаворита Павла I. Бейль тщательно пытался начертать французскими буквами его фамилию и записал в книжку: «gènèral Vaissikoff», но фамилии второго офицера, оказавшегося адъютантом этого генерала, не мог произнести и сам Марест. Он сказал только, что этот адъютант был в театре со своей невестой, по имени Натали, и опять... «невозможная русская фамилия, от произнесения которой могут выпасть передние зубы».

— Вы можете видеть эту розовую Натали, — сказал Марест, — у ее тетки, графини Строгановой, в Сен-Жермене, так как, повидимому, все ваши вопросы о русских офицерах маскируют любопытство иного рода.

— Марест всюду ищет женщину, — ответил Бейль.

— Ну, кажется, на этот раз женщину нашли вы, — ответил Марест. — У вас дело может пойти на лад. Жених уезжает в Россию, а Натали остается у Строгановой. Впрочем, она слишком молода. Генерал говорил своему адъютанту, что ей рано выходить замуж, так как ей нет еще шестнадцати лет. Я, впрочем, не верю этому. У нее такое строгое, серьезное выражение лица, что ей с успехом можно дать двадцать.

Вечером, возвращаясь из театра и нанимая экипаж, Бейль слышал, как старший капельдинер рассказывал

товарищу о своем увольнении: герцогиня Беррийская увидела на одной из театральных дверей незамененную портьеру с вышитыми золотыми пчелами.

— И вот сейчас я — нищий. Я с семьей буду выброшен на улицу. Префект ударил меня ногой в живот и сказал, что меня не повесят только потому, что я — дурак. Что же особенного в этих золотых пчелах?

— А ты не знаешь, — возразил один из товарищей, — что в Тюильрийском дворце за такую же историю подняли дело о заговоре? Золотые пчелы — герб Бонапартов. Они жалят бурбонского быка прямо в глаза.

— Стой, негодяй, что ты тут разглагольствуешь! — воскликнул вдруг человек в черном цилиндре и в черном сюртуке. — Пойдем за мной.

Побелевший капельдинер, в ужасе раскрыв глаза, но ничего не видя перед собой, пошел вслед за арестовавшим его шпионом.

«Золотая пчела сейчас на острове Эльба, — подумал Бейль, — а лилия, кажется, не медоносный цветок, и пчелы ее не любят». Подозвав извозчика, Бейль поехал к себе на Ново-Люксембургскую улицу.

Прежде чем начать очередную страницу «Истории живописи», он сделал отметку в дневнике:

«Париж, 26 мая 1814 г.

С удовольствием замечаю, что я еще подвержен порывам страстной впечатлительности. Я только что вернулся из Французской оперы, где слушал «Севильского цирюльника». По соседству со мной сидел молодой русский офицер, адъютант генерала Ваиссикова или Воейкова, что-то в этом роде. Этот генерал — побочный сын знаменитого Павла I. Мой сосед, молодой офицер, был столь обаятелен, что если б я был женщиной, то он внушил бы мне совершенно стихийную страсть — любовь Гермионы к Оресту. В его присутствии я чувствовал какую-то робость, во мне зарождались волнующие чувства. Я не осмелился глядеть на него прямо, а наблюдал его украдкой. Я чувствовал, что если б я был женщиной, я последовал бы за ним до края мира. Какая огромная разница между французами, бывшими в театре, и этим моим офицером! До какой степени все в нем исполнено простоты, суровости и в то же время нежности!

Лоск цивилизации и вежливости всех людей поднимает до уровня посредственности, но этот лоск портит и снижает уровень тех, кто имеет выдающиеся свойства характера. Ничто не может быть отвратительнее, чем высокопарности и грубости дурака, среднего типа офицера из некультурных иностранцев, наводняющих сейчас Париж. Но в то же время какой французский офицер может выдержать сравнение с тем русским, который был моим соседом! Какая естественность и в то же время какая величавая простота характера! Если бы женщина внушила мне такие чувства и впечатления, я мог бы всю ночь провести в поисках ее жилища.

Я думаю, что неверность моей участи, случайность моей скитальческой судьбы увеличивают мою чувствительность и делают меня легко ранимым».

Закрыв книгу дневника, Бейль хотел совершенно отвлечься от печальных мыслей и погрузился в чтение работы Карпани, посвященной биографии Гайдна.

Глава четырнадцатая

Первая гвардейская дивизия возвращалась из Франции в Россию морем. Торжественная высадка в Ораниенбауме сопровождалась торжественным очередным молебствием. Офицерство на этот раз довольно холодно смотрело на возвращение в отечество. Гвардейцы злыми глазами глядели на попов, сверкающих золотыми облачениями. Черные поповские бороды реяли сквозь волны сизого дурманящего ладана, поднимавшиеся в горячем воздухе летнего дня. Построенные рядами, держа головные уборы левой рукой у согнутого локтя, гвардейцы недобрыми глазами поглядывали на то, как конная полиция била нагайками и топтала толпу крестьян и разночинцев, два раза прорывавшую полицейскую цепь, чтобы хоть одним глазком посмотреть, вернулись ли родные и близкие из заграничного похода.

После молебствия начался обыск. Офицеры равнодушно смотрели, как костлявые руки таможенников разворачивали баулы. Французская книжка, перевод Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», была найдена в одном бауле и передана начальству. Солдаты раз-

местились в казармах, оцепленных кавказцами. Дневальные получили строгий приказ до особого распоряжения не допускать свиданий с родными. Париж казался гвардейцам городом вольницы и благополучия по сравнению с предместьями Петербурга.

Молодой Ширханов входил в Петербург вместе с гвардейской дивизией; с ним рядом ехали Якушкин и Толстой. Оба, не расслышав команды, едва не выехали за положенную черту, навстречу огромной золоченой карете, в которой императрица Мария Федоровна встречала сына Александра. Русский царь, верхом на рыжей лошади, легким аллюром подъезжал к карете, с обнаженной шпагой, делая установленный салют. Пленительная улыбка играла на его розовых губах. В глазах были женская мягкость и почтительность. Весь он был само изящество, сочетавшее офицерскую выправку кавалериста с женоподобными манерами, заставившими итальянца Марото воскликнуть на ухо Ширханову: «Ermafrodito!..» [1]

И вдруг, в тот момент, когда шпага сверкнула на солнце, делая элегантный военный салют, в эту самую минуту через улицу пробежал мужик, простой, рыжебородый, в лаптях, в белой поярковой шляпе, размахивая руками и полами черного кафтана. Произошла неожиданная и странная перемена: прервав военный салют и позабыв о золоченой карете императрицы-матери, всероссийский венценосный самодержец дал шпоры лошади и, пригнувшись к седлу, погнался за мужиком, стремясь проколоть его шпагой. Расступившаяся толпа проглотила беглеца. Тысячи таких же крестьянских лиц смотрели из толпы на разъяренного царя.

— Смотри, смотри, — шептал Якушкин Ширханову, — красавица снова превратилась в кошку, как только увидела мышонка. Долго ли будем сносить этот маскарад?

— Приходите сегодня к Николаю Тургеневу, — сказал Ширханов. — Дорога кончена. Продолжим наши парижские разговоры о том, что надлежит делать.

В доме дворянского пансион-приюта Ширханов сидел у своего двоюродного племянника — Сережи Соболевского. Двенадцатилетний мальчик, незаконный сын Соймонова, изучавший невероятное количество языков и

---

[1] Женоподобный *(итал.)*.

читавший огромное количество иностранных книг, только что кончил писание трогательной элегии о горлинке и дружбе. Он читал ее своему дяде сиповатым, ломающимся голосом, а рядом сидел похожий на обезьянку озорник и «откалывал» такие французские пародии на каждую строчку, что дядя и племянник громко смеялись: Ширханов — искренне, а Сережа — с некоторой самолюбивой досадой. Это был товарищ Соболевского — Левушка Пушкин. Приемные часы кончались, как вдруг по лестнице вбежал белокурый юноша, голубоглазый, губастый с необычайно живым и быстрым взглядом. Поздоровавшись с насмешником, он протянул руку Сереже Соболевскому и почтительно остановился перед Ширхановым.

— Дядя, — обратился Сережа Соболевский к Ширханову, — это брат моего товарища Левушки, царскосельский лицеист Саша.

— Вы вернулись из Франции, князь? — спросил Пушкин по-французски, остановив живые голубые глаза на Ширханове. — Расскажите.

Гувернер, вошедший в приемную, заявил, что воспитанники должны расходиться. Сережа прощался с Ширхановым, а Левушка Пушкин упрекнул брата за то, что, с тех пор как кончил лицей, он «зазнался», навещает его редко и приходит только к концу приема.

— Я ведь приехал звать тебя на четверг к Пущину, — ответил молодой поэт, — устрой, чтоб отпустили.

У самого выхода Пушкин догнал Ширханова.

— Где ваши лошади, князь? — спросил он.

— Я пешком, — ответил Ширханов.

— Можно ли мне предложить вам место в дядюшкиной коляске? Куда вас доставить?

— Я — к Александру Ивановичу Тургеневу.

— Мне хотелось бы с вами, если вы не боитесь коммеражей на мой счет.

— Дело ваше, — ответил Ширханов, — но смею уверить, что коммеражей я не слушаю.

— Ну так услышите, ведь Малиновский — ваш двоюродный брат — все вам расскажет. Вы только не сердитесь. Дело, право же, пустяковое.

— Ах, так эту вашу проделку я уже знаю. Всему виной Степан Степанович Фролов. С тех пор как в ваш лицей Аракчеев определил негодяя Фролова, с Малиновским немало было несчастий. А что же, ваш дядька Фома нашел

себе место, после того как его выгнали за вашу пирушку? — спросил Ширханов.

— Нет, Фому до сих пор втроем содержим сами. Ведь никому в голову не приходило, что за покупку бутылки рома он лишится места.

— Ну, а вы втроем две недели утром и вечером на коленях выстаивали?

— Да, и в черную книгу записаны, и министр, граф Разумовский, на нас накричал. И все за гоголь-моголь. Мне от вашей тетушки больше всего скрываться приходится: она считает, что я Малиновского сбил с дороги.

— Вы, говорят, стихи пишете? — спросил Ширханов.

— Да, — ответил Пушкин и крикнул кучеру: — Стой!

Ширханов и Пушкин вошли к Тургеневу.

Александр Иванович Тургенев с любезной приветливостью встретил приехавших.

— А, Сверчок, Сверчок! Ты опять как-нибудь нашалил? — обратился он к Пушкину.

— Уж никто не нашалил так, как нашалили вы, Александр Иванович. Кюхельбекер — лютеранин, а все же жалуется, что вы всех его знакомых католиков разогнали. За что такая немилость к исповеданиям?

— Ну, положим, католиков-то я не разгонял. А если ты хочешь заступаться за здешних иезуитов, то знай, что двадцатого декабря государь подписал приказ об их изгнании не только из столицы, но даже из империи.

— Мне их не жалко: хоть я и стремлюсь на путь праведности, но выбираю себе наставников вакхического вероисповедания.

— Слышал, слышал, — отозвался А. И. Тургенев и, обращаясь к Ширханову, сказал: — Брат Николай грустит, вернувшись в Россию. Надежды на отмену рабства нет. Он просит вас дать ему французские документы касательно ложи Орфея, а засим просмотреть все бумаги Поздеева касательно крестьянских волнений, ибо Поздеев прямо пишет Ланскому, что «иллюминатический дух безначалия и независимости, распространившийся по всей Европе, руководит также секретными крестьянскими организациями». Вы все это просмотрите, князь, не позже завтрашнего дня, чтобы к собранию на будущей неделе мы могли иметь от вас географическую карту политических идей. У страха глаза велики.

— Ваше замечание правильно, Александр Иванович, — ответил Ширханов. — Трубецкой объясняет это просто: Поздеев и Ланской — люди давних времен. Они напуганы были, еще будучи мальчиками в первых младших чинах, дежурными при графе Панине, когда тот допрашивал пугачевцев. Отсюда с перепугу недалеко доехать и до мыслей о крестьянском иллюминатстве. Но не один Поздеев так думает. Трубецкой показывал мне письма Кутузова, в которых тот называет Францию гнездом цареубийц, ядомешателей, грабителей и разбойников. И Лопухин не лучше, когда пишет, что «дух кружения воцарился в погибающей Франции».

Пушкин стоял и жадно слушал. Губы его были сжаты, но глаза устремлялись попеременно на говоривших.

Заметив это, Тургенев обратился к нему:

— Сверчок, вон посмотри: Катенин ждет тебя с новыми французскими драмами.

Действительно, Катенин стоял у мозаичного столика, на котором были разложены французские книжки в обложках песочного цвета. Пушкин направился в другой конец залы.

Ширханов перелистывал папку, врученную ему Тургеневым. В ней были секретно доставленные старые кутузовские письма к Плещееву. Ширханов читал: «Монархи веселились сочинениями Вольтера, Гельвеция и им подобных, ласкали и награждали их, не ведая, что, по русской пословице, согревали змею в своей пазухе; теперь видят следствие блистательных слов, но не имеют уже почти средств к истреблению пущенного ими. Несчастная Франция! Сия прекрасная земля приносится в жертву ложной философии и нескольким вскруженным головам. Дай боже, чтобы сей плачевный пример открыл глаза монархам и показал бы им ясно, что христианская религия есть единственное основание народного благосостояния и их собственной законной власти. Да научатся несчастием ближнего, что поощрение остроумия есть истинный яд, пожирающий жизненные соки всякого порядка и подчиненности».

«Напрасные страхи, — думал Ширханов. — Франция круто повернула назад не без помощи венценосного российского рабовладельца. Железный склеп повисает над народами. Как не понимают этого наши рыцари и братья

и мастера лож? Почему никто из них даже не усомнится в рабовладении?»

Вдруг в ушах до галлюцинации раздались слова:

«Мы идем по пути времен так странно, что каждый сделанный шаг исчезает для нас безвозвратно».

«Кто это сказал? Кто?» — спрашивал себя Ширханов. И вспомнил, что это слова его лучшего друга, «наставника, коему сердце и помыслы отданы навеки». Эти слова еще недавно были сказаны в Париже ему, Ширханову, Петром Яковлевичем Чаадаевым, лучшим офицером Ахтырского гусарского полка, героем Бородина, Тарутина, Малоярославца и многих европейских полей сражения.

Почти каждодневное общение с Чаадаевым, этим «мудрецом в мундире», до основания перестроило внутренний мир молодого человека. Вместе с мужественностью характера теперь можно было отметить в нем ту перемену внешности, которая свидетельствует о напряженном искании мысли, о большой работе и способности на жертву.

Три события определили эту перемену. Первое — это чтение дерзких писем француза Бейля, тогдашнего врага, пробудившего сомнения в достоинстве русских святынь; второе — это встреча с неизвестным на гауптвахте и, наконец, третье — дружба с Чаадаевым, дающая неувядаемую свежесть мысли.

Плечистый человек со скептической улыбкой на губах и холодком в серых глазах, смотрящих сквозь круглые очки в черепаховой оправе, положил руку на плечо Ширханова.

Это был князь Петр Андреевич Вяземский.

— Ну как, привыкаешь к Петербургу? — спросил он Ширханова.

— С трудом и неохотно, но думаю, что уже привык снова, — ответил Ширханов.

— Ну, а как Натали?

— Натали осталась в Париже.

— Надолго? — спросил Вяземский.

— Думаю, что она сама не сумела бы на это ответить, — с горечью сказал Ширханов.

— Значит, правду я слышал, что у вас с ней разладилось?

— Не по моей вине, — ответил Ширханов.

— Ответ плохой и невеликодушный, — заметил Вяземский. — Ты уж лучше б уступил, коли в чем споры.

— Знаешь, Петр Андреевич, — возразил Ширханов, — ты, не женируясь, судишь о моем деле только по слухам. В чем я могу уступать, когда я уже не помещик?

— Слышал, брат, но не в этом дело. Тебе легко было дать крестьянам вольные от шести десятков душ, — а каково старухе рассуждать и состояния лишиться из-за твоей причуды? — У нее их полторы тысячи душ, этим не швырнешься ради твоего якобинства.

— Я не якобинец, но здравое понятие о рабстве и политике имею.

— Эх ты, политик! Политика только для канальи, а твое дело — служба. Вот тоже с этим мальчуганом, Александром Вяземским, не знаю что и делать с тех пор, как он попал в вашу компанию. Беда с вашими философами! А, вот Пушкин здесь! — воскликнул внезапно Вяземский и, обрывая разговор, позвал молодого человека.

Оставшись один, Ширханов начал думать о причинах охлаждения Наташи. Странное истолкование получила его история в петербургском свете. Освещение, вовсе не соответствующее действительности. Внутренняя борьба его со стремлением Наташи выдвигать религиозные вопросы там, где требовался политический шаг, очевидно была истолкована ее родными довольно упрощенно, и Вяземский передал только общее мнение о том, что Ширханов — мелкопоместный дворянин! — занимается «канальской» политикой «по бедности». Во всяком случае, между женихом и невестой лежала пропасть. За короткий промежуток времени, когда они виделись во Франции, оба почувствовали отчуждение, возникшее, несмотря на первоначальное стремление Наташи всюду следовать за женихом. Это она упросила тетку поехать в Париж по следам союзных армий, это она устремилась за границу, чтобы быть к нему поближе. И в то время как он за два с половиной года пережил, перечувствовал и передумал столько, сколько иному не удастся за четверть века, в то время как он рос, укреплялся в беседах в Николаем Тургеневым, Петром Чаадаевым, в наблюдениях над жизнью Германии и Франции, — в это время Наташа благодаря старой тетке подпадала все больше и больше под влияние опасного сладкоречивого иезуита Жозефа де Местра, который, выехав из Петербурга в 1803 году, вывез не мало духовных

дочерей, главным образом из числа старых и богатых женщин без прямых наследников. Ему вспомнилось выражение де Местра касательно Аракчеева: «Александр почувствовал нужду завести себе визиря, ибо захотел поставить рядом с собой пугало пострашнее по причине внутреннего брожения, здесь господствующего». Французу это брожение было приметно. Он поспешил убраться во Францию.

«Да, я тысячу раз прав, — подумал Ширханов. — Если б не война с Наполеоном, то мы имели бы нового Пугачева, пострашнее первого. Так вот, против Пугачева народного царь выставил Аракчеева — Пугачева дворянского. А как нам теперь быть между двумя Пугачевыми? Одно только — самовластие царя свергнуть. Александр Иванович стоит у порога содружества. Николай Иванович Тургенев стоит уже ближе и знает имена мастеров ложи. Но Николай Иванович пока не знает ничего касательно общества военных друзей, в коем мы с Петром Яковлевичем ведем работу».

Размышления Ширханова были прерваны Николаем Тургеневым, подошедшим к нему вместе с молодым черноволосым офицером.

— Вот наш товарищ, — сказал Николай Иванович, указывая на Ширханова своему собеседнику.

Произошла церемония представления — рукопожатие по установленному ритуалу и затем открытие имени. Черноволосый офицер оказался графом Ираклием Ираклиевичем Полиньяком, капитаном лейб-гвардии Литовского полка.

— Пойдемте в кабинет брата, — сказал Николай Иванович, — и там поговорим о нашем деле. Явственно, граф, что с тех пор как во Франции произошла революция, она расколола семью французского дворянства на враждующие станы. В вас мы имеем друга либеральных намерений наших, в то время как есть французы, принесшие в нашу страну защиту старинного самовластия. Таков ваш барон Даллас, офицер русской службы, не стесняющийся применением телесных наказаний в своем батальоне.

— Знаю его, — ответил Ираклий Полиньяк, — но он тяготится русской службой и не далее как вчера говорил о необходимости вернуться во Францию, как только будут восстановлены дворянские привилегии.

— Дворянские привилегии суть важная вещь, но в руках деспотов они — сущая игрушка. Сообщение ваше, граф, весьма важно. Князь Ширханов передаст его Чаадаеву.

— Что вы скажете о Чаадаеве, князь? — обратился Тургенев к Ширханову.

Пушкин, проходя под руку с Вяземским мимо говоривших, на лету подхватил этот вопрос и кинул:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес,
У нас он офицер гусарской.

— Быстро и остро, но что плохого в том, что он офицер? — отозвался Ширханов.

— Молодой человек говорит от зависти, не будучи участником великих событий, — сказал Полиньяк.

— Я еще успею, граф, — ответил Пушкин. — Я непременно пойду в гусары.

— Ну-ка, ну-ка повтори, — просил Вяземский. — Я запишу. Впрочем, ты сам мне запишешь, чтоб не забыть, запишешь на чаадаевском портрете, когда приедешь в Остафьево.

— Когда я буду в твоем Остафьеве? — сказал Пушкин. — И что я за истолкователь портретов! Все вы заставляете меня подписывать, а потом меня же выдаете.

Ширханов, Полиньяк и Николай Тургенев вошли в кабинет Александра Тургенева и заперли за собой дверь. Началось совещание о состоянии французской политики, о переменах в настроении умов, об аракчеевской власти и о новых замыслах Александра I, который стремится стать во главе союза европейских монархов, поставив целью обуздание мятежного духа, охватившего все страны. Александр Тургенев говорил, что петербургский книгопродавец и типографщик Плюшар отпечатал огромное количество противореспубликанских брошюр и с помощью Аракчеева распространил их повсюду. Собрание закончилось докладом Ширханова о принятии в масонскую ложу «Трех добродетелей» (то есть свободы, равенства и братства) графа Сен-Симона — сочинителя «Писем женевского гражданина», к коему он, Ширханов, был послан в Париж Чаадаевым. Граф Сен-Симон, отрекшись от всех титулов и дворянского звания, по мнению Шир-

ханова, представлял «новую породу существ человеческих». Живя в полной бедности со своим бывшим слугою Диаром, как с лучшим другом, окруженный единомышленниками и преследуемый на каждом шагу врагами, Сен-Симон способен открыть глаза человеческие на великую тайну истории, так как он, Ширханов, сидя у этого мудреца, впервые почувствовал, что политические системы государств есть по существу организации кражи труда у неимущих и что истинно правильное государство есть государство свободных тружеников.

— Я считаю это возрождением томасовой «Утопии»,— сказал, прощаясь со всеми, Николай Тургенев.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава пятнадцатая

Романист, которому издали приходится наблюдать жизнь своих непоседливых героев и сообщать читателю занимательные и скучные моменты их жизни, находится в большом затруднении, когда чувствует нетерпение читателя. Укоры совести говорят ему о том, что он должен был бы пойти читателю навстречу и познакомить Бейля с Ширхановым. Но, следуя исторической правде и обязавшись подробно описывать тогдашние времена, автор никак не может сочинить эту встречу. Знакомство не состоялось. Русский офицер, который служебными обстоятельствами принужден был, вопреки требованиям собственной скромности, ворваться в личные дела Анри Бейля путем чтения его интимнейших писем, при встрече и не содрогнулся и не почувствовал в душе ни малейшего желания выделить из толпы театральных зрителей круглую голову Бейля с темнокаштановыми, почти черными, курчавыми волосами, толстым носом и слегка оплывшими чертами лица, утратившего остроту и строгость, свойственную ему во время русского похода. С другой стороны, Анри Бейль почувствовал сильнейшее влечение и любопытство к русскому офицеру, не зная и не предполагая, что когда-то его затаенные мысли стали известны этому красавцу в эполетах. Ширханов уже давно забыл имя Бейля, но он хорошо помнил дерзость его писем, честную и здоровую ненависть к рабству.

Бейль описал внешность офицера, не назвав его по имени. Судьба свела их на короткий час и развела опять.

В те дни, которые описывает сейчас автор, Чаадаев, братья Тургеневы и молодой Ширханов беседовали с графом Полиньяком о конце французской революции, о способах освобождения русских крестьян. Чаадаев прямо указывал на то, что уничтожение крепостного права и феодальных привилегий дворянства было совершенно немыслимо для французских королей и потому осуществилось революцией, а в России «есть полная возможность с легкостью добиться уничтожения рабства».

В это же время француз барон Даллас всеми помыслами стремился через русское посредство осуществить контрреволюционные затеи. Полиньяк, состоя на русской службе, содействовал революционному движению, в то время как его французский соотечественник и русский сослуживец Даллас через несколько лет становится министром злейшего реакционера — французского короля Карла X — вместе с однофамильцем Ираклия — иезуитом Полиньяком.

В это же время Анри Бейль, осуществив побег из Франции, ходил по улицам Милана с гордо поднятой головой, довольно открыто высказывал свое презрение к австрийской полиции и жандармам и, что хуже всего, печатно вздумал бранить Бурбонов.

Перед отъездом в Милан Бейль перебирал свои папки с бумагами. Он с презрением отбросил комедию в стихах, начатую в первый год знакомства с Мелани. Как можно было даже думать о том, чтобы писать стихи! И существует ли для него литература? Если он когда-нибудь начнет писать, то это будет наука о человеческом сердце, наука о музыке, наука о живописи.

Пьеса в стихах была задумана только потому, что он увлекся Мелани Гильбер. Он увидел эту маленькую страдающую артистку в слезах, когда его двоюродный брат Марциал Дарю за кулисами ударил ее хлыстом. Произошла ссора с Марциалом, потом — переписка с Мелани, которую он условился называть Луазон. Потом — первый стихотворный опыт. Но это все в прошлом. Сейчас он поспешно выпускает свою первую книгу под псевдонимом Луи Александр Сезар Бомбэ: *«Письма из австрийской*

Вены о знаменитом композиторе Иосифе Гайдне с присоединением жизнеописания Моцарта и замечаний о Метастазе, а также о нынешнем состоянии музыки в Италии». Бейль чувствовал необходимость найти выход из тупика, в который его завела судьба, когда яркая и интересная действительность погасла для Франции. «Жизнь страны кончилась. Эпоха, создавшая племя гигантов, миновала. Французский мещанин, лавочник, рыцарь наживы появились всюду и стали на первых местах». Но вместе с Бурбонами вернулись и дворянские надежды. Дворянин, пугаясь и оглядываясь, ищет дорогу в свой старый замок, осторожно ступая по разрушенному революцией мосту. Кажется, русский царь сказал о Бурбонах, что они «ничего не забыли и ничему не научились». Франция — конченая страна. «Я происхожу из космополиса, — писал Бейль, — я гражданин мира, и весь мир принадлежит мне. Итак, займемся книгами. Это то, чего у меня не отнимут Бурбоны. Но как забыть, что в промежуточные годы между пережившим себя дворянством и народившимся новым веком исчезло поколение гигантов, не оставившее следа?»

К сожалению, переписчик книги «О знаменитом Гайдне» забыл выбросить все места, взятые из книг Карпани, Шлихтенгролля, Винклера и Баретти — четырех авторов, с которыми Анри Бейль обошелся, как истый бонапартовский военный комиссар на реквизициях. Трое обокраденных были покойниками. Но, увы! Карпани был жив! Карпани любил Гайдна огромной любовью бездарности к таланту. Бейль тоже любил Гайдна со страстным увлечением гениального меломана. Он доказал это. В мае 1809 года, когда французские пушки забрасывали предместья Вены снарядами, Иосиф Гайдн лежал больной, изредка с трудом подходя к окну, чтобы посмотреть на маленький цветник перед окнами. Куртины и аллеи сада, заботливо посаженного руками старого композитора, были его гордостью.

Французские пушки гремели. Старый больной музыкант, молча покачивая головою, отходил от окна и ложился в постель, раскрывая рубашку, стеснявшую дыхание, и с трудом глотая воздух, задыхаясь от редеющих биений слабого сердца. Ничто так не волновало Бейля, как мысль о спасении этого старика. Но когда он, с трудом проникнув в осажденную Вену, захотел войти в ма-

ленький дом Гайдна, ему сказали, что старик отнесен в собор Стефанскирхе. Он умер от разрыва сердца в тот день, когда французская бомба разрушила его сад. Бейль присутствовал при похоронах Гайдна. Но ведь он же не знал всех подробностей жизни композитора! А этот тупица Карпани хорошо передает их год за годом. Необходимо было выкинуть жвачку карпаниевских суждений о музыке, но взять всю биографию целиком.

Книга господина Бомбэ проходила незамеченной. Но Карпани, интересуясь всякой новинкой о Гайдне, покупает эту книгу, приносит домой, разрезает, читает, с ужасом привскакивает. Нигде ни слова о нем, но всюду его слова. Какой ужас! Бомбэ пишет как ученик Гайдна: «Когда я присутствовал при последних минутах жизни Иосифа Гайдна, меня охватила страшнейшая лихорадка, я не мог владеть собою». Ведь это он, Карпани, присутствовал! Ведь это у него была лихорадка! Никакой Бомбэ не учился у Гайдна! Как же смеет этот француз так бесстыдно красть чужие труды! И вот немного спустя книга господина Бомбэ о музыканте Гайдне привлекает уже всеобщее внимание. Газеты перепечатывают письма Карпани о том, как его обокрали. Бейль сидит в венецианской кофейне и хохочет, читая это письмо. Но вместе с этим письмом он читает напечатанное огромными буквами сообщение: *«Лев сломал клетку. Бонапарт высадился в бухте Жуан»*. Далее: *«Войска присягнули. Назначен новый набор. Париж салютует императору Наполеону. Людовик XVIII бежал из Франции»*.

Раннее утро. Площадь святого Марка пустынна. Тысячи голубей слетаются снова на огромные серые плиты, освещенные солнцем, как только серебряная сетка дождя перестает туманить легкий сизоватый венецианский воздух. Бейль складывает газету в шестнадцатую долю, разглаживает ее на мраморном столике кафе Флориана и заказывает себе вторую чашку кофе, два яйца, бриош и мороженое.

«Довольно с меня Бонапарта! Недаром немец Гегель сказал, что история повторяется дважды. Хуже всего, что первый раз как трагедия, а второй раз — как фарс. Лучше займемся этим добрым парнем Карпани. Право же, это даст развлечение на две недели». Как хорошо,

что эти два дня Бейль в Венеции! Завтра снова дорога на Милан. Не думая о Франции и о Бонапарте, Бейль идет вдоль старых Прокураций, сворачивает к Марчианской библиотеке и покупает маленькую кипу бумаги, потом, обдумывая ответ Карпани, поднимается по лестнице библиотеки. Библиотекарь, с которым он часто просиживал у Флориана или Гвадри, встречает его возгласом и поздравлениями, засыпает его вопросами о Франции, о Бонапарте, с энтузиазмом жмет ему руку как «спутнику великого полководца». Бейль отмахивается и, хохоча, просит приютить его на час и дать ему перелистать снова «Бревиариум Гримани».

Синьор Карло охотно исполняет его просьбу. Бейль в десятый раз смотрит в пергаментный часослов, перелистывает тонкие белые листы из телячьей кожи, и, любуясь картиною синей фламандской ночи, изображенной в декабрьской главе часослова, делает вид, что вся его работа посвящена изучению Бревиария дожа Гримани. На самом деле он нанизывает быстро бегущие буквы, с притворным негодованием набрасывается на Карпани, называет его плагиатором, бездарностью, литературным наймитом и доказывает, как дважды два, что Карпани — самозванец и тупица. Потом, подозвав ромпино — нищего, собирающего сольди и чентезими за то, что иногда придержит крюком борт гондолы, когда в нее садятся или из нее выходят, — Бейль дает маленькому ромпино лиру и велит отвезти написанное на почту.

Письмо в редакцию «об этом негодяе Карпани» появится через неделю, не ранее, а сейчас нужно уехать туда, где не будут говорить о Франции и Бонапарте. Пожалуй, лучше не возвращаться в Милан. Через минуту гондольер, лениво опуская весло, правит на Лидо.

«Лидо — длинный, длинный островок. «Лидо» — значит язычок: на этом язычке я отдохну от болтовни длинных итальянских языков». Вот набережная Скьявоне превратилась в белую полоску. Дворец Дожей над морем стоит, как розовая купальщица в пене прилива. Сан-Джорджио-Маджиоре четко вырисовывается на фоне ослепительного неба. Через четверть часа Бейль ступит на пологий песчаный берег счастливого острова и пробудет там до поздней ночи.

Между домиком рыбака и уличной кузницей, в маленькой лачуге, живет его приятельница Анжелика, здоровая,

смеющаяся, совершенно беззаботная девушка. Там — легкий обед из свежей рыбы, сыра, макарон и легкого искристого ломбардского асти. А потом, под вечер, прогулка по берегу до самых серых стен фортеццы, где можно посидеть, разостлав на песке плащ, купаться с Анжеликой, плавающей, как рыба, и смотреть, как возвращаются вечером венецианские рыбаки. Вспоминается фраза Катона: «Я видел море, цветущее парусами».

Вместе с чайками, купающимися в синем воздухе, появляются косые латинские паруса, набегая от горизонта на берег, — красные, оранжевые, золотистые, белые, серебристые, фиалковые, — все море оживает в часы вечернего возврата рыбаков на Лидо.

Ночью Анжелика, выйдя из лачуги вместе с Бейлем и обняв его на пороге, берет большой ключ со стены и идет с ним к берегу. Теплый ветер, такой же беспечный, как она сама, треплет ее волосы. Она смеется дробным и счастливым смехом, напевает песенку, где святая Агата рифмуется со словом «пекката» — греховодница. На берегу она подтягивает лодку, отпирает замок, швыряет его в кормовую часть и садится на весла. Она гребет хорошо, но иногда делает вид, что у нее срываются весла, брызгает морской водою в лицо своему пассажиру и падает на дно лодки. Бейль пытается помочь ей. Лодка черпает бортом. Девушка вырывается и, вскакивая с легкостью кошки, садится на весла, не подпуская к себе. Через час лодка пристает к ступенькам. Редемпторий на Большом канале, в том месте, где восемнадцать лодок с цветными фонарями окружают певицу в огромной черной шали, с тамбурином и кастаньетами. Сегодня суббота, и на Большом канале, при выходе в лагуну, всю ночь поют серенады.

Только под утро Бейль возвращается к покинутому другу, с которым живет в Венеции, и нечаянно будит его, роняя туфлю на пол. Буратти спросонья спрашивает его, откуда он приехал, и Бейль, хохоча, рассказывает ему историю с Карпани. Буратти окончательно просыпается, достает бутылку красного вина, несколько сухих галет, и начинается то, что они никак не могут определить, — поздний ужин или слишком ранний завтрак. Буратти убеждает Бейля не ездить во Францию. Бейль терпеливо ожидает конца тирады против монархов, с притворным равнодушием смотря на друга. Так как Бейль молчит, то Буратти еще больше разгорается священным негодованием

революционера и поэта, пока, наконец, Бейль спокойно не заявляет:

— С какой стати мне, *миланскому гражданину,* идти под шутовские знамена императора? Я слишком хорошо понял после русского похода, что представляет собою Наполеон, и слишком много знаю о том, что такое теперешняя Франция. В ней исчезла всякая энергия. Французы — это не люди, а куклы. Я — миланец. Уверяю вас, что нынешняя комедия кончится новой Эльбой. Наполеон — замечательный хозяин, великолепный полководец — утратил все свои способности, став императором. Когда-то на его имени сошлись интересы тех, кто выковывал новую Францию. Но Наполеон стал в стороне от этого пересечения интересов, и Франция почувствовала в нем врага. Если сейчас он имеет какую-то тень успеха, то это быстро ускользающая тень. Высадка Бонапарта в Каннах и появление его в Париже говорят вовсе не о том, что он нужен Франции, а лишь о том, что болван и бык, тупоголовая скотина — Людовик Бурбонский — успел уже многих обидеть. Нынешняя Франция, вопреки Бурбонам, удержала Кодекс Наполеона. Это для нее важнее его собственной персоны. Бонапарт не удержится. Он возродил мишурный блеск монархии, он отравил своих офицеров ядом зависти, испортил их погоней за титулами, позабыв, что мстительная аристократия видит в нем самом дерзкого выскочку. Буржуа охотно выдают дочерей за титулованных женихов, но никто не льстится на недавних дворян, испеченных сыном корсиканского клерка. Если будет новая схватка сословий, то Бонапарт останется в стороне. Поколение сильных характеров и воли исчезло бесследно.

Некому делать заново героическую историю Франции. Настали будни.

Глава шестнадцатая

«Этот Карпани — осел, на спине которого я, кажется, въезжаю в литературу, — думал Бейль, разворачивая свежую газету и читая отчаянные вопли обворованного человека. — Но он упирается, этот осел, — следовательно, необходимо постараться обеспечить господину Бомбэ новую рекламу».

И на смену автору, старому почитателю Гайдна, господину Бомбэ, появляется «Бомбэ-Младший», который выступает в качестве благородного свидетеля, изобличающего Карпани в недобросовестном передергивании, в явной лжи, в целом ряде грубых ошибок и нелепостей, допущенных как в биографии Гайдна, так и в письме господина Карпани. Оберегая своего старшего родственника, Бомбэ-Младший с достоинством защищает права гения и таланта от покушений бездарности и в качестве сравнения приводит жалкие потуги тусклого ума Карпани и блестящие характеристики и каскады замечательных мыслей, вышедшие из-под пера бесконечно талантливого господина Бомбэ-Старшего. Разве можно сравнивать такие вещи? Разве может быть спор о том, на чьей стороне правда? И разве мог сам господин Бомбэ позволить себе те похвалы, которые ему расточает господин Бомбэ-Младший? Печатая это письмо, редакция газеты сочла своим долгом заявить, что «претензии господина Карпани совершенно неосновательны». Из итальянских газет полемика попадает в Вену. Почитатели покойного Гайдна запрашивают Карпани о том, на каком основании он возымел дерзость обрушиться на самую лучшую книгу, которая написана о покойном музыканте? Карпани в ужасе мечется по редакциям, начинает сомневаться в собственном существовании, чувствует себя стоящим на пороге безумия и бросает на почту кипу писем, развозимых северными и южными мальпостами в газеты разных столиц. Редакции вежливо отказались их печатать. Бомбэ торжествовал. Но торжество свое переживал одиноко, ни с кем не делясь, так как для всех окружающих господин Бомбэ был просто господином Бейлем, отставным военным чиновником, проживающим в Милане на скудную пенсию, высылаемую гренобльским интендантством.

Его обычное времяпрепровождение — это утром, проснувшись, уйти из Каза-Ачерби пить кофе на Соборной площади, потом провести час или два в галерее Брера перед лучшими полотнами итальянских живописцев, потом позавтракать где-нибудь с друзьями в маленькой миланской траттории, потом ходить по тропинкам Нового парка, около устроенной французами ротонды под названием Амфитеатро дель-Арена и делать отметки карандашом на полях «Истории живописи в Италии», написанной профессором Ланци. К вечеру, когда воздух начинает густеть

и пыль золотится под лучами заходящего солнца, он любит входить на кровлю Миланского собора и там, среди целого леса мраморных шпилей, башенок, мраморных кружев, лесенок, переходов, остановиться и смотреть на бесконечные зеленые равнины Ломбардии, любоваться морями виноградников и серебристо-серыми рощами оливковых деревьев. После этого яркого впечатления каким контрастом кажутся полная темнота и безжизненность, царящие всегда внутри собора! Недостроенный мраморный гигант, занимающий площадь целого города, способный вместить целую армию, но темный, пустынный и давящий своим внутренним сумраком...

Потом — третье впечатление дня: шумная улица, щелканье бичей, живая толпа, сливаясь с которой, господин Бейль отправляется к театру Ла Скала. Каждый вечер, по итальянскому обычаю, в театральной ложе встречаются друзья. К ним присоединяются случайные гости, попутчики жизненной дороги, приходящие в театр, чтобы провести сладкие часы под музыку Чимарозы и Моцарта. Бейль направляется в ложу монсиньора Людовико Брэма. Этот бывший духовник итальянского вице-короля Евгения Савойского отличался изысканными манерами, гостеприимством и страстной любовью к иностранцам. Бейль очень любил этого человека и любил тот кружок, который у него собирался. Полное отсутствие ненавистных Бейлю свойств. Нет ни тщеславия, ни аффектации, ни лицемерия, так испортивших французов. Что может быть гнуснее французских брошюр, издаваемых сейчас не только в Париже, но, главным образом, Плюшаром в Петербурге! Все эти латинские и французские гимны Бурбонам, все эти сатирические выпады вроде заупокойной службы над гробом еще живого Бонапарта, — это все исполнено именно тех самых свойств, которые делают ненавистным французский характер. В Италии бедность не считается преступлением. Бедняк Марончелли, Монти, Фосколо, поэт Сильвио Пеллико да, наконец, и сам Анри Бейль вовсе не являются ни богачами, ни титулованными лицами, и тем не менее в ложе монсиньора Людовико эти гости были приняты, как и десять — двенадцать других посетителей, имеющих и титулы и богатства, как граф Порро, как граф Федериго Конфалоньери.

Прекрасный театр Ла Скала, имевший лучший бенуар во всей Италии, отличался одной особенностью: к ложам,

выходившим в зрительный зал, примыкали три-четыре комнаты, в которых собиралось общество, как в гостиных. Туда подавали вина, легкий ужин, фрукты и оранжады, там просматривали газеты, беседовали, а нажав на большую ручку резной двери, выходили в зрительный зал слушать лучшую музыку в мире [1]. Друзья монсиньора Людовико сходились в его ложе, как в безопасном месте, после того как Цизальпинская республика Бонапарта погибла и Милан из ее столицы снова превратился в город, угнетаемый австрийскими властями. Лицемерие католической монархии было перчаткой на железной лапе Меттерниха.

Но в ложу монсиньора Брэма австрийские жандармы не имели доступа. Поэтому, замышляя освобождение Италии от австрийского ига и возвращение республик, итальянские конспираторы могли довольно свободно перекинуться здесь словом. Сойдя на последней перед Миланом остановке и пешком переступив городскую черту, являлись прямо в ложу монсиньора Людовико люди, которые не могли въехать в Милан открыто. Ночью они возвращались таким же способом или ночевали на Каза-Ачерби, у «миланского гражданина Бейля». Этот синьор Арриго Бейль отличался дьявольской дерзостью. Как старый бонапартовский офицер, он преспокойно водил за нос австрийскую полицию и принимал всех, кого посылал к нему Конфалоньери. Из чащи леса в Сабинских горах, из гор Апулии и Калабрии, где жили в лачугах итальянские угольщики, днем выжигавшие уголь, а ночью принимавшие беглецов, изгнанников, повстанцев, приходили на север эти рыцари тогдашней итальянской свободы, прозванные *угольщиками-карбонариями*. Арриго Бейль, как называли итальянцы Анри Бейля, беспечно проводил время в миланском театре, слушая музыку, беседуя с друзьями, а ночью, словно живя другой жизнью, принимал у себя конспираторов.

Чего хотели эти люди? Они делились на разные группировки. Каждая группа преследовала свои цели и каждая называла эти цели «благом Италии». Пока был силен общий гнет Австрии, раздробленная Италия объединяла

---

[1] Как весь театр, так и ложи были построены и отделаны на средства миланских богачей. Ложи были именными, принадлежали семьям. Остатки этих наследственных абонементов наблюдаются в миланском театре по традиции и теперь. (*Примеч. автора.*)

всех своих сынов стремлением к «итальянской свободе», к полной независимости страны; французская революция казалась началом спасения. Уход последнего австрийского полка из Милана вызвал полное ликование. Люди, привыкшие к томительной скуке, к раболепству, к почтительности, вдруг почувствовали потребность смеяться и бурно веселиться. Все, что было в моде за год перед тем, признавалось теперь приторным и внушало чувство отвращения. *В моду вошло рисковать собою,* ставить на карту жизнь, шлифовать кровь опасностью. Люди, пробудившиеся от долгой спячки, почувствовали тот избыток сил, который дает влечение к большой игре. Генерал Бонапарт нес с собой республиканские знамена, перед ним бежали и расступались попы и жандармы австрийского монарха, — значит, нужно было идти за Бонапартом. Но вот политический горизонт заволакивается тучами. В 1804 году генерал Бонапарт становится императором французов; республика кончается, а многочисленная безработная родня Бонапарта садится на спешно освобождаемые для нее престолы. Мюрат делается по воле свояка неаполитанским королем. Италия дает огромные количества солдат. Тридцать тысяч итальянцев гибнут только в одном русском походе. Огромные деньги Наполеон выкачивает из итальянских городов и деревень. Почетная охрана французского императора превращается в тягчайшее иго. После русского похода начинаются новые наборы, несмотря на то, что за два года население Апеннинского полуострова принесло в жертву наполеоновскому честолюбию шестьдесят тысяч молодых, самых здоровых и сильных итальянцев. Сомнения превратились в уверенность, наполеоновский авторитет заколебался и окончательно пал. И вот на фоне русской неудачи Бонапарта короли итальянских владений, Евгений Богарне и Иоахим Мюрат, стараются создать свой собственный успех. Так завязался узел итальянской трагедии. Французские газеты не стеснялись печатать обвинения по адресу Мюрата за внезапный отъезд из России, итальянцы, и в особенности Неаполь, оплакивали гибель своей молодежи, и только австрийские генералы потирали руки, зная, что наступит час, когда ставленник Наполеона, как спелый плод, свалится в австрийскую корзинку. В Милане возникли боевые партии. Говорили, что «Мюрат устал быть приказчиком Наполеона». Но, будучи политическим нулем, он держался только властью своего

хозяина. Без Бонапарта его значение исчезало. Либералы и городская буржуазия уговаривали его поднять войну против Франции, пользуясь личным озлоблением Мюрата против Наполеона после Березины и Вильны. Они втянули его в работу итальянских масонов особого склада — масонов, действовавших против тех политических стремлений, в которых выражались массовые настроения. В это время Мюрат был вызван к Наполеону в Германию. Там как будто произошло примирение: Мюрат командовал императорской конницей. В Германии Мюрат снова получил директиву, лестную для неаполитанского короля, но, по мнению Бонапарта, обеспечивавшую провал Мюрата в Италии. Наполеон хорошо знал крестьянские и пастушеские настроения итальянского Юга. Примирившись для вида с Мюратом, он дал ему в помощь генерала Мангеса. И, вернувшись с ним, с этим своим злым гением, в Италию, Мюрат начал осуществлять полученный от Бонапарта приказ. Мангес отправляется на юг, в те места, где отец будущего великого писателя, генерал Гюго, перекочевывая из деревни в деревню с четырехлетним сыном на седле, то преследовал, то сам убегал от знаменитого итальянского бандита Фра-Дьяволо. В эти дни Фра-Дьяволо был уже пойман, отряды дорожных разбойников перебиты. Генерал Мангес не за ними, конечно, выехал в леса и горы Апулии и Калабрии. Переодеваясь и странствуя, он подпаивал крестьян и пастухов, горожан и солдат, узнавая настроения Италии в самой горячей, в самой энергичной ее части, и с помощью иезуитов, переодетых крестьянами и присланных ему из Вены, он узнавал также фамилии вождей и организаторов карбонаризма. Он увидел, что здесь существует огромная организация, стремящаяся осуществить самоопределение Италии не только без помощи Мюрата и ненавидя Бонапарта, но горящая стремлением — свергнуть и того и другого во имя безвестной, бесформенной, но пламенно желаемой свободы. Список вожаков карбонариев все рос и рос. Он достиг трех тысяч имен. Мангес знал, в каких лощинах, в каких угольных лачугах, на каких пастбищах в шалашах пастухов собираются эти люди. Но ему нужно было узнать имя вождя. И вот — оно ему было сказано. Только после этого Мюрат приказал действовать. За обедом у сельского священника этот калабрийский карбонарий, Канобьянко Великий, был опознан и схвачен генералом Мангесом и тут же, в

той же комнате, расстрелян. С этого часа карбонариев начали преследовать, вырезая мечом и выжигая огнем, силой оружия принуждая деревни выдавать их. Мангес исчез. Остался Север.

В Северной Италии, главным образом в Милане, работали и агитировали сторонники Мюрата во главе с Приной. Наибольшую активность проявляли итальянцы-патриоты, связанные с Югом, составлявшие партию главнейшего карбонария Конфалоньери, и австрийская партия во главе с Гамбараной. Во время этой борьбы Конфалоньери разогнал французский сенат в Милане, толпа убила мистера Прину, главного собирателя денег для Франции с итальянского населения. Конфалоньери собрал в Милан громадное количество вооруженных крестьян и намеревался провозгласить независимость Северной Италии, но был сломлен вследствие растерянности городского населения. В период ликвидации власти французов он не смог создать большого движения. 26 мая 1814 года Милан был занят австрийскими войсками, а 12 июня на улицах Милана висела огромная афиша, возвещавшая о том, что, в силу парижского договора союзных монархов, судьба Итальянского королевства считается решенной и все провинции Италии к северу от реки По безвозвратно провозглашаются составной частью Австрийской империи.

Неаполитанское королевство держалось еще некоторое время. Когда Наполеон, сосланный на Эльбу, бежал и высадился во Франции 1 марта 1815 года, он прислал Мюрату свое прощение за предательство и просьбу о помощи.

Через две недели Мюрат выступил из Неаполя во главе тридцатипятитысячной армии. Занял Рим, Тосканскую область и снова начал манить итальянцев прокламациями о независимости. На этот раз ему помешали англичане. Английские и австрийские генералы принудили его 9 мая вернуться побежденным, а 20-го числа того же месяца покинуть Италию и уйти в изгнание. Старый знакомец Европы, друг австрияков, «законный» католический король Фердинанд IV Бурбонский благополучно вернулся в Неаполь и сел на престол.

18 июня 1815 года, после ста дней своего вторичного управления империей, Наполеон Бонапарт был разбит под Ватерлоо и вскоре сослан на остров святой Елены. Мюрат добровольно уехал на старую родину, на Корсику. Там однажды Мюрат получил таинственный пакет, извещавший

его о необходимости приезда в Италию, о том, что трон Фердинанда закачался и народ с ликованием примет его в Неаполе. Это письмо было написано старой лисой, содержавшейся представителями бурбонского дома, — кардиналом Медичи. Мюрат поверил и попался в ловушку. Он был схвачен на берегу 13 октября 1815 года. Через два часа, только для соблюдения формы, собрался суд. Австрийские и английские распоряжения были таковы, что судили недолго. Мюрату объявили приговор, и он как старый солдат потребовал взвод неаполитанских стрелков. Когда взвод выстроился, он дал команду: «Целься!» — и собственной рукой дал солдатам распоряжение о своем расстреле. Так кончилось французское владычество в Италии. Началась работа его императорского величества благочестивейшего короля австро-венгерской монархии, фактически — лисья власть Меттерниха и Священного союза.

Глава семнадцатая

Карбонарии, как тайный союз, охвативший после этого всю Италию, прежде всего стремились к освобождению массы людей, говорящих на одном и том же языке, от ига всяких иноземных монархов, раздиравших этот один народ на множество мелких княжеств. Государства, герцогства, монархии были отданы мелким людям, в большинстве случаев родственникам Бурбонов, вернувшихся к власти во Франции после революции, или родственникам северных королей, имевших значительное число «безработных» принцев среди своих братьев и сыновей. Это стремление к «освобождению Италии от варваров» объединяло все карбонарские ячейки, называвшиеся «вентами», «вендитами» или «ложами» по типу масонских организаций. В эти самые общие, низшие ячейки карбонарских объединений входили представители всех классов итальянского общества. Старинные секретные организации угольщиков, чернорабочих, пастухов и тех посредников, которые пополняли кассу карбонарской венты экспроприациями богачей на больших дорогах и в городах, перемешивались с новыми организациями, в которые входили мелкие землевладельцы, торговцы, адвокаты, юристы, врачи и даже представители небогатой, но древней итальянской знати. В этих кругах, в отличие от огромной массы карбо-

нариев, наблюдалось стремление оформить политическую программу Италии как программу парламентской монархии. И только большая волна свободного люда, горных обитателей и наездников с больших дорог, почувствовавших под влиянием французских революционных идей необходимость обратить оружие против всех королей вообще, против всякой знати и всех богачей, влила в карбонаризм новые стремления. Эта самая тайная, самая глубокая струя карбонаризма создала верховную, секретную, руководящую венту. Статуты карбонарских вент требовали осторожного личного отбора вступавших. Эти статуты указывали на свойства, признаки и качества людского материала, которые никогда не позволяли человеку, вступившему в общество, переходить на следующие ступени карбонаризма, и наоборот — признаки, отвечавшие требованиям высоких степеней конспирации. Катакомбы на Аппиевой дороге под Римом, апеннинские каменоломни, горные леса и ущелья все чаще и чаще становились местом карбонарских встреч. Условные имена, память вместо записи и неизбежная смерть за предательство характеризовали обычаи и порядки карбонариев. Их целью было организовать и привлечь огромную массу угнетенного и недовольного итальянского населения, чтобы всеобщим вооруженным восстанием добиться республиканского строя в Италии. Особенное значение придавали они работе в войсках. Не только в полку, но в каждой роте и в каждом эскадроне они стремились иметь если не карбонариев, то доверенных лиц.

Однажды вечером в ложу монсиньора Брэма вошел молодой человек, черноволосый, с огромными глазами, с гордой осанкой, и, слегка прихрамывая, стал продвигаться к краю ложи.

«Вот еще новый калабриец», — подумал Бейль и услышал слова монсиньора Людовико:

— Господа, представляю вам лорда Байрона!

Легкое, едва заметное движение последовало в ложе за этими словами.

Когда кончился первый акт «Елены», все вошли в приемную ложи. Английский поэт обратился к молодому офицеру, высокому красивому итальянцу, стоявшему у двери, приветствуя его и называя участником великого северного

похода Наполеона. Молодой человек ответил недоумевающей улыбкой. Вмешался монсиньор Людовико, сказав, что человек, которого ищет Байрон, — это господин Арриго Бейль. Так произошло знакомство Байрона с Бейлем и получасовой разговор о Бонапарте и русском походе. В те дни Байрон писал третью песнь «Чайльд-Гарольда». Он недавно приехал в Италию, несколько дней пробродив перед тем в двадцати километрах от Брюсселя, выспрашивая свидетелей битвы при Ватерлоо.

Он только что закончил три строфы третьей песни:

Перед Гарольдом Франции могила,
Кровавая равнина Ватерлоо;
Здесь в час один судьба орла сгубила
И развенчала славное чело.
Он, с высоты спустившись, с силой новой
Кровавыми когтями землю взрыл,
Но смял его напор врагов суровый...
Он пал, влача разбитые оковы,
Что им сраженный мир с проклятьями носил.

Заслуженная кара... Но свободы
Не знает мир — как прежде, он в цепях.
Ужель лишь для того дрались народы,
Чтоб одного бойца повергнуть в прах?
Прочь, рабства гнет! Сольются ль с светом тени?
Покончив с львом, сдадимся ль в плен волкам?
Ужель среди хвалебных песнопений
Пред тронами падем мы на колени?
Нет, расточать грешно напрасно фимиам!

Коль мир, восстав, не мог достигнуть цели,
Сколь толку в том, что пал один тиран?
Вотще лилася кровь, вотще скорбели
И матери и жены — жгучих ран
Европа не излечит, если годы
Она страдала даром... Славы луч
Тогда лишь может радовать народы,
Когда сплетен с оружьем мир свободы, —
Тем меч Гармодия был славен и могуч.

Восхищение Бонапартом как военным гением, в судьбе которого год перед тем Англия сыграла такую убийственную роль, не мешало Байрону смотреть на Бонапарта как на тираническую фигуру, несшую рабство народам. Байрон пользовался каждым случаем для проверки своих убеждений, но эта проверка была маскирована авторитетностью тона, которая зачастую мешала собеседнику высказываться. Бейль был одним из тех, кто мог дать сведе-

ния. Но он этого не хотел. Холодный протест сделал его внезапно ледяным и замкнутым. Говорил только Байрон. Бейль отвечал короткими фразами, молча отмечая, что, когда кто-либо из участников разговора хотел оспаривать слова Байрона, тот вдруг давал понять, что он — английский лорд и потому «не может ошибаться». Разговор кончился дружеским и милым обращением к Бейлю с просьбой «снова встретиться завтра в театре». Байрон встал и, выходя из ложи, дал знак следовать за собою своему спутнику. Это был его секретарь — красавец с независимым и гордым видом — итальянский врач Полидори. Когда Бейль вернулся в ложу, он заметил, что глаза всего театра с жадностью ищут английского поэта в ложе монсиньора Брэма.

С того вечера прошло около месяца, и случилось однажды, что к миланскому гражданину Арриго Бейлю и к итальянскому поэту Сильвио Пеллико, пришедшему вместе со своим другом Марончелли и с английским поэтом Ноэлем Байроном, обратился карбонарский венерабль, то есть наместный мастер венты, со словами:

— Граждане! Прежде всего мы должны просить вас, так как мы не принимаем здесь клятв, считая, что обещание честных людей стоит дороже клятвы, обещать нам, что, какой бы оборот ни приняло наше дело, вы не откроете никогда никому ничего из виденного и слышанного вами даже под угрозой пытки или смерти.

Глава восемнадцатая

...После ритуального вечера, возвращаясь домой под руку с лордом Байроном, Бейль чувствовал легкий озноб и дрожь и вместе с восхищением от близости великого поэта испытывал нечто похожее на раскаяние по поводу того, что дал увлечь себя любопытству и встал на опасный путь.

Бейль насчитывал одиннадцатую встречу с английским поэтом. «Давно были сказаны те слова, какие разбивают последние льдинки холодной предосторожности недавних знакомых».

Сильвио Пеллико говорил о Венеции. Байрон спросил о судьбе венецианской комедии, и Сильвио назвал имя

лучшего поэта Венеции — Буратти, пишущего комедии, «обжигающие читателя огнем сатирического негодования и политического гнева».

— Почему читателя? — спросил Байрон. — Разве в Венеции нет зрителей? Разве нельзя видеть эти комедии на сцене?

— Для творений Буратти зрителей нет! Италия не может ставить их на сцене.

Освободив руку, Байрон сделал полуоборот в сторону Пеллико и быстро спросил:

— У какого миланского книгопродавца я могу найти пьесы Буратти?

Громкий смех собеседников был ответом на этот вопрос. Байрон, еще недавно вспыхивавший при малейшем возражении, теперь сам шутил и смеялся, как добрый товарищ.

— Однако чему же я смеюсь? — спросил он друзей.

— Если бы Буратти напечатал хоть одну строку своих комедий, то не только он, привыкший каждые шесть месяцев являться на допрос к венецианским жандармам, но и книгопродавец сел бы «под пломбы».

Байрон нахмурился при упоминании о страшной венецианской тюрьме, находящейся под свинцовой крышей Дворца Дожей. Когда летнее солнце накаляет свинцовые плиты — «пломбы» дворца, тогда дышать в этой верхней тюрьме становится невозможно; там заключенные часто умирали от разрыва сердца.

Над Миланом и над всей Ломбардией расстилалась ночная небесная твердь, густая и синяя, как масса жидкой ляпис-лазури. Звезды качались и мигали, как люстры, на безлунном небе и едва серебрили громадный мраморный лес Миланского собора.

Байрон обдумывал, ехать ли ему в миланскую деревню, где он жил, наслаждаясь стотысячным откликом тамошнего «эха Симонетты», или остаться в Милане.

— Вместо тысячи откликов Симонетты, которая привлекает назойливых путешественников к моему жилью, я лучше послушаю рассказы Бейля о московском пожаре, — сказал Байрон и предложил друзьям подняться на кровлю собора.

Разбудив сторожа и хорошо заплатив ему, Байрон повел своих спутников при свете факелов по узкой мраморной лестнице, и когда нога поднималась на трехсотую сту-

пень, он уже кончал свою молниеносную и вдохновенную повесть о старинном итальянце Каструччио Кастраканти, которого назвал «Наполеоном средних веков». Затем, уже на кровле, он тихим голосом, почти шепотом, стал выспрашивать Бейля о характере Бонапарта, допытываясь осторожно мнения Бейля о том, как отнеслась бы Франция к возвращению Наполеона с острова святой Елены.

Бейль заметил, что наибольшей выразительности вдохновение Байрона достигало в те моменты, когда реплики собеседника были холодны или скептичны. В эти мгновения по контрасту Байрон терял свою обычную отрывистость речи. Он словно забывал о своей светской осторожности и холодности, как только видел эти свойства в своем собеседнике. Не из противоречия, а в силу какой-то боязливости израненного человека он тщательно прятался, услышав эстетическое восклицание или выражение восторга, но именно холодный тон и короткие фразы Бейля вызывали в нем целый поток ярких мыслей, облеченных в форму разнообразных и выразительных сравнений.

Равновесие настроений собеседников выработалось не сразу. Сначала некоторые чересчур сгущенные описания московского отступления, сделанные Бейлем, погасили пытливый огонь и внимательность Байрона. Но когда рассказы Бейля сделались сухими, реплики холодными, почти едкими, Байрон сам начал быстро говорить. Он восхищался республиканской доблестью двадцатишестилетнего Бонапарта, вошедшего в Италию через Альпы. Он отмечал то доверие, с которым итальянцы встречали Бонапарта, его ум и тот блеск, с которым он умел ответить итальянцам города Брешии на их пламенные уверения о том, что итальянцы больше всего любят свою свободу. Бонапарт, прощаясь с брешианцами у ворот города, ядовито заметил: «Да, итальянцы больше всего любят говорить об освобождении родины со своими любовницами». На это Бейль заметил:

— Ставши императором, Наполеон не прекратил грабежей. Итальянские женщины в городах и крестьяне в деревнях знают, что такое наша армия, так как со времен Алариха Рим ни разу не подвергался такому разграблению.

Байрон восторгался тем, что Бонапарт вывез из Франции целый полк ученых исследователей, археологов,

искусствоведов, которые, как никогда, двинули Европу на путь изучения итальянских сокровищ.

— Только француз, — заметил он, — может сейчас написать историю живописи Италии. Бонапарт возродил времена римских героев. Подобно Аппию Клавдию и Фламинию, он избороздил Италию шоссейными дорогами, которых страна не знала со времен древнего Ганнибала.

Бейль ответил:

— Французские буржуа и артиллерийские офицеры на этот раз оказались одинаково заинтересованными в хорошей дороге. Ваш новый Фламиний — хороший торгаш, имевший в авангарде пушки, а в арьергарде — негоциантские обозы. А что касается изящных искусств, то помните, что Парма, Модена, Болонья, Феррара отдали Бонапарту все свои старые картины и рукописи под угрозой штыков вместе с десятками миллионов франков контрибуции.

— Не станете же вы отрицать, — говорил Байрон, — что в год наполеоновского владычества Ломбардия и Милан платили французам ровно вдвое меньше, чем платят теперь австрийцам?

Монти, молча слушавший этот спор, почувствовал прилив внезапного вдохновения. Итальянский поэт, писавший гимны Наполеону, вдруг закипел негодованием по адресу Бейля. Стоя на кровле около решетки из мраморных кружев на огромной высоте над городом, Монти, закинув правую руку над головой назад, начал речь об австрийском гнете. Он говорил о том, что австрийская власть берет с земли половину того, что она приносит итальянцу, над нею работающему, говорил о налоге на соль, удесятеряющем ее стоимость, о том, что немцы и кроаты занимают все должности по эксплуатации населения, что итальянцы преследуются за пользование родным языком и лишь в том случае остаются в муниципалитетах, когда пишут по-немецки и выдают своих единомышленников.

Байрон слушал молча, не глядя на Монти. Вялость и скука появились у него на лице. Он вдруг сделался обычным великосветским фатом, тем самым, который при прошлой встрече с теми же собеседниками превозносил основателя дендизма Джорджа Бреммеля, этого своеобразного законодателя пустяков, человека, имевшего успех только в известном кругу совершенно замкнутого, титулованного, скучающего английского света.

Бейль подумал, что Байрон, скучающий от пафоса Монти, все-таки не сделался Броммелем. Он откололся от своего круга, но, сохраняя все старинные его свойства, являлся в то же время выразителем человеческого протеста против гнета отживших вещей и мертвых явлений.

Бейль вспомнил, как впервые имя английского поэта было услышано им в Вильне, занятой войсками неаполитанского короля. Морозный воздух, улица с грязным снегом в еврейском квартале и обрывок грязной газеты, в которой рассказывается о рабочем мятеже в Англии и впервые приводится имя поэта Байрона, выступившего в защиту восставших ткачей с трибуны Палаты лордов. После путешествия Байрона и этого выступления в палате не было той клеветы, перед которой остановилось бы английское общество. Поэта обвиняли в убийстве, в разгуле. «Правительственный поэт» Соути в печати осыпал его оскорблениями, узнав о которых, Байрон хотел повернуть обратно карету пизанского мальпоста и лететь в Англию, чтобы выстрелом из пистолета покончить с оскорбителем. Бейль знал, что его удержали слова друзей о том, что этот поступок если не вызовет судебной кары, то во всяком случае даст аристократии повод оплачивать всех скверных поэтов, лишь бы они отравляли жизнь Байрону. Бейль думал о том, как сегодня Байрон с огнем в глазах повторил слова Петрарки: «Liberar l'Italia di barbari» (освободить Италию от варваров).

Байрон смотрел на Сильвио Пеллико и говорил:

— Однако Монти не понимает тесной связи австрийского и папского гнета. Он пишет религиозные гимны и готов целовать руку любому католику. А между тем, если Меттерних покровительствует папе, то папа проповедует покорность Меттерниху.

— Вас должны бояться! — ответил Сильвио.

Тут наступил один из странных приступов внезапной ярости. Глаза Байрона блуждали, кулаки сжимались, и он буквально дрожал от гнева и шептал так, что слышали все:

— Везде и повсюду, когда я вхожу в дверь какой-нибудь гостиной, все эти дураки из Англии и Женевы покидают залу.

Эти ни к кому не обращенные слова были ответом на его собственные мысли. Наступило неловкое молчание, и только Сильвио Пеллико, который, как было известно всем собеседникам, переводил стихи Байрона на италья-

ский язык, в то время как Байрон переводил трагедии Сильвио на английский, — только один Сильвио Пеллико нарушил молчание и с шутливым укором обратился к Байрону:

— Соберите четыреста или пятьсот тысяч лир, распустите слух о вашей смерти. Двое или трое преданных вам друзей похоронят гроб с бревном где-нибудь в дикой глуши, например, на острове Эльбе. Через несколько времени весть о вашей смерти австрийский семафор передаст в Англию, а вы тем временем под именем Смита или француза Дюбуа будете жить счастливо и спокойно в Лиме. Пройдут года, и ничто не помешает господину Смиту вернуться в Европу. К тому времени у него будет седая голова. Он зайдет где-нибудь в Риме или в Париже в книжный магазин и спросит у продавца экземпляр тридцатого издания «Чайльд-Гарольда» или «Лары». А потом может наступить смерть господина Смита и воскресение Байрона. Вы можете сказать: «Лорд Байрон, умерший тридцать лет тому назад, — это я; английский свет состоит из дураков, которых я тридцать лет водил за нос».

Байрон ответил спокойно:

— Мой кузен, наследующий от *меня мой* титул *по смерти,* непременно должен будет написать вам благодарственное письмо за ваше предложение.

Разговор стал общим. После рассказов о внезапном исчезновении и о превращениях Мельмота-скитальца перешли к характеристикам «мятежного духа», разочарования и беспокойства, охвативших Европу. Байрон, вначале разговорчивый, замолкал по мере того, как итальянцы переходили к разговорам на темы о совести, мучимой сожалениями, о преступлениях и жертвах. Говорили о любовных разочарованиях как мужчины, имевшие опыт. Бейль уже слышал сплетни о том, что Байрон убил какую-то женщину, не верил им, но пытливо наблюдал, как английский поэт менялся в лице, слушая повесть о молодой итальянке, убившей на дуэли бросившего ее любовника, об итальянском князе, убившем за измену крестьянку из Симонетты. Бейлю казалось, что припадок ярости возвратился к Байрону. Английский поэт упорно молчал, дышал порывисто и тяжело и, наконец, заявил, что время позднее — пора покидать собор. Вторя ему, доктор Полидори сказал, что на улице беспокойно и что ночью лучше всего возвращаться всем вместе, так как ночные грабители ста-

вят на перекрестках капканы или сбрасывают с крыш железные обручи и арканы, которыми ловят и душат прохожих. Спустились вниз. Сильвио говорил о любовном безумии, утверждал, что влюбленность и болезнь влекут за собой одни и те же эксцессы, и в доказательство приводил стихи Тассо, именно тот сонет, в котором Тассо, больной и измученный, говорит о религии как единственном своем спасении от вечной борьбы с недоверием к женщине. Сильвио прочитал сонет «Odi Filli». Байрон внезапно оживился. Факелы слуг, освещавших дорогу, озаряли его бледный лоб и великолепные глаза, горевшие страстной печалью. Байрон задумчиво произнес:

— Эти стихи написаны под влиянием дурного настроения... и... ничего больше. Безумие и нежная впечатлительность одинаково побуждали Тассо искать ложной опоры в религии. Он был слишком заражен платонизмом, чтобы выйти на дорогу при помощи двух-трех ясных суждений. Я думаю, что, когда Тассо писал этот сонет, он не терял своего поэтического гения, но, быть может, не имел ни хлеба, ни любовницы, что одинаково необходимо, чтобы не умереть.

Произнеся эти слова, лорд Байрон поднял трость и постучал ею в дверь гостиницы «Адда». Это был маленький двухэтажный дом на расстоянии полумили от театра, в глухом и пустынном переулке. Было три часа ночи. Удары тростью вызывали гулкое эхо в соседних садах. Очарованные спутники молча стояли вокруг поэта и ждали, когда ему откроют. Бейль думал: «Вот гений, вот истинный гений! Байрон — это прекрасный сон человечества».

Когда дверь закрылась за Байроном, все разошлись в разные стороны, почти не прощаясь. События дня казались огромными по своему значению. И, как это часто бывает после больших впечатлений, человек вдруг становится беззащитным перед вторжением мелких и едких горестей. Так случилось и со многими собеседниками Байрона. Эти горести, как москиты, обладают способностью сваливать сильных зверей, если жалят умело в глаза.

Такой ослепляющий укол испытал Анри Бейль при внезапной мысли о ревности и любви.

Глава девятнадцатая

Еще семнадцатилетним драгуном в Милане Бейль познакомился с Анджелой Пьетрагруа. Он был тогда просто мальчиком и воздыхателем, а ей было пятнадцать лет. Она еще носила фамилию Боррон и прислуживала своему отцу, по мнению восхищенного драгуна, честнейшему из всех торговцев в Милане.

В 1811 году Бейль, человек с положением в свете, снова посещает Милан, снова переживает юношеские впечатления от Италии. Но прекрасная Анджела уже замужем. Старик Боррон дает Бейлю ее адрес. С трепетом Бейль встречается со своей миланской богиней. Ее великолепные кольцеобразные черные волосы, дуговидные брови и глаза — живые, смеющиеся, вся ее фигура, слегка округлая, заключенная в прекрасные античные формы, снова у него перед глазами.

Она в ссоре с мужем... Она с трудом узнает Бейля, которого когда-то сама звала за поднятые углы глаз *китайцем*. Но она хочет, чтобы Бейль веселился и был счастлив, чтобы немного счастья перепало и на ее долю. Глаза при этом смеются лукаво и щеки покрываются румянцем.

Тогдашнее блаженство было коротко и оставило след в душе Бейля: чувство тяжелой неуверенности в Анджеле, слишком легко ему изменявшей.

Теперь, в этот его последний приезд, она жила отдельно, была свободна и снова позвала его к себе. Она жила в Каза-Бовара, где за шесть лет до этого, в 1811 году, жил он сам.

Расставшись с Байроном, Бейль быстро направился в Каза-Бовара. Уже три дня маленькая Джульетта, племянница Анджелы, предупреждает его о неблагополучии, но «отвратительно и тяжело совмещать любовь с подозрением». Он не слушает умоляющих намеков Джульетты. Он уверен в том, что, разделяя его мысли, понимая его чувства, Анджела не имеет нужды его обманывать. Он в достаточной степени пылкий любовник, в достаточной степени горячий, одаренный богатым воображением и мыслями собеседник, но не назойлив, он дает ей полную возможность отдохнуть от своей особы и почувствовать свежесть влечения к нему. Он даже не ревнив. Но сегодня Бейль чувствовал себя плохо. Он испытывал досаду и горечь ко всем, кто неудачным намеком вызвал судорожное

движение английского поэта. Байрону все наперебой старались выказать свои подозрения в том, что Байрон — убийца, что «Невеста Абидосская» написана недаром. Сегодня не Байрону, а самому Бейлю так тяжело, и все кажется построенным на лжи и обмане, что самый лучший способ убедиться в своей ошибке — это вернуть себе доверие к любимой женщине в ее объятиях.

Бейль тихонько подошел к дому и несколько раз прошелся от угла до двери, прежде чем на что-нибудь решиться. Большой фонарь еще не погас; в городе была предрассветная тишина и прохлада. Какая-то счастливая пара пересекала отдаленную улицу, смеясь и целуясь. Бейль подошел к маленькому окошку Джульетты и три раза постучал в свинцовую раму. Через минуту в воротах показалась закутанная шалью сонная девушка, покачала головой и повела его наверх по черной лестнице. Приложив палец к губам, она на цыпочках подвела его к знакомой двери и, положив руку ему на затылок, пригнула голову Бейля к замочной скважине. Освещенная комната была в полном беспорядке. Подушки, простыни, одеяла лежали на полу. На кровати обнаженная Анджела была в объятиях незнакомца. Бейль отскочил и быстро сбежал вниз по лестнице. Он не чувствовал ни удушья, ни дрожи, ни гнева. Разгоряченное состояние, в котором он шел по лестнице, сменилось внезапно холодным любопытством. Было бесконечно жаль своей способности предаваться иллюзиям, было горькое чувство, как после затраты на ненужную вещь.

Прошел час. На улицах началось слабое движение. Крестьяне из окрестных деревень на телегах, запряженных волами, со сплошными деревянными колесами, как в древние времена, медленно потянулись на овощные рынки. Послышался шорох за дверью, звон падающего ключа, дверь открылась, и вышел мужчина в сером камзоле и серой шляпе. Рыжие бакенбарды, крючковатый нос, лицо, изрытое оспой. «Да это Джузеппе Босси, приказчик, стоящий за прилавком ее отца!» — подумал Бейль и спрятался за водосток.

Когда самодовольный и раскрасневшийся приказчик возбужденной и нервной походкой быстро прошел за угол, Бейль снова постучался в то же окно. Джульетта, с глазами, широкими от ужаса, впустила Бейля, смотря ему на руки и шепча:

— Ради бога, только не сейчас! Вы сейчас за себя не можете поручиться!

«Бедная девочка! Она думала, что я ходил за пистолетами», — подумал Бейль и добавил вслух:

— Будь спокойна.

Бейль постучал в дверь. Послышался слабый сонный голос. Дверь открылась. Бейль сел около постели.

В комнате было уже темно, так как лампа погасла. Анджела лежала в мятой кружевной рубашке и делала вид, что солнечный луч, проглядывающий через занавеску, режет ей заспанные глаза. Она, конечно, приятно удивлена.

— Раздевайтесь, Китаец, что же вы медлите?

Бейль улыбнулся и не сразу нашел, что ответить. Потом встал. Хотел пройти по комнате, но не двигались ноги; он сел опять. «Мне непременно нужно овладеть собою, чтобы ни горе, ни бешенство не нашли ко мне доступа», — подумал он про себя. И почти машинально спросил:

— Ну, как же вы спали эту ночь?

— Я хорошо выспалась и с нетерпением жду вас, — ответила она.

— Послушайте, дорогой друг, помните, мы как-то говорили, что у вас нет никаких оснований бояться сказать мне о себе все?

— Ах, Анри! Оставьте эти излияния чувствительных душ. Вы опять принимаетесь за прежнее. Я была легкомысленна — я поступила ветрено, вы это знаете, я вам все рассказала, и мне больше нечего вам сказать.

Она закрыла глаза, сладко зевнула, раскинулась вся на постели и медленно, повернув к нему голову, стала открывать голубоватые веки. На него смотрели огромные глаза, смеющиеся и доверчивые, бесконечно преданные и беззаботные в одно и то же время.

— Ну, право же, Анри! Какой вы чудак! Разве я не вся принадлежу вам?

Но видя его холодные и острые глаза, она загорелась удивлением. Закруглив ладони, она развела руками, как бы выражая совершенное непонимание и в то же время приглашая его в объятия.

Мысли бежали с невероятной быстротой. Еще десять дней тому назад этого призывного, сладострастного движения было достаточно. Он, старый и опытный человек (да, старый, потому что ему сегодня стало гораздо больше

тридцати трех лет), убил бы всякого, кто сказал бы, что Анджела лжет. Теперь она сама лишила его этого права. Он спокойно сказал ей:

— Вы, кажется, не все мне рассказали. А что может значить любовь без доверия? Неужели вам хотелось бы, чтобы в этой книге были пустые или заклеенные страницы?

Легкая досада на секунду в виде морщины появилась на лице Анджелы, но, подняв брови, она быстро согнала морщинку и, вздохнув, ответила таким тоном, каким говорят безнадежному глупцу:

— Ах, Анри, вы все про какие-то страницы, про какие-то книги. Я же говорю, что я вам все сказала, и вам известна вся моя жизнь до мелочей, до самых неинтересных, скучных мелочей. Ну, милый Доминик, перестаньте быть венецианским Бригеллой. Улыбнитесь!

Доминик — это нежное и условное имя было принято Бейлем в тайной переписке с миланскими друзьями.

«Как она могла вспомнить это имя сейчас, в первый раз за этот год его третьего проживания в Милане?» Вереница счастливых ночей и тайных дневных поездок по озерам, тропинки около Сетиньяно, в огромных зарослях садов Боболи, во Флоренции, в Кашинах, в бамбуковой роще — все эти счастливые встречи и тысячи разнообразных ласк вспомнились Бейлю при слове «Доминик».

— Я недаром любил вас. Вы — бесконечно талантливая женщина. Вы обладаете способностью, воскрешая мое прошлое, забыть прошлое ваше и даже забыть свое настоящее. Но знаете ли вы, что прошлое только тогда не опасно настоящему, когда оно все известно до конца?

— Анри, вы несносны. Я устала от ваших унизительных допросов. Скажите прямо, что вам надо, и уходите.

«В этом голосе, полном достоинства и благородства, так много искренности, простоты и такого оправданного гнева, что всякий сторонний свидетель должен возненавидеть любовника-инквизитора, — думал Бейль, вставая. — Она хочет ускользнуть вглубь и, как рыба, спрятаться под камни на дне, эта женщина. Надо обеспечить ей эту возможность». Он решил проститься и сказал только одну фразу:

— Я могу простить вам решительно все и даже то, что вы считаете меня глупцом. Но имейте в виду, что если бы

вы не боялись и не дорожили бы вашими прошлыми обманами, то не было бы нынешнего.

Тут произошла неожиданная сцена. Анджела вскочила, ее лицо исказилось яростью. Перед Бейлем стояла в одной сорочке, спавшей с плеча, сытая до отвала, утомленная рыжим атлетом, злая миланская торговка и кричала сдавленным хриплым голосом:

— Вон, идите вон! Вы меня оскорбили! Вы смеете преследовать честную женщину, отдавшую вам всю душу!

Тогда Бейль сказал:

— Довольно! Вы меня смешиваете с приказчиком вашего отца — Джузеппе. Не вынимайте ключа: скважина слишком велика, видно все, что происходит в комнате.

С этими словами он поднял упавшую шляпу и взялся за ручку двери.

Анджела секунду стояла в оцепенении, потом страшная бледность сменила румянец на ее лице. Она быстро выбежала и схватила Бейля за руку.

— Не уходите, умоляю вас, побудьте минуту. Я вам все расскажу и ничего не скрою. Я знаю, как вы правы!

Бейль ее не слушал. Она, рыдая и протягивая руки, ползала за ним на коленях до двери, хватая его за край одежды и умоляя вернуться. Бейль, не оглядываясь, выбежал на улицу.

На следующий день Джульетта принесла ему письмо, в котором благородная синьора Анджела сообщала, что приказчик Джузеппе Босси держит в руках жизнь ее отца, разорившегося старика и что ей пришлось уступить, спасая старого Боррона от позора.

Маленькая Джульетта сидела на диване, пока он читал это письмо.

Бросив его на стол, Бейль заходил по комнате, произнося вслух:

— Каким я был негодяем! Как я мог грубо оскорбить ее своим незнанием?! Что сделала бы всякая другая женщина на ее месте? Это тяжкая и трудная минута.

Потом, взглянув на Джульетту, он спросил, давно ли тетка связана с Джузеппе Босси.

— Давно, синьор Арриго. Эти два года Босси провел по торговым делам в Гаванне, а с того дня, как он вернулся, их ночевки возобновились. Когда говорят, что вам прийти нельзя, тогда всякий раз бывает Босси и другие.

Синьор Арриго, я хочу уехать во Францию. Мне здесь очень нехорошо.

«Довольно с меня иллюзий», — подумал Бейль и, обернувшись к девушке, сказал:

— Ответа не будет.

Вечером в театре Бейль не нашел ни одного из друзей.

Давали скучную пьесу. Ложа монсиньора Людовико опустела после первого акта. Бейль пошел за кулисы, постучал в дверь с надписью: «Елена Вигано».

Звонкий голос ему ответил: «Войдите».

Красивая певица сидела перед зеркалом, поправляла прическу и одевалась. Через плечо, не оборачиваясь, она протянула Бейлю левую руку. Он поднес ее пальцы к губам и стал рассказывать план поездки с друзьями в Венецию. Артистка согласилась. После нескольких незначительных фраз Бейль встал, чтобы уйти.

Елена, не оборачиваясь, спросила его:

— Послушайте, Бейль, правда ли говорят, что вы в меня влюблены?

Вполоборота, уже держась за ручку двери, Бейль ответил:

— Вам солгали, — и вышел.

Вернувшись домой в Каза-Ачерби и открывая стеклянную дверь в коридор второго этажа, Бейль увидел в полутемном конце коридора женщину, плавной походкой идущую к нему навстречу. Эта дама в голубом платье показалась ему знакомой: темнокаштановые волосы спускались на виски крупными завитками, круглые черные глаза, яркокрасные маленькие губы, лиловатые круги вокруг глаз и нежный овал лица — все это было странно ему знакомо. Женщина равнодушно посмотрела на него, а за нею, слегка прихрамывая, шел высокий, стройный человек в запыленном дорожном костюме, черноволосый, расчесанный на пробор. Оба, повидимому, шли от дверей его комнаты. Когда женщина была уже в трех шагах, аквамариновые серьги, длинные и тяжелые, сверкнули у нее в ушах, и только по ним Бейль узнал эту даму. Ее взгляд из рассеянного превратился в веселый, родной: она его узнала скорее. Это была сестра Полина, изменившаяся до неузнаваемости, превратившаяся из очень милой робкой девушки в красивую, уверенную в себе женщину.

Указывая левой рукой на своего спутника, она познакомила брата:

— Это — мой муж.

— Господин Перье Лагранж, я очень рад вас видеть, — сказал Бейль. — Полина, давно ли?

— Что давно? Да ведь ты знаешь.

— Нет, я спрашиваю, давно ли вы приехали?

— Мальпост опоздал на четыре часа, так как на повороте дороги соскочило колесо и ушибся насмерть форейтор. Всего какие-нибудь полчаса мы у тебя. На сегодня ты нас устрой, а завтра мы поедем дальше.

Все пошли в огромную комнату Бейля. Пока Перье Лагранж старался поправить надорванный ремешок туфли и переодевался с дороги, Бейль заказывал им ужин.

Ужиная с ними, слушая рассказы о Франции, Бейль все время ловил себя на мысли, что если бы он не испытывал сейчас острой боли при мысли о лживости Анджелы, то, пожалуй, нынче, как и десять дней тому назад, он проводил бы с нею ночь, словно самый пылкий восемнадцатилетний влюбленный.

— Как много теряют и проигрывают женщины, когда лгут такому человеку, как я! Женщина, способная понять это, может быть действительно счастлива со мною.

— Собственно к чему относится это замечание, Анри? — спросила Полина. — Я тебе рассказываю о расстреле за присоединение к Бонапарту маршала Михаила Нея, который был с тобой в московском походе.

Бейль смотрел на нее, чувствуя, что он говорит невпопад, и вдруг сильнейший прилив крови к голове и особенно удар по векам заставили его закрыть глаза. Через минуту куски льда из-под шампанского и мокрые салфетки охладили ему голову.

Высокий и стройный Лагранж, спокойный и грустный, как все больные сердцем, поправлял подушки Бейля с невозмутимым видом. Полина и старая служанка София снимали с него туфли. Бейль бредил: он кричал, как пьяный драгун перед атакой, как азартный игрок, ставящий жизнь на карту. Через час доктор пустил ему кровь и сказал, что это солнечный удар — вероятно, результаты сегодняшней страшной жары.

— Между полуднем и четырьмя часами только собаки и англичане ходили по улице, а честные христиане остава-

лись в тени. Если ваш брат не карбонарий, то за каким дьяволом было ему шляться по городу, когда все спят? Если утром больной будет в жару, то нужно снова поставить банки. А впрочем, этот здоровяк, кажется, может перенести и не такие солнечные удары.

Доктор ушел. Через час от «солнечного удара» не осталось и следа. Бейль спокойно продолжал беседу со своими родными.

Утром, проводив гостей, Бейль лихорадочно дописывал последние наблюдения и впечатления, полученные в картинных галереях Италии. К вечеру, проработав почти не разгибаясь весь день, он кончил ту книжку, о необходимости которой так хорошо сказал Байрон: «История живописи в Италии». Перелистывая начальные главы огромной рукописи, Бейль нашел черновик старого письма. Это было его собственное письмо из Болоньи, заготовленное еще 25 октября 1811 года. Оно гласило:

«Милостивые государи!

Мною написана «История живописи в Италии» от времен Возрождения до наших дней. Этот двухтомный труд является плодом трехлетних путешествий и поисков. Работа Ланци послужила мне руководством. Предполагаю послать мой труд в Париж для напечатания. Прошу вас сделать предварительные объявления о выходе этих двух томов in 8° в конце нынешнего года.

М. Б. А. А.»

Листок пожелтел от времени, чернила выцвели. Шесть лет прошло с тех пор. Те книжки, о которых предполагалось дать объявление, погибли в русском походе.

«Их сожрали казаки или истратили на пыжи, — писал Бейль одному из своих друзей. — Жаль: ведь это были двенадцать тетрадей с золотым обрезом, переплетенные в цветной сафьян».

Теперь все написано заново. Воздух Рима пропитывает каждую страницу, и каждый художник говорит с нашей эпохой живым языком современности. Вот почему на первом томе делается надпись в виде эпиграфа:

«Братья Каррачи ушли от той аффектации, которая составляла моду тогдашнего времени, и потому казались холодными».

А на втором томе — коротенькая английская строчка: «To the happy few» (для немногих счастливцев). Потом тщательно выведенный общий титульный лист.

«Отчего бы не подписаться старой подписью 1811 года? Так и оставим *«М. Б. А. А.»* Это тем более хорошо, что ведь в «Истории живописи» не мало политических молний, направленных против монархии Габсбургов. Лучше остаться в тени и жить незаметным, не выступая нигде под своим именем». Раздумывая так, Бейль перевязал оба тома и написал Маресту в Париж просьбу передать рукопись господину Дидо для печати. Потом встал, разгладил пальцами усталые веки, оделся, вышел и направился к театру.

У самой Ла Скала он увидел группу взволнованно жестикулирующих людей. Подойдя ближе, узнал Байрона, глаза которого горели, губы дергались, кулаки были сжаты, и вся фигура выражала напряженную, едва сдерживаемую ярость. Рядом стоял Сильвио, что-то громко крича и жестикулируя. Конфалоньери жестом, полным достоинства, пригласил Бейля принять участие в походе этой группы, возглавляемой монсиньором Брэмом и его братом — маркизом Сартичана, против Санта-Маргарита, где австрийская гауптвахта арестовала секретаря Байрона — Полидори. Бейль присоединился к группе в пятнадцать человек, и все шествие направилось к дому полиции. Подошли к зданию упраздненного монастыря Санта-Маргарита; настойчиво потребовали объяснений. Оказалось, что австрийский полицейский офицер, наблюдавший за Байроном в театре, сидел в партере, не снимая мехового головного убора. Этим он вывел из терпения Полидори, который после троекратной просьбы, обращенной к австрийцу, ударом кулака сбил с него шапку и был немедленно схвачен жандармами. Байрон узнал об аресте Полидори не сразу, но, узнав, пришел в неописуемую ярость.

Вся группа вошла на гауптвахту. Офицер держал себя заносчиво и потребовал, чтобы вошедшие были переписаны по именам. Прочтя имя Конфалоньери, Брэма, Монти и других уважаемых миланцами граждан, он несколько смутился и заявил Байрону, что отпускает Полидори. Но, столкнувшись с кем-то из входящих, он уронил свой головной убор, и тут обнаружился до смешного маленький рост, замаскированный высокой шапкой. Поли-

дори снова стал смеяться. Австриец перестал сдерживаться, назвал его мятежником и заявил, что деятельность многих ему хорошо известна. Монти и Конфалоньери потребовали объяснений. Австриец немедленно стушевался и сказал, что все произнесенное берет назад с извинением, добавив, что это не более как шутка.

На обратном пути в театр Байрон, немного успокоившись, подошел к Бейлю и сказал:

— Боюсь, что мне придется спешно покинуть Милан. Возможно, что мы видимся в последний раз. Мне доставило большое наслаждение ваше сообщение о северном походе. Примите мою благодарность. Я нарочно говорил с вами о московских снегах на кровле Миланского собора. Ничто так не напоминает снежные сугробы и равнины, как искрящиеся под луной мраморные плиты соборной кровли. Но вы правы: московское рабство страшнее австрийского гнета.

Перед самым входом в гостиницу Полидори и Байрон увидели жандарма Триболати, который уже давно следил за Байроном. Он с улыбкой вручил Полидори предписание немедленно покинуть австрийские владения. Байрону Триболати вежливо и даже участливо предложил переменить местожительство в Италии. Сказано это было в мягкой форме и без указания срока. Полидори, забыв всякую сдержанность, потрясал ночной воздух проклятиями Австрии и стал прощаться, обещая скоро вернуться уже не для слов, а для дела. Если читатель желает знать, то обещание это не осуществилось, так как через два года Полидори был отравлен цианистым кали и умер мгновенно во время сборов в путь. Триболати дописывал второй том своих характеристик карбонарского движения.

Отвлеченный от своих тяжелых мыслей путешествием в Санта-Маргарита, Бейль вернулся к себе и заснул.

Глава двадцатая

Господин Анри Бейль выезжает из Милана в Рим, из Рима в Неаполь, из Неаполя во Флоренцию, из Флоренции, по просьбе Полины, в свой родной город — Гренобль. Господин Анри Бейль — скучающий путешественник, не занимающийся никакой литературой. Он сидит на концерте рядом с музыкантом Цингарелли и беседует с ним.

Тот смотрит на господина Анри Бейля, остроумного и интересного человека, и потом забывает о своей беседе с ним. А когда в «Падуанской литературной газете» господин Бомбэ повествует о Цингарелли, Карпани опять заявляет, что «этот демон Бомбэ — совершенно мифическая фигура, потому что он, Карпани, сидел рядом с Цингарелли на концерте и он, Карпани, твердо помнит, что никакого господина Бомбэ в течение всего вечера Цингарелли не имел своим собеседником».

«Очевидно, у Бомбэ бурное воображение, чтобы не сказать просто лживость», — замечает Карпани.

Воображение действительно бурное. Но, быть может, действительность умеет говорить с ним таким языком, какой неизвестен господину Карпани. Во всяком случае, полемика исчерпана, спорить с Карпани не о чем. Господин Бомбэ исчез, а господин Бейль, во избежание столкновения с полицией, выехал на юг Италии.

Стоял очень жаркий день. На берегу речки Адды два экипажа ожидали перевозчика. Маленький паром дремал на другой стороне. Перевозчик, лежа на крыше будки, лениво посматривал на реку. Австрийский жандарм, важный, как петух, расхаживал вдоль берега. Наконец, появились встречные экипажи. Открытая коляска въехала на паром, перевозчик вяло, не спеша, взялся за лямку, и через пять минут паром причалил к берегу. Коляска на подъеме зацепила осью экипаж Бейля и пошатнулась. Дама в черном платье вскинула руку, чтобы не упасть. Бейль принял эту руку и поддержал испуганную женщину. Ее испуг выражался только в глазах. Большие, карие, на прекрасном овальном бледном лице, они на одну секунду загорелись, потом приняли обычное выражение. Покачнувшись и поднимая дорожный плащ, путешественница обнаружила стройную, гибкую талию. Порывистый ветер открыл прядь темнозолотых волос на виске, губы ее слегка шевельнулись, она произнесла три слова:

— Grazie tanta signore [1].

Все происшествие заняло не более двух минут. Коляска поднялась в гору, экипаж, в котором ехал Бейль, спустился на паром.

Кто была эта дама? Она так напоминала Иродиаду леонардовской школы своей обаятельной улыбкой, со

---

[1] Большое спасибо, сударь *(итал.)*.

свойственным этой улыбке выражением утонченного и сложного ума, улыбкой, дающей магическое отражение загадочных чувств и чарующих душевных волнений. Это — совершенный тип ломбардской женщины, знакомый с незапамятно старых времен, встречаемый на картинах миланской школы и даже еще раньше, запечатленный в легендах о лангобардских королях в образе белокурой дочери Дезидерия, улыбающейся той же улыбкой, с таким же наклоном головы, увенчанной легкой железной коронкой. Всю дорогу до самой Флоренции улыбка незнакомки озаряла Бейля. Незнакомка оживала перед глазами всюду. Он находил ее отражение в золотистом вечернем небе над Флоренцией, она смотрела на него в Риме, когда утром Бейль поднялся на Яникул и сел на свое любимое место около дуба Торквато Тассо. Он ощущал ее близость на Палатинском холме, смотря на синие Альбанские горы и вдыхая легкий воздух, пахнущий тмином. Золотисто-карие камни в морской воде у Мизенского мыса напоминали ему цвет глаз незнакомки. И так все предметы, все, что он видел и слышал, неизменно возвращало его мысль к ее внешности, к ее голосу, к ее спокойной улыбке. А между тем ни на минуту не возникало стремления узнать ее. Первый раз в жизни такая полная безотчетность чувств и полное отсутствие любопытства ума. В Риме он торопливо, с незнакомой порывистостью стал описывать свое путешествие. Он сделал все, что было ему поручено. Передал два письма от Конфалоньери в Неаполе, одно письмо — в Риме, синьору Висмара, у которого ему предложили остановиться. Для путевых очерков нужны были справки об античном Риме. Висмара — карбонарий, влюбленный в Рим, — имеет прекрасную библиотеку. Все стены увешаны гравюрами Пиранези. Тут круглый храм Весты, Палатин. Маленькая гравюра, изображающая угол Колизея. Игра света и тени превращает этот клочок бумаги в гигантское окно, через которое виднеются восемнадцать коридоров со сводами. В спальне Висмара стены увешаны целой сюитой гравюр того же мастера. Это — «карчери», тюрьмы и за̀мки, лестницы, подземелья, переходы, склепы, башни, перекидные мосты, парапеты, бойницы. Безумная и дикая фантазия. Бейлю нужно не это. Он просит Висмара дать ему книги по классическому Риму.

— Да это же все имеет отношение к Риму, это же все Roma (Рим), это же все — *романтическое*.

— Как вы не понимаете, Висмара, что мне нужно *классическое,* выросшее из греческой почвы, чистая и ясная античность, без того, что вы так удачно окрестили *романтизмом,* то есть римским налетом на античность! Я использую выдуманное вами слово. Романтики и классики — это два берега реки общественного удивления. Классики — это правобережные люди вчерашних вкусов, артисты вчерашнего праздника жизни. Я сам романтик — пионер, смело причаливший к левому берегу, несмотря на крики Шатобриана и госпожи Сталь.

— Ну, если вам нужна чистая античность, тогда возьмите немца Винкельмана, моего дальнего родственника.

Так впервые из этой беседы возникли два литературных термина: *романтика и классика.* И в этот же день, читая биографию Винкельмана, Бейль вспомнил родину этого искусствоведа, маленький саксонский городок Стендаль, или средневековую Стендалию с пятнадцатью башнями на крепостных стенах. Десять лет тому назад, после того как Бейль выехал из Брауншвейга в качестве военного комиссара, обложившего область невероятной контрибуцией и едва спасшегося от нападения вооруженной толпы, он три дня скрывался в этом городке под чужим именем и отдыхал в гостинице. Молодая белокурая немка, принимавшая его за странствующего графа, оказывала ему чрезвычайную благосклонность. Вот в этом городе вырос гениальный Винкельман, на этот город крестьяне под предводительством Катта сделали налет, собираясь выбить французов.

Закончив путевые очерки «Рим, Неаполь и Флоренция», Бейль приготовил их к печати и подписал на титуле вместо своего имени новое ложное имя, название города: *«Стендаль»,* и в пояснение прибавил: *«офицер французской конницы».*

Бейль чувствовал сам впервые, как между художником и действительностью устанавливаются незнакомые другим людям взаимоотношения. Описывая Рим, Неаполь и Флоренцию, Бейль, наблюдая за собою, улавливал новые явления. Офицер французской конницы Стендаль переполнен бурею небывалых чувств, окрашивающих все предметы. Он чувствовал, что впечатления кристаллизуются в его воображении и, закристаллизовавшись, получают неожиданную игру под лучами дневного света. Каждая грань кристалла была гранью тонкого и лучистого

вещества, и все предметы преломлялись по-новому сквозь эту призму окристаллизованных впечатлений. Вот почему пятнадцать строчек холькрефтовских мемуаров как нельзя больше подходят в качестве эпиграфа к этой книге, хотя не было критика, который не счел бы необходимым удивиться, прочтя эти строчки на титуле первой стендалевской книги:

«Смех от счастья, зародившийся в его сердце с того дня, как он ее увидел, вскоре заиграл и на ее устах. Тот взгляд и выражение глаз, которые впервые возникли, когда они взглянули друг на друга, так и остались неизменными. Любимый образ царил в его уме: каждая вещь в природе, каждый предмет напоминал ему о ней. Сама смерть не могла бы рассеять этой чарующей силы воображения. Ибо человеческое воображение не умирает. Подобно тому как утончается чувство, воображение также становится тоньше и острее у человеческих существ. Кровь быстрее струится по жилам под влиянием иных зрительных ощущений, и мир кажется иным оттого, что кровь быстрее струится по жилам».

Любовью поэта написаны эти строчки. Это же чувство водило рукой Бейля, описывавшего лучшие города в мире. Он хотел сказать, что это чувство раскрыло для него впечатления от мира вещей, ранее ему чужого. «Ясно одно, что, помимо художника, сама действительность обладает способностью пробуждать тонкие и сложные ощущения красоты», — думал Бейль. Недаром художник выбирает и нанизывает впечатления не механически. Но ведь художник есть сам часть действительности. И поэтому деятельность воображения, выливающаяся в форме творчества, есть рождение новой действительности, есть искусство изменять мир. И чем сильнее кипящие страсти ума, тем прочнее и драгоценнее переплавка действительности, тем красивее выходит мир из рук своего подлинного творца — человека. «Так улыбка, после произнесенных слов остающаяся на губах говорящего и тающая, как световые блики, в воздухе и на предметах», — улыбка, о которой говорит Холь크рофт, — сегодня это улыбка незнакомки, все озаряющая на пути Бейля.

Энрико Висмара говорит хорошо о том, что римский карбонарий несет в мир римскую революцию, романтика,

как римское миросозерцание, ломает мир классических традиций и превратит старую Европу в мировую республику.

Третья книга брошена в свет. Делонэ в Париже выпустил томик «Рим, Неаполь и Флоренция», написанный *офицером французской конницы — Стендалем.* А тем временем Дидо обращается к господину Бомбэ с предложением переиздать нашумевшую «Жизнь Гайдна». И в то время как книжный транспорт старика Бэра везет в Германию французские новинки, в парижских витринах появляются новые издания «Жизни Гайдна», без имени автора.

Господин Эккерман, секретарь веймарского министра, тайного советника фон Гете, покупает у Бэра новые французские книги и доставляет их в Веймар.

В марте 1818 года, окончив чтение новых книг, разбор античных камей и описание мраморных статуй, старый Гете дописывал письмо к своему другу, музыканту Цельтеру, заканчивая словами:

«Эти подробности я извлекаю из оригинальной книги Стендаля, офицера французской конницы. Необходимо, чтобы ты им заинтересовался. Он принял чужое имя. Это — француз, путешественник, полный острой жизненности, страстный почитатель музыки, танцев и театра. Он привлекает и отталкивает, он захватывает и волнует нетерпением, и в конце концов от его книг невозможно оторваться. Он кажется мне одним из тех великих талантов, которые возникли в вихре войны и революции и скрываются под видом офицеров, чиновников или шпионов, а может быть, — всех троих вместе».

Легко было сообразить неошибающемуся старцу, что под немецкой фамилией скрывается француз. В самом деле, зачем немцу Стендалю писать книжку на французском языке в Париже, описывая итальянские впечатления от трех городов на Апеннинском полуострове? Но гораздо труднее было положение того венского книгопродавца, которому австрийская полиция поручила во что бы то ни стало разузнать у Делонэ в Париже, кто этот офицер французской конницы — Стендаль, так дерзко отзывающийся об австрийской власти в Италии. Делонэ показал агенту министра австрийской полиции Седленицкого

письма нотариуса Лароша, поверенного в делах этого кавалерийского офицера, барона Стендаля, путешествующего по Италии. И в то время как Бейль возвращался в Милан вдоль реки Олоны, в это же самое время в Риме, в Неаполе и во Флоренции по гостиницам и пансионам ловкие иезуиты наводили справки.

Нигде никаких следов французского кавалериста Стендаля не оказалось.

В миролюбивом настроении вернулся Бейль в Милан. Но в нем, в этом миролюбивом Бейле, жил бурный и безудержный темперамент карбонария Стендаля, офицера французской конницы. С этого момента наступает раздвоение, которое бросается в глаза даже его друзьям. Стендаль пишет, печатает и существует неизвестно где, его ищут и ловят, а господин Бейль — буржуа, с аристократическими претензиями — ведет праздный образ жизни в Милане, сидит в опере, выезжает на прогулку верхом и кочует из города в город по австрийской Италии. Во Флоренции вышла анонимная итальянская книжка о романтизме — «Romanticismo».

Читают все с восхищением, но никто не знает, что автор — француз Бейль.

Полина извещает Бейля о смерти мужа в Гренобле.

Надо ехать во Францию. Опять мальпост, опять дорога, опять голубая карета с австрийским почтовым гербом на кузове, запряженная шестеркой, с переодетым жандармом вместо форейтора. Холодный ветер с севера около Альп, остановки на берегу Комо. И опять возобновленная встреча. Быстро промелькнувшая коляска, и в ней — прежняя незнакомка. Взглянула рассеянно, продолжая говорить со спутником, которого не удалось рассмотреть подробно. В черном плаще, худой, без шляпы, с огненно-рыжими волосами, изможденный, бледный, с огромными горящими глазами, похожий на хищную птицу в клетке зоологического сада. Бейль где-то видел это лицо. Да, все-таки Бейль узнает его. Однажды, поздно ночью, он видел этого человека у Конфалоньери. Это — величайший поэт Италии, изгнанник Уго Фосколо.

Когда-то пламенный сторонник Бонапарта, Фосколо был офицером Цизальпинского легиона. Его всегда отличал генерал Массена. Фосколо под его знаменами шел

против австрийцев, но внезапно, после битвы при Маренго, покинул войска и назвал Бонапарта предателем Италии. Потом появилась его книга «Последние письма Якопо Ортиса» — прославленный роман, изданный на средства Траверси и нашумевший на всю Европу. В этой книге были замечательные слова: «Наша страна принесена в жертву. Все погибло, и мы живем, как тени, оплакивающие свой позор и свои несчастья. Я отчаиваюсь в родине, я отчаиваюсь в самом себе. Италия — несчастная страна! Добыча роковых столетий! Жертва победителей! Я должен сухими глазами смотреть в бессильной злобе на людей, ограбивших мою страну и ее предавших».

Вслед за этими горячими словами были написаны его речи к Бонапарту, не попавшие в печать, но распространяемые в рукописях. Это были отклики Фосколо на совещание цизальпинских депутатов, созванных Бонапартом. Фосколо — автор трагедий, запрещенных Бонапартом. Фосколо — дивный стихотворец, сообщивший небывалую музыку латинской речи. Фосколо — писавший сатиры на императоров. Фосколо — преследуемый, дважды изгнанный, одинаково ненавистный французскому Наполеону и австрийскому Францу. Как он мог появиться так смело на австрийских дорогах в коляске с этой ломбардской красавицей? И кто она, так смело путешествующая с человеком, которого все считают проживающим где-то в Шотландии?

Уже давно рассеялась дорожная пыль. Уже давно, мягко ступая по снегу, верховая лошадь медленно взбирается по крутой Сен-Готардской дороге. Бейль держит повод закоченелой левой рукой, изредка приподнимается в стременах, чтобы размять застывшие ноги, но мысли его попрежнему в апельсинных садах и миртовых рощах, в зеленых виноградниках Ломбардии. Сравнение с апельсинным деревом приходит ему каждый раз, как только он вспоминает незнакомку. Оглядываясь кругом, смотря на орла, летающего над снежной скалою, на горные тропинки, по которым медленно спускается австрийская артиллерия, Бейль именно по контрасту думает о незнакомке, он чувствует ее отсутствие все острее и острее, по мере того как позади, между ним и Миланом, воздвигается альпийская стена. Вместе с тем, удаляясь на север, он чувствует боль: щемящая боль закрадывается в сердце при

мысли о том, как много в его жизни отведено скитаниям в дороге.

Какое количество дней в году проводит он на одном месте, вне дороги и скитальчества? Это жизнь в мальпосте!

Смутное чувство охватило Бейля, когда он подъезжал к местечку Клэ. Здесь когда-то был виноградник, принадлежавший его отцу. Старик его продал, как писала Полина. Во время остановки Бейль робко, с предосторожностями, чтобы не быть узнанным, подошел к изгороди. Крестьянин в кожаных штанах, в серой шляпе, в блузе, на которой перекрещивались яркожелтые подтяжки, вооруженный кривым садовым ножом, стоял у изгороди и с недоверчивым удивлением смотрел на подходившего Бейля. Это был новый владелец виноградника.

Бейль вынул монету и попросил срезать несколько кистей винограда. Подозрительно глядя на незнакомца, крестьянин исполнил просьбу. Бейль поспешно вернулся к экипажу и дорогой медленно ел виноград. Последняя кисть еще была цела, когда он подъехал к дому отца, на улице Старых Иезуитов, в Гренобле.

Глава двадцать первая

Были дождливые дни. После ссоры с отцом из-за сестры Полины Бейль отвлекался от печальных размышлений верховой прогулкой. Он выехал вместе с сестрою, несмотря на облачный день и ненастье, и снова побывал в тех местах, куда в детстве любил уезжать с товарищами Бижильонами. Теперь, поднявшись на лесистый гребень Дофинэ и вдыхая смолистый холодный и необычайно легкий воздух гор, он смотрел на расстилающиеся перед ним синие, голубые, темнозеленые и лиловые горы, покрытые лесами и уходящие в бесконечную даль горизонта, туда, где дымчатый, почти прозрачный горный гребень сливался с синеватыми и серыми тучами. На ближних и дальних предметах лежал голубоватый дым, синие озера вырезывались кое-где на пространствах темнозеленого лесного массива. В этих лесах была прекрасная охота. Управляющий старика Ганьона когда-то рассказывал о барсуках, лисицах, куропатках, населяющих эту лесную глушь. Бейль вспоминал день св. Губерта в лесной сторожке,

когда охотники с собаками устроили привал недалеко от Сент-Измьер и когда он, еще мальчик, едва не был разорван английскими борзыми.

Полина разделяла вкусы брата. Она восхищалась Анри, как замечательным стрелком, который когда-то на пари стрелял птицу в лет. Она сама в своей охотничьей амазонке и сейчас склонна была возобновить охотничьи затеи Дианы, если бы не траурная вуаль, спускавшаяся на левое плечо.

Возвращаясь домой, брат и сестра решили, не дожидаясь примирения с отцом, на следующий день вместе уехать в Милан.

Расставание было вовсе не грустное. Дорога на юг обоим показалась сказочно хорошей. Снова возвращаясь в Милан, Полина быстро забывала горе, а ее брат с небывалым нетерпением отсчитывал километры.

В мальпосте, в те часы, когда Бейль дремал, покачивая головой под толчки рессор, Полина любила читать. Ей нужно было многое узнать об Италии этих лет. Она везла с собой новую книжку «Рим, Неаполь и Флоренция в 1817 году». Она не соглашалась со многими суждениями автора этой книги, но, будучи снисходительным и мягким человеком, всюду старалась внести струю своего миролюбия, всему найти оправдание. Она прямо говорила брату, что некоторые суждения Стендаля ей кажутся поверхностными и намеренно озорными, но что это, очевидно, человек большого ума, хотя и неглубокого чувства.

— Ведь он кавалерист, а я помню, какие легкомысленные люди кавалерийские офицеры. Ты сам знаешь, Анри, — говорила она, обращаясь к брату.

Брат почти всегда соглашался; в некоторых случаях он советовал ей меньше обращать внимания на автора и больше вникать в те предметы, которых он касается.

— Я, знаешь ты, сам недолюбливаю этого Стендаля. Порою он кажется мне изрядным пустомелей.

Публика мальпоста иногда принимала участие в спорах. Негоциант из Болоньи и неаполитанский врач знали книгу Стендаля. Оба в высшей степени отрицательно отзывались об авторе и говорили, что этот офицер Стендаль, зараженный настоящим якобинским духом, представляет собой довольно опасную фигуру. Бейль немедленно соглашался с ними и начинал рассказывать вереницу нелепейших анекдотов, слышанных «об этом Стендале», причем

не скупился на самые бранные клички и едкие характеристики. Тогда Полина вступалась за автора, и Анри Бейль бывал в восторге, слыша в этой защите голос родной крови.

— Однако тебя можно заподозрить в том, что ты имеешь какое-то сродство с этим Стендалем, — сказал он ей однажды.

Полина особенно интересовалась кружком графа Порро. Она слышала, что лучшие люди Германии, Франции и Италии встречаются в его доме. Бейль называл Шлегелей, госпожу Сталь, Сильвио Пеллико, лорда Байрона, лорда Брэгема, Борсиери, Людовико Брэма и особенно — Федериго Конфалоньери. Последний — блестящий представитель человеческой породы, огромный политический темперамент, могучий ум, железный характер, несокрушимая воля — одним словом, сочетание свойств человека, не встречающееся в этой жалкой Франции, сославшей на каторгу всех энергичных людей. Во время одной из таких характеристик внезапно раздался голос старика — соседа по мальпосту:

— Confalonieri? Questo liberale? Un uomo sommamente pericoloso![1] — прохрипел низким басом старик с ввалившимися губами и желтыми щеками. Сказав это, он вынул синюю фляжку, открыл пробку и налил себе в золотую стопку дымящегося зеленого ликера. Когда он подносил золотую стопку к беззубому рту, на сухих и длинных костлявых пальцах заиграл золотой перстень с огромной сердоликовой церковной печатью и обнаружились скрытые под рукавом черные агатовые четки. Из-под кружевной манжеты высовывался черный крест, которым кончалась вереница четок. Выпив три стакана ликера, старик оживился и, уставив горячие, злые глаза фанатика на Бейля, заговорил:

— Италии необходим палач не в кардинальском пурпуре, а в белой одежде. Римский первосвященник скоро благословит это дело. Страна забыла бога, и отсюда все несчастья и озлобление века. Ваш Бонапарт был истинным духом тьмы, но он был послан для кары. Только великие северные цари Габсбурги и Романовы поняли правду

[1] Конфалоньери? Этот революционер? Он человек в высочайшей мере опасный! *(Примеч. автора.)*

церкви. Скоро никаких Конфалоньери не останется в Италии.

Бейль сделал вид, что утомлен дорогой. Он зевал почти в лицо старику, закрыв глаза, и через минуту действительно заснул, предоставив Полине и другим спутникам продолжать беседу со старым иезуитом. Он подумал только о том, как отчетливо звучат пророчества старого святоши, и решил рассказать Конфалоньери об этой встрече при первом же случае.

Миновав горные склоны и спустившись к зеленеющей долине Ломбардии, Бейль почувствовал незнакомое прежде состояние удушающей радости. Никогда Франция не казалась ему такой потускневшей, и никогда Италия так не манила его, как в это возвращение. Ломбардия была для него светом и воздухом, тем, без чего не может жить человек. В месяц северной поездки он испытывал непонятную ему самому тоску. Теперь, с каждой перепряжкой мальпоста, сердце билось нетерпеливей. В ушах, не переставая, звучала певучая музыка лучших стихов, когда-либо слышанных им:

Bella Italia, amate sponde,
Pur vi torno a riveder.
Trema in petto e si confonde
L'alma oppressa dal piacer.
Tua bellezza, che di pianti
Fonte amara ognor di fu,
Di stranieri e crudi amanti
T'avea posta in servitù.
Ma bugiarda e mal sicura
La speranza fia de're:
Il giardinc di natura
No pei barbari non é[1].

Этот хамелеон, вечно меняющий цвета, Монти, столько раз приветствовал разных властителей Италии и столько раз менял оболочку, что трудно найти его самого под масками. Но в нем кипят живые страсти поэта; его стих до такой степени певуч и звучен, что все можно ему простить за эти строчки об Италии из его *«Битвы при Маренго»*.

---

[1] Прекрасная Италия, край, милый сердцу, — снова судьба позволяет видеть тебя! Трепетно бьется сердце, и грустно и радостно в душе, затопляемой чувством счастья. Твоя красота для тебя же источник горечи и мук, — она отдала тебя в рабство чужеземцам — поработителям. Но не сбудутся их надежды: не для дикарей создала природа эту царскую страну. *(Примеч. автора.)*

Монти приветствовал Суворова, приветствовал Бонапарта, приветствовал австрийскую власть, играя словами «Австрия» и «Астрея». Насколько маленький Сильвио, с его детским лицом, круглыми очками и поднятыми бровями, лучше и приятнее в общении, искреннее и честнее, нежели этот лукавый царедворец с лицом куропатки и губами, сложенными сердечком!

Дорога пылила черной пылью плодородной земли. Необычайная пышность все подавляющей буйной растительности давала впечатление изобилия, впечатление какой-то плодоносной бури. Виноградники сменялись полями ирисов, фруктовые сады — оливковыми рощами; деревни с домами, окруженными темной листвою лавров и копьеобразными кипарисами, мелькали перед окнами мальпоста. Форейтор трубил в почтовый рожок, встречный капуцин, с горбатым носом, загорелый под цвет своего коричневого подрясника, с серыми, запыленными волосами, сворачивал с шоссе на проселок одноколку, запряженную осликом. Нищие, казавшиеся странным противоречием богатству этого края, спали в пыли по краям дороги под горячим солнцем. Католические патеры в широких шляпах были похожи на пастухов и бандитов; подозрительные наездники, сворачивавшие издали на боковые тропинки с почтового тракта, в широкополых шляпах, с карабинами за плечами, были похожи в свою очередь на католических попов. На полях, подвязывая растения, работали мотыгой и лопатой худые, сухопарые ломбардские батраки, составлявшие главную часть населения этой богатейшей равнины, поделенной между помещиками и крупнейшими фермерами.

Бейль думал о чрезвычайной запуганности этого населения, об ужасающей нищете наряду с богатством, о постоянных сменах власти в Северной Италии и неуверенности в завтрашнем дне, в силу которой эти бедняки и нищие Ломбардии могли то выставить толпу повстанцев и грабителей, то двинуться мстительной карой в города, охваченные революцией, по призыву католических попов и австрийских жандармов. Бейль думал о том, какую огромную ошибку делают его друзья карбонарии, не пытающиеся найти связи с этим населением.

Он вспоминал клятву Байрона и Конфалоньери: «Буду всеми силами бороться за истинный и справедливый закон рабочих полей, ибо без этого закона немыслима

истинная свобода. Поля и земли не могут быть собственностью. Я обязуюсь бороться за отмену частных владений». Бейль вспоминал, как, произнося эти слова, Байрон глядел на ритуальный череп, лежавший на столе, и протянул руку, чтобы взять у Конфалоньери карбонарский символ — цветущую ветку акации. Эта ветка передавалась только тем, кто, помимо всех клятв, обязывался содействовать истреблению королевских семей.

Наступал вечер, а с ним — очередная остановка. Менялись ночлеги. Утром, с восходом солнца, начиналась новая дорога, мелькали города, местечки, виллы, придорожные траттории. Стояли томительные, знойные, горячие дни. Солнце обжигало мальпост. Все реже и реже пассажиры садились на империал. Все чаще и чаще менялись путники внутри кареты. Старый иезуит давно сошел, встреченный почтительно старой дамой с собачкой около Фино. Его место занял маленький круглый человек, развернувший баул с платками из шелковой тафты и начавший восхвалять свои товары. Это были розовые, серые, голубые платочки, платки с самыми нежными стишками, вышитыми и оттиснутыми по углам; с сонетами Петрарки на тех, что были подороже, и просто с объяснениями в любви, — в полном соответствии со вкусами и средствами покупателя. Продавец рассчитывал больше всего пленить своим красноречием молодого, щеголевато одетого путешественника, сидевшего в углу мальпоста. Но тот проявил полное равнодушие и, казалось, дремал под щебетание веселой молодой женщины, которая занимала своего спутника совершенно неуловимым бессодержательным разговором. Наоборот, она сама с любопытством перебирала шелковые ткани и набрала себе дюжину платков с самыми нежными и трогательными надписями.

Молодой человек начал как будто просыпаться. Равнодушное выражение сменилось у него чувством некоторого ужаса, когда он увидел, что придется платить. Произошла нежная сцена, насмешившая всех пассажиров. Молодой человек примирился, вынул цветной кожаный венецианский бумажник и заплатил, присоединив к отобранным платкам еще один, с крестом и понтификальными значками в виде ключей по углам.

— Вот это похвально. Молодой человек обнаруживает зрелость выбора, — заметил старик с большими усами, сидевший напротив.

— А вы думаете, это для себя он покупает? Это для дядюшки — тревизского каноника. Еще год тому назад он накупил бы мне и не таких подарков, а теперь, когда дело сделано, он упирается по поводу каждой лиры. В наказание я буду пользоваться этими платками так, как он не ожидает. Здесь есть такие надписи!

И она залилась звонким смехом.

Мальпост въезжал на площадь Саронно в то время, когда она смеялась. К ее смеху присоединился почтовый рожок форейтора, которому словно отвечала городская труба австрийского герольда. За поворотом у столба палач бил кнутом, со свистом рассекавшим воздух, голого человека, прикрученного к спине осла и перевязанного веревками так, что наказуемый не мог пошевелить руками. Кругом стояли австрийские солдаты в белых мундирах. Смех замер на губах молодой женщины. Мальпост быстро миновал площадь, а старик, сидевший в углу, произнес с важностью:

— Так им и надо. Эти проклятые карбонарии не дают жить честному итальянцу.

Полное молчание всех пассажиров мальпоста было ему ответом. Бейль нахмурился и всю дорогу до самого Милана не произносил ни слова. Зато другие пассажиры, после некоторого молчания занявшись разговорами на посторонние темы, робко возвращались к суждениям о только что виденной расправе с итальянцем. Больше всего говорил старик, ненавидевший карбонариев. Он рассказал, что у него два сына, из них один — «честный австрийский офицер», а другой — «негодяй, шляющийся по лесам и скрывающийся от правительства».

— Очевидно, тоже карбонарий, — добавил старик. — Мои старые руки не достанут его плетью, но пусть его настигнут в одно прекрасное время австрийские карабинеры.

Молодая женщина пыталась возражать. Она сказала, что отцу трудно навсегда выкинуть сына из сердца.

— Он для меня уже больше не сын. Он восстановил против меня внучку, которая мне на днях сказала: «Папа говорит, что дед Чекино хочет запереть солнце в тюрьму, если оно не перестанет светить». Это я-то, Чекино, хочу запереть солнце! Это он, мой бывший сын, осмеливается внушать такие мысли своей дочери и моей внучке! Я слишком снисходителен, если терплю пребывание в своем доме этого карбонарского отродья.

Кучер, направивший мальпост по мягкой дороге и слышавший этот разговор, с любопытством наклонил голову к стеклу и пронзительно глянул старику в лицо. Широкоскулый, с огромным оскалом зубов, он улыбался совсем недоброжелательной улыбкой, запечатлев в своих серых зрачках фигуру старика.

— Я уверен, что и этот парень — карбонарий, — сказал старик, откидываясь назад с чувством нескрываемого страха. — Нельзя ни о чем говорить в дороге, прямо не знаешь, кого бояться. Всюду, начиная с моей собственной спальни, есть уши, и везде идет борьба.

Торговец платками вдруг оживился; приятная, льстивая улыбка ловкого продавца сбежала у него с лица.

Он просто и серьезно сказал:

— Послушайте, синьор. Ведь нельзя же всех молодых итальянцев посадить в тюрьму. Не хватит никакого Шпильберга.

— Ну, есть еще мантуанские подземелья. Да в конце концов нет надобности всех этих каналий сажать. Надо посадить вожаков.

Полина спросила Бейля, что такое Шпильберг.

— Это — очень невеселое место: замок, окруженный рвами, где-то в Моравии, в очень глухой лесной стороне. Кажется, это самая страшная из австрийских тюрем.

Торговец платками не унимался.

— Знаете ли что, синьоры, — сказал он, — я вовсе не карбонарий и не люблю запах пороха, но скажу вам правду — карбонариев делают сами австрийцы с помощью наших патеров. Что можно делать сейчас человеку без разрешения властей? Пить и есть в случае, если имеешь деньги, и веселиться не рассуждая, если этих денег много, но ни в коем случае нельзя ни учиться, ни читать, ни путешествовать, ни даже вести такую беседу, как наша с вами сейчас. Когда человек голодает и ищет работу, он ее не находит. Он уходит в лес; его считают разбойником. Я торгую шелком, а мой брат занимается скупкой крестьянского урожая. Он говорит, что и по деревням неспокойно. Вот хорошо вам так относиться к сыну по крови, а припомните-ка, что сделал генерал Мангес, когда священник захотел со святыми дарами навестить за городом своего духовного сына. Помните, еще недавно был в силе приказ, чтобы по ночам за городской чертой не появлялись люди с пищей. Это было в те годы, когда родные

подкармливали своих лесных беглецов. Священника генерал Мангес приказал расстрелять возле заставы, потому что нашел у него кусочек хлеба. Таким способом думали выморить голодом всех карбонариев. Да разве так сделаешь! После такого распоряжения вместо одного их становится пять! Поверьте мне, карбонариев делают австрийцы и попы.

В Милан приехали в час сиесты. Все ставни были закрыты, улицы, освещенные горячим солнцем, были пусты. С остановки мальпоста Бейль и Полина поехали на извозчике на площадь Бонапарта. Все было на месте. София содержала комнату опрятно: нигде ни пылинки. Письмо получено во-время. Покой для госпожи Полины отведен. Только конверт был распечатан.

— Очевидно, в мое отсутствие племянник по ошибке распечатал ваше письмо, синьор Бейль. Потом какой-то человек с большими усами, в очках, приходил и просил сообщить о вашем приезде в отдел паспортов.

Глава двадцать вторая

Из сада на Виа-Ровани выходит красивый старик с седыми усами, бритым подбородком, седыми торчащими бровями, голубоглазый; походкой, полной достоинства, небрежно помахивая тростью, идет он по миланской улице. Весь облик прекрасного старца дышит благородством, говорит об открытом характере; каким-то радушием веет от каждой улыбки этого человека. Встречные смотрят на него с уважением, на него заглядываются женщины, австрийские офицеры делают ему под козырек, а жандармы вытягиваются в струнку. Старик не спешит. Он любил утренние прогулки, он любил работать, ходить и говорить не спеша, расценивая каждое свое слово, но он умел думать с бешеной быстротой и схватывать неуловимые вещи с такой резкой ясностью, что ему мог бы позавидовать юноша. Ни одна морщинка при этом не изменялась на его благородном, чистом лице.

Около Санта-Маргарита старик пошел быстрее. Часовые расступились перед ним, отдав честь ружьем. Старик поднялся на второй этаж, вынул маленький ключик, отпер свой кабинет, дернул сонетку и, нажав кнопку в стене, открыл шкаф. Вереница подвижных ящиков на

шарнирах, послушных привычной руке, потянулась к нему навстречу из секретного шкафа. На звонок с шумом, цепляясь палашом за мебель, вошел карабинер, звякнул шпорами, отдал честь, приложив руку к треуголке с целым снопом черных перьев.

— Приведи сюда Николини, — распорядился старик, не оборачиваясь.

Повернувшись на каблуках так, что серебряная канитель эполет взлетела на воздух, жандарм механической, отчетливой походкой вышел из комнаты. Выражение лица у старика внезапно изменилось. Он достал письмо и, зная, что на него никто не смотрит, стал читать, дав волю своим чувствам. Ноздри его раздулись, горбатый нос стал крючковатым, губы стиснулись, подбородок выступил вперед, в глазах появились огонь и злоба хищной птицы. Благородный старик стал просто инквизитором Сальвоти, главной в Ломбардии ищейкой его императорского величества короля Франца.

Для Сальвоти это был день невероятной удачи. Байрон — «этот сумасшедший негодяй, знатный и развратный англичанин, оскорбляющий всех и вся, начиная от австрийских офицеров и кончая европейскими монархами», вчера поселился в Равенне, за неделю перед тем рассчитав своего слугу Николини. И вот Николини явился с письмом этого безумца, не сданным на почту, а принесенным прямо ему — Сальвоти.

Ах, какое прекрасное письмо! Этот подлый лорд назначает неаполитанским карбонариям свидание в остерии Борачина, просит их приехать, принять от него деньги и оружие. Он прямо пишет, что согласен оказать им всяческую помощь в борьбе против религии, против «ханжей и варваров». Это ли не доказательство? Это ли не документ?

В коридоре послышались шаги. Сальвоти тотчас же снова надел маску благородного благожелательства и безупречности.

Вошел Николини.

— Умеешь ли ты читать и писать? — обратился к нему Сальвоти.

— Да, синьор.

— Вот тебе лист бумаги. Пиши имена всех, кто бывал у твоего лорда в Милане.

— Я многих имен не знаю.

— Тогда опиши внешность. Но помни, что если кто-нибудь узнает о том, что ты у меня был, то...

С этими словами Сальвоти рассмеялся дружелюбным, каким-то необычайно веселым смехом. Николини уставился на него, широко раскрыл глаза и затрясся всем телом.

Через минуту гусиное перо, сажая кляксы, заскрипело по бумаге. Сальвоти читал другие письма. Читая, он выдвигал карточки и наносил сведения, классифицируя и распределяя, делая отметки: *вендита,* что значит — рынок, а вместе с тем обозначает карбонарскую ложу, *венту,* объединение в двадцать человек; на других он делал пометку: *баракка,* что значит — хижина, или место карбонарской явки, на третьих он отмечал: *фореста* — лес; этим словом обозначалась область или район, охваченный действием венты.

Закончив чтение, он написал короткий рапорт в Вену о том, что его поиски французского барона де Стендаля не увенчались успехом и что, повидимому, это — вымышленное имя. Рапорт он закончил требованием высылки в Милан штатного расписания офицеров французской конницы. И в особенности списков 6-го драгунского полка.

Николини кончил и стоял, с почтительным ужасом смотря на благообразного старца.

Обратившись к нему, Сальвоти, рассеянно глядя в сторону, произнес:

— Возьми это письмо твоего господина и немедленно сам выезжай в Ла Кава, чтобы вручить его тамошнему почтальону. Это сельский разносчик — Руджиери. Он доставит письмо по назначению, а ты вернешься обратно, заехав предварительно в Равелло. Там, на самой вершине, в маленьком домике около мавританского дворца Руфоли, ты постучись в окно против витых колонн Руфоли и спроси священника. Если ты его не застанешь, приди второй раз, но никому ничего не говори. Когда увидишь священника, назови ему имя того, к кому пишет твой господин, и прикажи ему принять на исповедь жену этого синьора. Потом постарайся, не попадаясь на глаза ее мужу, ехать за ним на север. Опишешь мне всех, кто будеть ехать с ним или с ним говорить. Если провалишься, то...

Николини опять задрожал всем телом и схватился за грудь, слушая этот старческий смех. Он хорошо знал, что

мешок с камнями примет его и опустит на дно мантуанского колодца, если этот страшный синьор будет им недоволен.

Сальвоти писал длинный рапорт министру полиции в Вене графу Седленицкому:

«Если бы лорд Байрон не доказал своего полного сумасшествия, то его следовало бы поставить под соединенный надзор бюро священной полиции всех наций в Вене. Но безумие этого знатного англичанина заставляет сомневаться в успешности его политических актов. Он очень удобен для нас, как яркий огонь, на который летят интересующие нас птицы. Окружающие его женщины весьма разговорчивы. Я приставил к нему генуэзского флейтиста в качестве слуги. Байрон не чает в нем души, но у него есть очень опасная фигура, бывший гондольер — венецианец Тита, слесарь и оружейник, бесконечно преданный своему господину. Все наши попытки поссорить этого лакея с другими слугами пока не увенчались успехом. Необходимо сношение вашего сиятельства с мажордомом святейшего отца, чтобы самым секретным способом можно было изгнать лорда Байрона из нынешнего притона карбонариев в Равенне. Нами получены сведения, что Байрон подготовляет издание подпольной газеты «Tenda Rossa»— «Красное знамя». Уже это одно говорит о том, что пребывание Байрона здесь нежелательно. Я имею два выпуска его подпольного журнала «Карбонарии». К счастью, удалось арестовать наборщика и раскидать третий выпуск еще до первого оттиска. Прошу указаний вашего сиятельства.

Генеральный инспектор Сальвоти».

Ординарец постучал в дверь и доложил Сальвоти о том, что его желает видеть некий священник. Вошел красивый молодой человек с легкомысленным и нахальным лицом, румяный и как-то особенно улыбающийся, с видом наивного бесстыдства, совершенно не гармонировавшим с его черной одеждой и лиловыми чулками.

— Здравствуйте, отец Павлович, — сказал Сальвоти. — Как на этот раз удалось ваше путешествие из Вены?

— На этот раз я пробуду здесь долго, — ответил священник: — поездка становится все труднее и труднее. В четырех километрах от Комо кучер вывалил меня на

повороте, двое бандитов набросились на меня и перерыли мой баул, прощупывая каждую складку. Это — особенные бандиты: они не взяли ни денег, ни вещей, только изругали меня страшно.

— Но все обошлось благополучно?

— Да, вот вам часослов с двойным переплетом. Здесь вы найдете секретные инструкции и приказ о моем назначении.

— Вы молодец, — сказал Сальвоти. — Но какое положено вам жалованье? Вы знаете, что мы сидим совершенно без денег?

— Это меня совершенно не касается. Вам предписано выдавать мне три тысячи крон операционных. Откуда вы будете их брать, — мне безразлично.

— Послушайте, святой отец. Я буду выдавать вам три тысячи, но с условием, что ежемесячно на мою долю вы будете выделять пятьсот крон. Иначе я пишу рапорт о вашей непригодности.

Павлович осклабился и звонко, заливисто рассмеялся.

— Напишите, напишите, дорогой Сальвоти. Я посмотрю, какая у вас будет мина через месяц.

Сальвоти взял нож, вскрыл кожаную крышку переплета, достал клеенку, разрезал и вынул документы. Чтение их сделало его очень невеселым.

— Это вы создаете неправильное впечатление у Седленицкого? — сказал с бешенством Сальвоти. — В Вене, очевидно, думают, что работа здесь легка.

— Очевидно, в Вене так не думают, если прислали вам в помощь такого молодца, как я.

— Вам здесь нечего будет делать. Таких, как вы, здесь много.

— Таких, как я, вообще мало, и если я через год не сделаюсь духовником короля и божьей совестью всех заблудившихся, посаженных в Шпильберге, то ручаюсь вам, мой дорогой новый начальник, что вы сами будете занимать в этом прекрасном замке почетное место в первой камере.

— Послушайте. Неужели вы думаете, говоря мне такие дерзости, установить правильные отношения в работе?

— Ну об этом мы поговорим сегодня вечером. Я приглашаю вас в мою келью в Павийской чертозе. Там соберутся самые миленькие девушки Милана, и мы весело проведем вечер.

Сальвоти секунду колебался, потом протянул Павловичу руку и сказал:

— Приду.

Постучавшись, вошел секретарь с почтой.

На первом месте в папке лежало письмо следующего содержания:

«Нам стала известна ваша деятельность. Помните, проклятые наймиты и изменники, что каждый ваш шаг известен итальянскому народу. На вашу разведку, основанную на предательстве и выдаче единомышленников за деньги, мы ответим всенародной конспирацией и разведкой, которая сделает для нас ясным каждый ваш шаг. С нами сердца и мысли угнетенной Италии. С вами — австрийские кроны и подкупы».

— Вот такие письма каждый день, — сказал Сальвоти. — И все разные почерки. В одно прекрасное время нам придется убираться к черту.

— Ну что ж, уедем на короткое время, пока эти дураки сядут в магистратуре. А впрочем, не все ли равно, кто сидит у власти, лишь бы хорошо платили. Священникам всегда открыта дорога. А вот ваше положение — неприятное. Вы — итальянец и мирянин. Вас могут просто вздернуть на фонарь.

Разговор продолжался в этом же роде еще часа два. Потом оба поехали в магистратуру.

На следующее утро молодая девушка Чекина, служившая в доме Метильды Висконтини, с ужасом каялась хозяйке в своем легкомысленном поведении и рассказывала, что молодой аббат, с которым она провела вечер, подливая ей вина, усиленно спрашивал ее о том, кто бывает у маркезины Висконтини.

— Я даже не знала, синьора, что ваша девичья фамилия Висконтини. Я уверила аббата, что вы — Дембовская и что ваш супруг, офицер французской армии, в настоящее время вернулся в Польшу. Но аббат знает очень много, и я, кажется, опьянев, наговорила лишнее. Но он спрашивал о синьоре Фосколо, которого я совершенно не знаю. Он говорил, что это — рыжий карбонарий, бежавший в Англию.

Метильда Висконтини ничем не выдала своего волнения. С живостью успокоив Чекину, она отослала ее и стала ждать своего нового, недавнего друга, с которым она познакомилась у графа Порро. Это был француз из армии Бонапарта, ставший миланским гражданином, — синьор Арриго Бейль.

Синьор Арриго Бейль, идя на площадь Бельджойозо, где жила дважды встреченная им незнакомка, у которой он теперь был принят, чувствовал неизвестную раньше застенчивость, но со смехом говорил самому себе, что в его возрасте можно не бояться застенчивости. Он ловил себя на мысли о том, что почти юношеская очарованность этой женщиной соединяется в его сердце с чувством бесконечного к ней уважения, почти полного преклонения. Она восхищала его невероятной жизненностью, живостью ума, свежестью чувств и той удивительной насыщенностью нервов, которая сказывалась в каждом мускуле, в каждом движении, в каждом взгляде этой великолепной миланской красавицы. После двух месяцев знакомства, когда она разрешила ему почти каждый день на четверть часа приходить в театральную ложу Ла Скала, где она бывала со своей двоюродной сестрой, графиней Траверси, Бейль, наконец, был принят в ее гостиной на площади Бельджойозо. Он был умный, интересный собеседник, отнюдь не назойливый и не аффектированный, всегда бесконечно веселый и в то же время сдержанный. Но пришло время, когда эта сдержанность становилась все более и более трудной обязанностью. Кроме простого интереса и некоторой доли доверия, он ни на что не мог рассчитывать со стороны этой женщины. Вместе с тем он испытывал все более и более мучительное состояние. Ему было тридцать пять лет. Ей — двадцать восемь. У нее в прошлом было замужество и двое детей. Безумный и вспыльчивый Дембовский сделал все, чтобы превратить ее жизнь в сплошное несчастье, и уехал, наконец, после того, как они разошлись. Она пережила бурное увлечение революционером Уго Фосколо и едва не погибла с ним. Этот обаятельный человек, высокорослый и плечистый, сохранивший пленительные ионийские черты своей матери-гречанки, похожей на кондотьера старинной Италии, отличался огромной физической силой и был необычайно ловок. Анри Бейль никогда не решался говорить с синьорой Метильдой об этом человеке. Бейль мог напомнить ей только встречу на

берегу речки Адды в тот день, когда она переправлялась на пароме, а он поддержал ее в покачнувшейся коляске. Встречу в районе Комо, во время ее прощальной поездки с Фосколо, Бейль не осмелился ей напомнить. Он знал, что ее горничная относит на почту письма в Англию, на имя лондонского торговца Флетчера, и бешеная ревность мучила его сердце при мысли о том, что этим Флетчером может быть Фосколо.

В тот день, когда Чекина сделала свое странное признание, Метильда с некоторым нетерпением поджидала Бейля. Признание Чекины ее возмутило особенно потому, что она презирала австрийскую полицию и была к ней высокомерно требовательна. Подумав, она раскрыла секретер и стала писать письмо барону Биндеру, начальнику миланской полиции. Она решительно требовала прекращения возмутительной интриги неизвестного аббата. Представляя себе Биндера читающим письмо, она смеялась над ним, стараясь представить себе выражение его лица. Она писала, что ей чрезвычайно жаль, что миланское духовенство проводит время в обществе девушек из низшего класса, что аббат восстанавливает горничную против своей госпожи, что именно этими допросами агенты полиции, переодетые священниками, сеют недоверие к аристократии в головах слуг, что она требует разыскания и наказания этого негодяя. Потом зачеркнула слово «негодяй», подумала и снова написала «вашего негодяя».

Она еще не кончила письма, как слуга Людовик доложил о приходе синьора Бейля.

Ей так необходимо дописать письмо, что она просит подождать.

Людовик выходит, передает Бейлю просьбу, и Бейль в нетерпении начинает ходить по мягкому ковру большой гостиной.

Справа от камина висит большая картина ломбардской школы — «Иродиада», приписанная кисти Бернардо Луини. Молодой, рано умерший ученик Леонардо да Винчи изобразил женщину, с головой, слегка склоненной направо. Она смотрит полузакрытыми глазами, улыбка, полная очарования, многознающая, но без лукавства, соблазнительная, но не сладкая, таинственная и непонятная, играет на тонких, красиво очерченных губах. Овал лица слегка заостряется книзу нежным подбородком. Лоб необычайно чистый, высокий, обрамленный темнозолотыми

волосами. Каждая черточка дышит изощренной жизненностью, каждая жилка полна трепетной и горячей крови. И все это в картине подернуто дымкой легкой, едва заметной грусти.

«Если бы не эта грусть, то картина Бернардо Луини была бы тончайшим портретом синьоры Метильды», — думал Бейль, стоя за камином и касаясь рукой голубой фарфоровой вазы.

Дверь отворилась, и, не выпуская скобки, синьора Висконтини заглянула в гостиную. На лице играла приветливая светская улыбка. Она хотела сказать что-то смешное, но, обведя глазами комнату и не найдя Бейля, вдруг сделалась до странности грустна, почти испугана.

Это была одна секунда; пошевельнувшись, Бейль выступил из-за камина и направился к хозяйке. Синьора Метильда в мгновение ока предстала в совершенно ином виде. Она смотрела на Бейля сухими и злыми глазами, как бы опасаясь, что ее внезапный испуг от мысли, что он ушел не дождавшись, может дать Бейлю какие-то новые права. Но он уже торжествовал. Это было новое, совершенно для него неожиданное доказательство подлинной дружбы. Как всякий человек, охваченный большим чувством, он недооценивал самого себя и все время себе не верил. Фатовское обращение с другими, возникшее под влиянием своеобразного отчуждения и одиночества в обществе, мало понимавшем его атеистические шутки, скептические замечания о Бонапарте, холодные наблюдения по поводу ума и деловитости барона Биндера, скептическое отношение к либеральным кругам миланского общества делали Бейля все больше и больше изолированным и заставляли все чаще и чаще надевать маску. Он холодно выполнял просьбы Конфалоньери, равнодушно относился к итальянской национальной идее, но ненавидел духовенство и австрийских жандармов. При этом он сам не замечал своей изолированности, чувствуя себя все более и более захваченным очарованием Висконтини.

Он был настолько умен, что ни одним движением не обнаружил своих наблюдений над тем, как растерялась Метильда при мысли, что он не дождался и ушел. Она рассказала ему содержание своего письма к барону Биндеру и спросила Бейля, не следует ли что-нибудь добавить. Бейль прочел письмо и предложил приписать короткую фразу о том, что бестактность австрийской полиции

заставит маркезину лишиться услуг хорошей горничной и прибегнуть к защите его королевского величества. Метильда сделала эту приписку, потом позвала Людовика и поручила ему в коляске отвезти письмо рассудительному и безжалостному барону.

Глава двадцать третья

Возвращаясь к себе домой поздно вечером, Бейль с удивлением увидел, что дверь раскрыта. Софии не было ни в одной комнате. Он спустился во внутренний дворик и постучал в окно Франческо, так как все звонки оказались оборванными. Никто не откликнулся. Он толкнул ногой дверь и увидел мертвецки пьяного Франческо. Все попытки привести его в чувство были безуспешны: Франческо только рычал и ворочался с боку на бок.

Бейль подумал, что дом ограблен. Но все было цело. Вскрыт был письменный стол, исчезла папка со стихотворениями Россетти и Берше. Эти два итальянских свободолюбца давали ему свои рукописи, в сотнях списков ходившие по Италии, и распеваемые по городам стихи. Бейль не сразу мог заснуть, испытывая чувство невыносимого отвращения. Он долго ходил по комнате, потом вышел на улицу и направился к Марончелли.

Разбудив поэта, он рассказал ему о происшедшем и просил совета. Марончелли развел руками и сказал, что в таких случаях трудно что-нибудь предусмотреть.

— Вряд ли полиция особенно обогатится, получив новый список стихотворений Россетти. Я думаю, что у любого испанского легата, у любого кардинала есть коллекция таких произведений.

Потом Марончелли стал рассказывать о Байроне. Он видел его недавно в Венеции, около дворца Кадоро. Вылезши из верхнего окна, Байрон повис, держась левой рукой за мраморный карниз, и, улучив минуту, как кошка, прыгнул в канал.

— Все считали его погибшим,— сказал Марончелли,— и только стоявший поблизости гондольер нас успокоил: «Этот англичанин — рыба: он не может утонуть». Через два часа Буратти видел Байрона подплывающим к острову Лидо, а потом пловец ходил по берегу и, не раздеваясь, сушил под морским ветром и солнцем свою одежду.

— Чем был вызван этот поступок? — спросил Бейль Марончелли.

— Для Байрона вообще характерно бесцельно рисковать собой. Не думаю, чтоб этот прыжок был обусловлен какой-нибудь необходимостью.

— Простите мне смелость суждения, дорогой друг, но мне думается, что Байрон гораздо более итальянец, чем англичанин, что это стремление к риску и отвага в нем соответствуют тем свойствам итальянцев, о которых писал Альфиери. Недаром Байрон так любит его слова:

«Человеческое растение в Италии родится неизмеримо более сильным, чем где-либо на земле, а жесточайшие преступления, совершаемые в Италии, только подтверждают эту истину». Байрон походит на ваших старинных кондотьеров и на многих ваших современников. Я глубоко убежден, что итальянец, независимо от происхождения, обладает лучшими свойствами человеческой породы. Вот почему Байрон так загостился в Италии. Римский воздух делает его романтиком. Классические вкусы людей вчерашнего дня мгновенно налагают тень тоски на его лицо. Смотрите, как вооружилась классическая Англия против Байрона. Позорная статья Anti-Jacobin [1] предлагает четвертовать поэта, ибо он «опаснее Робеспьера». А «Эдинбургское обозрение» в ядовитой статье, написанной анонимно полновластным министром Брумом, допускает позорное издевательство над Байроном и доходит до площадной ругани. Я, как защитник романтизма, еще вернусь когда-нибудь в Англию, чтобы заткнуть эту зловонную нору английского консерватизма.

— Да, да, вы совершенно правы. Заметьте только, что Байрон так скомпрометировал себя в глазах Европы, что ему уже нельзя появиться на севере. С ним еще церемонятся, пока не напечатано королевское обличение. Уго Фосколо писал недавно в письме к Сильвио, которому он поручил свою библиотеку и рукописи, что в Лондоне известен памфлет Георга IV на английского лорда-поэта. После этого Байрону несдобровать. Что касается его связи с Италией, то тут вы особенно правы. Я видел, как приехавшие с юга товарищи, люди простые, отнеслись к нему горячо и как Байрон их принял, совершенно забыв, что

---

[1] Антиякобинец *(англ.)*.

он — прославленный поэт, и, что страннее всего, забыв, что он — английский лорд.

— Невероятный случай! — иронически отозвался Бейль.

Марончелли посмотрел на него неодобрительно и резко заметил Бейлю:

— Я должен вам сказать, что девятнадцать ваших товарищей имели суждение о том, что вы последнее время их не осведомляете о своей работе. Говорили прямо, что вы — карбонарий в собственных глазах, но для них вы — любопытствующий путешественник, — не более.

Бейль покраснел и отвернулся.

Марончелли продолжал:

— Вот вы часто бываете у Висконтини, но вы должны знать, что она — атеистка, так же как ее друг — Фосколо. Нам это не годится. Италия — страна религии. Отнимать у народа веру, пока он несчастлив, мы не можем.

— Да, но пока существует внутренний и внешний гнет религии, народ не будет счастлив. Неизвестно, что обусловливает счастье. Я не выдавал себя за фанатика либеральной партии и теперь менее, чем когда-либо, могу быть фанатиком чьих-либо убеждений.

— Тем не менее, чтобы прекратить толки, вам необходимо будет выехать в Неаполь и получить сведения о событиях в Мадриде. Надо все проверить, так как рассказывают фантастические вещи о Фердинанде Седьмом. Он окружил себя камарильей. Водовоз Кольядо, ростовщик и спекулянт Угартэ, два проворовавшихся каноника, Остолаца и Эскойкиз, папский нунций — известный вор Гравинэ и, наконец, — русский посланник Татищев фактически управляют Пиренейским полуостровом. Население напугано до предела; министры сменяются каждую неделю; в этом году самый длительный срок министерских полномочий — двадцать семь дней. Министр Маканец был арестован самим королем в собственном доме, и даже министр полиции Эчаварри не избег тюрьмы. После веселой пирушки во дворце с королем, вернувшись домой, он нашел приказ о своем аресте. И сам должен был идти в камеру, причем начальник тюрьмы отказывался его запирать. Это какой-то сумасшедший дом! Вице-губернаторы важнейших городов Испании получили приказ расстрелять генерал-капитанов и самим занять их должности. А когда все до одного отказались это исполнить, то король заявил,

что приказ был ложный и что подделана королевская подпись. Нарядили следствие. Оно нашло писца, изготовившего этот приказ. Король для вида приказал его повесить, но в действительности выдал ему четыре тысячи золотых и обеспечил побег. Камарилья намеревалась усилить испанский флот русскими кораблями. Ближе не нашли. Из девяти купленных у России судов только одно оказалось пригодным; восемь затонули в пути. Разбогател Татищев, и Фердинанд использовал эти деньги так же. Король, обворовывающий свою страну и боящийся своих министров, — это ли не замечательное зрелище? В Испании в войсках — наши братья. Офицер Рафаэль Риего приезжает в Неаполь. Вам надо с ним увидеться. Единственная задача — это установить одновременность действий: на Пиренеях — против Фердинанда, на Апеннинах — против Австрии. Вы понимаете, что только при этих условиях международная полиция, «Священный союз», сидящий в Вене, с Меттернихом во главе, не успеет обрушиться на революцию, какую мы готовим. В противном случае нас поодиночке загрызут бурбонские и габсбургские своры. Вы ведь чувствуете, что королевские гнезда в Европе превращаются в гнезда ос, вылетающих и жалящих народы, отказывающиеся их кормить. Заметьте, что их дворня разбежалась, что их большие семьи все меньше и меньше обеспечены. Даже такие аристократы, как Байрон, качнулись в сторону революции. Наше дело обеспечено. Нас ждет несомненный успех.

— Если бы вы не делали вступления, все остальное было бы прекрасно, — сказал Бейль. — Двух вещей я не хочу понять: во-первых, вашего стремления видеть во мне законченного карбонария, — уверяю вас, что таким я никогда не буду, — и во-вторых — это я считаю самым существенным — вашей защиты религии. Религия не только не нужна, но она вредна и опасна человечеству. Сильвио с жаром говорит о священниках-карбонариях. Я глубоко убежден, что священник-карбонарий для человечества гораздо опаснее католика-роялиста. Священник порядочный, священник честный в тысячу раз хуже развратного монаха, монаха-взяточника, монаха королевского духовника. Я боюсь, что, когда настанет момент решительных действий, в вашей среде обнаружится трещина, которая вызовет распад карбонаризма. Французский Конвент тысяча семьсот девяносто третьего года через немного лет будет

казаться очагом подлинного героизма. Он помешал иностранным полчищам прийти и расположиться лагерем на высотах Монмартра. Знайте, то был якобинский Конвент. Я был ребенком, когда началась защита республики. Мне хотелось бы видеть якобинскую четкость в работе верховной венты. А сейчас позвольте мне остаться преданным скептиком, исследователем человеческих характеров. Я еду в Неаполь вовсе не в результате вашего поучения. Желаю вам поскорее надеть рясу.

И, не прощаясь, Бейль вышел от Марончелли.

После ухода Бейля Марончелли написал коротенькую записку Конфалоньери с извещением о том, что «статуя Альцеста, повидимому, будет поставлена в Неаполитанском музее в день карнавала, который начнется 12 января». *Альцест* — это было имя Бейля.

Выйдя от Марончелли, Бейль встретил полковника Скотти и в ответ на приглашение взять утреннюю ванну на Корсо сказал, что он уезжает повеселиться на неаполитанском карнавале.

Подходя к дому, Бейль увидел скучающего человека, стоящего у самого входа. Неизвестный, взглянув на Бейля, зевнул, вынул часы и быстрыми шагами свернул за угол.

«Все это — нехорошие признаки», — подумал Бейль.

Поднявшись к себе наверх, он нашел у себя в комнате старого знакомца — Оливьери.

— Кажется, никогда ты не был мне так необходим, как теперь, — сказал Бейль и потом вдруг остановился. — Однако откуда ты и чем ты занят?

— У меня табачная лавочка во Флоренции. Здесь я по делу. И совершенно случайно узнал от одной знакомой, что синьор в Милане. Найти вас после этого было уже не трудно.

— Да, но как ты уцелел тогда, во время разгрома Вильны?

— Я бросил кофейню и вместе с Ринаделли бежал, как только пришло известие об отречении императора.

— А что ты здесь делаешь? Ах да, у тебя табачная лавочка во Флоренции. Ну так вот — спрошу тебя прямо: как к тебе относится австрийская полиция?

— Если синьору нужен паспорт — я могу раздобыть.

— Однако ты нисколько не изменился.

— О нет, синьор, в этом вы не правы. Я прошел четыре академии и двенадцать университетов. Я теперь самый

образованный человек во всей Ломбардо-Венецианской области.

— Ну, а как твоя торговля?

— Знаете ли, синьор, я вообще хороший коммерсант. Шесть дней в неделю я торгую в убыток, а по воскресеньям, когда не торгую, бываю богат.

Бейль посмотрел угрюмо. Разговор стал слишком откровенным и приблизился к такому пункту, от которого оба собеседника захотели повернуть обратно. Но было уже поздно. Бейль принял рассеянный вид, смотря в окно, а Оливьери демонически улыбался, смотря на Бейля. Наступило неловкое молчание. Наконец, Оливьери, более решительный, чем его собеседник, решил разрубить узел.

— Ну, скажите ж, синьор, для каких целей вам мог бы пригодиться старый слуга? Мне легко возобновить знакомство с хорошенькими горничными первых красавиц Милана. А ежели сердце синьора тоскует по другой, то назовите только. Сейчас у многих французов одна любовница — синьора Паспортина. Это стоит гораздо дороже, но сделать можно.

Бейль овладел собою и сказал:

— Ни в том, ни в другом я в настоящее время не нуждаюсь. Но, понимаешь ли: Франческо, мой слуга, которого ты помнишь, совершенно спился. Вчера воры проникли ко мне в комнату, а я не мог его разбудить. Мне нужно заменить его кем-нибудь.

— Ну что же, я к вашим услугам, синьор.

— Ты сам? А как же твоя лавочка?

— Я, кажется, получу патент на торговлю в Милане.

— Вот как! Но что же за торговля при службе у меня?

— Я возьму компаньона.

— Это дело. Постарайся сделать это в декабре, так как январь мне хочется провести в Неаполе.

— Вот уж этого не советую вам делать, синьор. Не нужно ехать вам в Неаполь. Повеселиться вы можете лучше всего на карнавале в Болонье. Послушайте доброго совета — поезжайте туда скорее.

После бессонной ночи голова кружилась у Бейля. Условившись с Оливьери, что тот вернется через неделю, Бейль прилег и заснул. Двухчасовой сон освежил его. Он пошел на почту, получил письма из Парижа. Некий *Мезонетт* писал ему длинные рассуждения на тему о француз-

ской политике, сопровождая эти рассуждения едкими выпадами по адресу некоего Стендаля, от которого он, Мезонетт, получает письма с характеристиками миланских властей и политических настроений Италии. Особенное удовольствие Бейлю доставили строчки, в которых Мезонетт осмеивает «дюкоманию» Стендаля, стендалевское пристрастие к титулам и злоупотребление герцогами и герцогинями в обозначении своих знакомых. «Лингаи остался себе верен, — думал Бейль, — хотя он и подписывается теперь в письмах Мезонеттом». Письмо заканчивалось сообщением, что «его величество напрасно считает себя воссевшим на престол своих предков, так как он сидит на престоле Бонапарта, и если Наполеон вернется в Тюильри, то единственно, что ему нужно будет захватить с собой, — это собственный ночной колпак. Все остальные глупости монархии остались неприкосновенными». «Однако это неосторожная фраза», — подумал Бейль и стал читать второе письмо.

Это было сообщение из Гренобля. Отец отказывал ему в высылке каких-либо денег, кроме процентов с материнского наследства. Денежные дела, таким образом, получили неожиданно плохой оборот. Интендантская пенсия была ничтожна. Правда, книга барона Стендаля доставила неожиданную помощь. «Жизнь Гайдна» господина Бомбэ тоже во втором издании принесла немалые доходы, но господин М. Б. А. А. отказывался что-либо платить за «Историю живописи в Италии». Из трех содержащих миланского гражданина Бейля писателей ни один пока не обеспечивал литературного заработка.

Месяц спустя, в Болонье, посещая балы и маскарады, веселясь, как только можно, Бейль через посредство своего нового спутника и слуги Оливьери узнавал стоимость болонских имений, цены на хлеб, на вино, лихорадочно справлялся о процентах на капиталы, и Оливьери, как мудрый Фигаро, всячески старался поправить пошатнувшиеся денежные дела барона Стендаля, ставшего графом Альмавивой в изгнании.

Наконец, этот африканский делец с корсиканским авантюристом вызвали насмешки знатоков двойной итальянской бухгалтерии, родиной которой была Болонья. А кроме того, самому Бейлю надоела денежная горячка. После неудачного опыта он выехал в Неаполь. И Болонья и неаполитанская дорога не развеяли его тяжелых мыслей.

Он *ловил себя на мысли,* что *практические дела не удались и что он* охладел к целому ряду повседневных практических интересов *только потому,* что им владело одно постоянное мучительное стремление: быть в одном городе, в одном доме, в одной комнате с самым пленительным существом, которое он только знал на земле, — с Метильдой Висконтини. За зеленым столом в игорном доме, в Болонье, где человек тридцать собрались на «фараон», полковник Скотти произнес ее имя. И карты, как легкий пух, полетели на ковер из рук Бейля. Он сам не ожидал такой впечатлительности. Были минуты, когда к горлу подступали какие-то спазмы; когда темы разговора были самыми далекими, он быстро вставал, отходил к окну, произносил незначительные слова, и нужны были колоссальные усилия воли, *чтобы подавить неожиданное восстание чувств.*

Легкомыслие, грубость и циническая легкость, которые он развивал в себе годами, чтобы ими заслониться, как толстой роговой оболочкой, от жестокостей действительности, — все это вдруг исчезло, перестало предохранять, сделалось ненужным. И, как в первые дни после приезда в Париж из России, он чувствовал себя омытым волнами нового, небывалого бытия.

Отъезд в Неаполь был уже решенным делом. Непринужденность, или, как говорили итальянцы, desinvoltura, общества Болоньи настолько привязала Бейля, что лишь с большой неохотой он собрался ехать. Перед самым отъездом зашел на почту случайно, скорее в силу какого-то неожиданного толчка, чем по надобности. Почтальон, вопреки ожиданиям Бейля, протянул ему в окошко целую пачку писем. Это были залежавшиеся, долго его искавшие сообщения родственников и знакомых о смерти старого Керубина.

Бейль вышел с почты, не чувствуя ни грусти, ни огорчения. Отец никого не любил и делал все, чтобы разрушить сыновние чувства. Надо ехать в Гренобль, как этого требует Полина.

Вторая сестра Зинаида — тоже написала несколько строк, первый раз за много лет. Это отвратительная ханжа, целиком повторившая характер тетки Серафимы. Она убеждает его не приезжать, заявляя, что Полину и без него никто не обидит. Именно поэтому и надо ехать. Но как быть с Неаполем? Навестить соседа карбонария... и дело улажено. Давно бы нужно было это знать. Прика-

зано отправиться в Неаполь одному Оливьери. «Вот как? Значит, его появление в Милане было не случайным? Тем лучше, пусть едет. Он выполнит все скорее меня, — думал Бейль. — Я же никогда не был пригоден для серьезной работы такого свойства».

Придя в номер гостиницы, Бейль увидел Оливьери готовым к отъезду.

— Извините, синьор, если я поторопился: мальпост едет через час, и я уже знаю, что мне надо с вами расстаться.

Оставшись один, Бейль навел справки и узнал, что северная почта уходит на другой день.

Вечером в Болонье давал концерт скрипач Паганини. Нельзя упускать такого случая. Остались только самые дорогие билеты. Бейль сидел во втором ряду и ждал начала концерта. Огромные люстры освещали шумящий зал. Ликующая, веселая толпа пестро одетых людей гудела и говорила, смеялась, словно забыв о концерте. Но вот все стихло, когда на эстраде появился человек маленького роста, с огромной шапкой волос, с бледным лицом, огромными глазами и неприятной, совершенно обезьяньей челюстью. Это был Паганини. Шепот удивления пробежал по залу при виде его одежды. Он был в форме офицера свиты принцессы Летиции Бонапарт. Золотые пчелы вышиты на обшлагах и воротнике. Белый газовый галстук, красиво повязанный на горле, слегка выступал в разрезе огромного стоячего ворота. Кто-то крикнул с верхней галереи: «Долой ливрею лакея!» Паганини спокойно вскинул глазами, поднял смычок, но, зацепив пюпитр, уронил ноты. После этого, не смутившись, он резко повернулся спиной к аккомпаниатору, ударил смычком по струнам и стал играть, не глядя в ноты.

Он играл «Дьявольские трели» Тартини. Весь ад и весь рай, жившие в душе этого человека, передавала безумная сладкая музыка. Черные глаза, как расплавленный металл, выливали потоки огня в зал, затаивший дыхание, и целые снопы звуков, чистых, пенящихся, как брызги, горячих, как искры, совершенно заворожили застывшую толпу. Не дав опомниться никому, скрипач перешел сразу к своим «Каприччио», ударяя по воображению публики и властно заражая ее чудесами своей фантастической музыки. Порою казалось, что зал наполнен скрипачами — четыре, пять, десятки скрипок звучали повсюду, и вдруг

сразу обрывались музыкальные звуки, начинались шумы, стук, плачущие пиччикато. Потом все это смеялось кантиленой — ровной, спокойной, плавной, бесконечно широкой рекой звуков.

И вдруг — внезапное стаккато: смычок описал в воздухе дугу высоко над головой скрипача, как сабля в руке полководца, и тонкая старинная гварнериевская скрипка повисла на левой руке музыканта.

На бешеные крики, рукоплескания, шумы и вопли восхищенной толпы Паганини ответил кивком головы и ушел с эстрады.

Концерт продолжался до поздней ночи.

Выходя на площадь, Бейль услышал в разговоре фамилию Висконтини. Относились ли слова говоривших к Метильде, или нет — он не знал. Но взволновался страшно желанием как можно скорее ее увидеть. Утром он думал только о том, чтобы ускорить отъезд дилижанса. И, выезжая из Болоньи, вовсе не думал о Франции, а всю дорогу рисовал себе картину, как он всходит по лестнице на площади Бельджойозо. Для того чтобы спастись от мучительных чувств, он стал записывать наблюдения над самим собою. Он чувствовал себя совершенно больным и старался с точностью описать симптомы этой болезни.

Он сделал заголовок: *«Я стараюсь дать себе отчет в той страсти, все искренние проявления которой носят печать красоты»*.

Он брал самого себя и свое состояние как живую реальность, нуждающуюся в объяснении, как врач, считающий свою собственную болезнь неизбежной, и как ученый, нашедший интереснейшую рукопись, над чтением которой, увлекательным и странным, он должен много трудиться. Это умение смотреть на себя со стороны ослабило испытываемую боль. Он с величайшим любопытством наблюдал, как надежда чередуется в нем с сомнением.

До сих пор он не знал, как относится к нему Метильда.

Чем больше доверия оказывала она ему, тем менее он чувствовал себя в силах сказать ей, до какой степени она стала ему дорога. В минуту наиболее непринужденной беседы он внезапно терялся и должен был придумывать всякие предлоги, чтобы покинуть гостиную Метильды.

Смелость овладевала им лишь тогда, когда кто-либо из знакомых подходил к ней и говорил с ней долго или когда ненавистная Бейлю маркиза Траверси делала все, чтобы

прерывать разговор его с Метильдой. Каждый раз, получив разрешение проводить Метильду из театра, он останавливался перед домом Траверси, куда входила Метильда, и отказывался войти с нею. И так как он не скрывал своего чувства к Траверси, то его собственное чувство к Метильде понемногу проступало наружу. Быть может, то обстоятельство, что семья Траверси дала деньги на издание «Писем Якопо Ортиса» и самому автору, Уго Фосколо, помогала периодически возвращаться в Италию, повлияло на настроение Бейля. Но во всяком случае в этом безотчетном чувстве проступает глухая, неосознанная ревность к Фосколо. Когда Метильда рассказывает о молодом безумце из армии Бонапарта, об этом герое с поэтической гривой огнистых волос над белым лбом, не называя имени юноши и не глядя на Бейля, Бейль чувствует себя, как на раскаленной бороне в застенках инквизиции. Но Метильда говорит это без всякой заботы: она так далека от мысли о страдающем Бейле, что даже не замечает его горящего взгляда из угла комнаты, где он, совершенно потерявшись и нахохлившись, как мокрая птица, сидит и молча смотрит на нее.

Несколько записок с приглашением участвовать в загородной прогулке, написанных рукою Метильды, были зашиты Бейлем в жилете. Он никогда не расставался с этими дорогими письменами. И сейчас, в мальпосте, он нащупывает их под шелком, как доказательство того, что он живет, а не грезит, что он едет в Милан, а не спит.

Бейль писал:

«Тщеславные люди, даже обладая умом, допускают ошибки, утверждая, что они были всегда выше сердечных слабостей. Серьезные особы, пользующиеся в свете славой людей благоразумных и нисколько не романтических, гораздо скорее поймут самый безудержный роман, чем такую книгу, в которой автор попытался бы холодно описать различные фазисы душевной болезни, называемой любовью. Но все дело в том, что нет людей, избавленных от этой болезни, нет руководства к избавлению от этой болезни, нет иного лекарства, как заболеть до конца».

Эти размышления облегчали ему дорогу до Милана. Минутами образ Метильды, ее глаза, ее голос воскресали перед ним с такой реальной живостью, что он чувствовал

головокружение. Мгновение спустя, чтобы не привскочить от боли, он силился описать свое состояние. Толчки в мальпосте, качанье рессор и легкое всхрапывание соседа мешали ему водить свинцовым карандашом по бумаге. Но чем больше препятствий, тем было лучше. Он исписал все театральные афиши и концертные программы, бывшие у него под рукою. На остановках, за чашкой кофе, писать не хотелось. В Парме, пересаживаясь на другой дилижанс, он имел свободных два часа. Башня Фарнезе, тихие улицы спокойного и красивого города, ставшего убежищем Марии Луизы, дочери императора Франца и жены сосланного Наполеона, — все это дало минутное забвение, отвлекло его от нетерпеливой страстности, заставлявшей на каждой остановке глядеть на часы.

Старый каноник из карбонариев, настроенный на вольтеровский лад, веселый и остроумный, был его спутником по улицам Пармы. Старик рассказывал историю герцогства, прогуливаясь с Бейлем по Виале-Ментана. Он называл Парму с ее замкнутым горизонтом Пармской обителью — «Чертоза ди Парма». Это название очень понравилось Бейлю, но опять, слушая рассказы каноника, с наслаждением вдыхая запах ментанских фиалок и любуясь всеми вещами, приобретавшими золотистый оттенок в воздухе, пропитанном пылью цветущих ирисов, он возвращался к мысли о Метильде, воображал ее владелицей этого маленького города. Ему казалось, что этот город мог быть местом прекрасной истории Метильды и барона Стендаля. Ему рисовались контуры большой исторической хроники, где Метильда выступает в качестве героини под именем герцогини Сансеверина и где он сам является министром Пармского герцогства, под именем... ну, хотя бы под именем графа *Моска,* в память своего *московского* похода.

Когда работает творческое воображение художника с большим характером, то личные чувства превращаются в материал и теряют значительную долю своей остроты. Такую минуту освобождения от подавляющего наплыва чувств неразделенной страсти Бейль испытал однажды во время прогулки по улицам Пармы со своим старым другом.

Остановившись на берегу около Сен-Джервазио, каноник, по просьбе Бейля, справился о времени. Было два часа пополудни. Через час отправлялся мальпост. Слушая

звон английского брегета в руках каноника, Бейль был поражен формой английских часов. Совершенно такие же часы он, как новинку, увидел на секретере Метильды Висконтини, когда последний раз был у нее. Эти часы, несомненно, из Англии. «Кто у Метильды в Англии, кроме Фосколо? — Никого!» Почти шатаясь от сверлящей боли, он простился с каноником с поспешностью, которая граничила с невежливостью. Он чувствовал, что земля уходит из-под ног, растерянно водил рукою по волосам, сняв цилиндр, и несколько раз сбивался с дороги. В таком состоянии он приехал в Милан.

На площади Бельджойозо он овладел собою, но все еще был как во сне. Он не сразу поверил своим ушам, когда Людовик, не докладывая, сказал, что его ждут. Войдя в гостиную, он увидел Метильду в обществе двадцати человек, оживленно говоривших и радушно его встретивших. Метильда, улыбаясь, протянула ему руку, сидя в шелковом кресле. Она была одета в светлое платье с огромными цветами и казалась восемнадцатилетней девушкой. Она была до такой степени хороша, так приветлива, что Бейль едва сдерживал волнение после своих дорожных настроений при этой встрече. Им овладел приступ бурной веселости, которую подавить было гораздо легче, нежели горе. Он сделался остроумным, веселым собеседником и через четверть часа уже овладел вниманием небольшой гостиной. Метильда знала о его приезде: она утром посылала за ним Людовика с приглашением провести у нее вечер, которым она и друзья провожают графа Порро, уезжающего за границу. Двое детей графа остаются на попечении Сильвио Пеллико.

— Чем вызван внезапный отъезд графа Порро? — спросил Бейль, ни к кому не обращаясь.

— Он не внезапный, но в Швейцарии мне необходимо видеть друзей для улаживания моих дел, — ответил граф уклончиво. — Я надеюсь, что вы, синьор Бейль, примете участие в том журнале, который издает Конфалоньери, где секретарем состоит Сильвио, а сотрудниками — ваши друзья, работающие над делом освобождения Италии.

— Не скрою от вас, что под псевдонимом «Альцест» я уже давно пишу в нашем «Кончилиаторе». *Я только что из Болоньи, где нет человека, сердце которого не отзывалось бы на статьи этого журнала.*

— Тем лучше, тем лучше, — ответил Порро. — Когда у вас будут какие-нибудь затруднения, обратитесь к Романьези. Это очень осведомленный человек, он всегда может дать разумный совет.

В середине разговора вбежал Борсиери и стал рассказывать, перебивая всех, о том, что с ним произошло.

Он ходил по саду, когда вдруг через забор, падая и цепляясь, перелез человек и, оттолкнувшись от стены, упал на цветочную клумбу.

— Я подбежал к нему, — продолжал Борсиери, — думая, что он разбился насмерть. Но он лишь слегка поломал розовые кусты и оцарапал себе щеку. Он умолял спасти его. Я думал, что это карбонарий. Но он не отвечал ни на один знак. И вот у меня сложилось впечатление, что это сумасшедший. Несколько часов назад он, задыхаясь и перебивая самого себя, рассказал мне, что он герцог Нормандский, автор известных вам стихов...

— Герцог Нормандский?! — воскликнули все с ужасом. — Борсиери, вам несдобровать. Вы знаете, что это за фигура. Помните два памфлета по адресу Людовика Восемнадцатого? Герцог Нормандский — это бежавший сын казненного французского короля. Одни говорили, что он умер в тюрьме; другие рассказывали о его переписке с русским царем, который, в обход законного дофина, возведя на престол его дядю, брата Людовика Шестнадцатого, назвал короля Людовиком Восемнадцатым. Герцог Нормандский есть Людовик Семнадцатый, никогда не царствовавший.

— Все это вздор, — сказал Конфалоньери. — Я был в Париже, когда какой-то самозванец создал первую версию этой легенды. Я полагаю, что это опасный провокатор, подосланный к Борсиери полицией. Необходимо обратиться в префектуру и сдать ей ее собственное детище.

Борсиери вспыхнул от негодования.

— Как, вы хотите, чтобы я выдал человека, нашедшего у меня приют? Наоборот, я хочу просить графа Порро, чтобы он, дав беглецу паспорт одного из своих слуг, позволил ему скрыться за границу.

— Ни за что! — отрезал Порро.

— В таком случае, я прошу моего дорогого Арриго спрятать его хотя бы на одну ночь.

— Ты слишком мало меня знаешь, если считаешь способным заслонить моею спиною такое солнце, как

французский король. Я скорее провозглашу тебя императором Нью-Йорка, чем соглашусь дать приют этому «королю Франции».

— Но поймите мое положение: двое развязных молодых людей, посвистывая и сплевывая, целые дни ходят под моими окнами. Куда мне деваться от этой чертовщины?

— Пойми же и ты меня. У меня умер отец. Я еду во Францию не далее как завтра. Я остановился в Милане только для того, чтобы проститься с друзьями, — сказал Бейль.

Все принялись живо обсуждать положение Борсиери.

Во время разговора Висконтини встала и, идя в другой угол комнаты, сказала Бейлю:

— Примите мое соболезнование, друг. И возвращайтесь скорее.

Весь мир наполнился звуками. Все запело и заговорило в душе Бейля. Это была лучшая минута вечера. Он решил немедленно уйти, боясь потерять золотую крупинку внезапного счастья.

В вестибюле, уже совсем выходя на лестницу, он услышал голос Метильды за портьерой:

— Бейль — любезный и умный собеседник. Но почему он не кажется мне таким, когда я вижу его вне общества?

Крупные капли дождя на улице вполне соответствовали характеру тех переживаний, какие испытывал Бейль под влиянием внезапной перемены настроений. Слова Метильды, обращенные к нему, дали ему какую-то надежду, а то, что он услышал в вестибюле, вновь спускало его с неба на землю.

Когда северный мальпост увозил Бейля в компании довольно скучных попутчиков, старший прокурор и начальник тайной полиции Сальвоти сидел с молодым человеком в управлении.

Молодой француз, сидевший перед ним, рассказывал о своем неудачном переодевании в страдальческие одежды герцога Нормандского.

— Представьте себе, господин прокурор, — обращался он к Сальвоти, — этого болвана Борсиери, который тает от всякого красивого двустишья; он, развесив уши при моем рассказе, забыл о карбонарских друзьях и, прямо как осел, обратился к французу Бейлю с просьбой помочь его соотечественнику, наследнику — принцу Людовику Семнадцатому, неудачливому французскому королю. Этот

ловкий якобинец отбрил его сразу. Французам невыгодно верить в Людовика Семнадцатого. Уже третий принц прикрывается этим именем. Я думаю, что итальянцам тоже не понравится возиться с герцогом Нормандским. Не слишком ли много в Италии безработных герцогов?

— Тише, тише, друг мой. Вас не спрашивают о политике. Получайте половину того, что обещано вам при удаче, и занесите вот эту записку к Романьези.

Записка была анонимная. Романьези, карбонарий, приходился племянником австрийскому прокурору, тайному иезуиту — Сальвоти. Он ненавидел своего дядю. Дядя, догадываясь о карбонаризме племянника, выискивал способы овладеть его секретами. Обволакивая молодого Романьези густым и липким слоем грязной интриги, он любовался тем, как молодой человек месяц за месяцем таял, тратя силы в борьбе с неизвестными врагами.

Записка, адресованная ему, на этот раз гласила следующее:

«Ваш лучший друг, миланец Арриго Бейль, нынче днем выехал с северным мальпостом во Францию, для того чтобы сообщить французской полиции имена всех, кто замышляет свержение Людовика XVIII. Будьте осторожны во имя свободы Италии».

Показанная друзьям, эта записка не произвела впечатления. Но Романьези сильно взволновался. Сальвоти торжествовал, чувствуя, что этот, повидимому, неопасный, но слишком острый на язык француз, проживающий в Милане, или не вернется вовсе, или найдет двери миланских домов перед собою закрытыми.

Глава двадцать четвертая

Случилось последнее. Вернувшись из Гренобля, Анри Бейль не без ужаса, сменившего недоумение, заметил, что многие итальянские друзья с рассеянным видом переходят на другую сторону улицы, как только заметят его на тротуаре. Короткие и отрывистые ответы, растерянные и непрямые взгляды. Только Метильда приняла его хорошо и дружески-доверчиво. Ей он рассказал о том, что мучило его в этот приезд, и только она поняла его с полуслова.

Через месяц Романьези пустил себе пулю в висок.

После этого случая многие вернули свое доверие Бейлю.

Метильда вызвала его и долго с ним говорила. Она, на свой страх и риск, беседовала с синьором Федериго Конфалоньери. Она передала Бейлю просто, по-дружески откровенное мнение о нем вождя ломбардских карбонариев. Федериго сказал: «Я считаю Бейля единственным французом, отдавшим себя делу итальянской свободы. Не его вина, если французы, отдавая себя целиком, все же дают слишком мало».

— Это меня успокаивает, — сказал Бейль. — Но меня бесит то, что я целиком согласен с отзывом Конфалоньери о французах. Мне тем более досадно, что я все меньше и меньше чувствую себя французом.

— Друг мой! Но вы достаточно хорошо себя знаете. Вы знаете, что для вас Франция перестала быть родиной, а Италия не сделалась ею. Я знаю людей, которые теряли все ради Италии.

Бейль думал о том, до какой степени права его собеседница, но пытался возразить:

— Я считаю родиной всякую страну, живущую с такой бурной энергией, как Италия. Я считаю родиной всякую страну, в которой кипят живые страсти и борьба.

— Да, но вы любуетесь ею как наблюдатель.

— Это лучше, чем говорить о свободе с любовницами, — ответил Бейль.

Метильда вспыхнула.

— Если бы этого однажды не сказал Бонапарт, то ваши слова были бы страшной дерзостью.

— Я не хочу укрываться чьим бы то ни было авторитетом. Разрешите мне нести ответственность за мои слова.

— В таком случае, дайте мне подумать. Я прошу вас не являться ко мне до тех пор, пока я сама вас не позову.

Бейль встал. Страшное волнение его охватило. Он старался говорить спокойно и не мог. Он чувствовал, что еще минута, и он станет смешным со своим прерывающимся голосом человека, умоляющего о пощаде. Он сказал только внятно и твердо, что в ее присутствии, и только в ее присутствии, в нем пробуждаются лучшие чувства и благороднейшие мысли, что она вполне может ему довериться как другу, что он никогда не понимал своей роли около нее как роли ловеласа, что...

Он остановился потому, что Висконтини робко и боязливо, с испугом в глазах подняла руку, как бы инстинктивно боясь произнесения каких-то ненужных слов. Бейль вышел. Все чаще и чаще его охватывала мысль, что он постепенно приближался к сердцу Метильды только для того, чтобы, подойдя совсем близко, увидеть непроходимую пропасть, лежащую между ними.

Вечером, при свете уличных фонарей, он зашел в маленькое кафе на берегу Олоны и развернул газету. Молодая девушка, проходя мимо, задела бедром трость, лежавшую на мраморном столике, быстро наклонилась и, поднимая ее, с испуганной улыбкой попросила извинения у Бейля. Черные глаза, необычайно горячие, ровные зубы и улыбка, одновременно мягкая, робкая и веселая, остановили внимание Бейля. Он оторвался от газеты, кивнул головою девушке и стал наблюдать за нею.

Развернув носовой платок, она считала медные деньги.

Лицо ее стало грустным. Она качнула головой, завернула платок и направилась к выходу.

— Что же так быстро? — спросил Бейль.

— Я раздумала, — ответила девушка.

— Никогда не нужно раздумывать в таких случаях, — сказал Бейль. — Садитесь со мной и скажите, как вас зовут.

— Меня зовут Цанце. Я — кружевница.

Бейль предложил ей поужинать. Она охотно согласилась, и тут только Бейль заметил, до какой степени она голодна. Руки тряслись у нее от слабости, когда она подносила чашку кофе к губам. Тем не менее она без умолку болтала, рассказывая о своей матери, коридорной прислуге гостиницы, о тамошних гостях, говорила о том, что австрийские офицеры хорошо платят девушкам и что она не понимает, почему аристократы и буржуа ненавидят австрийцев, когда приходский священник проповедует полную покорность властям. Она заявила, что она честная христианка, и показала мятый старенький исповедальный билет с многочисленными регистрационными отметками священника. Вместе с тем она удивлялась, почему из простонародья никто не сидит в тюрьмах долго, в то время как достаточно человеку кончить университет или начитаться книг, чтобы тюремное заключение измерялось годами. Самое счастливое событие ее жизни — это зрелище проезда святейшего отца, римского папы, от края одежды

которого, от седых волос и голубых глаз исходило отпущение грехов. Второе счастливое событие — это австрийский офицер, подаривший ей пятьдесят лир.

— Он жил со мной целый год, потом его перевели, он уехал за Альпы и не написал мне ни слова. Куда же мы пойдем? — спросила девушка.

— Куда хочешь, — ответил Бейль.

При выходе из кофейни, на берегу Олоны, около дерева, крестьянин бил упиравшегося осла. Прохожий пытался уговорить его не мучить животное. Владелец осла ответил:

— Я не знал, что у моего осла есть родственники.

Милосердный прохожий парировал удар:

— Я не люблю, когда один осел бьет другого.

— Ты плохой хозяин или у тебя плохой хозяин.

После этих слов началась крупная ругань, собралась толпа. Погонщик пустил камнем в оскорбителя. Проходивший военный писарь загораживает дорогу и останавливает толпу. Камень, ударивший прохожего в затылок, заставляет раненого взяться за нож. Бейль пытается выбраться со своей спутницей из толпы, но дело принимает плохой оборот. В мгновенье ока владелец мула с ножом между лопатками падает под ноги Бейля. Ванце спокойно смотрит на происходящее. Военный писарь хватает убийцу и с удивлением замечает:

— Ты мастер своего дела: ни одной капли.

На это преступник отрывисто говорит:

— А разве ты, канцелярская крыса, пачкаешься своими перьями?

— Ну, теперь ему припаяют два года каторги, — говорит слесарь бакалейщику из соседней лавочки и громко зовет на помощь медленно идущего к месту происшествия полицейского.

Преступник спокойно вынимает трубку, набивает ее табаком и с величайшей важностью в ожидании ареста раскуривает, садясь на скамейку у дерева.

— Больше месяца не просижу. Помни, канцелярская крыса, что мой дядя — камердинер у кардинала-легата.

Бейль смотрел на этого красивого, рослого человека с нескрываемым удивлением. Крупные черты лица, большие, горячие, но спокойные глаза, и во всей фигуре полная уверенность в себе. Бейль подумал о громадном количестве нецелесообразно растраченной энергии людей, ко-

торым вменяется в преступление каждая прочитанная книга и которым прощают убийства после седьмой исповеди у какого-нибудь родственника из духовенства. Два поколения, воспитанных так, могут совершенно расслабить мускулатуру этой страны. Церковь и полиция в союзе занимаются медленным истреблением итальянского населения, превращением его в послушное орудие своей власти и эксплуатации.

Публика требовала переписи всех свидетелей.

— Синьор, дайте два байока вот этому крикуну, — сказала Цанце. — И поскорее уйдем! Самое интересное кончилось, а дальше может быть битая посуда.

Бейль последовал ее совету и, пробравшись сквозь толпу, вышел со своей спутницей.

В гостинице комнаты отделялись тонкими перегородками. Через стены все было слышно. Компания молодых людей, из которых двое, повидимому, были солдатами, вместе с уличными девушками пели под аккомпанемент двух гитар, роняли бутылки и шумели. Столик, покрытый зеленым сукном, две свечи, две кружки и бутылка красного вина без этикетки стояли перед Бейлем. Цанце сидела у окна и смотрела на улицу. Потом молча пошла за перегородку, разделась и легла в постель. Она заснула почти мгновенно. Бейль осторожно положил монету на ночной столик и вышел из гостиницы. Он чувствовал, что за эти несколько часов отдохнул. Крепкий кофе и бутылка красного вина разогнали сон. Он фланировал по улицам и, сам того не замечая, через час оказался на площади Бельджойозо. Это открытие его поразило. Если б он ехал на извозчике и случайно назвал эту площадь, то было бы понятно. Но как его собственные ноги занесли его сюда помимо воли, он не понимал.

«Неужели со мной начинаются истории, свойственные банальному роману?» — думал он. И, стыдясь самого себя, гулял под окнами Висконтини с рассеянным видом, запрещая себе смотреть на кружевные занавески, светящиеся изнутри палевым светом.

Поздно ночью свет погас, а Бейль все еще мерил шагами тротуар. Привратник, зевая и бранясь, впустил Чекину, горничную Метильды, которая с нежностью прощалась с молодым парикмахером, махавшим ей шляпой из-за угла. По улице громко отдавались эхом все голоса и звуки. Старик долго ворчал, запирая дверь. Чекина клялась и

божилась, что никогда не будет забывать своего ключа. Ночной патруль прошел по улице, проверяя документы прохожих. Молодой жандарм проницательно взглянул на Бейля голубыми глазами и холодно вернул ему французский паспорт с намеренно подчеркнутой медленностью. Через минуту двое солдат с шашками наголо провели арестованного, гремевшего ручными кандалами. Сворачивая в переулок, арестант три раза свистнул, а солдат ударил его шашкой плашмя. Когда конвоиры и арестованный скрылись за углом, в переулке открылась калитка; молодая женщина оглянулась по сторонам и побежала на середину мостовой. Она долго и внимательно осматривала камни и, наконец, подняв что-то, опрометью бросилась назад к калитке. После короткой ночи, на заре, потянулись обозы, гремя колесами; немного погодя начали оживать дома. Собственные шаги, нарушавшие тишину в темноте, уже раздавались мягче в ушах Бейля. Походка его сделалась усталой, медленной и менее осторожной. Через час после первых повозок, направлявшихся на рынок, открылась дверь дома Висконтини, и важный повар Джулио, с седыми бакенбардами и бритым подбородком, торжественной походкой отправился на рынок с мальчиком-поваренком. В эту минуту Джулио был единственным человеком в мире, которому Бейль завидовал. Этот счастливец через какой-нибудь час вернется, совершенно свободно и без доклада войдет в этот дом, будет ходить по комнатам, будет смотреть на Метильду и видеть ее.

— Это какой-то бог, это какой-то Юпитер, этот Джулио! Это самый счастливый из небожителей! — вслух говорил Бейль, идя по улице и радуясь тому, что его никто не слышит. — Ведь в сущности это и есть то счастье, которого я тщетно добиваюсь. Мне нужно только иметь возможность бывать в этом доме, и я буду жить, тогда я не умру!

Потом он стал ловить себя на мысли, что счастье, которым он владел еще так недавно, исчезло по его собственной вине. Он, вероятно, чем-нибудь спугнул эту редкостную птицу, называемую женским доверием. Но, с другой стороны, разве он все время не приносил жертв? «Разве я не поступал, как любовник, по приказу женщины утративший дар речи, заговоривший лишь через два года, когда она ему это разрешила? Она, несомненно, любит, и эта любовь мешает ей меня заметить. А между тем тот, кого

она любит, ее бросил. Этот изгнанник в ее глазах — подлинный герой. И то, что он нашел в себе силы ее оставить, в ее же глазах подтверждает этот героизм. Я причастен к небольшому кружку городских политиков Милана, я, конечно, не знаю и одной сотой доли той громадной освободительной работы, которую ведут эти люди хотя бы в войсках. Моя роль сводится к тому, что я получаю и передаю. Я никогда не просил большего. Я — обыкновенный *буржуа Бейль* — живу и вращаюсь среди этих людей. Я — наблюдающий *Стендаль,* я — итальянец *Сальвиати,* ведущий дневник, существо другой планеты, наблюдающее здешнюю жизнь. Метильда видит только Бейля и никогда не увидит никого другого во мне. Кто скажет ей о страданиях *Доминика,* о несметных богатствах *Стендаля,* владельца тысячи жизней?»

Час прощания наступил. Метильда держит свое слово, но сразу останавливает его восторги. Она говорит ему просто:

— Я знаю, что вы меня любите. Я думала об этом все время. Я знаю также, что нет человека, более мне преданного из всех умных людей, входящих в эту маленькую гостиную. Но я слишком много сил потратила на людей. Я не хочу новых разочарований. Я не могу бороться с обществом. Вы будете приходить не чаще двух раз в месяц, если хотите видеть меня одну, не вызывая никаких толков, требующих от меня объяснений.

— Но могу ли я писать вам?

— Если письма будут благоразумными. Помните: одно неосторожное слово — и два раза в месяц превратятся в два раза в год.

Бейль капитулировал.

Траверси, не считаясь с репутацией своей кузины, рассказывала трагедию разрыва Метильды Висконтини и Уго Фосколо. Это было в горной деревушке около Лаго-Маджиоре. Оседланная лошадь стояла у окна избушки. Фосколо с хлыстом в руке бежал к двери, уже простившись, Метильда, скинув платье и привлекая Фосколо к себе, обнимала его голою рукой за шею. В таком виде она появилась за дверью, когда он, прыгнув в седло, ударил хлыстом лошадь и быстро уехал.

— Во всякой женщине живет кокотка, — добавила к своему рассказу красноречивая сплетница.

«Вот — лучшая подруга Метильды, но сказать Метильде, предостеречь ее, сообщить ей эту сплетню столь же необходимо, как и низко. Бейль не решится на эту необходимую подлость, но он станет еще больше ненавидеть Траверси».

Метильда пожимает плечами, слыша яростные нападки Бейля на свою кузину. Взгляд ее становится холодным, она считает, что поведение Бейля оскорбительно для Траверси и, следовательно, бестактно в отношении Висконтини.

«Вот лишнее свидетельство того, что я своей прямолинейностью окончательно лишил себя благоразумия».

Проявление сильной страсти к Метильде одновременно вызвало в нем и восхищение и ненависть, при этом он ненавидел Фосколо меньше, чем ее самое.

Метильда уехала так же внезапно, без предупреждения, как любил в свое время уезжать Бейль, скитаясь по городам и деревням Ломбардии, всюду меняя имя, мешая дело с бездельем, наслаждаясь новыми впечатлениями, «ни на чем не оставляя следа внимательных взглядов пытливого Стендаля». Четыре раза приходил Бейль на площадь Бельджойозо; наконец, Людовик перестал быть вежливым.

Бейль решился на непозволительную вещь: он дал ему несколько золотых монет; Людовик рассмеялся, вежливо вернул ему деньги и просто сказал:

— Все, что синьору угодно спросить, и все, что совесть позволит мне сказать, не требует ни байока.

— Я хочу спросить тебя, Людовик, где синьора и когда она приедет.

— Синьора уехала к своим детям в Вольтерру, вернется не скоро, взяла с собой только Чекину и запретила пересылать ей письма.

Бейль, не заходя в гостиницу, сел в первый мальпост и поехал в Вольтерру.

Утром его остановили пограничные жандармы. Они нашли, что паспорт не в полном порядке и что для въезда в Тоскану требуется предварительная виза миланского префекта полиции. Приходилось возвращаться назад или рисковать. Ожидая обратного мальпоста, Бейль ходил по берегу Тичино в Павии и испытывал состояние, близкое к бешенству. Уже за городом, при виде лодочника, раску-

ривающего трубку, он начал строить фантастические планы нелегальной переправы через Тичино. Бородатый лодочник смотрел на него насмешливыми и понимающими глазами, не выпуская каната из рук и попыхивая трубкой, зажатой крепкими желтыми зубами. Бейль раза четыре прошел мимо него. Лодочник качнул головой и как бы про себя сказал:

— Проклятые жандармы стреляют с берега, когда подъезжаешь не один.

Бейль небрежно звенел наполеондорами, сверкавшими на ладони левой руки.

Перевозчик покосился и, как бы отвечая на безмолвное приглашение, сказал:

— Ну, хорошо! Золото всегда золото, даже если на монете портрет Бонапарта! Вам только нужно переодеться. Я живу недалеко, около Бельджойозо.

Бейль вздрогнул при этом имени.

Перевозчик проницательно посмотрел на него и спросил:

— Разве вы кого-нибудь знаете в этом селе?

«Ах, это здешнее село называется Бельджойозо», — подумал Бейль.

— Нет, никого не знаю, — сказал он вслух, — но мне нужно завтра же попасть во Флоренцию.

— Ну, вы знаете сами, что это невозможно.

Вечером, закутав лицо и переодевшись старухой, Бейль, полулежа в лодке, переправлялся через мутную реку и благополучно высадился недалеко от Страделлы. Лодочник говорил, что везет больную мать к жившему в Страделле хирургу. Больная мать лодочника вскоре опять превратилась в миланского гражданина Арриго Бейля и благополучно начала новое путешествие.

Вольтерра — одно из самых высоких мест Южной Тосканы. Старинный город на вершине каменистого холма, уединенный и пустынный, окруженный циклопическими стенами, созданием сказочных этрусков, и крепостными валами средневековья. Горячее солнце накаляет коричневые камни стен и воинственные башни. Все говорит о том, что эта несокрушимая твердыня была местом разбойничьих набегов и кровопролитных войн древних римских времен и времен первых пап. Вокруг города, стоящего на уединенном каменном острове среди океана зелени, видном издалека, расстилается спокойный деревенский

ландшафт: куски пашен желтеют яркими пятнами среди серебряной зелени оливковых деревьев и золотисто-зеленых виноградников. Старинная крепость кажется странным противоречием и воинственным вызовом мирному деревенскому пейзажу. Пологие и зеленые склоны самых нежных очертаний, дымчатые леса на горизонте — все дышит миром вокруг одинокого коричневого холма. Мир входит в душу, как только путник войдет за городские стены. Старинные улицы, невысокие каменные дома, покрытые черепицей, тесные проходы, по которым едва могут разойтись нагруженные ослики, площади, позолоченные тосканским солнцем, — все дышит ленью и спокойствием. Когда Бейль вошел на площадь, на каменных плитах около храма сидели старухи, вязали чулки и штопали белье; веревки, протянутые из дома в дом, были увешаны стираным тряпьем, дети играли на улице, перегораживая ее: путнику приходилось загибать в переулок; железные фонари с острыми концами торчали по углам зданий так, что в темноте фонарь мог ранить прохожего. От всего этого повеяло на Бейля столетним покоем.

Он, желая быть незамеченным, воспользовался тем, что была пятница — базарный день, и, затерявшись в крестьянской толпе, прошел на городскую площадь. Высокие крестьяне в черных широкополых шляпах, в пестрых, из цветной материи, куртках, доходящих до пояса, с орлиными глазами, с горбатыми носами, чернобровые, легкие и быстрые в движениях, наполнили площадь перед собором живостью, скрипом огромных цельных колес, горячей бранью и резким говором. Сквозь эту базарную толпу проступали иные времена и иные люди. В свободных и смелых движениях жителей Тосканского плоскогорья была воинственная величавость и властная простота старинных поколений воинов, населявших эти горы. Простая базарная площадь имела вид сборного пункта восставшего города, где партизаны феодальных войн разбирают копья, алебарды и ружья перед началом битвы.

Миновав площадь, Бейль направился к дому коллегии, в которой воспитывались двое сыновей Висконтини. Он предусмотрительно запасся роговыми очками, редингнотом оливкового цвета, новой тростью и зеленым цилиндром. В таком виде, привлекая внимание скучающих горожан, он шел по тихим маленьким улицам Вольтерры. Верхние этажи домов в североитальянских городах почти сопри-

касаются. Когда Бейль проходил мимо, жалюзи открывались, любопытные взоры встречали его с балконов, откровенные вопросы бросались ему вслед, и когда он достиг ворот, все улицы Вольтерры уже знали о прибытии иностранца.

Хуже всего то, что, выходя за город, он встретил Метильду. Чекина несла зонт, два мальчика, оживленно разговаривая, шли впереди по мостовой.

Увы! Он был немедленно узнан. Она сама подошла к нему и сказала твердо:

— Вы хотите прослыть моим любовником. Это низко. Сейчас же уезжайте во Флоренцию, поселяйтесь на Виа-деи-Фосси у Николини. Не возвращайтесь в Милан, пока я вам не разрешу.

Она не позволила ему вымолвить ни слова. Один из мальчиков, оглядываясь на уходящего Бейля, произнес:

— Мама, он вовсе не похож на нищего, а, должно быть, хотел что-то просить.

Глава двадцать пятая

День приезда во Флоренцию был тяжелым для Бейля. Виадеи-Фосси, короткая, довольно широкая улица, одним концом выходила на набережную Арно, другим — на площадь. Идя с почтовой станции, Бейль зашел во второй этаж палаццо Николини. Этим громким названием именовалось странное трехэтажное здание из темносерого камня, в котором обычно останавливались в то время проживавшие в Италии французы. Отдохнув с дороги, Бейль пошел бродить по городу и, ступая на каменные плиты с изображением флорентийской лилии, думал о том, чем вызван красный символ этого флорентийского герба. Он вспоминал другую лилию, белую лилию Бурбонов, и размышлял о цветовых обозначениях времени. Так возникли его исторические ассоциации — цветовые обозначения целых эпох.

Белое, красное, черное — все это выразительные эмблемы сменяющихся времен. Старинная флорентийская красная лилия неоднократно меняла свой цвет: из белого переходила в красный и обратно, в зависимости от того, какая партия одерживала верх в коммуне. С этими мыслями Бейль миновал Торнабоуни, дворец Строцци и,

оставив вправо галерею Ланци, вошел на старый мост. Около палаццо Ачаоли обычно продавали газеты. На этот раз ни одного газетчика не было. Бейль решил идти к Сан-Миньято и оттуда любоваться видом на Кашины и течение реки Арно. Отсутствие газет его удивило. Обратившись к первому встреченному на мосту флорентийцу, он спросил, чем это вызвано. Тот развел руками и сказал только одно слово: «Испания». Бейль не понял и обратился к табачному торговцу. И тот пожал плечами, смущенно покачав головой, нехотя ответил:

— Не знаю, синьор.

И вопреки обычной вежливости тосканского населения и даже в ущерб своей торговле испуганно добавил, что ему некогда и что он вообще не склонен говорить.

Вечером у полковника Скотти собрались на «фараон». Человек тридцать сели за огромный круглый стол. Хозяина еще не было дома, когда игра началась. Бейль играл вяло, все время проигрывал. Его рассеянность была так сильна, что он уронил канделябр неловким движением и зажег газовое платье своей соседки. В комнате поднялся переполох, и не заметили, как вошел бледный, взволнованный Скотти.

— Господа, — начал он. — Фердинанд арестован. В Испании революция. Полиция конфисковала газеты.

Все бросили игру; обгоревшая дама с красными пятнами на обнаженном плече забыла о своей боли, так же как соседи забыли о происшедшем с нею.

Скотти рассказал следующее:

— Приезжавший недавно в Неаполь молодой офицер Рафаэль Риего, вернувшись в Испанию, открыл военные действия против правительства с горсточкой людей. Первоначально отряд Риего, к которому присоединился полковник Квирога, был разбит. У него осталось всего сорок пять человек, и дело считалось проигранным. Фердинанд и генералы-монархисты, бежавшие в Кадикс, узнав о поражении Риего, подняли голову. Но тут случилось чудо: огромные массы населения от Каруньи до Барселоны стали требовать свержения тирании. Я не имею последних известий, я знаю только, что в Мадриде толпа ворвалась во дворец, и под ее крики вернувшийся в столицу Фердинанд принужден был дать клятву в верности конституции.

Бейль смотрел на своих соседей. Веселые итальянцы, хранившие беспечный вид несколько минут тому назад,

вдруг превратились в безумных и отважных людей: они кричали слова приветствия, они рукоплескали, они быстро решили переходить к действию и после слов Скотти о том, что надо собрать чрезвычайное собрание вент, пожимая друг другу руки, стали расходиться. Бейль остался один. Он решил, что события снимают с него запрещение. Завтра же он едет в Милан. Грудь дышала полно, он не замечал ни крупных капель дождя, промочившего его насквозь и стекавшего ручьями по лицу, ни быстро налетевшей на Флоренцию тучи. Зигзаги молний на ночном небе казались ему блеском военной грозы, закрутившейся вихрями над помертвевшей Европой. Он вспомнил слова о единстве действий и ждал, что движение, подготовленное в Италии и начавшееся в Испании, перекинется на Апеннины по знаку Риего.

Утром все в городе производило впечатление затаенного волнения. По улицам ходили патрули, останавливали прохожих; полиция имела вид тигра, приготовившегося к прыжку. Южные мальпосты брались с бою, северные ехали пустыми.

Бейль один сел в карету.

По дороге эскадрон жандармов, поднимая пыль, промчался легкой рысью мимо мальпоста; села и деревни, казалось, дремали, ничего не зная о событиях на соседнем полуострове. И только на перевозах многократный просмотр паспортов и усиленные пикеты жандармов на берегах и у бродов, в лодках, на паромах и на барках говорили о том, что Австрия готовится встретить движение.

В Милане это движение было в полном разгаре. Люди молчаливы, но глаза горят, и по тому, как вздрогнул случайный прохожий, к которому Бейль обратился с просьбой дать газету, Бейль понял, что нервы миланского населения напряжены.

Федериго Конфалоньери почти не спал эти дни. Какая-то огромная работа поглощала все его время. С красными веками, бледный, но бодрый, он давал распоряжения, вызывал к себе людей, рассылал эмиссаров, говорил помолодевшим звонким голосом. Рядом — Сильвио, жизнерадостный, как никогда, Борсиери, с заострившимися чертами лица, суровый, полный решимости; десятки и сотни других таких же живых и горячих людей окружали Конфалоньери.

Бейль ходил от одного к другому. Он чувствовал себя немного неловко, немного лишним среди этих людей, занятых делом, которое могло стоить им жизни.

Барон Биндер и граф Бубна, губернатор Милана, прислали «уважаемому графу Конфалоньери» коротенькое вежливое письмо с просьбой прекратить выпуск газеты «Кончилиаторе» и сообщить список всех сотрудников. Конфалоньери ответил, что он подчиняется распоряжению, но списка у него нет, так как он сам не знает всех участников газеты.

На следующий день вся работа светового телеграфа, по приказу с севера, была переведена на шифровую. Частные депеши было запрещено принимать. Почта принимала только открытые письма. Вечером приехал Оливьери с простреленным плечом, усталый, запыленный и измученный.

Он пришел на кухню Конфалоньери в долгополой монашеской рясе, с тонзурой, загримированный до неузнаваемости и благополучно был принят за бродягу-монаха. Он передал Конфалоньери коробочку со священными реликвиями, среди которых оказалась записка генерала Гульельмо Пепе. Оливьери на словах рассказал, что произошло:

— Второго июля на рассвете в казарму бурбонских кавалеристов пришел карбонарий Миникини, в сопровождении двух поручиков, и рассказал об испанских событиях. Карбонарский полк решил, что надо действовать. И с криками «да здравствует Италия» кавалеристы побежали к коновязям. Перед конюшней уже стояли австрийские часовые. Ворота были заперты; один карабинер прицелился и оцарапал мне выстрелом плечо, за что поплатился жизнью. Засовы были сбиты в одну минуту. Генерал Пепе дал распоряжение поодиночке, перебежкой, держа коня под уздцы, собраться всем за городом Нолой, прежде чем полиция успеет отправить донесения, а местный священник ударить в набат. Два офицера и пять кавалеристов арестовали мальпосты. Я сел на семафорную башню и стал передавать сигналы, которые соседний семафорист отказался принять. Если б вы видели, как один за другим выбегали за город наши кавалеристы! Нитка восстания нанизывала их на свое ожерелье. На холме, за городом, они построились по трое и с громкими криками пошли в Неаполь.

Я присоединился к ним, испортив семафор в лагере Монте-Форте, перед самым Неаполем. Я работал кострами, как было условлено. И к вечеру собралось восемь тысяч карбонариев. Если бы вы видели, какие это молодцы, как они вооружены и как они гордо смотрят со своими кокардами, красными, черными и синими. На следующий день, при входе в Неаполь, слегка постреляли. Был маленький боишко, совсем не похожий на то, что я вытерпел в Литве. Король сдался, принял условия, продиктованные ему карбонарским генералом. И вот прочтите, что он произнес тринадцатого июля: «Всемогущий боже, читающий в сердцах людей и в будущих временах! Порази меня твоей страшной местью, если я клянусь неискренно или вздумаю нарушить верность народу Италии».

— Дело сделано, — заметил Конфалоньери. — Необходима испанская конституция во всей Италии.

Метильда Дембовская-Висконтини вернулась в Милан. Она была очень возбуждена, взволнована и грустна. Людовик, которого она хотела послать в Лондон, был арестован. Она продала свой дом, подсчитала все свои брильянты и золото; взяла деньги из банка и отдала их Конфалоньери. Она действовала как во сне, и все ее распоряжения были похожи на безотчетные движения сомнамбулы. Конфалоньери говорил, что она осталась нищей. В ожидании событий она переживала страшное напряжение. Ей грезилась свобода Италии и возвращение того, на кого она снова могла бы без страха взглянуть. С отъездом последнего австрийца для нее открылась бы перспектива возвращения лондонского изгнанника. Пустота ее светского дня исчезла. Во всех домах, и в ее комнатах тоже, настала та прямота настроения, простота и серьезность, какую дает людям революция. Метильда к этому присоединяла стремление оказаться достойной своего друга. И в эти дни чужой, француз Анри Бейль, приходит и беспокоит ее своим присутствием! Однажды в разговоре с нею он так забылся, что оставил на почтовой бумаге свои карандашные рисунки. Это были уверенно сделанные, очевидно часто повторяемые упражнения в изображении пистолета. Она не обратила на это внимания: ей казалось, что оружие сейчас естественно в руке каждого мужчины в Италии. А Бейль думал о том, что изображаемый предмет есть самое верное средство, способное прекратить его страдания.

Однажды он заговорил о поездке на север.

— Я хочу ехать в Англию, — сказал он.

Глаза ее оживились; она посмотрела на него на секунду доверчиво и дружелюбно, потом опять тень набежала на лицо.

Бейль продолжал:

— Я могу передать ваш привет.

Метильда с усилием проговорила:

— Благодарю вас, сделайте это.

Это было слишком жестоко. Она смотрела на него, как на пустое место.

То, что было известно непосредственным участникам событий, разыгравшихся в Неаполитанском королевстве, то, что подготовлялось в Сардинском королевстве или Пьемонте, где, в отличие от неаполитанского глупца Фердинанда, сидел умный и хитрый Виктор Эммануил, то в австрийской Италии, в Милане, было известно лишь карбонарской верхушке общества, имевшего тайного вождя в лице Федериго Конфалоньери. Огромная часть населения Италии еще ничего не знала. Лучше всего было осведомлено о южных событиях население квартала святой Маргариты. В этом упраздненном монастыре, где давно кельи превратились в застенки и камеры с решетками, по монастырским коридорам бродили вооруженные тюремные сторожа — сегондини; в нижнем этаже помещалась префектура полиции, в верхнем — сидел страшный Сальвоти со своей сворой.

Уже испанские события насторожили австрийцев и вызвали смещение всего штата миланской почты.

Оливьери явился к Бейлю и сообщил, что он поступил на почту.

— Я — старый капрал, моя карьера кончена, и согласитесь сами, что форма почтальона очень ко мне идет, — обратился Оливьери к Бейлю с самым беззаботным видом, раскуривая огромную трубку.

Бейль посмотрел на него внимательно и заметил:

— Ты довольно часто меняешь профессии. Давно ли ты был монахом?

— Я хорошо знаю нашу страну, синьор, и плаваю, как рыба в воде. Без перемен было бы скучно жить.

— Хорошо, Капральская Трубка, что ж ты будешь делать на почте?

— Капральская Трубка, синьор, — это почтальон тупоголовый. Ему поручают ту работу, которая не требует ума и даже наоборот — требует глупости.

— Я тебя не понимаю.

— Ну вот, синьор, на прошлой неделе вы отправили в Англию письмо, в котором вы извещаете книгопродавца Бенорма о том, что собираетесь в Лондон. Имейте в виду, синьор Сальвоти очень заинтересовался человеком, написавшим «Историю живописи в Италии», о которой ваши друзья англичане пишут статьи в газетах. А так как я на хорошем счету, то мне поручено доставлять корреспонденцию сорока лицам, в том числе и вам. Я уж не говорю о том, какой шум наделало письмо, написанное вашим почерком двадцать первого декабря тысяча восемьсот девятнадцатого года. Ведь вы пишете в нем (тут Оливьери вынул копию письма): «Тысячи штыков и десятки гильотин не в состоянии остановить движение политической мысли Италии. Это немыслимо так же, как горстью золота спастись от подагры». Знаете, синьор, ваше письмо не подписано, но почерк уже известен. Я боюсь, что все ваши письма на имя барона Мареста в Париж уже имеются в копиях. Теперь, если вы хотите писать, не бросайте писем на почту. Занося вам корреспонденцию, я буду брать ваши письма. Так будет лучше. А самое лучшее, если вы вообще больше будете писать о театре, о балете, о Россини, с которым вы обедаете каждый день.

Бейль дружески протянул ему руку и ничего не сказал. Потом достал бутылку кьянти, привезенную из Флоренции, несколько анчоусов, два стакана и целый час проговорил со своим верным и преданным другом. Кьянти — медленно действующее вино, и потому не сразу беседа приобрела дружеский и веселый характер, который на несколько часов развеял мрачные мысли Бейля.

Бейль действительно почти ежедневно обедал в Милане с музыкантом Россини, с которым познакомился еще во Флоренции. Оливьери был прав. Он не сказал только, что вместе с Россини, полковником Скотти и Бейлем обедает ежедневно замечательный француз Поль Луи Курье. Прекрасный знаток греческого языка, Курье ежедневно занимался в Лаврентианской библиотеке

греческой рукописью пастушеской повести «О Дафнисе и Хлое». Проводя несколько часов в круглой читальной зале, Курье остальное время дня посвящал изучению итальянских деревень. Он выезжал во Фьезоле, в Сетиньяно, в другие тосканские деревни, и его поездки заинтересовали флорентийского префекта полиции.

Перехваченное письмо, в котором Курье открыто обрекал на гибель австрийские порядки и писал о страшном вреде религии, этой язвы Италии, дало австрийской полиции, дирижировавшей тосканским политическим оркестром, ясное представление о фигуре Курье. Но полиции не хотелось выдавать методы своей работы по надзору за флорентийскими гражданами. Она придумала другой способ скомпрометировать Курье. Библиотекарь-иезуит, по фамилии Фуриа, подложил в пергаментную рукопись «Дафниса и Хлои» бумажонку, испачканную чернилами, и на другой день Курье был привлечен к суду за намеренную порчу драгоценной рукописи. Курье не помнил, не знал, сам ли он испортил рукопись, или кто-то иной, он так же мало чувствовал себя виновным, как мало имел охоты оправдываться. Он бежал. И, конечно, его не преследовали. Доказать его присутствие на собраниях карбонарской венты в лесу, около Сетиньяно, было невозможно, так как все пугавшие общество заговорщики собирались в масках. Таково было отличие городских вент от деревенских. В городе больше населения, легче затеряться. В деревенских вентах все друг друга хорошо знали. Каждый шаг деревенского заговорщика бросался в глаза. Если в городе заговорщики собирались за карточным столом или на домашнем концерте, то в деревне этой маскировки быть не могло. В редких случаях участник венты — звонарь — давал как бы случайный, одинокий плачущий удар церковного колокола, служивший сигналом для сбора. И потом тотчас же шел извиняться перед священником по поводу того, что спьяна зацепил колокольную веревку. Во всех остальных случаях косвенная маскировка заменялась прямой. Люди сходились в назначенном месте в масках.

Почтовая маска Бейля была для него привычной еще со времени русского похода. После предупреждения Оливьери Бейль стал писать иначе. Он предупредил Ма-

реста письмом из Турина, которое начиналось словами: *«Не бойтесь Капральской Трубки»*. Следующее письмо, датированное Болоньей, начиналось такими словами:

«На будущее время, любезный друг, адресуйте все ваши письма на имя благородного синьора Доменико Висмара в Наварру и в них можете писать совершенно откровенно, не стесняясь в крайних выражениях и суждениях по поводу того, что происходит в Италии и в Испании». Письмо подписано: *«Доменико Висмара, наваррский инженер»*.

Появляются письма гражданина Дюпюи, письма миланского театрального рецензента, гражданина Лобри, к барону Маресту. Письма рассказывают об итальянских коронованных особах такие вещи, которые у читателя вызывают чувство омерзения, как самые гнусные записи уголовного протокола. В письме за подписью Лобри Бейль осыпает руганью барона Стендаля и туринского инженера Висмара. Он сообщает барону Маресту целый ряд наблюдений над друзьями, вымышленные имена которых ничего не могут раскрыть постороннему читателю.

Затем начинается ряд скитаний. Твердо взяв себя в руки, Бейль решил не являться к Метильде до тех пор, пока не изгладится чувство боли, а быть может, не являться совсем.

В сумрачной отгоревшей Европе жизнь невероятно тяжела.

Одна Италия бережет в себе и раздувает огонь священного очага свободы. Революция, не удавшаяся во Франции, скоро охватит всю Италию, и так как этот народ полон несокрушимой энергии, так как волны горячей крови заливают эти крепкие, стальные мускулы, так как живая и прекрасная человеческая мысль горит в этих черных глазах, то ясно, конечно, что для этой лучшей человеческой породы нет никаких преград.

Бейль путешествует по городам Ломбардии с обновленной энергией. Он пишет из Мантуи письмо барону Маресту, называет фантастические города. Только Марест может понять, что город *Куларо* — это Гренобль, что *Меро* — это Рим, и только Марест может понять штемпель под письмом вместо подписи: *«Торговый дом Клапье и К°»*. Впрочем, одна строчка делает это письмо ясным:

«В Мантуе, как и повсюду, говорят об Испании». Однако пока этот неугомонный француз переезжает из города в город, как человек без определенных занятий, пока он спит в те часы, когда другие работают, и выходит на работу, никому не известную, в те часы, когда другие спят, пока он вмешивается в жизнь городов, прислушивается к разговорам, ест, пьет и веселится неизвестно на какие деньги, в это время события развиваются с бешеной быстротой. «Священный Союз» монархов созывает конгресс в маленьком местечке Австрии, в Лайбахе, и Меттерних предлагает вызвать на этот конгресс неаполитанского короля Фердинанда. Неаполитанский парламент, несмотря на осторожные предупреждения карбонарской венты, медлит с арестом короля, и Фердинанд уезжает на север. Там, швырнув на стол тексты своей присяги, он обращается к Меттерниху с безумными воплями о том, что «вся Италия скоро будет охвачена народным восстанием, и таким образом священные права королей будут попраны революционным югом Европы».

На секретном совещании Лайбахский конгресс решает подавить неаполитанских карбонариев при помощи интервенции и восстановить абсолютную монархию.

И тут же началось спешное формирование карательных отрядов.

В Милане Конфалоньери получил извещение об этом решении поздно ночью. Ему писал кариньянский принц Карл Альберт Савойский, бывший во вражде с королем Сардинии и Пьемонта Виктором Эммануилом и недавно принятый в карбонарскую венту.

Карл Альберт ненавидел Австрию. Военные карбонарии Пьемонта рассчитывали свергнуть Виктора Эммануила, сделать Карла Альберта орудием революции. Настало время действовать. Медлить было невозможно после решения о подавлении Неаполя силой иностранного монархического оружия.

Бейль, вернувшись в Милан, с неудовольствием выслушал планы и предположения своих друзей.

— Там, где замешаны принцы, ничего не выйдет хорошего.

— Вы не знаете Италии, — возразил Конфалоньери.

— Зато я знаю Францию и знаю природу революций: королям нужно рубить головы сразу, чтобы они не воспользовались вашей первой ошибкой. Я неоднократно

говорил о пестроте карбонарской кокарды. Смотрите, на ней, помимо красного, есть черный и синий цвета. Оставьте красный, бросьте другие.

— Вы не понимаете реальных условий, при которых мы не можем отвечать за население полностью: у нас есть войска и офицеры, но крестьянство, стонущее от австрийских налогов, отшатнется от нас по первому требованию кардинала-легата. Мы ненавидим Австрию во имя свободы, Меттерних восстанавливает против нас могущественную католическую церковь.

Принц-карбонарий оказался лояльным принцем. Прежде чем восстать против Виктора Эммануила, он пошел с ним «посоветоваться» и выдал движение. Виктор Эммануил, угрюмый и озлобленный, угнетенный тяжелыми австрийскими директивами, не отдал распоряжения об аресте Карла Альберта, а написал манифест о своем отречении. С презрением посмотрев на Карла Альберта, он сказал:

— Отнеси это моему брату Карлу Феликсу, который завтра будет королем. Копию передай твоей карбонарской сволочи. А сам, если ты честный офицер, положи перед законным королем твою шпагу.

Принц-карбонарий, идя по лестнице, думал, как бы ему выйти с честью из бесчестного положения. Он думал о том, как бы поступил его любимый герой — Гамлет, принц датский, но, со словами «быть или не быть» на устах, он был захвачен вестью о том, что в Александрии полковник Ансальди и капитан Пальма со своими драгунами овладели крепостями и объявили восстание в пользу Карла Альберта. «Быть», — решил Карл Альберт. Его меланхоличность исчезла. Он решил разыграть из себя волевую и энергическую фигуру. Он назвал себя инициатором революции, объявил созыв парламента и 13 марта с балкона своего дворца провозгласил Пьемонт свободной страной, управляемой конституцией по испанскому образцу.

Конфалоньери не выдержал. Карбонарий Маццини, дважды остановленный на границе, доставил Карлу Альберту письмо, в котором глава миланских карбонариев просил немедленно перейти границу, напасть на австрийский гарнизон в Милане и «присоединить Ломбардо-Венецианскую область ко всей свободной Италии».

Глава двадцать шестая

В течение одного месяца Бейль перебывал в девятнадцати городах Ломбардо-Венецианской области. С паспортом инженера из Наварры, Доменико Висмара, он выезжал в Турин, оттуда написал письмо Маресту, которого именовал бароном Люссингом. Марест, родившийся и выросший в Пьемонте, был почти единственным корреспондентом Бейля за это время. Бейль писал ему под конец от имени некоего Робера, от имени Огюста и, наконец, уведомил его о том, что в скором времени ему придется покинуть Италию.

В самый решительный момент, когда Конфалоньери ждал с минуты на минуту победоносного шествия пьемонтских войск из Турина в Милан для свержения австрийского ига, в этот момент Бейль имел неосторожность высказать ему свои скептические наблюдения. Он стоял со стаканом пунша в углу накуренной гостиной, похожий на волка, затравленного собаками, и кричал, отвечая сразу всем нападавшим на него собеседникам:

— Дело вовсе не в том, чтобы обратить в бегство австрийских драгун, стоящих на площади от Мерканти до Ла Скала шпалерами, и вместо австрийцев посадить в Санта-Маргарита губернатором миланского купца, а дело в том, что ни в Турине, ни в Милане ни один рабочий не понимает вашего движения. Именно в ту минуту, когда горожане Неаполя и Турина охвачены конституционным восторгом, огромная масса итальянского народа спит под черным крестом и не принимает никакого участия в революции. Я видел туринскую фабрику в тот день, когда Карла Альберта назначили регентом при громких криках драгун. Там была мертвая тишина. Австрийцы не поставили там даже сторожевого пикета.

— Что вы хотите сказать? — яростно допрашивал Конфалоньери. — Мы поступали совершенно правильно: нет ни одного полка, ни одной роты, ни одного эскадрона, который не был бы на нашей стороне. Неужели вы думаете, что ломбардские батраки нам нужнее вооруженных карабинеров, что ваши безграмотные рабочие с фабрик заменят нам преданных офицеров-карбонариев? Нам нужны военные силы, для того чтобы сбросить последние остатки феодальных предрассудков, нам нужны военные силы, чтобы обеспечить барыш итальянскому купцу и

спасти горожан от непосильных налогов грабительской Австрии. Нам нужно свое национальное правительство, обеспечивающее мирное процветание наших предприятий.

— Я всегда говорил вам о том, что ваше движение полно противоречий! — кричал Бейль, отхлебнув два раза большими глотками пунш во время тирады Конфалоньери. — Вы говорите о конституции, сбрасывающей обломки феодальных предрассудков, а в то же время хотите привлечь Карла Альберта. Так знайте, что в Европе появилась новая порода гамлетизованного, меланхолического, разочарованного принца, который предаст вас в любую минуту. Вы, пожалуй, заговорите о новых привилегиях для класса способных людей. Взамен династических рыцарей вы навяжете населению рыцарей наживы, героев прилавка — вот ваши способные люди. Ваше процветание есть именно процветание тупоголового торгаша, которому нужен безграмотный крестьянин и рабочий, притупленный вашими попами.

— Бейль говорит возмутительные вещи! — воскликнул Сильвио Пеллико. — Культура Италии есть религиозная культура. Савойский крест, белый и чистый, повлечет за собою итальянский народ гораздо скорее, чем ваши якобинские речи.

— А я говорю, — с бешенством выступил Бейль, — что нельзя отступать от программы верховной венты. Королям и принцам надо рубить головы, а кардиналов нужно вешать. Нужно очищать атмосферу, загрязненную поповским ладаном. От него невозможно дышать даже в вашей прекрасной стране. В конце концов все коронованные шарлатаны рано или поздно сговорятся между собою. Сейчас что вы собою представляете? Небольшую кучку аристократов и буржуа, устроивших военный заговор.

Оскорбление было слишком сильно. Это заметил сам Бейль. Наступило минутное молчание, затем Борсиери ядовито заметил:

— Подруга Фосколо сделала Бейля атеистом.

— Атеизм сделал меня другом Фосколо, — ответил Бейль. — Не сердитесь, если я вел себя, как крыса, окруженная кошками. Вы в достаточной степени меня покусали. Но помните, что я не увлекаюсь парадоксами. Вам придется вернуться к идеям Бабефа, если вы хотите бросить силы на переустройство общества. У вас есть

прекрасный источник идей. Это — ваш соотечественник, карбонарий Буонаротти. Вы все слишком заражены манией осторожности и почтительности. Имейте в виду, что эта мания не переживет нынешнего столетия.

— Буонаротти — для нас неприемлемая фигура. Мы имели об этом суждение и отвергли его предложение, — веско сказал Конфалоньери. — Наша очередная задача — свободное объединение Италии и изгнание иностранцев. Этого мы добьемся любою ценой. Вы не забывайте, Бейль, что ваши опасные крайности так же вредны Италии, как и полная бездеятельность. В моих глазах вы — очень опасный человек.

В эту минуту в комнату вошел посетитель, принятый без доклада. Так как все были слишком заняты напряженным разговором, то на него никто не обратил внимания.

Через минуту он стоял около Конфалоньери и что-то шептал ему на ухо. Конфалоньери побледнел и поднял руку со словами:

— Господа! Разойдитесь по домам, по одному. Не разговаривайте. Уничтожьте переписку. Трое наших друзей арестованы, Оливьери погиб, покушаясь на жизнь Сальвоти.

Бейль вскрикнул. Молодой человек, обратившись к нему, сказал:

— Мы работали на самом опасном посту. Сальвоти получил списки, Оливьери пытался их у него отнять. И когда Оливьери бросился к потайному шкафу, Сальвоти нажал пружину, и мой товарищ провалился под пол. Я знаю это место. Под плитой глубокий колодец, и никто не справляется о том, что случается с упавшим.

Со смутным чувством Бейль возвращался домой. «Если все миланское движение открыто, то дело плохо. Мы так долго водили за нос полицию, иезуитов и графа Бубна, что теперь приходится перестать смеяться».

Было еще не поздно. Бейль пошел к Висконтини. Она приняла его спокойно. Он решил испытать последнее средство, чтобы узнать ее отношения к себе. После нескольких незначительных фраз он сказал ей:

— Я пришел проститься с вами.

— Когда вы вернетесь? — спросила Метильда с рассеянным видом.

— Вероятно, никогда, — ответил Бейль.

Она быстро перевела разговор на другую тему и сказала:

— Миланский губернатор оставил в столице очень маленький гарнизон и, не дожидаясь решения Карла Альберта, повел войска на Турин. Вчерашний день австрийцы разбили под Наваррою всю пьемонтскую армию. Вы первый, кто узнает это сейчас в Милане. Покончив с Турином, Австрия бросит невод в Ломбардии. Вы хорошо сделаете, если уедете. Вы — француз, и вам нечего здесь делать. Если будете в Англии, повидайте там...

Она взглянула на Бейля и, так как он смотрел совершенно спокойно, то, помолчав минуту, закончила с меланхолической и страстной улыбкой, которую неоднократно Бейль с наслаждением ловил у нее на губах и которая делала ее так похожей на прекрасную Иродиаду с закрытыми глазами, изображенную учеником Леонардо да Винчи.

— ...Россетти и его друзей.

Бейль кивнул головой. Висконтини говорила:

— Я люблю Россетти и Берше, особенно за их изумительное толкование Данте. Они говорят, что автор «Божественной комедии» принадлежал к подпольной политической секте, поставившей своей целью революцию человеческого общества. Они излагают каждый символ поэмы Данте как программу карбонариев четырнадцатого века. Вы попросите Россетти объяснить вам его теорию. Вы очаруетесь этим упоительным голосом.

Бейль встал, быстро поцеловал руку Висконтини и вышел.

С обнаженной головой, рассеянный, наталкиваясь на прохожих, он возвращался к себе домой. Каждый шаг отрывал его от земли, которая стала ему дорогой. Вот серый корпус Каза-Ачерби, массивный каменный наличник и дверные пилястры, глубоко сидящие окна. Вся строгая и великолепная архитектура Палладия, в чередовании неотделанных и грубо выступающих камней нижнего этажа, с постепенно выравниваемой поверхностью стен, уходящих под крышу. Неужели он может выехать когда-либо из этого дома, ставшего родным, из этого города, где каждый камень ему знаком, где воздух и свет сделали его дыхание, его взгляды своими?

Ступени показались трудными для подъема. Осунувшийся и грузный, сгорбившийся, входил этот человек к себе в комнату.

София с растерянным лицом подала ему повестку о немедленной явке в префектуру. Бейль побледнел, чувствуя, что дело приняло слишком серьезный оборот.

Не идти было невозможно.

Санта-Маргарита, женский монастырь в Милане, после упразднения — главное полицейское управление австрийских властей Ломбардской области. Тут же камеры предварительного заключения для арестованных. Кельи монахинь превратились в помещения для проституток, задержанных на улицах Милана. Для политических заключенных отведены сводчатые подвалы — низкие *темницы* в буквальном смысле слова. Полное отсутствие света в тесных и зловонных маленьких подземельях вызывало у заключенных тяжелые формы офтальмии. В нижнем этаже — камеры, где инквизиторы и прокуроры производили допросы. Обширные приемные и парлатории монастыря превращены в места, где дежурил постоянный отряд вооруженных жандармов. На самом верху помещались бригады филеров, летучих агентов, и кабинеты младших инквизиторов, принимавших сведения, приносимые шпионами. На крыше главного храма, рядом с крестом, расположились аппараты инженера Шаппа: шифровальный гелиограф, который под руками опытного семафориста сносился прежде всего с казармой австрийского гарнизона, а потом — с семафористом на кровле Миланского собора. Оттуда передача шифрованных депеш световыми знаками шла до самой Вены.

В эти ночи самым усталым человеком в Милане был полицейский семафорист. Вена сверкала депешами, гелиограф не успевал передавать донесения. Усталыми глазами впиваясь в темноту, подкрепляя себя крепчайшим кофе с ликером, семафорист заполнял бланки, проклиная свою судьбу и безучастно относясь к потрясающим событиям, которые передавали ему мертвые, беззвучные световые точки и полосы. Австрийские войска громили юг и север по приказу из Лайбаха, выполняя волю Александра и Франца. Меттерних предписывал жесточайшие кары. Карл Альберт бежал. Фердинанд в Неаполе велел найти и казнить карбонарского вождя Гульельмо Пепе. Римский папа проклинал движение и отлучал от церкви всех его участников. Католик, принявший в дом карбонария, объявлялся стоящим вне закона. Села и деревни, укрывшие

мятежников, обрекались на сожжение и истребление артиллерийским огнем. Закрывались все газеты. За произнесение слова «конституция» назначалась тюрьма. Все верные сыны церкви приглашались помочь королям, у которых вынудили согласие на народное представительство. Далее шли шифровки: «Организовать из молодежи тайные отряды истребителей. Не щадить для них золота. Прекращать все дела, возникающие из-за убийства карбонариев на улице. Священникам приказать записывать фамилии на исповеди. Ввести еженедельную исповедь для женщин, с угрозой отлучения за незнание образа мыслей мужа, брата, отца, детей. Организовать разгром либеральных идей с церковной кафедры. Конфисковать имущество богатых евреев и испанских семейств, проживающих в Неаполе, если даже они не замешаны в движении».

Последняя депеша:

«Объявить инквизитору Сальвоти, что если в трехдневный срок не будет произведен арест всех подозрительных лиц в Милане и не будут раскрыты все очаги мятежа, имевшие место в Ломбардо-Венецианской области, то он, Сальвоти, подлежит отстранению от должности и отправке в Вену под конвоем. Его величеству стало известно, помимо миланского прокурора-инквизитора, состояние умов в Милане. Его величество разгневан бездеятельностью миланской полиции и требует принятия срочных мер для предотвращения печальных событий — мятежей и восстаний, имевших место, к счастью, вне владений его апостолического величества благочестивейшего Франца, короля австрийского».

Подписано:

«Граф Седленицкий, министр полиции».

В ту минуту, когда Сальвоти делал ироническое лицо, читая эту депешу, Бейль выходил из нижнего этажа Санта-Маргарита, успокоенный, но подавленный тяжелой вестью: то, что было сказано Метильде о предстоящем отъезде лишь для того, чтобы увидеть хоть легкий оттенок грусти в ее глазах (тщетная надежда!), вдруг стало печальной необходимостью.

Усталый и вежливый помощник прокурора, видевший Бейля в первый раз, не успевший, повидимому, прочесть лежавший перед ним документ, разглаживая рукою

бумаги, грудами наваленные на двух столах, попросил его присесть и стал читать.

Потом, после легкого восклицания: «Ах, вы француз!» — сказал ему:

— В нынешнем тревожном положении иностранцам небезопасно оставаться в Милане. Вы хорошо сделаете, если исполните нашу покорнейшую просьбу и покинете столицу области в двадцать четыре часа, считая от первого отходящего мальпоста, то есть не позже пяти часов утра двадцать первого июня.

Слова «5 часов 21 июня» помощник прокурора записал чернилами на углу документа. Потом, слегка прикрыв рукою зевающий рот и не глядя на Бейля, продолжал:

— Предъявите ваш паспорт.

Медная печать стукнула по столу; на огромном, испещренном надписями и цветными штемпелями паспорте Бейля появилась новая зеленая австрийская печать, в которой были вписаны год, месяц и число, пункты следования и поставлен гусиным пером тот особый неуловимый значок, по которому жандармы в разных пунктах убеждаются в подлинности документа.

Усталые веки приоткрылись, проницательный взор с насмешкой посмотрел на Бейля.

— Я не имею оснований подвергать вас допросу, так как против вас не выдвинуто никаких серьезных обвинений. Но не может не показаться странным свидетельство вашего паспорта, именно то, что вы в течение месяца успели побывать в стольких местах. Зачем вам такая быстрая езда?

Бейль ответил:

— Доктора предписывают мне путешествие. Я болен артритом.

— Да, но согласитесь, что мы не можем содержать целый штат полиции для того, чтобы регулировать движение каждого француза, страдающего этой болезнью. Вот почему начальник предлагает вам путешествия за пределами Ломбардо-Венецианской области. Кстати, если вас не затруднит, я буду просить у вас маленькой услуги.

— Пожалуйста, — ответил Бейль.

— Вы, вероятно, знаете всех ваших сограждан, проживающих в Милане?

— К сожалению, я не в дружбе с соотечественниками.

— Жаль. Я хотел просить вас сообщить, не знаете ли вы барона Стендаля и некоего инженера Висмара?

— Понятия не имею, — ответил Бейль и почувствовал, как легкий холодок пробегает у него по спине.

— А кто такой Курье? Это, кажется, французский литератор, приехавший в Милан из Флоренции?

— Да, я его видел однажды. Мне указали на него в ресторане. Не знаю его, — сказал Бейль.

— Ну, простите, что вас побеспокоил. Желаю вам доброго пути, — сказал помощник прокурора и, кивнув головой, через пять минут забыл о его существовании.

Утром 20 июня 1821 года Бейль дважды прошел по площади Бельджойозо. Смерть Оливьери, этого верного друга и безумного храбреца, страшная судьба Италии, гибель всех надежд на сближение с единственным существом, впервые любимым всем сердцем, — все это железными тисками сжимало сердце. Бейль шел, как в бреду, и остановился на Соборной площади, около витрины. Собственно почему он остановился? В витрине лежал пистолет, точь-в-точь такой, какой все время невольно выводила рука, лишь только карандаш попадал в пальцы. Вот — единственный исход, когда все потеряно и когда вместо ярких и солнечных дней наступает пародия на время. Цвет времени меняется; преобладает черная краска. Неужели и здесь, как и во Франции, белый бурбонский цвет, сменившийся ярким красным праздником революции, перейдет в черный цвет, и церковный мрак — в реакционную злобу коронованных животных? Жизнь в дальнейшем рисуется как пародия. Значит, надо из нее уйти. Твердо и решительно он открыл дверь.

Приказчик оружейного магазина развел руками и сказал:

— Со вчерашнего дня свободная продажа оружия запрещена, но если синьор служит в полиции?..

— Нет, я не служу в полиции, — сказал Бейль и вышел.

Может быть, еще раз попытаться пройти на площадь Бельджойозо?

Разгорался жаркий день. Безжалостное солнце сжигает город, людей и растения. Окна Висконтини закрыты ставнями. Дверь заколочена наглухо. Что-то случилось.

Разбуженный привратник сонным голосом сообщил, что синьора выехала на озера вместе с семьею Траверси и вернется только поздно осенью.

В пять часов утра на следующий день Бейль занимает место в дилижансе. Три тысячи пятьсот франков зашиты в кармане. Нервная дрожь от какого-то внутреннего холода и позевывание от недостатка воздуха, несмотря на то, что утро свежее и солнце еще не палит. «Надо оставить эти глупости. Я не Вертер и не Ортис, чтобы пускать себе пулю в висок».

С этими мыслями началась дорога на север.

На первой остановке Поль Луи Курье машет рукой из встречного экипажа.

— Куда? — кричит Бейль.

— В Милан, — отвечает Курье. — Сообщаю вам: после убийства герцога Беррийского во Франции невозможно дышать. Начался белый террор!

Каждую минуту по дороге на Комо Бейль решал, что он вернется назад, покинув мальпост на первой же остановке. По дороге к синим озерам и зеленым холмам, по дороге к снежным альпийским предгорьям он чувствовал, что покинул город, в котором «жизнь приближала его к смерти». Он чувствовал, что оставляет там свою душу, ему казалось, что он оставляет там самую свою жизнь, жизнь таяла в нем и покидала его с каждым поворотом колес. Он умирал с каждым шагом, ему не хватало воздуха, он применял к себе слова Шелли: «Я дышал только тогда, когда вздыхал. Сердце во мне остановилось». Он чувствовал, что вскоре превратится в человека, неспособного мыслить. Потом наступил период бесконечной болтливости: он вступал в длинные разговоры с почтальонами и серьезным тоном вторил их размышлениям о ценах на вино. Он взвешивал с ними причины, по которым фьяска стала стоить дороже на пять сантимов. Он боялся только одного: заглянуть в себя самого. Так миновал он Эроло, Белинцону, Лугано. Дорожные столбы с надписью бросали его в дрожь: он с ужасом думал о Франции. Чувство опасности пребывания в Милане в нем исчезло. Верхом по Сен-Готардской дороге он ехал без соблюдения правил, и проводник заявил ему, что если господин не дорожит своей жизнью, то пусть он побережет репутацию проводника, так как несчастный случай с путешественником может лишить заработка гида.

Так он доехал до Альтдорфа, где стоял памятник Вильгельму Теллю, поразивший его тем, как уродливо скульпторы трактовали швейцарского героя.

«В руках людей прекрасные явления становятся уродливыми. Пошлое общество в салоне Траверси и ядовитые уколы миланского света делали то же самое с Метильдой, что швейцарцы сделали с образом Телля. Метильда становилась будничной и тускнела. То же самое сделает со мною Париж после стольких лет напряженной жизни, полной горя и счастья».

Глава двадцать седьмая

Сальвоти недаром иронически улыбался, читая выговор, полученный из Вены. Список, который хотел вырвать у него этот страшный бандит Оливьери, оказавшийся самым опасным карбонарием, давал ему в руки возможность выслужиться перед Веной, несмотря на то, что отец Павлович успел его кое в чем предупредить, забежав вперед и уехав в Вену. Во всяком случае, если Италия на целый месяц превратилась в кипящую лаву, если карбонарский уголь, тлевший под землею, внезапно зажег костром весь Апеннинский полуостров, то в Ломбардии сделать этого не успели.

Внезапным ударом срезана карбонарская гидра. За арестом Сильвио Пеллико, Марончелли, Борсиери, Тонелли, Арезе, Кастилиа, Тривульцио последовало тысяча семьсот арестов, но Сальвоти требовал выдачи вождя. Его не называли. И вот внезапно жандарм привозит из Турина письмо Конфалоньери к Карлу Альберту. Вот он, этот почтенный миланец, такой спокойный, лояльный и уважаемый австрийскими властями человек с седыми висками. Он оказался просто либеральной собакой, опаснейшим вождем карбонариев и до такой степени самоуверенным, что даже не пробовал спастись бегством. В черной карете в дождливую ночь привезли его и, завязав ему глаза, провели в каземат Санта-Маргарита.

Через сутки не было миланской семьи, которая спала бы спокойно. Подогревали крепкий кофе, жгли письма, ожидая сына, вызванного на допрос в префектуру, старика отца, вышедшего из дому с утра и не вернувшегося к часу ночи, оплакивали тех, кто под звон жандармских

шпор, согнувшись, спускался по лестнице и садился в закрытую карету. Кавалеристов хватали по казармам и в случае прямых улик расстреливали тут же, во дворе. И вот, наконец: «Попался опасный человек — француз, барон Стендаль. Пусть он называет себя Андрианом. При нем нашли документы коммуниста Буонаротти, проповедующего «заговор равных» Гракха Бабефа, того самого Бабефа, который был казнен французами в 1797 году, этого опаснейшего из опасных». Конфалоньери, спрошенный о том, кто из французов говорил с ним о Бабефе, назвал только одного француза — *Анри Бейля*. К нему в камеру для очной ставки приводят Андриана. Конфалоньери его не знает: «Буонаротти и Бабефа называл только Бейль. Я отвергаю это опасное ученье. Я не согласен с этим французом ни в чем. Но ведь этот юноша вовсе не Бейль!»

Среди прочих бумаг приходит следующий документ:

Венская полиция предписывает «немедленно схватить французского гражданина, бывшего военного комиссара, Анри Бейля, и потребовать у него выдачи местонахождения инженера, ездившего в Турин под фамилией Доменико Висмара, проживавшего по фальшивым паспортам во многих городах полуострова, писавшего книги, запрещенные венской полицией, под псевдонимом барона Стендаля. Ввиду опасных связей этого либерала Висмара с карбонарскими группами предлагается после снятия допроса с французского гражданина Бейля и после очной ставки с Доменико Висмара подвергнуть Висмара смертной казни через повешение, с последующим донесением об исполнении ввиду уже состоявшейся конфирмации приговора по предложению канцлера, князя Меттерниха, его апостолическим величеством королем Австрии 22 июня 1821 года».

Сальвоти покоробила неудача с Андрианом. Давно он охотился за неуловимым Висмара. Теперь все зависело от того, чтобы скорее схватить Анри Бейля и заставить его сообщить адрес Висмара. Через четверть часа секретарь докладывал Сальвоти, что гражданин Анри Бейль, единственный, кто знал неуловимого Доменико Висмара, по его собственному, Сальвоти, предписанию выслан из Милана в двадцать четыре часа неделю тому назад. Сальвоти, в первый раз утратив свое спокойное благоразумие,

ругался той безобразной руганью, которая была известна в двух местах на всем земном шаре: в русском застенке и в венской полиции.

Сицилийские рудники, мантуанские колодцы, тюрьмы Вероны, венецианские «пломбы» и подвалы Дворца Дожей, находящиеся глубоко под водой, наполнялись десятками тысяч людей, не успевших восстать и схваченных с помощью иностранного оружия.

Сильвио Пеллико, как ближайший секретарь Конфалоньери, подвергался допросу. Тривульцио, узнавший об аресте товарищей, с испуга явившийся в полицию и с испуга предавший всех остальных, Андриан как опасный французский заговорщик, Конфалоньери, при входе которого в мрачную, черную залу Санта-Маргарита вставали все, не исключая жандармов, и около двухсот других подверглись многократному изнурительному ночному допросу при свете факелов.

Им не давали засыпать сменявшиеся инквизиторы. Их трясли за плечи, силой заставляли стоять и доводили до полного беспамятства. Изнуренные этой пыткой, опоенные опиумом, после которого им не давали спать, заключенные Санта-Маргарита не всегда могли отвечать за свои слова. И если Сальвоти не удалось вырвать у них прямого признания Федериго Конфалоньери вождем, то косвенным указанием стала та почтительность, с которой они обращались в сторону Конфалоньери всякий раз, как он появлялся в зале суда для перекрестного допроса. Никто не называл его карбонарием, но говорили, что он «беспредельно заботился о своей родине, что он первый стремился к ее процветанию, даже внешнему. Он создал проект газового освещения улиц, он пустил первые пароходы по итальянским рекам». Но были заключенные со слабым характером: они показывали даже больше того, что спрашивал Сальвоти. Эта болтливость людей, потерявших всякое к себе уважение, носила характер бескорыстного и отчаянного погружения на дно, и так как подсудимые были разобщены, то товарищи по тюрьме не могли во-время воздействовать на них и протянуть им руку помощи.

Сам Конфалоньери вел себя твердо и бестрепетно на протяжении всего следствия. Сальвоти был с ним осторожен. Даже его иезуитскому уму казалось невероятным, чтобы человек, правда, либеральный, но ведший слишком

открытую и широкую жизнь, мог решиться на такую адскую конспирацию и пойти против самого императора тайной организацией мятежа. Богатство и завидное положение родственников Конфалоньери в Ломбардии в глазах Сальвоти было вершиной счастья и благополучия. Это последнее обстоятельство больше всего смущало жадного австрийского прокурора. Его первые слова, обращенные к Конфалоньери, были следующие:

— Принужден пригласить вас для дачи показаний по делу, к которому вы, эчеленца, конечно, не можете иметь никакого отношения. Вы обладаете всеми земными благами и милостями правительства его величества и не можете быть врагом государя. Ваши товарищи по заключению показали, что во главе заговора стоял граф Порро, предусмотрительно скрывшийся за границу. Скажите мне откровенно ваше мнение о графе Порро.

— Предлагаю вам, — ответил Конфалоньери, — вообще не обращаться ко мне ни с какими вопросами, касающимися итальянцев. Я стремился и стремлюсь к свободе Италии.

Шестьдесят карбонариев твердо показали, что вождем движения был граф Порро. Этот во-время уехавший карбонарий успел снестись со своими друзьями и умолял их спасти Конфалоньери и во всех опасных случаях вместо Конфалоньери предложил называть себя. Но опять двое друзей — Паллавичини и Кастилиа — по неизвестным причинам выдали всю организацию. Тогда Сальвоти поверил. В центре внимания следственных властей стал подлинный вождь ломбардских карбонариев.

Много месяцев велось это тягчайшее следствие. Шестьсот тысяч молодых, сильных и здоровых мужчин и женщин Италии подвергли допросам, тюрьмам, пыткам. Наконец, наступил день, когда весь Милан ждал приговора. Вся площадь перед Санта-Маргарита была полна народу. Старинная часовня, в которой императорский комиссар объявлял приговор, была по обыкновению темна; сбоку от стола, покрытого сукном, горел громадный камин и красным огнем освещал белый австрийский мундир императорского комиссара. В амбразурах и нишах сводчатой капеллы группами стали карбонарии, здороваясь друг с другом, в то время как зоркие глаза и внимательные уши вооруженных жандармов не пропускали ни жеста, ни слова заключенных. Комиссар переворачивает

груды бумаг на столе. Все ждут привода Конфалоньери. Вот открылись двери, и высокая фигура молодого и стройного человека с совершенно седой головой и огромными глазами на бледном лице появляется в сопровождении двух жандармов в капелле. Быстрые, прерывистые слова горячего приветствия тихо, но отчетливо доносятся со всех сторон. И даже австрийский комиссар делает несколько шагов навстречу входящему. Потом наступает мертвая тишина. Семнадцать карбонариев во главе с Федериго Конфалоньери лишаются дворянства и имущества и объявляются приговоренными к смертной казни через повешение. Восемьдесят семь человек приговорены к каторге. Сто семь — к пожизненному заключению в тюрьмах за пределами Италии. Приговор подлежит императорской конфирмации и исполнению в тридцатидневный срок.

Сильвио Пеллико, Марончелли, Андриан и еще несколько приговоренных к смерти приближаются к Конфалоньери и жмут ему руки.

Толпа на площади бешено воет: поднимается красное знамя, и раздаются звуки карманьолы. Потом — короткий залп, и наступает мертвая тишина. Милан в трауре.

Родственники приговоренных не получают никаких сведений. Ночью закрытые кареты с приговоренными отправились на север, в моравскую крепость Шпильберг, для приведения в исполнение приговора после окончательного допроса. Старик Конфалоньери-отец, проделав мучительную дорогу в Вену, умолил Меттерниха допустить его в Шенбрунн, где жил император. Слушая, как два молодых священника беседовали по-латыни в маленькой приемной Шенбруннского дворца, старик смотрел в окно на огромный Шенбруннский парк и горы, окружавшие Вену. Вдруг латинская речь смолкла. В комнате стоял, потирая руки, старичок с красными веками, серовато-зелеными, почти сивыми волосами, в серой тужурочке, и вся его невзрачная внешность дядьки из военного училища говорила о полном добродушии.

Подойдя к Конфалоньери, он быстро заговорил:

— Рад вас видеть. Князь сказал мне, что вы желаете сообщить мне что-то.

Тут старик понял, что человек в серой тужурочке — это Франц Габсбургский, австрийский император. Колени его затряслись, он пошатнулся и едва не упал на ковер.

Молодой священник поддержал его под руку. Франц также поспешно схватил его за локоть и произнес:

— Встаньте, говорят вам, встаньте. И говорите, в чем дело. Если сообщение будет важное, я могу отсрочить казнь вашего сына.

— Государь, я прошу о помиловании.

— А я вас прошу о помиловании государей Европы от дикого неистовства таких негодяев, как ваш сын. Если б я знал, что вы станете просить за него, то я ни за что не дал бы вам аудиенции. Вы злоупотребили моим доверием. И если вы честный христианин, то принесите вашего сына в жертву божественному правосудию. Оно примирит его с землею, только смертная казнь откроет ему дорогу в рай. Неужели вы хотите гибели собственного сына?

— Повидайте его, государь, спросите его сами, вы увидите, что он невиновен.

— Да, я повидаю вашего сына, но не скоро. В соседней комнате ждет вас отец Павлович, духовник всех заключенных. Он примет вашу исповедь, и потом вы повидаетесь с сыном там, где будет вам указано, и прикажете ему, под угрозой отцовского проклятия, ничего не укрыть от оскорбленного им императора. — Хлопая каблуками по полу и везя шпоры, Франц вышел из комнаты.

Карбонарий Конфалоньери был доставлен в Вену. Ему было объявлено помилование. Смертная казнь была заменена пожизненной моравской тюрьмой, с ежедневной исповедью у священника. Граф Седленицкий сообщил Конфалоньери о том, о чем не успел сказать осужденному карбонарию родной отец, умерший на обратном пути из Вены в Милан.

С любезной мягкостью министр полиции сообщил карбонарию о том, что он удостоится чести видеть князя Меттерниха, государственного канцлера.

В открытых санях Седленицкий повез сам, без конвоя, Конфалоньери в Шенбрунн. Несмотря на зимний день, окна во дворце были открыты; Меттерних любил холод. Комнаты императора были закрыты ставнями.

Седленицкий ввел Конфалоньери в маленький уютный кабинет с камином и статуэтками из севрского фарфора на письменном столе. Голубые штофные обои по стенам и голубая портьера успокоительно ласкали зрение. Конфалоньери не мог стоять от усталости и изнурения. Но в ту

минуту, как он хотел сесть, вошел Меттерних. Напудренный, элегантный, спокойный, он постарался сделать все, чтобы Конфалоньери почувствовал себя в гостях. Он спросил его о здоровье, поздравил его и сказал, что для него ничего не потеряно.

— Вы вполне можете рассчитывать на мою хорошую память. Я глубоко убежден, что вы, дворянин, совершенно случайно попали в движение, последствия которого для вас, как для разумного человека, должны быть очевидны. Я думаю, что вы расстались уже с детскими иллюзиями человеческого счастья, обусловленного политической свободой. Будемте говорить прямо: в Европе тлеет уголь опаснее вашего карбонарского угля. Если не заливать его всюду святой водой, то этот уголь разгорится в пожар и испепелит Европу. Как могли вы, отпрыск знатнейшей ломбардской семьи, спуститься в эту шахту угольщиков, подрывающих почву под всей Европой? Имейте в виду, что, открывая ломбардской буржуазии дорогу к управлению страной, вы не только предали дворянство, но вручили ключи от двери к революционной власти самым опасным классам: вы возмутили итальянскую чернь, забывая, что она в первую очередь сметет вас и нас, а потом и тот круг способных людей, для которого вы просите представительного участия в правительстве по испанскому типу. Нам хорошо все известно. Мы с наших высот видим гораздо больше, чем вы у себя на равнине и чем ваши угольщики в подполье. Я советую вам вернуться в общество и помочь себе и нам в серьезном деле спасения Европы. Это не шутка и не призрак. Темную массу народа надо обуздать, а не распускать якобинской проповедью.

— Князь, кажется, забыл, что я не якобинец, но вместе с тем я уверен в полной невозможности завтрашний день превратить во вчерашний.

— Понимаю вас, граф. Вдвойне понимаю. Я хочу, чтобы лично для вас и для ваших товарищей завтрашний день стал легче вчерашнего. Это случится непременно, если вы согласитесь на совершенно конфиденциальный разговор с государем, который интересуется подробностями революционного движения в вашей Северной Италии до и после неаполитанской революции.

Конфалоньери встал с такой поспешностью, что Меттерних широко раскрыл глаза и поспешно добавил,

быстро бросив взгляд на голубую штофную портьеру, перегораживавшую кабинет:

— Должен вам сказать, что сведения эти для государя ныне представляют интерес только исторический, так как нам все достаточно хорошо известно.

Конфалоньери уже овладел собою и ответил коротко:

— Если это составляло предмет вашего интереса, князь, то я лишен возможности восстановить в памяти что-либо. Все в ней стерлось бесследно; остались живыми лишь сожаления о близких людях.

Два жандарма вошли и надели кандалы на руки Конфалоньери. Меттерних смотрел на него с презрением, как на простого преступника, и махнул рукою жандармам, которые вывели Конфалоньери.

Из-за голубой портьеры показался император Франц.

Вся Италия покрылась трауром. «Друзья Маргариты» — австрийские шпионы, жандармы в форме, в рясе, в одежде простолюдинов шныряли и работали всюду. Голодные и жадные, пишущие друг на друга доносы, втроем сговариваясь, чтобы свалить четвертого под предлогом недостатка рвения в этом четвертом, эти «друзья Маргариты» рвали австрийские подачки, требовали денег на уничтожение заговоров там, где их не было, и создавали подставные, бутафорские конспирации. В это же время неоткрытые итальянские венты вели поистине страшное и героическое существование. В Капуе одиннадцать венераблей, наместников главнейших карбонарских объединений, съехались для обсуждения вопросов о дальнейшем существовании своих организаций. Они вынесли суровое осуждение своей собственной оторванности от масс населения, осуждение за то, что они доверились представителям чуждых народу классов, они сурово осудили Паллавичини и Кастилиа. Считая, что они находятся в тюрьме и потому не подлежат наказанию, они все же приговорили их к смертной казни. Затем эти одиннадцать составили список предателей и наиболее опасных представителей духовенства, которые должны понести наказание смертью. Они поставили во всю ширь вопрос о вхождении разведкой во все австрийские органы, чтобы Санта-Маргарита ответить твердой и тонкой работой «Верховной венты». Остался последний вопрос, его надо было решить быстро. Съезд одиннадцати был однодневным. Это был вопрос, где быть «Верховной венте». Реше-

ние было единогласно: во Франции. Кому быть вождем? Ответ: Базару, социалисту, сберегшему коммунистическое учение Кая Гракха Бабефа.

В середине сентября 1821 года Байрон писал Томасу Муру:

«Я сейчас в поту, в пыли, наполняю воздух руганью; все это по случаю вынужденного переезда в Пизу, где я, очевидно, проведу зиму. Причина этого переезда — высылка всех моих друзей карбонариев, а в том числе и всей семьи Гамбы».

На берегу реки Арно переселившийся в палаццо Ланфранги Байрон не прерывал сношений со своими друзьями. Но ненадолго удалось ему обосноваться в этом городе. Замышляя поездку в Грецию, охваченную восстанием против турок, он был попрежнему предметом внимания «друзей Маргариты».

Ранней весной 1822 года, возвращаясь после загородной поездки верхом, Байрон, молодой карбонарий Гамба, поэт Шелли и еще двое были встречены у Пизанских ворот австрийским драгуном, который зацепил Байрона за ботфорты, как бы нечаянно задев его лошадью, а затем ударил хлыстом грума. Двое слуг Байрона схватили лошадь австрийца под уздцы. Драгун выхватил палаш, но через секунду упал, раненный ножом.

Через час вся прислуга Байрона была арестована, в том числе его любимец — гондольер Тита.

Горсти золота открыли ворота арестного дома, но, по требованию властей, Байрону пришлось выехать в Ливорно. Положение пэра Англии и члена Палаты лордов мало спасало его от преследования полиции. В Ливорно возникла опять внезапная ссора слуг, спровоцированная новым лакеем Гамбы. Началась поножовщина, взбудоражившая всю улицу. С парой пистолетов в руках Байрон унял дерущихся. Но возникло большое судебное дело, в результате которого единственным местом, где было разрешено жить Байрону в Италии, стала Генуя. Власти вежливо предупредили его, что из этого приморского города он может в любой день выехать в открытое море и никогда не возвращаться в Италию. Генуя была

последним итальянским городом, в котором жил Байрон перед своим последним путешествием. Ворота мира становились все у́же и у́же. За пределами Генуэзского порта перед ним был чужой и страшный мир, зима мертвой реакции, и единственный пункт, горевший ослепительным огнем свободолюбивой романтики, — это были греческие поля, на которых маленький народец стремился отвоевать свои права на жизнь.

Байрон и Гамба в мае 1823 года могли только читать и перечитывать книги об Италии. Гамба принес шумевшую тогда книгу барона Стендаля «Рим, Неаполь и Флоренция в 1817 году» и открыл ее на том месте, где автор говорит о Байроне, как о собеседнике, встреченном в Милане.

— Не помню Стендаля, — сказал Байрон.

— Стендаль, — ответил Гамба, — это тот самый Бейль, с которым вы вошли в театральную ложу Брэма и в карбонарскую ложу Конфалоньери.

Утром следующего дня Байрон писал в Париж:

«Милостивый государь, я только сейчас узнал, кому я обязан лестным отзывом обо мне, так как сейчас прочел книгу «Рим, Неаполь и Флоренция в 1817 году». Я только сейчас узнал в ее авторе, господине Стендале, вас, Анри Бейль! Я думаю, что справедливо будет, независимо от того, приятно или неприятно вам это воспоминание, обратиться к господину Бейлю с благодарностью за слова обо мне и напомнить наше знакомство в Милане в 1816 году. Вы оказываете мне большую честь. Но едва ли не большее удовольствие, чем ваш отзыв обо мне в книге, доставляет мне сам автор этой похвалы. В нем я узнал (к великому удивлению, опять совершенно случайно!), что именно вы даете отзыв, ибо именно ваше уважение я горячо стремился заслужить с первых дней существования миланского кружка, в котором мы с вами встретились и вспоминать который я не могу без того, чтобы не захватило дыхания. Так все переменилось с тех пор! Смерть, ссылки, австрийские тюрьмы разлучили всех, кого мы с вами крепко любили...

Бедный Пеллико! Я надеюсь, что прекрасная муза дает поэту хоть некоторое утешение в жестоком одиночестве. Наступит ли когда-нибудь такое время, когда поэт будет дышать воздухом свободы и даст нам при встрече

снова почувствовать все обаяние его таланта? Если вы удостоите меня ответом, то очень прошу вас прислать письмо по генуэзскому адресу как можно скорее, так как теперь уже, вероятно, в силу целого ряда причин я не смогу оставаться больше в Италии и еще раз принужден буду предпринять путешествие в Грецию.

Прошу вас верить в то, что, несмотря на кратковременность наших встреч, я сохраняю о них самые живые воспоминания, и позвольте мне надеяться, что будет время, и мы снова встретимся.

Ваш Ноэль Байрон».

Через год в маленьком местечке Миссолунги Байрон погиб перед началом наступления на турок возглавляемого им греческого отряда.

Глухой полночью австрийская полиция ворвалась в палаццо Ланфранги и, подняв каменные плиты пола, обнаружила скрытый под ними большой склад оружия, оставленный Байроном вследствие вынужденного отъезда.

В Шпильберге каторжанин Кунд организовал снабжение узников бумагой и перьями. Конфалоньери устроил подпольный тайник. Здесь хранились самые драгоценные вещи — порошки для симпатических чернил и бумага.

Тереза Конфалоньери изредка получала бесформенные клочки бумаги, покрывала их мокрой тряпкой и проглаживала утюгом. Выступали красные буквы, и она читала письма мужа. Иногда приходили целые пачки таких клочков; она сшивала их, тщательно берегла и со слезами перечитывала страницу за страницей. Это были записки Сильвио Пеллико, из которых через много лет возникла книга «Мои темницы».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава двадцать восьмая

Привычка разговаривать с дорожными спутниками снова вернулась к Бейлю, как только он въехал на Лионское шоссе.

Но это было не простое и бескорыстное любопытство прежних лет.

Вмешательство в разговор двух собеседников, севших в дилижанс в Лионе, вызвано совершенно другими соображениями: хотелось понять, что представляет собою теперешняя Франция, о которой он знал понаслышке из остроумных, но в конце концов малоубедительных писем Мареста.

«Без работы корабль жизни лишается балласта и становится неустойчивым, — думал он. — Но какой работы? Что представляет собою нынешняя Франция? Дадут ли мне работать?» Все эти вопросы стали его особенно тревожить, когда он прислушивался к разговору лионцев.

— По количеству фабричных труб, — говорил один из них, — Лион чуть ли не первый город Франции, во всяком случае в нем столько рабочих, что они составляют основную массу городского населения. Вот почему именно здесь разразились ужасные события. В течение трех лет после голодного тысяча восемьсот семнадцатого года бесследно исчезали целые семьи, участились грабежи, подметные письма, вымогательства, дневные налеты людей в масках. Полиция была бессильна. Однако ловкость

Шаброль-Крузоля, лионского префекта, позволила довольно быстро обнаружить нужных ему преступников, — это были лучшие мастера ткацких фабрик Лиона. Их по приговору суда вешали на площади и гильотинировали в тюрьмах. Вскоре целый ряд свидетельских показаний установил, что большинство лионских рабочих вооружено, что по течению Роны все деревни к северу и к югу запасаются оружием. Но обыски ничего не доказали. Буржуазия Лиона считала необходимым обвинить ткачей. А так как вооруженная шайка продолжала бесчинствовать, то городские фабриканты вынудили префекта обратиться к генеральному комиссару полиции — Сенвиллю. Они заявили, что лионский пролетариат — очаг преступности. В настоящее время во Франции пять полиций, которые враждуют друг с другом, а так как генеральный комиссар руководит открытой полицией, то он, конечно, ничего не знает. Послали старика Мармона, герцога Рагузского, и только ему удалось установить организаторов этих страшных провокаций, терроризировавших Лион. Ими оказались: генерал Канюэль, старый вандейский контрреволюционер Россиньоль, а третий — это сам лионский префект Шаброль-Крузоль... Вот и делайте, что хотите, с такой компанией правительственных чиновников, — закончил рассказчик, обращаясь к соседу, так же бедно одетому, как и он.

— Но ведь надо надеяться, что их повесили, — вмешался Бейль.

Лионцы переглянулись.

— Откуда вы едете? — спросили они.

— Из Женевы, — ответил Бейль осторожно. — Я тамошний часовщик.

— Видите ли, господин часовщик, мы оба служили двадцать лет тому назад в армии и никак не можем привыкнуть ко всем этим переменам. Вы как швейцарец можете, конечно, и не знать, а нам-то уж хорошо известно, что есть король, есть Палата и есть брат короля, который хочет распустить Палату. Говоря правду, не очень нам нужна эта Палата, но нам не нужны также и дворяне графа д'Артуа — королевского брата. А граф д'Артуа, после того как Лувель убил наследного принца, помешался на заговорах. И там, где их нет, он велит организовать их, чтобы пугать короля Людовика Восемнадца-

того. Понимаете, в чем штука? Вся лионская шайка оправдана.

Бейль молчал.

Франция ошеломляла его: если в Италии австрийский гнет создавал впечатление какого-то внутреннего единства страны, то здесь само французское правительство играло роль угнетателя.

С этими невеселыми мыслями приехал Бейль в Париж.

Он поселился в сорок седьмом номере Брюссельской гостиницы, на улице Ришелье, потому только, что встретил там слугу своего давно умершего друга Дамаса. Этому человеку, по фамилии Пти, он вручил свои деньги и имущество.

Он писал в дневнике: «Парижские впечатления скользят мимо или внушают мне презрение; все мои мысли прикованы к каменным плитам площади Бельджойозо в Милане!»

Старый друг Марест, тридцатишестилетний человек, глуховатый, сморщенный, подслеповатый, был колючим, острым и злым собеседником. Он вырос в Турине, где «научился совершенно бесподобной глубокой пьемонтской злобе», полному недоверию к судьбе и людям и ненависти к Бурбонам. Все это больше, чем когда-либо, роднило его с Бейлем. Только с Марестом вел Бейль переписку в дни туринского восстания, очевидцем которого он был.

— Больше всего отвратителен мне толстый Людовик Восемнадцатый с его бычьими глазами. Этого неуклюжего калеку таскают шесть лошадей. Я сегодняшний день встретил его карету четыре раза, — говорил Бейль Маресту.

— Он, кажется, довольно благодушен. Но не слишком ли часто он ездит по Парижу? — отвечал Марест. — Ему, конечно, надоедает вечная борьба с Марсанским павильоном.

— Что такое Марсанский павильон?

— Это логовище графа д'Артуа. Там он живет со своей сворой, мечтает о восстановлении майоратов, дворянских привилегий, об уничтожении палат, много молится и фабрикует ханжей на всю Францию... Но больше всего он занят использованием права короля на произвольную раздачу военных патентов.

— Да, я слышал об этом. Сто пятьдесят генералов уже уволены в отставку и заменены всевозможной сволочью из свиты графа д'Артуа. Таким способом он обеспечивает себе свой собственный командный состав в армии.

— Послушай, Бейль, наши посещения кафе «Руан» не могут оставаться дальше секретом. Ты должен появиться у друзей.

— Я нигде не хочу появляться, — ответил Бейль. — Достаточно с меня твоего общества и обедов в компании Крозе и Коломба.

Вечером в Большой опере Бейль случайно познакомился с американцем. В фойе новый знакомый задал ему не мало вопросов, касающихся Франции, ее литературы и политики.

Вопросы американца подтвердили основательность собственных недоумений Бейля.

Вернувшись домой в одиннадцать часов (это было 29 декабря), Бейль положил ноги в шофретку и стал писать письмо инспектору по собиранию косвенных налогов в Монт-Бризон на Луаре. Он писал до поздней ночи и забавлялся своим странным письмом, в котором со стенографической точностью передавался разговор с американским гостем. Заканчивался диалог вопросом американца о возможности слышать в Палате пэров знаменитого Шатобриана. «Это совершенно невозможно, — ответил я. — Так как правительство опасается, что Палата пэров может оказать чрезмерное влияние на общественное мнение, заседания этого высокого учреждения и речи, произносимые с его трибуны, держатся в строжайшем секрете... Вы видите, мой дорогой друг, из нашего обмена мнений жалкое состояние французской литературы. Это в то время, когда по соседству в Англии живут и пишут восемь поэтов, а в Италии гордятся именами Монти, Манцони, Пеллико и... Фосколо!»

Засыпая, Бейль думал о том, что он не в силах переступить порог того дома, где все было полно воспоминаниями о молодости и о Наполеоне, — порог дома Дарю. Утром Бейль проснулся в десять часов от стука в дверь.

Пришли Коломб и Марест.

— Ну вот, не нужно посылать письма, раз ты приехал, — сказал Бейль, обращаясь к Коломбу.

Пока он одевался, пришедшие громко хохотали и издевались над каждой фразой диалога с американцем.

Бейль отнесся довольно безразлично к насмешкам. Ему хотелось есть.

Пошли в кафе «Руан».

Выпив чашку кофе с двумя бриошами, Бейль и его друзья направились к журналисту Лингаи, о котором шел разговор в кафе «Руан». Лингаи они застали за работой вместе с молодым человеком в сером сюртуке, с оловянными глазами и большим носом.

— Что за отвратительная фигура? — спросил Бейль.

— Это молодой юрист, сын художника Мериме.

Бейль насмешливо оглядел молодого человека. Мериме встал, холодно поздоровался и, слегка поднимая брови, неприязненно и долго посмотрел на Бейля. Лингаи читал свою газетную статью, написанную по заказу министра Монморанси. Статья, блестящая и горячо написанная, защищала совершенно вздорную мысль.

Обведя глазами присутствующих, Лингаи обратился к Мериме:

— Вот вам второй урок риторики. Если вы хотите быть до конца молодцом, вы должны уметь написать прямо противоположное, но с одинаковым блеском и убедительностью.

Говоря так, он взял лист бумаги и стал читать не менее красноречивое опровержение своей собственной статьи. Эффектно закончив последнюю фразу, он швырнул лист на стол и сказал:

— А это заказано министром Корбьером для другой газеты. Так мы создаем общественное мнение Франции. Хуже всего, — сказал он, обращаясь к Мериме, — что я верю и той и другой статье.

— Вернее, вы не верите ни одной, — ответил Мериме. — Я уважаю в вас это презрение к гражданским обязанностям, дорогой наставник.

Лингаи прочел статью. Марест хохотал. Коломб был в ужасе.

Бейль спокойно заметил:

— А я думаю, что Лингаи верит обеим статьям. Не помню сколько лет тому назад, в одну и ту же неделю он дрался на дуэли из-за двух женщин. Он верил и той и другой — ему верила и та и другая.

Лингаи с благодарностью посмотрел на Бейля.

— Приходится признаться, что упражнения в риторике — довольно полезная вещь, для моего ученика в особенности. — Он жестом указал на Мериме. — Если бы риторика не доставляла развлечения, то журналисту, серьезно относящемуся к делу, пришлось бы повеситься или переменить профессию, что иногда бывает значительно труднее, чем сунуть шею в петлю. Если бы мне предложили занять пост нынешнего премьера, то я не согласился бы. Знаете ли вы, что сделал с могущественным премьером недавно Жирарден, незначительный депутат и посредственный журналист?!

Не дожидаясь вопросов, он продолжал:

— В качестве премьер-министра Виллель внес в Палату проект крайне сурового закона о печати. Журналист Жирарден, депутат, всходит на кафедру и произносит пламенную речь против закона. Его пафос никого не заражает. Правые кричат: «Довольно!» Речь проваливается; один Виллель в министерской ложе вертится, чувствуя себя, видимо, плохо. Наконец, Жирарден поднимает руку и кричит на всю Палату: «Да имейте же уважение к премьеру! Я читаю дословно его собственную речь тысяча восемьсот семнадцатого года. Я ничего не прибавил от себя». В Палате скандал, и при громком хохоте левой и центра премьер уходит из ложи. Нет, все-таки журналистом быть лучше!

Рассказ Лингаи всех рассмешил, особенно Мареста. Его острая бородка тряслась от смеха, он испускал неопределенные восклицания и брызгал слюной. Затем, обратившись к Бейлю, сказал:

— Привыкайте, старина. Это вам не Милан. Мы живем в *конституционной* стране.

— Да, в этой конституционной стране я начинаю чувствовать отвращение к политике так же, как раньше к религии.

Марест повернулся и, схватив его за локоть, сказал:

— Господа, вот полюбуйтесь! Он ненавидит религию и презирает политику. А между тем я имею точные сведения о том, что во время приезда в Гренобль из своего хваленого Милана пять лет тому назад именно Бейль повел бешеную агитацию в Гренобле и буквально протащил в Палату аббата Грегуара. Вот его религия и политика! От департамента Изеры прошел — не угодно ли — аббат Грегуар! Имейте в виду, дорогой друг, что этого поступка

вам до сих пор не прощают в Париже в некоторых салонах.

— Я не собираюсь бывать в гостиных. Что касается старика Грегуара, религия тут ни при чем. Надо помнить, что Грегуар — член Конвента и что он первый в тысяча семьсот девяносто втором году потребовал ареста Людовика Шестнадцатого.

— Вот я и говорю, — останавливая Бейля, сказал Марест, — что если религия тут ни при чем, то политика имеет большое значение. Вполне допускаю мысль, что ты не знаешь всех последствий. Самая угодливая в мире Палата отказалась допустить Грегуара в свою среду, юридически не имея права лишить его депутатских полномочий. А король само это избрание считает для себя величайшим оскорблением.

Бейль пожал плечами.

— Марест, я не понимаю, к чему ваше выступление.

— Да к тому, чтобы вы не надевали маски.

— Не вижу, в чем тут логика, — возразил Бейль.

Разговор на том оборвался. Мериме с величайшим любопытством смотрел на Бейля.

Бейль нашел взгляд довольно дерзким и повернулся к своему новому знакомому спиной.

Через минуту Бейль говорил:

— Я все-таки не понимаю, что здесь происходит. Ну вот хотя бы, что за фигура этот Барро, с которым меня познакомил Коломб? Он абсолютно лишен фантазии, в биржевых делах он как рыба в воде, он подсмеивается над титулами и дворянством, он убежден, как он сам выражается, что настало время неограниченных возможностей для способных людей. В чем обнаруживаются его способности? В уменье перекупать процентные бумаги?

— Да ведь это же делает всякий банкир, — вмешался Коломб, — а Барро имеет банкирскую контору в Люневилле. Нельзя же всем заниматься литературой, музыкой и живописью. Надо кому-нибудь наращивать капитал. Барро — это новый человек новой Франции.

— Поздравляю новую Францию, если ее новый человек такая скотина, — сердито сказал Бейль. — Совершенно несомненно, что под видом всех этих конституций, палат, депутатов, общественного мнения осуществляется власть буржуа.

— Я этого не думаю, — внезапно сказал Мериме. — Уверен, что через несколько лет аристократия сломает шею буржуазии.

— А я уверен, — ответил Бейль, — что ее власть окончательно укрепится. Все сведется опять к благополучной тысяче людей, для которых целью жизни станут деньги, нажива, биржа и все развлечения сведутся к веселым вечерам и ночам в крысиных норах.

— Это хорошее название для балетных кулис и для притонов танцовщиц, — сказал Лингаи. — Но театров не хватит. Вам придется увеличить число парижских публичных домов.

— И то и другое стоит довольно дорого, — желчно возразил Марест. — Поэтому не позже, чем через три дня, я собираюсь жениться.

— Это шутка? — спросил Лингаи.

— Нет, это не шутка! Если я этого не сделаю, то моя старуха мать завещает все состояние церкви.

— Я не знал, что вы такой скаред, — с негодованием заметил Бейль.

— Вы говорите так только потому, что у вас нет ни гроша за душой, — желчно ответил Марест и надулся.

Бейль не произнес ни слова. Весь вечер он не возобновлял разговора с Марестом.

Утром следующего дня Марест напрасно ждал его в кафе «Руан». Бейль не приходил. Марест прочитал все газеты, раза четыре взглянул на часы, пожал плечами и ушел. Бейль сидел в кафе «Лемблен» один, пил кофе, читал газеты и думал: «В Италии бедность не считается преступлением и деньги ничего не прибавляют человеку в глазах общества живых и занимательных людей, которые там меня окружали».

Он вынул записную книжку и стал подсчитывать свои расходы со дня приезда в Париж. Записная книжка была старая, давнишняя, парижская. Просматривая расходы, Бейль вдруг поймал себя на мысли, что выпала статья специальных расходов на женщин. Он был до такой степени погружен в море своих итальянских впечатлений за истекшие четыре года, что даже не заметил этой огромной перемены в себе. Расходы на все остальное были тоже очень невелики. Самая главная статья — театр и книги.

«Можно ли быть довольным собой?» — подумал Бейль и решил, что ему не следует менять образа жизни. Для того чтобы иметь деньги, он не мог и не хотел ударить палец о палец.

Воздержание, к которому он привык в Милане и которое впервые заметил, вернувшись в Париж, его рассмешило.

В те минуты, когда после кофе Марест посматривал на часы, ожидая Бейля, последний испытывал непривычное состояние одиночества, но не чувствовал ни малейшего желания встретиться с Марестом. Он вышел из кафе «Лемблен» и пошел через Тюильри по набережным, останавливаясь около каждого торговца гравюрами. Чувство сильнейшей тоски охватило его под большими каштановыми деревьями Тюильрийского сада. В состоянии отвращения ко всему окружающему Бейль вслух произнес, отвечая на свои мысли о Метильде:

— Раз я не могу ее забыть, то самый лучший исход — самоубийство.

Обогнавший Бейля прохожий с удивлением оглянулся.

Чтобы пропустить его мимо себя, Бейль сделал вид, что не может достать носового платка из редингота, и остановился. Вместе с платком на песчаную дорожку выпал билет на имя барона Мареста, выданный для бесплатного посещения Луврского музея. «Вот где надо провести день!» — обрадовался Бейль и пошел в Лувр.

Длинные галереи с лучшими произведениями итальянской живописи заставили его вернуться к воспоминаниям о посещениях миланской «Бреры». Париж был совершенно забыт среди великолепных картин и статуй. Вот, наконец, копия с картины школы Леонардо «Иродиада», Бейль изменился в лице и, стоя перед полотном, испытывал то странное состояние, которое наполняет человека одновременно чувством горечи и наслаждений. От этой картины Бейль мог оторваться лишь для того, чтобы уйти из музея.

Его охватила парижская горячая пыль. Опять, идя по набережной и покупая английские издания Шекспира в маленьких томиках, он встретился глазами с человеком, глядевшим из кареты, запряженной шестеркой. Толстое вялое лицо и бессмысленные бычьи глаза. Французский король примелькался парижанам. Прохожие даже не поворачивали головы. Лошади медленно тащили экипаж.

«Какая скука, — подумал Бейль. — Вероятно, этот бык, глядя на мою голову итальянского мясника, так же думает обо мне без лести, как и я о нем. Тем лучше!»

Пересекая дорогу и раскрыв руки, Бейлю загородил путь Марциал Дарю.

— Можно ли так прятаться? Сейчас же идем к нам. Ты ни разу у нас не был. Сегодня у нас обедает твой приятель Филипп.

— Ну если обедает Филипп Сегюр, то разреши в другой раз. Я несколько раз обедал с Филиппом Сегюром за рабочим столом императора. Тогда Филипп не мог говорить ни о чем, кроме своих тридцати ран. Это действительно храброе животное. Но если он был героем в России, в этой азиатской стране, то неужели в Париже вы не можете понять всей его низости?

— В чем его низость? — спросил Марциал. — Впрочем, думай как хочешь. Филипп написал очень интересные воспоминания о походе в Россию и скоро их напечатает.

— Вот уж это одно говорит о его низости. При Бурбонах печатать что-либо о Наполеоне — это значит совершать подлог. Что он может сказать искреннего и честного о русском походе, не подлаживаясь при этом к Бурбонам? Я говорю, что Филипп — мерзавец и напечатает книгу только для того, чтобы получить синюю ленту от Людовика Восемнадцатого. Я к тебе приду, Марциал, и довольно скоро. Передай привет графу и графине.

С этими словами Бейль быстро перешел на другую сторону. Луврская картина стояла перед глазами. Бейль твердо и без колебаний решил на следующее утро отправиться в Лондон.

Вернувшись в гостиницу, Бейль думал, что резко обошелся с Марциалом. Но если бы встретился кто-нибудь другой, эта резкость была бы неизбежной: образ Метильды покидает его всякий раз, как только кто-нибудь остановит его на дороге. Всякая встреча на улице, прерывавшая течение его мыслей, вызывала в нем приступ бешенства. А так как мысли были далеко от Парижа, то всякая парижская встреча вызывала раздражение. В таком состоянии вошел Бейль в маленькую, со вкусом убранную комнату Брюссельского отеля.

Бывший слуга, а ныне содержатель гостиницы, Пти, отделал жилище Бейля заново. Книги, альбомы римских

видов, флорентийское издание Пиранези и гравюры по стенам украшали комнату. Огромный письменный стол, покрытый малиновым сукном, был завален рукописями. Около кожаной оттоманки, над которой была полка со статуэтками из Танагры, на кожаном кресле и на полу лежали огромные томы голландского перевода «Тысячи и одной ночи». На подоконнике вороха тонкой бумаги, театральные афиши итальянских концертов, программы, сплошь исписанные карандашом, записки о неаполитанских событиях, сделанные под непосредственным впечатлением рассказов полковника Скотти, чередовавшиеся с размышлениями о любви. И так как этих размышлений накопилось очень много, то Бейль решил превратить их в целый трактат. Осмотревшись кругом, он подошел к письменному столу и с радостью заметил, что работа на три четверти готова.

— За границей могут приходить в голову гениальные мысли, но книгу можно писать только во Франции. В этом я убедился, — шепотом сказал Бейль и, пройдясь из угла в угол, сел за работу, решив, что лучшее дело, какое может он найти себе во Франции, — это *создавать книги.*

Вернувшись к своим мыслям, 1814 года, когда он в Париже после приезда из России снова засел работать над «Историей живописи», Бейль дал себе слово работать изо дня в день. Заскрипело гусиное перо, и он вывел большими буквами латинскую фразу: «Nulla dies sine linea» — «Ни одного дня без письма», и повесил этот листок над письменным столом как напоминание.

В пять часов в дверь постучали три раза. Бейль взглянул на часы: звали к табльдоту. Бейль занял свое место. Через минуту, ехидно улыбаясь и посмеиваясь, вошел Марест и с любопытством взглянул на Бейля.

— Я уже справлялся о вашем здоровье. Отчего вы не пришли в «Руан»?

— Я был в кафе «Лемблен».

— Вот как, — в этом притоне конспираторов и опасных либералов? [1] Поздравляю!

Человек пять или шесть, опустив газеты и оторвавшись на секунду от чтения, метнули глазами на Мареста. Эти

---

[1] В начале прошлого столетия термин «либерал» был равнозначен современному «революционер». *(Примеч. автора.)*

«пять-шесть», как лица «без определенных занятий», были отмечены особой печатью обитателей гостиниц. Никто не интересовался ими и их посетителями, но Бейль успел узнать, что им можно верить и что они в сущности имеют вполне определенные занятия. Это мнение подтвердилось впоследствии их участием на баррикадах в 1830 году. Бейль спокойно ответил Маресту:

— Благодарю за поздравление.

Глава двадцать девятая

Концы флагов щелкают, как тысячи бичей; морские канаты натянуты до отказа. На пристани тускло горят фонари, дождь сечет крупный, сплошной. Поздняя ночь в Калэ. Волны с ревом ударяются о берег, молнии чертят небо, без перерыва свистит и воет ветер. Этот заунывный звук ветра охватывает огромные пространства.

Воздух сырой, тяжелый.

В эту ночь Бейль и его спутник, военный экс-комиссар Эдвардс, тщетно разыскивали в темноте среди леса мачт на огромном дебаркадере узкий коридор, чтобы пробраться к маленькому неуклюжему пароходику с огромными колесами по бокам, недавно начавшему переброску пассажиров с французского берега в Англию и обратно через Ламанш.

Поиски длятся целый час. Англичанин Эдвардс говорит:

— Кажется, только на русском языке можно по-настоящему выругать эту погоду и безрезультатные поиски нашего *пироскафа*.

Бейль молчит и вздрагивает: тонкая холодная струйка воды бежит за ворот по спине. Ветер рвет из рук зонтик и сбивает Бейля с ног.

Поднимая грязный баул из лужи, Бейль еле удерживается от ругани.

Голова болит, во всем теле ломота. Вчера в отвратительной грязной гостинице, куда приехали в дилижансе, Бейль и Эдвардс в нетрезвом виде поругались с английским офицером, который назвал их «вралями». Сегодня утром оба узнали, что оскорбитель уехал.

Эдвардс стонет по поводу того, что оба они остались неотмщенными. Бейль вяло говорит ему, что они найдут

этого капитана в Дувре и вызовут его на дуэль. Но из-за чего произошла ссора, Бейль не может вспомнить. Ах, да, вот в чем дело: Эдвардс рассказывал о происшествии в Лондоне, на Катор-стрит, где собрались на секретное совещание все министры Англии. Только что произошли манчестерские бои с рабочими.

— Ведь вот странная вещь, — говорил Эдвардс. — Эти фабриканты забивают рынок товарами, совершенно не считаясь с тем, нужны ли они, и без конца заботятся о новых машинах, заменяющих живого рабочего. А как только рассчитали лишних рабочих, началась манчестерская история. Возьмите хотя бы историю на Катор-стрите! Карбонарий Тистльвуд, вроде итальянцев, о которых вы рассказывали, и тридцать таких же, как он, головорезов узнали о секретном совещании министров в частном доме и решили свернуть им шеи, как цыплятам.

— И эти сволочи поплатились головою, — раздался вдруг грубый голос с другого конца стола.

Это говорил английский капитан.

— Все казнены, — продолжал он, глядя в упор на замолчавшего Эдвардса, — и наш король Георг Четвертый совершенно спокойно путешествует по Шотландии и Ирландии, где его всюду встречают овациями.

— Он хорошо носит национальные костюмы, наш элегантный старый джентльмен, и я ничего не хочу сказать плохого о короле, — произнес Эдвардс, подливая себе пива. — Скажу только, что в прошлом году, со смертью Георга Третьего, умерла и умиротворяющая политика вигов. Наша конституция сводится к нелепости. По чьей вине прекращено действие habeas corpus act'a? По вине торийского министерства! Вы арестовываете напропалую, не предъявляя обвинений по три дня!

Бейль, выпивший столько, что голова кружилась от непривычного напитка, совершенно забывшись, со всею откровенностью высказался о лицемерии английского общества:

— Ваш Георг Четвертый возложил на себя корону Англии, а его супруга в это время не была одинока, проживая в Неаполе. Вам, конечно, известно, что когда она явилась в прошлом году в Лондон для предъявления своих прав на корону, то Георг Четвертый подал жалобу в Палату лордов, обвиняя свою жену в проституции. Капитан,

быть может, скажет нам, почему Лондон, встречавший овациями Каролину, теперь встречает овациями ее бывшего мужа, почему Георг преследует величайшего поэта Англии, почему все тот же Лондон громит жилища лорда Байрона, раздувая его бракоразводный процесс до размеров политического события? Потому, что английское лицемерие прощает все коронованному четвероногому и не прощает ничего свободолюбивому поэту.

Вот тут и начались крики, что «все это — вранье» и что «не стоит разговаривать с вралями». Капитан поднялся и, шатаясь, вышел из комнаты, прежде чем Бейль и Эдвардс поняли всю оскорбительность его слов.

Ветер свистел и шумел в ушах. Идти было скользко, говорить не хотелось, потому что приходилось кричать; косые струи ливня били в лицо. Бейлю хотелось вернуться, но Эдвардс настаивал на поисках. Наконец, сверкнувшая молния обнаружила стоянку парохода. Черная масса с высокой трубой и низкими мачтами стояла совсем неподалеку. Около фонаря матрос принял баул и повел путешественников на пароход. Где-то неподалеку лязгали якорные цепи. На полутемной палубе вповалку лежали кучами пассажиры, положив головы на ящики, мешки и узлы. С риском наступить кому-нибудь на лицо Бейль нетвердой походкой, чувствуя себя больным и насквозь промокшим, пробирался в каюту верхней палубы. При свете висячей лампы стали переодеваться, спросили коньяку, чаю и красного вина. Эдвардс распорядился сварить все вместе и этим пойлом поил своего спутника. Белокурые кудрявые волосы Эдвардса прилипли ко лбу, голубые глаза смеялись, хотя он был зол. Бейлю хотелось спать, но Эдвардс, сжимая кулаки, повторял, что он «должен разыскать эту скотину капитана» и непременно с ним драться. Под эту постепенно стихающую воркотню Бейль заснул.

Третий день в Лондоне. Ах, как далеки миланские дни и ночи карбонария Бейля! Днем — прогулки по городу и посещения Британского музея, ожидающего прибытия кораблей лорда Эльджина с украденными в Греции мраморами. Вечером проклятый надоевший Эдвардс таскает Бейля по кабакам и тавернам Лондона. «Тоска и отчаяние вызвали эту поездку!» На Темзе сгущается туман, канаты, скрученные пирамидами, пахнут морем. Рыбья чешуя

горами лежит на берегу. В низеньком трактире у фонаря, подслеповато мигающего зеленовато-желтым светом из мглы, Эдвардс находит капитана и шепчет Бейлю, уже нетрезвому и выбившемуся из сил:

— Вот он, наконец!

— Кто он? — спрашивает Бейль.

— Вот он, ваш враг! Идите, вызывайте его. Я — ваш секундант.

Это ужасно! Бейль никогда не был трусом, но тут волосы зашевелились у него на голове и руки онемели до локтя. Он не чувствовал никакой злобы к капитану. Подойти и оскорбить человека, бормотавшего что-то в пьяном виде, показалось ему диким и бессмысленным. Капитан прямо шел на них, но в двух шагах Эдвардс и Бейль — один с радостью, другой с досадой — увидели свою ошибку. К счастью, это был совершенно незнакомый офицер.

Бейль не мог вспомнить, он ли сам, или Марест произнес прекрасную фразу: «Дурной вкус ведет к преступлению».

Драка с капитаном была бы, несомненно, проявлением дурного вкуса. «Эдвардс — человек дурного вкуса. Наши дороги расходятся, — подумал Бейль, — надо лишь ускорить расхождение».

Бейль уехал в Римчонд. Это, конечно, досадно, так как за эти дни он может пропустить начало постановки шекспировских трагедий с гениальным Кином, а в сущности говоря — это главное наслаждение, манившее его в Лондон.

Ричмонд совершенно очаровал Бейля. С большой высоты открывается вид на зеленые луга, на огромные поля с исполинскими деревьями.

Бейль думал, до какой степени преступным искажением ландшафта была бы порубка этих деревьев. Однако во Франции с водворением буржуазии такая порубка совершается повсюду. Виды Ричмонда и Виндзора напоминали Бейлю дорогую для него Ломбардию, холмы Брианцы, Комо, Каденаббин — прекрасный край, где протекли его лучшие дни. Он вновь испытывал состояние «счастья, переживаемого безумно», как он сам любил писать, улавливая в воздухе этой местности пылинки какого-то странного огнистого вещества. Глотая его, он молодел, кровь бежала по жилам быстрее, глаза блестели и мысль

работала с необычайной живостью. Чувство ровного напряжения тепла пронизывало все тело.

Белые, блестящие, бесконечно далекие облачка на западе с заходом солнца горели над этой местностью. Днем под ласковым, ясным и радостным солнцем деревья и травы пламенели зеленым огнем, все вещи казались наполненными светом.

Спустя два дня, выходя из дубовой рощи и смотря на пашни, расстилающиеся перед холмом, Бейль вдруг поймал себя на мысли, что в воздухе Ричмонда, столь похожего на Ломбардию, совершенно растаял и утратил жизнь облик Метильды. Неужели на пути от Миланского собора до лондонского Тауэра он растерял свои страдания? Эта мысль была ему и грустна и отрадна.

В Англию Бейль ехал с мыслью излечиться от болезни любви, а когда почувствовал успех лечения, стало жаль болезни.

Позже, вечером, сидя на камнях старинного моста, спускающегося на нижнюю площадку Ричмондской террасы, и читая книжку «Воспоминания госпожи Хетченсон», Бейль услышал итальянское приветствие. Он обернулся. К нему подходил человек в голубом рединготе, в красных ботфортах без каблуков, с хлыстом в руке. Рыжая лошадь под седлом ржала неподалеку, у палисада сельского дома. Бейль вскочил: перед ним стоял Берше — неаполитанский изгнанник, карбонарий, поэт, не принадлежавший к *избранному* обществу, но бывший другом нескольких английских семей, живших в Милане.

— Виделись ли вы с леди Джерсей? — был первый вопрос Берше.

— Нет, — ответил Бейль. — Я ее не видел и не собираюсь видеть. Я знаю, что люди, переехавшие Ламанш, теряют память о встречах на континенте.

— Что за странная мысль! Но вы по крайней мере видели Гоббоуза, Брэгема?

— Знаете ли, Берше, если я встречу радушный прием, я не буду обрадован в той степени, в какой может меня огорчить холодная встреча или нежелание узнать.

— Вы напрасно так говорите, — сказал Берше. — Если вы стали таким недотрогой, то все же нет оснований опасаться, что здесь, в Англии, вас будут расценивать по рекомендациям барона Биндера и миланской полиции.

— Однако я слышал, что в Англии случаются вещи, которые далеко оставляют позади произвол австрийской полиции в Милане.

— Вы имеете в виду манчестерскую бойню? — спросил Берше.

— Да, именно ее, — ответил Бейль.

— Но ведь это событие было бы невозможно в Италии. У нас нет еще такого количества фабрик, как здесь. Даже шелковая фабрика во Флоренции, и та построена русским — Анатолием Демидовым. Не будьте более строгим к английскому обществу, чем к французскому. Однако что же мы здесь стоим? Пойдемте ко мне.

Маленький дом под красной черепицей принял собеседников.

— Я только что с прогулки верхом, — сказал Берше. — Давайте пить чай.

— Очень благодарен. Никогда бы не сказал, что итальянец может привыкнуть к этому страшному английскому вареву.

— Во Франции не пьют чая? — спросил Берше.

— Крайне редко, и то только в домах англоманов, — ответил Бейль.

— А что вы вообще можете сказать о французском обществе? Почему вы так пренебрежительно пожали плечами, когда я заговорил о нем?

— Ну, если мы можем говорить свободно, то я скажу вам, что мне отвратителен старый прогнивший мир, который сейчас проступает сквозь покровы новых лет, подобно тому как болотная вода просачивается сквозь настилку из свежего дерна. Аристократия бредит былым блеском, требует возврата имений и привилегий, мечтает об уничтожении конституции и реставрирует самые дикие и нелепые суеверия. Я слышал недавно Жозефа де Местра. Этот жулик-иезуит с величайшим красноречием проповедует фальшь, которой сам не верит. В то время когда в лабораториях производят опыты разложения воды на газообразные вещества, этот болван и шулер в обществе серьезных людей доказывает, что если поп кормит человека беловатым тестом, то оно очищает совесть человека. Ко всему прикладывает руку государство. Женщины стали набожными. Они считают Байрона исчадием сатаны и в салонах расставляют сети мистической философии молодым людям. Иногда такой опыт кончается выгодными

браками и хорошей должностью для обращенного. Чаще всего из этого ничего не выходит, кроме страшной скуки и лицемерия. Вы раскрываете объятия красавице, а она, прежде чем вам ответить, предлагает благоговейно поцеловать брильянтовый крест, висящий у нее на шее, и отдается вам, молитвенно сложив руки и устремив глаза в небо.

— Что за гадость! — говорит Берше. — Англия хороша хоть тем, что полиция не допускает иезуитов, пока они не изобрели способа перелетать Ламанш на ангельских крыльях.

— Да, но вы забываете, что никакие иезуиты невозможны в том обществе, которое само не склонно их порождать. Вся Франция пропитана фальшью, и человек, мечтающий о разумном применении своей энергии, должен там чувствовать себя несчастным.

— Ну, а как вы? Что вы делаете в Париже?

— У меня новый пароксизм влечения к литературе, но я не рассчитываю на успех. Вернувшись после семилетних скитаний, я вижу, что во Франции невозможно добиться успеха, не унижаясь и не заискивая перед газетами. Я полагаю, что подлость нужно поберечь до первого министра, и пока от нее удерживаюсь.

— Однако вы саркастичны, — сказал Берше, пряча подбородок под галстук так, что белые острые кончики воротника царапали щеки и закрывали черные маленькие бакенбарды. Голубой ворот, широкий, выступающий за лацканы, делал его совсем горбатым. Слова Бейля сильно его взволновали.

Бейль продолжал:

— Что я могу написать? Я приготовил к печати книгу, совершенно непозволительную со стороны формы. Это — трактат о любви. Прекрасная мишень для дураков. Что может сказать о ней теперешнее французское общество? Что книга страдает эготизмом, что форма ее неудобна, так как всюду выступает автор со своим «я». Новая порода людей, которых Делеклюз недавно назвал «беллетристами», будет кричать, что моя книга совсем не роман, что о любви можно говорить только в романах. Конечно, мое точное научное описание особого вида безумия, именуемого любовью, не может иметь успеха во Франции. Это безумие все реже и реже встречается в нашей стране. Наконец, во Франции родился новый человек: банкир, вла-

делец мануфактуры, почтенный промышленник, то есть человек с понятиями, в высшей степени положительными. Этот новый человек, конечно, не станет терять время на такие вещи, как моя книга. Проводя дни в расчете с двумя тысячами своих рабочих, миллионер-промышленник смутно почувствует только одно: что я уважаю живую мысль больше, чем мешок с деньгами.

— Да, но если бы в Италии были миллионеры-промышленники, то мы давно прогнали бы австрийцев. А теперь, — вы знаете последние новости? Италию разгромили прежде, чем вооруженные отряды успели занять города. Вы знаете, что австрийские тюрьмы полны, что их населяют лучшие люди Италии, вы знаете, что Кариньянская собака — Карл Альберт — оказался гнуснейшим предателем; он трусливо бежал, вместо того чтобы из Пьемонта пойти в Милан. Я получил об этом письма недавно. Такие же письма получили живущие в Лондоне изгнанники, страшно бедствующие, — Россетти, Маццини и Фосколо.

— Фосколо?! — воскликнул Бейль.

— Да, Фосколо, — повторил Берше. — Фосколо получил письмо от Метильды Висконтини, после того как Сальвоти подверг ее тюремному допросу.

Бейль слегка побледнел.

— Ну, и что же? — спросил он.

— Она отвечала ему хладнокровно и отказалась назвать кого бы то ни было.

— Она просила меня передать привет друзьям, — сказал Бейль. И, вынув маленькую записочку, зашитую в клеенку, он передал ее Берше, чувствуя, что обрываются последние нити, связывавшие его с Миланом.

Берше держал на ладони это письмо и говорил:

— Ну, а если бы судьба не привела вас в Ричмонд, неужели это письмо путешествовало бы с вами еще целый месяц?

— Нет, так или иначе, но я нашел бы способ вручить его Фосколо, хотя вы, конечно, поймете трудность моего положения.

— В чем же эта трудность?

Бейль подумал и решил замаскироваться трусостью.

— Я не знаю, как работает сейчас международная полиция. Мое знакомство с Лафайетом всем известно. Не уверен, что за мною не следят.

— А я уверен, что за Лафайетом не следят. Ведь он очень стар, очевидно, весь его революционный пыл исчез.

— А я могу вам сообщить, что не только революционный, но и всякий другой его пыл дает себя чувствовать в Париже.

Берше улыбнулся, но, вспомнив опять о мучениях своих друзей в австрийских тюрьмах, загрустил.

Примирение собеседника с английской полицией раздражало Бейля. Он почувствовал свое всегдашнее ощущение, в силу которого он не мог отличить преступника от человека, наводящего скуку. Берше стал ему невероятно скучен. Быстро, с некоторой резкостью он простился и ушел. Провожая его, Берше сказал:

— Я удивляюсь, как вы, зная Лафайета и многих интересных парижан, не умеете лучше использовать ваше путешествие в Англию. От вас зависит возможность дважды в неделю бывать на обеде у лорда Холланда и у других не менее замечательных людей.

— До свидания, — ответил Бейль. — Я даже никому не сказал в Париже, что еду в Лондон. У меня была лишь одна цель — видеть Шекспира на сцене.

— До свидания. Кин играет Отелло послезавтра. Желаю вам полного удовольствия, — бросил ему на прощанье Берше.

На обратном пути в Лондон Бейль записал на полях мемуаров госпожи Хетченсон следующую фразу: «Берше подробно расспрашивал меня о Франции. Молодые люди из мелкой буржуазии, подобные ему, хорошо воспитаны, но не знают, куда деваться, так как всюду дорога загорожена ставленниками иезуитской конгрегации. В конце концов они сорвут конгрегацию и при первом случае низвергнут Бурбонов. Это похоже на пророчество, и тот, кто прочтет мои слова, может мне не поверить».

В Лондоне ждали Марест и Барро, с трудом разыскавшие Бейля при помощи английского банкира, переводившего ему деньги в Англию.

Делились впечатлениями, ходили вдоль Темзы, любуясь маленькими домами с элегическими палисадниками, в которых цвели кусты осенних роз. Посещали фабрики, заводы, по настоянию Бейля осматривали новые станки и машины.

Бейль делал замечания о новой породе людей, проводящих десять часов у машины в беспрестанном наблюдении за мельканием кеевского челнока. Поражала величина этих предприятий, насыщающих товарами целые страны и города. С ними не могли сравниться маленькие фабрики Парижа, с ними бешено стремились конкурировать лионские фабриканты, и (еще одно наблюдение) их совершенно еще не было в стране семилетних скитаний Бейля — в Италии.

Упорный и суровый труд английских рабочих казался Бейлю каким-то кошмаром. Марест на лету ловил его короткие замечания и старался парировать их. Он кричал по-французски, стоя около машины и покрывая ее шум:

— Это то, чего не знает еще Франция. Это Англия платит нам за четыре коалиции и Ватерлоо.

Ему в тон отвечал Бейль:

— Это то, что вызовет во Франции взрыв и катастрофу в тысяча восемьсот семидесятом году.

— Анри любит швыряться цифрами, как слабоумный, — смеясь, заметил Барро.

— Уверяю вас, что через десять лет вы вспомните мои слова. Итальянец счастливее благодаря своей беззаботности и той легкости, с какой он переносит нищету, а северянам придется в ближайшие годы покрыть огромные пространства фабричными трубами. Трудно сказать, что получится из этой новой армии рабов, которых не знали Египет и римский мир.

Вернулись в гостиницу обедать. Марест и Барро жили в маленьких номерах верхнего этажа. Сошлись в большой, продолговатой и очень высокой зале. На огромном столе лежали куски жареного мяса, весом в сорок килограммов, и длинные, тонкие, острые ножи. Каждый подходил, резал себе сам и ел, сколько хотел, уплатив в кассу два шиллинга.

— Надо доваривать эти кровавые ломти в желудке, — говорил Марест после обеда. — Англичане доваривают их, наливаясь крепким чаем, а я думаю, что гораздо лучше — шотландская водка.

Бейль отказался пить и, оставив спутников, пошел в театр. Бейля до потери чувства времени увлекла игра Кина.

Время для Бейля всегда имело один из трех цветов — оно было черным, красным или белым. Знаменитый

артист на несколько дней оторвал его от всего мира своей игрой шекспировских пьес. Наступали красные часы.

Замечательный трагический гений Кина странно не гармонировал с теми рассказами, какие Бейль о нем услышал. Это был бесшабашный прожигатель жизни, обитатель кабачков и притонов, совершенно преображавшийся с минуты появления на сцене. Его игра потрясала, вызывала благороднейшие чувства и лучшие мысли.

Время исчезало. Было таяние времени, как в дни большой болезни или большого счастья.

Бейль писал в дневнике:

«Между миланскими днями и моим сегодняшним состоянием встали вереницы шекспировских трагедий.

Я выздоравливаю, но жалею о болезни».

На балу в клубе Альмака Бейль увидел своего банкира, которому Коломб переслал собранные в Гренобле деньги.

— Господин Бейль, сегодня прибыли ваши деньги. Завтра вы получите извещение. Очень рад встретить вас здесь. Вы попали сюда сразу, но я получил пригласительный билет только после двадцати лет беспрестанных хлопот об увеличении своего состояния.

Бейль действительно случайно получил приглашение на бал в аристократический клуб, куда не допускались представители других сословий. Бейль смеялся, думая о тех невероятных перегородках, которые, несмотря на революционные натиски, не сломаны в Англии. В голосе банкира слышалось уязвленное самолюбие. Бейль писал в дневнике:

«Во Франции с подобными нравами я уже столкнулся однажды. Это было в то время, когда безродные генералы старой наполеоновской армии продавались Людовику XVIII и, путем всевозможных низостей, старались проникнуть в гостиную Таларю и другие салоны Сен-Жерменского предместья. Вежливость высших классов в Англии и во Франции запрещает всякое проявление энергии. Молодые люди страшно заняты тем, чтобы их волосы, образующие хохолок с одной стороны пробора, не падали на лоб».

Итак, в Лондоне воспоминания о Милане и о Метильде растаяли. Остались тени чувств, имена и слова вместо образов.

Вечером — забавное и отвратительное происшествие.

Барро шепчется в коридоре с мальчуганом лет восемнадцати — фатом с оттопыренными губами, напомаженным и наглым.

Барро входит в комнату и предлагает ехать в публичный дом. «В этот вечер нет спектакля. Настоящая английская скука», — говорит он. Марест отказывается. Бейль соглашается. Чувство пустоты, охватившее его, вызывает стремление хотя бы и к опасному приключению. Извозчик едет полтора часа.

На окраине, недалеко от берега реки, — трехэтажный маленький дом из тонкого кирпича. Барро выходит, фат начинает торговаться, прежде чем войти. Бейль смотрит с презрением, Барро произносит по-французски:

— Кажется, мы попали в скверную историю. Нас здесь ограбят дочиста и выбросят в Темзу.

Бейль распахивает редингот и молча показывает рукоятку пистолета.

— Однако! — замечает Барро.

Фат быстро указывает рукой на дверь и скрывается.

— Придется войти, — говорит Барро.

Минутное колебание. Потом три молодых девушки, очень грустные, очень испуганные, выглядывают друг из-за друга и открывают дверь.

Мебель сделана словно для кукол. Барро едва помещается в этой комнате на Вестминстер-роу. Но через минутку все устраивается как нельзя лучше.

Никто никого не ограбил.

Бейль писал в дневнике:

«Неприятно то, что за все время моего пребывания в Англии я чувствовал себя несчастным, когда не мог кончать своих вечеров в этом доме, но если бы не лондонская тоска и не разговоры об опасности этих приключений, то Вестминстер-роу никогда меня не увидел бы. Вы видите, что мне всего лишь двадцать лет, а не тридцать восемь, что упорно хочет мне доказать мое метрическое свидетельство. Если бы оно говорило правду, то я мог бы найти утешение в большом свете и у парижских женщин из общества. Но увы! При виде буржуазки в Париже или

сен-жерменской куклы мое сердце герметически закупоривается от их фальши и манерности. Когда я думаю об аристократии, вышвыривающей десятки тысяч золота на ненужные балы и тщеславные обеды, когда я попадаю в *порядочную* английскую семью, я вижу, что эти ничтожные и нелепые существа создают свое благополучие, продаваясь правительству. Что же говорить о моей подруге из Вестминстер-роу? Я уезжаю из Англии с мыслью о том, что я всей душой буду радоваться наступлению революционного террора, который выметет авгиевы конюшни, именуемые английской аристократией».

Барро и Марест уехали во Францию. Бейль предпринял несколько поездок на север и, чувствуя себя отдохнувшим, собирался последовать их примеру. Перед отъездом, вечером, он узнал час отхода мальпоста на Дувр и стал укладывать свой багаж. Вошел коридорный и обратился к Бейлю:

— Как, неужели вы не останетесь на день? Мальпост уходит в шесть часов утра, а в восемь будет зрелище, которого вы не увидите во Франции. Все иностранцы, собиравшиеся уехать завтра, отложили свой отъезд.

— Я не слышал ни о каком зрелище.

— Советую вам пойти в столовую и взглянуть на площадь.

Бейль закончил упаковку баула и спустился в столовую. Сквозь легкий вечерний туман, превращавший в серые силуэты островерхие дома на другом конце обширной и пустынной площади, Бейль увидел столбы с огромными перекладинами и восемь спускающихся петель. Горничная в белой наколке и белом фартуке накрывала на стол. Не отрываясь от своей работы, она вскинула на Бейля глаза и сказала:

— Всех восьмерых повесят завтра, в девять часов. Если вы дадите мне шиллинг, я уступлю вам окно своей комнаты. За эти окна я не ручаюсь, так как здесь будет полным-полно. Жильцы заказали вино и хороший завтрак, чтобы не томиться ожиданием, пока привезут висельников.

Бейль покачал головой. Вернувшись к себе, он стал ходить большими шагами из угла в угол. До самого утра он не смыкал глаз, думая о значении публичных казней и о том, как «счастливая тысяча» таким способом устра-

шает жителей Лондона и всей страны. Под утро он записал на переплете веселой шекспировской комедии «Двенадцатая ночь» следующее:

«На мой взгляд, происходит простое убийство, когда англичане вешают разбойника или вора. Аристократия стремится раздавить свою жертву, полагая таким способом оградить свою безопасность, так как она хорошо знает, что именно *она принудила человека стать негодяем*... Эта истина, столь парадоксальная сегодня, станет, быть может, всеобщей к тому времени, когда эти строчки найдут себе читателей. *Максимум человеческой свободы осуществится лишь в 1929 году*».

В шесть часов утра дождь забарабанил по крыше. На площади стояли тусклые лужи; небо заволокли тучи; каменноугольная пыль носилась в воздухе, который приобретал мертвящий и острый запах.

Бейль дремал в кресле перед письменным столом.

Вошел портье и тронул его за плечо. Извозчик взял багаж.

Бейль закутался и поехал на остановку мальпоста, не взглянув на сооружение, стоявшее на площади, постепенно наполнявшейся любопытной толпою.

День прошел прекрасно. Под зелеными деревьями парка Беньо просмотрены последние гранки книги «О любви». Огромная зеленая папка лежала на скамейке. Гранки рассыпаны на траве, песок вытоптан до самого грунта, поза автора самая неудобная. И все-таки не почувствовал даже, как свело шею и заныл локоть. В папке лежал оригинал: это итальянские афиши, сплошь исписанные на оборотной стороне свинцовым карандашом: они не производили уже того впечатления, как до поездки в Лондон. Образ Италии потускнел, и лучше не касаться воспоминаний, вызывающих боль. Семь лет промелькнули, как минута. По полугоду он не слышал ни одного французского слова. И если бы не раскрытие карбонарской организации, он никогда не вернулся бы во Францию. Он думал об этой стране: теперь можно снова увидеть памятники, улицы, городские площади, но нельзя увидеть общества, согретого веселостью и той живостью ума и

непосредственностью чувства, которые оставались в ту пору только в Италии. Теперь это тепло исчезло, и воздух Италии заморожен холодными северными ветрами. Лучше туда не возвращаться.

Движением ветра отброшены гранки, зеленые блики и солнечные пятна от ярко освещенных деревьев понемногу сходили с полос разбросанной бумаги. Эта небольшая книжка, которая в скором времени появится в витринах, есть воспоминание об Италии и памятник очень хорошим чувствам.

Солнце склоняется к западу. Пора идти.

По дороге, в аллее Пале-Рояля, Бейль встречает лысого человека без шляпы, в старомодном сюртуке, худого, с воспаленными глазами, пошатывающегося. Это Андреа Корнер. Еще одно итальянское впечатление в Париже, второе за сегодняшний день! Утром он встретил ди Фиоре, с гордостью несшего свою львиную голову на могучих плечах. Ди Фиоре не скучая живет во Франции, так как это единственная страна, где ему не угрожает топор гильотины. Переписка о выдаче ди Фиоре кончилась. Он никогда не увидит родины, так как приговорен к смерти за участие в неаполитанском восстании. Корнер не имеет такой славы. Потомок венецианских дожей, один из самых знатных итальянцев, проживающих в Париже, он ведет цыганскую жизнь и совершенно опустился. Расставив руки, он загораживает дорогу Бейлю.

— Послушайте, миланский дьявол, — обращается он к нему по-итальянски, — где же, наконец, моя квартира? Я уж не помню, когда я вышел.

— Берите меня под руку, — говорит Бейль, — потому что я спешу, а вы склонны идти медленно.

Он провожает его до квартиры на улице Гайон и сдает его консьержу. Привратник смеется.

— Мы уже дали знать в полицию! Господин Корнер пропадал три дня.

Бейль идет дальше один.

На улице Гайон, против шестиэтажного серого дома, Бейль останавливается. Думает минуту, потом открывает дверь, отсчитывает ровно девяносто пять ступеней по темной лестнице, ощупью берет молоток и стучит в дверь. Со скрипом и свистом дверь открывается. Недовольное лицо смотрит на входящего. Это сам хозяин — Этьен Делеклюз. Очевидно, он писал. Он смотрит против света усталыми

глазами, широко раскрыв веки, и, узнав Бейля, успокаивается.

— Почему вы так рано? — спрашивает он.

— Вопрос нелюбезный. По-моему, я всегда прихожу во-время.

— Этого бы я не сказал. А сегодня и подавно.

— Вы, я вижу, прескверно настроены, но все равно я не уйду и могу вас порадовать: через полчаса придут Нодье, Вите, Ремюза, Ампер. Ну, падайте в обморок!

— Куда же я помещу такую ораву? И вы думаете, что я намерен болтать с вами, когда у меня срочная работа по журналу?

— Так-то вы меня встречаете после приезда из Англии! Ах, черт вас побери, неужели вы думаете, что мы будем это терпеть!

— Во всяком случае, терпеть буду я.

— Ну давно бы так!

— Вы знаете, что о вас справлялся молодой Мериме?

— Не помню такого.

— Как же так? Вы его видели у Лингаи.

— Ах, этот юноша невзрачного вида! Помню, помню.

— Да, этот юноша невзрачного вида разыскал в книжных магазинах все, что написано бароном Стендалем, и, что всего для вас хуже, он заявил, что статьи в лондонском «Ежемесячном обозрении», подписанные Альцестом и буквами Д. Н. К., — это ваши статьи, так же как и все, что написано бароном Стендалем.

— Он служит в полиции, ваш Мериме?

— Знаете, Бейль, по-моему, вам нужно обратиться к психиатру: или у вас действительно что-нибудь неблагополучно в политике, или вы больны.

— Ни то, ни другое. Я просто не терплю любопытных мальчишек.

— Мериме человек с исключительно проницательным умом, на редкость справедливый и честный.

— Какое мне до этого дело?

Раздался стук в дверь. Делеклюз поморщился, сгорбился и пошел к двери, ворча:

— Ну, начинается нашествие! Это, конечно, Нодье. Кто же, кроме Бейля и Нодье, приходит не во-время?

Но это был Поль Луи Курье. Грустный, с огромными черными глазами, пряча изящный подбородок за углами высокого воротничка, доходящего до бакенбард, он молча

протянул руку Бейлю, сел к окну и снял длинный камышовый чубук со стены. Привычным движением надел ремешок на левую руку, набил трубку, зажег и стал курить. Делеклюз спокойно смотрел на него.

— Ну, как дела? — спросил Бейль.

— Не могу сказать, чтобы тюрьма Сен-Пелажи была благоустроеннее других тюрем Франции. Я просидел два месяца и уже соскучился.

— Вот как! — воскликнул Бейль. — Я не знал. Что вас принудило поселиться там?

— Во всяком случае, не приискание квартиры, скорее вот этот лист бумаги.

Он вынул из кармана тщательно сложенный документ. Это был подписной лист на покупку огромного Шамборского замка на средства населения для новорожденного принца Бордоского, сына убитого Лувелем Беррийского герцога, наследника французского престола.

— Я был в Англии, — сказал Бейль, — и там не мог получить сведений о том, что шамборские листы являются пропуском в тюрьму.

— Пожалуйста, не зубоскальте, — это вовсе не так весело. Я выпустил памфлет, который был настолько удачен, что подписка на национальный подарок наследному принцу сорвалась. За это я получил два месяца тюрьмы. В самом деле, наследные принцы любят, когда им дают, а мы любим, когда нам оставляют.

— Когда вы угомонитесь, Курье? — спросил Делеклюз.

— Послушайте, неужели вас не возмущает, — закричал Курье, теряя спокойствие, — неужели вас не возмущает, что для чего-то делалась революция, для чего-то проливались потоки крови и вот — все безвозвратно погибло? Я недавно встретил двоюродного брата, отбывающего воинскую повинность в гвардии. Спрашиваю: «Что вы сегодня делали?» Он отвечает: «Приобщались святых тайн с левого фланга по одному». Спрашиваю: «Как по одному?» — «Да так, по одному, — отвечает. — Расставят шеренгами, скомандуют: «По головному номеру слева направо на первый, второй рассчитайся», потом: «Вторые номера вперед, стройся» — и маршируй к причастью, а перед этим исповедь, с обязательным рассказом священнику о политическом настроении в ротах и эскадронах». Спрашиваю: «Кто ваш полковник?» Называет. «Он слу-

жил?» — «Служил». — «Где?» — «В Англии попом, обедни служил». — «Ах, вот как», — говорю.

— Ах, вот как! — повторил Бейль. — Не правда ли, замечательно! Знаете, Курье, вам несдобровать!

— Знаете, Бейль, я вам это крикнул, когда видел вас в североитальянском мальпосте.

Тень пробежала по лицу Бейля. Надо как можно скорее выпустить книгу, которая тяготит, как тяжелый баул, нагруженный воспоминаниями. Хорошо, если сегодня не будет итальянских тем для разговора. Нодье обещал говорить о Шекспире, Вите заявил, что будет очень интересный вечер, и никто не догадался предупредить Делеклюза.

— Я скажу, чтобы купили вина, — сказал Делеклюз.

Курье сидел в облаках дыма, насмешливый, ядовитый, как Мефистофель на Брокене. Бейль вертел в руках подписной лист на покупку Шамборского замка в подарок наследному принцу. Вся верхняя часть листа была заполнена гравюрой, изображающей ребенка в роскошной колыбели, около которой лежит борзая. Фигуры в горностаевых мантиях подносят ребенку план его будущего владения и грамоту. Нижний край листа занимает герб Бурбонов.

— Билет беспроигрышной лотереи, — сказал Бейль.

— Франция уж не мало проиграла, — ответил Курье. — Буржуазия разорила крестьянство, а эти двенадцать тысяч арпанов земли с виноградниками — подачка, совершенно незаметная в бюджете королевской семьи. Если Шамборский замок не будет в крестьянских руках, это сильно подорвет благосостояние края.

— Послушайте, Курье, я никак не могу поверить, чтобы вы были яростным защитником крестьян. Ведь вы же ведете с ними постоянные процессы.

— Дорогой мой, вы ошибаетесь. Процессы ведет моя жена, которая готова четвертовать меня самого за каждую строчку моих памфлетов. Меня боятся, со мной как с памфлетистом невозможно бороться открыто, поэтому применяют тайные средства. Инсценировка процессов в моем имении — это дело подкупа.

— Одно время я сам так думал, но мне говорили, что вы недаром подписываетесь Виньероном [1]. Мне казалось,

[1] Vigneron — винодел. (*Примеч. автора.*)

что Курье смирился, раз он стал прятаться за спину Виньерона.

— Я хотел бы знать, за какую спину не прятался гражданин Бейль? — едко ответил Курье. — Во всяком случае, мой псевдоним является простым обозначением моего ремесла — я действительно *винодел.*

Бейль улыбнулся.

— Привыкайте, голубчик, к Франции, привыкайте, — ворчал Курье. — Кстати, верните-ка мне шамборский лист, вы его совсем измяли, а для того чтобы заменить его чем-нибудь, подержите в руках вот эту бумажку.

Бейль прочел. Секретный циркуляр министерства внутренних дел, датированный маем 1822 года, предписывал французским чиновникам всеми мерами содействовать в провинции избранию угодных правительству депутатов в Палату. Этот циничный циркуляр заканчивался прямым указанием на министерские фонды, из которых можно черпать средства для подкупа избирателей. Вместе с тем предлагалась довольно сложная система устранения нежелательных кандидатов. Бейль вспомнил рассказы о лионских событиях.

— Провокация стала обычным явлением, — сказал Курье. — То, что случилось в Лионе, в менее острой форме наблюдается повсюду. Полиция, печать и биржа связаны теснейшим образом в общей работе. Крупнейшие финансисты заинтересованы в компрометировании рабочих, они подкупают полицию и инсценируют стычки рабочих с солдатами. Переодетые полицейские подстреливают часовых в фабричных районах, а газетные репортеры уделяют этим событиям колонки в газетной хронике. В конечном счете человек, совершивший провокацию, с негодованием печатает в газетах известие о происшествии, сам же читает, сам же возмущается, сам же требует репрессий и сам же налагает кару. Все это при полном безмолвии массы французских граждан.

— Да, кажется, австрийская полиция в Милане не доходила до этого, — сказал Бейль.

— Там было другое, там была работа конгрегаций. По сравнению с конгрегациями ваши друзья из Санта-Маргарита кажутся овечками. Во Франции целых пять полиций, из которых одна ненавидит другую, одна стремится провалить другую, и, пожалуй, самая страшная полиция — это полиция иезуитских конгрегатов. Она рабо-

тает, как часовой механизм, и очень редко ошибается. Людовик ее не любит, но Марсанский павильон кишмя кишит черными тараканами в рясах... Скажите, Бейль, какую должность вы хотели бы занимать сейчас?

— Решительно никакой.

— Известно ли вам, что Карл д'Артуа требует второго пересмотра списков должностных лиц? Наполеоновские офицеры почти сплошь увольняются, не говоря уж о тех, кто был связан с революцией. Имейте в виду, если вы начнете литературную деятельность неудачно, а я в этом уверен, то вам скоро станет довольно скучно, особенно если вы сделаетесь депутатом.

— Такая возможность исключена, — ответил Бейль. — Я твердо стал на дорогу к нищете. Как вам известно, избирать могут девяносто восемь тысяч из двадцати девяти миллионов французов, а попасть в депутаты может только тот, кто принадлежит к пятнадцати тысячам богатейших граждан.

— Ну, тогда возможность заскучать у вас еще шире. В одно прекрасное время, после непонравившейся газетной статьи, офицеры гвардейского батальона по очереди будут вызывать вас на дуэль. Если вы прекрасный стрелок, то уложите двоих, но поверьте, что третий найдет способ проколоть вас рапирой. Вас уничтожат на законном основании, без права вмешательства какого бы то ни было органа защиты. Такова наша Франция.

Бейль сложил циркуляр, вручил его Курье и заходил большими шагами из угла в угол.

Ржавый ключ повернулся в двери. В комнату вошел Делеклюз с мальчиком из магазина, несшим корзину с вином.

Делеклюз готовил холостую пирушку. Бейль ему помогал, Курье сидел молча, утопая в облаках дыма.

Приходили гости, главным образом из компании Арсенала — группа боевой литературной молодежи, собиравшейся у Нодье, библиотекаря Арсенального музея.

— У тебя нет рояля, — сказал Нодье, обращаясь к хозяину, — у тебя не поют и не танцуют. Какой же ты после этого журналист?

— Я привык, что танцуют под мою дудку, — сказал Делеклюз.

— Ну, этого не случится, — возразил Нодье, — ты не Дафнис, и мы не козлы из стада Хлои.

— Когда ж прекратятся ваши классические сравнения? — произнес юноша в сером сюртуке, стоявший в углу со скрещенными на груди руками.

— С каких пор Мериме ненавидит классические образы? — спросил Курье.

— Во всяком случае, если я мирюсь с ними, то только в вашем присутствии. Ваша работа над рукописью «Дафнис и Хлоя»...

— Боже мой, когда кончатся злые намеки?! — воскликнул Курье с притворным испугом. — Еще один классический образ — это фурия. Вы знаете, Мериме, что человек, отравивший мне жизнь по поводу пасторали Лонгуса, на которую, быть может, я имел несчастье уронить чернильную каплю, носил такую фамилию — это итальянец Фурия. Так вы что — хотите сейчас заняться воспоминаниями о моих флорентийских злоключениях и неудачах?

— Нет, я хочу только сказать, что пора нам выйти из мира греческих и римских героев, пора вообще пересмотреть всю классику.

— Молодой человек прав, — сказал Бейль. — Когда отцы нынешних торговцев шли против Бастилии, кстати сказать, в тот день почти не имевшей заключенных, то им нужно было рядиться в греческую тогу, в римскую каску, хотя бы на театральных подмостках. Ну, а теперь, скажите, стоит ли тревожить тени древнего Рима ради конторки и прилавка?

— Что же, по-вашему, заслуживает внимания? — спросил Мериме, словно радуясь возможности говорить со Стендалем.

— В Риме итальянцы заняты преодолением своей настоящей античности. Они хотят построить свободное итальянское государство, разнообразят и украшают эту идею, пренебрегая традиционными формами. Они называют это «романтичизмо».

— Вот то, что нам нужно, — сказал Нодье. — Нам надо наш сильный французский *романтизм* противопоставить обветшалым классическим традициям наших прадедов. Кто, по-вашему, может обрадовать зрителя со сцены — Расин или Шекспир?

— Шекспир, конечно, — ответил Бейль.

— Но это вопрос! — воскликнул Вите. — И я даже не знаю, законно ли ваше противопоставление.

— Ах, оно очень законно, — заявил Курье. — Неужели жить тем, чем жили несколько веков назад, неужели сохранять старые формы театра? Дико и нелепо при головокружительной смене событий давать зрителям трагедию одного дня лишь потому, что Аристотель и Буало требовали единства времени!

— Еще более нелепым я считаю, — заговорил Бейль, — давать вместо живых характеров условные риторические формулы пороков и добродетелей. Куда к черту годится ваш Расин по сравнению с Шекспиром?

— Послушайте, — прервал его Вите, — ну как можно отрицать Расина? Ведь это же безукоризненный французский язык, ведь он умеет оторвать вас от плоских и низменных будней.

Бейль сорвался с места. Откидывая стул, роняя стакан со стола, он рванулся, словно корсар на палубу, и зарычал:

— Язык?.. У Расина язык? Да ведь это же мертвец! Понимаете ли вы, что такое язык без души, язык без выразительности, язык кукол с номерами, выпаливающих со сцены благородные фразы? Как можно вернуться ко всему этому приторному вздору после двадцати лет революций, казней, войн и заговоров? Мы сегодня сидим у Делеклюза и хохочем над остроумным памфлетом Курье, а через две недели Курье будет сидеть в тюрьме, а Нодье в качестве прокурора будет его судить. Мы и сейчас имеем казни, заговоры, подготовку войны с Испанией, мы вскоре увидим, как французские офицеры опозорятся ловлею Риего и Квироги — этих лучших людей нашего времени, этих героев революции. И что же? В ответ на живые требования нынешнего дня вы будете отвечать пышными фразами библейской Гофолии? Почему близок нам Шекспир и почему в Шекспире я усматриваю то, что так удачно назвали романтикой? Да потому, что он давал своим современникам живую картину страстей, казни времен Елизаветы, заговор Суссеки и тысячи таких вещей, которые держали зрителей в невероятном напряжении, умели их потрясти, ставили перед ними живые задачи и давали им разрешение. Вот что я называю романтикой, а жить старьем, реставрировать прошлое, делать прививку дряхлой крови наших отцов новому поколению — это я считаю классицизмом. Собирайте у себя в Арсенале ваших чудаков, там у вас рояль, у вас поют баллады, читают стишки господина Гюго, кажется, даже исполняют католические

гимны; у вас бредят там средними веками. Пожалуйста, делайте что хотите, но не думайте, что это кому-нибудь нужно. Что может быть глупее и нелепее украшения монархических тряпок средневековой мишурой, и это в дни, когда паровая машина и химическая лаборатория отнимают у вас всю вашу мистику и весь ваш бред! Вы хотите закрыться от действительности, вместо того чтобы ее преодолеть. Вы хотите, чтобы мы в полдень смотрели на часы, показывающие два часа ночи. Наше понимание все-таки достойнее вашего самообмана.

— Да здравствует Бейль! — закричал Делеклюз.

— Вы непременно должны записать то, что сказали, — это замечательные мысли, — сказал ему Мериме.

— Хорошо, — ответил Бейль, — я запишу, но только помните, что я не люблю непрошенных советчиков.

Мериме смотрел на побагровевшего Бейля в упор совершенно спокойно и невозмутимо.

— Я не могу вам советовать, но очень прошу.

— Зайдите ко мне завтра, я дам вам итальянские «Записки о романтизме», — сказал Бейль, стремясь скрыть удивление.

Мериме поклонился.

Поздно ночью, возвращаясь домой, Бейль обдумывал предмет спора всего вечера. Памфлетная форма Курье его увлекала. Живые и яркие мысли о новой и старой литературе, о классическом и романтическом группировались очень стройно. Подходя к дому, он вспомнил, что забыл зеленую папку у Делеклюза. «Опасно оставлять у журналиста гранки», — подумал он, потом махнул рукой, вошел в пустынную и одинокую комнату, зажег свет и написал на листе бумаги: *«Расин и Шекспир,* сочинение господина Стендаля», затем взял анонимное итальянское издание своих «Записок о романтизме» и стал читать его и подчеркивать.

Глава тридцатая

В течение недели два маленьких томика трактата «О любви» смотрели сквозь стекла витрин книжных магазинов. Во всем Париже нашлось тринадцать человек, купивших книжку из праздного любопытства, и те, пожимая плечами, оставили неразрезанным второй том.

Через месяц книга была забыта, а на бульваре Пуассоньер издатель Монжи-старший по рассеянности стал раздирать эти томики на обертку.

Наступил 1823 год, и неугомонный Бейль выпустил новую книгу, «Расин и Шекспир», после горячих споров на тему о том, не является ли Шиллер, в сущности говоря, более современным автором, следует ли возвращаться к Шекспиру. Очень трудно было убедить даже Мериме в том, что «Шиллер не более как простой копировщик риторики Шекспира, преподносящий христианские надувательства в напыщенной форме».

«Наша трагедия должна быть проще. Шекспир нам ближе потому, что наши события похожи на события в Англии 1590 года, но мы неизмеримо выше по уму англичан XVI века; наша трагедия должна быть проще и должна обойтись без риторики. Шекспир пользовался этим средством только потому, что он нуждался в приспособлении к понятиям публики тех или иных драматических положений. Тогдашний зритель был невежествен, и житейская отвага заменяла ему быстроту умственной работы. Французский ум в особенности должен отбросить немецкую галиматью, случайно названную романтизмом. Шиллер не обладает достаточным умом, чтобы предложить своему веку трагедию, выражающую основные стремления эпохи и конфликты со старым миром. Таким образом, если Шекспир по времени отстоит дальше, то по внутреннему смыслу он гораздо ближе нашим дням, чем недавно умерший Шиллер».

Но Мериме не так легко было убедить. Спор начинался с утра в комнате Бейля, читавшего молодому другу еще свежие страницы записей, потом продолжался в кафе «Ламблен», вечером — в ложе французского театра и, наконец, ночью — в маленькой комнате кабачка у Желтых ворот, в Венсенской роще, за столом, уставленным бутылками, в перерывах между озорными приключениями с балеринами. Утром спор возобновлялся, и так целую неделю, до тех пор, пока Мериме не решил расстаться со своим другом, находя, что точек соприкосновения между ними слишком мало. Бейль убеждал не делать безрассудств и перечислял все «точки соприкосновения» в такой форме, что Мериме, всегда сдержанный и холодный, катался со смеху и бегал из угла в угол. Мир был

заключен. Оба сошлись на одной затее. Трактат «Расин и Шекспир» вызвал скептическое замечание непременного секретаря Академии наук господина Оже. Мериме и Бейль решили совершить бандитское нападение на академию. Два дня старый и молодой сочиняли анонимное письмо к Оже. В нем были: утонченные рассуждения о задачах, которые возложил на академию ее основатель кардинал Ришелье, указания на то, что Оже ни в каком случае не оправдывает его доверия, предупреждение господину Оже, говорящее о том, что ровно через две недели по получении этого письма господин Оже лишится своей любовницы и может получить такое украшение головы, которое сделает невозможным надевание шляпы.

С хохотом перечитав письмо, они запечатали его и отправили.

— Я никогда ни в чем не раскаивался, — говорил Бейль.

— Единственно, в чем я раскаиваюсь, — это в том, что судьба свела меня с вами, — смеялся Мериме.

Бейль пожимал плечами и советовал:

— Подружитесь с Оже.

Мериме доставал из папки рукопись, тщательно переписанную министерским стенографом, и, галантно расшаркиваясь, протягивал Бейлю.

— Будьте любезны прочесть. Оже готовит к печати разгром ваших теорий.

— Не могу я прочесть это сейчас.

— Оставьте это у себя и помните, что я умею делать подарки друзьям.

Бейль с любопытством перелистывал академический «Манифест против романтизма».

— А что, если мы ответим?

— Необходимо ответить, — сказал Мериме. — Академическая защита классицизма — это слишком серьезная вещь. Гонение на романтиков может превратиться в политику цензурного комитета.

— Но я же совершенно не намерен быть защитником литературных школ.

— Ну так не отвечайте.

— Но ведь он делает выпады лично против меня?

— Ну так отвечайте.

— Но ведь это может превратиться в полемику?

— Ну так не отвечайте...

Бейль остановился и в упор посмотрел на Мериме.

— Ради бога, дорогой друг, не вносите в жизнь литературных приемов: вы стряпаете, говоря со мной, диалог в манере Рабле.

— Так ли уж это плохо? — лукаво улыбнулся Мериме. — Вы стряпаете ваши сомнения в манере Рабле.

— Чего доброго, вы станете писателем, — сказал Бейль.

— Вот посмотрим, не перестанете ли вы быть писателем, когда Оже напечатает свой «Манифест»!

— Нет, друг мой, я слишком хорошо знаю, что если человек взялся за перо, то должен приготовиться к тому, что его будут ругать канальей.

— Надеюсь, вы не собираетесь к этому привыкать.

— Я не собираюсь отвечать на оскорбительные выпады существ этой породы.

— А я уверен, что вы можете меня испортить настолько, что я захочу водить пером по бумаге.

— Я уверен, что это случилось бы и без моего развращающего влияния. У вас есть склонности ко всякого рода порокам.

— О, как это сильно сказано, — возразил Мериме. — Я всего лишь не счел бы себя склонным к добродетелям.

— Я в этом убедился, — сказал Бейль. — Неделя у Желтых ворот больше не повторится.

— Ну, будет неделя у Александрины. Кстати, вчера я видел ее с капитаном инженерных войск в великолепном интендантском экипаже.

— Оригинальное сочетание родов оружия! — усмехнулся Бейль. — Вы что же — дежурите на улице при ее проезде?

Мериме помолчал. Потом, рассмеявшись, сказал:

— Я понимаю вас, хитрец, вы ревнивы и боитесь, что я знаю адрес ваших вечерних увеселений. Не беспокойтесь, у меня самого их достаточно, и я не буду ездить по вашим. Кстати, чтобы переменить тему разговора, известно ли вам, что Манюэль исключен из Палаты?

— Да, я читал его речь первого марта и считаю, что он совершенно прав, — это лучший и благороднейший человек в Палате. Если он говорит сдержанно о позоре Франции, предпринимающей испанскую интервенцию для

подавления революции, так это только печальная истина, а не повод для исключения. В январе монархические страны — Пруссия, Австрия и Россия — потребовали восстановления монархии в Мадриде. Теперь и Франция приложит к этому руку. Что может быть подлее!

— Заметьте, что Манюэля оборвали на действительно революционных словах, — сказал Мериме. — Ведь эта фраза: «Опасность, грозившая королевской семье, стала действительно живой угрозой с той минуты, когда Франция, революционная Франция, почувствовала, что теперь она должна вызвать к жизни новые силы и новую энергию»...

— Да, я все это знаю, — перебил Бейль, — я знаю, что вы этому не сочувствуете и что все это глубокая правда. Я знаю и то, как Палата кричала ему: «Цареубийца! Вон! Долой!», — но тут мы никогда не поймем друг друга.

— Бейль, скажите, правда ли, что во Франции существует Тайный комитет, в котором работают бывшие итальянские карбонарии? Правда ли, что Лафайет и Манюэль входят в этот комитет? Правда ли, что вы под именем инженера Висмара участвовали в туринском восстании?

— Все это вздор, и я удивляюсь, как умный человек может слушать сплетни.

— Но вы не скрываете ваших симпатий?

— А вы напрасно подавляете ваши антипатии, — возразил Бейль. — Поедемте-ка лучше обедать, а потом проедемся за город.

Мериме и Бейль отдыхали на широкой зеленой скамейке под деревьями Булонского леса. Через минуту к ним подошел невысокий человек с курчавыми волосами, в низеньком цилиндре и с огромной тростью в руках. За ним шел Курье — рассеянный, с грустными глазами, ничего не видящий. Пока толстяк испрашивал разрешения сесть на ту же скамейку, он спокойно расположился рядом с Бейлем. Бейль оглянулся, узнал Курье и воскликнул:

— Вот что значит быть гордецом! Он даже не здоровается!

— Ах, простите! — поспешно воскликнул Курье. — Познакомьтесь, пожалуйста: доктор Корэф — врач особы его величества прусского короля, Анри Бейль — личный секретарь, внук, брат и дед Бонапарта.

Мериме смотрел насмешливо на обоих. Бейль и Корэф были одинаково плотно сложены, и в выражении лиц было какое-то неуловимое сходство.

— Поменьше царственного родства, — сказал Бейль.

— Нет, это сущая правда, — произнес Курье и, обращаясь к доктору Корэфу, продолжал разговор:

— Спешить некуда — раз уж вы пришли на мой вызов, давайте погуляем. Никогда, кажется, хорошая погода не созывала сюда столько парижан, сколько сегодня, а потом я вам покажу документ, далеко не безинтересный для вас.

— Курье опять затеял какую-нибудь политическую интригу, — сказал Бейль.

— Совсем нет! Я просто хочу разуверить господина Корэфа в его плохом мнении о парижской полиции. Он смотрит на Париж, как на место политического отдыха. Не знаю, кто его в этом уверил.

— Я очень высокого мнения о Париже вообще, — сказал Корэф, — а следовательно, и о парижской полиции, но уверяю вас, что ей со мной нечего делать. Я слишком недостойный предмет ее внимания.

— Послушайте, — сказал Бейль, — пойдемте вот за этими молодыми людьми. Это русские офицеры, одного из которых мне называли когда-то. Я его сразу узнал.

— Ах, вот этот красавец? Но зачем мы будем за ними ходить?

Тем не менее все встали и, вмешавшись в толпу, пошли в двух шагах позади русских офицеров. Бейль с величайшим волнением следил за каждым жестом Ширханова, которого он не видел почти десять лет. Спутник Ширханова напоминал мальчика, виденного им в дни московских пожаров. То был воспитанник дворянского пансиона, который вместе с учителем переводил для него на французский язык страницы русских исторических сочинений, с любопытством посматривая на врагов, занявших Москву столь внезапно, что он с товарищами по пансиону не успел выехать. Фамилию этого мальчика Бейль не помнил, он знал только, что она звучит по-польски и что зовут его Петром. Неужели до такой

степени могут сохраниться детское выражение глаз и очертания бровей, оттопыренная нижняя губа, что даже прошедшие десять лет не меняют человека?!

Русские офицеры говорили, не стесняясь, на своем языке. Бейль разобрал только несколько раз фамилию Сен-Симона.

Курье, обращаясь к Бейлю, спросил:

— Вы, кажется, не знаете русского языка?

— Я хорошо запомнил только русские ругательства,— ответил Бейль.

— Но вот Корэф, должно быть, понимает по-русски.

— Очень мало. Братья моей жены — Матьясы — ведут в Москве какие-то коммерческие дела. По-моему, молодые люди говорят о посещении Сен-Симона, которого они застали больным. Неужели этот чудак со своими фантазиями может иметь успех?

— Да, потомок герцогов и граф, отказавшийся от титула, живущий сейчас в мансарде на хлебе и на воде, мечтающий обновить человечество социализмом, — как видите, он пользуется успехом у русских гвардейцев, — заметил Бейль.

— Страна крепостных рабов и дикарей-дворян — что общего между ее представителями и сумасшедшим чудаком Сен-Симоном?! — воскликнул Курье. — Россия живет семнадцатым веком. Я думаю, что холеные дворянчики интересовались Сен-Симоном так же, как русские цари интересовались уродливыми карликами.

— Только не этот высокий адъютант. Я о нем самого лучшего мнения, — сказал Бейль.

— Откуда вы его знаете? — спросил Мериме. — И что за влюбленный тон?

— Мне называли его фамилию, но нужно сделать горловую операцию, чтобы безнаказанно ее произнести. Он был адъютантом какого-то князя на букву «В». О князе говорили как о герое Шевардинского редута.

— Это что такое? — спросил Мериме. — Вы знаете, когда мне было одиннадцать лет, я часами простаивал около решетки Тюильри и смотрел, как эти азиаты на маленьких лошадках, в меховых шапках, с желтыми лампасами, вооруженные пиками, разъезжали по улицам Парижа. Это было замечательное зрелище! С тех пор я ищу встречи с русскими.

— Я склонен без всякого чувства приличия подойти и познакомиться, — сказал Бейль. — Но я не знаю, как это будет принято. Лучше послушаем, о чем они говорят.

Корэф, стараясь переводить дословно, произнес:

— Старший говорит младшему: «Послушай, Каховский, ведь весь «Катехизис промышленников» — сущий вздор. Я буду попрежнему противиться допущению купеческого сословия в общество и союзы. Купцы суть невежды, а без просвещения наше дело неосуществимо».

Еще несколько шагов по аллее. Долетают обрывки русской речи. Молодой человек горячится, и глаза его сверкают. Ширханов улыбается и с грустной серьезностью думает о значении произносимых слов.

Корэф передает:

— Русский, кажется, цитирует «Новое христианство». Очевидно, они под сильным влиянием социалиста... «Государи Европы объединились под знаменем христианства в Священный союз, но их поведение поддерживает старую систему власти меча и власти кесаря». Молодой поляк убежден, что ни царь, ни промышленники не могут дать, как он выражается, истинной свободы... Однако они опасны, ваши русские офицеры... Что за черт, да он якобинец, ваш офицер! Посмотрите, как горят глаза, когда он оборачивается к спутнику. Слышите, слышите, что говорит? Он говорит, что Риего сделал ошибку, что надо истреблять царские семьи. Если бы Фердинанда обезглавили, так же как Людовика во Франции, то не было бы клятвопреступлений короля и не было бы организованного убийства целой страны силой чужестранного оружия. «Правительство, не согласное с желаниями народа, всегда виновно, ибо в здравом слове закона есть воля народная. Недостаточно повесить Аракчеева, — надо обезглавить Александра, надо истребить царскую фамилию».

Четверо французов переглянулись.

— Вот вам новый Робеспьер, — сказал Мериме. — А вы говорите, что они крепостники и офицеры императорской гвардии.

— Я уверен, что это чрезвычайно редкий случай, — сказал Курье. — Перед нами террористы в гвардейских мундирах. Во всяком случае, они не простые путешественники и не зря были у Сен-Симона.

— Но этот Каховский — законченный террорист, — произнес Корэф настолько громко, что оба офицера

быстро обернулись, посмотрели на французов и свернули, ускорив шаги, на боковую аллею.

Вторично произошла встреча двух военных героев 1812 года. Снова одно мгновение смотрели они из толпы друг на друга, не зная о том, как судьба скрестила их дороги однажды. Князь Ширханов давно забыл морозное декабрьское утро у Аракчеева в Грузине, когда, будучи молодым поручиком, просидел всю ночь, переписывая французские письма военного комиссара наполеоновской армии Анри Бейля.

Бейль, когда-то тщетно искавший в горящей Москве Мелани Гильбер, писавший ей бескорыстные дружеские письма, никак не думал, что эти перехваченные письма читал офицер, дважды встреченный им в Париже. Судьба развела их снова.

Затерявшись в толпе, русские офицеры исчезли. Через минуту четверо французов о них позабыли. Высокий, полный и грузный человек в длинном сюртуке с огромным бархатным воротом, с круглым лицом, умными глазами, встретился им. На губах заиграла улыбка, глаза стали веселыми, широкополая шляпа поднялась в вежливом приветствии, солнце осветило сияющую лысину. Беранже, насмешливо скаля зубы, с преувеличенно любезным поклоном поздоровался с Бейлем и Курье, потом сухо кивнул головой в сторону Мериме и Корэфа.

— Я все-таки на месяц дольше, чем вы, засиделся в тюрьме, — сказал он, обращаясь к Курье.

— Большому кораблю — большое... плавание, — ответил тот. — Не могу сказать, чтобы в этом отношении я вам завидовал.

— А я все-таки завидую Виноделу. Ваши памфлеты — это такое крепкое вино, что сшибает с ног даже литературных пьяниц вроде меня.

— Ну, батюшка, я бы отдал все мои памфлеты за вашего «Сатану, умирающего от яда иезуита Лойолы». Согласитесь сами, что черт, не выдержавший иезуитского напитка, — это очаровательная шутка! Но то, что иезуитский генерал немедленно занимает трон владыки ада, то, что иезуит становится чертом и управляет миром, — это совершенно несомненно. Я никогда не смогу написать о господе боге так, как вы. Мне никогда не изобразить его стариком, в ночном колпаке, спросонья выглядывающим в окно, с удивлением слушающим парижские сплетни

о нем, боящимся шпионов французской полиции. Да и ваш апостол Петр, у которого веселая Маргота украла ключи из-под подушки, Петр, боящийся, что Маргота напустит в рай непотребных жильцов, — это тоже великолепные стихи!

— По-моему, за такую литературу три месяца тюрьмы мало, — сказал Бейль.

— Ну, кажется, правительство намерено поправить эту ошибку, я во-время подал в отставку, — сказал Беранже.

— Как же вы будете жить? — спросил Курье.

— Мне нужно очень немного, — ответил Беранже. — Я не жаден, и, кроме того, ко мне идет бедность, как румянец к молодости.

— Ходит слух, что правительство намеревается лишить вас права на бедность. Вас хотят сделать богатым и молчаливым.

— Чтобы я чувствовал себя вполне благополучным и разбогатевшим, мне нужно несколько предметов, легких, как пробка, и пустых, как выпитая бутылка, — мне нужны грошовые головы Бурбонов, и тогда я успокоюсь. Этот платеж можно произвести без всякого ущерба для министерского бюджета.

— Сегодня удивительный день, — сказал Бейль. — Чудесная погода. Зачем политические молнии при совершенно ясном небе? Господа, каждый из вас похож на лейденскую банку: вы приближаетесь, и начинаются электрические разряды. Вы произносите трескучие фразы, вы молниями чертите воздух.

— Да, но согласитесь, что эти разряды делаются не медными шариками лейденской банки, ибо и у Курье и у меня вовсе не медные головы. Ваше сравнение неудачно, Бейль!

— Вы все-таки литератор, а политика в литературе похожа на пистолетный выстрел в концерте.

— Ничего не имею против, — сказал Курье, — в особенности если оба выстрела дают одинаковый эффект.

Старик, опирающийся на палку, шедший, кряхтя и кашляя, обратил на себя внимание. То был невысокий хромой человек, с длинными серыми волосами, падающими на плечи, с морщинистым лицом и светлыми склеротическими глазами. Тут только собеседники вспомнили,

что, перед тем как поздороваться, Беранже вел под руку этого старика.

— Ну, я буду продолжать свою прогулку, дойду до фиакра, а потом поеду на улицу Батуар, — произнес старик, слегка приподняв поля шляпы и, согнувшись, оставляя на песке глубокий след тяжелой трости, прихрамывая, пошел по аллее.

— Кто это? — спросил Бейль.

— Я вас не познакомил, потому что без разрешения это довольно трудно делать. Старик капризен, и после недавнего покушения на самоубийство я всячески оберегаю его от раздражения. Вот сейчас он придет в свой полуподвал, под моей комнатой, ляжет на груду лохмотьев и будет лежать неделю не выходя. Я сегодня еле вытащил его на свежий воздух.

— Кто же это все-таки? — спросил Бейль.

— Да ведь это Руже де Лиль!

Все переглянулись и замолчали. Автор «Военной песни Рейнской армии», спетой 30 июля 1792 года марсельскими федератами и облетевшей потом под названием марсельезы весь мир,— автор этой песни жил в страшной нищете и болезни, всеми покинутый, ждущий смерти и зовущий ее насильно.

Все по-разному подумали об этой встрече. Бейль вспомнил о том, как в день ареста Людовика XVI Руже де Лиль, поссорившись с Карно, сорвал с себя офицерские погоны и бросил их под ноги генералу. Офицер, пламенный патриот, написавший знаменитый гимн революции, не выдержал извещения об аресте королевской семьи и ушел в отставку. С того дня он превратился из революционера в быстро разлагающийся труп.

Мериме сказал самому себе, что у него никогда не хватило бы пафоса написать революционный гимн. Как можно заражаться вообще подобным энтузиазмом! Огромная толпа с красными знаменами вызывала в нем насмешку.

Курье думал, что если бы он был автором марсельезы, то сумел бы лучше распорядиться своей славой. И вдруг, поморщившись, вспомнил услышанный за перегородкой разговор жены с управляющим. Чего стоит слава великого памфлетиста, когда дома такая неурядица! Дядя Флоримон — управитель, человек огромного роста, думая, что хозяин уехал, повалил на постель жену Курье. Через перегородку слышен был шум и потом голоса, довольно

откровенные суждения о муже, указания на то, что жандарм и священник предписали ей следить за Курье. Трудно сказать, чья судьба лучше. Быть может, стариком и ему придется, как Руже де Лилю, лежать в грязном номере меблированных комнат и ждать смерти.

Беранже добродушно и нежно улыбался. Судьба, сделавшая его любимцем парижской бедноты, мастеровых и среднего люда, сделала ему новый подарок. Он имеет возможность быть нянькой старого младенца Руже де Лиля и выслушивать его потрясающие повести о тех событиях, которых молодой Беранже не мог еще знать и видеть.

Доктор Корэф, втягивая шею в ворот и сложив руки за спиною, так что прохожие задевали за трость, вспоминал, как при обыске у него в Берлине полиция конфисковала рукопись марсельезы и как допрашивавший его польский жандарм, называя его, как старого знакомого, «Фердинандом Давидовичем» и потрепывая по плечу, убеждал его рассказать о всех русских знакомствах, хотя в нем не было ни капли русской крови. Мысль о польском жандарме внезапно сменилась мыслью о русском офицере Каховском, говорившем: «Россия в мешке, а царь — это крепкий узел. Надо ножом срезать узел, и тогда живая Россия выйдет из мешка». Однако что это за документ, который хотел показать Курье? Начал с разговора о сказках Гофмана, дознался, что Корэф, как приятель сказочника, изображен Гофманом под именем Винцента в «Серапионовых братьях», и вдруг сразу, ни с того ни с сего: «Я хочу показать вам характеристику, сопровождающую ваш первый приезд в Париж». «Этот Курье черт, а не человек!» — подумал Корэф.

Пятеро французов на повороте аллеи Булонского леса в мгновение ока обменялись взглядами, каждая пара глаз с четырьмя парами. Бейль, Беранже и Мериме пошли вперед. Корэф наклонился, словно для того, чтобы поправить шнурки у туфли. Курье задержался около него. Через несколько времени они отстали шагов на пятьдесят. Курье вынул лист бумаги и дал прочесть Корэфу.

Это был бланк министерства внутренних дел, адресованный префекту парижской полиции 30 ноября 1822 года:

«Предлагаю вам учредить негласный надзор за доктором Корэфом, прибывшим из Баденского герцогства, так как он весьма громко высказывает революционные

мнения и, имея рекомендательные письма, теснейшим образом связался с представителями оппозиции. Будучи домашним врачом князя Гарденберга, он устранен от этой должности и выслан из Пруссии по причине своей дерзкой революционной агитации. В силу того, что Корэф светский человек, весьма любезный и хорошо образованный, его общительность даст вам полную возможность осуществить за ним самое тщательное наблюдение, нисколько не утомительное для ваших великосветских осведомителей».

Корэф побледнел и выронил бумагу. Молодой человек, красивый и элегантно одетый, с наглым лицом и улыбкой продажной женщины, кинулся поднимать. Курье ударил его ногой в зад, и услужливый молодой человек поехал лицом по дорожному песку. С быстротою молнии Курье схватил бумагу и сунул за обшлаг. Глаза его, черные, огромные, горели яростью и, казалось, готовы были испепелить услужливого молодого человека. Тот поднялся, вынул свисток; публика быстро очистила пространство, на котором разыгралось неожиданное и непонятное происшествие.

Бейль, подойдя, спросил:

— Что, что такое?

— Ничего, — сказал Курье, тайком протягивая ему превращенную в комок бумагу. — Как можно скорее садитесь в первый попавшийся фиакр и уезжайте.

Конный жандарм подъехал к месту происшествия. Наглый красавец, указывая на Курье, кричал:

— Арестуйте его, он украл мои золотые часы!

Курье поднял палку над головой молодого человека. Жандарм сошел с лошади и, разводя руками, потребовал, чтобы Курье вернул часы или шел за ним в префектуру. Бейлю пришла в голову дерзкая мысль. Кавалерист и когда-то неплохой вольтижировщик, он вскочил на лошадь жандарма и быстро ускакал в глубину леса. Там, где не было людей, он соскочил, привязал лошадь к кустарнику и как ни в чем не бывало пошел по направлению к пригороду. По дороге он расправил документ. Привычный к таким историям еще в Милане, он нисколько не удивился, прочтя его. Однако из предосторожности решил не держать выкраденную бумагу у себя, но не зная, что предпримет Курье, оставшийся в руках спешившегося

жандарма, разорвал секретное предписание полиции и бросил в кустарник. Ясно, что Курье не имел возможности сделать этого сам на виду у всех.

Обыск, произведенный жандармом, не дал никаких результатов. Молодой человек, у которого украли часы, имел огорченный и разочарованный вид. Бумага, украденная из министерства внутренних дел и, несомненно, бывшая в руках Курье, не была найдена, и поэтому огорчение по поводу мифических золотых часов имело под собою глубокую почву. Молодой человек не выполнил данного ему поручения. Жандарм потерял лошадь по вине какого-то наглого буржуа, от знакомства с которым все отказались. Не было законных оснований для ареста кого бы то ни было, не было уверенности в том, что жест Курье, обращенный к стоявшему рядом с ним плотному человеку из публики, был жестом передачи министерского документа. Стряхивая песок с лица, молодой агент полиции не имел возможности с достоверностью сказать, был ли этот буржуа случайным спутником Курье или старым знакомым. Одно только ясно, что поднадзорный Корэф теснейшим образом связан с памфлетистом Курье, известным под именем Виньерона. Но эта старая новость никого не удивила в полиции.

Глава тридцать первая

Прошло уже много времени с того дня, как Аракчеев, направлявшийся из Чудова в Грузино, при известии о смерти Настасьи Минкиной, изрубленной крестьянами, выпрыгнув из экипажа, в бешеной ярости и тоске катался по зеленой траве около дороги. Прошло не мало времени с тех пор, как повсюду прокатились бунты военных поселенцев. Петр Яковлевич Чаадаев давно уже был в отставке. Братья Александр и Николай Тургеневы странствовали за границей.

В Петербурге было одиноко, царила мертвая тишина кладбищенского покоя. И, как бы вторя этой тишине, погрузился в вечный покой на берегу белесоватого Азовского моря император Александр I.

В дни, когда из Варшавы в Петербург скакал великий князь Михаил Павлович, обмениваясь письмами с братьями Николаем и Константином, — в дни эти над

заиндевелой Невой вставало беспокойное солнце. Военная молодежь шепталась, и тревога шевелилась в сердце.

Швырнув серебряный целковый извозчику, отставной штаб-ротмистр Каховский вошел к Кондратию Федоровичу Рылееву.

Разговор был короткий.

— Ширханов болен и едва ли проживет долго. Он целиком со мною согласен, что дело пойдет на лад лишь с истреблением царствующей фамилии. Но не от нищеты и гонений после выхода из дворянского сословия и освобождения своих крестьян стал он таким решительным.

Каховский вынул серебряный целковый с изображением Николая Павловича и сказал:

— Сегодня последний константиновский рубль отдал, а вот тебе новая чеканка. Обоим нужно пробить черепа и начать революцию.

Рылеев сделал вид, что не слышит. Потом, отведя глаза от Каховского, подошел к окну и сказал:

— Ты своим огнивом этого льда не растопишь! Но делать дело надо. Понимаешь, что я хочу сказать? — Он подошел к Каховскому и потряс его за плечи. — Понимаешь ли ты, понимаешь ли, что нужно идти на бесплодную жертву, отдать жизнь, ничего не слыша и не видя, чтобы показать, каково есть насилие и что оно нас не сломило?

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

— На бесплодную жертву я не согласен, — возразил Каховский. — Незачем даром проливать кровь. Еще свою — куда ни шло... И вот что, Кондратий Федорович, я тебе второй раз говорю, брось ты эти надежды на царей. Вот тебе пример. Неаполитанцы вышли на площадь, вся военная молодежь, вроде нашей, свергли иго тиранства, а король присягнул на верность народу словами: «Да покарает господь короля, если он забудет нынешний день». А потом король уехал на север и, по требованию нашего Александра, вернулся со сворой иностранных псов и снова сел на шею своему народу, все офицерство переказнил и разбил все карбонарское общество. Хочешь, приведу второй пример? Наш же Александр содействовал тому,

что войска обесславили себя вторжением в Испанию. Припомни, арестованный король Фердинанд в Кадиксе был приговорен к смерти. Он призывает Риего, клянется вновь быть верным конституции, обещает выслать войска Франции из пределов отечества и просит о сохранении своей жизни. Честные люди бывают доверчивыми. Короля освобождают под ручательство Риего. И что же... какой первый шаг Фердинанда? Риего его приказанием схвачен, арестован, отравлен. Полумертвый святой мученик, герой, отрекшийся от престола, ему предлагаемого, друг народа и спаситель жизни короля, по приказанию коронованного клятвопреступника, на позорной телеге, запряженной ослом, везен был через Мадрид и повешен как преступник. Вот поступок Фердинанда! Чье сердце от него не содрогнется? Народы Европы вместо обещанной свободы увидели себя утесненными, просвещение сжатым, тюрьмы Пьемонта, Сардинии, Неаполя, вся Италия и вся Германия наполнились скованными гражданами. И судьба народов стала тягостной. Наученные этим тяжким примером, неужто мы теперь позволим короноваться Константину или Николаю? Смерть им, говорю тебе, смерть!

Далеко за полночь постучался Каховский к Ширханову.

В темной лачуге почти у самого Елагина острова метался в жару когда-то блестящий молодой человек, ныне отставной штаб-ротмистр Ахтырского гусарского полка, Михаил Ширханов. Великолепные волосы спутаны, прилипли к вискам, воспаленные губы сухи и потрескались, глаза стали огромными и не закрывались даже во сне. Он метался по постели, уронив подушку на пол, и бредил. В первый раз после многих лет он видит Наташу. Она подходит, кладет ему руку на лоб, и он удивляется, почему на ней парижское бальное розовое платье с высоким подхватом в талии. Она говорит ему что-то о мистическом кружке герцогини Брольи и показывает крестик из черных брильянтов, висящий у нее на шее. Ему кажется оскорбительным, что она продолжает ссору и осуждает его меры по сплошному освобождению своих крестьян! После Наташи Ширханов слышит голос Николая Тургенева, сухой, холодный, почти бессердечный и в то же время такой вдумчивый, идущий от ума к сердцу.

Потом он вспомнил гауптвахту, где встретился с человеком, впервые помогшим ему выйти на настоящую дорогу. Только недавно он узнал своего многолетнего тайного руководителя. Это был Александр Муравьев — масон, сделавшийся членом Союза благоденствия, а потом вошедший в Северное общество. Муравьев совершенно явственно говорит и сейчас: «Ширханов, жизнь прошла даром, и дальше — все хуже и хуже».

Ширханов отвечает громко:

— Жизнь еще не прошла, а дальше — посмотрим.

Бред кончается. Желтая лампа освещает стройную фигуру Каховского. Он принес с собою холод, снег на сапогах и последнюю весть, полученную от Рылеева, — завтра собираться на Сенатской площади. Назначена присяга Николаю.

Ширханов вскочил.

— Завтра буду, — сказал он. — Но что решено делать?

— Трубецкой — диктатор, он укажет. Приходи прямо на Сенатскую площадь, а лучше оставайся, на тебе лица нет, простудишься и еще сильнее захвораешь.

— Снявши голову, по волосам не плачут! Может быть, выздоровлю, — сказал Ширханов. — Слушай, Каховский, скажи там, в кухне, чаю.

— Вот так-то. А завтра идем штурмовать медведя.

— Ну, медведем я бы его не назвал. А на тигра он похож. Поступь — рыцарская, мягкая, а душонка подленькая. Как же это он из бригадного генерала, под командой Паскевича, да сразу на всероссийский императорский...

— А тебе все капралы снятся.

— Мне черт знает что снится, — сказал Ширханов. — Такое снится, что и понять не могу.

— А ты водку пей, — сказал Каховский.

— Мало радости, — ответил Ширханов. — Вот будет потеплее, уеду туда, где можно не влезать в енотовую шубу.

— Да? Ведь Ширхановы — южная порода.

— Ты словно о фазанах говоришь!

Прошло немного времени. Ширханов и Каховский пили крепкий, переваренный чай. Лучше и бодрее чувствовал себя больной. Казалось, что следующее утро принесет какое-то решение.

В одиннадцатом часу дня, трясясь от озноба, в башлыке, военной фуражке и штатском платье, Ширханов спустился с набережной Васильева острова и пошел через Неву по снегу. Он плохо понимал, что происходит. Он видел военное каре около памятника Петру, видел беспорядочное движение по набережной, слышал крики и, наконец, выстрел. В этом месте Нева имеет четыреста шестьдесят шагов. С середины реки Ширханов ясно различал беспорядочные группы военных и штатских людей. Позади раздался голос: «Батюшки, что там творится!»

Ширханов оглянулся на говорившего. Тот бежал через Неву и был уже далеко. В это мгновение раздался первый ружейный залп.

Не чувствуя никакой боли, Ширханов упал на лед. Кровь полила из горла. Через секунду стало исчезать сознание, правая рука высоко закинулась назад, и жизнь кончилась. К вечеру сильный снег запорошил путевые тропинки по невскому льду и покрыл саваном убитого. Петр Каховский тщетно стучался целый час в комнату Ширханова.

— Ушел с утра, — сказала, входя, старуха.

— Нельзя ли его подождать?

— Жди, милый, только войти нельзя, как видишь.

— А как его здоровье?

— Да был плох, а утром вышел такой веселый и говорит: «Ну, теперь заживем хорошо! Уеду, говорит, старуха, в Неаполь».

Каховский ударил себя по лбу.

— В «Неаполь»? Он так и сказал?

— Ну да, так и сказал.

Каховский был в ужасе: у Вознесенского моста, в доме француза Мюссара, помещается плохонькая гостиница «Неаполь», в которой он жил. Значит, Ширханов пошел к нему и там, конечно, арестован.

Как быть? Идти домой нельзя. Надо выбрать какой-нибудь невоенный адрес. «В самом деле, пойду к Гречу: у него не станут искать», — подумал Каховский. Греча он не застал, но привратник сообщил Каховскому, что сейчас был «господин санкт-петербургский полицмейстер».

— Вызвали господина Греча,— словоохотливо болтал привратник, — и спросили — было это в первом часу ночи, — где живет господин Каховский. Господин Греч вышли к коляске его превосходительства и сказали, что

не знают, а господин полицмейстер показали записку, в которой написано: «У Вознесенского моста». Господин Греч покачали головой, а господин полицмейстер спросили: «Известно ли вам, кто написал эту записку? Написал сам государь!» Вот какие дела! Господин Греч вернулись к себе в расстройстве.

Каховский тоже был расстроен. Значит, нельзя идти домой, и с Ширхановым плохо.

Решил идти ночевать к Кожевникову. Пришел почти под утро. Спал мало. А 15 декабря, мучимый сожалением о Ширханове и чувствуя, что любит этого человека, как никогда еще никого не любил, он переулками пошел к Вознесенскому мосту, чтобы хоть одним глазком посмотреть из окна своего номера в гостинице. На углу стоял полицейский. Каховский на него не взглянул. Сознание опасности было страшное, и в то же время нарастало непреодолимое желание идти навстречу этой опасности. Ноги как будто налиты свинцом. Каждый шаг невероятно труден. Всего только два шага — подойти и спросить: не проходил ли белокурый человек с черными усами и голубыми глазами? «Прекрасное, измученное болезнью и горем лицо, лицо настоящего героя...» — подумал Каховский.

Тяжелая рука легла на плечо. Насмешливые глаза смотрят прямо на Каховского. Казак низким голосом говорит:

— Ваше благородие, вы арестованы.

Каховский, скинув руку с плеча, сбросив шинель, как кошка, прыжками скачет к мосту. Пуля просвистела мимо уха. Всадник настиг и ударяет плетью.

...Голова тяжелая, мысли путаются, обгоняя одна другую, но все-таки надо попытаться открыть глаза. Впечатление такое, будто яркое солнце бьет сквозь веки, и кажется, что плаваешь в красном огне. Но это не огонь — это портьеры из красного шелка в Зимнем дворце, а серебристый легкий звон шпор четырех жандармов — не колокольчик тройки, которая несет по Ковенскому шоссе с подорожной до самой границы и с паспортом на Париж.

Люди вытянулись в струнку. Каховский мгновенно очнулся. Два конвоира подняли его за локти. На другом конце зала бесшумно отодвинулась портьера, и показался человек в военном сюртуке Измайловского полка, застегнутом на все крючки и пуговицы.

Каховский совершенно овладел собою и твердыми шагами пошел навстречу Николаю. Но тот еще издали поднял правую руку, словно требуя остановки, и сам подошел к нему.

Никогда в жизни Николай I не слышал ничего более оскорбительного, нежели первые слова Каховского на его вопросы.

— Простите, ваше величество, я буду говорить совершенно откровенно. Моя искренность есть мое к вам усердие. Вы были великим князем, мы не могли судить о вас иначе, как по наружности. Видимые ваши занятия были фрунт и солдаты, а мы страшились иметь на престоле полковника. Ваш брат быстро двинул умы к нравам людей, но вдруг, переменив свои правила, осадил их и тем произвел у нас все заговоры. Кончились войны. Мы надеялись, что император займется внутренним порядком государства. Через двенадцать лет ожиданий лишь переменилась форма гражданских мундиров. Как вы думаете, государь, если бы вас не стало, много ль нашлось бы людей, которые истинно о вас пожалели?

Эти слова решили участь Каховского.

Движение в России было остановлено.

1825 год был годом крутого поворота назад и во всей европейской истории.

Во Франции наступили годы пятилетнего безумия Карла X.

Глава тридцать вторая

В 1825 году понадобилось второе издание трактата о Расине и Шекспире. Бейль спокойно сделал эту работу. Он все-таки напечатал ответ господину Оже на его манифест против романтиков. Вместе с тем его начало серьезно тревожить наступление на литературу, которое велось новыми людьми новой Франции. Эти новые люди, занятые «серьезными» вопросами эксплуатации десятков тысяч рабочих, редактировали законы, запрещавшие доступ на фабрики и заводы Франции гражданам не французской национальности, ибо собственные инженеры изобрели такие способы улучшения производства, что рабочие тысячами становились ненужными. Английские и итальянские промышленники наперебой старались перекупить чертежи французских машин. В Париже безработица — можно

было отметить те же явления, которые были описаны в Англии Байроном в 1812 году. Люди, стоявшие у власти, диктовавшие законы и вышвыривавшие рабочих на улицу, с беспокойством посматривали на суетливых романтиков: литературная борьба могла перекинуться за пределы литературы и создать совершенно ненужное общественное течение. Молодой Бенжамен Констан выступает с предложением — не вмешиваться в отношения между рабочим и хозяином. В своем «Курсе конституционной политики» он твердо и настойчиво проводит мысль, что устройство общественных отношений базируется на правильном распределении власти между богатыми и бедными. Но бедность имеет слишком много предрассудков, и только богатый может решить по-настоящему, какие законы нужны стране. А всякие другие мечты о человеческом счастии, о правильном устройстве человеческого общества являются занятием в высшей степени вредным, порождающим массу ложных теорий. Это требовало ответа. Так возник памфлет Стендаля, названный «Заговором романтиков против индустриальной буржуазии».

На чердаке, на сквозном ветру, повернувшись на подушках к свету, откинув бритую бронзовую голову римского сенатора и вздохнув в последний раз, умер французский социалист Сен-Симон. Его обреченные друзья доживали последние дни перед казнью в Шпильбергской крепости в Моравии.

В этот год, следуя примеру своего друга, императора Франца, самолично допрашивавшего карбонариев, Николай I превратил Зимний дворец в застенок — и то, мягко крадучись и ласково ступая, трогательным участием пытался смягчить сердца суровых заговорщиков, то, выпрыгивая, как пантера, из-за красной занавески, хватал офицера-декабриста за ворот и кричал: «Что ты наделал? Знаешь ли ты, что завтра будешь повешен?» В этом же году греческие страдиоты справляли годовщину смерти своего полководца, странного и причудливого человека, лорда Байрона, о котором все говорили как о замечательном стихотворце. В это же время беспокойный памфлетист и неугомонный политик, тревоживший парижскую полицию и министерство внутренних дел, Курье, был найден в лесу, недалеко от своего дома, с простреленной грудью.

Очень многое случилось в этот год: умер Людовик XVIII, граф д'Артуа, наконец, на старости лет, сде-

лался королем Франции. Путь от Парижа до Реймса был усыпан серебряными монетами. Король короновался, по средневековому обычаю, в том самом городе, куда Жанна д'Арк привела когда-то после побед полубезумного Карла VII. После коронации король совершал средневековый обряд исцеления золотушных путем наложения рук на головы больных.

В этот год французские эмигранты, бежавшие когда-то от революции, подняли головы. Люди в черных плащах, с пергаментными грамотами, стучали в двери сельских домов и усадеб, вызывали тех, кто уже двадцать лет возделывал эту землю, и, показывая грамоту, требовали, чтобы крестьянин-фермер, владевший дворянской землей после революции, немедленно, не дожидаясь вторичного приказа, покидал жилище и уходил с семьею куда угодно. А в случае малейшего сопротивления являлись вооруженные люди, молча выводили стариков, жен и детей и тут же, у изгороди виноградника, расстреливали их. В этот год Николай Тургенев, член русского тайного общества, с оледенелым от ужаса лицом и остановившимися глазами, входил к любимцу всех прошлых революций, старику Лафайету. Глядя в его бесконечно живые, светлые глаза, он говорил, что на каждом перекрестке его ждет переодетый русский жандарм, чтобы тайно похитить и увезти в ледяную страну, где жестокий царь пошлет его на виселицу или в Сибирь вместе с тысячью пойманных его друзей. И старик Лафайет, слушая декабриста Николая Тургенева, не меняясь в лице и попрежнему улыбаясь лукаво и весело, написал ему семь писем в Америку и семь писем в Лондон, посоветовав немедленно покинуть Францию. Николай спасся в Англии, а его брат Александр сделался его хранителем. С этого года начались томительная жизнь одного и скитания другого. Николай Тургенев жил в Англии, в деревеньке, до которой не могли достать цепкие когти николаевских жандармов.

Александр Тургенев сделался непоседой. Переезжая из города в город, слушая лекции знаменитостей, завязывая светские знакомства и вступая в дружеские связи, он бережно собирал для брата впечатления парижских салонов, питал его самыми свежими известиями об интеллектуальной жизни Парижа. В суровом, вынужденном одиночестве брата он заменял ему общество друзей и

пестрыми, яркими письмами нарушал удушливое однообразие чельтенгамского деревянного дома.

В этот год учитель Мериме, Лингаи, испытал не мало неприятных минут под влиянием воспоминаний о том, что именно он, Лингаи, составлял по поручению Людовика XVIII самые едкие газетные выпады против Марсанского павильона. Теперь Марсанский павильон стал эмблемой власти, и раскрытие авторства Лингаи могло серьезно ему повредить.

В этот год ученик Лингаи, Мериме, с увлечением предался утонченному и элегантному озорству, состоявшему в том, что он попытался перевоплотиться в испанскую цыганку Клару Газуль и написал несколько мещанских комедий с трагическим исходом, буржуазных трагедий с комическим разрешением. Шутник и весельчак Эри Шеффер изобразил Мериме в женском костюме, и в таком виде автор «Театра Клары Газуль» предстал перед ротозеями парижских книжных витрин.

И тогда же, сходя по лестнице особняка герцогини Брольи, Бейль узнал от итальянца Корнера о том, что лучшая женщина в мире — Метильда Висконтини — умерла от постоянных горестей и несчастий, гордо перенося свое одиночество, преследуемая властями. Бейль пошатнулся, схватился за перила, и Корнер с мрачным видом неуклюже поддержал его подмышки. Молодая девушка с черным брильянтовым крестом на шее, испуганно посмотрев на Бейля огромными глазами, быстро принесла ему стакан воды. Это была невеста убитого декабриста Михаила Ширханова, Натали Щербакова, воспитанница Строгановых. Бейль навсегда запомнил эту русскую девушку. Мысленно он всегда называл ее Арманс и дал ей выдуманную русскую фамилию — Зоилова. Он пробовал зарисовать ее портрет, пробовал описать ее историю. Так возник первый набросок романа «Арманс». Не чувствуя себя беллетристом, Бейль оставил этот очерк.

Его сердце так и не могло примириться со смертью Метильды. Спустя немного пришла весть о том, что в Англии скончался любовник Метильды — Уго Фосколо, прекрасный плечистый гигант, с тонкой талией и рыжими волосами, с глазами безумными и веселыми, замечательный поэт и дерзкий конспиратор, один из страшнейших заговорщиков Италии, осмелившийся именем народа говорить дерзкие фразы в лицо всесильному Бонапарту.

Фосколо умер в лачуге на берегу Темзы, в лондонском предместье. Мука ревности, томившая Бейля, сменилась чувством восхищения перед поэтом и борцом за Италию, когда он узнал о смерти Фосколо. Опять итальянские впечатления нахлынули волной, налетели вихрем, скомкали обычное течение жизни.

С невероятной быстротой пишутся наброски о жизни Россини, переплетаются в большую тетрадку уцелевшие итальянские письма, но ничто не помогает избавиться от тоски после несчетных потерь тяжелой зимы.

В сорок три года легко вспоминать, но почти невозможно возобновлять явления прошедших лет. После веселых вечеров с друзьями у «Провансальских братьев» и после тяжелого опьянения крепким алкоголем Бейль ранним утром убегает в Пасси, садится на скамью и, уронив голову на руки, стремится скрыть от проходящего случайно сторожа, как вздрагивают плечи и судорожно трясется голова от глухих и молчаливых рыданий. Почти как вор, боясь признаться самому себе в неразумности совершаемого поступка, он садится в южный мальпост, и, уже начиная от Орлеана, словно от холода, кутается в шинель с капюшоном и надевает на лоб короткий, широкий цилиндр, чтобы не быть узнанным. В весенний день, когда горы Дофинэ подернуты синеватой дымкой, скрывающей бесконечные дали лесов и голубые озера, он подъезжает к родному городу. И как то было однажды, проезжая мимо изгороди Клэ, просит мальчика принести ему кисть винограда из виноградника, когда-то принадлежавшего его отцу. Не доезжая площади Гренетт, он выходит из кареты, делает несколько шагов по улице, но не решается подойти близко к дому, где протекало его детство. Он пьет кофе на соседней улице, потом быстрыми шагами направляется к заставе и спешит с обратным мальпостом в Париж, сознавая полную нелепость своего поступка.

Североитальянские озера, мимо которых он проезжал в тот ужасный день, когда расстался с Метильдой, снова манят его, как что-то невыразимо жуткое и бесконечно привлекательное. Там впервые он почувствовал, что значит расставание с жизнью. Каждый шаг отрывал его от самого дорогого и самого лучшего, что может встретиться в жизни человека. И тогда, так же как в эти дни, светило солнце, дорога, полная трепетной зелени, с каждым шагом приближала его к белоснежным альпийским скалам,

а позади, в цветущих долинах Ломбардии, оставались семь самых лучших лет жизни, прожитых и покинутых безвозвратно. Каждый шаг на север причинял невероятную боль; он думал, что один дерзкий окрик форейтору, один отчаянный поворот назад — и он мог бы снова увидеть Милан и Метильду... Теперь он никогда ее не увидит. Непонятна и дика эта страшная мысль!

Через месяц он бродил по улицам Рима. Никогда еще город не казался ему таким пустынным и страшным. Все места, где он был счастлив, теперь причиняли ему боль. Стена около Кампо Верано, когда-то покрытая зеленью, обрушилась. Камни, словно кости скелетов, неуклюже торчали из-под земли, и невольно приходило в голову сравнение собственной жизни с этими грустными обломками.

...На обратном пути в Париж Бейль был молчаливее, чем когда-либо. На него с участием и любопытством смотрели ласковые глаза рыжеволосой спутницы, смотрели так пристально, что Бейль под конец заговорил. Попутчица была дочерью наполеоновского генерала — графа Кюриаль. Выходя на постоялом дворе Лаффита, Бейль помог ей перенести баулы в коляску фиакра, а она попросила оказать ей любезность проводить ее до дома. В коляске баул пошатнулся и едва не выпал. Бейль и его спутница одновременно схватили его за ручку. Ладони скрестились, и пальцы вошли в пальцы. Бейль не выпускал руки, а госпожа Кюриаль не просила ее обратно. Так прошло несколько минут, пока седая привратница с радостным криком не открыла ворота. Госпожа Кюриаль поручила слугам внести вещи. Бейль в нерешительности стоял в вестибюле, и вдруг тонкие длинные руки в перчатках обвились вокруг его шеи.

После полуночи Бейль вернулся к себе. Утром пошел разыскивать Андреа Корнера, разбудил его и стал подробно выспрашивать о похоронах Метильды. Корнер рассказал, что эта женщина, наделенная исключительной живостью лица, одаренная игрою самых сложных и живых чувств, такая восприимчивая и всегда веселая, перед смертью страдала очень мало. Метильда умерла спокойно. Ее бледное лицо сделалось тонким и прозрачным, как лицо Юлии Альпинулы; глядя на нее, лежащую в гробу, можно было подумать, что это мраморное изваяние, возвращаемое снова в землю ломбардским крестьянином, испуганным своей находкой во время пахоты. Такой образ

Метильды сопровождал Бейля всю остальную жизнь. И как это часто бывает у людей, стоящих на рубеже двух эпох, когда старое уживается с новым, так у Стендаля старинная любовь романтика легко уживалась с физической неверностью любимому существу — свойством нового века. Для него здесь не было вопросов и сомнений. Вечером того же дня он без размышлений принял предложение госпожи Кюриаль приехать к ней в имение Андильи. Там его пребывание было не совсем благополучным. Графиня должна была прятать своего друга в подполье, в обширном помещении под домом. В течение недели она два раза в сутки спускалась к нему, чтобы кормить его, как заключенного в тюрьме, и он не чувствовал себя от этого хуже. Потом опять наступало прозаическое время прогулок по парку и бесконечных разговоров. Бейля начинало неудержимо тянуть к ней гораздо раньше, чем его спутница успевала отдохнуть от предыдущей встречи. Ему хотелось продлить часы совместных прогулок, она чувствовала избыток общения, который становится уже угрозой счастью. Первый раз в жизни Бейль этого не замечал. Его порывы росли и крепли, ее порывы слабели. Открыв это внезапно, Бейль стремительно бежал в Париж, не простясь, почти тайком. Там по прошествии первых недель разлуки его снова искали письма. Наступили длительные и сладкие часы каких-то молодых свиданий, когда людям время кажется бесконечно длинным и минуты отсчитываются с нетерпением ускоренными и частыми шагами. Иногда от волнения Бейлю казалось, что он не доживет до назначенного часа, но этот час приходил, а через пять минут госпожа Кюриаль не могла подавить вялой зевоты, сменявшей первоначальные горячие приветствия. Бейль мучился. Он замышлял побег, как ребенок, стремящийся убежать от собственной тени, и чувствовал себя больным. Наконец, характер госпожи Кюриаль несколько выровнялся. Она приобрела какие-то навыки, облегчавшие ей регулярные пятиминутные свидания, но когда Бейль, мучимый горячим и совсем не регулярным чувством, вносил беспорядок в размеренную жизнь своей любовницы, то она первоначально удивлялась, потом негодовала, потом устраивала ему сцены, чувствуя себя совершенно несчастной именно в те минуты, когда Бейль любил ее больше всего и когда, как ему казалось, давал ей настоящее счастье. Он уезжал на три,

на четыре дня, но с каждым шагом от Парижа, с каждым поворотом колеса дилижанса он чувствовал, как бешеная ревность завладевает сердцем, как мысль работает лихорадочно в одном направлении, как все становится отравленным и горьким. Чаще всего он возвращался с полпути; иногда, доехав до намеченного пункта, он заставлял себя выдержать характер, и даже самые страшные предположения ревнивого любовника не могли вернуть его с дороги. Но не было случая, чтобы он до конца провел в отсутствии обещанное себе число часов и дней. Именно в те минуты, когда, казалось, улеглись все страсти и ревность, когда он спокойно принимался за чтение озорных писем Мериме, он вдруг испытывал страшный толчок, срывался с места и, не помня себя, устремлялся в Париж.

Снова началась борьба при входе в квартал, где жила Мента (так он назвал Кюриаль), борьба заканчивалась поражением Бейля, потом борьба при входе на улицу, за углом которой выступало крыльцо ее дома, — тут второе поражение и, наконец, самая тяжелая борьба — когда три или четыре раза он отнимал руку от дверного молотка.

И вот в один из таких дней Бейль оказался победителем. После нескольких острых и едких слов переписки, пытаясь примирить с собою Менту, Бейль назначил ей час, в который предполагал свидеться с ней. Он не помнил точно, что произошло раньше: его решение отойти от двери, не постучавшись, или встреча у самого вестибюля с Альбертой де Рюбанпре, окликнувшей его словами: «Вы меня не узнаете, господин Бейль?» Он действительно видел ее всего два раза, и ее пламенные взоры никак на него не подействовали. Но в этот раз ему случайно оказалось по дороге с Альбертой. Зайдя слишком далеко в разговоре, они зашли еще дальше в поступках. Альберта ни за что не соглашалась отпустить его, не напоив чаем. Чай заменили поцелуем, без единого сердечного слова, без малейшего намека на искреннее чувство. Бейль вспоминал свои первые подвиги на этом поприще, когда ему было четырнадцать лет и он прочел книжку «Felicie ou mes Fredaines»[1]. Следующие книжки, еще более откровенные, «Привратник Шартрезы» и «Воспоминания Сатурнина», погрузили его в неизвестное дотоле состояние. Но это было очень давно — сколько раз потом, возвра-

[1] «Фелиси, или мои проказы» *(франц.)*.

щаясь после нетрезвой пирушки с друзьями, он чувствовал в себе опасного зверя, и как часто на третьем этаже Ново-Люксембургской улицы он боролся с этим зверем и успокаивал свои страсти чтением книги и упорным стремлением с головой уйти в работу. Однако ему доставляло удовольствие сознавать в себе присутствие этого огромного и сильного животного, ощущать небывалую чувствительность нервов.

Альберта жила на Синей улице. Отсюда ее прозвище — Мадам Лазурь; и под этим именем однажды вечером, в ресторане «Братьев Провансальцев», Бейль описал своему другу Мериме всю историю связи с этой женщиной. Лазурь иногда слепила глаза ярким солнцем, иногда покрывалась грозными тучами, но и в том и в другом случае была невероятно развратна. Мериме слушал все подробности времяпрепровождения этих двух озверевших существ и делал вид, что рассказы старшего друга не производят на него ни малейшего впечатления.

Прошел месяц. Холодная куропатка, шампанское и свежее постельное белье, — три части, из которых слагались часы и ночи в черной спальне с подушками на полу у Альберты де Рюбанпре, — перестали заслонять образ Менты. До Метильды было бесконечно далеко — это была единственная икона атеиста. К памяти о Метильде сводились все нити лучших работ, умнейших мыслей, серьезнейших, напряженных занятий. Но легкая возбудимость нервов, большая сердечность и доброта Кюриаль были все-таки тем, без чего оказалось невозможным обойтись одинокому человеку, обреченному на скитальческую жизнь. Не хотелось возвращаться к Менте. Лучше помучиться еще, чем испытать первые десять — пятнадцать минут разговора, который все равно ни к чему не приведет, кроме самообмана. Однако Лазурь на Синей улице давно не видала Бейля. Она написала ему, что скучает и хочет новых вариантов игр и забав. Бейль пошел. Проведя с нею час, одеваясь, он заметил на столике в углу голубую индийскую шаль, до странности знакомую, но не мог определить, где и когда он ее видел. Потом, преодолевая смущение, он спросил растерянным голосом: «Послушайте, Лазурь, откуда это у вас лазоревая шаль?» Она покраснела и сказала, что ей подарила подруга.

— Как ее зовут? — спросил Бейль.

— Ее зовут Анной, но ведь вы ее не знаете.

Идя по улице, Бейль думал, почему ему вдруг внушила беспокойство эта индийская шаль, и внезапно при слове «Анна» он вспомнил, что видел ее на Лильской улице, в доме № 52, в маленькой гостиной у Анны Мериме — матери молодого Проспера.

«Боже мой, ведь я же рассказал Просперу все свои приключения с Альбертой! Да, но он не обратил на них никакого внимания», — ответил Бейль сам себе.

«Тем хуже для тебя», — произнес он опять сам себе и, чтобы разрешить свои сомнения, зашагал быстрыми и частыми шагами на Лильскую улицу.

Клара, как прозвал Бейль Проспера Мериме со дня публикации «Театра Клары Газуль», Клара была дома. «Она» посмотрела на своего друга с некоторым удивлением, не зная причины, его расстроившей.

— Послушайте, Клара, вы, кажется, стали ходить проторенными дорожками на Синюю улицу?

Мериме громко расхохотался.

— Послушайте, дорогой наставник, вы так хорошо мне ее расписали, что я сам захотел отведать!

— Послушайте, Клара, уступите мне ее на две недели.

— Что? — воскликнул Мериме. — Что вы сказали? На две недели?

Бейль, не понимая, что он находится в нелепом положении, умоляюще смотрел на Мериме.

— Возьмите ваше сокровище на две тысячи лет, даю вам честное слово, я не появлюсь на Синей улице и на тысячу шагов не подойду к вашей Лазури. У нее чулки сваливаются на ходу.

Бейль чувствовал невероятную глупость своего положения, в особенности при словах Мериме, намеренно сказанных на гренобльском наречии (engarond), потом, быстро овладев собой, сказал:

— А все-таки неблагоразумно дарить вещи, принадлежащие матери, таким милым особам, как наша Альберта.

— С этим я согласен, дорогой наставник, но имейте в виду, что мне вовсе не так везет, как вам, и когда я сказал вашей Лазури, что я больше всего ценю в женщине непосредственное чувство, она с действительным непосредственным чувством спросила: «А во что вы цените непосредственное чувство?»

— Да, вам не повезло, — сказал Бейль. — После того как вы набили цену, я склонен прекратить визиты на Синюю улицу, а сейчас пойдемте обедать и выпьем бургундского.

— Согласен, — сказал Мериме, — я вижу, что вам необходимо восстановить физиологический баланс, ведь вы оттуда.

— Быть может, — ответил Бейль.

— Не быть может, а да. В вашем возрасте такие эксперименты не проходят бесследно.

— В вашем тоже, — ответил Бейль.

Началась перебранка, длившаяся всю дорогу, изысканно едкая и утонченно злая перебранка, заменявшая этим двум враждующим друзьям острые и раздражающие кушанья, к которым прибегают перед обедом пресыщенные, скучающие люди.

По существу это была лишь маскировка. Старший стремился острыми словечками играющего ума отвлечь внимание собеседника от изощренной и острой жизненности, которая предельно насыщала все его переживания. Другой, помоложе, показным цинизмом стремился замаскировать свою влюбленность в высокую литературу и ученическое обожание Бейля.

— Ну, признайтесь, Клара, какие еще цыганские замыслы вывариваются в вашем бразеро?

— От бразеро идет дым, в котором ничего не видно. Вчера видел маршала Мармона и был у него с отцом. Он рассказывал о своем пребывании в Рагузе, о славянском побережье Адриатики, рассказывал о тамошних горцах, о гуслярах, о далматских песнях. Это очень странные народности, и мне кажется, что в их среде встречаются именно те характеры, которые вас привлекают своей энергией.

— Да, это энергия азиатской дикости, к которой я не чувствую ни малейшей симпатии, — отозвался Бейль. — Меня привлекает энергия французов эпохи Генрихов и энергия нынешних итальянцев, людей старинной культуры, которая не переломила, а лишь обогатила их характер. Нынешней весной в Риме я почувствовал, до какой степени силен гнет реакции в Италии, и вместе с тем узнал, какие характеры выковывает этот гнет. Нет ни одной семьи, члены которой входили бы в одну и ту же партию. Когда отец за обедом заговаривает о северных

событиях, то можно видеть, как сын и дочь бледнеют от злости. Глаза супруги разгораются ненавистью. Младший сын — сторонник отца — роняет короткое замечание, а брат и сестра пронизывают его взглядами и молчат.

— Но вы когда-то говорили о героизме этого народа.

— Какой же героизм — это ослиное терпение. У нас фальшивое представление о войне. Попробуйте рассказать что-нибудь, опровергающее официальные версии, и вас назовут лгуном и клеветником.

— Попробую, — сказал Мериме. — Не уверен в успехе, так же как не уверен в успехе «Кромвеля» и так же как не уверен в успехе наших совместных комедий.

— Я тоже охладел к ним, — сказал Бейль. — Хотя, конечно, после комедии, разыгранной на Синей улице, мы могли бы, пожалуй, не ссориться по поводу «Евангельской истории».

— Вы знаете, что вышел закон о смертной казни за святотатство, — сказал Мериме. — Нам, пожалуй, не удастся даже по этой причине закончить историю Христа, влюбленного одновременно и в Магдалину и в юного красавца Иоанна.

— Ну, эта тема исторически оправдана. Цезарь, Александр и пятнадцать римских пап имели мужских фаворитов, вопреки законам, и уж во всяком случае совершали святотатства, если целомудрие священного сана считать похищаемой святыней.

— Это довольно свободное толкование нынешнего закона. Интересно, сколько человек придется казнить в самом Париже? Во всяком случае, все мои опыты в этой области имели предметом людей светских и мирских, монашеская ряса приводит меня в трепет.

— Вот не думал, что наши теоретические споры могут повлечь за собою экспериментальную постановку дела, — насмешливо сказал Бейль. — Я думаю, вы на себя наговариваете, вы слишком молоды для Сократа и слишком некрасивы для Алкивиада, — простите, мой друг, за откровенность.

— Прибавьте еще к этому, что я не так богат, как интендантский чиновник наполеоновской армии, так что даже за деньги не могу получить того, что иным господь бог посылает в качестве небесного дара, — отпарировал Мериме.

— Вы начинаете говорить неслыханные дерзости, вы же знаете, что я никогда не был интендантом наполеоновской армии и, даже будучи директором смоленского снабжения, не жалел о том, что не нагрел руки.

— Ну, для покупки тех продуктов, о которых вы так неосторожно заговорили, кажется, нет надобности греть руки.

— Прекратимте этот разговор, — отрывисто сказал Бейль. — Нам очень долго не подают обеда. Кстати, скажите, пожалуйста, верно ли говорят, что от вас сильно пострадала молодая женщина, Аврора Дюдеван, как ее псевдоним, я не помню.

— Вы говорите о Жорж Занд? — спросил Мериме.

— Да. Все говорят о том, что ваша свинцовая пятерня отпечатлелась у нее на плече.

— Пятерня тут ни при чем, — сказал Мериме и улыбнулся.

Бейль ответил улыбкой.

— Теперь все кончено и навсегда, — помолчав, произнес Мериме.

— Ну, в таком случае начнем новое блюдо, — сказал Бейль, придвигая к себе тарелку.

Некоторое время оба друга обедали молча. В промежутках между блюдами Мериме переворачивал страницы *«Британского обозрения»* и поднял брови, прочитав абзац из анонимных *«Воспоминаний итальянского дворянина».*

— Какая замечательная вещь! — восклицает он. — Вы подумайте, какая прозрачная проза, это совершенный Вольтер! Назовите во Франции хотя бы одного человека, который писал бы так просто. Англичане в овладении стилем далеко уходят вперед!

Бейль взял книгу, презрительно прочел место, отчеркнутое ногтем, и, молча закрыв книгу, отшвырнул ее.

— Слушайте, дорогой наставник, вам не кажется, что ваш жест говорит о самой низкой зависти?

— Не кажется, потому что эта статья — моя: я не опровергаю Фосколо, приписывающего мне на страницах «Вестминстерского обозрения» высокую честь авторства «Записок Казановы». Но тут все ясно и без Фосколо.

Мериме молчал. Первый раз в жизни он чувствовал, как краска заливает ему лицо, и большими глотками красного вина старался в своих собственных глазах оправдать появление этой краски.

На этот раз все позиции остались за Бейлем. Он дал возможность своему другу покраснеть до корня волос. Он делал вид, что не замечает Мериме, он жевал спокойно, методически, как будто весь был погружен в сладостный труд гурмана; наконец, он спросил:

— Ну, что же, Клара, вы мне не досказали о ваших шашнях с маршалом Мармоном. Имейте в виду, что он в ближайшее время отправляется в вашу проклятую Россию. Северный царь Николай только что подавил восстание русских карбонариев, о чем вы читали во «Всемирном обозрении», казнил своих врагов и сейчас возлагает на себя тиару восточного деспота. Французский Карл в ознаменование этого события посылает маршала Мармона в Петербург.

— Мне собственно не нужен маршал Мармон. Мне нужны славянские песни, о которых он говорил. Я достал их по его совету в библиотеке Арсенала. Огромный толстый том описывает старинные путешествия по западным Балканам аббата Фортиса и Лаорика. Потом у Мармона я взял книжонку Шоммет де Фоссе, который был консулом где-то в Баньялуке. Что касается русского восстания, то я имею о нем самое смутное представление.

— Мне кажется, на этот раз русское восстание коренным образом отличается от старых переворотов, происходивших в этой стране. Я недавно встретил у Строгановых девушку, жениха и дядю которой подвергли страшным карам в России. Это все были передовые люди своего сословия и блестящие представители образованного Петербурга. В последнюю поездку в Англию, несколько месяцев тому назад, я снова был в Ричмонде, где очень советую побывать и вам: одно из красивейших мест на земле. Там мой спутник Россетти, в свое время карбонарий, теперь мирный поэт, показал мне высокого и стройного человека с курчавыми волосами, в голубом сюртуке, русского заговорщика, одного из самых опасных, Николая Тургенева. Ему удалось спастись в Англию. Россетти рассказывал, что Тургенев со дня на день ждет решения английского правительства о выдаче его царю. Северный медведь — ужасное чудовище.

Мериме пропустил все это мимо ушей. Он делал вид, что слушает, но на самом деле глаза его постоянно обращались в сторону вошедшей женщины, которая, идя под

руку с мужем, рассеянно искала свободный столик. Бейль замолчал, оборвав фразу на полуслове, и принял непроницаемый вид. Мериме не обратил на это внимания.

— Скажите, Клара, кто привлекает ваше внимание — он или она? Оба одинаково красивы.

Мериме вдруг спохватился.

— Я не знаю фамилии этой женщины, — сказал он, — но слава о моем беспутстве настолько велика, что, когда недавно мне и ей предложили место в карете, она отказалась ехать со мною.

— Ну, что ж, она, конечно, совершенно права, — сказал Бейль. — Я неоднократно слышал, что, даже дыша одним с вами воздухом в дилижансе, женщина делается беременной.

— Фу, какой безобразный язык! Кто это отпускает такие остроты, ценою в лиар?

— Вы сегодня второй раз даете оценки невпопад, мой друг. В первый раз вы похвалили мою коротенькую заметку в «Британском обозрении», отказавшись допустить во Франции существование человека, владеющего стилем, второй раз вы даете грошовую оценку моему собственному остроумию. Недостает, чтобы в третий раз вы сделали глупость вроде журналиста Журдена, который четыре мои статьи старательно и долго, с диксионером в руках, переводил с английского языка на французский. Однако чего же эта дама испугалась? Она во всяком случае застрахована от скандала наличием законного супруга...

— Но, довольно, дорогой наставник, довольно, — перебил Мериме. — Вы уже в достаточной степени отомстили мне за индийскую шаль. Недостает, чтобы вы рассказали матушке о том, на какие плечи она попала.

— О! Это счастливая идея! Сейчас же поеду к мадам Мериме и все расскажу.

— Нет, этого вы не сделаете, во всяком случае меня вы там не застанете.

— Я это сделаю и горячо поблагодарю вас за то, что вас не будет.

Не прощаясь, Бейль вскочил на подножку проезжавшей коляски и уехал от приятеля. Тот молча зашагал в другую сторону.

Глава тридцать третья

Через какой-нибудь час Мериме убедился, что Бейль у него не был. С чувством облегчения он пошел на улицу Гамартен и в маленьком садике спросил себе пива у высокорослой красавицы госпожи Романэ.

— Был ли сегодня профессор? — спросил Мериме.

Романэ лукаво улыбнулась и сказала:

— Как всегда, ночевал у меня и ушел рано. Он с кем-то побранился здесь, кажется, с этим итальянцем Корнером.

Лингаи, преподаватель Мериме, был любовником госпожи Романэ.

«Из-за чего они могли поссориться? — думал Мериме. — Что им делить? Корнер — венецианец, бывший адъютант и друг миланского вице-короля, принца Евгения, теперь сорокалетний пьяница, промотавший огромное состояние на чужбине. Лингаи — бойкий журналист, пишущий по заказу разных министерств. В 1815 году он ловко и во-время выпустил брошюру, восхвалявшую Бурбонов. Министр Деказ вызвал его к себе, дал ему чин политического писателя и назначил ему оклад в шесть тысяч франков. Лингаи превратился в лучшего знатока политических интриг и сплетен, в опасного многоименного журналиста. Нет никакой надобности браниться с Корнером. Корнер все равно согласился бы на все».

Эти размышления были прерваны неожиданным появлением Бейля.

— Как, вы здесь, граф Газуль? Я никуда не могу от вас скрыться.

— Кажется, вы к этому не особенно стремитесь, ведь вы хотели поехать к моей матери?

— Я там был, — сказал Бейль.

— Я вас там не видел, — ответил Мериме.

— В таком случае у вас очень плохое зрение, — сказал Бейль. — А быть может, я и в действительности там не был?

Бейль внимательно смотрел на своего собеседника. Человек в сером пиджаке, с уродливым носом, с маленькими глазами, никогда не меняющими злого выражения. Что-то холодное, злое и колючее.

«Вот человек, который сделался моим лучшим другом, — думал Бейль. — Этот Мериме, этот граф Газуль,

письма которого доставляют мне столько настоящей радости, в разговоре лишен даже малейшего намека на сердечность и доброе чувство. Одно несомненно — у него огромный талант».

Мериме молча допивал пиво. Бейль, глядя на него, продолжал думать: «Отчего не поверить вместе с Бюффоном в то, что *мы получаем от наших матерей некоторую неуверенность в подлинности отцовства;* если мать не вызывает никаких сомнений, то это только потому, что природа обставила материнство серьезнейшими вещественными доказательствами. Но из всех мужчин, бывающих в доме, встреченных в дороге, кого можно по-настоящему назвать своим отцом? Леонор Мериме — это сплошное добродушие, большая сердечность, открытый и благородный нрав старинных времен. Госпожа Мериме — обладательница большого, чисто французского остроумия, женщина редчайшего ума. В ее сыне проявился тот же характер, лишь чрезвычайно заостренный. Он, так же как и мать, способен произнести сердечное слово *не чаще одного раза в год.* Эту сухость я нахожу и в его литературных опытах. Посмотрим, что даст будущее. Во всяком случае, нет ничего хуже этого союза с Лингаи, в иных отношениях очень полезного человека: прежде чем ехать куда-нибудь, всегда нужно спросить Лингаи, какие женщины пользуются влиянием в городе, какая дюжина красавиц имеет там успех и какие два толстосума ворочают делами города. На это он прекрасно сумеет ответить, но во всем остальном это какой-то водевильный суфлер, выступающий под разными именами, в разных газетах, по заказу разных министров и пишущий на разные суммы различные вещи. Сумеет ли Мериме уберечься от этого удешевления мысли и таланта? Превращение риторики в сплошную фальшь, поверхностность взглядов и полная пустота чувств, прикрытая блестящими фразами, — что может быть хуже для Мериме, если он станет писателем?!»

— Клара, вас так и тянет к этому алькову Лингаи!

— Нигде в Париже нет лучшего пива.

— Вы знаете, я с трудом привыкаю к Парижу, к его пиву, к его преподавателям риторики, к его испанским комедианткам.

— А зачем вам привыкать? — спросил Мериме. И вдруг просто посмотрел на него. — На днях я, не

надеясь получить от вас книги, купил новое двухтомное издание вашего «Рима, Неаполя и Флоренции». Я не знаю человека, который бы так сумел смыть фальшивый, надоевший всем образ Италии и восстановить ее настоящие яркие краски. Нужно обладать очень свободным умом и проницательностью непростого путешественника, чтобы самому освободиться от вековой лжи и приторных ощущений, чтобы так легко и быстро завоевать пером эту землю, сто раз описанную и, однако, попрежнему неизвестную. Зачем вам Париж? Что может дать вам эта искаженная форма, эти черепки разбитой посуды, топча которые, вы прекрасно знаете, что это остатки когда-то прекрасных вещей? Я смотрю на вас, как на конквистадора, нашедшего счастливые острова и человеческую расу, имеющую самое драгоценное — полноту и счастливое разнообразие энергии.

«Кажется, этот единственный *раз в год* наступил», — подумал Бейль, но не рассмеялся и не растрогался.

— Послушайте, Клара, вопрос идет не обо мне, а о вас. Если вы серьезно хотите писать, то зачем вам Лингаи?

— О, не говорите мне о Лингаи, это страшно вредный человек, но это лучший учитель мистификации.

— А вы долго еще будете мистифицировать?

— Долго, — ответил Мериме, кивнув с упрямым видом головой.

— Мне кажется, вы мистифицируете самого себя. Но чем, скажите, можно объяснить привязанность Лингаи к Романэ?

— Никакой привязанности нет, но согласитесь сами, после двухчасового писания статьи, убеждающей французов в том, что Бурбоны очаровательны, куда девать ему избыток горячей крови? Вот он и разыскивает каких-нибудь честных женщин из простонародья. Но он мал ростом и некрасив, — согласитесь сами, что при его испанском темпераменте это довольно плохие условия. Дело кончалось всегда очень просто: после третьего визита с пятисотфранковым билетом женщины обыкновенно забывали о том, что у него дурная внешность, и видели перед собою только огромный пятисотфранковый билет. Ему это надоело, он решил сразу истратить три тысячи франков и купил госпожу Романэ у ее супруга, который, получив деньги, уехал на юг и там открыл кофейню.

Лингаи утром был здесь и, как говорит Романэ, поссорился с Корнером. Не могу понять, на какой почве интересы этих людей могут встретиться.

— Ну, после всего, что вы сказали, удивительно, как вы не можете этого понять. Пьяница Корнер все же изумительно красив, а госпожа Романэ, очевидно, не лишена вкуса. Нельзя же ей всю свою жизнь тратить на одного Лингаи. Корнер сейчас — опустившийся человек, он в Париже — белая ворона. Никто не понимал его широких жестов, его небережливости к деньгам. Негде было проявиться его благородству и его храбрости. Но все эти черты делают его невыразимо обаятельным. Вы посмотрите на него, ведь это типичная фигура кисти Паоло Веронезе, а железный крест и орден Почетного легиона он получил из рук самого Бонапарта. Я познакомился с ними еще в тысяча восемьсот одиннадцатом году.

— С кем — с ними? Разве вы знали Лингаи в тысяча восемьсот одиннадцатом году?

— Нет, я говорю о Корнере и о другом, о капитане венецианской гвардии — графе Видмано. Я был тогда еще очень молод. Видмано и Корнер сделались моими друзьями, несмотря на то, что у Видмана я отбил его приятельницу. Самое смешное то, что Видмано в Москве, в Кремле, обратился ко мне с просьбой сделать его сенатором Итальянского королевства. В то время меня считали фаворитом графа Дарю, моего двоюродного брата. Видмано очень обиделся, услышав мой отказ. Не мог же я объяснить ему, что маршал Дарю не только ко мне равнодушен, но даже меня не любит. Между прочим, как сейчас помню, в четыре часа вечера девятнадцатого сентября тысяча восемьсот двенадцатого года Корнер сказал: «Но чертовская драка никогда, значит, не кончится?» Эта замечательная фраза была настолько не похожа на все военное напыщенное лицемерие французов, что ее одной было достаточно для того, чтобы я подружился с Корнером. У большинства французов благоговение перед войной, демонстрация готовности зачастую соединялась с трусостью. У Корнера безумная храбрость соединялась с презрением к войне, как к беспокойству и сутолоке. Ну, вы, кажется, кончили ваше пиво? Куда мы сейчас пойдем?

Мериме обдумывал ответ, направляясь вместе с Бейлем к выходу. У самых дверей они встретились с высоким человеком, который едва не сбил неосторожным движе-

нием шляпу с головы Мериме. Он извинился. Бейль схватил его за руку:

— Какой ветер тебя принес в Париж? Я думал, что ты в провинции собираешь свои проклятые налоги.

Это был Крозе.

— Я уже неделю как в Париже, и так как ты не хочешь меня знать...

— Подожди, — сказал Бейль.

Он догнал Мериме.

— Милая Клара, простите, у меня серьезные денежные дела.

— Встретимся вечером у Пасты — сказал Мериме и махнул шляпой.

— Послушай, Крозе, — обратился Бейль, — ты богат сегодня?

— Не более, чем всегда, — ответил Крозе сухо. — Во всяком случае, на издание книг... ни копейки!

— Но ведь я, кажется, не задержал последних векселей?

— Вот поэтому я и соглашаюсь разговаривать о деньгах. А сколько тебе нужно?

— Мне нужно восемь тысяч на год. Я хочу ехать в Милан и начать там работу, которая даст мне деньги.

— Твоя работа никогда не даст тебе денег. Я считаю тебя очень умным человеком и хорошим собеседником, но ты литературный неудачник, и Монжи жалуется на то, что только десять отчаявшихся в жизни парижан могут читать твои книги.

— Однако нашелся издатель, который печатает мой роман.

— Значит, или он дурак, или тебе действительно удалось написать интересную вещь.

— Я, конечно, написал хорошую вещь, но это не мешает издателю быть дураком. Согласись сам, Крозе, что издатель должен быть всегда несколько глуповат.

— Как же называется твой роман?

— Я еще не знаю точно, я думаю назвать его «Парижской гостиной», но, вероятно, назову его именем русской девушки Зоиловой — «Арманс».

— Это что, какая-нибудь русская почтарка, в которую ты влюбился во время московского похода?

— Нет, совсем нет. Это невеста убитого декабриста, кажется, воспитанница Строгановых.

— Ах, вот как! Ну, приходи ко мне завтра утром и поговорим обстоятельно о деньгах.

— А нельзя ли сегодня? Ты знаешь, твоя Праскэд меня недолюбливает.

— Ну, завтра она уедет покупать шляпу.

— А, значит, ты богат? Я знаю вкусы Праскэд; если она покупает шляпу, то, значит, ты стал миллионером.

Крозе улыбнулся.

— Но ведь сейчас у меня все равно нет денег.

— Ну, так разреши мне подписать вексель. Если он у тебя в кармане, то, я знаю, ты обыщешь весь Париж, но найдешь возможность вручить мне деньги.

— Хорошо, пиши! Ты надолго едешь?

— Хотел бы навсегда. Я не могу примириться с вашим Парижем и от всей души ненавижу Францию.

— Франция не хуже и не лучше других мест, везде можно найти и хорошее и плохое, надо только быть в мире с самим собой.

— Ты сегодня в педагогическом настроении. Я буду в мире с самим собой, когда снова буду в Милане.

Крозе посмотрел на него серьезно, потом достал красный бумажник, вынул шесть тысячефранковых билетов и с суровым и важным видом протянул их Бейлю, держа веером.

Бейль тоже достал из кармана потертый бумажник с надписью «ricordo» [1] — воспоминание об Анджеле Пьетрагруа, — вернее, напоминание о том, что не следует больше думать об этой миланской Юноне. Она подарила этот бумажник вместе с уверениями в нежнейших чувствах накануне того дня, когда он имел возможность убедиться в ее неверности.

— Ты, быть может, мне напишешь из Милана? — спросил Крозе.

— Обещаю, — ответил Бейль. — Но помни, что литература — это лотерея. Петрарка всю жизнь писал «Африку» и предполагал, что именно это произведение даст ему славу. В минуты отдыха он писал свои сонеты, которым не придавал никакого значения. Теперь, я уверен, найдется очень мало людей, не только читавших, но даже знающих название главной поэмы Петрарки, а маленькие

[1] Подарок на память, сувенир *(итал.)*.

сонеты дали ему всемирную известность. Итак, будем писать много. Неизвестно, что уцелеет!

— Ну, желаю тебе побольше «сонетов» и поменьше «Африки», — сказал Крозе, протягивая Бейлю широкую руку.

— Итак, случайная встреча разрешила мучительный кризис последних месяцев. Опять — «*самое милостивое, что есть в природе, — его величество случай. Жизнь коротка и все-таки очень хороша. За ее пределами нет ничего, даже сожаления о ней, поэтому живем!*»

«Фиакр нанят на часы. Сначала домой (рукопись уже отвезена издателю), потом в контору «Мессажер» у Лаффита. Дилижанс отходит через час, расписание изменилось. Боги, какое счастье! Прощайте, господин Мериме! Вы не увидите меня у Пасты. Эта милая женщина — мой прекрасный друг: у нее я отдыхал с ее матерью, старой Рахилью; мы часами могли разговаривать о способах приготовления миланского ризотто. Попробуйте провести там вечер без меня. Ключ дан консьержу. Маленький баул, книги брошены в кузов желтой кареты с серебряными почтовыми трубами на дверках. Шестеро пассажиров сидят снаружи: двое с форейтором, четыре человека внутри кареты. Очень хорошо, просторно, мягкое кожаное сиденье, очевидно, недавно перебито. Открыты окна, запах цветов из палисадника смешивается с тонким и едким запахом парижской пыли. Над городом бесконечное синее небо. Солнечный день. Никто в Париже раньше недели-двух не спохватится. Полине напишу в Гренобль с дороги. Кларе напишу из Милана. Жизнь коротка, но хороша!»

Мостовая кончилась, карета беззвучно пылит по дороге, лишь изредка поскрипывая на поворотах. Бич форейтора щелкает над передней парой лошадей. Кокетливый кучер вплел в гриву цветы. Ради какого случая? В окно заглядывает рыжая голова форейтора и кричит пассажирам:

— Сегодня старший кучер Лаффита женился, по этому случаю лошадям двойная дача, цветы на гривке, а людям двойная работа.

Глава тридцать четвертая

В Марселе снаряжается бриг «Комета» и завтра на заре поднимет паруса, направляясь в Неаполь. А до того времени, чтобы не скитаться по улицам портового города, лучше всего совершить пешую прогулку к берегам тенистой Ювонны, над которой свисают зеленые деревья, перекидывая с берега на берег широкие ветви, обвитые плющом. Бейль идет по улице, где когда-то была контора Шарля Менье. Теперь здесь жилая квартира. Стойки деревянной кровати виднеются в том окне, за которым когда-то, двадцать два года тому назад, сидел двадцатидвухлетний Анри Бейль, приказчик бакалейного магазина, бывший драгунский офицер. А вот его квартира. Вероятно, уцелело то стекло, на котором Мелани Гильбер нацарапала маленьким брильянтом своего перстня их имена — «Анри» и «Мелани».

На Ювонне нисколько не изменилась песчаная отмель, где он сидел, смотря, как, смеясь и раскидывая брызги, выходит из воды купающаяся Мелани и, швыряя в него песком, просит не задерживать ее ни на минуту, так как скоро репетиция в театре. Здесь же, на этой отмели, Бейль читал Мелани письмо от деда из Гренобля:

«В то время как французская молодежь сражается в войсках Наполеона, на которого в Милане возлагают корону Итальянского королевства, ты, как негодяй и оболтус, проводишь время за конторкой бакалейной лавки, и все из-за того, что имел несчастье прижить ребенка с хорошенькой актрисой». Бейль в первый раз вспомнил о девочке, не бывшей его ребенком, о том, что он старался заменить этой девочке отца до самого отъезда Мелани и даже после того, как ее бросил этот ужасный русский помещик Басков.

Захотелось записать пришедшую в голову хорошую мысль, Бейль вынул первый попавшийся клочок бумаги, оказавшийся письмом издателя, и прочел:

«Милостивый государь, я хотел бы не меньше вас, чтобы настало, наконец, такое время, когда я действительно смог бы дать вам отчет в прибылях, ожидаемых от вашей книги «О любви», но я начинаю думать, что такое время никогда не настанет. Не знаю, продано ли даже сорок экземпляров вашей книги, и могу выразиться

о ней так же, как о священных стихах Пампиньяна: они священны, ибо никто не осмелится к ним прикоснуться. Имею честь оставаться ваш преданнейший и готовый к услугам Ф. Монжи-Старший, издатель».

Гримаса досады пробежала по лицу. Мысль, которую хотел записать, вылетела из головы. Наступила реакция на парижские впечатления. С чувством подавленности и усталости он вернулся в гостиницу. Во дворе французский и итальянский матросы, окруженные толпою подзадоривающих любопытных, наносили друг другу удары, выпустив из-под большого пальца четыре-пять милиметров ножа. Оба были пьяны, оглашали воздух дикими криками. Исполосованные лица и рваная одежда были покрыты кровью. Закрыв шторы, Бейль пытался заснуть еще до наступления вечера, долго ворочался, потом достал бутылку вина и стал пить. Наступило тяжелое и мрачное опьянение.

Рано утром, сидя на огромном канатном круге, Бейль наблюдал работу матросов на снастях. Бриг вздрагивал, капитан у штурвала кричал в рупор на берег матросам, чтобы поскорее погружали последние бочки. Через десять минут шлюпка была поднята на борт, якорь взят, бриг быстрым и красивым поворотом встал по ветру и, рассекая волны, разбрасывая пенистые брызги, плавно покачиваясь, вышел из порта. Ветер, горячий и в то же время ласкающий, делал какие-то чудеса с людьми и парусами. Бейль чувствовал, как горели щеки, как свежела кровь, как учащенно и весело билось сердце и грудь дышала с давно незнакомой сладостной полнотой. Жизнь на палубе и в каютах шла своим чередом. Одни были случайными гостями, другие — постоянными обитателями. Это создавало разницу во всем — и в отношении к морю, пытливом у одних, безразличном у матросов экипажа.

Разговорившись дорогой со случайными спутниками, севшими в Генуе, Бейль узнал, что бриг заходит на остров Эльбу.

Бейль был уже другим человеком: вернулась легкость и подвижность миланского гражданина, вернулась дерзость виленского беглеца и решительность молодого драгуна, попавшего в зеленую долину Минчио в разгар боя, когда каждый кустик вспыхивал и давал белый комок. Все итальянские впечатления нахлынули на него сразу. Не

спрашивая о том, сколько времени пройдет до следующего судна, он решил высадиться на Эльбе. Надо видеть своими глазами ту клетку, из которой, по выражению венецианской газеты, кричавшей о «несчастии» 1815 года, *«лев бежал, сломав решетку»*.

Наступала ночь, ветер крепчал, светила полная луна, при которой синева моря была совершенно изумительной. Воздух прозрачен и не жарок. Остроносый бриг разрезал волну, из-под кормы бежала светящаяся пена. Бесконечно длинный лунный столб в воде был похож на серебряный костер, справа и слева от него — черно-синие полосы; с каждым часом одна из этих полос увеличивалась. Бейль дремал, сидя на палубе, прислонившись к мачте в носовой части корабля. В позе дремлющего человека застала его утренняя заря. Он пошел в камбуз, умылся, поговорил с матросами, выпил стакан красного вина, купленный в каюте у корабельного буфетчика, разливавшего вино из бочонка и торговавшего хлебом и маленькими рыбками. Солнце было еще невысоко, когда островная полоса стала видна от края до края, загородив часть горизонта. Бриг круто огибал мыс. Бейль смотрел вниз с борта. Прозрачные с красными крыльями моллюски, игравшие всеми цветами радуги, и огромные медузы населяли верхние слои воды; пловучие водоросли около мыса делали ее густой. За поворотом открылся вид на маленький островок Скорьетто и цитадель на высоком каменистом холме Порто-Феррайо. Корабль стал на рейде Порто-Феррайо. На вершине крутого холма появился белый дымок, и миг спустя донесся гулкий пушечный выстрел. Бриг убирал паруса. Через полтора часа Бейль был на берегу.

4 мая 1814 года простая лодка в том же самом Рио-Феррайо выехала навстречу военному кораблю и приняла на борт короля острова Эльбы, отрекшегося императора Франции Наполеона.

«Это будет остров отдохновения, — сказал Бонапарт. — Я буду жить как «мировой судья» Бонапарт после смерти Наполеона».

Таким образом древняя Эталия-Ильва — пустынный остров соляных варниц и железных рудников эпохи римского владычества — превратилась в камеру «мирового судьи» Бонапарта. Маленькая подпрефектура средиземноморского департамента сделалась самостоятельным государством. Но «мировой судья» не провел и четверти

часа после высадки в отведенном ему доме. Он оделся в старенький костюм для верховой езды и, не отдыхая с дороги, верхом пустился по острову. Огибая рейд, он увидел долину Сан-Мартино с ее яркою зеленью, виноградниками и склонами гор, усаженными серой оливковой порослью. Указывая на самый маленький из домов, он отдал распоряжение, чтобы его приспособили для постоянного местопребывания короля. Потом поехал осматривать заколы и солеварни, рудники, виноградники и в первую неделю изъездил вдоль и поперек весь остров.

«Мировой судья» не думал описывать европейские события, участником и инициатором которых он был. Английский комиссар с удивлением отмечал его горячую деятельность как хозяина и администратора, любопытство ко всем работам, которые Бонапарт поручал младшему садовнику или дворцовому сторожу. Неутомимая и кипучая энергия проявлялась во всем: в начатых постройках, в переоборудовании порта, в военных упражнениях с отрядами корсиканских стрелков, гвардейских канониров и моряков, с батальоном старой гвардии и эскадроном польских улан. Вся армия Бонапарта не превышала тысячи шестисот человек.

Бейль сговорился с крестьянином и поехал, не останавливаясь в Порто-Феррайо, до Сан-Мартина. Воспоминания нахлынули на него с невероятной силой. Всего шесть лет тому назад этот «мировой судья» после новой попытки хищнически наброситься на Европу, использовав ненависть к Бурбонам, умер на другом маленьком острове. И как, должно быть, горька была эта смерть! Бейль вспоминал, что под конец пребывания на Эльбе Наполеону не хватало денег. Тайком привезенные золотые мешки, бывшие результатом бережливости в личных расходах Бонапарта, быстро таяли. Суммы, обещанные ему союзниками, не высылались. А кроме того, *целый ряд личных потрясений склонил Наполеона пойти на авантюру.* «Вот в этом месте, — думал Бейль, глядя на почтовую контору, — перехватывались письма из Вены. Вопреки договору, мальчика-сына не пустили на Эльбу: Меттерних и Александр думали, что там он будет «слишком уж наследным принцем», его оставили в Вене, чтобы сделать епископом, а в лучшем случае просто «королевским принцем». По этой дороге нетерпеливый «мировой судья» выехал навстречу английскому комиссару, везшему почту.

Просмотрел портфель, швырнул его на землю и сказал с дрожью в голосе: «Моя жена не пишет мне вот уже который месяц. У меня отняли сына, как у дикарей берут царьков в заложники и таскают за собой для украшения свиты победителя. И это новая Европа!» Император Франц выдумал в Вене способ борьбы, продиктованный тончайшей иезуитской догадкой, изобретательностью палача. Он не сказал Марии Луизе, женщине слабой и легкомысленной, что она никогда не увидит мужа. Он давал ей обнадеживающие обещания и истощал небольшой запас воли, имевшийся у этой незначительной, но вовсе не плохой женщины. Ее окружали заботами, как ватой, не настолько, чтобы она задохнулась, но вполне достаточно, чтобы отвыкнуть от свежего воздуха. В расслабляющей оранжерейной температуре венского двора она была поручена уходу молодого садовника, каким явился приставленный к ней камергер Нейперг. Император вызвал его и объяснил ему его сложные обязанности. Со слезами на глазах Франц говорил, что злоба европейских монархов принуждает его не пускать любимую дочь на Эльбу, что он в достаточной степени поплатился за нечестивый союз своей дочери с корсиканским бандитом, но что, конечно, Мария Луиза, названная теперь герцогиней Пармской, не перестает быть его любимой дочкой. Значит, надо ее спасти. «От вашего искусства и таланта, — сказал Франц, — зависит спокойствие молодой женщины. Вы обязаны помочь ей забыть Францию и короля Эльбы. Вам поручается выполнять все ее прихоти и не терять времени в догадках об ее желаниях, которые ей самой трудно будет высказать. Одним словом, вы будете заходить так далеко, как это позволят обстоятельства и место вашей беседы. Вы сами понимаете, что политические поручения не входят в ваши обязанности».

После такой инструкции Мария Луиза перестала писать очень скоро. Сначала она плакала от необходимости скрывать происшедшее от мужа, а потом не писала для того, чтобы без больших колебаний повторять происшедшее. Бонапарт приходил в бешенство. Ему было тогда всего сорок пять лет. И вот в феврале такой же аудитор Государственного совета, каким был Анри Бейль, Флери де Шабулон по этой же самой дороге и, как оказывается из разговоров с крестьянином, в *этой же самой тележке* ехал в Сан-Мартино. Он рассказал Наполеону о двух

заговорах в Париже и о состоянии Франции. Бонапарт решил, что минута благоприятная, что ненависть к Бурбонам достигла точки кипения и что от него зависит произвести взрыв, внушив прокламациями войскам и крестьянству, что интересы Франции и Бонапарта одинаковы. Лицо Бонапарта было совершенно непроницаемо, когда он протягивал руку аудитору, расставаясь с ним. Но через несколько дней, 26 февраля 1815 года, в 8 часов вечера, тысяча сто человек сели на корабли. Парусники выстроились в линию, в голове которой шел бриг «Энконстан»; маленькие суда вышли раньше и развезли по всему побережью Франции прокламации Наполеона. Ночью флотилия Бонапарта проскользнула без огней мимо английских сторожевых судов. Первого марта, в полдень, были брошены якоря в бухте Жуан, и почти мгновенно по дороге из Канн в Антибы возник бивуак в оливковой роще. Была начата головоломная операция: поход по бездорожью, мимо католического, бурбонского Прованса, прямо по альпийским тропинкам на Гренобль. Опасные места были пройдены раньше, чем с юга успели дать депешу в Париж. Целая армия не могла сыскать следов хищника, идущего по дорогам Франции. Самым опасным моментом была первая встреча с войсками. Корсиканские стрелки-офицеры требовали быстрого налета на авангарды. Бонапарт выступил навстречу посланным против него частям с небольшим отрядом старых солдат, державших ружья дулом вниз. Он подошел к ротам парижских солдат, целившихся в него, и услышал голос капитана 5-го линейного полка Рандона: «Вот он сам! Пли!..»

Ружья дрожали, выстрела не последовало. Бонапарт безоружный шел впереди отряда. Галстук развевался на плече, ворот был расстегнут, и волосатая грудь была подставлена ветру. Испытание оказалось слишком сильным. Неудача французского командования сразу дала себя знать. Вступление в город Гренобль...

«Ах, Гренобль! — думал Бейль. — В истории этого города есть занимательные страницы. Там отвратительные буржуа и очень интересные крестьянские типы. Вдруг в семье какого-нибудь деревенского плотника появится юноша с глазами гордеца и героя, с бешеной энергией, с огромной волей. Откуда это возникает? И через сколько лет это сказывается? В семьсот тринадцатом году все окрестности нынешнего Гренобля были заселены арабами,

а позже итальянцами. Пятнадцатый и шестнадцатый века — эпоха гражданских войн — дали изумительные характеры, не встречающиеся на севере Франции. Иногда при столкновении каких-нибудь будничных событий вдруг вспыхивают какие-то древние свойства человека и преображают его».

— Мы приехали, синьор, — сказал крестьянин. — Можете остановиться у меня.

Стояли хорошие августовские дни. Бейль с любопытством объезжал тропинки, восходил на Монте-Капона, осматривал оттуда оба залива, и Порто-Феррайо и Порто-Лонгоне, вглядывался в синие очертания мыса на континенте с крепостью Пьомбино, шпоря лошадку, перебирался через ручей Сан-Мартино в долине св. Иоанна, наполненный водою августовских дождей; затем отдыхал обычно около пресноводного источника Аква-Бона. От воспоминаний о Наполеоне Бейль быстро перешел к критике героя.

Вторичная попытка Наполеона стать у власти казалась ему теперь ясным и логическим выводом из имевшихся предпосылок. Буржуазия ненавидела Бурбонов; крестьяне, получившие дворянские земли, опасались возврата старых помещиков. Дворянская метла уничтожала всех носителей идей новой Франции, всех, кто стремился найти недворянский выход из того тупика, перед которым стояла Франция. В этом откате назад сам Людовик XVIII видел опасность, но сделать ничего не мог. Гнилой, разлагающийся при жизни, он физически превратился в труп гораздо раньше, чем прекратилась деятельность сердца и жизненных центров.

За ним на гребне реакционной волны показался Карл X. Черты рисунка последующих событий были ясны уже к 1 марта 1815 года. Операция с Бонапартом не удалась. Буржуазия хотела в спокойных условиях эксплуатировать трудящуюся Францию, а Бонапарт преподнес ей заново призрак военно-бюрократической монархии. Из этого, конечно, ничего не могло выйти. Проверяя себя и свои впечатления, Бейль думал о том, что он был тысячу раз прав, не веря в эти «Сто дней». Тогда это были еще сообщения в итальянских газетах о первых днях Наполеона в Париже. Бейль спокойно ел мороженое в кафе Флориана на площади св. Марка в Венеции и был больше занят разгоном голубей, слетающихся на крошки,

опрокидывающих блюдца на белой скатерти, чем сообщением из Франции.

Через неделю Бейль, живя на Эльбе, перестал думать о Наполеоне. От пресной воды Аква-Бона он постепенно переходил на восточный берег острова, к холмам Монте-Серрато, где выделывались лучшие вина Италии. Все вопросы старого бонапартиста получили неожиданное разрешение в Монте-Серрато: вместе с легкими винными парами испарились мысли о житейском крушении военного комиссара Бейля.

«Однако это довольно далеко от Милана», — думал Бейль, чувствуя, что ему надоела Эльба. Впереди — снова Италия. Бейль хорошо знал, что увидит те же дома, те же площади, залитые солнцем, те же триумфальные арки и колонны и тотчас же будет охвачен смертельной тоской при мысли, что не увидит тех же людей. Бейль испытывал чувство настоящей, реальной смерти. Он понимал, до какой степени итальянским является представление о чистилище. Все образы Данте заимствованы из реального повседневного мира Италии. Чистилище и ад пережиты равеннским изгнанником совершенно реально при жизни, которая жестокостью превосходит фантазию Данте, и только картины лучистого, многокружного рая были тончайшей игрой воображения умирающего человека. Холодный ум француза теперь не выдерживал борьбы со страстными чувствами. Бейль боялся Рима, боялся Неаполя, боялся Флоренции, а Милан казался ему невозвратимой картиной прошлого счастья.

Сейчас в Париже печатается «Арманс». Удалось ли ему изобразить картину умирания дворянской Франции? Поймет ли кто-нибудь характер Октава Маливер? Не покажется ли французам оскорбительным превосходство русской девушки, проявившей столько твердости характера и столько настоящей сердечности, сколько в целое столетие французские женщины не сумели накопить в своих сердцах? Самоубийство Октава — это логический вывод из того положения, в котором находится «блестящее» сословие Франции. Герцогиня Брольи, улавливающая «мятежные души», — двойник Софи Свечиной, этой воспитанницы иезуита де Местра, яростной иезуитки, проповедовавшей ненависть к памяти Байрона, которого она совершенно искренне считала одним из страшнейших проявлений сатанизма на земле. Какой ужасный мисти-

ческий угар шел из ее салона! Теперь, конечно, Арманс, эта милая молодая женщина, неудавшаяся невеста красивого русского офицера, уже в каком-нибудь католическом монастыре. Бейль думал о том, как будет принят его роман — первая попытка сорокачетырехлетнего человека написать произведение в духе «belles lettres»[1], как теперь принято выражаться, после того как господин Стендаль писал исключительно путевые очерки и страницы музыкальной критики. В конце концов Франция не ограничивается тем кругом людей, которые гниют на корню, обреченные на умирание. Франция похожа сейчас на огромную лабораторию, где кипят и вывариваются новые силы. Если родилась буржуазия, сбивающая с позиций французское дворянство и несущая голое стремление к наживе вместо старых идей, создавших культуру, то одновременно с этим давление буржуазии испытывает и вся *небогатая Франция.* Надо будет произвести исследование характеров этого слоя.

Со следующей шхуной, зашедшей в южный порт Лонгоне, Бейль отправился дальше. Шхуна шла по островам день и ночь. Остановилась недалеко от Неаполитанского залива. Бейль решил, что местом его жительства будет остров Искиа. С этим островом не было связано никаких бейлевских воспоминаний. Для Бейля он стоял вне истории. На нем не было тени его героев. Там жила простая, огромная по численности крестьянская семья Казамиччио, приютившая Бейля; и парижский беглец не узнавал сам себя. Прошлого как будто не существовало. На маленьком острове крестьянская лачуга, небольшой скотный двор, козы и огромное количество кур, которым на заре гражданин Бейль высыпал пригоршни зерна из небольшого сита. Куры кудахтали, садились ему на плечи, обступали его плотными рядами и озабоченно клевали зерно. Козье молоко, рыба, сыр, виноградное вино, попытки помощи крестьянину в хозяйственных делах, разговоры с детьми и рыбаками на берегу. Внезапно приходили мысли о том, какое значение для него самого имело раннее сиротство. Мериме живет с матерью. Влюбленной кистью госпожа Анна Моро нарисовала портрет пятилетнего сына. «Мериме не чувствует всей разницы между своим детством и формированием характера ребенка,

---

[1] Художественной литературы *(франц.)*.

ненавидимого отцом и лишившегося матери в семилетнем возрасте». Это было единственное воспоминание о Мериме. Вечером Бейль уходил на пустынную скалистую часть островка и смотрел, как солнце опускается в море.

Так шло время до тех дней, когда с севера стали появляться стаи птиц, летящих откуда-то из-под Москвы на африканское побережье. Бейль следил за полетом журавлиных стай, прекращавшимся перед заходом солнца, и смотрел, как гаснут самые высокие светящиеся серебряные перья облаков. Потом по темнеющей тропинке шел на огонек рыбацкой лачуги и, усталый от дневных прогулок по скалам, засыпал крепчайшим сном, без сновидений.

В Неаполе, пробираясь среди лодок и десятков кораблей, маленькая лодка Бейля причалила к таможне. Доганьер отказался принять взятку и стрельнул глазами в конец коридора, где стоял толстый, напыщенный, как петух, жандарм. Пришлось открыть багаж, перерыть все вещи, оставить на просмотр все книги. За ними предложено было явиться через три дня.

— Почему так долго? — спросил Бейль.

— Синьор везет книги на непонятных языках.

— Какой черт непонятные языки? Английский, немецкий, французский и латинский?

— У нас новый набор служащих на таможне, и нет никого, кто бы знал эти языки.

— Если на таможне никто не прочтет этих книг, то почему вы боитесь, что у меня в гостинице они будут опасны?

— Синьор, нам не велено рассуждать, получайте квитанцию на сорок семь книг и не отнимайте у меня времени.

Бейль пожал плечами и, взбешенный, поехал в гостиницу. Город был переполнен негоциантами. В гостинице мест не было, остался свободным «Hôtel de Russie» [1] прямо против Кастелламары.

— Нет, только не «Russie», — сказал Бейль.

— Una stanza non cara! [2] — послышался крик.

---

[1] Гостиница «Россия» *(франц.)*.
[2] Недорогая комната! *(итал.)*

Бейль окликнул этого продавца «недорогой комнаты», вручил ему баул, взял ветурино и в дрянном экипаже с поломанной осью, перевязанной морским канатом, поехал по улицам кипящего и бурного, словно охваченного восстанием города. Ехали почти час. Деревянное строение со скрипучей лестницей, грозившей обвалиться, приняло Бейля. Комната не запиралась. Грязь была страшная. Со двора поднималась невыносимая вонь. Через раскрытое окно было видно, как полуобнаженная женщина, в одной рубашке, била по щекам мальчугана. На веревках, протянутых во всю длину двора, висело белье. Окна верхнего этажа противоположного дома были закрыты зелеными решетчатыми жалюзи.

— Casa publica, — сказал провожатый, жестом указывая на закрытые окна.

— Благодарю вас, я не нуждаюсь в публичном доме, — сказал Бейль со смехом.

«Станца нон кара» оказалась чудовищно дорогой комнатой. Хозяин потребовал шесть франков в сутки. Бейль торговался и давал три четверти лиры. Сговорились за полтора франка с пансионом. Бейль попросил дать чистое постельное белье. Владелец квартиры клялся и божился, что белье только что сменено. Взяв простыню и подушку, Бейль молча выкинул их в коридор. Сдавая паспорт и отказавшись платить за сутки вперед, он заявил, что вернется к вечеру.

Обедал в матросской траттории, ел «фрутти ди марэ» — пеструю смесь из рыбы и водорослей, слегка обжигающих язык и вызывающих жгучую жажду, для утоления которой стояли огромные фиаски красного и белого вина.

Началась итальянская жизнь. Через три дня некоторые книги были возвращены. Священник, сидевший на цензуре, пропустил Шекспира, но конфисковал сборник стихотворений Россетти и все французские книги. Бейль ругался, прибегнул даже к термину «поповская сволочь», но молодой безусый семинарист, выслушивавший его смиренно, скрестив руки на груди и закрыв глаза, остался неумолим. По дороге Бейля догнал пожилой клерк.

— Синьор, дайте мне три лиры и ваш адрес. Ваши книги будут у вас.

Бейль остановился.

— Каким образом?

— Я экзекутор и книжный палач. Конфискованные книги передаются мне на уничтожение. Вы поймите, что у меня семья, которую я не могу содержать на три сольди в сутки.

Бейль вынул десятифранковый билет и сказал:

— Вот вам за мои книги и за другие книги, какие вы сочтете возможным мне принести.

Вечером винный ящик, из которого торчали бутылки дженцано, был внесен в комнату Бейля. Мальчишка-носильщик приложил палец к губам, получив «ламанча» на чай, убежал. Бейль нашел целую гору книг и среди них конфискованный сборник неизвестного ему поэта Джакомо Леопарди. При тусклом свете масляной лампы Бейль читал: «Я вижу стены, триумфальные арки, колонны, статуи и высоко стоящие одинокие башни наших дедов. Но где же их слава, где венки, украшавшие их головы, где оружие, сверкавшее в их руках?»

До поздней ночи длилось это чтение. Утром Бейль выехал в Рим. По дороге он встречал такое огромное количество монахов, духовенства и людей в военной форме, какого не видел ни разу в прежние годы.

Глава тридцать пятая

Бейль приехал в Рим в четыре часа утра. Серый и розовый туман понемногу таял, открывая дома, солнце быстро согревало холодные, мокрые улицы. Бейль чувствовал лихорадку, после кофе он отправился на Корсо и зашел в первую попавшуюся аптеку. Худой и длинный аптекарь, с острой бородкой и закрученными усами, похожий на Мефистофеля, отпустил ему хинин. Бейль спросил воды, развел порошок, подошел к зеркалу со стаканом и, глядя в зеркало, чтобы удержать гримасу, выпил залпом. Аптекарь улыбался. Начался разговор, который обнаружил, что синьор Манни — аптекарь — в высшей степени остроумный собеседник.

— Зачем синьор приехал в Рим? — были его первые слова. — От той французской лихорадки, которой вы все болеете, вы не излечитесь хиной. У вас у всех горячечное стремление лететь в Италию и любоваться картинами. Эта лихорадка уносит ваши деньги и ничего не дает взамен.

— Вы правы, — сказал Бейль. — Но я вышел из того возраста, когда следуют моде.

— Вы понимаете, какое-то безумие овладело Европой. Я одобряю католиков, которые от нечего делать приезжают смотреть папу, но что вы видите в этих картинах? Ради чего вы трясетесь в дилижансах, высыпая деньги из карманов? Что вы здесь находите? Ну, вы пойдете к Берберине, в одной комнате вы увидите мадонну и двух святых, в другой — двух святых и мадонну, в третьей — мадонну с младенцем, в четвертой — младенца с мадонной, в пятой — положение во гроб, в шестой — еще что-нибудь в этом роде. Можно умереть со скуки. Появилась целая армия молодых людей, которые пишут стихи о римских древностях. Кому нужны эти древности, когда у нас нет ни одной ткацкой фабрики, когда мы сукна привозим из Антверпена, а прочие ткани из Ливерпуля или Лиона?

Бейлю хотелось хохотать, но он кивал головой и говорил:

— Да, да, вы совершенно правы.

Манни продолжал:

— Что представляет собою теперешняя Италия? Возьмите меня. Мне надо было стать юристом, но я не мог этого сделать, не попав в оппозицию. Я не такого склада человек, чтобы отсиживать в тюрьмах, а быть просто овечкой я тоже не хочу. Я хочу жить и умею жить, но вот послушайте: в тысяча восемьсот пятнадцатом году я кончал Павийский университет; приехал император Франц, профессора наши встретили его приветствиями, на которые император ответил: «Господа, я совершенно не нуждаюсь в писателях и ученых, воспитайте мне верноподданных».

— Это хорошо сказано, — ответил Бейль, — но в Неаполе...

— В Неаполе, — перебил Манни, — ту же мысль высказал неаполитанскому королю министр полиции Каноза. Что вы мне говорите о Неаполе? Я пытался начать там мою карьеру, я сам слышал, как министр приветствовал короля словами: «Ваше величество, палач да будет вашим первым слугой, милосердный бог сотворил ад, чтобы карать грешников. Последуйте его божественному примеру, казните, не раздумывая. Одной из причин революции было чрезмерное распространение просвещения. Нам

совсем не нужны ученые, нам нужны добрые и спокойные люди, готовые жить, доверяясь другим и предоставляя миру идти своим путем».

— И вы стали таким добрым и спокойным человеком? — спросил Бейль.

— Я стал аптекарем.

— Для блага Италии?

— Италия — это географическое понятие! — Аптекарь пожал плечами. — Я живу в Риме и тщетно пытаюсь лечить французов от картинной лихорадки.

— Ну, мы еще с вами увидимся, — сказал Бейль.

— Не советую болеть, — ответил аптекарь. — Но когда вам осточертеют ваши картины, приходите поболтать о живых людях. В шесть часов вечера, перед закрытием аптеки, у меня бывают веселые собеседники.

— Спокойные? — спросил Бейль.

— Да, во всяком случае несравненно более спокойные, чем те, кто останавливает дилижансы на восточных дорогах Романьи.

— Хорошо, приду, — сказал Бейль.

Уполномоченный французского правительства, господин Ламартин, выехал во Флоренцию. Бейль его не застал. Через несколько дней он уже знал, что весь состав миланской полиции переменился.

«Значит, меня беспокоить не будут», — подумал Бейль.

Стояли холодные ночи, но днем солнце жгло почти с летней яростью. Идя по новой Виа-Сарденья на Пинчио, Бейль чувствовал, как обжигает полуденное солнце, и переходил на другую сторону, в тень. Там внезапно его охватывал страшный холод, пронизывающий до костей. Эти зловещие и мертвые тени Рима сулили опасную лихорадку. Застывала кровь, болели виски, тяжело поднимались веки. Надо было уезжать.

Бейль обошел любимые места, как всегда, в день посадки на дилижанс. За несколько часов до отбытия он пришел на Яникул и, сидя около старого дуба в десяти шагах от гробницы Тассо, думал о своей скитальческой жизни, о том, как в бешеной гонке дилижанса он стремится поймать настоящее и запечатлеть его тающие и неуловимые образы.

Во Флоренции господин Ламартин был очаровательно любезен, но, как всегда, грустен и сдержан.

«Это типичный лирик, — думал Бейль. — У него в душе постоянно шумят савойские ели. Он слышит голос своей родины только в звуках природы, он ничего не понимает, кроме стихов. Как его сделали политиком?»

За завтраком в маленькой столовой с мозаичным полом и круглым мозаичным столом присутствовала госпожа Ламартин, молчаливая, холодная, злая. Внезапно Бейлем овладело желание вывести ее из равновесия. Заговорили о французских делах, Бейль с нарочитым возмущением говорил о восстановлении майората. Он называл этот закон «издевательством над равенством граждан», говорил, что вся Франция принесена в жертву интересам восьмидесяти тысяч дворян, возмущался бурно и негодующе законом о компенсации беглых эмигрантов миллиардом франков, — «подачка, которая будет стоить жизни целому поколению детей». И, не стесняясь, пересказывал все обличительные материалы против иезуитов, собранные в Париже депутатом Монлозье.

Ламартин отвечал вяло, но зато госпожа Ламартин, внезапно утратив холодность, стала отчитывать Бейля. Бейль коснулся вопроса о печати; выход всякой книги во Франции был обставлен такими денежными затруднениями, что книга автору обходилась невероятно дорого.

— Как вы будете выпускать теперь ваши поэмы? — обратился Бейль к Ламартину.

Поэт меланхолически жевал кусочек хлеба и казался утомленным неумеренной речью француза-южанина.

— Во всяком случае, он будет печатать их *не под чужой фамилией,* — ответила за него жена.

Бейль откланялся.

В Венеции шли дожди и стояли туманы, но было тепло. Дожди, как сетка, закрывали золотые куполы св. Марка, столики были убраны под аркады Прокураций. Пустая Пиацца казалась огромной, особенно когда тысячи голубей не закрывали каменных плит, а ворковали под карнизами. Венеция понемногу стала действовать на Бейля. Через неделю он уже не мог бороться с собой. Тщетно читал он книги об истории города и часами выстаивал перед картинами Тинторетто, но мир все-таки таял и переставал существовать. Венецианские воды, венецианское небо, дома над каналами, полная

тишина, отсутствие лошадей и экипажей, люди, еле слышно идущие по краям пустынных калле и каналов, — все это исключало возможность возврата к другой жизни. Но надо было ехать во Францию. Уже в Болонье возникли новые планы и замыслы. Венеция не в состоянии была ослабить огонь *бейлизма*. Этим термином Бейль пользовался все чаще и чаще. Но дело в том, что во Францию из Венеции надо ехать не иначе, как через Милан. Конечно, в этом все дело.

В последних числах декабря 1827 года Бейль стал испытывать приступы невероятной тоски и чувствовал физическое недомогание тем сильнее, чем тверже было его решение не ездить в Милан. Наконец, борьба его истощила. Не помня себя, он ехал по зимним дорогам Ломбардии, почти не глядя в окна дилижанса, почти не понимая, что он ел и где спал. Он был в каком-то бредовом состоянии и вместе с замиранием пожелтевшей итальянской растительности чувствовал свое собственное замирание. Въезжали в Северные ворота. Облака закрывали месяц. Было почти темно; на улицах клубился холодный туман. Триумфальная арка Наполеона была достроена австрийцами. Надпись «Alla valorosa armata francese!» была сбита каменотесами. Наступила полночь; колокола прозвонили двенадцать, когда привратник вынес фонарь и, освещая довольно бесцеремонно лицо путешественника, взял его багаж и понес по лестнице маленькой гостиницы «Адда». Комната была спокойная и уютная. Бейль умылся. Во время этой церемонии пришел портье и потребовал паспорт. Бейль вручил ему документ, кончил умываться, переоделся и с сильно бьющимся сердцем пошел из гостиницы по хорошо знакомым улицам на площадь Бельджойозо. Он нарочно не остановился в «Гостинице св. Марка» около почты, чтобы не будить воспоминаний, дремавших семь лет. Но с гостиницей «Адда» тоже были связаны воспоминания о пребывании в Милане вахмистра 6-го драгунского полка Анри Бейля.

Мертвая тишина стояла на улицах. Площадь Бельджойозо открылась перед глазами Бейля. Ночью она показалась ему огромной. Над плитами мостовой клубился туман. Серые дома с черными тенями окон и пятнами запертых дверей при лунном свете, ослабленном туманом, казались мертвыми. «Это оссиановская погода, — думал

Бейль, — делает площадь такой унылой». Мысли его были ясны и чувства спокойны и грустны. Он хорошо сознавал, то с Метильдой его жизнь протекла бы совершенно иначе. В конце концов он любил ее гораздо больше, чем мог самому себе сознаться. Всю жизнь стремясь доказать себе свое легкомыслие и свое право на ветреность, он на самом деле был подлинным и настоящим, быть может, последним представителем романтики чувства и потому не любил уже больше никого. Медленными шагами вернулся он в гостиницу. Привратник не спал, а встревоженный хозяин гостиницы заявил Бейлю, что о нем справлялся дежурный полиции и просил его немедленно прибыть к комиссару.

— Да, но я хочу спать, — сказал Бейль.

— Я ничего не могу сделать, синьор. Если вы не принесете вашего паспорта от комиссара, я сейчас же прикажу вынести ваши вещи на улицу.

Выругавшись по-русски, Бейль пошел в Санта-Маргарита. Монастырь, превращенный в жандармское управление Ломбардии, не спал. Бейль с предупредительной любезностью был допущен немедленно к участковому комиссару. Скрывая ладонью зевок, этот равнодушный и вежливый человек попросил Бейля присесть и сел сам. Потом, разложив на столе огромный, как простыня, паспорт Бейля, он облокотился на него и положил голову на руки.

— Вы господин Бейль.

— Да.

— Вы из Франции?

— Да.

— Почему вы не ехали через север?

— Я путешествую для своего удовольствия. Оно мне указывает маршрут.

— Кажется, вы перестанете испытывать удовольствие.

— Я вас не понимаю, — сказал Бейль и побледнел.

Чиновник встал, не спеша открыл шкаф, достал толстую папку, порылся и стал читать. Потом спросил:

— Вы не знаете, кто такой господин Стендаль?

— Понятия не имею.

Взгляд чиновника стал острым, и сон с него слетел; он злобно смотрел на собеседника.

— Вы не знаете писателя Стендаля, — спросил он, — и в то же время требуете разрешения на двухнедельное пребывание в Милане?

— Какое это имеет ко мне отношение?

— Вы писали содержателю «Гостиницы св. Марка», чтобы он приискал вам квартиру, что вы навсегда поселяетесь в Милане?

— Да, но я не получил ответа.

— Это ваш адрес в Париже: Ново-Люксембургская, дом три?

— Да, это мой адрес.

— И вы уверяете, что Стендаль и вы — это разные люди?

— Да, я уверяю и по возвращении в Париж я добьюсь того, что австрийское посольство пришлет вам выговор за этот ночной допрос.

— И вы можете дать подписку, что не знаете никакого господина Стендаля, что книга «Рим, Неаполь и Флоренция», книга о «Расине и Шекспире», книга «О любви», в которой вы пишете дерзкие вещи по адресу нашей власти, не ваши книги?

— Да, я могу дать такую подписку.

— В таком случае, пишите.

Чиновник подвинул Бейлю бумагу, чернильницу и гусиное перо. Бейль обмакнул перо.

— Но помните, что если завтра утром ваша подписка окажется ложной, то вы сядете в казематы Санта-Маргарита, в ту самую камеру, где семь лет тому назад сидели ваши друзья.

— У вас отвратительное перо, — сказал Бейль, делая большую кляксу.

— Нет, оно совсем не плохое, но вот вам другое, пишите под мою диктовку.

Бейль двинул стулом, взял перо в руки и стал писать под диктовку, не глядя в стальные зрачки жандарма: «Я, нижеподписавшийся, французский подданный Анри Бейль, пишущий под именем барона Стендаля, обязуюсь с первой отходящей почтовой каретой отбыть в симплонском направлении и во всяком случае выехать из пределов владений его апостолического величества не позже, как через двадцать четыре часа от сего, второго часа ночи 1 января 1828 года».

— Вы, кажется, забыли поставить подпись? — сказал жандарм спокойно, снова поднося бумагу Бейлю. — Желаю вам доброго пути!

Бейль пошел вниз по лестнице, потом вернулся и сказал:

— Вы так напугали хозяина гостиницы, что он может выбросить мои вещи, если я явлюсь с невизированным паспортом.

— О, вы можете совершенно не беспокоиться, вам нет надобности оставаться в гостинице ни минуты. Симплонский мессажер отходит в четыре часа утра. В гостинице вы можете только проспать и наделаете себе хлопот. Если угодно, можете отдохнуть здесь на диване.

Бейль был в полном бешенстве, но если бы он знал, что семь лет тому назад, в такую же ночь, только двумя часами позже, из Вены пришла депеша о приговоре гражданина Висмара к виселице, он, вероятно, чувствовал бы себя значительно лучше. Поблагодарив чиновника за предоставление полицейского ночлега, он с чувством отвращения пошел по улицам, тщетно разыскивая веттурино. В гостинице портье покачал головой и за плату в три франка согласился отнести вещи Бейля на другой конец города, где в шестом часу утра путешественники сядут в дилижанс, ежедневно отправляющийся к швейцарским озерам. Усталый пришел туда Бейль. Уличный горн разбрасывал искры, мальчик раздувал мехами пылающие угли, бородатый кузнец стучал по наковальне. Бейль сел на свой багаж в комнате для ожидающих. Заспанный владелец велоцифера пришел в комнату и объявил, что завтра отправки не будет, так как велоцифер сломан, и кузнец проработает до полудня.

Бейль решил солгать.

— Как же мне быть? — сказал он. — У меня украли деньги и документы, осталось только на дорогу. В Комо я буду снова богат.

— Ночуйте здесь, — равнодушно сказал миланец. — Это будет стоить десять лир.

Бейль едва удержался, чтобы тотчас же не заплатить эти десять лир, но, боясь навести людей на подозрение, с равнодушным видом улегся на предложенный ему соломенный матрац.

Отъезд состоялся через сутки. Несмотря на задержку, с Бейлем ничего не случилось.

Молодой жандарм сдавал дежурство. Он писал директору полиции рапорт о скандальном ночном происшествии, о появлении в Ломбардо-Венецианском королевстве зарегистрированного в специальной картотеке опасного безбожника, французского революционера, врага всякой законности и политического порядка — Анри Бейля, упорно отрицавшего свое тождество с писателем-атеистом Стендалем.

«Вышеназванный Бейль, — писал после этого рапорта директор полиции правителю Ломбардо-Венецианского королевства, — уехал в ночь того самого дня, когда получил приказ покинуть Милан. Он отбыл во Францию по Симплонской дороге, не осмеливаясь обратиться к вашему превосходительству лично с прошением о разрешении остаться в городе, обнаруживая явные признаки встревоженной совести. В часы его короткого пребывания в Милане мною был учрежден за гражданином Бейлем секретный надзор, который не дал повода к отметкам особого рода. Вечером Бейль был в театре Ла Скала. Приняты меры к тому, чтобы ни в каком случае не упускать из вида вышеназванного Бейля и во-время арестовать его, в случае если он снова осмелится появиться на наших границах».

Милан навсегда закрылся перед Стендалем.

Глава тридцать шестая

На швейцарских озерах Бейль с удовольствием думал о том, что не поправил миланского жандарма, назвавшего ему старый парижский адрес. С берегов Комо Бейль писал письма на улицу Ришелье: «Против библиотеки, отель Лиллуа, № 63». Письма доходили. Красивая рука надрывала конверт, вынимала листок с описаниями итальянских встреч и впечатлений Бейля и потом царственным жестом опускала эти письма на маленький мозаичный столик, стоявший на голубом ковре в углу комнаты. Эта женщина, с огромными глазами и жестами королевы, одетая бедно, но красиво, была знаменитая артистка Паста, одна из лучших певиц начала прошлого века. Она стала подругой Бейля недавно. Артистическая свобода нравов давала ему возможность приходить к ней в любой час, а так как Бейлю надоели угрюмые взгляды

портье, отпиравшего двери в три часа ночи, то он решил, что лучше переселиться в отель Лиллуа, чтобы никого не беспокоить. Так переменился его адрес. Муж Пасты лукаво улыбался, встречая его в коридоре гостиницы, и добродушно посмеивался над ним, заставая его в гостиной. Старуха Рашель была очень обрадована этим переездом, потому что Бейль был единственным из гостей, способным говорить с ней целыми часами о Милане. Милан был ей родиной, там она выкормила свою дочь, будущую артистку. Через две недели после переселения в одном из салонов Парижа, у госпожи де Траси, репутация Бейля сильно поколебалась. Видя Бейля однажды в новом костюме, госпожа де Траси громко сказала:

— Как вы сегодня хорошо одеты! Ах да, на прошлой неделе Паста имела бенефис!

Паста принимала Бейля охотно, но их связь была чисто дружеской, и во всяком случае Бейль не получал от нее денег. Сплетни его только смешили. Письма к Пасте были самыми веселыми письмами того времени.

На Лаго-Маджиоре, на Лаго-Лугано, на Лаго-ди-Комо можно было жить недели за неделями, но так как литературный замысел не претворялся в произведение, приносящее горы золота, Бейль стал подумывать о том, что деньги на исходе.

Перебрав черновики писем и заметки на клочках бумаги о старом и новом Риме, анекдоты, рассказанные аптекарем Манни и записанные на рецепте черной краски для волос, изготовленной тем же аптекарем по просьбе седеющего Бейля, путешественник задумал одновременно рассказ об итальянских карбонариях и книгу очерков под названием «Прогулки по Риму». А так как делать книгу можно только в Париже, то нужно ехать в Париж.

23 марта 1828 года Бейль был уже на улице Ришелье. Он постучал в дверь соседки. Паста с семьею была за городом. Портье передал письмо от Мериме. Это был ряд острых литературных вопросов, поставленных со всей ясностью, свойственной Кларе. Вдвойне подходящее прозвище: Клара значит — ясная. Спрашивает об «Арманс». В Париже говорят об этой книге, но она получает самые странные истолкования. Герцогиня Брольи узнала себя в госпоже Бонниве и негодовала. Не могут понять также, кого Бейль описал под именем Октава. Джулиа д'Эгга

и ее знаменитый любовник Строганов возмущены изображением их воспитанницы.

«Я совершенно не понимаю любовной неудачи Октава де Маливер, — писал Мериме. — Вы, кажется, чего-то не договариваете. Признайтесь, что ваш Октав страдает пристрастием к людям своего пола и потому бежит от женщины. В этом причина его самоубийства, а быть может, он гермафродит или просто человек, лишенный мужских способностей».

«Я ему напишу, что он прав, — думал Бейль. — В нынешней обстановке Парижа такое истолкование для меня наиболее выгодно. Следует ли дразнить гусей, желающих спасти Рим?»

В душе Бейль был очень недоволен. Такое непонимание со стороны человека, справедливость ума которого он очень высоко ценил, указывало ему на то, что открывается длительная полоса столкновений с обществом и разочарований в современниках. Правда, он никогда не был очарован. Франция вряд ли может дать большее разочарование, но общество может придумывать или непроизвольно варьировать старые неприятности и уколы. Придется обзавестись защитной одеждой.

В последующие дни Бейль подсчитал свои ресурсы.

В апреле 1828 года он должен стать нищим. Вся сумма его годового бюджета слагалась из пенсии и небольших гонораров. Сейчас он мог расходовать не больше пяти франков в день. Законы о печати не давали возможности вступить на путь журналистики. Французские газеты и журналы были для него закрыты.

Надо сделать другую попытку. Со шляпой, сдвинутой на правый бок, с сигарой в зубах, независимо помахивая тростью, Бейль ходил по Итальянскому бульвару; он внушал себе беспечность и незаинтересованность в результатах предполагаемого шага. Через час он был у Теодора Гека. Англичанин не отказался взять из портсигара, протянутого Бейлем, последнюю гавану и закурил, развалясь в кресле.

— Обзоры современных французских книг мало интересны для моего английского «Ежемесячника», но если вы дадите очерки или статьи по типу «Альцест», то что ж? Я отведу вам десять страниц в каждом номере.

Это было очень слабо. Незаинтересованность в результатах вышла у Бейля совсем искренней, тем не ме-

нее, когда Гук с улыбкой достал тысячефранковый билет, Бейль почувствовал некоторое облегчение.

Он начал писать регулярно и много. Анонимные рецензии, обзоры, статьи под чужими именами появлялись в английских журналах. Эта работа отнимала все утро и, что хуже всего, мешала закончить «Прогулки по Риму». Неожиданно тысячу двести франков дала «Арманс». Можно было снова одеться и появиться в гостиных.

«Стрекоза снова запела летом, — подумал Бейль о себе, — но теперь она знает, что бывают зимы. Это все-таки лучше, чем быть парижанином, этой мухой, родившейся в девять часов утра и умирающей в пять часов пополудни. Попробуйте рассказать ей, что такое ночь».

С такими мыслями он подошел к дому, где жил академик Траси. Входная дверь была широко раскрыта. Маленькие элегантные часы на камине пробили восемь. Люстра еще не была зажжена. Длинный синий диван огибал комнату от камина до двери, ведшей из гостиной в столовую. Молодые женщины и девушки занимали этот диван, сидя в самых непринужденных позах.

— А я думал, что вы уже совсем забыли дом тридцать восемь, Данжу Сент-Оноре, — произнес старческий голос.

Маленький элегантный старичок, пропорционально сложенный, остробородый, с зеленым зонтиком над седыми бровями (несмотря на то, что в комнате не было света), пошел навстречу Бейлю. Это был хозяин, знаменитый философ, автор «Идеологии», одинаково восхищавший как французскую молодежь со складом ума, родственным Бейлю, так и русских декабристов, читавших ее с упоением.

Госпожа де Траси старалась казаться равнодушной, но в ее приветствии Бейль почувствовал оттенок легкой досады, неравнодушие и желание скрыть какие-то тайные, осуждающие его мысли. Бейль решил не придавать этому значения. После нескольких незначительных фраз он отошел к Шарлю Ремюза и стал расспрашивать его о Париже. Старый Траси дал распоряжение зажечь люстру. Красивая продолговатая гостиная осветилась яркими огнями. Синий диван заиграл всеми цветами радуги от дамских платьев, оливковый сюртук Ремюза, наоборот, совершенно поблек. Господин де Траси, стоя у камина, облокотившись на мраморную плиту,

одобрительно кивал собеседнику в ответ на его слова, словно клевал его зеленым клювом своих надглазников. Он был похож на болотную птичку, стоящую на одной ноге. В гостиную вошел старый товарищ Бейля по Государственному совету — Амедей Пасторэ. Как раз в эту минуту госпожа де Траси прервала разговор Бейля и Ремюза вопросом:

— Вы были в Италии. Как живут наши бедные эмигранты, еще не приехавшие во Францию?

При этом вопросе господин де Траси и его собеседник, профессор греческого языка Тюро, посмотрели на Бейля. Бейль сказал:

— Если б я был у власти, я перепечатал бы в специальных целях все, что пишут эмигранты, заявив, что уничтожением эмигрантской литературы Наполеон превысил свою власть. К сожалению, три четверти эмигрантов уже умерли, но остальных я выселил бы в департамент Пиренеев и окружил бы их там кордоном из трех небольших армий с артиллерией. Я устроил бы там концентрационный лагерь, выслал бы сторожевую охрану на границу их местопребывания, с тем чтобы всякий эмигрант, осмелившийся показать нос за пределы своего лагеря, был бы застрелен на месте. Взамен огромных земель, которые им сейчас раздаются, дал бы не более двух гектаров на каждого. Так бы я поступил со всеми эмигрантами, вернувшимися сейчас в Париж. Остальным не следует возвращаться во Францию, чтобы не попасть в лагерь.

Пасторэ дергал Бейля за локоть, желая остановить эту опасную тираду. Господин де Траси, не любивший резких выражений, имел такой вид, словно он слышит фальшивящий музыкальный инструмент. Лицо профессора греческого языка вытягивалось, и под конец длинной фразы Бейля большая челюсть Тюро отвисла, как у старой лошади.

— Что ты говоришь, сумасшедший! — сказал Пасторэ. — Ведь сегодня салон наполнен эмигрантами!

— Тем лучше, — шепотом сказал Бейль.

Пасторэ увлек его в коридор.

— Послушай, у меня к тебе дело: ты должен оказать мне существенную помощь в моих геральдических изысканиях. Это даст тебе возможность, наконец, устроиться на место.

Кле — имение отца Стендаля, Керубина Бейля

Бейль хранил рассеянный вид. «Бедный Пасторэ, — думал он. — Много он мог бы рассказать, если бы вздумал писать свои воспоминания. Он испытал то же, что генералы старой наполеоновской армии, старавшиеся путем низости проникнуть в салоны Сен-Жерменского предместья. Описание этих унижений может заполнить целый том. Пасторэ — это жалкая фигура, страдающая от тысячи булавочных уколов, именно булавочных, так как унижения, которые ему приходится испытывать, исходят от жен королевских жандармов. Люди, подобные Пасторэ, находятся под вечным подозрением. Это заставляет их испытывать мучения, неизвестные даже приказчику сапожной лавки. Тот может рассказать о них товарищу, эти должны все терпеть молча и в элегантных костюмах появляться в салонах».

— Ну, ты задумался и настолько рассеян, что даже не отвечаешь мне, — заметил Пасторэ. — Помоги мне в поисках сюжета для новых дворянских гербов и еще в одном серьезном деле. Можешь?

Мелкими шажками подошел господин де Траси, держа в руках книжечку в желтом переплете. Сощурив глаза, он перебил Пасторэ, махнув у него под носом книжкой.

— Вот, полюбуйтесь и отгадайте, что это такое.

Бейль был рад случаю отделаться от Пасторэ. С внимательным видом он взял книгу и пошел под самую люстру.

— Это какой-то этнографический бред, — сказал Бейль. — Зачем у вас славянские песни, да еще с таким варварским словом, как *«Гузла»*?

— А как вы думаете, кто автор этого произведения?

Бейль посмотрел на портрет и сказал:

— Какой-то дикарь, Маг... Магланович...

— А я вас уверяю, что это не Магланович, а ваш молодой шутник Проспер Мериме.

Бейль удивился. Бейль был огорчен. В глубине души он сомневался, чтобы Мериме мог напечатать в Страсбурге, у Левро, эту странную книжку.

Пасторэ подошел снова.

— Ты мне так и не ответил на вопрос.

— Но в чем дело? — спросил Бейль.

— Дело совершенно секретное. Получено сообщение о смерти папы Людовика Двенадцатого. Ты понимаешь, королю хочется, чтобы во главе церкви стоял человек,

если не преданный, то во всяком случае не чуждый интересам Франции. Сделай мне большое одолжение. Дай мне секретную характеристику всех римских кардиналов. Можешь ли ты это сделать?

Бейль не спеша ответил:

— Могу, но имей в виду, что все зависит от состава конклава. Зимой я был в Риме и много работал. Ты знаешь, до какой степени мне хочется избавить туриста от археологических увлечений. Я изучал современную Италию и изучал документы папского Рима. Могу тебе оказать содействие.

Бейль обычно кончал вечер после третьего или четвертого визита; он рано уехал из салона де Траси и отправился к художнику барону Жерару. Там были Кювье с падчерицей Софией Дювоссель, обитательницей Ботанического сада, были супруги Поликарп и Виргиния Ансло, два года тому назад бывшие в России на коронации Николая I, продолжавшие рассказывать о русских впечатлениях, хваля писателя Булгарина. Тут были также доктор Корэф и издатель Бюшон. Ансло смеялась над Бюшоном по поводу неудавшегося опыта изучения итальянского языка. Молодая учительница отказалась вести занятия с Бюшоном. С комической серьезностью отцветающая красавица Виргиния Ансло читала байроновские двустишья из «Дон Жуана» о том, что нет лучшей грамматики, чтоб *усвоить* чужой язык, чем женские уста.

— Он позавидовал нашему другу Просперу Мериме, у которого блестяще идут опыты усвоения цыганского языка. Ну и вышло нехорошо — никто не целует грамматики; Бюшон захотел это сделать, и грамматика ударила его по щеке.

— В таких случаях повторяют опыт, и дело идет на лад.

— Вы, очевидно, стоите на точке зрения евангелия, — сказал Бюшон, — у меня всего лишь две щеки, и пострадали сразу обе.

— Я думаю, что гораздо больше пострадали щеки женщины, которую вы поцеловали, — сказала Ансло.

— Вы мне льстите, — сказал Бюшон.

— И не думаю.

— Добро, которое совершают не думая, несомненно приятнее.

В это время в зал вошел Мериме. Бейль поставил его рядом с Бюшоном. Мериме с совершенно невозмутимым видом достал платок из кармана; Бюшон обнаруживал признаки волнения.

— Смотрите, — сказал Бейль, — разве их можно сравнивать?

— Мне кажется, кто-то должен обидеться, — произнес Бюшон.

— Во всяком случае, я не намерен обижаться, — отозвался Мериме. — Но объясните, что все это значит.

— Речь идет о том, кто имеет больше права на женские пощечины.

— О, тогда во всяком случае я! — закричал Мериме. — Я даже не понимаю, почему мне ни разу их не давали.

— А Бюшон не понимает, почему ему их давали. Все дело в том, что он, неудачно подражая вам, хотел изучать итальянский язык вашим способом, — сказала Ансло, обращаясь к Мериме. — И если мне будет позволено оценить эту попытку с точки зрения женщины, то, по-моему, у господина Бюшона больше оснований для такой попытки, чем у Мериме.

— Нужно судить по результатам, — заявил Мериме. — Бюшон, когда захотите быть консулом у цыган, скажите мне, я вас научу, как немедленно можно усвоить цыганский язык. Но помните, никогда нельзя начинать со щеки, потому что это сейчас же отражается на вашей щеке.

И при общем взрыве хохота Мериме отошел от Бюшона и взял под руку Бейля.

— Клара, — сказал Бейль, — вы окончательно сошли с ума. Зачем вам понадобилось печатать всю эту славянскую дребедень с вампирами, гуслярами и прочей чертовщиной в лохмотьях? Неужели вы с вашим умом и наблюдательностью, с вашим запасом фактических знаний не могли выбрать чего-нибудь получше?

— Хорошо вам так говорить, добровольному скитальцу и богатому путешественнику...

При слове «богатый» Бейль грустно развел руками и сделал гримасу.

— А каково мне, — продолжал Мериме, — без денег и без положения в государстве? Я уверен, что, задумав

путешествие по Далмации, я могу осуществить путешествие только на деньги, которые даст мне эта книга.

— Простите, милый друг, вы пишете, что вы его уже совершили, вы описываете местности, в которых ни разу не бывали, и впечатления, которых не испытывали.

— А как же иначе? — спросил Мериме.

— Во всяком случае, это плохая книга, — сказал Бейль. — Насколько хороши испанские сайнеты, настолько плоха ваша «Гузла».

— Я хотел принести вам другие свои вещи, но вас невозможно застать. В течение недели по утрам портье говорит, что вы уже ушли, а по вечерам, что вы еще не вернулись.

— Да, портье получает за это добавочное вознаграждение, иначе невозможно кончить работу.

— Что пишете? — спросил Мериме.

— Много вещей сразу, — сказал Бейль. — Так много, что мне не хватает суток.

— Да вас даже не встречают на Итальянском бульваре. Я напрасно искал вас у Пасты. Одно время вашим исчезновениям дали даже особое истолкование.

Бейль махнул рукой, не любопытствуя.

— У меня порядочные долги. Чтобы расплатиться, надо много работать. Вот главный смысл моего отсутствия. Кстати, скажите, что делается с Этьеном?

— С каким Этьеном? — спросил Мериме.

— Как? Разве Делеклюз раздвоился?

— Нет, мне показалось, что вы спрашиваете о знаменитости нынешнего Парижа — об Этьене де Жуи.

— Ах, об этой сволочи?

— Почему? — спросил Мериме. — Он академик, он замечательный писатель, его считают преемником Вольтера, гением, освещающим путь нашего столетия.

В холодных глазах Мериме нельзя было прочесть, смеется ли он, или говорит серьезно.

Бейль продолжал:

— Ведь это же типичный буржуа...

— Кто, кто буржуа? — перебил разговор подошедший Марест, протягивая руки обоим.

— Я хочу объяснить этому мальчику, — сказал Бейль, указывая на Мериме, — что академик Жуи просто мелкий негодяй, о котором через десять лет никто не вспомнит.

— Я являюсь счастливым обладателем самого красноречивого литературного произведения Жуи, — сказал Марест, доставая из золотого портсигара вчетверо сложенную бумажку.

Это было прошение Жуи, обращенное к Бурбонам непосредственно после падения Наполеона, о том, чтобы ему, Жуи, король пожаловал крест св. Людовика «за содействие гибели корсиканца».

— Как же все-таки понять его нынешний либерализм? — спросил Мериме.

— Он торгует этим товаром очень давно; когда Наполеон был в России, он уже приторговывал либерализмом, а затем, обидевшись, что бурбонский бык не согласился на подачку в виде креста, он принял благородную гражданскую позу. Его настоящая фамилия Этьен, он побочный сын крупного торговца. Бежал от отца с деньгами, записался волонтером в полк, стоявший в Версале, и отправился в Индию. Сначала он принял фамилию Этьена Жуи, потом Этьен отпал, он сделался капитаном Жуи, какой-то осел сделал его полковником. Он был очень красив и довольно успешно торговал своей красотой. Главными вкладчицами его кассы являются старые дамы. В Индии он с товарищем-офицером вошел в пагоду одного города, спасаясь от жары, и там, не тратя времени даром, изнасиловал какую-то жрицу тут же, близ алтаря. Она кричала, правда, негромко, но все-таки достаточно, чтобы по окончании предприятия сбежались вооруженные сторожа. Индусы набросились не на самого Жуи, который довольно быстро спрятался, а на совсем непричастного его товарища. Они живьем отсекли этому офицеру руки, ноги, затем разрубили его пополам. Жуи воспользовался гибелью спутника и, сев на лошадь убитого, ускакал. Потом в Париже была напечатана лирическая трагедия господина Жуи под названием «Весталка». Перед тем как стяжать славу в интриге и в литературе, Жуи был генеральным секретарем брюссельской префектуры. Он жил в квартире префекта Понткулана, душа в душу со своим начальником и под одним одеялом с его супругой. Теперь этот прощелыга, опираясь на дурной вкус буржуазии и любопытство немцев, вот уже пять или шесть лет верит, что он в самом деле преемник Вольтера. Он даже в своем доме, около

Груафрер, поставил бюст Вольтера. И вот этой скотиной Жуи восхищается Мериме, — сказал Бейль в ярости.

— Литераторы-романтики считают его украшением эпохи, — сказал Мериме.

— Значит, ваши литераторы-романтики не обладают даже умом этого прохвоста! — уже кричал Бейль, не забывая при этом взять с подноса лакея стакан пунша; он выпил глоток, чокнулся с Марестом, сказав:

— За просветление головы Мериме.

Мериме низко опустил стакан.

— Отказываюсь просветляться, — сказал он. — Вы сегодня слишком бранчливы. Вы изругали «Гузлу», вы ругаете сейчас Жуи, недостает, чтобы вы изругали моего нового друга, Виктора Гюго.

— Понятия не имею о ваших новых друзьях.

— И это все, — продолжал Мериме, — приходится слышать от автора манифеста романтиков, от человека, которому мы привыкли верить. Я хотел вам показать «Жакерию», но теперь боюсь даже думать об этом. Вы лишены чувства элементарной справедливости. В конце концов какое кому дело до того, что Жуи был на содержании у старух?

— Я требую от литератора, чтобы он не торговал своим пером, а то, что он торгует своим...

Бейль во-время оборвал неприличную фразу: госпожа Жерар, проходя по коридору, строгими глазами посмотрела на него. Все трое замолчали. Хозяйка совершала контрольный обход салона. Крики Бейля, как всегда, начали ее беспокоить.

— В конце концов, возвращаясь к вашей «Гузле», разве вы не чувствуете, что герои ваших баллад — это бутафорски расставленные театральные куклы, что это бездарные актеры в чужом реквизите, — в них нет характера? Неужели вы думаете, что простая романтическая идеализация или попросту раскраска может сделать литературное произведение интересным? Я вполне понимаю, когда вы в «Кромвеле» пытались сломать классические условности. Смешно смотреть на часы, показывающие двенадцать, когда стукнул уже четвертый час пополудни. Но скажите, кому будет охота заниматься вашими крестьянами и пастухами только ради местного колорита? Разве это спасает ваши персонажи от скуки? В конце концов «Гузла» — это местный колорит. Что же

вы думаете, что кишечник сербского «пастуха с гуслями» устроен иначе, чем у пастуха Оверни, играющего на волынке?

Марест, делая вид, что внимательно слушает Бейля, пересчитывал пятифранковые монеты и заносил в записную книжку расходы этого дня. Мериме, не мигая, смотрел на своего друга. Бейль отпил глоток, указал пальцем на Мареста, усмехнулся и продолжал:

— Вы говорите о «Жакерии». «Жакерия» — прекрасная вещь, там все стоит на месте, у вас есть здоровый материализм, вы понимаете секретные пружины человеческих действий, вы прекрасно даете мотивировку поведения ваших героев, не считаясь с банальными взглядами нынешних французов. Там есть характеры, там есть энергия. Я с интересом отчеркнул на моем собственном экземпляре (можете не приносить мне другого) ту сцену, где крестьяне бросают повстанческий отряд перед началом полевых работ. Вот вам весь крестьянин, вы хорошо его поняли. Человек, добывающий хлеб насущный на пашне, целиком зависит от прихотей земли, календаря и погоды. Это не романтик, зарабатывающий журнальными статьями круглый год или, если хотите, круглый год живущий впроголодь, который в любую погоду и в любой месяц пойдет на баррикады. Горожане — совсем другая порода людей; можно ли осуждать одних, стоя на точке зрения других? Приветствую, вы создали прекрасную вещь. Но за каким чертом после этого вам понадобились ваши славянские лохмотья?

— Простите, дорогой наставник, «Жакерия» появилась через год после «Гузлы».

— Ну, тогда я вполне спокоен. Значит, это в прошлом. Если вы согласитесь не возвращаться к этой дряни, то я тоже соглашусь не возвращаться к этой теме. Меня беспокоит одно — вы, кажется, подружились с Виктором Гюго.

— Да, — сказал Мериме таким тоном, который показывал, что он не понимает удивления Бейля.

— Это он написал «Бюг-Жаргаль»?

— Да, — ответил Мериме.

— Какая возмутительная дребедень! Можно ли писать такие пошлости о благородном французе, его невесте и глупых неграх? Насколько мне известно, господин Гюго никогда не был дворянином, но пресмыкался он

весьма усердно. Насколько его отец порядочнее этого стихотворца! Как геройски Леопольд Гюго, рискуя жизнью, поймал в Калабрии бандита Фра-Дьяволо!

Мериме молчал.

— Говоря правду, Риго и Туссен Лувертюр были оба порядочными негодяями, — сказал Марест.

— Что бы это значило? Марест заговорил, — сказал Бейль. — Это прямо голос из библии. Какого Валаама вы везли, дорогой Марест? Сколько вы сегодня истратили? Вам не жалко денег, потраченных на извозчика?

В это время встала женщина в розовом платье с широкими рукавами, сидевшая до сих пор у камина. Марест, не отвечая, направился к ней навстречу.

— В оценке «Бюг-Жаргаль» я с вами согласен, — сказал Мериме. — Если хотите, я вас познакомлю с мисс Кларнсон, у нее собирается небольшой кружок негрофилов, и там вы можете услышать интересные вещи. Она написала брошюру в защиту негров, она знала Туссена и передавала содержание интересного письма Туссена к Наполеону, когда тот был консулом. Туссен писал: «Первому среди белых от первого среди черных». Туссен, несомненно, героическая фигура, и так как он не царского рода, то его героизм опровергает мнение Виктора Гюго о том, что только негры царского племени способны на героизм.

Длинный стол гостиной был покрыт зеленым сукном.

— Как жаль, что карточный стол сломался! — сказала госпожа Жерар. — «Фараон» состоится за обеденным столом.

— Зеленая скатерть будет ползти, — сказал кто-то из гостей.

— А вы сидите спокойно и не оттаптывайте ног вашим соседкам, — раздался голос госпожи Ансло.

— А зачем вы меня выдаете? — возразил гость. — Господин Ансло может вас услышать.

Черноволосый, причесанный на пробор, с волосами, почти спускающимися на плечи, Поликарп Ансло разговаривал с молодой артисткой Французского театра. Он был совершенно увлечен разговором и, услышав свое имя, растерянно посмотрел в сторону говорившего.

— А? Что? — спросил он и, не дожидаясь ответа, опять улыбнулся и возобновил свой волнующий и интересный разговор.

Бейль подошел к его жене.

— Я прекрасно знаю, почему, встречаясь со мной у Кювье и Жерара, вы ни разу не позвали меня на ваши вторники. У вас бывают академики, а вы боитесь мешать сорта вин.

— Я не так боязлива, — сказала Ансло. — Но смешение вин дурно действует на голову. Все же я буду очень рада видеть вас в следующий вторник. Только, пожалуйста, без речей об эмигрантах, я уже слышала.

— Обещаю вам не говорить об эмигрантах, но хорошо, что вы не слышали моей речи об академике Жуи.

— Вы знаете, — сказала Ансло, — что у академика Жуи живет шестилетний мальчуган, который прекрасно пишет стихи и обладает удивительным голосом, — это сын его швейцара Мюрже.

— Академик Жуи пишет тоже недурные стихи, и если у швейцара красивая жена, то таланты мальчика дают прямое указание на его происхождение.

— Ну, вы говорите возмутительные вещи. Швейцар — вдовец, мальчуган живет с отцом в подвальной каморке. Какой-то русский... Ах да! Мой враг Яков Толстой, часто бывающий у Жуи, собирается отдать мальчика в школу на свой счет. Так вы придете во вторник?

— Буду счастлив, сударыня.

Глава тридцать седьмая

Это единственная правильная позиция! — кричал человек в очках, нервно жестикулируя. — Можно, конечно, слушать крикунов, можно делать какие угодно глупости, но это не будет политика. В конечном счете, единственно, чего следует добиваться, — это устранения от власти Виллеля. Карл Десятый не злой человек...

— О, если бы король только знал! — произнес кто-то первую строчку шутливой песенки.

Разговор происходил в освещенной люстрой зале, со статуями, статуэтками, банкетками, обитыми зеленым шелком и штофными зелеными обоями.

— Король знает, но ему нужно такое большинство Палаты, которое обеспечило бы за ним возможность борьбы с темными силами, — продолжал человек в очках.

— Вы говорите в достаточной степени неопределенно, — возражал другой. — Ведь даже газета «Белое знамя», и та, при всей своей верности *белому цвету времени,* говорит, что *политика почернела.* Дело не в короле и не в его доброй воле, в которой я, кстати сказать, очень сомневаюсь, а дело в иезуитах. Даже белые знаменосцы считают, что иезуиты погубят Францию, что они заведут ее в тупик, что они слишком гнут назад, открывают дорогу социалистам в силу закона контрастов. Как только появляется черная ряса иезуита, так в предместьях появляются красные знамена. В Лондоне совсем недавно обнаружили клуб анархистов. Нельзя так бесконечно долго держать все отдушины закрытыми. Уж, кажется, правоверный католик Ламенне, и тот находится под судом. Обратите внимание: никакое мероприятие, одобренное Палатой депутатов и Палатой пэров, не может быть проведено без согласования с секретным иезуитским комитетом, пользуясь гражданским термином. Они всюду насажали своих ставленников, которые действуют тихо и незаметно. Снимите сюртук с какого-нибудь секретаря министерства, и вы найдете черный крест на сорочке.

— Это все бред, все продукты воображения. Что могут сделать иезуиты, у которых всего семь коллегий во Франции?

Хохот раздался в ответ на эти слова.

— Семь коллегий! — воскликнул третий, вступая в разговор. — Да знаете ли вы, что такое коллегия? Вообразите себе способы обработки человеческого материала в этих школах, все притупляющие и, повидимому, абсолютно нежизненные сведения, которыми чрезмерно отягощают память воспитанников. Потом каждодневная исповедь двум взаимно проверяющим друг друга исповедникам с обязательством до конца выкладывать все мысли, сомнения и пожелания. Далее — строгая система представления об иерархии и религиозное повиновение старшему, дисциплина отречения от собственной воли, полная утрата собственных желаний, если они не разрешены церковью. Затем допущение системы мелких простительных грешков, запрещаемых на бумаге только для того, чтобы согрешающий чувствовал потребность раскаяния и благодарность к церкви за снисхождение, и, наконец, чисто военная тактика и стратегия, чисто воен-

ная разведка. Все это со времен Игнатия Лойолы, поднявшегося на защиту римской церкви против Лютера. Как вы думаете, воспитанник, прошедший такую школу, не является ли опасным самодвижущимся механизмом, выполняющим секретные директивы иезуитского ордена всюду, где бы он ни находился? Как вы думаете, сохранит этот самодвижущийся механизм какие-нибудь человеческие черты? Не является ли каждогодный выпуск из одной коллегии достаточным для того, чтобы создать очаг заражения французской атмосферы? А семь коллегий?

— Все это вздор, — ответил второй собеседник, — вздор, внушенный вам брошюрой Монлозье. Дело совершенно не в иезуитах, а в Палате. Необходимо наше оппозиционное большинство, которое обеспечит отставку Виллеля.

— Вы все о своем Виллеле, — сказал третий. — Неужели вы думаете, что Карл Десятый захочет опереться на какое-то оппозиционное большинство Палаты? Карл Десятый спит и видит всю Палату распущенной. Ему грезится средневековая, феодальная Франция и рыцарский двор из богатых землевладельцев, отечески секущих своих крестьян. Он с ненавистью смотрел на фабричные трубы, когда ехал короноваться в Реймс, расшвыривая серебряные монеты по дороге и роняя серебряные подковы. Помните, как фанатически горели его глаза в Реймсе, на Соборной площади, когда он возлагал руки на золотушных, становившихся перед ним на колени?

— Кажется, идет медицинский разговор, — сказала, входя, запоздавшая хозяйка, Виргиния Ансло.

Вите, говоривший первым, Жофруа — вторым и Дюшатель — третьим, были главными сотрудниками редакции «Глоба» вместе с Ампером, Ремюза и Сент-Бевом. Все они принадлежали к группе молодых доктринеров, все были противниками реакционной политики Виллеля, но при этом их оппозиционность имела такие неопределенные и расплывчатые формы, которые позволяли печатать на страницах «Глоба» смешные вещи, сводившиеся к защите прав иезуитов на свободное преподавание «из уважения к правам всякой доктрины».

— Какая неудача, что генеральная репетиция пьесы мужа назначена на сегодня! — сказала Ансло. — Он

пробудет за кулисами еще некоторое время. Продолжайте вашу беседу, господа.

Но разговор не возобновлялся, так как приход хозяйки предписывал выбор более легкой темы.

Вошедший лакей неожиданно доложил о приходе господина Сезара Бомбэ. Глаза Виргинии Ансло удивленно расширились, но прежде чем она успела расспросить лакея о неизвестном человеке, в залу чрезвычайно важно и в то же время деловито вошел Анри Бейль. Прежде чем хозяйка успела произнести слово, Бейль начал громко:

— Сударыня, простите, что так поздно, но я страшно занят: Вам известно, что я встаю в пять часов утра и совершаю обход казарм. Мне же необходимо проверить качество поставок! — сказал он, разводя руками и не обращая внимания на испуганное лицо онемевшей хозяйки. — Вы, конечно, знаете, что я поставляю в армию бумажные чулки и ночные колпаки. Мне особенно повезло с бумажными колпаками. Я на этом... собаку съел. В этой области я несравненный специалист, а все потому, что, еще будучи мальчишкой, я чувствовал непреодолимую потребность в этой общественно-полезной и плодотворной деятельности.

Оглядевшись кругом, он вдруг принял наглый и вызывающий вид, потом с грустью и иронией сказал:

— Правда, я слышал, что существуют артисты, писатели, которые наживают себе славу картинами и книгами; но послушайте, — сказал он, делая широкий жест кругом, — разве можно сравнивать их ничтожную славу со славой человека, одевающего и обувающего всю армию? Поймите же, что лишь благодаря мне солдаты спасаются от насморка, так как я не какой-нибудь шарлатан, а лучший поставщик: я вяжу колпаки в четыре нитки! — И, кланяясь слегка старомодно, расставляя большой и указательный пальцы, поднимая руку кверху, он с чисто купеческим кокетством добавил: — Да, на каждом колпаке кисточка в десять сантиметров.

Все кругом молчали. Госпожа Ансло задыхалась от безумного желания смеяться и от глубокого возмущения тем, что восемьдесят глаз посетителей ее знаменитого салона с удивлением смотрят на двери, где на пороге, как бы загораживая вход, с намеренной неуклюжестью стоит плотный человек в серозеленом сюртуке с бархатным воротом, в великолепном мягком жилете, синем с золотыми

цветочками, с лицом мясника, обрамленным курчавыми волосами и черными бакенбардами, спускающимися от ушей до адамова яблока, с умными и очень живыми глазами. Правой перчаткой он ударял себя по ладони левой руки, как будто не замечая ошеломляющего впечатления своей тирады. Сент-Бев нарушил молчание. Протягивая руку вошедшему, он сказал вялым, беззвучным голосом:

— Ну, Бейль, когда же выйдут в свет ваши «Прогулки по Риму»?

— Откуда вы знаете? — спросил Бейль, легко переходя от напыщенного тона своей речи к простому разговору.

— Я все знаю, — сказал Сент-Бев.

— Кажется, представление нового гостя состоялось без моей помощи, — сказала Виргиния Ансло. — Господин Бейль не откажется подойти к столу.

— У всякого другого эта выходка была бы вульгарной, — сказал Сент-Бев, — но у вас столько псевдонимов, что ваше появление в образе поставщика имеет свое оправдание.

Один из числа юных адъютантов Гизо, слушатель его курсов и усердный почитатель политических взглядов этого профессора, подошел к Бейлю и довольно небрежно спросил:

— Какая же собственно ваша должность?

— Я исследователь человеческих характеров.

Молодой человек проглотил улыбку и с вытянутой физиономией отошел в сторону.

— Это агент секретной полиции, — сказал он на ухо вошедшему Корэфу, — будьте осторожны!

— Замолчите, вы просто маньяк, — ответил Корэф грубо.

Вскоре, особенно после приезда Мериме, разговор сделался всеобщим и оживленным. Человек пять наиболее безразличных посетителей салона еще не составили мнения о Бейле, человек десять перестали о нем думать, но главная масса гостей с живейшим интересом слушала этого разоблаченного армейского поставщика, который рассказывал уже не о колпаках и чулках, а о походе двенадцатого года, так как Мериме объяснил хозяйке, что «Взятие редута» написано им по рассказу Бейля.

— Героизм, — кричал он, — да знаете ли вы, что такое героизм? Мы до такой степени привыкли ко

всевозможной фальши военных бюллетеней, что даже не можем представить себе настоящей картины боя. Если солдат сыт, хорошо одет и обут, если в нем есть избыток сил, так он прежде всего думает о том, чтобы вернуться домой, обнять жену и лечь спать. Он любит жизнь. Если он голоден и измучен, если он болен, то он не может сражаться. Где тут героизм? Когда картечь рвет землю, когда белые дымки перебегают по кустарнику, — никто ничего не понимает. Вопреки всем расчетам, люди сталкиваются со штыком в руке вовсе не в те часы, которые назначены генералами, и, столкнувшись, думают только о том, как бы уцелеть. Малейшая случайность определяет исход стычки.

— Не похоже на то, чтобы вы были на войне, — сказал молодой человек, спрашивающий Бейля о должности.

Никто не обратил внимания на его слова.

Бейль продолжал:

— Я видел, как целая бригада сверкала пятками, бросив поле сражения только потому, что показались из-под кустов пятеро бородатых казаков. Генералы в шляпах с плюмажем бежали, как зайцы.

— Ну, а вы? — раздался чей-то голос.

— Я старался их перегнать, — ответил Бейль спокойно, — но мне это не удалось, потому что я не успел надеть сапог на одну ногу и бежал, держа этот сапог в руке, не будучи в силах ни остановиться, чтобы его надеть, ни бросить его, чтобы ускорить бегство. Я наколол себе ногу и прихрамывал. Нашелся только один жандарм, который всех — и генералов и солдат — называл мерзавцами, уговаривая остановиться, не для того чтобы дать отпор врагу, а просто объясняя, что стыдно бежать от пяти бородатых мужиков. Под конец этот жандарм, оставшись один в поле, повернулся сам и к вечеру пришел на бивуак, до которого мы все бежали. Кажется, его фамилия Меневаль. О нем говорили с восторгом. Его искали, вызывали, чтобы наградить, но он спрятался, и когда, наконец, был отыскан, то клялся страшными клятвами, что он не принимал никакого участия в деле, что это был не он, и, только увидев в руках офицера крест, успокоился и пришел в себя. Оказывается, он боялся, что его расстреляют. Вот вам весь героизм.

— Однако мы знаем и другие случаи, — возражали ему.

— Я тоже знаю другие случаи, — возразил Бейль. —

На третий день после выхода из Москвы я оказался в роте, значительно отставшей от основного отряда. Разведчик сообщил о том, что путь загражден русским отрядом. Вот тут началось паническое состояние, часть ночи прошла в сетованиях и жалобах, потом подошла большая, подкрепляющая нас группа и, вместо того чтобы нам помочь, сама впала в паническое состояние. Явился командир, которого я сейчас не назову и который обратился к нам со словами: «Вы сволочи! Вы не стоите того, чтобы держать ружье в руках, завтра всех вас перебьют!» и несколько еще более крепких слов, которых я, к сожалению, не могу передать в присутствии дам. Эта поистине гомеровская речь произвела впечатление. Началось героическое продвижение вперед. На рассвете, пробираясь через кустарник ползком, мы добрались до того места, где были бивуачные огни русского отряда, и наткнулись там на изголодавшуюся собаку. Вот и все.

После ужина гости, шокированные выходками Бейля, понемногу привыкли к остроте его суждений. Общество разбилось на группы, приехал Поликарп Ансло, окруженный рецензентами и молодыми драматургами Французского театра.

— Как вам нравятся эти подающие надежды люди, сидящие в редакции «Глоба»? — спросил Бейль Проспера Мериме.

— Мне они нравятся в той мере, в какой помещают мои статьи. Я согласен печататься в любом журнале, независимо от направления.

— Вы делаете большую ошибку, — сказал Бейль, — и если еще не было случая, называемого *недоразумением,* то будьте уверены, что вам еще придется проглотить не одну горькую пилюлю. Кстати, не ваши ли статьи в «Глобе» о драматическом театре?

— Мои.

— Почему вы их не подписали?

— Потому что я не придаю им значения.

— Ответ неискренний, Клара! Я не подписываю именно тех вещей, которым придаю значение. Не следуйте моей привычке к ложным именам и анонимным выступлениям. Впрочем, в одном случае я это не только оправдываю, но и приветствую. Я прочел великолепную «Хронику Карла IX» и приношу вам поздравления. Но имейте в виду, что она может послужить источником больших

неприятностей для вас. Не выдавайте своего авторства, раз уж вы его не проставили на книге. Все-таки довольно рискованно. Карл Девятый и Карл Десятый, там — подготовка резни гугенотов, здесь — подготовка резни либералов; там — католическая реакция, здесь — смертная казнь за святотатство. Смотрите, как бы вас за вашу апологию атеизма не сочли осквернителем алтаря. В наши дни в Париже страшно тяжело дышится. Я вчера только узнал о событиях в Модене. Открыт новый карбонарский заговор, и маленький моденский государь прославился невероятной жестокостью. В доме некоего Чиро Менотти собрались инсургенты. Их окружил батальон австрийской пехоты, и горсточка в тридцать человек отстреливалась целые сутки. Пришлось вызвать артиллерию и снести дом пушечным огнем. Вот вам страна, в которой огненный характер населения прорывает пласты омертвевших рас, как вулканическая лава.

— Даже не крепость, а частный дом в городе... с артиллерией, — как непохоже на наш век, — сказал Мериме. — Это какой-то эпизод из «Миланской хроники XVI века».

— Да, но хуже всего, что в этом заговоре принимал участие Шарль Луи Бонапарт, неугомонный мальчишка и страшный авантюрист. Вот почему во Франции заговор Чиро Менотти так близко принимают к сердцу. Помяните мое слово, этот Шарль Луи Бонапарт, племянник Наполеона, всю Францию превратит в дом Чиро Менотти.

— Кто вам сказал, что он племянник Наполеона? — вмешался в разговор Сент-Бев. — Его мать не жила с мужем, тот сидел в Гааге в качестве голландского короля, а Гортензия Бонапарт скиталась по Европе то с Дюроком, в которого была влюблена, то со своим камергером Флао. Кто настоящий виновник рождения Шарля Луи Бонапарта, сказать трудно, но рассказывают, что когда голландский король получил нежнейшее послание от супруги, заявившей, что она не может больше выносить многолетних одиноких скитаний без короля-супруга, то он хлопнул себя по лбу и сказал: «Ей-богу, она беременна: проститутка хочет сделать королевскую мантию своим одеялом». Он поставил глухую перегородку вместо дверей, ведущих на женскую половину дворца. Однако перегородка не помешала Бонапарту родиться. Разводя руками, голландский король приказал произвести артиллерийский салют, приличный рождению наследника.

— Да, но поступок этого мальчика в Модене и смелость его побега говорят за него, — заметил Мериме.

— Они говорят за Дюрока, — сказал Бейль. — Хороший плечистый генерал, он может сработать и не такого мальчика.

Собеседники рассмеялись.

— Тем не менее Меттерних недоволен и, кажется, предупреждает Францию о том, что этот мальчик может наделать много неприятностей, — сказал Бейль.

— Какое дело Меттерниху до этого? — спросил Мериме.

К говорящим подошли Ремюза и двое молодых людей. Ответил Бейль:

— Этот ворон, сидящий в Вене, интересуется решительно всем. Меттерних — диалектик реакции, самое оригинальное его свойство — выбор новых средств для защиты старого мира. Он стоит на той точке зрения, что государства со времени нашей революции перестали жить изолированной жизнью, что у них у всех могут возникать общие враги в лице новых сословий, поднимающих голову. Обязанность соединенного союза государств в том, чтобы эти головы отрубать. Вот почему он стоит на точке зрения «вмешательства» в жизнь дальних и ближних соседей. В этом он, конечно, прав. Метод международного удушения революции есть метод международного сотрудничества людей старого мира в борьбе с революциями. Это самый большой показатель того, что человеческие общества меняют лицо. Там, где были раньше единицы, теперь выступают на историческую сцену тысячи, а через известное время движущей силой истории будут миллионы. Меттерниху это не нравится. Он хочет вернуться к единице.

— Да, а себя он считает самой важной единицей, — отозвался Корэф. — Если б вы знали, до какой степени высокого мнения о себе этот человек! Я сам слышал, как он называл себя факелом в руках бога, освещающим путь человечества к царству нравственности и покоя. Это самый законченный эготист, которого я только знаю.

— Есть эготизм наблюдающий, есть эготизм действующий, — сказал Бейль.

— Ну, уж не знаю, — ответил Корэф, — каков эготизм Меттерниха. Я хочу только сказать, как врач, что эготизм способствует долголетию.

— Ну, в таком случае Европа надолго будет иметь удовольствие быть местом интриг господина Меттерниха, — сказал Бейль.

Корэф рассказал несколько анекдотов об *эгоизме* и *эготизме.* Мериме особенно понравился случай с Талейраном за обедом, когда сосед Талейрана, кардинал, умер от разрыва сердца и упал ему на плечо. Талейран подозвал лакея, спокойно и немногословно приказал убрать кардинала и продолжал есть. Звонкий хохот госпожи Ансло прервал заключительную фразу Корэфа о долголетии.

В три часа ночи Мериме, Бейль и Корэф возвращались домой. Шли пешком, проводили Корэфа, бывшего на этот раз в гостях без жены, и пошли вдвоем. Некоторое время молчали. Потом Бейль произнес:

— Послушайте, Клара, вы можете не отвечать на мой вопрос, но я вам все-таки предложу. Мне кажется, что вас можно будет вскоре поздравить.

— С чем? — удивился Мериме. — С деньгами? Я действительно заработал столько, что собираюсь начать путешествовать. Я напечатал «1572 год», «Маттео Фальконе»...

— Прекрасная вещь!

— ...«Видение Карла XI»...

— Ах, это в июльском номере «Парижского обозрения»? Послушайте, Клара, знаете ли, перестаньте жонглировать именем Карла. Вы так и прыгаете около Карла Десятого; не допрыгнув, вы превращаете его в Карла Девятого, негодяя и заговорщика против своего народа; перепрыгнув, вы в другой новелле превращаете его в Карла Одиннадцатого, который, галлюцинируя, видит, как ему самому отрубают голову. Согласитесь, что это довольно прозрачно и даже не может быть названо вежливым намеком: перелет, недолет, и в конце концов «ныне благополучно царствующий Карл Десятый» может обратить на вас неблагосклонное внимание. А это будет неприятно.

— Что он может мне сделать?

— Он ничего не станет вам делать, но на балу у герцогини Брольи гвардейский офицер наступит вам на ногу или толкнет под локоть так, что вы обольете шампанским вашу даму. Вы попросите его извиниться, а за него вступятся еще пять человек офицеров того же полка, и вы после первого выстрела, предположим удачного, увидите перед своим носом в тот же день еще четыре пистолета, один из которых вас все-таки уложит.

— Ну, я этого не очень боюсь, я приглашу милого и доброго Анри Бейля секундантом, захвораю, а вы будете стреляться вместо меня. Помните, однажды, в Люксембургском саду, мою зависть к вам? Я никуда не гожусь по сравнению с вами. Двадцать один выстрел в цель и ни одного промаха.

— Желаю вам такой же удачи в любви, — сказал Бейль. — Там, кажется, у вас двадцать один выстрел без промаха...

— Дальше, — сказал Мериме. — Ваш «Шевардинский редут»...

— Потрудитесь вернуть мне гонорар, если он мой.

— Согласен, — сказал Мериме. — Дальше. «Федериго»...

— Прекрасная легенда о картежнике! — воскликнул Бейль. — Есть чувство Италии.

— Ну, за два месяца перед «Федериго» в том же «Парижском обозрении» я прочел новеллу, в которой бесподобно чувство Италии, — сказал Мериме.

— Значит, вы читали мою «Ванину»? — спросил Бейль.

— Послушайте, — сказал Мериме, — теперь моя очередь предложить вам вопрос, на который вы вправе не давать мне ответа. Правду ли говорят, что вы карбонарий?

Бейль долго молчал, потом медленно стал говорить:

— В Милане в тысяча восемьсот шестнадцатом году был литературный кружок, в состав которого входили: Байрон, Конфалоньери, Сильвио Пеллико, Монти, граф Порро. Все мы собирались у Людовика Брэма. Всех судьба разбросала в разные стороны. Это было время неповторимого счастья, самое чарующее время моей жизни, время больших людей и огромных событий. Сейчас это так же далеко, как руины Палатинского холма, где по вечерам трава так же пахнет мятой и тмином, как во времена Вергилия, но где вы не встретите ни одной римской тоги, не услышите ни одной строки «Георгик». Я не могу прямо ответить на ваш вопрос. Мои бывшие друзья заперты в австрийских тюрьмах, Байрона нет в живых, движение задавлено, вся Италия хранит печать молчаливого испуга. Вы не встретите в ней непосредственной веселости и открытости тогдашних времен. Я близко знал карбонариев. Человек, спасший меня от русского плена в Вильне,

корсиканец, вернувшийся в Италию, рассказал мне немало происшествий из своей карбонарской жизни. Он погиб, бросившись на инквизитора Сальвоти; хладнокровный Сальвоти нажал кнопку, и мой карбонарий провалился в отверстие пола, попав сразу в подземную тюрьму... Однако какая здесь отвратительная мостовая! Вы знаете, не могу привыкнуть к парижским улицам в этой части города. Если вы хотите посчитаться со мной вопросами, то имейте в виду, что я еще не предложил вам своего вопроса, я не имел в виду поздравлять вас с литературным успехом и гонорарами. На прошлой неделе я видел вас в коляске госпожи Лакост, у вас был влюбленный вид, вы были франтом, а она так положила руку вам на плечо, что я...

— Кажется, поздравлять меня не с чем, — сказал Мериме. — Я еще не знаю, куда я собираюсь ехать, но я уеду из Франции. Мне надоели архивы, рукописи, библиотеки, салоны, редакция, хочется ехать в Италию или в Испанию. Надо же, наконец, проверить, насколько правдива испанская комедиантка Газуль.

— Так вы не женитесь на Лакост?

— Мне необходимо уехать, чтобы я не захотел жениться, — сказал Мериме.

— А не делаете ли вы ошибки? — спросил Бейль.

— Я думаю, что я от нее спасаюсь, уезжая. Ошибкой было бы остаться.

— Сент-Бев как-то говорил, — произнес Бейль задумчиво и как бы нехотя, — что если к сорока годам комната человека не наполняется детскими голосами, то она наполняется кошмарами.

— Боюсь, что она у меня может наполниться одновременно и детскими голосами и кошмарами супружеских ссор, — ответил Мериме. — Я люблю злых женщин, но жить с ними невозможно. Лакост, кажется, обладает наклонностями маркиза де Сад.

— Что вы клевещете на бедного старика? Я видел его в доме умалишенных в Шарантоне, он умер, когда вы были еще мальчиком, в тысяча восемьсот четырнадцатом году. Я его знал довольно близко, в нем было что-то общее с Шодерло де Лакло, автором «Опасных связей». Тот был здоровяк, умница, почти гениальный человек, гораздо более опасный, чем де Сад, потому что он осуществлял все в пределах возможности. Что касается старика де Сада,

то ведь он только писал, это была только игра воображения и больше ничего. Ему было восемьдесят лет, когда он умер. В Шарантоне протекал грязный ручей, этот дряхлый старик брал розы с подноса своего лакея и, обрывая лепестки, швырял их в грязную воду, иногда брал цветок, кидал его в мутный ручей и с любопытством смотрел, как вода уносит его течением.

— Я, конечно, не сравниваю себя с цветком, но я совершенно не собираюсь быть брошенным в брачную лужу рукой госпожи Лакост.

— Вы говорите об этом так, как будто это не от вас зависит.

— Мне совершенно необходимо дышать другим воздухом. Тут я ни за что не ручаюсь.

Бейль неожиданно для себя взволновался. Ему стало трудно дышать, он остановился на углу, чтобы отдохнуть.

— Кстати, кто эти молодые люди, которых я видел с вами вместе у Кювье? Один — очень толстый с грубым лицом, другой — элегантный с этакой русой бородкой палестинского еврея Иисуса.

— Это молодые адъютанты Виктора Гюго, Теофил Готье — толстый и Альфред де Мюссе — русоволосый щеголь.

— Что же, этот селадон обслуживает литературную славу Гюго? Они, вероятно, хорошо устроились, сначала пишут стихи, а потом старые дамы сделают их префектами полиции, они благополучно переженятся и будут уважаемыми гражданами французской провинции.

— И все для того, чтобы в сорок лет их комната не наполнилась кошмарами, — сказал Мериме едко. — Скажите мне, пожалуйста, почему вы считаете мой побег ошибкой, а сами не женитесь и не служите?

— Служить при Бурбонах? Послушайте, друг мой, — ведь это ужасно! Я, впрочем, не могу сказать, чтобы я не делал таких попыток. Шатобриан считает все мои докладные записки величайшим вздором. Была возможность уехать в Рим с одним поручением — это было непосредственно после смерти папы Людовика Двенадцатого, когда у меня спросили характеристику римских кардиналов. Я хорошо знаю Рим, я назвал самого большого дурака кардинала, незаконного сына Карла Третьего Испанского, хвалившегося тем, что он принадлежит к Бурбонам.

Я знаю, что и Карл Десятый остановил свой выбор именно на этом кардинале, что король решил послать меня и Коломба отвезти миллион франков в Рим для подкупа конклава, подобно тому, как Наполеон посылал меня с тремя миллионами русских рублей для обеспечения отступления из Москвы. Из новой поездки ничего не вышло. Решили, что это будет обидно Шатобриану, этому дураку-роялисту, и наша поездка не состоялась. Шатобриан одобрил названную мною кандидатуру, но у него ничего не вышло. На этом обрывается моя политическая карьера. Я сделал еще одну попытку, которая целиком отвечает моим теперешним склонностям. Вы стремитесь бежать от книг и рукописей, а я, наоборот, просился на должность помощника библиотекаря по отделу рукописей королевской библиотеки. И что же вы думали? Чиновники библиотеки в самой решительной форме отвели мою кандидатуру. Они заявили: «Человек со странностями Бейля не может быть введен в их среду, так как допуск Бейля к рукописям был бы допуском козла в огород и началом беспорядка в библиотеке». Как видите, и эта попытка потерпела крушение. А между тем я тоже устал от Парижа, перед которым нет никаких перспектив. Меня интересует живая Франция, если таковая существует. Ну, вот мы и пришли. Покойной ночи!

И прежде чем Мериме успел ответить, Бейль поднялся наверх. У Пасты горел огонь. Полтора десятка людей сидели за карточным столом. Красное вино стояло на столике у окна. В комнату ползли серые и холодные лучи рассвета. Корнер, совершенно пьяный, подошел и оперся локтем на плечо Бейля. Его огромные черные глаза бессмысленно уставились на Бейля. Паста разговаривала с матерью в углу, ее муж сидел за карточным столом. Губы Корнера зашевелились, он пытался что-то сказать, но ему не удавалось. Бейль не обращал на него внимания, стараясь только о том, чтобы он не слишком давил на плечо локтем. Наконец, Корнер произнес:

— Пять лет ты сюда шляешься. Когда я об этом сказал Метильде Висконтини, то она очень тебя осудила и сказала: «Значит, он мне солгал».

Бейль решительным движением освободился от Корнера, тот грузно повалился на диван. Бейль пошел к себе и написал письмо Коломбу:

«Дорогой брат, печальное событие все равно неизбежно, и если я его предприму вскоре, то это потому, что иначе поступить невозможно. В письменном столе, в зеленой папке, ты найдешь завещание. Прощай!

Анри Бейль».

Потом вынул ящик с пистолетами, осмотрел, поднял курок и положил пистолет на стол. Рука машинально одним привычным росчерком выводила на бумаге рисунок пистолета. Потом вдруг решительно, твердыми шагами Бейль подошел к стене, расстегнул рубашку и приложил дуло. Не чувствуя, как бьется сердце, и не закрывая глаз, с злобной решительностью он надавил тугой курок. Раздался сухой треск, выстрела не последовало. Перед глазами стояли две лампы, два письменных стола, по комнате плыли две кровати, голова кружилась тяжело, но это продолжалось одно мгновение. «Обойдемся без драматических жестов, — подумал Бейль, осматривая пистолет. — Порох сухой, кремень в порядке, но сталь пообтерлась, удар без искры. Пожалуй, что это хорошо». Старательно завернул пистолет, положил в ящик, поставил баул на прежнее место и, вздыхая, как после тяжелой болезни, стал раздеваться. Спал как убитый, как в прежние годы на бивуаках после тяжелых кавалерийских переездов. Утром только письмо Коломбу напоминало о том, что могло случиться ночью. Пошел звать коридорного, так как не было воды для умывания. Вернувшись, застал Коломба, внимательно читающего письмо. Бейль бросился к брату. Коломб поднял глаза, посмотрел строго и, отстраняя его левой рукой, спрятал правую руку за спину вместе с письмом.

— Эта гнусная записка все-таки попала по адресу, — сказал он. — Я не требую от тебя никаких объяснений.

— Да они и не нужны, я не собираюсь вовсе их тебе давать, — сказал Бейль.

— Ну, а все-таки, на какое число назначается это «печальное событие»? — спросил Коломб. — Знаешь ли, я меньше, чем от кого-либо, ожидал этой гадости от тебя.

Коломб заходил по комнате, зубы его стучали мелкой дрожью, руки судорожно сжимались, голова тряслась.

— Подумать только, что если б я опоздал...

— Да ты уже опоздал, — сказал Бейль.

Коломб смотрел на него, не понимая.

— Скажи, что надо сделать, чтобы это не повторилось?

— Это не повторится.

— Как ты можешь ручаться? Если бы ты в самом деле нашел себе место в жизни. Ты — математик, займись инженерным делом.

— Я не более как наблюдатель. Быть участником и рабом этой действительности я не собираюсь. Достаточно того, что я умею ее описывать.

Коломб остановился около маленького письменного стола с книгами и рукописями. Его глаза машинально скользили, ничего не читая, по письменному столу. Вдруг огромная кипа бумаги с надписью крупными буквами «Жюльен» привлекла его внимание.

— Что это? — спросил он.

— Это современная хроника, — ответил Бейль. — Не знаю, что из нее выйдет.

— Все-таки ты подумай, что можно сделать для приискания тебе постоянного занятия. Как велика твоя пенсия из военного министерства?

— Тысяча пятьсот франков.

— А литературный заработок?

— Случайный, — ответил Бейль. — Но я не хочу его делать регулярным и, повторяю, не собираюсь служить Бурбонам.

— Ну, женился бы ты на графине Кюриаль. Кажется, у вас дело зашло довольно далеко. Я читал «Арманс»; описание поездок в Андильи всем дало понять, что это ты проживал у госпожи Кюриаль.

— Я не считаю себя способным к семейной жизни. Кроме того, Мента имела достаточное количество любовников, чтобы застраховаться от нового.

— Ну, кажется, и ты имел не малое количество любовниц? Не понимаю, как у тебя хватает духа упрекать женщину и продолжать к ней ездить.

— Я с ней не вижусь больше.

— Так, значит, выхода нет?

— Прошу тебя прекратить разговор обо мне. Скажи, пожалуйста, что делает Крозе и когда можно его застать? Я ему должен.

— Он приезжает через неделю. Имей в виду, что Крозе смотрит на тебя так же, как и другие. Он думает, что тебе надо служить, а не бездельничать.

— Я работаю свыше сил. То, что я делаю, — в высшей степени серьезно и необходимо.

— Смотри, чтобы эти серьезные и необходимые занятия не превратились для тебя в летние песни стрекозы. Ты захочешь служить, когда все лучшие должности будут заняты людьми твоего поколения. Жизнь тебя вытеснит. Это неизмеримо хуже, чем затея жениться в семьдесят лет.

— Я готов серьезно отнестись к твоим словам, но должен тебе сказать, что я еще ни разу не раскаивался в том, что не принял предложения Беньо в тысяча восемьсот пятнадцатом году стать начальником парижского снабжения. Механика власти мне достаточно хорошо известна. Я хорошо знаю самого себя. К нынешнему году уже я был бы принужден отправлять людей на каторгу за хищения или сидеть в тюрьме за то, что сквозь пальцы смотрел на взятки.

— Не все же сводится к хищениям и взяткам.

— Остальное сводится к избирательным подкупам и к биржевой игре, к поповскому ханжеству и военному карьеризму. Я знаю, как сейчас организован подбор командного состава армии. Выбирают французов, в достаточной степени тупоумных и не боящихся стрелять в толпу безоружных граждан на площадях. Разве это та армия, с которой я был под Минчио и в Кастель-Франко? Разве эта армия переправлялась через Сен-Готард? Что сейчас происходит? Дворянская грамота столкнулась с бухгалтерской книгой. Разве тут есть место остальной Франции? Что нам тут делать в этой драке дворян с финансовой аристократией?

— Финансовая аристократия организует хозяйство страны.

— Финансовая аристократия организует свою наживу, а дворяне завидуют ловкости ее рук. Вот и все.

Разговор тянулся еще долго.

Глава тридцать восьмая

Роман-хроника, озаглавленная «Жюльен», возникла в те дни, когда все газеты были полны процессом столяра Лафарга. Голова Бейля была полна последней корректурой «Прогулок по Риму». После «Ванины» это был прекраснейший гимн итальянской энергии и непосредственности. Единственная страна в мире, сохранившая способность любить что-либо, добиваться чего-либо, с огромной

страстью и с чувством счастья отдавать за цель своих стремлений самую жизнь, — это была Италия. Надо было показать жалким, пустоголовым французам, сидящим за конторками и в министерских креслах, что они убили энергию своей страны, что они вышли в отставку в 1814 году, что миновала эпоха великих дел и настали будни мелких забот.

И вдруг этот процесс столяра Лафарга.

Юноша в синей блузе, брови, как стрелы, синие глаза полны несокрушимого огня, бледный, худой, встает со скамьи подсудимых за решеткой. По бокам стоят конвоиры с обнаженными саблями. Лафарг начинает говорить спокойно, тихим голосом. Откуда взялся этот простой рабочий парижского предместья? Что он хочет сказать в своей последней речи, через восемь часов после которой его шея будет перерублена топором гильотины? Приговор уже произнесен. О чем тут можно говорить?

Рабочий не говорит уже, а резко и презрительно кричит:

— Я не мог настигнуть трусливого буржуа, купившего мою жену за деньги, но я обязан был сделать так, чтобы вторично его покупка не удалась. Пусть он знает, что если мы продаем свой труд, то мы не продаем своих жен. Ему нечего будет уже купить.

Возвратясь с процесса, Бейль поспешно записал свои впечатления, придавая им вид рассуждения о том, что есть настоящая, живая Франция, не известная ни министрам, ни буржуазии, ни дворянам, ни французским писателям. Это Франция нового, энергичного поколения. Бейль прямо назвал этот общественный класс, который даст сильные характеры: к этому классу принадлежит молодой Лафарг.

— Напечатать совершенно невозможно,— сказал старший мастер. — Поймите, что придется ломать всю верстку ваших «Прогулок по Риму».

— Не верстку, а только второй том, — возразил Бейль.

— Ваше добавление имеет сорок страниц текста, и, откровенно говоря, эти страницы портят «Прогулки по Риму». Какое отношение к Риму имеет столяр Лафарг? Впрочем, если вы настаиваете, могу вам предложить набрать петитом — это будет двенадцать страниц.

— Набирайте, — сказал Бейль. — Вы должны оказать мне содействие. Вы сами рабочий.

— Рабочий! Завтра я могу очутиться на улице. Новое улучшение в машинах — и половина рабочих становится ненужной. Содержатель типографии приветствует каждое улучшение в машинах, чтобы только не платить деньги рабочему. Вы видели, что делается у ворот типографии? Это — голодные наборщики, фальцовщики, брошировщики; они с утра дежурят у ворот, ловят хозяина и кричат ему, что готовы работать за более дешевую плату, чем мы.

— Что же вы думаете делать? — спросил Бейль.

— Я думаю сам предложить понизить мне жалованье. Может быть, тогда уцелею. Но боюсь товарищей. Это невыгодно отразится на них, но сговориться с ними нет никакой возможности, во-первых, потому что подслушивают и доносят обо всем полиции, во-вторых — найдут способы от меня избавиться, навязав мне агитацию за стачку. Нам живется очень плохо.

— Откуда вы родом?

— Я родился в Париже, служил мальчиком у Дидо.

— Я думал, что вы из деревни и могли бы туда вернуться.

— Что вы! Даже если бы я был из деревни, туда невозможно теперь ехать. Новые владельцы не лучше старых дворян. Крестьяне разорены так же, как и мы.

— Итак, когда же вы думаете выпустить книгу?

— Поговорите с управляющим. Наберем сегодня к вечеру, завтра дадим вам гранки.

Наутро следующего дня, проснувшись очень рано, Бейль взял томик «Гражданского кодекса» и стал перечитывать статьи об усыновлении и о равенстве граждан. Уже много лет «Гражданский кодекс» давал ему направление в поисках нужных слов, простых, ясных и лаконических оборотов. Он писал большой роман. Он лелеял эту книгу, и работа над ней продолжалась в течение всей остальной части дня.

В феврале 1828 года в «Трибунальской газете» был объявлен приговор сыну кузнеца Антуану Бертэ. 23 февраля того же года, в 11 часов, на Гарнизонной площади Гренобля, на глазах огромной толпы, состоявшей из плачущих женщин, перед окнами домов, из которых выглядывали разодетые буржуазки, Антуану Бертэ отрубили голову. Бейль, не довольствуясь отчетами о процессе в шести номерах «Трибунальской газеты», поехал к нотариу-

су Дефлэару, взял у него подлинное дело, отдал переписчику и стал над ним работать. Сын кузнеца из города Бранга, молодой и красивый человек, бежал из семьи, чтобы учиться и выйти в люди. С трудом ему удалось поступить в семинарию. Среди завистливых голодных семинаристов он чувствовал себя очень плохо. Он был способнее товарищей, имел колоссальную память, а пытливость во всех областях принимала размеры, не позволительные для воспитанника учреждения, которое готовит служителей культа. Вот первый повод для конфликта. Бертэ — лучший ученик, и когда городской голова в городе Бранге просит репетитора для своих детей, начальство семинарии при всем желании не может не назвать Бертэ, зная, что все остальные могут скомпрометировать семинарию в глазах почтенного буржуа. Семинарист Бертэ становится учителем в доме городского головы Мишу. Дальше повторение истории Руссо и Гельдерлина. Красивый гувернер «из народа», талантливый, но без надежды продвинуться в жизни, и молодая двадцативосьмилетняя дама, скучающая при занятом муже. Деловые дневные встречи и разговоры о детях довольно быстро сменились ночными разговорами на другую тему. Темы этих разговоров стали известны городскому голове. Семинариста вышвырнули из дома. Госпожа Мишу решается на отчаянный поступок: она тайком встречается с ним за городом и клянется не забыть его. Начальник семинарии дает Бертэ рекомендацию к богатому дворянину Декардону, провожая его словами: «Ты молод, красив, полон жизни, ты едешь в Париж, у тебя блестящие способности, значит... тебя не возненавидят». Бертэ теряет свою непосредственность, становится осторожным в каждом движении, расчетливым в выборе каждого слова, беспощадным в чувстве презрения к окружающим. Огромный запас молодой энергии не находит себе применения. Порученные обязанности столь же легки, сколь отвратительны. Этот чужой, холодный, озлобленный человек, непохожий на дворянских кукол, сидящих в салоне Декардона, способных в лучшем случае храбро расстаться с жизнью на дуэли, привлекает внимание дочери Декардона. Это внимание переходит в любопытство, а любопытство превращается в еще более интенсивное чувство. Наступает второй роман. Бертэ снова лишается места. Уезжает, поступает на службу к нотариусу Морестелю и тут узнает, что женщина, клявшаяся ему в верности, на-

шла ему заместителя. Новый молодой человек, репетитор и любовник одновременно, занял его место в доме. Бертэ едет в Бранг. В воскресенье, 22 июля, в церкви первым выстрелом из пистолета ранит молящуюся Мишу, вторым неудачно пытается покончить с собой. Начало — семинария, конец — гильотина. В самом деле, что делать молодым людям с огромным запасом энергии, молодым людям, которые не являются наследниками имений, не принадлежат к старинному дворянству и в то же время не могут строить фабрик или организовать другие средства наживы, быть может, не желают даже уметь? Как разрешается конфликт молодой энергии и безвременья?

Такие процессы, как процесс Лафарга или Бертэ, становятся заурядным явлением во Франции. Энергия, пригодная для больших целесообразных действий, существует в той среде, которая связана по рукам и по ногам. Знают ли об этом те писаки, которые испещряют столбцы газет строками политической фальши? Жизнь становится лотереей. «Способные люди», еще не кончившие борьбы за власть «с людьми высшего происхождения», давят друг друга конкуренцией. В Париже началась скачка наживы и скачка карьеры. Самая надежная карьера для молодого человека среднего сословия — это поповская ряса. Разорившийся дворянин, младший сын в семье помещика, также должен идти в монахи, чтобы получить приличное своему титулу епископское место, в то время как старший в роде, в силу восстановления закона о майорате, получает титул, поместья и деньги. Конкуренция, ставшая игрой в лотерею, может дать ставку на красное и черное. Красное — это цвет красных знамен 93-го года, черное — это одежда католического духовенства. Третий цвет — белый цвет Бурбонского знамени — лег мертвенной полосой между красным и черным.

«Итак, зачеркнем название «Жюльен» и напишем *«Красное и черное»*.

После «Арманс» этот роман пишется с необычайной легкостью и быстротой. Все становится на место. Одно только затруднительно — это язык. Полная прозрачность языка достигнута в новеллах и статьях. Здесь этого добиться не удалось. Но что может быть хуже отжившего языка французской академии, языка, не передающего ни бытовых слов нынешней Франции, ни живого разговора парижан на всевозможные темы за пределами академиче-

ского слуха. Законы, управляющие умом современной Франции, редактировались человеком, ковавшим эту Францию. «Кодекс Наполеона» — лучший источник для получения правильных слов, источник, дающий все необходимые понятия для романа.

Через неделю Крозе, Коломб, Мериме, Марест, Корэф, Делеклюз и еще десять — двенадцать человек занимали целую комнату около Медона в ресторане «Братьев-провансальцев». Организатором ужина был Крозе. Говорили громко, ели с аппетитом, со смехом говорили сразу целой группой, иногда чей-нибудь голос овладевал общим вниманием. Наконец, приехал Бейль. Крозе объявил во всеуслышание, что сегодняшний ужин устроен в честь новорожденного. Все переглянулись. Бейль также смотрел с удивлением, ожидая объяснений.

— У Бейля родился незаконный сын!

— Я думал, что ты скажешь что-нибудь новое, — сказал Бейль и с разочарованным видом сел за стол. — Это случается так часто, что я уже не считаю.

— Зато я считаю, — сказал Крозе. — Нет, кроме шуток, господа, есть с чем его поздравить.

Крозе достал из-под стола два томика «Прогулок по Риму».

— Вот прекрасная книга, вот лучшая книга, которую я когда-либо читал.

Корэф ленивым жестом потребовал у Крозе книгу. Не дождавшись, перегнулся через стол и пролил стакан вина. Крозе спомнился и отдернул книгу. Делеклюз закричал:

— Действительно прекрасная книга! Никто до сих пор так не описывал Рима ни в целом, ни в частях. Это лучший путеводитель для туриста, авантюриста и контрабандиста. В самом деле: прежде путешествующий благородный синьор получал все указания о святых местах, о монастырях, о чудесах, совершаемых иконами, о знатности и богатстве князей, но о том, как без паспорта проехать из Парижа в Рим, о том, как таксируется должностная совесть таможенного досмотрщика, о том, как лучше и безошибочно *надуть* полицейских шпионов и жандармов, — нет, этого мы никогда не читали.

— А между тем мы это делали, — заявил Корэф.

— А для меня такие сведения прямо необходимы, так как полиция не пускает меня в Испанию, — заявил Мериме.

— Ну и сидите дома, чего вы там не видели, — грубо сказал Марест.

— Сидеть дома я не буду, а уж раз вышла книжка, раскрывающая римские секреты, то я поеду в Италию, — сказал Мериме, — и остановлюсь у вашей Гиацинты, — добавил он, обратившись к Бейлю. — Вы так ее расхвалили в «Римских прогулках», что мне хочется посмотреть на эту милую женщину, отдающую комнату за два франка. Сколько она берет за остальное?

— Это будет зависеть от наружности покупающего, — сказал Бейль.

— В таком случае мы все обречены или на неуспех, или на дорогую плату.

— А вы «все остальное» везите с собой из Парижа, — заметил Корэф.

— «Все остальное» причиняет не мало хлопот в дороге, занимает много места, требует паспорта, так что лучше переплатить в Риме.

— Ну хорошо, давайте все-таки выпьем за здоровье Бейля, — сказал Делеклюз.

Пили за здоровье много и долго. Крозе совершенно отяжелел. Он уставился огромными непонимающими глазами на Бейля и мычал что-то в ответ, в то время как Бейль совал ему в карман пачку в шесть тысяч франков со словами:

— Вот видишь, книгу я все-таки написал. Вот тебе старый долг, дорогой друг.

Крозе заставил его выпить бокал крепкого вина. Бейль отяжелел. Под утро, не помня, с кем прощался, вместе с Мериме он поднялся по лестнице. Когда Бейль разделся, Мериме пожелал ему покойной ночи и, уходя, прислушался к звуку запираемого замка. Утром лиловатые круги плавали перед глазами Бейля. Голова болела, встать было трудно. Перед зеркалом заметил, как поредели волосы. Вылил кувшин холодной воды на голову, взялся за полотенце и с удивлением увидел на полу, рядом с сюртуком, свои вчерашние шесть тысяч франков.

«Неужели я не отдал? — подумал Бейль, поднимая деньги. — Или этот пьяный негодяй Крозе вздумал надо мной подшутить? Что же, он воображает, что я возьму его подачку?»

Бейль оделся и вышел на воздух. Через четверть часа

дышалось легко, голова стала свежей, и чувство полного отдыха охватило его.

Крозе уехал, оставив письмо «господину Бейлю»:

«Я знал, что ты придешь, дорогой Анри. Не вздумай меня обидеть, позволь мне поделиться с тобою карточным выигрышем. Дав тебе деньги на поездку, я не предполагал, что она будет иметь столь большие результаты. Книга действительно замечательная, и я знаю, что ее переиздание обеспечит тебя на несколько лет. Она во всех отношениях нова. Я не стал бы только на твоем месте проводить такие резкие границы между отдельными классами римского общества. Италия не похожа на Англию, в которой столько же истин, исключающих друг друга, сколько сословий, друг друга боящихся и ненавидящих. Прошу тебя не заботиться о возвращении денег, которые являются моими не более, чем любая случайная находка».

«Оказывается, Крозе меня перехитрил, — думал Бейль. — Можно ли возражать против дружбы? Но пусть он выбирает другие способы ее выражения. Во всяком случае, кипа банковых билетов сейчас очень кстати. Книга, конечно, окупится, она нужна, она интересна, она занимательна. Ничего, что там есть кое-какие шероховатости и выдумки. Возражение, что спутники по мальпосту выдуманы, конечно, отпадает. Четверо мужчин, обладающих живым умом, и три красивые женщины не всегда бывают спутниками в поездках по почтовым дорогам. Конечно, в книге есть краденые места: встреча с Мельхиором Джойе, увы! — это из письма Поля Луи Курье в Калабрии — «стране апельсиновых лесов, оливковых рощ, изгородей из лимонных деревьев». Конечно, в день пожара базилики св. Павла 16 июля 1823 года я был в Париже, но каков рассказ очевидца! Я сам готов поверить своему свидетельству. Конечно, первый раз я был в Риме в 1811 году. Республиканское опьянение 1802 года, охватившее Рим, было мне известно только понаслышке. Но два шпиона, следившие за мной по пятам в день моего отъезда и целовавшие мне руку за то, что, выехав за заставу, я угостил их вином, — это реальная встреча. Не мог же я написать, что все это произошло со мною несколько месяцев тому назад! Этот насмешник Мериме поймал меня на том, что я приписал блаженному Августину тертуллиановские слова:

Дом в Бранге, в котором родился Антуан Бертэ

Дом г-на Мишу в Бранге

«Credo, quia absurdum»[1]. На этом поймать меня легко, но он сделал еще хуже, разоблачив *«рекламный тон»* моих похвал по адресу римского папы. Он заявил, что если папа умный человек, а это иногда случается, то он, конечно, должен вписать «Прогулки по Риму» в Индекс, и тогда даже французы-католики должны будут отказаться от счастья покупать книгу открыто. Мериме в упор спросил: «Так вы серьезно утверждаете, что после Милана вы снова виделись с Байроном в Венеции?» На мой встречный вопрос о причине его сомнений он ответил: «Слишком литературный разговор. Ваши рассказы о Милане дают другое впечатление». Проницательный юноша!»

Вернувшись домой, нашел записку:

«Приходите, дорогой наставник, в четверг после десяти часов вечера. Я хочу познакомить вас с Виктором Гюго. Будут Сент-Бев, Делеклюз, обещал приехать на минуту Бальзак».

В назначенный час Бейль был у Мериме. Красивый молодой человек лет двадцати пяти протянул ему руку, — это был Виктор Гюго. Он держал в левой руке толстую тетрадь в переплете; когда Бейль вошел в комнату, он читал из нее отрывок. Короткий, толстый человек, с очень живыми глазами, с углами губ, приподнятыми кверху, как у кабана, расхаживал по комнате. Небрежно, на ходу сунул он руку Бейлю, когда Мериме холодно назвал ему своего друга. Он не назвал своей фамилии, а Мериме, очевидно, не счел нужным это сделать. Бальзак почему-то не любил произносить свое имя.

— Да, это красиво, но слишком многословно. Нельзя заставлять публику развешивать уши. Мне кажется, вам необходимо сократить монологи «Эрнани».

Мериме подошел к Бейлю.

— Представьте себе, Гюго приехал двумя часами раньше и все время читал свою пьесу.

— Я вам очень благодарен, что вы дали мне возможность опоздать. Признайтесь, что вы сделали это нарочно, — ответил Бейль. — Каково было бы вам как хозяину если бы я заснул во время чтения?

— Вы не заснули бы. Пьеса прекрасна. Она вызовет ликование всего театра.

---

[1] Я верю, потому что это нелепо *(лат.)*.

Бейль пожал плечами и подошел к Бальзаку.

— Я не написал ни строчки стихов, — кричал Бальзак, — не вижу в этом никакой надобности!

— Всякому свое, — сказал Гюго. — А вы, господин Бейль? Мне говорили, что у вас есть стихотворные опыты.

— Да, я когда-то был влюблен в актрису и по ее заказу сочинял комедии в стихах. Это была комедия во всех отношениях.

— Вы так же относитесь к стихам, как господин Бальзак?

— Мой взгляд ни для кого не обязателен, — ответил Бейль, — но я считаю, что стихи в большинстве случаев служат для прикрытия скудости мыслей. Ценная мысль может быть выражена только прозой. В стихах идея должна быть на службе у рифмы, наиболее выразительное слово вы должны выбросить, если в нем на два слога больше, и вставить иное, дающее оттенок, снижающий качество мысли. Как видите, я выражаюсь довольно тяжело, но я считаю стихи маскировкой глупости, — сказал Бейль, внезапно становясь резким. Гюго как бы не заметил этой резкости. Он спокойно возразил:

— Да, но язык — это не такой простой инструмент. На известных ступенях развития человек достигает идеального совершенства. Тогда сама проза становится ритмичной, и те условия, которые вам кажутся искусственными, превращаются в естественные условия человеческой речи. Рифма! Кажется, что больше может связать течение мыслей, изменить содержание высказываемых идей, чем погоня за удачной рифмой? Но вот наступает время, когда творческое напряжение художника делает идею и форму совершенно тождественными. Появляется слово с необходимой рифмой, дающее необходимое идейное решение задачи. Такое совпадение мы, поэты, называем вдохновением.

— Неужели можно серьезно говорить о вдохновении? Произведение, написанное по вдохновению, — это песня алкоголика. В таком произведении не может быть ни разума, ни смысла. Ссылка на удачу талантливого человека, подыскавшего нужную рифму, — это то же, что ссылка на картежника, сорвавшего крупную ставку. И то и другое не имеет признаков прочной работы. Это не результат трудового напряжения мысли. Литература есть труд, а не вдохновение, писатель должен руководство-

ваться тем, что предписывает ло-ги-ка! — закончил Бейль, как всегда раздельно произнося слоги в любимом слове.

— В таком случае, какая же разница между наукой и литературой? — спросил Гюго.

— Никакой, — ответил Бейль. — Литература есть форма точного описания и анализа, почти так же, как «язык цифр». Я не могу доверять капитану парохода, находящемуся в состоянии опьянения, я не могу доверять писателю, лишенному трезвости.

— Приравнивая вдохновение стихотворца к опьянению алкоголиков, вы совершенно забываете об идеалах поэта.

— Самое слово «идеал» наводит меня на подозрение. Когда я это слышу, то всегда хлопаю себя по карману — не пропало ли что-нибудь. Зачем вам, серьезному писателю, прикрываться этими мишурными понятиями? Какие там идеалы? Вы еще склонны будете расценивать политику как ремесло, основанное на стремлении к идеалу.

— Я именно так думаю о политике, — сказал Гюго. — Я верю в бога и люблю короля.

Бейль иронически поклонился:

— В течение года — шестнадцать казней на Гревской площади в порядке воспитания городского населения. Двадцать третьего мая прошлого года в Равенне святой отец приказал повесить семерых революционеров на площади. Их трупы висели двое суток. В Париже мы казним во имя короля, в Романье — во имя бога! Вот ваш идеал, господин Гюго.

— Да, казнь — это ужасная вещь! Я видел казнь Лувеля, зарезавшего наследного принца. И при всей справедливости этого возмездия я с трудом перенес зрелище казни.

— Какое «справедливое возмездие» заставило казнить столяра Лафарга и сына кузнеца Бертэ? Оба не совершили никаких преступлений, но правительство, поставившее десятки и сотни тысяч французской молодежи на путь преступления и воровства, указывает на то, что страна потеряла себя. Какие тут могут быть идеалы! — пожимая плечами, сказал Бейль.

— Но эти молодые люди, по крайней мере двое названных вами, хотели выйти за пределы своего сословия,— возразил Гюго. — Это никогда не проходит безнаказанно.

— Тогда где же «Декларация прав»? В какой тупик вы зашли? Дело даже не в сословиях, а в том, что в пору больших кровавых происшествий в Европе родилось не-

счастное племя недоносков, нервно расшатанных мальчиков, которые не в состоянии нести на себе тяжелое наследство эпохи. Что вы будете делать с этими молодыми людьми, хилыми, слабыми, невыношенными, но уже изношенными в утробе матери, — куда они будут годны? Вы говорите об идеалах добра и правды? Господин Гюго, для этих идеалов нужна энергия и воля, располагающая большим запасом сил, а где вы их найдете, если не хотите остаться в пределах красивых фраз? Что будет делать эта ваша молодежь, которая никому не нужна, и что будут делать те случайные молодые люди, которые обладают вполне достаточным запасом воли и сил, но, с одной стороны, не принадлежат к дворянству, с другой стороны, не хотят тратить силы на организацию собственной наживы? В самом деле, что представляет собою единственное сословие, способное сейчас как-то существовать? Это, конечно, буржуазия с ее черствым стремлением время превратить в деньги.

Бальзак, с интересом слушавший эту тираду, прервал Бейля:

— Вот тут-то и начинаются все возможности. Как только время перешло в деньги, так деньги открывают человеку возможность делать все. Он настоящий повелитель вселенной, он прокладывает дороги, строит города, насаждает леса, изобретает машины, он кормит голодных, он дает заработок целому краю. Что вы низводите буржуа с его пьедестала! Я вам расскажу об этом буржуа. Он пришел из деревни; по парижской пыли он прошел босиком, неся трость, котомку и деревянные башмаки за спиной; он был красив, был молод, у него не было ни гроша денег, ему не на что было купить булку. На рынке он спрашивает, где можно переночевать. Молодая женщина показывает ему на свою собственную лавочку духов, хорошего мыла и пудры. Утром он становится приказчиком, к вечеру он становится супругом, через год он — владелец и парфюмер, первый парфюмер в Париже; у него на вывеске значится: «Поставщик королевского двора»... Вы не узнаете этого человека, до такой степени все в нем переменилось. Он делает большие дела, он закупает сырье в Индии, он арендует посевы и цветники в Ницце, лучшие химики работают у него на фабрике, его духи являются предметом гордости придворной молодежи. Однако он не зазнался, он религиозен, он скромен, он почитает короля.

Он молча перенес невзгоды вашей проклятой революции, и вот теперь он опять у власти. Вместе со старым Цезарем, великим полководцем, завоевавшим Галлию, он сейчас мирно завоевывает рынки и перестраивает жизнь Новой Галлии. Это строитель нового мира, это творец новой Франции, тот же Цезарь, но Цезарь Бирротто. Смотрите на него: в кругу семьи, окруженный почтительными детьми, утром, в мягком халате, он сидит за небольшим столиком и гусиным пером отодвигает очко на счетах. Перед ним сидит молодой человек, офицер из Марсанского павильона, готовый подписать вексель на большую сумму денег. Что же вы думаете? Что этот Цезарь Бирротто — ростовщик, обирающий аристократов? Нет, это буржуа, готовый помочь дворянину в деле поддержки трона.

— О ком вы говорите? — спросил Гюго. — Мы не знаем этого человека.

— Да, конечно, не знаете, потому что он еще не существует, но он скоро родится, его имя вы увидите через некоторое время в витринах книжных магазинов.

— Нет, скорее вы увидите имя Жюльена, — сказал Бейль, — имя сына плотника, отказавшегося от карьеры парфюмера. Вы увидите буржуа и аристократа, не напудренных, не надушенных. Я хочу показать вам, чем пахнут провинциальные дома и парижские салоны, близкие ко двору, пока их еще не надушил ваш удачливый Цезарь и не приукрасил менее удачливый поэт.

Последние слова были обращены в сторону Гюго. Сдержанный поэт с достоинством сидел в кресле против Бейля. Бейль напрасно старался уродливой деланой улыбкой замаскировать злобу, появившуюся у него на лице.

Довольно долго продолжалось неловкое молчание. Смотря на всех спокойно и невозмутимо, хозяин ничего не предпринимал, чтобы сломать лед, возникший между посетителями его гостиной.

Глава тридцать девятая

Виктор Гюго собирался уходить.

— Вы, должно быть, рано ложитесь? — спросила Анна Мериме, обращаясь к поэту.

— Меня будит ребенок, — сказал Гюго, — и, кроме того, меня всегда зовет утренняя работа. Я люблю в

утренние часы ощущать новые мысли в освеженном и оживленном мозгу.

— Я люблю работать ночью, — отозвался Бальзак. — К вечеру мозг обогащается тяжелыми и полновесными мыслями. Все приходит в движение, начинается восхитительная и бешеная работа. Отсутствие зрительных впечатлений позволяет расти в сумерках всем чудовищным образам, родившимся за день. К ночи они становятся огромными, сильными, самостоятельными существами. Если под утро они не успели вырасти, я сажаю их в инкубатор, как недоношенных цыплят, я закрываю шторы и, вопреки наглому парижскому рассвету, устраиваю черную ночь. Лампа разогревает мой большой кофейник, двадцать четыре свечи в шандалах Регента освещают мой стол. Шторы спущены, окна закрыты наглухо, двери заперты, и уверяю вас, что моя работа над гомункулом кончается гораздо более успешно, чем работа Вагнера, несмотря на то, что доминиканская ряса с капюшоном на широких плечах Бальзака веет средними веками.

— Я люблю работать днем, — сказал Бейль. — Я люблю работать с утра, люблю полную ясность вокруг себя. Разве можно видеть мир по-настоящему сквозь копоть ваших шандалов?

— Ну, в таком случае вы предпочитаете другую копоть, — ответил Бальзак. — Вы отказываетесь видеть даже при свете дня истинного героя нашего времени. Этот герой — банковский билет. Он переворачивает душу ваших героев, он пролезает всюду, он диктует свою волю, бездушный, холодный, шуршащий и мертвый. Он хватает ваших девушек за горло, срывает с них венок из флердоранжа и швыряет их сначала с матросом в полночь на скамейку Итальянского бульвара, а потом в Сальпетриер на стол венеролога. Он строит и разрушает, он воздвигает мосты, соединяющие берега, и рвет нити, связывающие сердца. Он высушивает болота и заставляет проливать моря слез, он деревни превращает в пустыни и заставляет чахнуть сильных молодых людей, и в то же время он может, своевременно придя в семью, вызвать цветущий румянец на щечках выздоравливающего ребенка.

— Пока мы видим только разрушающую силу вашего героя, — сказал Бейль. — Рабочие жалуются, что каждое новое улучшение машин грозит им нищетой. Труд обогащает не того, кто работает. Ваш герой предпочитает выби-

рать своим жилищем карманы плута, но имейте в виду: то, что в Париже восхищает вас как новинка, уже давно стало обыденным в Нью-Йорке. Все дело в том, чтобы человек сам выбирал свой характер. Помните, что сказал Вергилий: «Trahit sua quemque voluptas»[1]. Вы хорошо знаете силу денег, я ее хорошо знаю, вы пишете книги, я их пишу, и если бы мы имели миллионы франков, мы не изменили бы себе. Меня приводят в ужас французы, родившиеся...

Он посмотрел на Мериме, между бровями которого появилась морщина, улыбнулся, мысленно переменил какую-то цифру и продолжал:

— ...после тысяча восемьсот десятого года.

Морщина на лбу Мериме исчезла. Он родился в 1803 году. Бейль милостиво прибавил семь лет для того, чтобы обругать французов, родившихся недавно.

— Они ужасают меня своим непониманием, своим стремлением *быть, как все*. Все, что не «как все», вызывает у них не то чтобы внутреннее отвращение, а какую-то боязнь за свою карьеру. Их влечения не определяются добросовестной работой над своим характером, а лишь поспешным усвоением общепринятых правил. Они должны зарекомендовать себя своевременной исповедью, хождением в церковь, точным знанием общепринятых правил. Они не должны читать слишком много книг. Покупка газет — и та должна быть сделана с осторожностью; выбор товарищей небогатых и без громких имен уже не рекомендует молодого человека. Надо заметить, что это не правило сословия, а обычай касты; нарушение карается жестоко и беспощадно. Во внимание берется главным образом покорность таким общепринятым правилам, которые отличаются особой бессмысленностью, которые противны здравому рассудку.

— Вы тоже от этого страдали? — спросил Бальзак.

— Я от этого не страдал, но я люблю милое общество Италии — единственное в мире, не считающее бедность преступлением и умеющее замечать ум и талант раньше, чем титул или ренту. Было бы интересно поставить ваших молодых людей в условия полного благополучия и посмотреть, как они этим распорядятся. Ну, превратите время, отведенное человеку для жизни, если не в нашу

[1] Каждого влечет то, что доставляет ему радость *(лат.)*.

с вами книгу, которую можно перелистывать, находя ее занимательной или скучной, то в любимую книгу новой аристократии, в чековую книжку банкира. Сделайте так, чтобы юноша, получивший такую книжку, мог отрезать купоны. Посмотрите, на что они израсходуют эту жизнь, во что они превратят свою энергию, на что они ее обменяют.

Бальзак ударил себя ладонью по лбу.

— Это счастливая идея! Это интересно! Это блестящая мысль. Я назову эту книжку, эту чековую книжку «шагреневой кожей». Я испещрю ее надписями, старыми, как мир, расписками Соломона, обетами о платежах за человеческое счастье. Пусть это будет вексель судьбы, и пусть владелец этого куска шагрени знает сам, что каждое желание убавляет его объем, что в тот день, когда этот кусок станет величиной с булавочную головку, ему останется только пожелать дышать как можно меньше.

— А до того? — спросил Бейль.

— До того — пойдемте спать. Господин Гюго, кажется, уже спит.

Сходя с лестницы, Бейль рассказывал Виктору Гюго свою биографию.

— Вы знаете, что я родился в Нувелле — маленькой деревушке около Нарбонны, совсем на берегу моря. Мой отец был одним из беднейших рыбаков побережья. Каждый раз, возвращаясь с улова, он заставлял меня раздеваться и швырял меня за борт за несколько миль от берега. Пока он возился со снастями, я должен был плыть, бежать домой предупредить мать, чтобы она успела приготовить горячий обед. Так я сделался прекрасным пловцом. Рекрутский набор вырвал меня из семьи. В Нувеллу я вернулся в тысяча восемьсот шестнадцатом году...

Гюго с величайшей серьезностью и удивлением, не моргая, смотрел на Бейля. Спутники улыбались. Бейль продолжал с невозмутимым видом:

— Я сделался богачом после смерти моего дядюшки в Английской Индии, — это меня спасло, так как, не найдя никого из родных в живых, я очутился было в довольно печальном положении в Париже. В тот самый день, когда я узнал о своем богатстве, я прогуливался по берегу Сены около Иенского моста. Со стороны Марсова поля дул сильный ветер; Сена бурлила, как море. Я увидел на реке

лодку, нагруженную песком, которая тщетно старалась причалить к набережной Боном, и вдруг она опрокинулась. Лодочник стал кричать о помощи. Я шел по берегу и думал: «Мне сорок семь лет, в прошлом году у меня был ревматизм, я лежал в военной больнице, и ни одна собака обо мне не подумала. Стоит ли кидаться в воду, чтобы спасти этого человека? Нахал, прежде чем опускаться в воду, должен научиться плавать». Но человек продолжал кричать. Я спокойно отошел от берега. Те же крики. Я удвоил шаги. «Черт тебя побери, — думал я, — если я отойду, этот крик будет раздаваться в ушах всю жизнь. Но если я полезу в воду и вытащу этого дурака, кто навестит меня потом, когда я буду лежать в ревматизме и шесть недель тоскливо смотреть в потолок над кроватью? Нет, черт с ним, пускай тонет. Надо учиться плавать, прежде чем садиться в лодку». Сказав это себе, я без размышлений направился к военной школе. Крики затихли, и вдруг я ясно услышал у себя над ухом слова: «Лейтенант Луо, вы — подлец!»

— Но при чем же тут лейтенант Луо? — спросил Бальзак. — Ведь этот случай был с вами?

— Это безразлично, — ответил Бейль.

— Ну, и что же сделал лейтенант Луо? — спросил Гюго, зевая.

— «Да это, оказывается, серьезно», — сказал сам себе лейтенант Луо. Подбежал к берегу, мгновенно разделся, бросился в воду и вытащил тонувшего за ворот. На берегу я стал ругать себя за этот так называемый героизм. Растертый фланелью с водкой, но все еще дрожа от холода, я размышлял о предстоящих ревматических болях и думал: «В чем сущность моего поступка?» Господа, конечно, только в том, что я боялся собственного презрения. В этом все дело! Новое поколение людей не боится подлости, оно с легким сердцем будет плевать в лицо самому себе, прикрывая эти плевки красивыми фразами и софизмами. Разница совсем не в том, что один бросается в воду, чтобы показаться героем, другой — чтобы спасти богача и получить награду, третий — побуждаемый пошлостями вашей евангельской философии, обещающей за этот подвиг тепленькое местечко в раю, — разница в том, что человек следует не внешним побуждениям, а внутреннему добровольному стремлению сохранять верность собственному характеру. До свиданья, господа!

С этими словами Бейль вскочил на подножку проезжавшего мимо фиакра и уехал.

— Кажется, я читал случай с лейтенантом Луо на страницах «Конституционаля», — сказал Гюго. — Я никак не могу примирить двух впечатлений: человек, написавший «Расина и Шекспира», давший лучшую картину романтического театра, которому мы служим, и вдруг оказывается таким черствым материалистом, атеистом, человеком сухого сердца.

— Добавьте к этому: человеком блестящего ума и изумительного таланта жизни, — сказал Бальзак.

— А что, если вы поедете в Сен-Дени? — спросил Бейль у извозчика.

— Темно, сударь, и в предместье неблагополучно. Опасно ехать так далеко.

— Это значит, вы желаете взять дороже?

— Нет, сударь, газовые фонари кончаются за поворотом улицы, а прошлой ночью по дороге из Монморанси зарезали извозчика, отобрали его двухколесную кукушку и угнали с лошадью неизвестно куда. Дождитесь лучше омнибуса и в семь часов утра будете в аббатстве.

— Ну, вы приедете в шесть часов утра, какая разница! — сказал Бейль. — Я вам хорошо заплачу, у вас четырехколесный экипаж, а не кукушка, у вас пара лошадей, у меня есть пистолеты, — сказал Бейль, чтобы успокоить извозчика.

Тот согласился.

— С тех пор как я женился, я не выезжал из Парижа, — говорил словоохотливый извозчик, — а перед этим был форейтором у господина Кальяра. Все дилижансы скупает теперь господин Лаффит. Бонафус и Кальяр едва могут с ним конкурировать. У господина Лаффита двести пятьдесят экипажей с восьмерной упряжкой ходят во все концы Франции. Он получает чистыми одиннадцать миллионов франков в год. Тяжело мелкому извозчику: закупая части для двухсот экипажей, все-таки платишь за каждую часть дешевле, чем когда покупаешь для пяти экипажей, — вот и приходится закрываться. Да и то сказать, с того дня, как я потанцевал в Венсенской роще с Франсуазой, не тянет меня что-то на большую дорогу. Я купил вот эту пару лошадей на конюшне господ

Монморанси и езжу себе по Парижу. Брат Франсуазы — берейтор при гостинице «Белый конь». Вы, вероятно, брали там лошадей; все знатные особы любят кататься в Монморанси от каштановой рощи по Сен-Дениской равнине.

Бейль вспомнил о том, что вывеска на этой аристократической конюшне «Белого коня» написана знаменитым Жераром, его другом. Группа молодых людей, в перчатках, с хлыстами, в ботфортах и цветных костюмах, всегда толпилась около гостиницы «Белый конь». Щеголеватые берейторы лучшего предместья Парижа выхваляли своих лошадей. Красивые кровные животные, оседланные в английском вкусе, издали были видны на площадке, посыпанной яркожелтым песком. Кавалькады выезжали оттуда навстречу лучам вечернего солнца. В аббатстве Сен-Дени была усыпальница французских королей. Вечерами в каштановом лесу при свете кенкетов, прикрепленных к деревьям, молодежь танцевала до рассвета.

Когда Бейль въезжал на площадь Вифлеемских младенцев, уже наступало утро. Рынок оживал. Деревенские экипажи десятками тянулись к площади; бородатые крестьяне сидели в овощных повозках, молочницы с большими кувшинами, веселые и щебечущие, как утренние птицы, обгоняли в двуколках тяжеловесные экипажи овощников. Кое-где открывались мастерские ремесленников, на извозчичьих дворах мыли дилижансы, фавориты и дамбланши, гремя окованными колесами, проезжали длинные повозки мясников, ноги и головы телят свисали с повозок, кровоточа на мостовую. Еще час — и начнет оживать Латинский квартал, просыпающийся двумя часами раньше других парижских кварталов. В восемь часов студенты Медицинской школы и Сорбонны сидят уже в аудиториях. Только важные, степенные чиновники королевства, с большими, тяжелыми папками, дымя трубками, с видом министров идут по бульварам и улицам в десять часов.

Бейль остановился около небольшого сада, отпустил извозчика, вынул карандаш и записную книжку и стал писать. Писание чередовалось с прогулкой. Пройдя триста — четыреста шагов, он поворачивался, бросал взгляд на окно между двух деревьев, возвращался и снова отходил. Так прошло несколько часов, пока, наконец, штора не открылась. Бейль снял шляпу и поклонился широким

жестом, растягивая свое приветствие, чтобы оно было замечено. Фигура, появившаяся в окне, не выказала большого удивления, но покачала головой. Через четверть часа дама в белом платье, в широкой шляпе, с длинным зонтиком вышла из подъезда. Улыбаясь, она протянула руку Бейлю с веселостью и непринужденностью, говорившей о спокойном уме и полной свободе обращения.

— Вы опять хотите сделать занимательной мою утреннюю прогулку, — сказала она. — Благодарю. Но у вас такой усталый вид, как будто вы не спали ночь. Что с вами, друг мой?

Бейль рассказал ей предшествующий вечер. Когда дело дошло до повести лейтенанта Луо, она громко рассмеялась и сказала:

— Да ведь эту историю я читала в «Конституционале». Как вам не стыдно обворовывать бедного лейтенанта!

— Все дело в том, что «Конституциональ» напечатал мою статью. Правда, они страшно исказили ее, упразднив заглавие и выкинув мой протест против пятидесяти тысяч попов, управляющих Францией, в котором я противопоставляю мораль моего старого учителя, материалиста Гельвеция, морали христианского философа, Виктора Кузена. Но послушайте, дорогой Жюль...

— Помните, что я вам разрешила такое обращение только в письмах, — ответила собеседница. — Ну, что вы хотите сказать?

— Я хочу спросить вас: неужели вы можете подозревать меня в присвоении мелких статей?

— Мелких — нет, но я слышала, что вы крали целые книги.

— Что значит крал? Весь мир прекрасных явлений принадлежит мне, очевидно, так же, как и вам.

— Да, но я не намерена выпустить ваши «Прогулки по Риму» под своей фамилией, хотя «Прогулки» — тоже явление прекрасное.

— Но вы намерены читать мне нотации?

— Нет. Я восхищаюсь умелым вором, обнаружившим гораздо больше таланта, чем владелец краденых вещей. Я хочу только, чтобы между нами была полная откровенность. Теперь расскажите, как поживает ваш «Жюльен Сорель».

— Я решил переименовать роман. Я назвал его «Красное и черное», — пусть буржуа думают, что речь идет

о рулетке, о лотерее их счастья. Меня гораздо больше интересуют цветовые определения времени. Красный цвет вызывает очень много воспоминаний. Двадцать лет тому назад французы носили этот цвет, поглощавший все остальные. Сейчас наступила черная полоса французской истории.

— Я бы сказала — белая. Это цвет бурбонского герба, цвет королевских лилий; правительственная газета недаром называется «Белое знамя».

— Вы правы, конечно. Я воспользуюсь этим указанием. Но черный цвет духовенства и чиновничества есть настоящий цвет теперешнего общества.

— По крайней мере одной части этого общества. Делаю эту оговорку, мой друг, потому что... ну, буду говорить прямо. Вы должны знать, что в Париже сейчас неблагополучно, что провинции сильно волнуются. Вы знаете, как выросла городская нищета, вы знаете, что много недовольных и что открыто говорят о свержении династии. Есть часть общества, которую никак не может характеризовать черный цвет.

— Я очень рад, что вы это понимаете. Могло ли быть иначе — ваш отец был тесно связан с Наполеоном.

— Пониманием событий я обязана только моей наблюдательности. Меня главным образом интересует жизнь Франции за пределами салонов. Кстати, где вы последнее время бывали?

— Я очень давно был у Жерара, видел там поляков, бывшего русского министра князя Чарторийского с женой. Я пытался попасть к госпоже Рекамье, но она была больна или сказалась больною. Карета Шатобриана стояла внизу, в карете сидела госпожа Шатобриан, в то время как ее супруг, по уверению лакея, в течение часа сидел у госпожи Рекамье.

— Это похоже на Шатобриана. Если бы вы знали, до какой степени мне смешон этот бездарный писатель со своим «Гением христианства»! Ну хоть бы он оставил жену дома, вместо того чтобы держать ее в карете у подъезда в часы пребывания у престарелой христианской красавицы. Кстати, мой друг, Шатобриан приехал из Рима на короткий срок, нашел какие-то ваши проекты и очень мрачно о вас отзывался.

— Мы не питаем симпатии друг к другу. Он имеет право «мрачно отзываться».

— Послушайте, милый Бейль, если вы сегодня свободны, то сделаем небольшую прогулку. Я в вашем распоряжении, так как господин Готье уехал.

— Ваш муж очень милый человек, но уж если он уехал, то позвольте мне посидеть с вами в гостиной.

— Пожалуйста.

Бейль и Юдифь Готье вернулись.

— Ну, расскажите о Гюго, — сказала госпожа Готье, усаживаясь на кресло против маленького дивана, на котором сидел Бейль, слегка прислонившись к книжному шкафу.

— Меня немножко тревожит увлечение Мериме этим пустомелей Гюго. Не знаю, что может быть между ними общего. Я читал широковещательное предисловие к «Кромвелю». Это чудовищная смесь христианского вранья с извращениями самой хорошей романтики. Что такое драматургия Гюго? Два года тому назад приехали на парижскую сцену гастролеры, лучшие актеры мира — английские гости. Поставили пять шекспировских трагедий. Вот откуда Гюго. Слабая голова не выдержала крепкого алкоголя, и язык стал молоть всякий вздор.

— Говорят, все-таки он написал прекрасную пьесу, ее будут ставить во Французском театре. Что меня удивляет, так это ваше возмущение дружбой Мериме с Гюго. Вы упускаете из виду, что в дни вашей военной молодости у вас были такие же увлечения.

Бейль покачал головой.

— Не отрицайте, сейчас нет войн и нет ощущений военного молодого героизма. Литература заменила войну. Молодые соратники вступают в бой со старыми литературными понятиями, идут плечом к плечу, рука об руку и восхищаются друг другом. Дайте им восхищаться, ведь они оба моложе вас... на сколько?

— На два месяца, сударыня! Не слишком ли часто вы напоминаете, что мне сорок семь лет? Конечно, и Клара и Гюго в сравнении со мной мальчишки, но это не значит...

— Нет, это значит все. Вы должны быть снисходительны.

— Величайшее заблуждение! Снисходительным можно быть к школьнику, который не выучил урока, но человек, который напечатал книгу, не может взывать к снисхождению. Не печатай тогда вовсе и сиди дома, выстукивая на счетах доходы от фабрики или завода. В одном отноше-

нии вы правы — литературные бои будут, жаль только, что они начнутся вокруг такой глупой пьесы, как «Эрнани» — дешевой стряпни из «Двух веронцев» Шекспира.

— Я вижу, вы сегодня сердиты. Я еще больше вас рассержена. Я думаю, прав Бальзак, говоря, что с Италией случится то же, что с Францией. Общество меняет свое лицо. Францию нельзя узнать. Я даже не знаю, успеем ли мы измениться настолько, чтобы понять происходящее. Я не знаю, лучше ли понимают нынешнюю жизнь те, кто принимает в ней участие. Быть может, в некоторых отношениях она лучше открывается тем, кто стоит в стороне, если только такой человек действительно изучает жизнь. Я давно наблюдаю за вами, Бейль. У всех свои дела, свои будни, и только вы глазами неприкаянного человека следите за превращениями этого странного мира. Вас оскорбляет то, что исчез мир больших, общих дел. Скажу вам прямо: вы не нужны современному обществу. В Париже вас ценят за каламбуры, но бухгалтерская книга гораздо важнее ваших «Прогулок по Риму». Солнце, освещающее фабричные трубы и рабочую бедноту в Сент-Антуане, разве это не то самое солнце, которое заливало вечерним светом поля Аустерлица?

— Вы восхитительно говорите сегодня, Жюль. Вы абсолютно во всем правы. Вы самый очаровательный мудрец в юбке.

— Мое доброе чувство вы хотите обратить в смешное, я это заметила и в прошлый раз, когда мы проходили мимо кафе Велоцифера в Монморанси.

Бейль взял ее за руку.

— Вы должны простить мне эту насмешку, она никакого отношения не имеет к вам. Ваш дом — единственное место, где я чувствую себя совершенно свободным от мучительной раздражительности, к которой принуждают меня гостиные Парижа. Насмешка вызвана тем, что я боюсь утратить это свойство. Куда мне тогда деваться?

— Мой друг, вы довольно последовательны и никогда не забываете о себе.

— Вы меня просили быть откровенным.

— На этот раз я меньше, чем когда-либо, раскаиваюсь в своей просьбе. Расскажите мне, пожалуйста, о Кювье, что представляет собою его маленькая падчерица.

— Ах, Софи Дювоссель! Это очень милый человек, это прелестная девушка, умная, необычайно добрая, знающая дела и общественные связи каждого из нас, стремящаяся всем помочь и всем сделать приятное. Одним словом, тип тайной монахини, выполняющей обет в салонах.

— Опять я не пойму, смеетесь вы или говорите серьезно.

— Конечно, серьезно. Она живет в Ботаническом саду, и Мериме считает ее лучшим растением из всех опекаемых академиком Кювье. Кстати, великий ученый преобразил свое жилище — у него целый музей, приспособленный для работы. Я редко встречал человека, до такой степени организованного. Его дневная работа с шести часов утра расписана по часам. В каждом кабинете, соответствующем отдельной науке, собрано все необходимое для занятий на нынешний день, поставлен отдельный письменный стол, разложены начатые работы; в одном месте он — геолог, рядом — ботаник, потом — зоолог, минералог, потом — историк, исследователь человеческого общества. К вечеру он переходит в не менее интересный для него кабинет, где собираются его друзья, его гости. Там, после лекции в Сорбонне и после кипучей дневной работы, он является интереснейшим собеседником. Я думаю, у него один из лучших салонов Парижа. В последнее время я встречал там человека исключительного ума и огромных познаний, русского, я не помню его фамилии, знаю только, по рассказам Виргинии Ансло, что он ездит из города в город слушать знаменитейших ученых. Это довольно смешная скачка: выпрыгнуть из одного дилижанса, на ходу прослушать лекцию в Гейдельберге, потом сломя голову лететь в Веймар, оттуда — во Франкфурт, и так без конца. Кажется, в Париже он останется надолго. Это какой-то важный сановник русского царя. В Париже он сейчас занят устройством дел брата. Я вам расскажу потом о нем подробно. Кювье о нем очень высокого мнения, я тоже, так как он принадлежит к той группе русских, которые ненавидят рабство. Его брат оказался карбонарием и, как я слышал, приговорен к смерти. Берше указал мне на него в Чельтенгаме. Он стоял на берегу реки, скрестив руки на груди, высокий, холодный, сумрачный, и, повидимому, был погружен в свои мысли.

— Знаете, я очень не люблю русских и, кажется, никогда не смогу заинтересоваться их страной.

— Я также, — ответил Бейль. — Но этот человек привлекателен, как европеец, а судьба его брата сделала их обоих для меня интересными. Кстати, ваш брат в Политехнической школе?

— Что за скачки мыслей, Бейль? При чем тут Политехническая школа?

— Политехническая школа, сударыня, это место, где я учился и оттуда ушел в дижонскую армию Бонапарта. Меня волнует судьба Политехнической школы. Я знаю, что сейчас эта школа, учрежденная Конвентом, кипит и возмущается состоянием Франции. Меня интересует вопрос о том, не захочет ли правительство Карла Десятого, казнившее всех уцелевших членов Конвента, казнить и это детище Конвента. Говоря о русских заговорщиках, я подумал о судьбе студента Политехнической школы.

— Брат говорит, что если правительство не распускает Парижского политехникума, то только потому, что ничего не знает о его внутренней жизни, а не знает только потому, что вся школа живет, как один человек. Их никто не выдает.

— Но они готовят что-нибудь?

— Этого я не знаю.

— Скажите вашему брату, что у них ничего не выйдет. Карл Десятый вернулся из поездки в северные лагери веселый, довольный и улыбающийся, думая, что переодетые жандармы, кричавшие ему приветствия, и есть тот милый и добрый народ, который после бога любит больше всего короля. Сент-омерский лагерь мобилизован. Говорят о том, что старый иезуит, полупаралитик и идиот, князь Полиньяк, скоро будет призван из Лондона в Париж на пост министра. Вообще мы все больше и больше заходим в тупик; даже монархический салон Ансло, и тот переполнился доктринерами, говорящими о перемене династии. Появился какой-то Годфруа Кавеньяк, который, как говорят, организовал республиканскую партию.

— Бейль, скажите, а вы сами принадлежите к карбонаде?

— К французской карбонаде я не принадлежу. Я считаю ее скомпрометированной дураком Лафайетом и сенсимонистами с их нелепой системой. Вы знаете, до чего договорились ученики Сен-Симона — Базар и Анфантен? Они поделили весь мир на производительные

и непроизводительные группы. К первым они относят промышленников — индустриальных рыцарей, строящих новый мир, ко вторым — земельную аристократию и старое дворянство. Этот чудак Сен-Симон не хотел видеть, что промышленник думает только о наживе, а вовсе не о христианском преображении мира, и что существует гораздо более страшная вражда — вражда между продавцом рабочей силы и ее покупателем — промышленником.

— Да, я читала «Промышленный катехизис». В сущности это парадоксальная похвала буржуазии, это Христос за бухгалтерской конторкой, спасающий мир со счетами в руках.

— Чистая сказка в духе Гофмана. Кстати, читали вы этого фантаста?

— Читала. Не люблю. Скажите, правда ли, ваш доктор Корэф изображен Гофманом в какой-то сказке?

— Не в сказке, а в целом ряде повестей. Он один из «авторов»: он Винцент «Серапионовых братьев».

Бейль взглянул на собеседницу. Большие голубые глаза госпожи Готье смотрели мимо него в окно. Бейль, пользуясь этой рассеянностью, поспешно пробежал глазами по ее лицу. Совершенно чистое, без морщин, умное и очень живое лицо обрамляли темнорыжие волосы; губы оставались спокойными, даже когда она смеялась — тихо и почти беззвучно, только глаза ее загорались, как голубые льдинки, освещенные солнцем, и в голубых зрачках появлялись золотые точки.

Эта женщина чем-то напоминала Метильду, но без самоотверженной любви к Италии, без ее горячего атеизма, без ее необычайной полноты жизни, без обаятельных черт ломбардской красоты. Юдифь Готье была настоящая парижанка, но она была очень умна, была хорошим и верным другом и лучше, чем кто-нибудь, разбиралась в мыслях и чувствах писателя Стендаля. Между ними не было ни малейшего намека не только на любовь, но даже на увлечение; все же Бейль скучал, когда долго не видал ее. Г-жу Готье занимало это редкое проявление мужской дружбы, возможность вполне довериться мужскому благородству и полное понимание Бейлем ее женских свойств. Возникнув однажды, их отношения не прерывались; они шли очень ровно, медленно нарастая и постепенно превращаясь в чувство, необходимое, как воздух.

В пять часов вечера Бейль тщательно пытался найти газету. Очередной номер не принесли к нему на квартиру. Розничная продажа газет была запрещена. Газеты уже давно стали страшно дороги: помимо подписной платы, взимались штемпельные сборы по десяти сантимов и почтовые по пяти сантимов с экземпляра. Все четыре разрешенные парижские газеты выходили тиражом не больше сорока тысяч. Издатели газет были запуганы: ничтожная ошибка могла вызвать пропажу залога в двести тысяч франков.

Пришлось идти в неурочный час на улицу Рокипар, чтобы там, в кафе «Руан», достать очередной номер. Развернув маленькую газетку, Бейль понял, почему в омнибусе один военный советовал другому прочесть сегодняшний номер. Нынче ночью умер Дарю. Бейль уронил газету, вскочил из-за столика и, толкая входящих, ничего не видя перед собой, выбежал из кафе. Слезы бежали у него из глаз. Он не помнил сам, как оказался в восемьдесят первом номере на улице Гренель, как пожал руку плачущему слуге и обнял встреченного на лестнице Гаэтана Ганьона. Он стоял в переполненной комнате и чувствовал себя опозоренным и раздавленным в своих собственных глазах неблагодарностью к покойному кузену, который так много сделал для него в дни молодости.

Утром следующего дня пышный катафалк стоял около церкви Фомы Аквинского. Военные треуголки старого образца с плюмажем, словно бросая вызов гвардейцам Карла X, вдруг показались на паперти. Мезон, Журдан, Бассанский герцог, маршал Макдональд, старые боевые генералы Наполеона, как тени прошлого, могучие и огромные, с дерзкими лицами прошли через расступившуюся толпу. Академик Кювье, в сюртуке с высоким воротом, в черном галстуке, с орденской лентой, сидел в карете неподалеку. Старые гвардейцы Бонапарта, солдаты давно ушедшей Франции, инвалиды на костылях, безрукие, одноглазые, пришли отдать последний долг покойному маршалу. Бейль, в черном сюртуке, взволнованный и трясущийся от подступающих к горлу рыданий, еще раз чувствовал, что он хоронит свою молодость вместе с гробом человека, встречи с которым он сознательно избегал долгие годы. Звуки органа неслись из церкви. Кругом суровые лица, львиные головы, какой-то подбор представителей могучей, но вымирающей породы людей... «Еще одного

не стало!» — послышался голос. Бейль не выдержал и, потеряв всякое самообладание, закрыл лицо платком. Когда ему стало легче, он стал искать глазами всех милых когда-то сердцу обитателей Башвильского замка.

Ни графини, ни племянников Бейль не отыскал. Он встретился глазами с высоким человеком, привлекшим его внимание вьющимися кольцами волос, тонкими губами, холеным барским лицом и очень живыми глазами, и вдруг вспомнил фамилию этого русского, о котором он говорил Юдифи Готье: ведь это Александр Тургенев.

Глава сороковая

Четыре брата, выросшие в царствование Александра I на Волге, в симбирской Киндяковке, в семье опального масона Ивана Петровича Тургенева, образование получили в Германии и готовились к занятию первых должностей в России. С детства воспитанная ненависть к крепостному праву, блестящее образование, знакомство с европейской жизнью эпохи Наполеона сделали их непохожими на других. Младший брат, Николай, вступил в тайное общество, замышлявшее освобождение крестьян и ликвидацию самодержавия в России. В 1824 году он лечился за границей. Восстание на Сенатской площади застало его на пути из Италии на север. Весть о неудаче и самая мысль о военном заговоре в такой форме потрясли Николая Тургенева. Прибыв в Париж, он обратился за советом и помощью к Лафайету. В эти дни уже началось следствие. Лафайет посоветовал ему немедленно выехать в Англию, так как жандармы Священного союза могли схватить его в любом городе Франции и выдать Николаю I. В те дни, когда тайные агенты царя искали Тургенева на пути из Италии в Швейцарию, Тургенев ехал на север Британских островов, избегая Лондона и больших городов. «Монитер универсаль» печатал сообщение о петербургских делах в постановке верховного уголовного суда, который вынес смертный приговор Николаю Тургеневу. Тогда брат его Александр поспешил к нему с предупреждением. В Париже Александр и Сергей Тургеневы обдумывают средства помочь младшему брату. Сергей Тургенев не выдерживает горя, сходит с ума и вскоре умирает. Александр остается один. Он обращается к Ра-

зумовской, женщине, испытывавшей не мало несчастий и брошенной мужем, чтобы она по приезде в Англию повидалась с Николаем, так как самому Александру Тургеневу выезд из Франции не был разрешен. Тем временем царь потребовал у английского правительства выдачи Тургенева, но не получил ответа. Заступничество Лафайета и лондонских масонов в минуты колебаний английского министерства спасло Николая Тургенева. В невыдаче Тургенева Англией не было никакого великодушия, было лишь пассивное промедление и последующее забвение «маловажного случая». Лишь через год Александр Тургенев мог на короткий срок встретиться с братом Николаем в Чельтенгаме, где тот поселился. Но пронесся слух о выдаче Тургенева Николаю, и этот слух поразил его друзей — Жуковского, молодого Пушкина и Чаадаева. Пушкин из своей псковской ссылки писал в Ревель князю Вяземскому, прося его прекратить воспевание моря и красот природы, если Тургенев, преданный друзьями, выданный врагами, схвачен на изменническом корабле и морем отправлен к царю. И земля и море казались Пушкину предательскими стихиями:

В наш гнусный век
Седой Нептун — земли союзник,
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Тревога оказалась напрасной. Тургенев имел возможность укрыться и собраться с мыслями в Англии. Но брат его Александр с этого года находится в вечной тревоге: он устраивает материальные дела брата, своими письмами заменяет ему общество, высылает ему книги, подробно описывает день за днем интереснейшие явления европейской жизни. Снедаемый тоской и беспокойством, он постоянно стремится к перемене мест. В Париже произошла его встреча с Бейлем и Мериме. Он был ровесником Бейля и пережил его всего на три года. Оба холостяки, одинокие скитальцы, они, при всей разнице взглядов, имели некоторую общность воспоминаний. У одного были в памяти дни карбонарского движения в Италии, другой оплакивал лучших друзей, гремевших кандалами в Сибири, и судьбу двух несчастных братьев.

Александр Тургенев после свидания с братом приехал в Париж и начал хлопотать о Николае через Жуковского. В 1828 году он писал брату в Англию:

«Жуковский, получив письма мои (но еще не те, в коих я отвечал ему на его письма), вообразил себе, что его письма ко мне не доходят, и излил весь гнев свой в следующем письме от 4 декабря. Теперь, верно, он давно получил и ответы мои, хотя, конечно, пора бы было ему иметь их. Но, сколько я могу судить по числам, я, кажется, все письма от него получил. Он не знает этого и ни слова ни о чем, кроме самой почты и о графине. Удивительное дело! Ты только 12 ноября получил первое письмо мое. Итак, ты не получил многих. Не понимаю, что делается с письмами. Их читают: это само собою разумеется. Но те, которые их читают, должны бы по крайней мере исполнять с некоторою честностью плохое ремесло свое. Хотя бы они подумали, что если уже позволено им заглядывать в чужие тайны, то никак не позволено над ними ругаться, и что письма, хотя читанные, доставлять должно. Вот следствие этого проклятого шпионства, которое ни к чему вести не может. Доверенность публичная нарушена; то, за что в Англии казнят, в остальной Европе делается правительствами. А те, кои исполняют подобные законные беззаконья, на них не останавливаются, пренебрегают прочитанными письмами и часто оттого, что печать худо распечаталась, уничтожают важное письмо, от коего часто зависит судьба частного человека. И хотя была бы какая-нибудь выгода от такой безнравственности, обращенной в правило! Что могут узнать теперь из писем? Кто вверит себя почте? Что ж выиграли, разрушив святыню, веру и уважение к правительству? Это бесит! Как же хотят уважения к законам в частных людях, когда правители все беззаконное себе позволяют? Я уверен, что самый верный хранитель общественного порядка есть не полиция, не шпионство, а нравственность правительства. В той семье не будет беспорядка, где поведение родителей — образец нравственности; то же можно сказать и о правительстве и народах. Свободный и великодушный образ действий служит свидетельством и в то же время обеспечением власти. Меры, принимаемые для сохранения спокойствия, бывают почти всегда настоящею причиною беспорядков; вместо умиротворения они тревожат. Но куда я забрался с почтою? Все это для тех, кои рассудят за благо прочитать это письмо».

Прочтя это письмо, Николай Тургенев покачал головой и сделал на нем пометку против слов «за что в Англии казнят, в остальной Европе делается правительствами».

Маццини, упоминаемый Тургеневым, был молодой карбонарий, возивший секретные документы Конфалоньери из Милана в Турин в дни Пьемонтского восстания в 1821 году. Конфалоньери приглашал Карла Альберта перейти границу, прогнать австрийцев из Ломбардии и сделать так, чтобы Италия из «географического понятия» превратилась в живую и единую страну. Как известно, кариньянский принц Карл Альберт, бывший лжекарбонарием, выдал движение. Миланская революция погибла. В те годы, когда шла переписка между братьями Тургеневыми, Маццини сидел в савойской тюрьме. Но итальянская молодежь читала его письма. Во Флоренции гражданин Вьессе устроил общественную читальню, в которой среди книг прятались письма Маццини.

В это же время в Лугано типографские наборщики тайком набирали написанные невидимыми чернилами на хлопчатой бумаге записи Сильвио Пеллико.

Александр Тургенев избрал для жительства Париж, как наиболее удобное место для хлопот за брата. Лондон был неудобен из-за трудности сношений с Россией. Париж Карла X не внушал больших опасений Николаю I. Парижские салоны тогдашнего времени привлекали русскую знать. Там легче всего было создать впечатление малой виновности Николая Тургенева.

В Париже жил другой декабрист, Яков Николаевич Толстой, который давал секретные показания, разрушавшие оправдательные показания Николая Тургенева. Показания Якова Толстого никому не были известны и потому тем более опасны. А. И. Тургенев, считая Якова Толстого товарищем по несчастью, решил увидеться с ним и, не зная о его предательстве, предложить ему защищаться общими силами. С тяжелым чувством в душе А. И. Тургенев приехал в Париж. В письмах он все время уверял брата в благополучном исходе дела, стремясь обмануть таким образом тайных читателей корреспонденции из Парижа в Лондон. Он даже дневнику не доверяет всецело. Лишь изредка рисунок ромба мелькнет на страницах, как доказательство тайных свиданий с безыменными друзьями, братьями масонской ложи.

А. И. Тургенев — брату Николаю.

«17 августа 1829 года, письмо 21-е. Вечер. Rue des Boucheries, St. Honoré, Grand hôtel de Normandie[1], № 6. Вчера в час пополудни приехал сюда. Во всю дорогу от Брюсселя сюда шел дождь, и Лафитовы дилижансы не так-то покойны, когда все места заняты. В заднем кузове сидело нас шесть человек, но сверх того два ребенка. — Я проехал Монс еще в Бельгии, а затем границу, на которой нас осматривали, вскрывали все чемоданы, один мой забыли; женщин женщина ощупывала — все и везде; отъехав несколько миль, был другой осмотр и в самом Париже третий».

Дневник А. И. Тургенева.

«Приехал в Париж через заставу Villete[2]. Был у Гизо, который объяснил мне положение Франции и состояние партий. У Девена. 17 августа плакал над гробом Сережи. 12 сентября. Был на похоронах Дарю в церкви Фомы Аквинского, видел Мэзона, Журдана, Макдональда, Бассанского герцога, Кювье сидел в карете.

Лафайет путешествует по Франции, всюду напоминая революцию.

20 сентября. Встретил у Кювье адвоката Сеттена Шарпа, коего знавал в Лондоне.

26 сентября. Вечер у Кювье. С Корэфом, с Бюшоном — издателем хроник, с *Mery...m...? — автором «Клары Газуль»*. Кювье показывал череп Декарта, подаренный ему шведским химиком Берцелем.

30 сентября. Вечер с Корэфом у Жерара — автора картины из времен борьбы с гугенотами «Въезд Генриха VI в Париж в 1574 г.».

А. И. Тургенев — брату Николаю.

«9 ноября получил твой номер 28-й. Прочитав его в саду Тюльери, я встретил там лондонского Лабенского и спросил его, какой из романов, не переведенных на русский язык, лучший и новейший. Он указал мне на «Хронику Карла IX». *Mérimée — его приятеля,* с коим я третьего дня разговаривал у Кювье. Обещал завтра же через французское и через английское посольства отправить в

---

[1] Улица Бушери, Сент-Оноре, гостиница «Нормандия» *(франц.)*.
[2] Вийе.

Лондон два небольшие пакета. Я не удовольствовался его советом и пошел к молодой Гизо, и она рекомендовала Мериме «Карла», как наилучший, назвав еще «La mort d'Henri III» — scénes historiques par Vitet[1]. Так как оба по одной части, то оба и посылаю».

Дневник А. И. Тургенева.

«9 ноября. Получил от брата из Чельтенгама № 28. Я отвечал ему № 32 через Лабенского (лондонского[2]). Посылаю брату два пакета — в одном двенадцатая часть «Истории» Карамзина и поэма Пушкина[3], а в другом «Chronique du temps de Charles IX» par Mérimée и «La mort d'Henri III» par Vitet[4]. Вечер у Свечиной. Подписался на журнал «Universel»[5], он вообще *белого цвета,* т. е. в духе правительства.

20 ноября. Мадам Рекамье просила зайти в неприемный день для какой-то политической конфиденции.

Был у Корэфа.

27 ноября. Гр. Нессельроде пригласила к Свечиной для переговоров о деле. Был и показывал письмо Толстого, замечания брата о тайных обществах в его журнале. Обещала уведомить через Свечину. Матусевич повез сегодня мои письма и книги. Вечер у Свечиной. Разговор у камина о России. Дювоссель».

А. И. Тургенев был у Якова Толстого. Без обиняков попросил его показать, какие сведения сообщил он о себе в следственную комиссию. Яков Толстой долго рылся, находил все не то, что искал, наконец, достал черновик. Волнуясь и не глядя в глаза Александру Тургеневу, показал. Документ незначительный. Простое указание, что не Тургенев, а Семенов ввел Якова Толстого в тайное общество. «И то хорошо», — подумал Александр Тургенев. В это время из бумажки, сложенной вчетверо, выпал клочок бумаги, который Яков Толстой торопливо поднял. Когда он выпрямился, лицо его было красно, глаза

---

[1] Вите «Смерть Генриха III», исторические сцены *(франц.).*

[2] Брат русского консула в Париже. *(Примеч. автора.)*

[3] «Полтава». *(Примеч. автора.)*

[4] «Хроника времен Карла IX» Мериме и «Смерть Генриха III» Вите *(франц.).*

[5] «Всеобъемлющий» («Всеобщий») *(франц.).*

потемнели. Казалось, наклонение головы сопровождалось для него невыносимым напряжением. А. И. Тургенев протянул руку к выпавшему клочку. Яков Толстой, как бы не замечая этого движения, положил на этот листок большую книгу, потом с небрежным видом спросил у Тургенева денег. Тургенев не дал.

Живя в Париже на положении эмигранта, Яков Толстой стремился вернуть себе расположение царского правительства. Он писал патриотические опровержения на книги, брошюры и газетные статьи, невыгодно говорившие о России. Он написал брошюру о книге Ансло «Шесть месяцев в России», использовав появление этой брошюры как повод для выражения своих патриотических чувств.

Николай Тургенев написал царю Николаю Романову записку о том, что он не считает себя виновным в деле 14 декабря, так как уже за год перед тем он не был в России, и что он не считает себя виновным и лично против Николая I, так как не ожидал видеть на престоле этого великого князя. Все дело находилось у Жуковского.

А. И. Тургенев усердно вчитывался в книжку Кампера, доказывающего, что северное восстание 14 декабря 1825 года было осуществлением большого общего карбонарского плана.

Н. И. Тургенев писал большую докладную записку о своих взглядах на переустройство России и о тайных обществах. Брат Александр подыскивал французского юриста, который взялся бы оформить эту записку в официальный документ. Молодой Мериме предложил А. И. Тургеневу свои услуги в качестве переписчика и юриста. Но Тургенев, *боясь политических взглядов Проспера Мериме,* обратился к юристу Ренуару, который и ведет это дело в дальнейшем.

Дневные досуги А. И. Тургенев расходует на лекции в Сорбонне, слушая Кювье и Гизо. Дневные досуги Бейля уходят на лихорадочную работу над романом «Красное и черное». Он ходит по бульварам и предместьям Парижа, обдумывая судьбу своего героя, который не может найти в жизни места, способного принять его энергию. Направить эту энергию в сторону церкви и дворянской реакции кажется ему отвратительным, превратить Жюльена в механизм предпринимательской наживы не менее отврати-

тельно. Конечно, Жюльен отказывается от предложения лесопромышленника Фукэ стать пайщиком лесной торговли. Два класса общества, земельная аристократия и городские промышленники, стоят друг против друга, стремясь превратить парламент в арену налоговых стычек при полном безмолвии настоящей живой Франции. Что делать в таком случае человеку, вышедшему из крестьянской среды или из среды городской бедноты? Вот Жюльен на вершине своей славы, втянутый в аристократическую интригу, он имеет возможность поступить на военную службу. Это происходит в те дни, когда три тысячи эмигрантов получили лучшие должности в государстве, столкнув заслуженных деятелей революции и старых сподвижников Бонапарта. Еще семь тысяч кандидатов ждут своей очереди. Для них построены полки и батальоны королевских лейб-гвардейцев. Шесть тысяч никуда не годных людей составили эту лейб-гвардию. Она обходится Франции в двадцать один миллион ежегодно. Жюльен вступил в драгунский полк. С кем он будет воевать? Куда пойдут французские войска?

Только через год история ответила на этот вопрос. Книга Бейля вышла раньше, а еще раньше его герой роковым образом погиб, оказавшись одиночкой в поле под выстрелами враждующих классов.

Бейль чувствовал утомление, дописывая последнюю главу романа. А. И. Тургенев чувствовал утомление, дописывая последние слова защиты младшего брата. Оба встречались вечерами и, не делясь друг с другом впечатлениями утренней работы, забывали усталость среди легкомысленных, но остроумных собеседников.

А. И. Тургенев — брату Николаю.

«29 ноября. Полночь. Сегодня познакомился в церкви с русской дамой, вдовою Наумова, которого я когда-то знавал у Щербатовых. Дочь у ней премилая, а мать понравилась мне тем, что первый вопрос ее мне был о тебе, хотя она тебя знает только по слуху. Потом с лишком три часа сидел у кн. Гагариной и переговорил о многом. К ней пришел один русский, *Соболевский,* побочный сын Соймонова и приятель Вяземского. Он при мне сказывал княгине Г-ой (говоря о Вяземском), что он жил в Пензе, собирая свои сочинения и желая их издать, с тем чтобы

по издании было чем съездить в Англию и пожить с Н. И. Тургеневым. Это меня очень тронуло, и я намерен за то послать ему европейские книги».

Дневник А. И. Тургенева.

«11 декабря. Получил от Толстого еще пятьсот франков, всего девятьсот, осталось на нем тысяча сто франков. 19 декабря. Отправил к брату № 40. Слушал лекцию Гизо. К вечеру представил Соболевского Кювье и слушал Bell-Stendhal, Mérimée и других. Видел медаль на переделку камеры депутатов — единственный памятник министерству Лабурдонэ».

А. И. Тургенев — брату Николаю.

«№ 41-й. Париж, декабрь, 20, 1829. Воскресенье. Вчера отправил тебе по почте № 40-й и был на лекции у Гизо, который продолжал объяснять средние века и сравнивать Францию и Германию в их политических и гражданских элементах того времени, из натуры и собственных общин возникших. Забыл о лекции Кювье и не пошел к нему, ввечеру возил к нему Соболевского и засиделся с его приятелями за полночь: обыкновенно говорун Стендаль — автор описания Рима и Флоренции и прогулок по разным странам Европы, острый и иногда оригинальный, и поэт Мериме остаются после чаю, и вчера сам Кювье был очень забавен — чем же? — анекдотами о революции».

Кювье, зная о занятиях Проспера Мериме в архивах, обратился к нему с просьбой найти письмо Робеспьера, написанное накануне казни. Вечером 20 декабря 1829 года Мериме доставил Кювье это письмо. Перед приходом А. И. Тургенева Кювье с восторгом показывал это письмо своим гостям до тех пор, пока Мериме не показал на свет водяного знака 1829 года на лионской бумаге. Письмо было написано рукою Проспера Мериме, но так хорошо, что даже великий знаток автографов, Кювье, принял его за подлинное.

Вечер прошел в анекдотах о революции.

Александру Ивановичу Тургеневу удалось внушить целому ряду русских, проживающих в Париже, мысль о полной непричастности брата Николая к тайным обществам России. К числу этих людей принадлежала Софья

Петровна Свечина, державшая в Париже католический салон, ученица Жозефа де Местра, последовательная иезуитка, экзальтированная женщина, занимавшаяся делами благотворительности. Она приходилась теткой молодому Сергею Соболевскому, другу Пушкина, приехавшему в Париж в первый раз 25 ноября 1829 года и сразу ставшему на короткую ногу с литературным кружком, собиравшимся на улице Жубер, у Виргинии Ансло. Интерес ко всему русскому, характеризовавший Проспера Мериме в течение всей его жизни, и некоторое сродство характеров привело к тому, что сверстники и холостяки сдружились между собою. Соболевский и Мериме родились оба в 1803 году; Бейль и Тургенев оба родились в 1783 году. По-разному относясь друг к другу, они в течение 1829 и 1830 годов встречаются у Ансло, Жерара, Рекамье и Кювье. Французские писатели нашли в русских дилетантах и книголюбах не только читателей, но почитателей и собеседников. Соболевский своим литературным вкусом, прекрасным знанием всех европейских языков, блестящей способностью писать эпиграммы на любом языке, не довольствуясь простым успехом, пускал пыль в глаза, строя из себя русского вельможу. Единственная страсть, которой он отдавался до потери сознания, это была библиофилия: во время заграничных поездок он собрал одну из замечательнейших библиотек России. А. И. Тургенев, бывший старше Соболевского на двадцать лет, относился к нему так же покровительственно, как и к Пушкину, но с меньшей близостью. Большая часть времени А. И. Тургенева уходила на дела брата, все свои досуги он посвящал лекциям и понемногу входил в круг работ, которые впоследствии сильно и серьезно его увлекли: он собирал документы, грамоты и другие первоисточники, относящиеся к дипломатической истории России. В те дни, которые описаны им в дневнике, он с волнением ждал от близкого ко двору поэта Жуковского вестей о пересмотре приговора. Окончательное решение ему еще не было известно. Николай I сказал Жуковскому: «Если Тургенев считает себя невиновным, пусть приезжает и доверится милосердию монарха». Давно возвращенный из ссылки Сперанский, когда-то либерально настроенный, руководил работой верховного уголовного суда. Он был негласным

организатором всего следственного процесса декабристов. Но история только много позже узнала об этом.

А. И. Тургенев — брату Николаю.

«Париж, 14 февраля 1830 г. № 51. Воскресенье. От Рекамье поехал к Свечиной, от ней к Жерару; сам он болен, но жена принимает гостей, и тут нашел я Мериме, которого называют вторым Вольтером, а я Клингером — по печальной философии безбожия и насмешек: он автор «Клары Газуль» и прочего. О нем сказал бы другой Пушкин:

И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

В сенях Жерара он предлагает мне билет для «Гэрнани», который представится в четверг в 3 часа 19 февраля. Завтра опишу встречу мою с поэтом Гуго и получасовой разговор. Тут видел и Ансло и Бера и любезничал с женой Бера, а Мериме просил достать билет на первое представление, в субботу, новой трагедии Гуго «Гэрнани», о которой давно уже пишут все журналы, и более четырех месяцев, как уже все места розданы приятелям автора. Сказывают, что партии классиков и романтиков собираются свистать и аплодировать новое произведение начальника последних».

«№ 53. Париж. 1830 г. Февр. 24. 3-й час за полночь. Я отправил к тебе сегодня или вернее вчера № 52 и опять провел день, полный жизни, начав его чтением журналов и в церкви St. Thomas d'Aquin[1] на погребении молодой девушки и кончив сейчас у живописца Жерара. Гизо спрашивал о тебе. От него прошел я к кн. Щерб. Напился чаю, поболтал о моих грехах и в полночь с Соболевским пустился к Жерару, где нашел многочисленное и интересное общество. Усевшись с женою Ансло, за которой начинаю волочиться, с *Мериме и с его приятелем Белем* (иначе Стендаль), я загляделся на милое, красивое, хотя и не прекрасное личико — это была актриса Малибран — соперница Зонтагши, которая восхищает Париж игрою и голосом. Ее уговорили на пение, и она спела несколько прелестных итальяно-испанских арий и увлекла за собой старуху певицу Грассини, которая дряхлым голосом, но все еще с прежнею методою пропела

[1] Святой Фома Аквинский *(франц.)*.

после Малибран, а наконец и обе вместе пели из Россини. В промежутке Мериме и Стендаль рассказывали m-me Ансло похабные анекдоты, похабные до такой степени, что я и тебе не смею пересказывать их; она слушала, заставляла повторять, а я хохотал, как сумасшедший, и жал ручку исподтишка у кокетки, любезной, но уже несколько подержанной. Она звала меня к себе по вторникам. Муж ее — любезный и умный малый — собирает весельчаков авторов на вторничных вечеринках, где языку Мериме, Беля и им подобных воля неограниченная.

С химиком Тенаром, у коего жена красавица, попедантствовал о платине и о трех умерших англичанах-химиках и выслушал две пьесы m-lle Gay [1] и тут нашел ее опять с матерью, которую Малибран и хозяйка уговаривали прочесть «Ses adieux à Rôme» [2], и что-то еще, где больше поэзии, но есть и слишком невинные признания и странные желания: «Je voudrais veillir pour aimer» [3]. Я шепнул мадам Ансло совсем другое, и опять начались наши похабные разговоры и кончились у камина анекдотами Жерара о Муре, коего он видел здесь у Орлеанского и не мог надивиться его блаженству от присутствия за столом у принца крови.

Жомара я проспал, иначе мог бы пополнить вечер и академико-географической беседой.

4-й час утра. Пора дочитать «Националь» и спать. Завтра разбудят меня письмом твоим. Мериме сказывал мне, что сегодня и вчера Тьерс — издатель «Националя» и историк революции — был с Минье у Шатобриана и волновался на статью в «Дебатах». Как будто бы Шатобриан не был участником в издании журнала, но Шатобриан хотел с ним поважничать, тогда Тьерс принял иной тон в разговоре — важный — и с достоинством отвечал Шатобриану, который спустил своего тона несколько, желая умаслить оскорбленных журналистов. Но учтивость не помогла, и Тьерс расстался с Шатобрианом хоть и с наружной холодностью и учтивостью, но почти с враждой в сердце. Что-то будет из сего междоусобия в оппозиции. «Дебаты» оправдываются и другими, например Гизо, тем, что они должны были поддерживать белый

[1] Мадемуазель Гей *(франц.)*.

[2] Ее прощание с Римом *(франц.)*.

[3] Я хотел бы не спать всю ночь, чтобы наслаждаться любовью *(франц.)*.

цвет свой, т. е. преданность монархии, но монархии конституционной.

А «Националь» заговаривает о смене династии».

«Париж, 1 марта 1830 г.

Господину Жюль. Сен-Дени.

У меня вы можете найти владетельную особу. Эта владетельная особа весьма ревнива, так как ей попались на глаза строчки одного из ваших милых писем. Я болен и чувствую себя слабым. Ни шампанское, ни тем более «Эрнани» не способны поддержать мои силы. Буду у вас в воскресенье, а вернее всего силы позволят прийти к вам только в понедельник. Я вижу, что вы становитесь моим врагом, подозревая во мне свойство бумажного колпака. Я принял столько опия, что мой мозг превратился в вату, но в этих облаках из ваты вы витаете, как королева.

Dimanche»[1].

Это письмо еще не высохло, когда Бейль услышал торопливые шаги и осторожный стук в дверь. Вошел граф Пасторэ. Бейль снял повязку со лба и, щуря больные глаза, рассматривал вошедшего. Пасторэ старался держаться с изящной непринужденностью, но во всем чувствовалась напряженность и борьба с внутренним смущением. Его глаза бегали, и он никак не хотел смотреть на Бейля прямо. Увидя размашистую подпись «Dimanche», Пасторэ испуганно перевел глаза на портрет Байрона, висевший на стене.

— Ты, кажется, никогда не вставал так рано, — сказал Бейль.

— Я, видишь ли, к тебе по небольшому делу...

Бейль смотрел на Пасторэ и вспоминал о нем слова Виргинии Ансло: «Это человек, у колыбели которого были в гостях все феи с добрыми дарами, а одна, явившись незваной, сделала все добрые дары идущими во зло». «Все есть в этом человеке, — думал Бейль. — Он красив, он умен, он полон самых добрых намерений, и, однако, редко кто может вызывать такое отвращение, как он. Он очень похож на своего отца, дворянина, шедшего

---

[1] Воскресенье. *(Примеч. автора.)*

в генеральные штаты депутатом третьего сословия. О нем Мирабо сказал однажды, когда тот входил на депутатскую скамью: «Вот смотрите, это Пасторэ. В нем голодный тигр и сытый теленок уживаются мирно. К счастью, у него телячий ум». Однако и Наполеон и Бурбоны не отказывались от его услуг. Он передал своему сыну это уменье приспособляться ко всем правительствам. В конце концов Пасторэ-сын — это типичный французский дворянин, в отличие от первых рядов этого сословия, боящийся смерти. Презирая буржуазию, он трепещет перед ней. Будучи монархистом, он тем не менее боится любого королевского жандарма, подозревающего его в либерализме».

Молчание длилось довольно долго. Бейль, думая о Пасторэ, словно игнорировал его присутствие. Пасторэ, казалось, испытывал борьбу противоречивых чувств, пытаясь принять какое-то отчаянное решение. Наконец, он заговорил прерывающимся голосом, маскируя свое волнение кашлем:

— Ты, конечно, знаешь, что мне иногда поручают неприятные дела. Префект парижской полиции, господин Манжен, довольно тяжелый человек, — с ним говорить невозможно.

«Ого, это, кажется, серьезно, — подумал Бейль, — если дело дошло до Манжена. Бедный Пасторэ!»

— Милый Пасторэ, ты же знаешь прекрасно, что я не бываю в тех местах, где бывает Манжен, и как я могу помочь такой могущественной особе, как ты?

Пасторэ вдруг овладел собою; все его волнение исчезло, и он с достоинством произнес:

— В данном случае речь идет о том, чтобы ты сумел принять предлагаемую мною помощь, а вовсе не о том, чтобы ты утруждал себя помощью мне.

Тут стал волноваться Бейль.

— Известно ли тебе это письмо? — Пасторэ протянул Бейлю большой лист темносиней бумаги, сложенный вчетверо. Бейль прочел:

«Париж, 6 декабря 1827 г.

Господину Сеттену Шарпу.

Вот, мой дорогой друг, к чему сводится сущность нашего политического положения. Заранее прошу извинить меня за ту горечь, которой проникнуто это письмо. Я не

могу найти других, более выразительных слов для того, чтобы сохранить ясность и безусловную точность. Большинство из тех, кто пишет, стремясь нарисовать моральную и политическую картину нынешней Франции, стараются дать общее заключение весьма резкими чертами. Что касается меня, то я полагаю гораздо более поучительным и во всяком случае более интересным для вас, как для читателя, дать характеристику в пределах возможного. Однако, так как рассказ, перегруженный большим количеством подробностей, необходимых для полной обрисовки физиономии событий и состояний, занимает слишком много места, я удовольствуюсь сообщением вам наиболее примечательных фактов и указанием на тот документ, в котором вы можете найти все подробности.

Вот главнейшие черты, характеризующие нынешнее положение Франции, и те обстоятельства, которые, несомненно, будут иметь огромнейшее влияние прежде всего на самую Францию, а потом, через нее, и на всю Европу. Ибо война всех народов объявлена всеми монархами ради того, чтобы завоевать народоправство. Часть в этой войне падает на долю Франции, следовательно, мысли и чувства Парижа будут иметь решающее значение для Европы.

Король не способен связать двух мыслей. Старый развратник, истрепанный грехами бурной молодости, не чуждый подлости и склонный идти даже на крупное мошенничество, без остатка предан ультрамонархическим принципам, насквозь пропитан самым искренним презрением ко всем, в ком не течет кровь придворных аристократов. Он лишь по нужде должен низко пресмыкаться перед остальной массой населения из страха, который он не умеет скрыть. Три четверти своего дня он тратит на то, чтобы поправить в самом себе результаты этой трусости. Лично он не злой человек и совсем лишен того лицемерия, которое было характерной чертой его покойного брата. В той мере, в какой Карл X — трус, он разыгрывает что-то вроде верности конституционной хартии, внешне являясь сторонником правосудия.

Наследный принц — совершенный неуч, круглый невежда, но бравый малый, бравый до героизма, если принять во внимание, что он до тридцати шести лет жил в кругу своего маленького двора, состоявшего из самых тупоголовых скотов Европы, главное занятие которых

было клеветать на французский народ и закидывать грязью революцию. Этот принц весьма рассудителен, его уважение к господам Порталь и Ров достойно отметки. Его правление, если когда-либо он будет царствовать, будет такого цвета, который определяет политику правого центра. Он будет твердо держаться присяги, если он ее даст. С этой точки зрения верность религиозной клятве может сослужить некоторую службу Франции. Он не замешан пока ни в каких скандалах, но, к несчастью, дрожит перед отцом. Твердость его убеждений характеризуют также слова и дела его супруги: «Гордостью жены является воинственность мужа».

К несчастью, у нее очень узкий кругозор, она не может видеть двух вещей сразу, главнейшую черту в вещах и событиях она не в состоянии заметить сама, надо, чтобы кто-то обратил на эту черту ее взоры, но и тогда еще она не сразу может охватить мыслью то, что замечено глазами. Наконец, когда она увидела и поняла, то все это держится в ее голове крепко. Она больше всего сожалеет о том, что нынешнее высшее дворянство так обнищало и умом и мужеством, что королю все время приходится прибегать к третьему сословию. Она не может забыть, как один благородный дворянин отказался командовать фортом, откровенно заявив ей, что ему «не хочется становиться слишком близко к противнику».

Герцог Орлеанский — человек тонкий, довольно скупой, обладает основательным запасом рассудка. Его правление как регента в малолетство герцога Бордоского было бы цветом левого центра. Он настолько удалился от крайних монархистов Сен-Жерменского предместья, что его еще и теперь зовут якобинцем. Его мысли тяготеют к английской группе умеренных вигов. Он любит дворянство, но имеет склонность и к третьему сословию. Его характеризует вкус к политической системе двух партий на одном коромысле. Он хочет покачаться между белым и голубым.

Итог: все, кто имеет время для размышления во Франции и владеет четырехтысячной рентой в провинции или шеститысячной в Париже, сейчас стоят на точке зрения этого левого центра.

Желают осуществления хартии без толчков, желают медленного и верного движения к благополучию, желают, чтобы правительство как можно меньше вмешивалось

в торговлю, промышленность и сельское хозяйство, чтобы оно не выходило из рамок судейской работы и ловли воров по большим дорогам.

Огромное большинство людей, о которых я говорю, в настоящее время мечтает о каком-нибудь Людовике XIX и смотрит на правление Карла X, как на тяжелую кару. В конце концов ждут, что Карл X будет нарушителем хартии в ту минуту, как перестанет ее бояться. Он сносит все эксцессы, совершаемые попами. Люди, о которых я говорю, считают, что министр Виллель имеет единственную заботу — сохранение за собой должности. Они даже склонны думать, что при Карле X Виллель лучше всякого, кто может его сменить, так как этот преемник будет, несомненно, ставленником иезуитской интриги.

Что касается крестьянства и мелкого люда городов, то все они ждут плодов революции. Все они твердо знают, что их партия выиграла, и окончательно выиграла. С 1895 года будущее — за ними. Что касается буржуазных либералов, о которых я вам сейчас говорил, то, когда они подумывают о вооружении простонародья, крестьяне и горожане начинают считать этих либералов сумасшедшими: «Они что-то затевают, эти сволочи», — говорят крестьяне, которым буржуазия силится внушить доверие. «Они что-то затевают, — говорят крестьяне, подвыпив после обеда в воскресенье, — но придет когда-нибудь денечек, и мы их перестреляем...»

Пасторэ пыхтел, словно в комнате было слишком жарко. Если Бейль не волновался, то это объяснялось только действием опия, принятого накануне. Он был взволнован за сутки перед тем. Переодетый, под чужим именем, он виделся в загородной харчевне со студентом Политехнической школы Годфруа Каваньяком. Все его существо было потрясено планами и намерениями молодежи. Контраст впечатлений, полученных в харчевне Сент-Антуанского предместья, с тем, что он слышал в парижских салонах, был настолько поразительным, что он не мог заснуть. Он считал восстание неизбежным, но обреченным на неудачу. Он сравнивал настроения Годфруа Каваньяка со своими школьными настроениями в Гренобле. Тогда революция шла могучей волной, ломающей все перегородки. Но то было тридцать лет тому назад.

Тридцать лет тому назад, в 1799 году, Бейль приехал в Париж студентом Политехнической школы. Теперь за столиком харчевни перед ним сидел такой же студент, исполненный надежд, верящий в жизнь, думающий, что будет жить вечно, и стремящийся завоевать этот мир, в котором он вместе с такими же горячими головами будет обладателем земного счастья. Кавеньяк с восторгом говорил о французской республике *гражданину Диманшу.*

Так именовался Бейль в тех случаях, когда не желал быть узнанным. Эта таинственность вызывала шутки Мериме, говорившего: «Никогда не знаешь, где бывает Бейль, с кем он видается, кому пишет, у кого ночует». «Мериме — человек другого поколения, он многого не может понять и потому знать не должен, — думал Бейль. — Пусть он, родившись в четыре часа пополудни, считает, что вечер есть вечное время мира». Бейль, имеющий опыт двадцатилетнего старшинства и знающий утро Франции, может спокойно относиться к ее вечерней окраске, к ее закату.

— Не понимаю, какое все это имеет ко мне отношение, — сказал Бейль, не возвращая, однако, письма.

— Ты хочешь сказать, что письмо без подписи, — поправил Пасторэ, протягивая руку за письмом.

— Да, в самом деле без подписи, — обрадовался Бейль.

Он снова развернул письмо, посмотрел, потом опять сложил и, как бы по рассеянности, засунул его под жилет.

Пасторэ взглянул на письменный стол.

— Вот ты подписываешься вместо фамилии днем недели. Ты знаешь, конечно, что существует масонская организация «Времена года». Там каждые шесть членов называются днями недели, начиная с Понедельника. Начальник их — Воскресенье. Четыре семерки или четыре недели составляют месяц. Начальник месяца называется, положим, Июлем. Каждые три месяца образуют время года; их начальник именуется Весной. Четыре времени года, то есть триста пятьдесят два человека, — уже батальон, во главе которого стоит Исполнитель. Дальше наступает революция.

Бейль встал и, хмурясь, спросил:

— Какое отношение имеет ко мне весь этот вздор?

— Конечно, никакого. Только ты подписываешься *Воскресенье,* — может быть, ты начальник семерки?

— Ну, прочти, пожалуйста, все это письмо. Как видишь, оно адресовано женщине и не касается политики.

— Какая же это женщина? Это какой-то Жюль, живущий под Парижем.

— Ах да, в самом деле, — сказал Бейль, и краска ударила ему в лицо. — Пасторэ, объясни, пожалуйста, что все это значит? Откуда у тебя это письмо?

— Знаешь ли, Бейль, я боюсь, я испытываю физический страх перед событиями. Могу тебе сказать, что Полиньяка вызывают из Лондона. Он будет министром. Все летит к черту, иезуитская конгрегация станет на место Палаты депутатов. Наши дворяне совершенно слепы. К королю вечерами выходят не те, кто может оказать услугу монархии, а те, у кого самая древняя дворянская фамилия, хотя бы это были набитые дураки. Король думает о молитве, о видениях, о чудесах. Во дворце все в каком-то бреду, даже австрийский посол, господин Аппоньи, монархист, и тот сказал на днях: «Это Мильтонов рай безумных; их состояние всякому постороннему глазу кажется жутким и жалким, но они тонут в своем бредовом блаженстве и чувствуют себя превосходно». Понимаешь, Бейль, выхода нет: эти обреченные люди с блаженной улыбкой, как слепые, заносят ногу над пропастью. Я не хочу проваливаться с ними. Скажи, что будет завтра? Когда я прочел твое письмо, я понял, что ты один можешь рассказать, в чем дело. Я не знаю, как будет происходить то, что в истории называется переменой.

Пасторэ боялся вторично произнести слово «революция». Бейль смотрел на этого жалкого и запуганного человека. Сейчас он был совсем не красив: лицо приняло землистый оттенок, голос звучал глухо.

— Я не понимаю, как же к тебе попало это письмо?

— Да этот лондонский адвокат Сеттен Шарп уронил его на балу у Траси. Госпожа Лавенель принесла его префекту полиции, а я сразу узнал твой почерк. Они долго будут ломать голову, выдумывая способ, как обойтись без прямого вопроса к английскому адвокату о том, кто автор этого письма.

— Лавенель, эта сука?! Она не может пропустить ни одного гренадера без того, чтобы у нее глаза не загорелись, как у голодной собаки. Какое она имеет отношение

к префекту: ведь Манжен тощ, как спица? Зачем он ей нужен?

— Ты ничего не знаешь: и сама Лавенель и ее муж состоят на полицейской службе.

— Не может быть! Я часто встречал Лавенеля у Траси. Он не отходил от Лафайета. Ведь сам Лавенель старый террорист девяносто третьего года, он ловил каждое слово Лафайета. Я недавно слышал пламенную речь Лавенеля о великой американской демократии. Как он превозносит Нью-Йорк и американскую республику!

— Он за это получает большие деньги. Так вот, повидайся с Шарпом и скажи, чтобы он назвал имя какого-нибудь умершего француза. Согласись сам, что если он скажет, что автором письма является Бейль, то этому Бейлю несдобровать. Найдутся свидетели, которые подтвердят, что ты атеист. За это *теперь* по головке не погладят. В целом ряде южных городов городская магистратура сменена только потому, что чиновники были лютеране и кальвинисты.

— Да это какая-то война гугенотам! Недостает, чтобы повторилась Варфоломеевская ночь.

— Боюсь, что она повторится, — сказал Пасторэ. — Я слышал недавно, как Манжен ясно сказал: «Буржуазия побоится вооружить рабочих, а сама не посмеет пикнуть».

— Да, но ты забыл, что когда король распустил Национальную гвардию, то гвардейцы разошлись по домам, не сдавши оружия.

— Но что будет, Бейль, что будет? Научи меня, как быть. Ты знаешь, эта старая лисица Талейран собирается купить имение в Швейцарии, это очень плохой признак!

При виде входящего Бейля Сеттен Шарп снял с себя салфетку и отослал парикмахера, затем весело обратился к Бейлю:

— Когда люди приходят так рано к адвокату, это значит, что у него начинается практика. Садитесь, кто вас обидел?

— Перестаньте шутить, дорогой мой. Я прошу у вас защиты против рассеянного человека, предающего друзей в руки бульварной проститутки.

— Дорогой Бейль, по-моему, вам нужно обратиться к доктору. У вас плохой вид, и если вы действительно

побывали, ну, скажем, в руках названной вами особы, то последствия может ликвидировать медицинская, а не юридическая наука. Хотите кофе?

— Нет, благодарю вас.

— Ну, виски-сода?

— Пожалуйста.

Выпив глоток, Бейль молча протянул Сеттену Шарпу измятое синее письмо. Тот взял письмо в левую руку, — пальцы правой бегали по столу, отыскивая большие золотые очки, — потом спокойно развернул его и спокойно прочел, как будто в первый раз, от начала до конца.

— Замечательно верно, — сказал он. — Что ни слово, то золото. Все дело в том, что вместо Людовика Девятнадцатого Ангулемского вы будете иметь не нынче-завтра Людовика Филиппа Орлеанского, вот этого самого, — сказал он, постукивая перстнем по письму, — вот этого самого тонкого шельмеца, о котором пишет мой корреспондент. Ну, так как же? Почему ваш английский друг должен превратиться в вашего адвоката в Париже?

— Дело в том, что это письмо побывало уже в полиции, — сказал Бейль.

— Боже мой! Как я боюсь вашей полиции! Наплевать мне на вашу полицию!

— Да, но я не хочу, чтобы она наплевала на меня, — сказал Бейль.

— То есть, вернее, вы не хотите, чтобы она наплевала на это письмо. Да ведь оно же не подписано.

— Все дело в том, что вы его потеряли там, где знают почерк автора.

— Простите, пожалуйста, я его не терял — я показал его господину Лавенелю...

Бейль встал, поставил стакан виски на стол и отступил несколько шагов.

— Что? — спросил он.

— Ну да. Лавенель — либерал, человек моих взглядов, широкий по уму и с очень интересным прошлым.

— Но с очень неинтересным настоящим, смею вас уверить. И вы сказали, что это письмо мое?

Тут встал адвокат. Большой, широкоплечий, он уставился угрюмыми глазами на Бейля и сказал:

— Вы, кажется, окончательно считаете меня болваном. Простите, но я имею шестнадцать секретарей, из

них два должны постоянно жить в Париже по моим делам и осведомлять меня о французских делах ради моих коммерческих клиентов, не стесняясь в выражениях. Один из этих двух умер в прошлом году. Я сказал, что это письмо написано моим покойным секретарем, французом, сыном английского подданного. Его фамилия Патуйе, его отец эмигрировал в Лондон в тысяча семьсот девяностом году. О чем вы беспокоитесь?

Бейль был очень недоволен собой.

— Я, кажется, испортил вам дружбу с Лавенелем, — сказал он.

— Нисколько, — ответил Шарп. — Несуществующие вещи удобны тем, что их нельзя портить.

А. И. Тургенев — брату Николаю.

«12 марта. Полночь. Сейчас возвратился из театра «De la porte St. Martin»[1], где был в ложе Ансло и видел сперва незначащую пьесу «Les 10 Francs»[2], а потом «Ni-Ni»[3] — пародия на «Гэрнани». Были сцены очень смешные, и пародия стихов надутых — очень удачная. Смеялись от сердца, и никакой заговор друзей Гуго не в силах был бы удержать нас от смеха, особливо в пародии известного монолога, так как кто видел «Гэрнани», вряд ли в другой раз увидит трагедию без смеха, потому что не только пьеса, но и актеры пародированы, и, несмотря на прелесть искусства m-lle Марс, соперница ее в пародии напоминает ее самым смешным образом, так что и на m-lle Марс, особливо в минуту ее борения со смертью, смотреть уже нельзя будет, как после Потье нельзя читать Гетева «Вертера». Успех был тем несомненнее, что все приятели Гуго откомандированы к «Гэрнани», которого сегодня, кажется, в десятый раз давали во Французском театре, где уж начинает свистать оппозиция, а рукоплескания заглушаются смехом классиков. Вызывали автора, и актер объявил трех сочинителей одной пародии.

После «Нини» давали «L'homme du monde»[4], мелодраму самого Ансло, которую за два года видел в

---

[1] Театр «Сен-Мартен» *(франц.)*.
[2] 10 франков *(франц.)*.
[3] «Ни-Ни» *(франц.)*.
[4] «Светский человек» *(франц.)*.

Одеоне. Я сидел между автором и женою его. На беду мою, и Соболевский и автор ушли за кулисы, и я остался один на один с женою на виду у Шуваловых. Начались полудекларации, полуконфиденции, и она открыла мне за тайну, что муж ее живет с прекрасною актрисою, которая играет главную роль в его пьесе, что он ей об этом не сказывал, ибо открывает свои шашни обыкновенно после смены одной на другую, но что она всегда угадывает по его словам об актрисе, которая в его милости. И в самом деле, едва возвратился муж из-за кулис, постучавшись прежде в дверь нашу, как начал нам хвалить актрису обиняками, а жена щипать меня в доказательство истины насчет мужа. Эта сцена продолжалась еще в карете, куда мы засели, когда было уже за полночь, я опоздал к чаю у Сверчковой и с пустым желудком должен ночь спать, пролюбезничав время чая и болтовни моей. Поутру я был там же, у Ансло. Она умна, но отцветает уже прелестями».

Соболевский и Проспер Мериме фланировали по Парижу. Мериме, снова занимавшийся славянскими балладами, только что прочел Соболевскому поэму «Умирающий гайдук». Соболевский произносил ее по-русски, и Мериме с жадностью ловил звуки незнакомого языка. Потом, взяв фиакр, разъезжали по Парижу без цели, проводя время в пустой болтовне. На улице Кокильер остановились перед огромной вывеской, сделанной масляными красками, с человеческими фигурами в натуральную величину: девушка на коленях простирает руки к женщине, которая держит на плечах амура. Надпись во всю длину вывески: «A la déesse de l'amour» [1].

— Не хотите ли воспользоваться? — сказал Мериме, указывая на дверь, надпись на которой говорила, что здесь помещается посредническая контора для лиц обоего пола, желающих вступить в законный брак. Соболевский засмеялся и указал Просперу Мериме на другую сторону улицы: не меньшая по размерам вывеска, исполненная талантливым художником школы живописи, изображала женщину, поднявшую глаза к небу с видом умиления; руками она поддерживала передник,

[1] «Богине любви» *(франц.)*.

чтобы принять летящего с облаков младенца. Внизу — фамилия повивальной бабки.

— Не хотите ли воспользоваться? — сказал Соболевский Мериме.

— Нет, спасибо, мои небеса безоблачны, — ответил тот.

Соболевский жадно набрасывался на карикатурные листки «Шаривари», с любопытством останавливался перед витриной с королевским портретом, сделанным из колбас. Вместе с Мериме ездил к парикмахеру, чтобы сделать себе бакенбарды à la jeune France [1].

Вчетвером, вместе с Тургеневым и Бейлем, обедали в Пале-Рояле у Шере. Мериме рассказал о механизме парижской литературной славы. Так называемый Comité de lecture за деньги выпускает рецензии и напоминания во всех журналах и газетах, в силу чего авторы пошлостей — Мортонваль, Диножур, Рикар — пользуются огромным успехом, в то время как Альфред де Мюссе и Теофиль Готье, не платящие налогов на рецензии, упорно замалчиваются печатью.

От Шере опять фланировали по Парижу, останавливаясь перед витринами кашемировых и бархатных жилетов, перекидываясь словечками с продавщицами белых чулок, заходя в книжные магазины. А когда наступил вечер и газовые фонари освещали жарко горящие витрины ювелиров, ехали в кабаре «Au pauvre diable» [2] близ Уркского канала. Там, остановившись около вывески, изображающей вдребезги пьяного полицейского агента за столом среди кучеров и извозчиков, пожимающего руки двум бандитам, в то время как уличный гамен крадет у него с головы парик, все четверо обсуждают серьезно и внимательно, заказать ли им луковый суп с красным вином или какое-нибудь еще более дикое кушанье.

Соболевский вынимает из кармана листок «Шаривари» и пишет заказ карандашом через карикатуру, изображающую, как Талейран посвящает Тьера в доктринеры. Тьер, в виде младенца с обезьяньим лицом, в огромных очках, завернут в листы «Journal de Débats» [3],

---

[1] В стиле молодой Франции *(франц.)*.
[2] У бедного дьявола *(франц.)*.
[3] Газета «Дебаты» *(франц.)*.

а Талейран, как восприемник, с важностью возлагает левую руку ему на голову.

— Доктринеры хотят доказать, что монархия, хотя бы конституционная, а еще лучше парламентская, необходима Франции. Они боятся республики, — говорил Бейль, глядя на карикатуру, — но все дело в том, что им нужен монарх, послушный их собственной группе. Я не верю в широкое революционное движение, так как основной массе населения глубоко безразлично, будет ли формироваться министерство из дворян, закрепощающих деревню, или из промышленников, закрепощающих город.

— Какой же выход, по-вашему? — спросил Соболевский.

— Я не вижу пока выхода. Очевидно, правительство Карла Десятого разольет озлобление по стране более широкой волной, и тогда возможна любая катастрофа. У меня такое впечатление, что Карла Десятого нарочно кто-то толкает на крайности абсолютизма, для того чтобы ускорить развязку, а в Тюильри до такой степени все ослепли, что, забыв о революции, занимаются истреблением друг друга и надеются на чудеса.

— В век паровых машин чудеса не обольщают даже провинции, — сказал Соболевский.

— А вы, кажется, тоже интересуетесь паровыми машинами, Сергей Александрович? — спросил Тургенев.

— Да, Александр Иванович, замыслил я нечто такое, от чего голова идет кругом. Поеду в Манчестер, в Ливерпуль, изучу тамошнее бумагопрядильное паровое дело и постараюсь в России понаделать паровых фабрик.

— Вот вы как широко шагаете — захотели в индустриальное дворянство? — спросил Тургенев.

— Даже для того, чтобы узнать, о чем они говорят, я с наслаждением изучил бы русский язык, — сказал Мериме.

— Это не так трудно сделать, — улыбнувшись, ответил Тургенев и перевел ему свой разговор с Соболевским.

— Вам не жаль будет расстаться со своей независимостью? — спросил Бейль.

Соболевский вопросительно посмотрел на него.

— Я хочу сказать, — ответил Бейль на его молчаливый вопрос, — что, ставя себя в положение работодателя, вы тем самым вступаете в противоречие с огромной группой людей новой породы; если фабрика неизбежно

портит им жизнь, то она же наложит неизгладимую печать на ваш характер.

— Каким образом? — спросил Соболевский. — Разве нельзя остаться самим собой?

— На том пути, который вы избираете, это невозможно, — ответил Бейль. — Жизнь заставит вас сделать логические выводы, противоречащие вашей воле. Иначе вы разоритесь.

— Уж не потому ли, ваш Сорель отказался принять предложение лесопромышленника Фуке? — спросил Мериме.

— Ах, вы уже читали эту главу в «Литературном журнале»? — спросил Бейль.

— Да, я внимательно прочитываю каждый номер, в котором есть главы «Красного и черного». Жизнь в вашем изображении страшна и ужасна.

Бейль пожал плечами.

— Попытайтесь ее переделать. Я не нахожу иного выхода для моего героя. Если б он был постарше, он научился бы выть по-волчьи, живя с волками, но я хотел отделаться от неотступно следовавшего за мной молодого человека, я описал его; теперь он меня не терзает. Одно время он меня пленял и мучил, особенно, — тут Бейль засмеялся, — особенно, когда я видел моего героя в среде семинаристов, будущих пастырей церкви, голодных и завистливых парней, которые готовы написать донос с обвинением в ереси на всякого, у кого на тарелке за обедом окажется лишняя сосиска с кислой капустой. Вот вам тип нынешнего среднего человека. Я боюсь, что молодежь не простит мне этого места, я боюсь, что буржуа не простят мне Реналя, а дворяне не простят мне моих Каилюсов и Круазнуа; я боюсь, что зарежут мой роман. Я уже получил два предупреждения от редакции с указанием на необходимость изменить конец романа и выбросить речь Жюльена, обращенную к присяжным.

— Я считаю героя вашего романа частным случаем проявления духа мятежного беспокойства, охватившего нынешние умы, — сказал Тургенев Бейлю.

— Да, но это вполне обоснованное беспокойство и обусловленный нашим временем мятеж, — возразил Бейль.

— Я думаю, что мятежные характеры встречались во все времена, но они умиротворяются истинной гуманностью, — пробовал возражать Тургенев.

Бейль вскинулся:

— И это говорите вы, человек, произнесший знаменитую фразу о том, что в Париже занимательность ума обратно пропорциональна богатству обладателя!

— Вы, кажется, говорите не об уме, а о характере, — сказал Тургенев.

— Я придерживаюсь воззрений Гельвеция, убежденного в интеллектуальном равенстве людей. Я хочу сказать, что логика обязательна для всех, но характер, воля, поведение зависят от чисто материальных причин.

— Никогда не могу согласиться с вами, — возразил Тургенев.

— Господа, а красное вино-то вы пьете? — вмешался Соболевский.

Пили вино, разговаривали, наблюдали за приходящими в кабаре посетителями в шарфах и синих блузах, усталыми, с горящими измученными глазами. Две молодых женщины затеяли перебранку. В ответ на нее из соседней комнаты раздалось пение ремесленников:

Qui a composé la chanson?
C'est la sincérité de Maçon,
Mangeant le foie de quatre chiens dévorants,
Tranchant la tête d'un aspirant,
Et sur la tête de ce capon
Grava son nom d'honnête Compagnon[1].

— Что это? — спросил Тургенев. — Знаете, я в первый раз в таком учреждении и не все понимаю.

Понизив голос, Бейль сказал:

— Значительная часть рабочих во Франции образовали ремесленные союзы, не признанные законом. Это своего рода кассы взаимной помощи, так называемые devoirs. Но существуют более значительные объединения по цеховым признакам — это так называемые компаньонажи. Девуары часто враждуют между собою. Вы слышите, поется о четырех собаках — это соседние девуары или компаньонажи, которые ненавидят друг друга.

Пение в соседней комнате перешло в крик, начались ожесточенные споры.

---

[1] Простосердечие Каменщика сложило эту песню в ту минуту, когда он вгрызся в печенки четырех прожорливых псов и, проломив череп домогавшемуся, на голове убитого мерзавца вырезал свое имя, имя честного Товарища. *(Примеч. автора.)*

— Я всем расскажу, куда вы девали оружие национальных гвардейцев! — кричал старый рабочий.

Другой синеблузник удерживал его и старался успокоить.

— Пойдем, дядя Жозеф, пойдем, — говорил он.

Но старый рабочий, обращаясь к певшему, продолжал кричать:

— Я не знаю, что вы готовите, но мы, старики, этого не допустим!

Тургенев быстро встал. Соболевский поспешно расплатился за всех. Бейль спокойно смотрел на них. Обращаясь к Тургеневу, он спросил:

— Скажите, что случилось на лекции Лерминье?

А. И. Тургенев, думая только о том, чтобы как можно скорей уйти от разгорающейся ссоры, рассеянно ответил:

— Лерминье на лекциях первые три раза либеральничал и снискал рукоплескания молодежи, а в последний раз произнес речь в защиту правительства, и студенты обступили его с угрозами. Он принужден был под крики и шум уйти с кафедры.

Глаза Бейля смеялись.

— И, кажется, не через дверь? — спросил он.

Пробираясь к двери и не понимая сначала вопроса, Тургенев кивнул головой, потом, уже за дверями трактира, ответил Бейлю:

— Да, и ему и мне пришлось прыгнуть в окно первого этажа. У студентов было такое настроение, что они могли сделать лектору большую неприятность.

— Не везет вам в Париже сегодня! — сказал Бейль.

Тургенев сделал вид, что не расслышал.

Входя в полосу тротуаров, освещенных газовыми фонарями, путники услышали тяжелый грохот колес. Ехала артиллерийская батарея с быстротой, допустимой только на лучших участках парижской мостовой. Огромные лафетные дышла с железным концом торчали перед лошадиными мордами. Все четверо остановились, выжидая, когда представится возможность перейти через дорогу. Бейль обратил внимание на молодого человека и молодую девушку, шедших под руку. У юноши был настолько счастливый, беспечный вид, девушка казалась такой веселой, что оба они невольно привлекали внимание. Юноша рванулся с тротуара, чтобы проскользнуть между орудиями, и в мгновение ока был убит ударом дышла.

Тургенев содрогнулся и перекрестился. Девушка стояла на тротуаре, заломив руки, не будучи в состоянии произнести ни слова.

— Какая ужасная смерть! — произнес Тургенев. — На все воля всевышнего!

Бейль пристально смотрел на него недобрыми и холодными глазами.

— Единственно, что извиняет всевышнего, — это то, что он не существует, — сказал он. — Не понимаю, как можно, обладая логикой, прощать вашему всевышнему тысячи таких бессмысленных смертей!

Наступило неловкое молчание. Весело проведенный день, закончившийся тяжелым зрелищем, вдруг показался утомительным. Не выискивая никаких предлогов, все четверо расстались на перекрестке и, словно сговорившись, пошли по четырем разным направлениям.

Бейль думал о том, что революционная вспышка неизбежна, и вспоминал слова парижского губернатора Мармона о том, что сейчас всякое восстание в Париже будет подавлено в течение нескольких часов.

Мериме чувствовал себя обессиленным борьбой противоречивых чувств: любовью к Лакост и стремлением бежать от нее. Вместе с тем удушье парижских будней и тяжелый дурман католицизма, отравляющий умы французов, все настоятельнее требовали внесения в жизнь какой-нибудь перемены. Этой переменой мог быть только отъезд из Парижа. Бейль дал правильную оценку чувству ревности, всегда сопровождающему размышления Мериме о Лакост. Бейль писал ему: «Эта ревность есть простая неуверенность в собственном чувстве. Если так, то надо не давать болезни разгореться. Уезжайте в Италию».

Посещение галереи маршала Сульта, ограбившего Испанию во времена позорного подавления испанской революции французскими войсками, навело Мериме на мысль о поездке в Испанию.

«Надо сделать это, пока не прожиты деньги, надо во-время уехать из Парижа, пока не разразилась политическая буря, пока моя собственная буря еще не слишком удалила меня от берега», — думал про себя Мериме.

Дневник А. И. Тургенева.

«7 июня. Мадам Ансло приглашает на прощальный вечер с Мериме.

8 июня. Слушали лекцию Кювье об истории химии до Лавуазье. В Германии были первые химики; даже и здесь немцы распространяли химические познания. У двора химики-медики. Гонения по подозрению в отравлениях. Был у Валерии за билетами в библиотеку. Обедал в «Salon des étrangers»[1]. Вечер у Потоцкой. У Ансло ужин в честь Мериме. Разговор о путешествии в Гишпанию».

А. И. Тургенев — брату Николаю.

«9 июня, Париж, № 20. Обедал в «Salon des étrangers».

Там встретил Груши, которой был дипломатом в Гишпании, а теперь назначен секретарем посольства в Штокгольм. Он мне очень нравится и все расспрашивает о тебе с живым участием. Он дал мне охоту заглянуть в Гишпанию из Пиреней. И Мериме, коего отъезд в Гишпанию вчера праздновали мы у Ансло, приглашает меня, но боюсь жары и полиции. Впрочем, до Барселоны можно и с одним паспортом французского пограничного префекта добраться. Я кончил вечер у Ансло. Это был прощальный для Мериме. Там от него слышал я, что политика австрийская изменилась в отношении к мнению о состоянии Франции и о политике внутренней здешнего кабинета. Сказывают, что Меттерних объявил разгневанно в Вене, что правительство губит себя, что Австрия никогда не думала, что должно волновать так умы для поддержания и утверждения королевской власти. То же граф Лансдорф объявил в Берлине прусскому министерству. Сказывают, что этот отзыв очень подействовал. Но Полиньяк все надеется на помощь свыше, ибо он, уверяют, почитает себя вдохновенным и недавно объявил это одной из родственниц своих, которая высказала опасение за монархию».

Соболевский, заложив руки за спину, расхаживал с инженером Кеннеди по верхней галерее над машинными установками Манчестерской хлопчатобумажной паровой фабрики.

---

[1] Салон для иностранцев (*франц.*).

В этот же день в Чельтенгаме Н. И. Тургенев читал письмо, написанное братом в Париже 18 мая 1830 года:

«Полночь. Сейчас, возвратившись домой, нашел я приписку в записке от Свечиной, в пакете коей присланы были письма от Жуковского и Вяземского, и с плеч, или лучше с души моей, как гора свалилась, и я спокоен: *ты не поедешь в Россию.* Письмо привез Матусевич. Вот копия письма Жуковского: *22 апреля. Брат ни под каким видом ездить не должен».*

29 июня в половине восьмого вечера Тургенев садился на улице Булуа в дилижанс, чтобы через Орлеан пробраться в Пиренеи.

Проспер Мериме в это время ехал в дилижансе из страны басков в Мадрид, беседуя со случайным попутчиком, графом Монтихо, который рассказывал о том, как русская пуля во время боя на высотах Монмартра в 1814 году пробила ему глаз, и это обстоятельство заставило его всегда носить черную повязку.

В Мадриде Мериме был хорошо принят семьею Монтихо. Он подружился со старшим поколением и оказывал покровительство младшему. Две девочки Монтихо, Евгения и Пака, были предметом его забот. Мериме уговаривал англичанку Фоулер не наказывать пятилетнюю Евгению и шестилетнюю Пакиту за детские шалости. Впоследствии Евгения Монтихо, ставшая императрицей Франции, сделала Проспера Мериме сенатором и так несчастливо связала его судьбу с судьбой Второй империи.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава сорок первая

Ровно через месяц, 29 июля 1830 года, Бейль возвращался извилистыми переулками, проходя через корявые и горбатые мосты, из Сент-Антуанского предместья по улице Ришелье, мимо дома № 71. Артиллерийский бой затихал, но выстрелы слышались и в восточной и в западной частях Парижа. Это длилось третий день. Сегодня уже было ясно, что отмена диких распоряжений, «внушенных королю Карлу и министру Полиньяку самой богородицей», не поможет. Династия пала. Всюду рвали в клочья белые флаги с лилиями Бурбонов, на баррикадах развевались красные знамена, но вместе с тем появился и третий цвет: на баррикаде Сент-Антуана заколыхалось черное знамя с надписью: «Жить, работая, или умереть в бою». Это мрачное знамя с трагической надписью было ответом на черную реакцию последних лет — на голод десятков тысяч рабочих, закрытие фабрик и заводов.

27 июля 1830 года к типографии на улице Ришелье подошел отряд во главе с полицейским комиссаром, имевший задание сломать типографские машины. Манжен, префект полиции, уверял, что роспуск Палаты депутатов не вызовет массового волнения. Он был прав. Рабочим не было никакого дела до расширения избирательных привилегий в среде полутораста — двухсот тысяч французских предпринимателей.

Основной массе французского населения не было никакого дела до того, чем кончится налоговая война,

объявленная буржуазией, сидевшей в Палате, аристократам, сидевшим на скамьях пэров. Но когда стали ломать печатные станки, только что выпустившие прокламации о королевском произволе, возмущение охватило Политехническую школу, затем фабрики и заводы. Десять тысяч студентов и рабочих высыпали на улицу. Загремели ломы о камни мостовой. Коляски, омнибусы, винные бочки, кровати, двери магазинов, уличные столбы и тумбы, великолепные деревья бульваров — все пошло в дело. Вырастали баррикады, чтобы конница, налетевшая на толпу, остановилась и сразу отпрянула под выстрелами инсургентов. У губернатора Мармона была армия в четырнадцать тысяч. Ни конница, ни артиллерия не могли повернуться в Париже. Полки и батальоны отказывались стрелять, тем не менее по Парижу гудел набат; восток был охвачен заревом, и Карл X, играя в вист на балконе в Сен-Клу, не без тревоги спрашивал Полиньяка: «Что все это значит?» Полиньяк отвечал: «Вспышка, простой бунт. Это скоро кончится». Но *это* не кончалось. Бои разгорались. На улицы вылились роты, батальоны и полки старой Национальной гвардии. Старые гвардейцы, достав с чердаков и из укладок помятые мундиры и нацепив трехцветные кокарды, так знакомые Парижу 1793 года, появились всюду с ружьями, пистолетами, саблями и трехцветными знаменами. Движением нужно было руководить. Второй день оно носило стихийный характер. Годфруа Кавеньяк в рабочих кварталах призывал к республике. Депутаты буржуазии собрались у банкира Лаффита, и, не зная, как быть, составляли вялые воззвания без подписи.

Лаффит смеялся: «Если синяя блуза победит, сколько среди вас будет охотников объявить свою подпись; если она будет поражена, вы чисты, никто не запачкал чернилами бумагу». Не растерялся Тьер. Он выпустил громовую листовку за своей подписью. Ее мысль сводилась к следующему: «За провозглашение республики нас растерзает Европа. Карл X пролил народную кровь. Он не может вернуться на престол. Да здравствует власть герцога Орлеанского!»

— Как, неужели мы боролись за то, чтобы вместо дворянского короля посадить короля буржуазии? — кричал Годфруа Кавеньяк.

— Да, вы боролись за это, — отвечал Лафайет, стоявший во главе Национальной гвардии. — Луи Филипп — лучшая из республик.

Так совершилось это предательство. Движение революционной массы было сведено к защите интересов буржуазной верхушки. Депутаты, боявшиеся подписаться под актом низложения Карла X, теперь не испугались выступить против той самой массы, движением которой они воспользовались. Приехавший в Париж пятидесятисемилетний Луи Филипп держался очень скромно. Он пожелал видеть Лафайета, скромно прося аудиенции у своего командира. Луи Филипп был назван королевским наместником. Он вежливо извинился перед Карлом X за то, что занял его место, и обещал ему всяческую помощь. Потом позвал к себе своих друзей-генералов и сказал: «Поезжайте, припугните старика, пусть уезжает на все четыре стороны». Карл уехал. Собравшиеся в Париже банкиры предложили Луи Филиппу в точности соблюдать хартию и договорились о том, что тридцатилетние граждане, платящие не меньше двухсот франков налога, могут участвовать в выборах Палаты. Если Карл X хлопотал о привилегиях восьмидесяти тысяч дворян-землевладельцев, то его преемник продал свободу Франции ради выгод двухсот тысяч крупнейших фабрикантов и торговцев.

Мы оставили Бейля среди улицы, в раздумье перед потухающим пожаром вспоминающим московские зрелища 1812 года. В течение двух дней он не выходил из дому, с того момента, как ночью увидел огромные каменные плиты мостовой, сложенные в виде заграждения до карниза второго этажа. 29-го числа, выйдя рано утром и неоднократно попадая в поле обстрела, он с ужасом убедился, что не может вернуться прежней дорогой. Набат и стрельба не затихали, но артиллерийская канонада кончилась. Пушки не достигали цели, они лишь портили дома на узких и кривых улицах Парижа и зачастую избирали мишенью свои собственные воинские части.

Стоя в раздумье, не зная, что предпринять, Бейль увидел человека, идущего разбитой походкой, с самым горестным видом. Старичок с острой бородкой, в синей

блузе, с огромным пистолетом в руке конвоировал идущего. Проходя мимо Бейля, этот измученный человек остановился.

— Марест, куда вас ведут? — спросил Бейль, узнавая своего друга.

Тот встрепенулся и вздрогнул.

— Я просил проводить меня домой. Я боюсь идти один.

Бейль присоединился.

Старому рабочему было поручено командиром баррикады отвести гражданина Мареста домой, снабдив его всеми пропусками.

— Я все-таки думаю, дорогой барон, что вы чувствуете себя плохо, — сказал Бейль.

— Напротив, превосходно, — разозлившись, сказал Марест. — Вы знаете, где сейчас главный бой?

— Я ничего не знаю, — ответил Бейль. — Скажу вам только одно: я убедился в невероятной, героической стойкости безработного Парижа и в подлости всех ваших Лаффитов.

— Они столько же ваши, — ответил Марест. — Но вы знаете, что сейчас происходит? Мармон потерял около трех тысяч человек, версальское подкрепление пришло голодным и умирающим от жажды. Весь восток Парижа полностью в руках восставших. Но и на западе, на левом берегу, у Пале-Рояля, почти у самого Дворца инвалидов, два полка перешли на сторону революции. Да, да, дорогой мой, это революция, а не бунт. Наши милые парижане с крыши Сен-Жермен Оксеруа открыли жаркую пальбу по швейцарским стрелкам, скрывающимся за колоннадой королевского дворца. Все стекла выбиты. Колонны утыканы пулями, как гвоздями. Мармон заперт во дворце, и знаете, что я слышал? С крыши Сен-Жерменского собора сошел Мериме и, видя плохого стрелка, схватил у него ружье, прицелился и убил швейцарца у самых дверей Тюильри. Когда инсургент сказал, что он дарит ему ружье как прекрасному стрелку, Мериме отказался и вежливо заявил: «Благодарю вас, но я роялист».

— Какой вздор, — сказал Бейль. — Четыре дня тому назад я имел письмо от Мериме из Барселоны.

— За четыре дня он успел бы приехать.

— Вздор, — сказал Бейль. — Мериме не роялист.

— Черт знает, кто он такой, — сказал Марест.

— Мериме — мудрец. В то время как мы здесь с вами не можем без няньки вернуться домой, он прекрасно себя чувствует, ночуя в придорожных трактирах в Валенсии вповалку с погонщиками мулов и цыганами. Он ведет какой-то необычайный для него образ жизни. Я думаю, что он очень окреп и поздоровел. Однако, друг мой, что вы будете теперь делать?

— Может быть, вы поправитесь и скажете: «Что мы теперь будем делать?»

— Считаю поправку лишней, — заметил Бейль. — Я буду писать попрежнему, а вот вам не пришлось бы расстаться с вашими паспортами, визами, регистрациями и прочими хлопотами столь же мало вдохновляющего свойства.

Марест рассердился. Бейль продолжал:

— Помните наше пари? В последний раз, когда мы виделись, вы доказывали, что я не кончу «Красного и черного». Сознаться ли вам, — я жалею, что вы проиграли. Теперь, увидя борьбу *красного и черного* на улицах Парижа, я сумел бы найти применение моему Жюльену Сорелю. Но роман кончен. Надо начинать второй.

— А кто, по-вашему, одержит верх — республиканцы или конституционалисты?

— Это безразлично, — ответил Бейль. — Во главе Франции становится банк.

— Что, что? — с удивлением спросил Марест.

— Да, Францией будет управлять банк. Директором акционерного общества «Франция и Париж» назначен герцог Орлеанский, который станет выполнять волю банкиров.

— Я ничего не понимаю.

— Ну, это уж не моя вина, — сказал Бейль довольно невежливо, — но я думаю, меня хорошо понимает наш провожатый.

Рабочий закивал головой.

— Гражданин говорит правду, — сказал он. — Если не будет республики с правами для рабочих, то будет король с правами для банкиров.

Подошедший мальчик с кинжалом за поясом что-то шепнул на ухо рабочему, говорившему с Бейлем. Тот нахмурился. Потом, обращаясь к Маресту, сказал:

— Гражданин, разрешите мне вас оставить. Мальчик вас доведет. Он имеет такие же пропуска, как и я: вы будете в безопасности.

15 августа Бейль писал Сеттену Шарпу:

«Ваше письмо, дорогой друг, доставило мне огромную радость. Извинением моему запозданию с ответом может служить только то, что я в течение десяти дней вообще не писал ни строчки.

Чтобы вполне отдаться замечательнейшему зрелищу этой великой революции, надо было все эти дни не сходить с парижских бульваров. Кстати сказать, и от самой улицы Шуазель почти до отеля Сен-Фар, где мы поселились на несколько дней, вернувшись из Лондона в 1826 году, все деревья порублены на баррикады, загородившие мостовые и бульвары. Парижские купцы радуются, что отделались от этих деревьев. Не знаете ли вы, как пересаживать толстые деревья с одной почвы на другую? Посоветуйте, каким способом нам восстановить украшение наших бульваров.

Чем более мы отходим от потрясающего зрелища *великой недели,* как назвал ее господин Лафайет, тем более кажется она удивительной. Ее впечатления аналогичны впечатлению от колоссальной статуи, впечатлению от Монблана, если смотреть на него со склонов Русса в двадцати лье от Женевы.

Все, что сейчас было написано наспех в газетах о героизме парижской толпы, совершенно верно. Появились интриганы, которые все испортили. Король, конечно, великолепен. Он сразу выбрал себе двух дрянных советников: господина Дюпена, адвоката, заявившего 27 июля, после чтения ордонансов Карла X, что он не считает себя депутатом, и второго... Простите, меня прервали, и я должен поспешно отправить вам этот клочок бумаги. Я вам допишу его завтра. Сто тысяч человек вошли в Национальную гвардию Парижа. Наш восхитительный Лафайет стал истинным якорем нашей свободы. Триста тысяч человек в возрасте двадцати пяти лет готовы воевать. Но, кроме шуток, Париж способен отстоять себя, если действительно на него навалятся двести тысяч русских солдат. Простите мои каракули. Меня ждут. Чувствуем

мы себя хорошо, но, к несчастью, наш Мериме в Мадриде; он не видел этого незабываемого зрелища: на сто человек героев-оборванцев во время боя 28 июля можно было встретить не более одного хорошо одетого человека. Последняя парижская сволочь оказалась настоящими героями революции и проявляла действительно благородное великодушие после битвы.

Ваш......»

5 сентября 1830 года из путешествия по Северным Пиренеям вернулся в Париж на улицу Кокильер, в отель того же названия, Александр Иванович Тургенев. В тот же день, по своему обыкновению, он был сразу в десяти местах. Он видел Гагарина, Репьева, Якова Толстого, Свечину, Рекамье и Шатобриана. Последние двое во всей революции обвиняют Талейрана.

Тургенев пишет: «Пустота и мрак в Тюильри».

«Цвет времени переменился», — писал Бейль.

Если в дни белого цвета невозможно было войти участником в политическую действительность Франции, то теперь Бейль считал необходимым окончательно из нее выключиться. Это можно было сделать, не нарушая лояльности к банкирскому предприятию, именуемому королевством Франции. Бейлю хотелось бежать. Вот почему он ухватился за мысль, пришедшую в голову госпоже де Траси и другим его друзьям: просить министра иностранных дел дать Бейлю место французского консула. Блестящая мысль! Как только она возникла, так начались действия.

25 сентября 1830 года Бейль получил назначение на должность французского консула в Триест.

Глава сорок вторая

Вечером 2 ноября у господина Лаффита за чаем и сигарами обсуждали способы организации следующих выборов. Гизо предлагал довольно простое мероприятие. Оно, конечно, потребует расходов, но окупится вполне. Надо швырнуть золотой мешок в провинцию и назвать своих кандидатов в каждом округе. Депутатов, избранных помимо списков министерства внутренних дел, тотчас же по приезде в Париж обеспечить всем необходимым,

дать аренды и побочные заработки, чтобы из врагов превратить в друзей. Присутствовавшие улыбались мудрой улыбкой и соглашались. Это была просто частная беседа на политические темы, а если вслед за тем начиналось осуществление предложенной системы, то ведь ни в каких проектах и законах она не предписывалась. Пуская дым от сигары, Дюпон, сидевший против министра Моле, указывал соседу глазами на дремавшего в углу стола министра Аргу и показывал последние номера «Шаривари» с изображением Аргу.

— После июля, кажется, слишком распустилось остроумие журналистов, — ворчал Моле. — Стоило только Аргу получить министерство, как его начали высмеивать в площадных листках.

Он посмотрел на карикатуры. У Аргу был огромный нос. Карикатурист использовал эту шутку природы. Он изобразил карету, несущуюся по Парижу; нос господина Аргу, высовываясь из окна кареты, сбивает с ног встречающихся по пути прохожих. Другая карикатура изображала Аргу, прокалывающего длинным носом глаз случайного прохожего.

— Правда глаза колет, — сказал Моле и захихикал. Аргу проснулся, мутными глазами посмотрел на смеющихся.

Третья карикатура изображала Аргу в кругу семьи, в Булонском лесу. Аргу, долговязый и длинноносый, укрывает жену и детей своих носом от проливного дождя.

— Да ведь это же не политические карикатуры, — сказал Дюпон.

— Я не знаю, как мог Моле допустить это. Быть может, он его не знает? — послышался голос в группе Себастьяни, Перье и Одилона Баро.

— Чего мне не следовало делать? — спросил Моле.

— Вы не должны были допускать назначения Бейля консулом, — сказал Казимир Перье.

— Ах, оставьте меня в покое, — возразил Моле. — Не все ли равно, какой француз будет пить турецкий кофе в Триесте?

— Совсем не все равно. С какой стати назначать кандидатов из белых салонов?

— Бейль вовсе не аристократ, — сказал Моле.

— Да, уж во всяком случае не аристократ, — вмешался Аргу. — Он имел глупость сказать мне, что на-

следственное звание пэра обязательно превращает в болвана всякого старшего сына в семье.

— А вы сторонник наследственной Палаты пэров? — ядовито заметил Баро.

— Вовсе нет, — ответил Аргу, — я только против назначения якобинцев на должности консулов, а что касается того, что он постоянно торчал у Виргинии Ансло, так пусть себе эти стареющие дамы, доживая свой век в Париже, попрежнему считают себя вершительницами судеб.

Моле с недовольством смотрел на Баро и заявил:

— Бейля рекомендовал Траси. Я не имею привычки отменять сделанные распоряжения. Бейль мне нравится. Это человек редкого ума, и во всяком случае полезно, что его не будет в Париже.

— Кто же он, по-вашему? — закричал, негодуя, Баро. — Якобинец или аристократ, умный человек или безалаберный писака? Ни одна характеристика не дает ему права быть представителем новой Франции даже в Триесте. Он пишет вздорные парадоксальные книги...

— ...которых никто не читает, — подхватил Аргу.

— Да кто станет читать такой вздор? — вскипел Баро. — Это или действительный призыв к революции именно тех, кого мы во-время остановили, или просто клевета на человеческую природу. Вы читали в «Литературном журнале» его новый роман?

— Я не читаю «Литературного журнала», — сказал Моле.

— Господа, перестаньте говорить о пустяках, — резко сказал Лаффит. — Давайте поговорим об избирательной реформе: ни я, ни господин Гизо не считаем положение настолько устойчивым, чтобы можно было спокойно отнестись к следующим выборам. Нужна основательная проработка вопроса.

Юдифь Готье шла по аллеям Версаля, втыкая конец кружевного зонтика в дорожный песок, еще мокрый от дождя. Аллея была пустынна, подстриженные деревья желтели, фонтаны грустно выбрасывали воду навстречу осеннему небу, и только розы ярко горели на зелени отмирающих клумб.

— Я не знала, что в Париже столько нищих, — сказала она Бейлю.

— А я не знал, что в Париже столько героев, — ответил он ей.

Двухчасовая прогулка кончилась. Это была прощальная прогулка, нарочно не в Париже, нарочно в такой день, когда аллеи Версаля пусты и когда полная тишина царит в этих умирающих садах. Коляска ждала у ворот. Первые минуты ехали молча, потом заговорили снова.

— Что вы будете делать в Триесте?

— Слушать музыку, — сказал Бейль. — Больше всего на свете я люблю Моцарта, Чимарозу, Россини.

— Да, так и должно быть, — сказала Готье. — Вы любите кристаллически ясное чувство, вы любите четкие мысли, вы должны любить прозрачную и солнечную музыку этих трех.

— Вы сегодня похожи на ботаника, определяющего сорта грибов, — сказал Бейль. — Если вы хотите, чтобы я был совершенно откровенен, то знайте, что в основе моих убеждений лежат всего пять-шесть бесспорных логических утверждений, а в остальном... у меня есть уверенность только в моих чувствованиях.

— И это мне понятно, но вы слишком большое растение для моего гербария, если уж я ботаник. Скажите, почему все считают вас приверженцем аристократии?

— Для этого нет никаких оснований, — ответил Бейль. — Я вспоминаю, как младший Траси радовался смерти Наполеона. Он говорил: «Буржуа всегда плохо кончит, если станет монархом». Я помню, что в тысяча восемьсот пятнадцатом году вся аристократия отрицала мужество в характере *Николая Бонапарта*. Ведь в те дни именно так называли бывшего императора, а я любил его именно за то, за что его ненавидели аристократы. Истину я считал царицей мира, в который я собирался вступить, и только священников я считал тогда ее решительными врагами. Теперь я убедился, что буржуа не менее враждебны ей. Так бывает всякий раз, когда «дважды два четыре» переступает дорогу чьей-либо выгоде. Чтобы не сделаться мещанином, я согласен на репутацию аристократа, я согласен вообще на всякую репутацию, лишь бы мне не мешали писать и слушать музыку, путешествовать и любить.

— И об этом вы не забыли? — заметила госпожа Готье.

— Об этом я помню меньше всего, — сказал Бейль. — Слишком много разлук в жизни делают ее печальной. Я хочу сказать вам только, что я с радостью уезжаю из Парижа. Пройдет немного времени, буржуазия станет нуждаться в иезуитах, так же как нуждалась аристократия. Молодежь в рясках, стряпающая церковную карьеру, доносящая и шпионящая друг за другом, завистливая и подлая, в совершенстве воспроизведет буржуазного Тартюфа. Господин Лафайет кричит о равенстве. Что это за равенство — равенство в грабеже, равенство волчьей стаи, солидарность хищников, добивающих случайно ослабевшего волка. Еще немного — и руководители министерств под черным покровом биржи будут вгрызаться друг в друга. Вот это равенство! Я видел господина Лафайета в июльские дни. Он стоял в разодранной рубашке, обращаясь к кучке интриганов, и очень холодно оборвал свою речь, увидя, что я вошел и говорю с его секретарем Лавассером. Я не сержусь за то, что он не хотел при мне продолжать своей речи: если июльские дни — это жаркое солнце Парижа, то бесполезно обижаться на серую тучу, закрывшую это солнце. Лично я, привыкший к Наполеону, к лорду Байрону, ну, прибавлю к ним еще Брегема, Монти, Канову, Россетти и моих итальянских сосланных друзей, — я признаю величие господина Лафайета и уже больше о нем не думаю. Я, конечно, уважаю Париж; по своему остроумию и по своей кухне — это первый город в мире, но он перестал меня соблазнять. Я ищу и, быть может, найду основные черты такого человеческого характера, который поможет созданию будущего. Где, в каком круге искать его, в какой общественной группе полнее всего развиваются внутренние ценные свойства человеческого характера? В Париже произошел большой срыв, который свидетельствует о полном упадке энергии; результаты июльских дней ничтожны, если, конечно, не расценивать их с точки зрения личных успехов. Я уверен, что Мериме, вернувшись, найдет в Аргу покровителя — это его друг. Мериме скажет, что революция произошла в его пользу. Аргу будет совать нос во все министерства, потому что этот нос слишком велик. Мериме, оседлав этот нос, будет переноситься из канцелярии в канцелярию.

Юдифь Готье смотрела на Бейля. Он сделался вдруг добродушным и спокойным, только глаза попрежнему горели весело и немного злобно. Все говорило о чрезвычайной полноте ощущений этого человека.

— Прощайте, дорогой друг, — говорила Готье. — Доброго пути! — Она остановилась, потом, взглянув на Бейля, продолжала: — Вот вы улыбаетесь, а я не знаю, что за улыбка в ваших глазах. Ваш ли этот мир, или не ваш, чужой ли вы нам, людям этой планеты? Кто вы?

— Я подписывал свои письма к вам «Диманш». В Милане меня звали Домиником. Я сам называю себя так. «Domenice» по-итальянски значит — воскресенье, а «domani» — завтра. Я — седьмой день недели, я день отдыха, я завтрашний день человечества, а сегодня я французский консул в Триесте.

6 ноября Бейль выезжал из Парижа по знакомому Лионскому шоссе. В этот час Тьер, излив свою желчь по поводу назначения Гизо, говорил с друзьями-инженерами об английской и американской новости: о паровике на колесах, который тащит по двум параллельным железным полосам открытые дилижансы и кареты, поставленные колесами в пазы этих железных полос.

— Это же вздорная игрушка! — закричал Тьер. — Этим могут потешаться английские чудаки! Это романтика, а от романтики один шаг до коммуны! Никаких денег министерство Франции не смеет давать на эти глупости. Никаких железных дорог!

В Париж сыпались письма господ *Миккеле, Поверино, Шампань, Эльхо, Меинье, Дюпеле* и, наконец, письма без подписей. Все они были написаны одним и тем же почерком разным лицам, все говорили о необычайной скуке Триеста. Получавшие эти письма люди встречались друг с другом в Париже и говорили: «Консул скучает».

Бейль сидел в большой пустынной комнате триестской гостиницы в меховых сапогах и теплой шляпе и страдал от ревматических болей. Зимняя дорога прошла неблагополучно. В Триесте нет каминов, в нетопленых комнатах свищет ветер. Бейль как французский вельможа окружен почтительностью. Хозяин гостиницы при встрече с ним разметает пыль своей шляпой, но дичь подает

Париж. Улица Сен-Антуан 28 июля 1830 года

недожаренную, рис — недоваренный, вина — прокисшие. Хуже всего какая-то неопределенность в положении: при внешней почтительности отношение к нему граничит с дозволенной, ничем не рискующей наглостью. Бейль уезжал в Банат, осматривал французские суда в Фиуме, посещал турецкие кофейни, восхищался Адриатическим побережьем. Австрийские офицеры в плащах, гулявшие по берегу, смотрели на него свысока. Дома он не раз замечал, что кто-то хозяйничал в ящиках его стола, а между тем, уходя, он всегда запирал комнату и брал ключ с собой. Однажды на полу около письменного стола он увидел серый холмик сигарного пепла. Слуга и содержатель гостиницы в самых льстивых выражениях уверяли, что это ему показалось, что это невероятно. Короткие прогулки к морю и обратно становятся все реже и реже. Дует сильный, очень резкий ветер — *бора*, при котором ходить по улице совершенно невозможно. В такую погоду для прохожих натягивают морские канаты от дома к дому. Однажды, забыв об этой предосторожности, Бейль был схвачен на перекрестке могучим порывом сырого, холодного ветра и сброшен навзничь на мостовую. Погода так же возмутительна, как люди; австрийские жандармы так же наглы, как и погода. За неделю тридцать человек поломали себе карьеру и жизнь из-за австрийских жандармов. Привезенные из Венеции, они под конвоем шли по улицам Триеста. Их вели в моравские тюрьмы. Однако Сильвио Пеллико уже на свободе. Какие-то новые ветры повеяли в Европе после июльских баррикад; эти ветры срывают с петель тюремные двери, и, быть может, только благодаря крови, пролитой в Париже, Бейль сейчас имеет возможность, проехав через когда-то запретный Милан, спокойно шагать по мостовой Триеста. Это широкая мостовая, каменные плиты в два метра длиною начисто вымыты дождем, но декабрьское солнце светит тускло.

До сих пор нельзя наладить отношений с австрийскими властями. Во всяком случае, Бейль переживает странное состояние.

Он пишет Маресту:

«Я старался не произнести ни одного шутливого слова, я не позволил себе ни одной насмешки, я не сказал ничего забавного, я не видел ни одной из сестер

встреченных мною мужчин, одним словом, со дня моего приезда на полуостров я был умерен, сдержан и осторожен и вот — умираю от скуки. Помещение, занимаемое мною, обходится в шесть франков и два су. Я похож на птицу, сидящую на ветке. (Клара, конечно, не поймет этой легкой метафоры.) Ни мое помещение, ни мое положение не позволяют мне нанять стряпуху. Чтобы не быть отравленным здешней стряпней, которая поистине ужасна, я тайком покупаю яйца и варю их всмятку. Неделю тому назад я изобрел это средство и теперь не боюсь, что французский консул умрет с голоду».

Зная, что госпожа Лазурь, Альбертина Рюбанпре, переманила к себе Мареста, Бейль посылал ей через него приветствия и писал ей самой:

«Два месяца тому назад некая женщина, имеющая в Триесте наибольший вес (тридцатилетний урод, тридцать пять тысяч ренты, прекрасная кухня и восхитительная мебель), услышав о «моей светлости», пригласила меня обедать... Когда я входил, она говорила со старым посланником, графом Мочениго, но, увидя меня, сказала: «Сядьте со мной. Мне хочется поболтать с вами за обедом». Я поклонился и уже приготовил самые острые фразы, как вдруг приходит мой сотоварищ, русский консул, глухой, как столб, с огромным крестом на шее. Взглянув на крест, хозяйка пригласила этого русского занять место рядом с нею. Никто не нашел этого странным. Здесь человек сам по себе ровно ничего не значит. Все смотрят на знаки внешнего отличия и специальные привилегии двора».

1 января 1831 года Бейль писал Виргинии Ансло:

«Увы, сударыня, я умираю от скуки и холода. Это единственные свежие новости о моем «первом января 1831 года». Я читаю только «Котидьен» и «Французскую газету». Не знаю, останусь ли я здесь. Здешний образ жизни заставляет меня худеть. Для поддержания своего достоинства, которое мне случалось терять в Париже, я не позволяю себе ни одной шутки, я добродетелен и правдолюбив, как Телемак. Меня уважают. Боже великий!

Какой плоский век! Как он заслужил ту мертвую скуку, которая пропитала его насквозь!

Позволяю себе коснуться дикости здешних нравов. Уехав из гостиницы, я поселился в деревенском доме в шесть комнат, причем все эти комнаты вместе не больше вашей спальни и приятны мне только этим сходством. Там я живу в крестьянской среде, исповедующей только одну религию — религию денег. То, что во Франции делается ради тщеславия, здесь делается ради денег. Лучшие красавицы готовы обожать меня за один цехин (это 11 франков 63 сантима). Черт возьми, ведь дело идет о крестьянках, а не о дамах вашего общества. Я вставляю эту фразу из уважения к истине и к друзьям, которые вскроют письмо по дороге.

Если у вас хватит милосердия написать мне, то умоляю вас, пришлите мне длинное письмо (пусть оно будет так же длинно, как мои достоинства). Посылайте по адресу № 35, улица Годо де Моруа, господину Ромэну Коломбу, бывшему директору по сбору косвенных налогов. Имейте в виду, что в соседнем доме живет некий виконт Коломб, который вскрывает письма моих родных, если цифра 35 написана мельче, чем эта. В моем восхитительном времяпрепровождении я сделался совершенным невеждой. Вы поймете, до какой степени я отупел, когда я признаюсь вам, что читаю объявления «Котидьен». Если мне когда-либо случится встретить в Париже редакторов этой газеты, то я перережу им глотки. Простите изъявление столь мстительных чувств, неизвестных вашему голубиному сердцу, но свойственных мрачному и глубокомысленному Просперу Мериме.

Всего лишь неделя, как я узнал о выходе в свет «Красного и черного». Скажите мне по-хорошему все плохое, что вы думаете об этом плоском произведении, совершенно не согласованном с академическими правилами и тем не менее, вероятно, скучном. Пишите мне хоть раз в месяц. Какой стиль я должен найти, чтобы передать мои мысли, посвященные вам всецело? Бедняга, умирающий от жажды в пустынях Алжира, как мог бы он нарисовать в своем воображении стакан с водою? Кончаю этой блестящей идеей.

Чувство дружбы и уважения распределите сообразно достоинствам каждого из ваших любезных друзей и передайте им от меня. Ну, например, передайте мое

уважение баронессе «Среда» и уважение от всего сердца. Пожалуйста, напишите мне, в чем состоит секретная история госпожи Клары Газуль с госпожой Монтихо.

Благосклонно примите преданные чувства изгнанника.

Шампань».

Бейль записал однажды в дневнике:

«В первый раз я видел господина Одилона Баро в Палате пэров, где разбиралось дело о заговоре 29 августа.

Это маленький человек с синеватой бородкой. Он защищал одного из заговорщиков, доказывая, что у него не было ни ума, ни мужества для осуществления замысла, который ему приписывают».

19 ноября 1830 года Александр Иванович Тургенев записал в дневнике:

«На улице Клуатр, в Сен-Мери, № 4, происходило открытие «Коммерческого Атенея». Мэр 7-го округа Маршан и профессура ожидали префекта департамента Сены Одилона Баро, который приехал, покадил «своей славной революции» и *своему купеческому сословию* — «соль земли», — ставшему у власти. Одилон Баро произнес сильное и краткое приветствие оратору-профессору, купцам — учредителям «Атенея» и сказал, что купцы — первое сословие в государстве, что французы так возвысились в мнении чужестранцев, что отовсюду приносятся хвалы народу и число желающих быть французами и укорениться здесь умножилось чрезвычайно».

Заканчивая свой дневник, А. И. Тургенев записал:

«Книга сия *начата в Брейтоне* 12 ноября 1828 года, следовательно, за два года один месяц и двадцать дней. *Черная полоса и продолжение черного времени моей жизни.* В ней мало и редко означено то, что происходило в глубине души, столь редко выразимой, — одна быль».

Бейль записал в своих письмах и дневниках под буквами T. t. T. (Trieste, toujours Trieste!): [1]

[1] Триест, все время Триест! *(Примеч. автора.)*

«Доминик не имеет никаких сведений о своем предстоящем назначении. Я наблюдаю свойства человеческой природы. Меня интересуют факты, не имеющие другой цены, кроме абсолютной подлинности. В них нет ничего острого на вкус с парижской точки зрения, но они интересны повсюду, где уцелели запросы бескорыстного внутреннего порядка, где люди умели интересоваться вещами и явлениями больше, чем сплетнями о своем соседе».

В феврале Бейль писал Маресту в Париж:

«Доминик мне пишет, что он не уверен в том, какое направление получит дальнейшая его судьба: все дороги ведут в Рим — ну, а бриганты, милостивый государь? Они способны прыгнуть ему на шею и сказать:

«Сударь, мы с вами любим друг друга».

Этими шутками Бейль отделался от внезапной тревоги. Он ездил в Венецию и виделся там со старым другом Буратти. «Не мог же он отказать себе в этом». Он писал в дневнике:

«Март 1831 года. Я почти ежедневно с девяти часов вечера выходил на прогулку вместе с Буратти, которого я нежно любил. После полуночи мы ужинали и проводили время в беседе до четырех часов утра. Я рассказывал, как Пеллико говорил Байрону: «Буратти каждые полгода сидит в тюрьме за стихи, ходящие по рукам в списках. Если б он напечатал их, то австрийские жандармы обеспечили бы ему пожизненное тюремное заключение».

На парусном судне, идущем из Венеции в Триест, вместе с Бейлем ехал молодой юркий человек со светло-голубыми глазами и приятной улыбкой. В Триесте он проводил Бейля до дому, все время улыбаясь ему, как старому знакомому. Бейль чувствовал себя неловко под беспокойным ласковым взглядом этого юноши, очевидно воспитанника какого-нибудь духовного училища. Придя домой, он нашел целый ряд писем. Опять то же. Читатели «Красного и черного» спрашивают его, что он хотел сказать своим Жюльеном Сорелем, и отвечают сами за автора: *«Он просто хотел изобразить самого себя».*

Бейль ответил только на последнее письмо Альбертине Рюбанпре, теперь получившей фамилию госпожи Марест:

«Я получаю не мало писем с вопросами в таком же роде, как и ваш, ибо если допустить, что Жюльен Сорель негодяй, то, конечно, я в нем изобразил самого себя, иначе не может быть! Во времена Наполеона Жюльен пошел бы честной дорогой, а так как он жил во время не Наполеона, то... но, черт побери, какое мне дело до всего этого? Если бы я в самом деле был молодым белокурым красавцем с несколько грустным видом, обещающим не мало приятных минут, ей-богу, я ничего бы не имел против, чтобы обо мне судили так же.

В самом деле, будь я Жюльеном в наши дни, я посещал бы редакцию «Глоба» не меньше, чем четыре раза в месяц, говорил бы с одним, заискивал бы у другого...»

Бейль оставил письмо, решив дописать его в следующий раз, потому что в дверь постучал курьер и вручил огромный пакет с синей дипломатической печатью французского посланника в Вене. Прочтя письмо, Бейль долго стоял, прислонившись лбом к холодному стеклу. Потом собрался с силами, взял новый лист и начал писать:

«Барону де Марест. Париж.

Сейчас только пришло письмо от французского посланника в Вене маркиза Мезон, который в категорической форме извещает меня, что Меттерних не дал exequatur[1], отказал в утверждении меня консулом в австрийских владениях и, не довольствуясь этим, дал ноту через австрийского посланника в Париже с категорическим протестом против назначения меня на должности в австрийских владениях.

Моя первая мысль — никому не писать об этом. Однако я все же пишу друзьям, которые оказали мне существенную помощь делом facta loquantur[2]. Я пишу госпоже Виктор де Траси, самому де Траси, который как бывший помощник графа Себастьяни и как друг мой

[1] Пусть следует *(лат.)*.
[2] Пусть говорят поступки *(лат.)*.

может быть мне полезен. Я умоляю госпожу Виктор (вы знаете, до какой степени я ей обязан) решить за меня.

Пусть Жорж живет там,
Где жить он умеет.

Граф Аргу в течение десяти лет был моим другом, но однажды я ему высказал свое убеждение, что наследственность пэров превращает старших сыновей в болванов. Как вы теперь посмотрите на такую мою неловкость?

Я ничего сам не предрешаю, но только я убеждаюсь, что жара в мои сорок семь лет составляет часть моего здоровья и доброго состояния. Итак, пусть меня назначат консулом в Палермо, в Неаполь, в Кадикс, но, ради господа бога, не на север. Я не вхожу ни в какие подробности. Траси сама решит за меня. Она мне скажет в конце концов, на что надеяться и чего бояться. Сорок семь лет, несколько книг, странный полууспех последней книги, не радующие похвалы и порицания, бьющие, как и похвалы, мимо цели, ревматизм, усталость от борьбы, и, главное, все это без лирического пламени и блеска, который сопровождал короткую жизнь Байрона, и без мудрого созерцательного покоя, в котором протекала жизнь Гельвеция. Австрия верна себе. Она хорошо умеет ставить капканы для всякого свободного ума. Из всей Европы осталась Байрону только Генуя, узкая полоса земли, с которой нога легко переступала лишь на борт корабля. Неужели и он, Стендаль, обречен на прогулку в семь километров длиной и на отвратительную службу банкирскому дому «Орлеан, Лаффит и Перье»?»

Наступила ночь. Началась бессонница. На полу играли круглые лунные пятна. Среди полной тишины вдруг раздавался шорох: мыши вереницей ходили по кругу и плясали на лунном блике, повизгивая, топоча, привставая, словно совершая какой-то премудрый звериный обряд. Бейль любовался этим зрелищем. Оно на минуту заставляло его забыть беспокойное и томительное состояние вечерних часов. В этом царстве маленьких зверей, в их странном обрядовом хождении по лунному блику было что-то до такой степени человеческое, смешное в своей серьезности, что Бейль начал смеяться. Старая мышь бросилась в щель. За ней вся вереница пустилась врассыпную по углам комнаты. «Еще недоставало, чтобы я на старости лет завел себе такое развлечение, — подумал

Бейль. — Однако двадцатисемилетний Мериме не расстается с белыми мышами».

Утром в совершенной ярости он отвечал на письмо Мареста, еще не знавшего о его несчастиях и упрекавшего его в неумении использовать удобства политического момента и приспособиться к новым обстоятельствам, как это сделал министр Моле.

Бейль писал:

«Дорогой Марест, приспособляемость моего уважаемого начальника Моле мне кажется чрезвычайной глупостью. Если Делакруа, Клара, вы и я сам — великий Фридрих — когда-то играли в прятки в Булонском лесу в июне 1820 года, если, наконец, одиннадцать лет спустя, в июне 1831 года, встретившись в том же месте, мы будем пользоваться теми же хитростями и уловками, чтобы прятаться и чтобы с прежней ловкостью открывать, где спрятался другой, то куда это может привести? Нетрудно сообразить, что наш характер не изменился.

Но дело в том, что французская аристократия совершенно лишена энергии. Она не держит слова, она полна лжи и заблуждений, самообмана, который она считает утонченностью 1791 года. Возьмите вашего брата — это совершенно стиль Людовика XVI! Увы! Министры слабы, они одинаково ненавидят в людях как правду, так и энергию.

Как вы хотите теперь, чтобы двести тысяч Жюльенов Сорелей, все-таки населяющих Францию, имевших к тому же перед собой примеры продвижения Беллуна-барабанщика, унтер-офицера Ожеро, всех прокурорских писцов, которые стали сенаторами во время Наполеона, — как вы хотите, чтобы они в один прекрасный день не захотели сошвырнуть со счетов вышепоименованную глупость — приспособляемость? Нынешние доктринеры не имеют даже доблести жирондистов. Жюльены Сорели теперь уже прочли книги таких авторов, как Траси и Монтескье. Вот разница с прежними поколениями. Быть может, следующий террор будет не таким кровавым, но помните о 3 сентября! Народ, поднявшийся в поход на врага и уходящий из Франции, ни в коем случае не допустит, чтобы у него в тылу попы перерезали его жен и детей. Вот удар террора, который постигнет Францию, как только она теперь захочет затеять войну».

Князь Меттерних, или герцог Порталла, в мундире со звездами сидел за письменным столом и набрасывал новую главу своей автобиографии. Обливая ядом негодования и презрения своих сподвижников и современников, он называл сам себя наместником бога на земле, факелом, светящим человечеству, громадной моральной силой, которая после себя оставит незаполнимую пустоту. Он с восхищением писал о себе как о «человеке того, что было». Он отождествлял революцию с заразной болезнью, он говорил, что только покой и неподвижность есть основа порядка, что государства не могут оставаться изолированными, ибо обязаны соединенными силами отстаивать единство и нерушимость монархического принципа. Он писал о том, что австрийские Габсбурги, имеющие не только светскую, но и церковную власть, одни стоят на страже непорочной абсолютной монархии.

Пока герцог Порталла водил пером по бумаге, два парикмахера завивали ему волосы и пудрили щеки так ловко и быстро, что в высшей степени занятой человек мог писать, не рассеивая своего внимания. Но внимание его было в тот день рассеяно синей итальянской папкой. Прервав писание, он раскрыл ее. В ней было законченное затянувшееся дело о разрушении артиллерией двух домов в городе Модене и о поимке заговорщика Чиро Менотти. Это было неприятное дело. Потом было итальянское досье, очень старое, с новым приложением и с печатями шпильбергских протоколов; сверху лежала препроводительная бумага, написанная на бланке полицейского префекта столицы, графа Седленицкого:

«Вена, 30 ноября 1830 г.

Совершенно секретно. Его светлости государственному канцлеру, князю Меттерниху.

Ваша светлость увидит из донесения главного начальника миланской полиции, барона Торресани, от 22 и 23 числа сего месяца, что тот же самый француз Анри Бейль, который в 1828 году был выслан из Милана и владений его апостолического величества императора австрийского как автор революционных памфлетов, укрывшийся под псевдонимом барона Стендаля, дерзких сочинений, направленных главным образом против Австрии, недавно опять появился в Милане проездом на Триест,

куда он направляется, чтобы занять должность генерального консула. Это назначение он получил от теперешнего французского правительства, и, несмотря на то, что его паспорт не был предъявлен для визы в императорском и королевском консульстве в Париже, означенный Бейль продолжал свой путь в Триест с разрешения правителя Ломбардии.

Чтобы обрисовать вкратце степень ненависти, которой дышит этот француз в отношении к правительству Австрии, чтобы дать понятие об опасном характере его политических принципов, несовместимых с духом нашей политики, нашей дипломатии и нашей правительственной системы, я позволю себе привести вашей светлости в подлинниках секретные мотивированные доклады о трех произведениях названного француза: «История живописи в Италии», Париж, 1818 — Дидо, «Рим, Неаполь и Флоренция», Париж, 1818 — Делоне и «Прогулки по Риму», Париж, 1829.

Я предполагаю, что вашей светлости угодно будет скорее совершенно не иметь должности французского консула не только в Триесте, но и где бы то ни было, в случае, если французское правительство вздумает настаивать на том, чтобы это место было предоставлено такому вдвойне подозрительному человеку, как Анри Бейль. Беря на себя смелость просить приказания вашей светлости, я жду решения вашей светлости по вопросу о том, может ли этот француз, некогда навсегда высланный из пределов Австрийского государства, продолжать пребывание в Триесте, ожидая решения его дела, и в случае отрицательного ответа соблаговолите, ваша светлость, приказать мне осуществить надлежащие меры против означенного француза...»

Меттерних задумался. Ведь он предупреждал этого старого болвана Карла X не дергать сильно свою гнилую Францию. Карл не послушался ни его, Меттерниха, ни русского царя. С точки зрения Меттерниха, Франции нужно было гнить спокойно. Она не казалась ему здоровым государством. Государство, затронутое революцией в такой степени, не могло уже, по мнению австрийского канцлера, быстро вернуть себе былое политическое здоровье. Пожалуй, для Австрии это было даже лучше. Важно, чтоб Франция не превращалась в очаг новой

заразы. Меттерних подошел к шкафу, достал книгу 1828 года «Заговор равных» Буонаротти — история первого французского коммуниста Гракха Бабефа. «Страна, безнаказанно выпускающая такие книги, есть очаг мировой революции», — думал Меттерних. Буонаротти, тот самый, который десятого мая 1796 года, еще мальчишкой, был застигнут у самого Бабефа за печатанием сорок четвертого номера коммунистической газеты «Трибуна народа», жив и здоров. Его ученик и друг — сенсимонист Базар, его ученик и друг — француз Андриан, карбонарий, сидящий в Шпильберге вместе с самыми опасными миланцами — Конфалоньери и его группой. Меттерних обладал прекрасной памятью. Он вдруг вспомнил, что самым опасным оказался тогда инженер из Наварры, Доменико Висмара, поднимавший восстание в Турине. Висмара не был найден. Меттерних нервно сел и придвинул кресло к столу. Он читал документ за документом. *Доменико Висмара, Альцест, Торичелли, братья Робер, Анри, Дюпюи, Клапье и компания, Лобри, Огюст, Блез Дюран, Поверино, барон Стендаль и, наконец, Анри Бейль* — все оказались одним лицом. Перелистывая дальше, Меттерних увидел свою собственную резолюцию. Доменико Висмара был приговорен к повешению. Анри Бейль в 1821 году был выслан из Милана в 24 часа. Потом еще три высылки. Теперь понятно, почему Висмара не повешен. Было установлено тождество инженера Доменико Висмара, писателя Стендаля и французского консула Бейля. *Виселица невозможна, в особенности после июльских баррикад, но никакой должности ни в каком городе этот Бейль не получит.* Меттерних дернул шнур. Вошел дежурный офицер. Послали за префектом полиции. Через час по резолюции его светлости специальный курьер выезжал из Вены в Париж, а через десять дней французское министерство иностранных дел сообщило, что оно согласно отозвать гражданина Бейля и назначает на его место гражданина Лавассера, но категорически требует, чтобы до приезда нового французского консула Бейль оставался защитником французских граждан на побережье Адриатического моря. Меттерних решил не отвечать, но в то же время и не настаивал на немедленной высылке Бейля. Он учредил за ним надзор и пришел в полную ярость от дерзкого свидания Бейля с Буратти. Эта ярость удвоилась, когда секретный агент донес ему,

что вновь назначенный консул Лавассер есть не кто иной, как секретарь начальника французской Национальной гвардии Лафайета, раненный на июльских баррикадах. Он вызвал французского посланника Мезона и заявил ему: «Это уже слишком! Мы делаем все, чтобы сбросить с нашей шеи Бейля, а вы нам сажаете на шею Лафайетова секретаря». Мезон имел директиву не уступать. Меттерних знал, что после июльской революции в австрийских владениях неблагополучно, и поэтому, когда Мезон с досадой ответил ему: «Ах, милый князь, революция может предоставить в ваше распоряжение легитимиста лишь после очень продолжительных родов», — Меттерних только пожал плечами.

Бейль писал Маресту:

«Я ожидаю своего преемника с живейшим нетерпением. Я хочу провести весну уже в новом моем жилище. Но как я до него доберусь? Через Геную, откуда я поеду на паруснике, или, может быть, попросту через Венецию в Феррара-Болонью?»

«Меня посылают в Чивита-Веккия, — делал Бейль приписку Альбертине Рюбанпре. — Но как я доберусь туда? Повстанцы перерезали путь между Сполето и Перуджией. Всякий день приносит новые слухи, противоречивые, как во время отступления из России. По сторонам шоссе и по всем тропинкам Северной Италии — стычки войск разных партий и банды воров, которые держат в своих руках проселочные дороги. Пожалуйста, не сердитесь по поводу того, что я написал вам о романе «Красное и черное». Через полгода о нем прекратятся всякие разговоры. Кроме того, я должен сделать вам страшное признание. Я в жизни моей никогда не был в России. Это мой брат, Анри Марк, написал «Красное и черное», именно он был в России. Я воспользовался его бумагами, и так как мое имя Анри Мари, то, как видите, все сошло гладко».

Когда Бейль писал это, он был в хорошем и ровном настроении. Перед ним лежало официальное отношение министра иностранных дел Себастьяни, подписывавшего бумаги вследствие замещения Моле:

«Милостивый государь!

Имею честь объявить вам, что король счел полезным для службы назначить вас французским консулом в Чивита-Веккия. Тем же самым приказом, 5-го числа сего месяца, его величество повелел господину Лавассеру заместить вашу должность в Триесте. Будьте добры, милостивый государь, ни в каком случае не оставлять должности до приезда вашего преемника и только лично ему передать документы консульской канцелярии. Одновременно уведомляю вас, милостивый государь, что ваш послужной список мы посылаем посланнику королевского правительства в Риме с поручением передать его вам в Чивита-Веккия, когда вы будете там на должности консула при папском правительстве. Его величество король Франции не сомневается в вашем служебном усердии».

Глава сорок третья

От северного до южного края Апеннинского полуострова одна и та же политика, стремившаяся превратить Италию в простой «географический термин», не дававшая людям, говорившим на одном языке, возможности не только объединяться на основе каких-либо общих стремлений, но даже свободно посещать друг друга, была навязана итальянскому народу со времени Венского конгресса союзом европейских монархов. После революционных волнений 1821 года эта политика поддерживалась Австрией — как центром абсолютизма и Римом — как центром религиозного гнета. Политику эту можно было проводить только благодаря крайнему раздроблению страны. Север и Юг были разделены на два десятка «независимых» государств, из которых каждое обязано было свято хранить законы, нравы и обычаи дореволюционной монархии. Центральная часть Италии вместе с Римом представляла собою своеобразную церковную монархию с римским папой как светским государем. В Италию запрещен был ввоз книг. Строго регистрировались все, кто читал газету, кто вообще много читал. Почти совершенно отсутствовали светские школы, население было неграмотно и в силу темноты чрезвычайно религиозно. Юг и Север не могли соединиться до тех пор, пока вся масса населения не встала бы во враждебные отношения

к религии. Меттерних думал, что здесь мир царить будет вечно. Но население Италии думало иначе. Чем тяжелее был гнет, тем сильнее было стремление к свободе. Когда Бейль приехал в Чивита-Веккия, он увидел там огромную тюрьму, в которой ночевала тысяча каторжан, работающих на галерах. «Политические преступники были уже другие: не поэты, ученые и аристократы, вроде Сильвио Пеллико или Конфалоньери, шли на каторгу, — нет, самыми опасными политическими вожаками теперь оказались столяр и сапожник. Ни того, ни другого не называли по имени, так как имена эти тщательно скрывались».

Лавассер, прибывший в Триест, принял от Бейля дела. Он предполагал, что встретит в консульстве подавленного неудачей человека, безалаберного писателя, не сумевшего разобраться в делах, не сумевшего устоять перед австрийским нажимом. Каково же было его удивление, когда он увидел загорелого человека с темно-каштановыми, почти черными бакенбардами, с толстым носом и проницательными, умными, почти злыми глазами! Бейль вышел к нему неторопливой походкой, в консульском мундире с высоким воротом, спокойно и вежливо протянул ему руку и проводил в кабинет. Лавассер остолбенел: в течение двух часов Бейль учил его, как школьника, консульскому делу. Он рассказал о французском населении полуострова, о взаимоотношениях французских граждан с местным населением, дал ему списки и перечни всех судов, стоящих в порту, сообщил сведения о хлебной торговле Баната, о товарах, необходимых для Франции. Сухо смотря на Лавассера, он вычислял ему на память тарифы консульских и таможенных сборов, так что под конец Лавассер, ожидавший найти легкомысленного собеседника и веселого анекдотиста, был совершенно потрясен и измучен этой напряженной деловитостью. В то же время Лавассер не мог не почувствовать благодарности к этому человеку, вручившему ему ключи всех консульских тайн Триеста. После деловой беседы Бейль повел его обедать. Лавассер не мог удержаться, чтобы не высказать своих чувств. Бейль, досадуя на его удивление, сказал:

— Сударь, я — воспитанник Политехнической школы имени математика Эйлера, я — инспектор коронных иму-

ществ императора Наполеона, я — аудитор Государственного совета, по ночам вычислявший во время московского похода цифры артиллерийского и провиантского снабжения большой армии, и я не считаю консульское дело более трудным, чем мои предшествующие дела. Будьте любезны занять место за столом.

Лавассер рассыпался в похвалах Политехнической школе, которая сыграла в июльские дни такую блестящую роль.

— Будьте умеренны в ваших похвалах, — сказал Бейль. — Не забывайте, что перед этим вы были секретарем господина Лафайета. Политехническая школа отравила этому генералу восторги Национальной гвардии. Политехническая школа состоит из республиканцев.

— Надеюсь, вы не республиканец? — сказал Лавассер.

— О нет, конечно нет, — ответил Бейль. — Я только не хочу, чтобы вы хвалили то, что для вас опасно.

— А знаете ли вы, господин Бейль, что вновь избранная Палата подняла вопрос об упразднении должности главного коменданта Национальной гвардии, не считаясь с тем, что главный комендант, Лафайет, будет этим очень оскорблен.

Но при этом сообщении Бейль поднял брови, ничего не сказав.

— Генерал, конечно, немедленно удалился от всех дел.

Бейль вдруг почувствовал, что он давится от смеха:

«Как, этот восторженный старый полишинель, превращающий серьезнейшее дело кровавой революции в балаган, пытавшийся играть роль гуманного Робеспьера, скромного Дантона и деликатного Марата, получил, наконец, должное?! Лаффит, Казимир Перье превратили его в генуэзского мавра, прислужника Фиеско. «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить! Это их интрига! Это они сделали! О ловкачи, о хитрые волки!»

Протягивая бокал с красным вином Лавассеру, Бейль предложил тост за здоровье его величества короля Франции.

Лавассер собирался дать во Францию уничтожающий отзыв о своем предшественнике, но дела были в блестящем состоянии, и единственное, что ему оставалось

сделать, — это промолчать совсем. Бранить было нельзя, хвалить не хотелось. Можно было молча присвоить себе обширную подготовительную работу Бейля.

По дороге в Чивита-Веккия Бейль задержался во Флоренции. Он встретил там художника Горация Вернэ и провел с ним, его женою и дочерью несколько дней, пока не пришло обещанное письмо с деньгами и путевыми документами. Гораций Вернэ был потомком целых поколений живописцев: дед и прадед были художниками, отец был знаменитым баталистом, писавшим огромные полотна, изображавшие наполеоновские битвы. Гораций Вернэ учился у отца и у художника Венсена. Принадлежа к новому поколению, он выступал противником классических традиций и в 1809 году написал картину «Взятие редута», дававшую такую же трактовку боя, как у Мериме в коротком рассказе того же названия. С 1828 года Гораций Вернэ был назначен директором Французской академии в Риме.

За обедом Вернэ показывал Бейлю маленькие наброски итальянских типов. Это были энергичные, красивые лица, не лишенные лукавства и добродушия, прекрасные образцы великолепной человеческой породы, чудесный материал для создания непобедимой когорты.

— Но увы, — сказал Вернэ, — эти двадцать семь прекрасных тосканских голов — сплошь бандиты из шайки, пойманные месяц тому назад. Я пишу картину «Схватка бандитов с папскими жандармами». Вы знаете, кто стоял во главе? Вот этот. — Вернэ протянул Бейлю карандашный рисунок, изображавший профиль необычайной чистоты. Это была совершенно рафаэлевская голова юноши лет девятнадцати. Курчавые волосы, великолепно очерченный благородный рот и прекрасная посадка головы.

— Какие люди! — воскликнул Бейль.

— Да, — ответил Вернэ. — Огромная энергия двадцати семи жизней будет израсходована на галерах, а начальник, вероятно, будет повешен. Все его преступление состояло в том, что он ударил ножом папского цензора. Жандарм отвел его руку, рана оказалась незначительной. Юноша переписывался с женщиной, на которую покушался папский чиновник. Жандармы перехватили переписку и использовали ее так, что едва не свели с ума

этого юношу. Отсюда удар ножом, потом побег, потом бандитская шайка на дорогах из Сиены во Флоренцию, и вот, наконец, печальный исход. Все двадцать семь в тюрьме, был двадцать восьмой, но он исчез. Говорят, что его подкупил кардинал-губернатор, и он выдал всю шайку, однако, вместо обещанных ему денег, получил петлю в Риме. Не правда ли, совершенно не парижские впечатления? — закончил рассказ Вернэ.

— Да, к счастью, не парижские впечатления, — сказал Бейль. — Не всегда же силы этой молодежи будут растрачиваться на бандитизм и галеры.

«Пожалуй, хорошо, что в Триесте, а не сразу в Чивита-Веккия я начал свою дипломатическую карьеру, — думал Бейль. — Хорошо, что Сент-Бев не приехал разделить мое триестское уединение на полгода, как я его приглашал, и хорошо, что я знаю теперь, как принимают три цвета нынешней Франции. Барон Дево, французский консул в Чивита-Веккия, занимавший эту должность в течение шестнадцати лет, в несколько часов лишился ее только потому, что вздумал после июльских дней сразу водрузить трехцветное французское знамя над фасадом французского консульства. Это был совершенно законный поступок, но не все законное хорошо. Поднимая трехцветное знамя, Дево снял с фасада папский щит с гербовыми ключами крест-накрест. Маленький старичок — градоправитель Чивита-Веккия — кардинал Галеффи оказался неумолимым. После кардинальского представления в папскую канцелярию никакая сила не могла спасти Дево. И вот старый консул принужден передать власть какому-то бездельнику, парижскому писаке, которого, вдобавок, господин Меттерних выгнал из Триеста».

Помощник консула, черный худощавый грек Лизимак Тавернье, с грустью провожал своего патрона.

— Не поздравляю вас, Тавернье, не поздравляю, — говорил Дево. — Я не могу больше ждать. Господин консул Бейль должен прибыть уже неделю тому назад; вот вам первый признак аккуратности нового консула. Я на день съезжу в Рим.

— Я вас провожу, — сказал Лизимак.

С обратным мальпостом из Рима в карете с Тавернье ехало трое римлян, англичанин и, перед самым отходом

мальпоста на Орвьето, вскочил толстый итальянец. Он хотел занять место около окна. Лизимак, считавший себя с этого дня фактическим представителем французского королевства на территории Чивита-Веккия, решил сам сесть у окна и не уступать. Итальянец с удивлением посмотрел, посторонился и сказал Лизимаку:

— Scusi![1]

— Полагаю, что итальянский торговец должен уступить место французскому консулу, — сказал Лизимак, грубо оборачиваясь к извинившемуся человеку.

— А я полагаю, — ответил тот, — что если вы итальянский торговец, то я и есть французский консул в Чивита-Веккия.

Лизимак вскочил как ошпаренный.

— Господин Бейль?!

— Да, — ответил Бейль.

— Честь имею представиться: вице-консул Лизимак Тавернье.— Так произошло неофициальное представление.

Дево, уезжая, ворчливо говорил Бейлю:

— Советую вам прогнать Лизимака. Ловкач и лицемер, человек скромный на вид, но со страшным самомнением.

— Но ведь он не ворует? — сказал Бейль.

— Не замечал, — ответил вяло Дево.

Когда пыль от мальпоста улеглась по дороге, Бейль в синем мундире с восемнадцатирядной золотой вышивкой и в треугольной шляпе с белыми перьями, надев перчатки и шпагу, вошел в дом кардинала Галеффи. Маленький старичок с горбатым носом в синих жилках, с маленькими слезящимися, выцветшими глазами, в красном рединготе и красном атласном жилете поднялся к нему навстречу, опираясь левой рукой на трость, о которую щелкали большие сердоликовые четки.

— Да, да, Чивита-Веккия дальше от Вены, чем Триест. Мы ведь не такие строгие, как австрийский канцлер. Жаль, конечно, что господин французский консул будет получать здесь не пятнадцать, а всего лишь одиннадцать тысяч франков от своего правительства, но мы думаем, что оживится торговля, и ваши дела поправятся.

Тон был совершенно добродушный, благожелательный, и не похоже было, чтобы этот склеротический ста-

---

[1] Извините! *(Примеч. автора.)*

ричок был наивным кардиналом. Бейль смотрел на его красный жилет и вспоминал, где он видел в точности такой же. Эта неотвязная мысль помогла ему сохранить во время беседы с кардиналом почтительно-сосредоточенный вид и не слишком пускаться в рассуждения.

«Ах да, ведь это на представлении «Эрнани» Теофиль Готье был в таком жилете и вызывал ужас честных буржуа; еще я сказал ему, что он разбивает впечатление публики, которая не знает, куда смотреть: на жилет или на сцену».

Кардинал вывел Бейля на балкон над самым морем.

Виден был обширный синий залив и суда, стоящие на рейде: огромные парусники, папский корабль и французский бриг «Алерт».

— Вы ведь видите, что я нисколько не против французского знамени, — сказал кардинал Галеффи и, вынув белый платок из кармана, махнул с балкона. Белый дымок появился на корабле, через три секунды донесся пушечный выстрел. На мачте брига взвился французский флаг, а на папском корабле взлетел, развеваясь под ветром, огромный белый штандарт с Петром и Павлом. Это было приветствие папского корабля и салют по случаю вступления нового консула в должность.

Через день был местный праздник. Гонорар за «Красное и черное» начал быстро уменьшаться. Первым делом — украсить консульство факелами на ночь, не дожидаясь, пока пришлют консульские деньги. Наутро удивленный Лизимак явился к Бейлю для сердечного разговора. Он уверял, что ничего не требует, что он считает за честь служить с господином консулом, он сомневается, сумеет ли быть ему приятным, но быть полезным он, конечно, сумеет.

Бейль его успокоил.

— Мой друг, по-моему, у вас нет никаких оснований для такого разговора. Мне и в голову не приходило заменять вас кем-нибудь.

Через минуту Бейль забыл об этом разговоре, но Лизимак написал в Париж своему родственнику, занимавшемуся торговлей, прося разузнать подробности о его новом начальнике, господине Бейле, спросить у портье, у прислуги — нет ли за господином Бейлем каких-либо слабостей. Сделав это, он успокоился и стал выжидать.

Бейль установил: между одиннадцатью утра и часом пополудни доклад и совместная работа, два раза в неделю прием посетителей; в дни прихода французских судов справки о товарах, просмотр судовых книг; французские граждане принимаются в любое время. Осторожно он стал спрашивать Лизимака о составе населения Чивита-Веккия и о настроениях. Лизимак обнаружил полное незнание. Что «состав населения в шесть тысяч четыреста человек определяется главным образом итальянской национальностью», — это Бейль знал и без вице-консула.

— Какие знакомства были у господина Дево? — спросил он.

— По воскресеньям он бывал у здешних церковных властей и больше нигде. Собственно и узнавать здесь не о чем, — сказал Лизимак.

— Как не о чем!— воскликнул Бейль.— Восемь часов езды в мальпосте — и уже Рим, а вы говорите — не о чем!

— Так ведь это Рим, — сказал Тавернье.

— А вы думаете, что Чивита-Веккия изолирована от всего мира? Нет, мы перестроим нашу работу. Нельзя довольствоваться обществом священников и капитанов папской жандармерии; так вы ничего не узнаете. Потрудитесь сообщить мне все, что вы увидите собственными глазами за день, все, что услышите от людей достоверных, и, наконец, все слухи о происшествиях в соседних городах. Сколько раз останавливаются в порту марсельские пароходы?

— Четыре раза в месяц, — ответил Лизимак.

— Чтобы каждый раз были готовы отчеты для отправки во Францию с пароходами, отходящими на Марсель, — распорядился Бейль.

— Слушаю, — сказал Лизимак, — но я бы предпочел, чтобы моя работа ограничилась составлением денежных отчетов и канцелярской перепиской.

Бейль согласился.

Глава сорок четвертая

Консульское хозяйство было невелико. Прежде всего надо было сменить лошадь. Вахмистр Шестого драгунского полка, Анри Бейль хорошо знал этот товар и со смехом прогнал продавцов, явно стремившихся его

надуть. Наконец, верховая лошадь куплена; есть конюшня, в которой стоят старые экипажи рядом с денниками, есть погреб, в котором остался запас орвьетских вин, купленных у Дево. Кухня довольно жалкая, несмотря на то, что прибрежные рыбаки приносят прекрасную рыбу. Артишоки еще не созрели. Разнообразить стол трудно. К тому же доктор Прево, осматривая в Париже будущего консула, сказал, что надо отказаться от мясных блюд.

Из верхнего окна консульского дома видна огромная морская равнина. Чивита-Веккия, несмотря на близость от Рима, кажется оторванным, изолированным углом земли. Безветрие, тишина, полный покой древних берегов. Красные черепицы крыш, пыльные улицы, горячий камень, безлюдье после полудня. Население этого пустынного берега ничего не помнит о прошлом. Здешние жители могут рассказать только о коммерческих сделках прошедших пяти лет, но ни один горожанин не расскажет о том, что произошло во Флоренции в 1823 году и что было на месте этих древних centum cellae[1] в римские времена. А между тем именно здесь корявый плуг к северу от города выбросил на поверхность земли первые вазы древних поселенцев — этрусков. Спокойные и вялые городские буржуа не интересуются ни книгами, ни газетами. В городе нет школ, нет книжных лавок, дети учатся у попов. В те дни, когда порт бывает пуст, все побережье кажется мертвым. Лишь иногда в эти пустые дни на горизонте под горячими лучами солнца колышется едва заметной белеющей точкой легкая бригантина. И так до вечера. Под покровом ночной темноты она подходит к берегу, врезается в рыжие, гниющие водоросли. Люди, стоя по горло в воде, поднимают руки с носилками высоко над головами, получают с борта таинственный груз и выносят его на каменистый берег. Привозят ружья. Но об этом никто не знает. Папа Пий VIII — напуганный человек.

— Почему не используются минеральные источники Чивита-Веккия? Это могло бы привлечь иностранцев и оживить побережье, — спрашивал Бейль Галеффи.

— Вот этого-то мы и не хотим, — сказал кардинал. — Иностранцы заразят нашу верную паству тле-

[1] Сто комнат *(лат.)*.

творным духом либерализма. В языческие времена эти минеральные воды исцеляли римлян, о которых вы говорите, но мы — христиане и предпочитаем исцеляться святою водой.

— Но есть еще источник обогащения. Вы можете начать вывоз гниющих водорослей на поля. Это сделает их тучными и плодородными.

— И этого мы не хотим, — сказал Галеффи. — Пусть крестьяне живут в горах — на побережье они делаются контрабандистами. Нам и так дорого стоит береговая охрана.

Однажды вечером Бейль пошел в местный театр. Давали пьесу «Жертвы любви и дружбы», похожую на английские мелодрамы. Публика принимала ее холодно, так как на сцене муж сходил с ума от неверности жены. Итальянцы не понимали, как это может быть. После мелодрамы шли фарсы полишинеля, и публика сотрясала зал хохотом и криками. Это была старинная веселая, шутливая Италия. Бейль вдруг стал узнавать глаза своих ломбардских друзей. Но по выходе из театра глаза потухали. В дни молодости Бейля эти глаза загорались от других причин. Девятилетний гнет изменил и оподлил городскую молодежь Италии.

6 июня Бейль писал Маресту:

«Я страдаю. Известно ли вам, что 20 мая посланники пяти великих держав собрались просить у папы внести некоторые изменения в способы его управления страной? Вот примеры просьб: светские люди должны допускаться к занятию административных должностей; Государственный совет в Риме должен состоять не только из кардиналов, но на две трети из мирян; подлежат отмене приговоры по экономическим делам.

Если бы у меня были силы передать вам диалоги кардиналов, их суждения по этим предположениям! Они решили отказать, но их ненавидят свои же солдаты, их собственные подданные. У них нет ни гроша за душой, и купечество отказывает им в кредите. Австрийцы срывают предложения других держав. Вот вам подготовка к взрыву. Австрийский посланник Лютцов советует папе в крайнем случае уступить, но выбрать на административные должности наихудших мирян, чтобы пожалели о носителях сана.

Вы можете судить о моральном состоянии Рима, который остался ни в тех, ни в сех. Его святейшество не осмелился третьего дня появиться на процессии из страха, что его украдут революционеры. Оно, это святейшество, получило уже соответствующее анонимное предостережение».

Уже давно папская полиция, вскрывавшая все письма, шедшие обычным порядком, была встревожена тем, что какой-то барон Дорман (спящий) пишет насмешливые и язвительные отзывы о самых святых вещах папского управления. И на этот раз письмо было скопировано, и начались догадки о том, кто может быть его автором.

Бейль решил первое время целиком посвятить себя дипломатической работе. Однажды он писал Маресту, что если, по мнению министерства, писатель не может быть консулом, он согласен ничего не печатать. Дело в том, что он с трудом садился за письменный стол после приведения в порядок консульских дел своего предшественника. Они были очень запущены. Дево совершенно не интересовался французскими чиновниками в соседних городах Папской области. Бейль занялся ими. Он посетил Равенну, Анкону, Пезаро, Террацину. Приезжал запросто, без предупреждений, верхом или в коляске, взяв с собою слугу-итальянца, напоминавшего ему погибшего Оливьери.

Суровый и спокойный, он входил, не прося разрешения, в канцелярии французских представителей, просматривал консульские книги, торговые записи, книги сборов, спрашивал о состоянии французских граждан, о настроении города. Первый же объезд его совершенно не удовлетворил. Вместо того чтобы будить жизнь, французы засыпают сами; испугавшись австрийских окриков, они стараются быть более ленивыми, чем приказчики в мясной лавке Чивита-Веккия. Глаза его сверкали, когда он слышал возражения на свои требования: он был зол, беспощаден и требователен. Через три месяца наступил поворот. В Чивита-Веккия присылались отчеты, доставлялись сведения, заполнялись посланные им разграфленные листы анкет. Если не для Франции, то для себя он получал сведения о состоянии Италии. Так возник набросок «Рим и папа». Он посылает его двоюродному

брату в Париж по условленному адресу в купеческом конверте, содержащем просьбу о присылке машинки для мороженого. Очерк появляется анонимно и привлекает особое внимание министерства иностранных дел, так как в ответ на этот очерк, помещенный в английском журнале, посыпались заметки и статьи в австрийских и итальянских газетах. Министр находит статью превосходной, но никому в голову не приходит, что она написана французским гражданином. Это писал, по мнению парижан, англичанин, наблюдатель, конституционалист, умный, холодный, ничего не признающий, кроме своего Лондона, но имеющий огромные сведения о промахах папского и австрийского управления, которые губят Италию. Из Парижа пришла бумага о неутверждении отчета Лизимака Тавернье.

«Мне придется обучать дурака, — подумал Бейль. — Это неприятно».

Запершись у себя в комнате, он проверил все вычисления и выкладки. «Нет, он не вор. Он только не знает математики, — с облегчением вздохнул Бейль. — Но ведь я же совсем не педагог, мне нужен хороший помощник, а не скромный дурак с честолюбивыми замыслами!» Он имел неосторожность занести эту мысль на бумагу. Потом сложил отчет и запер его в секретере.

Сведения об Италии, сообщаемые Бейлем министерству иностранных дел, были насыщены фактическим материалом. Там были подробные обрисовки политического и хозяйственного состояния Феррары, Модены, Флоренции, не говоря уже о Риме — Папской области. Старый карбонарий проявил все свои навыки, и, несмотря на то, что вице-консулы соседних городов были недовольны пробуждением от своей вековечной спячки, работа у него кипела. За шестнадцать лет своего консульства господин Дево привык посылать по два отчета в год. Господин Бейль посылает отчеты раз в три месяца и не стесняется количеством шифрованных депеш. Они-то чуть не испортили все дело. Отчеты господина Дево из какой-то Чивита-Веккия регистратор канцелярии министерства иностранных дел просто швырял в корзину, как никому не нужный хлам. То же хотел он сделать и с отчетом Бейля. Какой-то чиновник Бейль, не в меру усердный, посылает докладную записку раньше установ-

ленного срока. Очевидно, просит денег или добавочного отпуска. Но приходит депеша с запросом директив. Приходится читать эту докладную записку в девять страниц убористого почерка. Этого еще недоставало! Если из каждого города будут присылать такие записки, то ведь можно умереть на регистраторском кресле. Вот первое возмущение.

Возмущение овладело младшим секретарем-делопроизводителем и просто секретарем; потом — старшим секретарем, затем — секретарем-докладчиком и, наконец, — начальником канцелярии. До министерского кабинета докатилась волна возмущения.

— Что это за неуч? — кричал начальник канцелярии. — Что за дурак, не знающий службы? Кто спрашивал его совета? Как он смеет лезть со своими писаниями к господину министру? Принесите мне его послужной список. Черт знает что! Назначен по распоряжению министра. Смещен по требованию Меттерниха. Да кто такой этот консул в итальянской дыре? Ах, это журналист, за которого просила семья Траси.

В канцелярию вошел министр Моле.

— Вот, господин министр, можно ли допускать, чтобы консулы непосредственно обращались к вам с депешами?

Моле рассеянно взял бумагу и прочел:

«Романья, Папская область, не принадлежит к числу тех спокойных стран, о которых нечего знать в Париже и о которых нечего сказать консулу. Я говорю так потому, что Романья готова к восстанию, что Рим из папского может сделаться республиканским, и на основании точных, имеющихся у меня сведений я установил, что австрийская переписка ведется в том направлении, чтобы поправить дела папского правительства за счет кровных интересов Франции».

— Это чрезвычайно серьезно, — сказал Моле. — Кто писал?

— Какой-то Бейль, ваше превосходительство.

— Какой-то! — вспыхнул Моле. — Для вас он «какой-то», а для меня это французский писатель, автор лучших книг об Италии. Потрудитесь дать мне всю его переписку.

Дверь захлопнулась за министром. Регистраторы были недовольны.

— Но это безобразие, этому надо положить конец! — кричал регистратор. — Ведь там же, в Риме, сидит посланник Сент-Олер. Донесения, не побывавшие в его руках, не могут считаться достоверными. Ведь это же обход инстанций.

— Да, да, мы так и напишем, — отвечал начальник канцелярии. — Пусть там господин министр покровительствует кому хочет, а мы будем требовать соблюдения канцелярских правил.

Моле вышел бледный, расстроенный:

— У нас война на африканском побережье, и для нас юг Италии не безразличен. Что же за это время сделали наши господа дипломатические представители? Запросить у Сент-Олера.

Через час был готов запрос Сент-Олеру в Рим. К этому запросу присоединилась краткая бумага о том, что надо прекратить самостоятельные выступления консулов с докладными записками министерству, и совсем микроскопическая бумажка была адресована господину Бейлю с выговором за обход канцелярских инстанций. Моле был занят разговором и все бумаги подписал не читая.

— Итак, я должен превратиться в крысу, охраняющую собственную канцелярию. Я должен из дальнозоркого сделаться близоруким. Я должен разучиться видеть, слышать и понимать. Я должен ловить москитов, налетающих вечерами на огонь моей свечи; как старый желчный чиновник, перебирать пальцами и смотреть в потолок, ожидая редких путешественников; встречать их руганью, презрительно швыряя на стол их паспорта; я должен научиться играть в вист с местными жандармами, а осенью, в дождливое время, для того чтобы слегка подогреть свою кровь, часами выдерживать у дверей командиров французских судов и придираться к корабельным документам. — Бейль ходил по комнате и громко произносил эту речь.

Бейль третий день отсутствует. Небо синее, почти черное. Выжженная земля и пустынный берег — словно африканское побережье. «Хорошо, что его нет», — думает Лизимак. Он усаживается в консульское кресло, чинит перо и пишет:

«Милый дядя, когда же, наконец, выяснится для нас возможность получить от турок наше имущество? Я слышал, что уже многие благодаря вмешательству французских властей восстановлены в имущественных правах. Живется мне очень плохо. Добрейший Дево уехал, смещенный за собственную неосторожность. Я уже сообщал тебе об этом с просьбой, чтобы ты навел справки о том, что за птицу назначили мне в начальники. Господин Бейль, кажется, никогда не служил в министерстве иностранных дел. Он очень любит рассуждать и почти все время пишет. На днях пришел ему выговор из Парижа. Я с удовольствием положил эту бумагу на видное место в папке для доклада. Представь себе, он настолько не уважает правительства, что отнесся к этой бумажке не с большим вниманием, чем к газетному объявлению о сдаче внаймы дома. Он опустил ее на стол с таким видом, как будто она не имеет к нему никакого отношения, потом надел сапоги, взял ружье и поехал со здешним крестьянином на охоту. Казамиччио рассказывал, что он замечательный стрелок — этакий-то старикашка с крашеными волосами! Недавно, когда он два дня был болен и не выходил в приемную, я увидел сквозь открытую случайно дверь, что волосы, отросшие у него на губе и на подбородке, совершенно седые и вовсе не похожи по цвету на его великолепные бакенбарды. Он носит полупарик, но с таким гордым видом, что я ни за что не поверил бы, что у него лысый лоб. Ты до сих пор не пишешь о нем, а между тем мне хотелось бы знать, что это за фигура. У него такое количество книг в шести сундуках, что я готов поверить в его ученость, но у него есть необъяснимые странности, которые говорят о нем как о человеке весьма низкого происхождения. Недавно, возвращаясь из Рима, я был застигнут несчастием: черный буйвол, взбесившийся на пашне, запорол лошадь в мальпосте. Пришлось остановиться и идти пешком до Монтероне. Это — уединенная корчма на большой дороге, в расстоянии полукилометра от моря. Я решил дождаться там приведения в порядок мальпоста, чтобы не стоять под солнцем. Каково же было мое удивление, когда за перегородкой я услышал голос Бейля, говорившего с кем-то, кто называл его «сеньор Доменико». Что за сеньор Доменико — я не знаю. Моей первой мыслью было, что настоящего консула убили по дороге в Чивита-Веккия, а с его вещами и документами приехал ко

мне какой-нибудь бандит из тосканских мясников. По-итальянски он говорит гораздо лучше, чем по-французски. У него какой-то нефранцузский акцент. Пожалуйста, разузнайте о том, кого судьба прислала мне в начальники.

Я увидел, что из соседней комнаты вышел действительно господин Бейль вместе с неизвестным мне человеком весьма подозрительного вида. Страннее всего то, что Бейль имел такой вид, как будто мы с ним условились встретиться в этой корчме. Он кивнул мне головой и сказал: «А я вас поджидаю, поедемте вместе». В конце концов мне все равно, кто он такой, лишь бы не пострадало мое служебное положение. В письменном столе у него я нашел проверку моего отчета с очень пренебрежительными выражениями обо мне. Он мне за это заплатит.

Милый дядя, если ваши коммерческие дела улучшились, пришлите мне хотя бы немного денег. Жалованье из Рима всегда запаздывает, расходы по поездкам большие, а выписывать счета, не ездя в Рим, как было при милом господине Дево, этот Бейль не позволяет. Еще раз прошу вас: сообщите, нет ли каких-нибудь слабостей и грешков за этим человеком, чтобы я чувствовал себя при нем более уверенным. Хуже всего, что он вежлив и не подает виду, что считает меня дураком. Приветствую вас и целую ваши руки, дорогой дядя».

Первый пароход, отходящий из Чивита-Веккия в Марсель, повез это письмо, а следующий повез письмо Бейля к Ромэну Коломбу в Париж на условный адрес. Письмо было помечено именем фантастического города Mero, что значило Rome, и подписано «Доминик». В нем сообщалось о том, что барон Резине, проживающий в Чивита-Веккия, обратился к французскому консулу Бейлю с просьбой о высылке всех книжных новостей, вышедших в Париже, а так как барон Резине скоро уезжает, то все книги нужно посылать на имя господина Базена в Марселе. Французский консул встретил пишущего эти строки. Сам Доминик живет попрежнему в городе Абейль. Барон Резине, Доминик и Бейль были хорошо известны их двоюродному брату Коломбу. Коломб наладил почтовые сношения с городом Абейль, или Чивита-Веккия, через господина Базена в Марселе. Правда, Чивита-Веккия — порто-франко, но все-таки посылки, почта и грузы с кораблей сдаются прежде всего на папскую почту, и книги ни за что

не будут пропущены. Была попытка получать книги в вализе, но Лизимак, получающий вализу, каждый раз впивается глазами во все тяжелые пакеты, не похожие на конверты с документами. В конце концов он привыкнет, тогда можно будет обращаться к простой почте, а сейчас господин Базен знает, как поступить. Ни папская почта, ни дипломатическая вализа не знают книжных посылок Бейля. Через месяц на столе лежали «Шагреневая кожа» Бальзака, сборник стихотворений Виктора Гюго и комплект номеров «Revue de Paris»[1] с письмами Мериме из Испании, с драматическим отрывком «Недовольные» и с великолепным рассказом «Партия в трик-трак». Мериме стал прекрасно писать; это уже не просто молодой человек, фланирующий по Парижу и пишущий новеллы, — это положительный человек, занимающий должность инспектора исторических памятников Франции после неудачной службы в трех министерствах, поочередно занимаемых длинноносым Аргу. Новые драмы Гюго никуда не годятся. Это потоки трескучих, высокопарных фраз, стихи, мешающие драматической иллюзии, которая так восхитительна у Шекспира. Весь театр Гюго можно отдать за одну великолепную трагедию Вите, хотя бы за «Смерть Генриха III». Совершенно бесподобна «Шагреневая кожа» Бальзака. «Это ответ на моего Жюльена, — думал Бейль. — Продолжение спора о судьбе и воле. Но ясности мысли и логики нет в этом бурном таланте. Бальзак не хочет понять, что нельзя жизнь описывать с точки зрения целесообразности. В мире человеческих поступков и душевных движений господствует тот же закон причинности, именно он и создал ошибку сознания, именуемую свободой воли. Но во всем остальном как хорош этот роман! Как прекрасно описана смерть молодого человека, который не умел желать, не умел выбрать предметов, способных примирить его с самим собой. Отсюда прямой вывод: индивидуальные желания, не согласованные с действительностью, средой, обществом, классовой группой, способны только поставить человека в конфликт с самим собой. Но своекорыстные желания маленькой группы людей, стремящейся только к наживе и деньгам, — разве это для больших желаний и применения большой воли? Бальзак не договаривает, но он тысячу раз прав, так ярко поставив проблему».

---

[1] «Парижское обозрение» *(франц.)*.

«Надо уметь обращать в свою пользу несчастья и неудачи. Такова мудрость бейлизма, и вот ее применение. Меттерних мог не утвердить меня консулом в Триесте, но не мог умалить меня в собственных глазах. Дураки в Париже, близорукие кроты канцелярии, хотят превратить меня в канцелярскую муху, тщетно ударяющуюся в оконное стекло, когда рядом открыта вторая створка. Я вылечу в эту створку на свежий воздух: я писатель. Итак, начнем писать роман, большой, способный захватить и волю и воображение. Мы написали о *красном и о черном,* теперь опишем *красное и белое*. Боги правы. Фредерик Стендаль однажды сказал о себе в письме к *господину Жюль,* то есть к Юдифи Готье: «Я своеобразный зверь, не похожий на других, но боги сделали меня таким». Здесь, в Чивита-Веккия, научишься повторять эти слова. Тени этрусских богов витают над здешними берегами; вручая себя их покровительству, я буду считать, что дипломатическая неудача есть счастливое возвращение на писательский путь. Итак, за дело. Жизнь коротка, а сделать нужно страшно много, и потому жизнь бесконечно хороша».

Лизимак подсматривал в щелку и быстро отскочил, потому что Бейль, резко открыв дверь, едва не ударил ручкой в переносицу. Опять невозмутимость и полное отсутствие удивления. Улыбнулся и сказал:

— Господин Тавернье, вы не устали в консульстве? Если хотите, можете идти, новые тарифы просмотрим завтра, — и вышел, не дожидаясь ответа.

Он очень долго бродил по площадям церковного города, рассеянно глядя на папские гробницы. Чивита-Веккия — усыпальница множества пап. Здесь лежат Урбаны, Иннокентии, Григории, Иоанны, Пии, Львы. На памятниках — ключи, тиары, шары. На одной из мраморных досок Бейль увидел изображение громадных пчел. Это герб Бонапартов. Здесь это — законное украшение гробницы папы или кардинала, во Франции эти пчелы вызывали ужас и гонение со стороны Бурбонов. Крестьянину, проходящему по улице, эти пчелы совершенно ничего не говорят. И так многое. То, что производит впечатление и играет роль в известном обществе, в известную эпоху, теряет значение при других условиях. «Надо описать молодого человека, вступающего в жизнь во Франции в наши

дни. Пусть это будет сын богатого буржуа. Назовем его Левен. Сделаем его уланом и посмотрим, с кем приходится сражаться в наши дни молодому человеку, мечтающему о походах Наполеона. Вот первая коллизия. Надев уланскую форму, он должен выехать в Нанси, а оттуда со своим полком на поле битвы. Какое же это поле битвы? Лионские шелковые фабрики!

В самом деле, поставим молодого француза перед такой задачей. Уланский мундир, опозоренный в дни рабочей стачки. В прошлом году Лион три дня был охвачен огнем восстания. Единственное преступление рабочего населения состояло в том, что оно просило ничтожной прибавки за одиннадцать часов труда.

Нигде так хорошо и полно не рисуется Франция, как в Чивита-Веккия, нигде так хорошо не пишется об Италии, как в Париже».

С этими мыслями Бейль остановился перед дверью с надписью, гравированной на мраморной доске: «Донатто Буччи — антиквар». Он постучал и вошел. Его встретил человек среднего роста, в красной бархатной шапочке, в золотых очках. Приятная улыбка появилась у него на лице. Широким жестом провинциала он пригласил Бейля войти в большую комнату, сплошь уставленную столами, столиками, на которых лежали книги в белом пергаменте, в цветной коже, стояли статуэтки, в полутемном углу на постаменте белел бюст Винкельмана. Вторая дверь вела на заросшую зеленью веранду. В комнате не было окон, и мягкий свет струился сквозь матовые стекла в потолке. За столом с чашками кофе, с блюдами жареных артишоков перед раскрытым фолиантом сидели еще два человека.

Сеньор Буччи познакомил Бейля с ними. Это были Блази и адвокат Манци. Когда поздно вечером Бейль возвращался к себе, какая-то темная фигура провожала его до консульства. В этот день шансы Бейля на доверие кардинала Галеффи сильно понизились. Донатто Буччи, археолог, собиратель древностей, владелец библиотеки, и адвокат Манци были самыми подозрительными людьми во всем городе. Они почти не скрывали своего либерализма, и если трудно было словить на революционной работе какого-нибудь столяра или сапожника, то уж эти двое масонов во всяком случае дождутся своей участи.

Но чтобы французский консул вышел из своего уединения и так дерзко провел у Донатто Буччи несколько часов — этого не ожидал даже Лизимак. Он пожимал плечами, глядя на Бейля с таким видом, как будто консульская песенка уже спета.

Следующие недели были еще более красноречивыми. Из Марселя пришли горы книг с категорическим требованием господина Сент-Олера из Рима, на основании предписания министра иностранных дел Франции, пропускать книги французскому консулу без предварительного просмотра.

Когда шпион-семинарист докладывал об этом возмутительном факте кардиналу, старый градоправитель, зачихав от слишком большой понюшки табака, махнул платком и проговорил скороговоркой:

— Оставь, оставь! Неужели ты хочешь, чтобы я был арестован либералами, как губернатор Болоньи, такой же кардинал, как я?

В секретных пакетах, приходящих из Парижа, сообщалось, что молодой итальянец Маццини, отсидевший в тюрьме и ныне освобожденный, проживает в Марселе и намеревается ехать в Италию с политическими целями. Маццини — бывший карбонарий, теперь отошедший от карбонаризма. Тем не менее французское правительство не разрешает означенному итальянскому гражданину въезжать в Италию и предписывает французским чиновникам на территории Италии воздерживаться от всякой помощи Маццини и его друзьям. Бейлю совершенно не нравилась эта политика Франции. «Неужели даже ничтожного сознания июльской чести не осталось у Луи Филиппа, — думал он, — чтобы так позорить Францию и задерживать молодого итальянца?» О Маццини он знал от флорентийца Вьессе, основавшего первую библиотеку общего пользования в Тоскане. Там же он узнал, что Маццини стоит во главе нового общества «Молодая Италия», цель которого — объединение страны. По Европе прокатилась волна революции: от Парижа и Брюсселя до Варшавы все было неспокойно. Июльские дни отозвались на востоке войной Польши с Николаем I. Разоруженные польские полки, десятки тысяч повстанцев устремились в Париж. Лафайет создал комитет общественной помощи

СТЕНДАЛЬ

Портрет работы Зедермака

беглецам. Польский поэт Мицкевич уехал из Рима и скитается неизвестно где. Депеши проходят в таком количестве и с таким шифром, что приходится бросить литературную работу. Сидя ночами один, без Лизимака, Бейль расшифровывает карандашом депеши, инструкции, сводки и приказы, читает и сжигает их потом на свечке, стоящей в тазу с водой. К утру накапливаются вороха черного пепла, а в голове черная политическая копоть. С одной стороны, Франция — носительница революционных идей, не боящаяся завтрашнего дня страна; с другой стороны, эта же Франция выступает как поработительница колоний и как угнетательница четвертого сословия. Недаром в секретных сводках по министерству есть прямые указания на то, что подпольное «Общество прав человека» имеет связь с итальянским революционным движением. «Общество друзей народа», ставшее нелегальным, объявлено врагом Франции. Бланки выступил на суде в качестве обвиняемого с требованием, чтобы тридцать миллионов трудящихся получили избирательные права, которыми они воспользуются для издания законов в своих интересах: все излишки у нетрудящихся будут отобраны и обращены на организацию общественного кредита, которым воспользуются неимущие.

Все говорило о незатихающем волнении, о непрочности политических систем, о начале социальной ломки. Под утро усталый от работы Бейль набрасывал заметки и планы будущих глав «Красного и белого», а в большой голубой портфель складывал материалы, касающиеся своей дипломатической работы в Италии. В голове его отчетливо рисовался замкнутый горизонт маленькой Пармы, красивейшего из городов Италии. Он населял ее людьми, наделенными излюбленными чертами бейлистских характеров, он давал характеристики каждому из участников пармской истории и, перерабатывая впечатления своих неудач и успехов, наполнял ими голубой портфель, место хранения лучших воспоминаний и впечатлений собственной жизни. Так он перерабатывал свои дни и часы, свои труды и свои ощущения счастья, отделываясь от грусти и запечатлевая радость. С этого дня жизнь потекла ровнее, и чувствовалось огромное расстояние между Бейлем, напряженно работавшим когда-то давно над окончанием «Красного и черного», и тем Бейлем, который легко и творчески охватывает свои впечатления и дает им жизнь.

В самом конце февраля 1832 года, после получения депеши из Парижа, пришлось внезапно прервать все работы. Наконец-то начинается настоящая жизнь. Луи Филипп, став королем после июльских баррикад, отказался помочь Польше в борьбе с Николаем, ссылаясь на принцип невмешательства; в то же время он допускает вмешательство Австрии решительно во все европейские дела. И вот теперь, когда весь север Италии готов к восстанию, Австрия намеревается наложить свою лапу на Адриатику за пределами ломбардо-венецианских владений. Этого нельзя допускать — надо стать австрийцам поперек дороги, пока французов еще любят в Италии. Бейль приветствовал захват французским отрядом Адриатического побережья в районе Анконы. Три корабля, «Артемиза», «Сюфран» и «Виктуар», появились около Монте-Гваско и вошли в круглый порт. Папский гарнизон отказался пустить французов в Анкону. Тогда французские саперы взорвали крепостные ворота и без одного выстрела сняли папский и австрийский флаги со всех учреждений.

Французский консул Анри Бейль, ставший снова военным комиссаром, сидел в штатском платье среди ружей и барабанов около палатки на бивуаке под Анконой. Подходили австрийские войска, и можно было ждать всяких неприятностей. Восемнадцатипушечные корабли были в полной боевой готовности, на севере и на западе были расставлены пикеты, но господин Сент-Олер, писавший в часы своих римских досугов книгу по истории фронды, позабыл прислать денег. Солдаты не получали жалованья, матросы стремились на берег, и Бейль боялся таких операций самоснабжения, под влиянием которых население Анконы начнет жалеть об уходе австрийцев и разоружении папского гарнизона. Господа офицеры впервые видели этого штатского человека, сидящего за походным столиком. Узнав, что это комиссар снабжения, они потребовали от него раздачи полковой казны командному составу. Бейль молча выслушивал эти требования и отрицательно покачивал головой, но, когда они сделались слишком настойчивыми, он возвысил голос и потребовал, чтобы лейтенант прекратил свои домогательства.

— Господа офицеры хотят иметь деньги на театр, а нижние чины сегодня не получили обеда. Господа офицеры хотят развлечений, а нижние чины от голода при-

нуждены будут обижать население в деревне. Потрудитесь не покушаться на полковую казну.

— Кто вы такой, чтобы говорить так? — закричал маленький лейтенант. — Предъявите ваши полномочия!

— Они вполне достаточны, чтобы отправить вас под арест, — сказал Бейль и потребовал себе лошадей.

Коляска, запряженная артиллерийскими лошадьми, эскорт из кавалерийского взвода, и вот военный комиссар, с чрезвычайно важным видом восседающий в экипаже, отправился в город. Через два часа в лагере закипела жизнь. Бейль подписал документы об уплате за все, что будет поставлено в порядке снабжения французского отряда продовольствием. Прекрасный итальянский язык, живость, ум, открытый характер, упоминание целого ряда имен, любимых итальянцами, расположили к Бейлю сердца городских уполномоченных, и то, что могло кончиться катастрофой, послужило залогом добрых отношений. Солдаты и матросы к вечеру были сыты. Французский писатель оказался прекрасным военным комиссаром. Веселое расположение духа сменило утомление и беспокойство солдат и матросов. Дневные враги Бейля превратились в вечерних друзей.

— Сытый желудок — что спокойная совесть, —говорил Бейль со смехом кричавшему на него утром лейтенанту.

— Французский гражданин должен всюду иметь готовый стол, — сказал лейтенант дерзко.

— Не думаю, чтобы французскому гражданину следовало превращаться в мародера, а еще меньше в стрекозу, рассчитывающую на готовый стол.

Разговор принимал крутой оборот, дело уже доходило до открытой ссоры, так как Бейль довольно резко заявил, что он совершенно не ценит французского гражданства, что здесь, под Анконой, Франция может опозориться еще более. Ссора не разгорелась только благодаря генералу Кюбьеро, который подошел к Бейлю, взял его под руку и увел.

— Знаете, господин комиссар, что передовые пикеты сбиты неизвестным партизанским отрядом? Это не папский гарнизон и не австрийцы. Я дал распоряжение не стрелять.

— И очень хорошо сделали, — сказал Бейль. — Я понимаю, в чем дело. Разрешите мне уехать на сутки, и все успокоится.

— Делайте, как считаете нужным. В этом проклятом городе я — как в темном лесу. Я не понимаю, кто враг и кто друг, с кем мы воюем, что защищаем и ради чего затеяна вся эта история.

Бейль ничего не ответил. Денщик принес ему дорожные вещи. Бейль надел костюм для верховой езды и вдвоем с драгуном-корсиканцем, служившим ему в дороге, отправился на север. Он вернулся к вечеру следующего дня, коротко сказав генералу, что никакой опасности не предвидится. Тот не любопытствовал, но в отряде возникло чувство молчаливого восхищения круглолицым комиссаром, единственным штатским среди военных, который предотвратил какую-то, быть может большую, не столько военную, сколько политическую опасность.

Дело было просто. Бейль, хорошо знавший Италию и имевший почти в каждом городе друзей в таких слоях общества, о которых не подозревали ни Сент-Олер, ни Моле, ни Виргиния Ансло, ни парижские рецензенты, писавшие о книгах Стендаля, появился в среде тех самых итальянских подпольщиков, которые готовили восстание Северной Италии. Он имел с ними продолжительный и жаркий разговор. Он не отрицал отвратительного значения французской оккупации как таковой, но открыто поставил перед ними вопрос о пресечении австрийских притязаний любыми средствами.

— Используйте это, — сказал он, — чтобы не пришли австрийские жандармы и не посадили бы вам на шею чего-нибудь худшего.

Имена людей, с которыми виделся Бейль, нам не известны. Известно только, что он был в Синигаллии, что встречен был «как друг и брат», что дорогой вспоминал историю этого замечательного города, где Цезарь Борджиа устроил западню князьям-кардиналам, враждовавшим с ним; что, встретив их без оружия, он расцеловался с ними, а через полчаса в Синигаллии лежали их трупы. Бейль настаивал на том, чтобы карбонарии «не очаровывались блеском французского оружия». Он сам скоро вернулся в Чивита-Веккия и оттуда поехал в Рим. Сент-Олер был в полном восторге, но Бейль никому не рассказывал подробностей своей операции. Он просил только Сент-Олера дать ему отпуск в Париж.

— Через год, — ответил Сент-Олер.

Французский отряд провел в Анконе шесть лет.

Глава сорок пятая

Во время экспедиции трех кораблей Бейль побывал в Неаполе и в Палермо. В письме к ди Фиоре он описывает праздник у французского посланника Латур-Мобура в Неаполе. Бейль смотрел на танцующих и больше всего на неаполитанского короля, в его необычайном военном наряде, оглушительно гремящего шпорами. Французская красавица Лафероне краснеет от плеч до ушей, двигаясь по зале с этим громыхающим монархом. Бейль записал их разговор: «Господи Иисусе, мадемуазель, я вас пригласил, думая, что это кадриль, а это, оказывается, галоп. Я не знаю этого танца». — «Я сама очень редко танцевала галоп», — ответила Лафероне. «Посмотрим, как делает передняя пара, и попробуем», — сказал король и запрыгал по зале, оглушительно звеня шпорами.

Но были впечатления и совсем другого рода. Однажды рано утром Бейль пешком ушел из Неаполя через Поццуоли на Мизенский мыс. Он был там, когда солнце стояло еще невысоко, осматривал Байи, говорил с крестьянами и рыбаками и, будучи одет, как все, совершенно забыв французский язык и французские мысли, чувствовал себя гораздо лучше, чем на балу Латур-Мобура. Он рассказывал крестьянам о том, чем раньше были эти патрицианские купальни старинной Италии, и вдруг один из крестьян сообщил ему, что вчера им вырыт из земли «мраморный человек». Бейль немедленно осмотрел находку, узнал бюст Тиверия работы прекрасного скульптора, быстро сторговался с крестьянином и еще до полудни возвратился в Неаполь в маленькой двуколке, запряженной мулом, сидя с крестьянином и держа в цыновке свою покупку. Бейль писал ди Фиоре: «Один из лучших римских скульпторов, мой близкий друг (он любит прекрасное так же, как я, то есть со страстью, до безрассудства), Фогельсберг, займется в Риме реставрацией найденного мною сокровища». Итак, надо было ехать в Рим.

Вернувшись после анконской экспедиции, Бейль нашел бюст Тиверия в Чивита-Веккия в полной сохранности.

По пути в Рим Александр Тургенев задержался во Флоренции. Отмечая в дневнике отсутствие книжных магазинов в итальянских городах, он с радостью, как исключение, называет Флоренцию. Там женевский гражданин, книгопродавец *Вьессе,* открыл читальню (gabinetto di let-

lura), вскоре ставшую местом собрания флорентийской молодежи и изгнанников из Милана и Неаполя. Правитель Тосканы старался править просвещенно и внешне чуждался австрийских порядков.

А. И. Тургенев пошел осматривать кабинет для чтения. Там он встретил руководителя молодого итальянского кружка Каппони, познакомился с самим Вьессе и в кабинете, обогащенном всеми новинками европейской литературы, увидел согнувшегося над книгами Анри Бейля. После первых приветствий начались разговоры о Париже.

— Я все еще получаю проколотые и окуренные письма, — сказал Бейль. — Неужели холера не затихла?

— В России она в полном разгаре, особенно в летние месяцы; что касается Парижа, то она там незаметна, но мои письма к брату подвергают двойному окуриванию, и в результате полицейского окуривания зачастую приходит совсем не то, что я писал. Говорят, и в Англии такие же порядки. Брат писал, что в парламенте был запрос о вскрытии писем карбонария Маццини.

— Маццини уже не карбонарий, — сказал Бейль. — Но ведь ваш брат, повидимому, сейчас далек от движения?

— В Париже я не любил об этом откровенно говорить, дорогой друг.

— Ну, а здесь? У меня такое впечатление, что он все-таки гораздо более значил политически и потому гораздо опаснее для царя, чем, например, Корэф, тоже несомненный либерал, участник конституционных проектов Гарденберга.

— Но мы сейчас прилагаем все усилия к тому, чтобы предать эту молву забвению.

— Понимаю, — сказал Бейль. — На меня вы можете вполне положиться, но скажу вам откровенно: чужеземный, австрийский режим менее разлагает Италию, чем режим Луи Филиппа — Францию. Здесь всякое движение достигает точки кипения, вследствие чего человеческий характер закаляется и энергия крепнет в борьбе. В итальянских семьях вы это заметите по лицам говорящих.

— Буду ли я допущен в семьи? — спросил Тургенев.

— Будете, но чем открытее живет семья, тем осторожнее надо быть. Советую вам никому не говорить о брате.

Впрочем, я уверен, что некоторые семьи в Риме вас примут особенно хорошо именно в целях выведать настроение господина Николая Тургенева.

— Меня мучат сомнения, — сказал Тургенев, — ехать ли дальше. Говорят, дороги небезопасны.

— Сейчас значительно тише. В прошлом году Болонья, Парма, Модена, Романья, а в нынешнем — Папская область и Пьемонт кипят, как горячая лава. Было немало стрельбы и виселиц. Святейший отец набил руку на ремесле палача, но дороги сейчас действительно опасны только на юге. Все-таки терпение итальянцев неистощимо. Однако еще год такого режима и обнищания, и по северным дорогам невозможно будет ездить из-за бандитов. Все молодое и сильное провоцируется австрийцами на преступления.

— Да, забыл сказать вам новость. Во Франции начали настилать дороги из железа. Паровик ходит между Сент-Этьеном и Руаном на потеху окрестным деревням.

— Да, я убежден, что в недалеком будущем паровые кареты исколесят всю Францию.

— Не думаю, — возразил Тургенев. — Парижане относятся к этим опытам, как к игрушке, но если бы проложить железный путь до Сибири, сколько русских сердец возликовало бы.

Бейль посмотрел на Тургенева и заметил:

— К моим сосланным друзьям, к вашему миланскому кружку не проложить никакой железной дороги, как не проложить ее к молодости и к Милану шестнадцатого года. Но расскажите мне подробно о Париже. При всей моей ненависти к этому городу я все-таки хотел бы знать, как себя чувствует... ну хотя бы Клара?

— Откуда вы ее знаете? — спросил А. И. Тургенев, стараясь скрыть удивление, словно услышав шутку дурного тона.

Бейль взглянул на Тургенева, потом с застенчивым и неловким видом произнес:

— Простите мою шутку, я совсем забыл, что вы не привыкли к этому прозвищу Мериме.

— Боже мой, — вспыхнул Тургенев, — мне показалось, что вы спрашиваете так о невесте моего брата Кларе Виарис!

— Тем лучше, если у каждого есть своя Клара, — сказал Бейль. — Но я уверен, что мне реже пишут, чем вам.

— Да, я регулярно пишу и регулярно получаю ответы. Увижу ли я вас в Риме?

— Да, — ответил Бейль, — если вы будете там в октябре.

— Я буду там в декабре, — сказал Тургенев.

Дневник А. И. Тургенева. (Белая пергаментная тетрадь.) Флоренция, 26 ноября 1832 г. Ливорно — Пиза, 2 декабря. Перуджия.

«5 декабря. В пятом часу вечера выехали мы из Неппи, своротив с дороги Фламиния при Монтероссн на новую дорогу, которая ныне называется Виа-Кассия. В девять часов увидел я с пригорка... Рим!

В десять с половиной мы приехали ко второму завтраку. Тут встретил я Беля-Стендаля и показал ему его книгу. Он посоветовал заехать к Чези и дал мне записку к нему. В двенадцать с половиной мы опять пустились в путь.

6 декабря. Бель прислал мне Мишелотову «Римскую историю» при умной записке и остерегал от чичероне, коих имя начинается на «В» — вероятно, Висконти. Спасибо! День достаточный для меня по папе, по Ватикану. (Французская приписка.) *«Несмотря на величие и поэзию Ватикана и св. Петра, мое воображение не воспламенилось. Дух итальянских изгнанников наводит меня на прозаические и печальные мысли. Процессии священников и папская служба не могут отогнать мыслей о другой, прекрасной и бедной Италии, которую ясно видит мой разум».* (Извлечение из письма Беля ко мне.)»

7 декабря по дороге на Корсо А. И. Тургенев увидел идущего навстречу стройного высокого человека в широкополой шляпе, с великолепными вьющимися волосами, русой бородой и голубыми глазами. Встречные итальянцы почтительно обнажали перед ним головы. По энтузиазму и восхищенным взглядам, какими этого человека провожали встречные, можно было подумать, что это наследный принц или исключительно знатная особа. Поровнявшись с Тургеневым, он остановился, всплеснул руками, потом протянул их Тургеневу. Это был художник Карл Павлович Брюллов, выставивший в Риме только что законченную картину «Последние дни Помпеи». Ему было

тридцать два года. Он был беспечен, полон сил. В 1829 году, слушая оперу Пуччини «Последние дни Помпеи», он задумал написать эту картину. Засыпанный город только что начал показываться из-под слоя лавы. Бейль писал в Париж ди Фиоре в январе 1832 года: «Мозаики, открытые в Помпеях всего лишь два месяца тому назад, дают картину самого лучшего, что было в античной живописи».

7 декабря А. И. Тургенев, Брюллов, Соболевский, Кипренский обедали вместе в римской траттории, а на следующий день Тургенев сделал короткую запись:

«8 декабря. Обедал у Зинаиды Волконской. После с Белем пошел к Сент-Олеру и графу Циркур на вечер».

По дороге шел разговор о картине Брюллова. Бейлю она не нравилась.

— Посоветуйте вашему другу, — сказал он, — не выставлять своей картины за пределами Италии. Я имею сведения, что французская молодежь из артистических и художнических кругов сейчас плохо настроена ко всему русскому. Расправа царя с поляками отвратительна, а картина плохая. Почему она сейчас произвела впечатление на итальянцев? Только потому, что в Италии давно уже нет настоящей живописи. Это отсутствие живописи вовсе не обусловлено отсутствием «великого дыхания средневековья», как сказал бы какой-нибудь господин Гюго, — это вздор! Гений всегда живет в среде народа, как искра в кремне. Необходимо лишь стечение обстоятельств, чтобы искра вспыхнула из мертвого камня. Искусство пало, потому что нет в нем той широкой мировой концепции, которая толкала на путь творческой работы прежних художников. Детали, формы и мелочи сюжета, как бы художественны они ни были, еще не составляют искусства, подобно тому как идеи, хотя бы и гениальные, еще не дают писателю права на титул гения или таланта. Чтобы ими стать, надо создать круг воззрений, который захватил бы и координировал весь мир современных идей и подчинил бы их одной живой и господствующей мысли. Только тогда овладевает мыслителем фанатизм идеи, то есть та яркая определенная вера в свое дело, без которой ни в искусстве, ни в науке нет истинной жизни. У старых итальянских художников эта вера была,

и потому они были действительными творцами, а не копировщиками, не жалкими подражателями уже отживших образов. Кроме того, я никогда не отделял художника от мыслителя, как не могу отделить художественной формы от художественной мысли. Я не могу представить себе искусства вне социальных условий, в которых находится данный народ. В них, и только в них, оно черпало свою силу и слабость, приобретало великое значение или становилось пошлостью. Я не хочу сказать, что произведение Брюллова относится к последнему разряду, но ведь это академическая, сухая надуманность, это чистый классицизм, ничего не говорящий ни уму, ни сердцу. Здесь полное отсутствие той политики, которая составляет сущность исторической живописи.

Так как почти каждое утверждение Бейля встречало возражение Тургенева, то спор был очень жаркий. Подходя к французскому посольству, Бейль вдруг спохватился и спросил:

— Вы идете к Циркуру после Сент-Олера?

— Да, — ответил Тургенев.

— Я очень люблю его русскую жену, хотя никогда не могу произнести ее девичьей фамилии, но я боюсь, не осталось ли в самом старике Циркуре каких-либо замашек Полиньяка после долгого секретарства у этого министра.

В эту минуту прошел молодой черноволосый человек с очень красными губами и глазами, как вишни. Он поздоровался с Бейлем холодно и церемонно. Все трое поднялись по посольской лестнице.

— Я вам как-нибудь расскажу, что это за человек, — сказал Бейль на ухо Тургеневу. — Это тот самый В., о котором я вам писал.

«9 декабря. В десятом часу отправился к Белю. Застал его еще в постели. Условились назавтра начать прогулки по Риму. Висконти... шпион папского правительства.

Циркур заехал и вместе отправились на дачу французского посла Сент-Олера.

10 декабря. Продолжаю читать Тасса с большим наслаждением. Был у Брюллова, видел поэму его картины «Последний день Помпеи». Он основал главные черты на тексте Плиния и на сохранившихся предметах в Помпее, которую видел два раза...

В двенадцать часов зашел за мной Бель-Стендаль, и мы отправились осматривать Рим, прежде всего к церкви св. Петра и Монт-Орио, ибо, по мнению его, ниоткуда Рим так хорошо не виден, как с этой горы. Дорогой указывал он мне некоторые дворцы и церкви, древнюю статую Паскини у дворца Браски. Этот Браски был последним племянником папы, который умел грабежом воздвигнуть себе дворец. Папа долго не знал о богатстве своего племянника. Уверяют, что когда он в первый раз увидел его, то заплакал и велел поворотить в Ватикан, не навестив племянника в его пышном дворце».

Перед вечером, в часы затихания римского шума, большие листы тургеневского дневника заполнялись подробным перечнем всего виденного за день. Не без удивления записывает Тургенев бейлевские анекдоты, посвященные папскому Риму, отмечает вековечную вражду с религией и насмешки Бейля над церковью, которую он трактует как серьезнейшую организацию наживы; описывает наблюдающие взоры Бейля, который, повествуя о Риме всех времен, следит за впечатлением собеседника. Никто так хорошо, полно и интересно не может рассказать о Риме, никто не знает так глубоко древнюю, среднюю и современную Италию, как этот мудрый консул. Это уже не парижский легкомысленный и острый собеседник Виргинии Ансло, — это совсем новый человек, с которым почтительно раскланиваются не любящие его французы, о котором едко, насмешливо отзываются ревностные католики-итальянцы и которого с любовью, как друга, приветствуют плохо одетые римские простолюдины. «Откуда в этом человеке, столь аристократичном, дух демократизма? Почему он выбирает друзей из итальянской черни?»

Из окон Ватикана Бейль показывал то синеющие Альбанские горы, то дуб Тасса на высоком берегу Тибра.

«Условились встретиться завтра и опять рыскать по Риму. Налюбовавшись той лучшею картиною из окон Ватикана, мы тут и расстались. Я обедал у Циркура с Висконти. От них на вечер к Гурьеву. Брал карету на весь день».

Было шесть часов вечера. Русский дилетант Тургенев, собирающий документы, касающиеся истории России, путешествующий ради знакомства, лекций и осмотров, нисколько не утомил Бейля, но идти с ним к госпоже Циркур, чтобы встретиться там с господином Висконти, показалось Бейлю свыше сил. Он никогда не принуждал себя к обществу неприятных ему людей. «Бейль никогда не отличает преступника от человека, наводящего скуку, — для него это одно и то же», — говорил Мериме. Тургенев удалился, Бейль не пошел провожать его. Он хотел один еще раз посмотреть из окон на Яникул. Потом направился в Трастевере — за Тибр, поднялся на Яникул, к могиле Торквато Тассо, и сел на скамью под дубом, откуда вечерами особенно хорошо наблюдать затихание Рима. Солнце стояло уже низко. Безветренный, ясный день угасал. Крыши домов, купола и церкви, кресты и башни постепенно темнели. Подходили быстрые итальянские сумерки, и через какой-нибудь час улицы оделись тенями, и потянулись длинные, полупрозрачные полосы тумана с берегов Тибра. Только самые высокие кровли и купол собора Петра золотились еще лучами ушедшего солнца. Рим представлял собою зрелище великолепного умирания. Было жаль безвозвратно ушедшего солнца его истории, как жаль невозвратимых годов ушедшей жизни. Глаза жадно ловили последние яркие пятна заката и контуры величавых зданий, еще не исчезнувших в сумерках. Нестройный стук колес по старинным камням казался бесконечно далеким, затихающие колокола говорили о тихой кончине дня. Надо было идти, пока в низинах не появилась «aria cattiva» — вредный воздух, сулящий страшную лихорадку. Но двигаться было трудно. Несмотря на ясные мысли, бороться со смутными чувствами стало почти невозможно. Бейль вдруг почувствовал, что через сорок четыре дня ему будет ровно пятьдесят лет. От этой мысли впервые сжалось сердце. Он силился понять, что появилось раньше — мысль о том, что закатившееся солнце никогда больше не вернется, или сознание того, что половина столетия легла ему на плечи? Одно было связано с другим, он впервые всем существом почувствовал, что такое смерть. Каковы бы ни были следующие дни, он уже знает, что за всей полнотой бытия и счастья скрываются пустота и томительные минуты перехода в ничто. И так

как в здоровом состоянии он представлял себе смерть лишь рассудком, никогда не испытывая ощущение уничтожения, то теперь он испугался только потому, что это ощущение — следствие болезни. Смерть — событие печальное и неизбежное и нет средств его отвратить, потому бесполезно преждевременно отравлять себя этими мыслями. Нужно взять себя в руки, и так как подходит пятьдесят лет, то надо восстановить в памяти все, что было, записать все, что может радовать как воспоминание и что может дать полное представление о самом себе в высотах и низинах жизни.

«Неужели я уже дома?» — думал Бейль, когда прислуга внесла свечи. Как нарочно, куплена большая темнозеленая тетрадь с клапаном, с толстыми листами хорошей голландской бумаги. В этот же вечер были набросаны первые записи «Жизни Анри Брюлара».

Тридцатым годом, на дороге из России, жизнь раскололась надвое. Чтобы успеть все записать, не теряя времени и цепи воспоминаний, надо вести историю жизни Анри Брюлара, начиная с детских лет до тридцатилетнего возраста, и одновременно записывать встречи, события и впечатления человека, лучше всего в мире знающего самого себя, превратившегося в лабораторию, исследующую жизнь.

Так начались «Записки эготиста» — почти дневник, начатый с тридцать первого года жизни. Это отвечало всегдашнему стремлению Бейля осуществлять двойные замыслы: писать два разных романа, две критических статьи, две автобиографии.

12 апреля 1833 года А. И. Тургенев писал брату:

«Рим № 108. Я, может быть, съезжу в Чивита-Веккия к приезду Жуковского, но не поеду на пароходе, а возвращусь сюда и отправлюсь немедленно с Ангригом, дабы избежать моря, которое помешало бы мне наслаждаться беседою Жуковского, а я приеду в Неаполь днем позже его. Так как дилижанс отходит в Чивита-Веккия три раза в неделю, то я должен выехать или 19... или 21... Посоветуюсь с консулом Белем, который вчера заходил, но не застал меня, и улажу с ним мою поездку».

Дневник А. И. Тургенева.

«24 апреля. В шесть часов утра с тремя римлянами и англичанами выехал я из Рима на Орвието. Отсюда до Чивита-Веккия проехали мы часа три. Наконец, увидели укрепления Чивита-Веккия и часового на одном из бастионов. В три часа пополудни я был уже в трактире, отыскал французского вице-консула и нашел его на канапе с греческими и французскими книгами, коими он сокращает скучное время. Я отдал ему письмо Беля, и он немедленно предложил мне свои услуги. Мы обошли город и пристань, видели этрусские вазы у здешнего антиквара, посетили археолога Манци, коего знавал я по журналу археологического общества в Риме, и осмотрели пристань, построенную императором Траяном. Плиний пишет, что он видел здесь Траяна, осматривающего строения гавани. Огромные каменные кольца приделаны к пристани еще во времена Траяна. Почти все женские лица, кои здесь я встретил, красивы. Некоторые прекрасны. Эти розы осуждены тратить свой запах в пустынном воздухе.

После обеда Лизимак Тавернье опять зашел за мною. Осмотрел я здешнюю тюрьму. В ней содержатся политические преступники и знаменитая шайка разбойников, коей атаман Гаспарони перегубил из своих рук сто двадцать человек. Вся шайка его с ним, и здравствует всего лишь двадцать два убийцы. С ними папа заключил условия, обещая не казнить их, если они сдадутся. Они сдались. Гаспарони не имеет ничего злобного и зверского в лице, напротив, какое-то добросердечие лисицы, вроде Сперанского. Я долго всматривался в него, и он смотрел на меня без малейшего смущения. Другие улыбались. На другой день, в шесть часов утра, отправился я с Лизимаком в городок Корнето, за два часа отсюда, на полмили от моря, на возвышении стоящий. В нем не более трех тысяч коренных жителей, но экскавации соседственного некрополиса Тарквинии — древнего этрусского города — привлекают сюда множество римлян и иностранцев. В Корнето заказали обед матери прелестной Джоконды. Мы шли по буеракам, мы были на земле, на гробницах Этрурии, которой цивилизация древнее римской. Товарищ мой спустился в одну из пещер, недавно открытых, и ходил в ней под землею, но для меня лестница показалась слишком перпендикулярно стоящей, и я последовал примеру Беля,

который, будучи здесь, также не спускался в эту гробницу; в те же, в коих проделаны удобные входы, входил и я, рассматривал этрусскую живопись, этрусские надписи, рылся.

26 апреля. Пять часов утра. В Риме назначен новый посланник, Латур-Мобур. Сух, но умен.

В Чивита-Веккия ожидаю Жуковского. Третьего дня отдал я здесь письмо Беля к его вице-консулу Лизимаку Тавернье, молодому греку, который говорит, что все канцелярские дела за него делает, между тем как Бель большею частью проживает в Риме. Бель писал ему обо мне: «Представьте Тургеневу мою библиотеку и мое вино». Два дня мы не расстаемся. Проходил мимо здания с двуглавым орлом на фасаде. Повернул обратно, дабы не встретить русского консула Аратта, из местных купцов».

В полукруглый порт Чивита-Веккия приходил корабль «Комета», восемнадцатипушечный бриг, встреченный пушечным салютом и флагами греческих и римских кораблей, приходил пароход «Фердинанд», а Жуковского все не было. Наконец, из комнаты Беля Тургенев и Лизимак в подзорную трубу увидали на горизонте чернеющую точку. Это было вечером. Лизимак сказал, что завтра эта точка превратится в пароход «Сюлли» и войдет в порт. Вечером французский военный бриг принял на борт живописца Горация Вернэ, вызванного Луи Филиппом в Париж для отправки в Африку, чтобы увековечить французский героизм в алжирской войне. Тургенев спал плохо. Он боялся, что не увидит Жуковского, не получит письма от брата. Жуковский был для него вестником негостеприимной, но все же любимой родины, которую хотелось и нельзя было забыть, как дорогого, но причинившего огромную боль человека. В эти минуты насмешливый и умный Бейль казался ненужным человеком, заслоняющим христианское смирение поэта Жуковского — ходатая за брата.

«28 апреля. Выехал на лодке навстречу Жуковскому. Увидел его на палубе, но к нему не допустили».

Сжимая кулаки, вернулся Тургенев на берег. Бегом, как юноша, влетел наверх, в кабинет Бейля, и с возмущением рассказал Лизимаку о неудаче.

— Да ведь карантин еще не снят, хотя холера кончилась, — сказал Лизимак. — Много мне было хлопот с этой холерой, — добавил он, обращаясь к четырем тучным и загорелым марсельским купцам, сидевшим в кабинете с трубками в зубах. — Вот посмотрите, уедет в Рим, бросит меня одного, а я должен работать.

— От такого консула страдает французская торговля, — заметил один из купцов.

— Не только торговля, но и кое-что другое, — заметил марселец помоложе. — Мы все замечаем, господин консул, что, когда вы уезжаете, начинается беспорядок, господина Бейля мы даже не видели в лицо.

Лизимак спохватился и не хотел продолжать при Тургеневе. Но судовладельцы разошлись, начались дифирамбы Лизимаку и брань по адресу человека, который, вместо того чтобы заниматься серьезным и общественно полезным делом, пишет решительно никому не нужные и никому не известные книжки.

Купеческий старшина, несмотря на нетерпеливые жесты засуетившегося Лизимака, закончил свою негодующую речь словами:

— Я второй раз вам говорю, господин консул, что если вы сумеете отделаться от этого либерала и якобинца, то мы-то уж во всяком случае не запоздаем с петицией купцов в министерство о назначении вас консулом.

Лизимак всплеснул руками:

— Что вы, что вы? Разве можно что-нибудь говорить? У нас с Бейлем до такой степени хорошие отношения, что я охотно прощаю ему его слабости.

— Как, вы уже не согласны? Еще месяц тому назад вы сами об этом просили.

Не желая слушать дальнейших разоблачений, Тургенев просил Лизимака оказать ему содействие в получении места на пароходе «Сюлли». С исключительной предупредительностью Лизимак пошел навстречу этому желанию. Он до такой степени обрадовался тому, что Тургенев не увидит Бейля на другой день, что лично с ним отправился на лодке, консульским приказом потребовал впуска на борт, и пока Тургенев сжимал в объятьях Жуковского, Лизимак предписал капитану везти Тургенева в Неаполь.

Глава сорок шестая

Начавши в Риме 20 июня 1832 года «Записки эготиста», Бейль в ноябре зачеркнул это название и, подражая Руссо, написал на заглавном листе слово «Исповедь». Отдаленные прогулки на Монте-Альбано, в Сабинские горы, поездки с крестьянами на охоту, прогулки верхом в горы, где жгут уголь, в рыбацкие поселки на берегу, ночлеги у пастухов, встречи с контрабандистами и революционной молодежью Романьи вернули Бейлю здоровье. Все чаще и чаще он думал о причинах своей привязанности к Руссо. Он вспоминал мнение деда Ганьона об «Общественном договоре» Руссо, вспоминал, как якобинец Гро, обучавший его математике, провожая своего воспитанника из Гренобля в парижскую Политехническую школу, подарил ему для чтения в дороге «Новую Элоизу». Теперь все чаще и чаще приходила в голову мысль о «натуральном человеке», о жизни, согласованной с естественными законами, об изумительном влиянии природы на состояние ума и поведение человека, о верховном праве народа.

В один из дней Бейль был оторван от работы письмоносцем папской почты, который вручил ему письмо Лепелетье — парижского издателя и книгопродавца. Лепелетье упрекал его в том, что второе издание «Красного и черного» вышло в Брюсселе. Бейль пожимал плечами и с горечью думал, что эта контрафакция будет стоить ему по меньшей мере шесть тысяч франков. «Этот милый человек думает, что я в состоянии вести отсюда судебный процесс против брюссельских контрафакторов». Тем не менее Лепелетье спрашивал, что можно было бы получить от господина Бейля. Бейль ответил ему 11 ноября:

«Я действительно тронут, милостивый государь, вашим обращением ко мне с любезным предложением. Вы правы. Я имею возможность заниматься не своим прямым делом. Что говорят ваши друзья из газеты «Дебаты»? Попрежнему ли можно во Франции писать и печатать свободно все, что хочешь, за исключением того, за исключением этого, за исключением пятого, за исключением десятого? Скоро ли мы докатимся до цензурных нравов Империи?

Я уже принял меры к тому, чтобы мои новые произведения были написаны не таким топорным языком, как

«Красное и черное». Если литература может дать мне сейчас три тысячи франков, я пошлю вам историю лейтенанта Левена, назовем ее хотя бы «Зеленый охотник — егерь».

Я купил здесь за страшно дорогую цену древнюю рукопись. Чернила пожелтели от времени. Я отношу ее к шестнадцатому или семнадцатому столетию. Эта рукопись, или, вернее, несколько рукописей, подернутых цветом старого времени, для меня легко читаемые, содержат краткие повести, приблизительно по двадцать четыре страницы каждая. Я называю их «Римскими повестями». В них нет ничего забавного, как у Тальмана де Рэо. Эти повести мрачны, но гораздо более интересны. Несмотря на то, что любовь играет в них значительную роль, эти истории были полезны для характеристики шестнадцатого — семнадцатого веков Италии. Они описывают нравы еще тех времен, когда Рафаэль и Микеланджело были детьми. Этих художников так идиотски теперь ставят в качестве легких примеров подражания. Наши академики и школы искусств забывают, что требовалась поистине отважная душа, чтобы достичь в те времена совершенного овладения кистью. Они протекцией добиваются теперь того, что нынешняя молодежь, осужденная на угождение начальнику канцелярии, должна применить только ловкую угодливость вместо крупного творческого характера, и тогда заказ на картину обеспечен.

Извините, сударь, я, кажется, удаляюсь от темы и несколько подражаю Пиндару. Не показывайте моего письма полоумным парижанам.

Я пишу теперь книгу, которая, быть может, является большой глупостью. Это моя «Исповедь», близкая по стилю Жан Жаку Руссо, но написанная с гораздо большей откровенностью. Я начинаю со времени русского похода 1812 года. Меня приводят в ярость пошлости господина Сегюра, который писал о Наполеоне ради того, чтобы выцарапать себе орден Почетного легиона у Бурбонов.

Мне говорили, что вы сделали объявление о выходе в свет нового романа господина Стендаля.

В добрый час!

Если вы мне обеспечите три тысячи франков, я пошлю вам «Зеленого охотника». Можете назвать этот роман «Премольский лес», если это вам больше подойдет. Вот все, что я могу сейчас сделать».

В начале зимы 1833 года Бейль был в Париже. Лотки букинистов, набережные Сены, нежный сероватый свет, каштановые деревья в Тюильри — все по-старому, но исчезла прежняя жизнь. Граф Газуль в Лондоне. У него был роман с госпожою Жорж Занд. Это уже во второй раз, но теперь он разорван, кажется, навсегда. На столе у Бейля лежит книжка «Двойная ошибка», только что появившаяся в книжных магазинах, в то время как автор, Проспер Мериме, путешествует вместе с Сеттеном Шарпом по необъятному Лондону. «Что с ним сделалось? Мериме, который упрекал меня за жестокость последних глав «Красного и черного», вдруг взялся за французскую тему и написал такую жестокую вещь, такую сухую, что горло пересыхает и губы трескаются, когда ее читаешь. Так он понимает нынешний Париж. Блестящее перо, но перекаленное и прожигающее бумагу. История Дарсене — самая трагическая история современной души». Бейль закрыл книгу с тяжелым чувством. В Париже, к которому он все-таки стремился не только чтобы уладить литературные дела, не оказалось и сотой доли того чудесного воздуха, которым он дышал в Италии. Здесь воздух сперт, исчезли горизонты. Это какая-то ложбина! Что представляет собою нынешняя Франция? Время размерено дельцами. Эта группа людей, суетящихся, дышащих полною грудью, сгребающих золото с биржевой лотереи, именуемой Францией, не имеет времени даже на презрительную усмешку по адресу нищающих дворян или «бездельников», фланирующих по бульварам, пишущих стихи, издающих книги.

При всеобщем возмущении общественных низов Франция отказалась помочь восставшей Польше. Под видом осторожности и миролюбия та же Франция позволяет Австрии беспрепятственно подавлять итальянские революции, которые были родными сестрами июльских дней. В день коронации Луи Филипп через посредство банкиров перевел все состояние Орлеанского дома на имя своих детей и поместил его в английском банке. Вместе с тем он не перестает обращаться в Палату с требованием денег для королевского дома. Палата отклоняет королевские требования в пятый раз. Вместо старых салонов с их веселостью и естественностью, с грациозным легкомыслием и свободным остроумием женщин появились в банкирских кругах, в предместье Сент-Оноре, которому королевский дом покровительствовал, нравы английских клубов,

пропитанные, в отличие от Англии, пристрастием к грубым застольным пирушкам, вульгарной и безвкусной роскоши. Луи Филипп, когда-то почитатель Вольтера, беспокоясь за свой престол, изменился с чрезвычайной быстротой. Он унижался, и в большинстве случаев безрезультатно, чтобы склонить на свою сторону католическую церковь. Двор принял черную, набожную окраску; в среде буржуазии развилась самая настоящая набожность, основанная на страхе перед четвертым сословием. Лицемерие, поддерживаемое реакционной литературой, начало распространяться в среде крупной буржуазии. Разрешалось все. Надо только, чтобы распутство и пороки были скрыты. Представительство сильных людей спасало миллионеров-аферистов во имя христианского милосердия, но педагогика общественного мнения упражнялась в суровых приговорах голодному подростку, укравшему булку. В прежнее время священник, снимающий сан, не лишался общественного уважения, лишь бы его поступок не вызывался корыстью, теперь простой развод считался неслыханным скандалом.

«Путь золотой середины» — фраза, брошенная Луи Филиппом, сделалась символом его власти, без блеска и без достоинства, его шествия на поводу у биржевых спекулянтов.

Бейль ясно чувствовал, что теперь, после происшедших событий, конец романа «Красное и черное» зазвучал бы совершенно иначе. Знакомые офицеры с негодованием рассказывали о том, что были попытки превратить их отряды, назначенные к защите французских границ, в карательные экспедиции против бастующих рабочих.

— Разве хоть один порядочный офицер согласится в этом участвовать? — говорили Бейлю друзья.

— Однако нашлось немало непорядочных офицеров, — возражали другие.

Бейль решил задержать сдачу Лепелетье своего «Зеленого охотника», прочитав данные ему Марестом стенограммы судебной речи Бланки, привлеченного по делу о коммунистическом заговоре. Говорила совершенно новая Франция. В ответ на вопрос председателя суда: «Чем вы занимаетесь?» Бланки отвечает: «Я пролетарий». — «Это не профессия», — говорит судья. «Как не профессия? — восклицает Бланки. — Да ведь ею занимаются тридцать миллионов французов, живущих своим трудом и лишенных политических прав!»

Читая, взглянул на письменный стол. Уже давно лежит письмо, принесенное неизвестно кем. Почтовая марка французской Индии, штемпель прошлого года. Почерк незнакомый. Разорвал конверт. Подпись: «твой Виктор». Вскочил, спросил, кто принес письмо. Нынче утром — почтальон. Письмо Виктора Жакмона, старого друга, написано было из Кашмира, и к письму приложена была история Фелиси Фелин, парижской буржуазки. Рассказанная когда-то Жакмоном, она до такой степени восхитила Бейля, что он просил ее написать для второго издания трактата «О любви», если это издание когда-нибудь понадобится. Восемь месяцев тому назад Бейль узнал из газет о смерти Виктора Жакмона в Индии. Мертвый писал к живому.

Добрый, сердечный и деловитый Ромэн Коломб высудил брюссельский гонорар — шесть тысяч франков получены за второе издание «Красного и черного». Значит, можно повременить с предложением Лепелетье.

В самом деле, «Зеленый охотник» не может идти в таком виде. Реальные впечатления от живой, настоящей Франции, соприкосновение с «дурным обществом», за которое так упрекают аристократические друзья, показывают, что все отправные пункты романа неверны. Но как изобразить систему провокации, борьбу пяти полиций, легитимизм карлистов, министерства, играющие на бирже и проигрывающие Францию, голодных рабочих, против которых высылают наполеоновских генералов, насмехаясь и над теми и над другими? Как изобразить изобретательные подкупы и погашение оппозиционного духа депутатов выгодными местами и подачками, как изобразить все это, если под видом обогащения края строятся фабрики и заводы, имеющие целью вовсе не равномерное распределение продуктов между людьми, а беззастенчивую наживу одного лица или группы акционеров? Как описать то, что важнейшие явления укрываются от света и понимания, а мысль французов искусственно направляется лживой прессой на искание других причин явлений и происшествий?

Отпуск пролетел быстро, не дав никакого отдыха от впечатлений Чивита-Веккия и вызвав даже какую-то скуку по морскому виду с орлиной скалы, на которой стоит консульский дом. Наступил декабрь. Бейль укладывал баулы. Переплетенный том «Зеленого охотника» положен на

самое дно. Лепелетье поморщился, ознакомившись с замыслом.

— Ничего не говорится о короле и слишком много такого о министрах, что не найдет себе читателей. Рассказ не занимателен, мало приключений. Боюсь, что не будет иметь успеха.

«Ничего не говорится о короле...» — это хорошо сказано, — подумал Бейль. — Когда госпожа Сталь была выселена из Парижа Наполеоном, она печатала свою «Коринну» в Париже. Друзья возили ей корректуру, и вот с торжеством типография отпечатала десять тысяч экземпляров. Рано поутру десять наполеоновских жандармов входят в типографию, запираются с префектом полиции, и к четырем часам пополудни десять тысяч экземпляров превращены в кашу. «Ваша книга замечательна, — писал министр полиции госпоже Сталь, — но несвоевременна: в ней ни слова не говорится об императоре».

— Но есть же разница между тем и этим, черт возьми! — с бешенством проговорил Бейль и зашагал по комнате.

Портье заявил, что неизвестный мужчина каждый день в один и тот же час спрашивает господина Бейля и, узнав, что он дома, уходит.

Бейль вспомнил слова Байрона, сказанные в Милане в 1816 году, после приезда из Женевы:

«Все лорнеты с другого берега были обращены на меня грязными стеклами, подглядывали за моими ночными прогулками, и хотя я приехал всего неделю, но говорили, что все горничные на улице Басс беременны от меня».

У портье Бейль узнал, когда отходит мальпост на Орлеан. На другой день, накинув пальто с большой пелериной и меховым воротником, в цилиндре с тяжелым ворсом и черной шелковой лентой, в больших меховых сапогах с меховой оторочкой на коленях, мягких и теплых, застегнув зеленые замшевые перчатки, Бейль опять слушал рожок почтовой кареты. Было холодно: через старые дребезжащие окна влетали струи холодного ветра и просачивались тонкие струйки дождя. Когда достигли берегов Луары и дорога пошла мимо ивняка и березы, мимо песчаных отмелей и черных тростников, медный цвет воды и зеленоватое небо предвещали перемену погоды. Через день выглянуло солнце. В маленькой харчевне, в ожидании заказанного завтрака, Бейль нашел старую газету от 20 июня 1832

года, сообщавшую о том, что господин Мериме, начальник канцелярии министра коммерции графа д'Аргу, распорядился увеличить пенсию Руже де Лиля до тысячи франков.

Итоги поездки в Париж: «Римские истории» никому не нужны. «Зеленый охотник» не будет пропущен цензурой. «Едем, едем в Рим, — думал Бейль, — там хоть сажают в тюрьму за чтение «Декамерона». Но надо опасаться Чивита-Веккия, а то может случиться, что в одно прекрасное время вдруг поймаешь себя на фразе: «Мне кажется, сегодня будет прекрасное утро». Этого еще недоставало! Бейль подошел к зеркалу. Во всю дорогу он ни разу не посмотрел на себя. Совсем не усталое, живое и тонкое лицо. Он похудел за время поездки в Париж и чувствует себя легче и лучше, но, помимо худобы от дорожной тряски, от холодной погоды и французской зимы, есть какая-то хорошая заостренность в чертах, которая так радовала Ганьона в дни русского похода. В Лионе, на берегу Роны, стоянка мальпоста. Мальчишки берут баул, двухколесный лоток принимает сундук с книгами, и все это сопровождает Бейля на пароходную пристань. На трапе ветер сбивает с его головы цилиндр. Опять начинается непогода. Красные облака перед вечером; лучи заходящего солнца дробятся пурпуром на поверхности реки, сломанной ветром. В каюте дама в розовой шляпе и молодой человек, русобородый, в огромном сером цилиндре, в голубом рединготе. Опершись на стол и скрестив ноги, он смотрит в окно. Дама улыбается и протягивает руку, молодой человек оборачивается — это Жорж Занд и Мюссе.

— Мы в ваши владения, господин Бейль.

— Почему же морем? — сказал Бейль, борясь с искушением спросить о Мериме.

— Мы боимся долгой езды в дилижансе.

Бейль улыбнулся и опять поймал себя на мысли, что ему хочется громко расшифровать эту боязнь езды в дилижансе. «Вы совершаете свадебную поездку, друзья мои,— подумал он. — Что может быть лучше парохода с каютой, вместо почтовой кареты и назойливых соседей. Ну, чтоб не мешать вам, я сам поеду в почтовой карете». Бейль твердо решил расстаться со спутниками в Авиньоне.

Мюссе был утомлен, но весел. По обыкновению, он открывал бутылку за бутылкой и пил легкое белое вино. Румянец покрывал его щеки, глаза блестели, но темные

круги под глазами показывали, что близость с этой женщиной не проходит бесследно для его сил.

— Милый Бейль, вы — консул, вы настоящий консул Римской провинции, в то же время вы отец романтизма. Вы — самое классическое из того, что мы имеем.

— Если бы вы знали, что за проклятая дыра моя Римская провинция, вы бы хоть выразили мне соболезнование, — сказал Бейль. — Вы не знаете, какая невероятная вонь идет от гниющих водорослей.

— Возьмите лодку и отъезжайте дальше от берега, — сказала Жорж Занд.

— Я подозреваю, что вы скоро будете это делать, но имейте в виду, что те лодки, в которые вы будете садиться, эти черные венецианские гондолы, полны паразитами, которые будут кусать вас лунной венецианской ночью, а лодки контрабандистов в Киодже всегда пахнут деревянным маслом и гнилым канатом. Не надевайте муслина, иначе от вас и через год будет нести всеми человеческими запахами.

— Фу, какой вы злой! Мне кажется, что вы говорите все это нарочно.

— Вы не хотите слушать практических советов старого путешественника, — сказал Бейль. — В таком случае я умолкаю.

На каждую фразу жоржзандовских восторгов Бейль отвечал иронией и подкреплял ее серьезной практической справкой, рисовавшей Италию как страну совершенно непривлекательную. «Эта женщина хочет сделать Италию постелью для своих любовных игр, — думал Бейль.— Бедный Мюссе, кажется, серьезно влюблен, он потерял голову и не знает, что эта поездка дорого будет ему стоить. Жорж Занд — это продолжение госпожи Сталь. Если та была отвратительна и глупа, то эта отвратительна и нагла. Обе достаточно фальшивы. Обе создают иллюзии, которыми не живут, но навязывают их другим. Обе совершенно лишены логики, в особенности Жорж Занд, которую толкает к писанию романов физиологический избыток, а не бескорыстная любовь к прекрасному».

Бейль вышел из каюты. В кормовой части парохода он сел на канатный круг и стал читать захваченное в министерстве сообщение французского консула во Флоренции. Математик-инженер Фоссомброни, став во главе Флоренции, призвал на службу бывших революционеров, ко-

торые, заглаживая грехи молодости, старались насадить австрийскую политику сыска и шпионажа. Это было известно Бейлю от Вьессе, но в сводных материалах министерства иностранных дел обрисована была совершенно другая картина. Ее нужно было поправить, никого не обижая и никого не опровергая. Вот второй аргумент в пользу выбора сухопутной дороги в Чивита-Веккия, чтобы не миновать Флоренцию.

Мюссе рисовал карикатуры на спутников в тот час, когда подъезжали к Авиньону. Перед заходом солнца началось сильное волнение. Пароход качало так, что он с трудом в четыре приема подошел к пристани у местечка Понт де Сент-Эспри. Бейль простился со спутниками и вышел на берег. Мальпост уходил только на следующее утро. Почтовая станция находилась на другой стороне реки. Было поздно. Подыскав, по совету носильщика, трактир у дороги, Бейль остановился в нем и велел подать себе ужин. С трудом добился отдельной комнаты и едва начал ужинать, как в комнату с робким видом вошел Мюссе.

— Боже мой, как я рад! — воскликнул он. — Мне сказали, что какое-то важное должностное лицо заняло лучшую комнату в «гостинице».

Бейль кашлянул.

— Пойдите скажите, что это не так.

— Нет, Бейль, кроме шуток, скажите, мы не могли бы отдохнуть в этой же комнате? Понимаете, все кругом переполнено. Гонят стада на север, пастухи и погонщики заняли весь низ. Я совсем не знаю, как устроить Аврору.

— Пожалуйста, приходите и занимайте комнату, — сказал Бейль, — только с одним условием: пусть мое присутствие будет мешать вашему ужину.

Ужинали втроем.

Смешанное вино опьянило Мюссе. Сначала он с огромным подъемом читал стихи, потом мрачный огонь загорелся в его глазах, и он стал говорить тяжелые, жуткие фразы о том, что всякий солнечный день скрывает черное небо рока, что солнце не в состоянии погасить мирового мрака.

Бейль смотрел на него, и чувство досады возникало у него в душе. Он сказал:

— Вы уничтожите себя такими чувствами и такими мыслями. Я знаю их источник.

Жорж Занд посмотрела на него с испугом. Бейль ответил ей вызывающим взглядом. Мюссе казался истощенным до дна. Он кричал Бейлю:

— Вы можете творить фантазии и сочинять, у вас есть факты, вы — человек счастья, вы, как Сулла, можете сказать про себя: «Я Феликс и Фауст, я счастливец и баловень судьбы». Вы видели восход и закат Империи, вы знали Наполеона. Вы сидели с ним так вот, как мы сейчас с вами.

Жорж Занд схватила его за рукав и опустила в кресло. Мюссе ее не замечал. Его русая голова опустилась на грудь, слезы выступили из покрасневших глаз. Он хрипло кричал:

— Во время войн Империи, когда мужья и братья сражались в Германии, наши матери, измученные тоской и страхом, произвели на свет целые поколения нервных людей. Зачатые в промежутках между битвами, росшие в школах под звуки барабанов, десятки тысяч малюток мрачно озирали друг друга, чувствуя слабость своих худосочных мышц. Время от времени появлялись их окровавленные отцы, прижимали детей к раззолоченной груди, брали израненными руками, затем опускали на землю и снова садились на коней.

Голова Мюссе опять опустилась на грудь. Плечи вздрагивали. Он продолжал:

— Никогда еще не проводилось столько бессонных ночей, никогда у городских застав и у почтовых станций не бродили такие толпы безутешных матерей.

Он вскочил и заходил по комнате.

— Вы строили тот мир, — кричал он Бейлю, — вы видели его своими глазами, вы знали, куда вы идете, вас увлекал порыв героических лет!

— Мы не только видели, но и умели видеть, — возразил Бейль.

— Нам не на что смотреть, — сказал Мюссе. — На развалинах этого рухнувшего мира водворилась наша юность, полная всевозможных забот. Мы, дети, были каплями горячей крови, оросившей землю, мы родились в самый разгар войны, мы пятнадцать лет мечтали о снежных равнинах Москвы, о палящем солнце страны пирамид. Теперь мы глядим на землю, на улицу, на дороги, на бурно бегущую Рону — везде пусто, и слышится только колокольный звон церквей нашей Франции... Когда дети

говорят о славе, им отвечают: «Идите в церковь». Когда дети думают о подвигах жизни, им говорят: «Будьте священниками». Когда дети, вырастая, говорят о любви, об энергии, о творческой жизни, им отвечают все то же: «Стройте монастыри». Но мы ответим на это, мы отдадим жизнь пьяному наслаждению и безумной любви. Пусть гибнет все... и на дне любви — обман.

— Ты пьян, Альфред, — тихо прошептала Жорж Занд.

Мюссе залпом выпил стакан вина и замолк.

Наступило неловкое молчание. Бейль разозлился. Он испытывал состояние, близкое к ярости. Правда слов Мюссе мешалась с таким отчаянием, которое переходило границы простой аффектации. Бейль ясно видел, что сквозь пьяные слезы проступает большое горе настоящего поэта. Он не читал его новелл и сейчас почти радовался этому. Он твердо решил, что не прочтет ни одной строчки Мюссе. Выпив залпом несколько стаканов вина, он сам почувствовал легкое опьянение. Он снова стал высмеивать мечты Жорж Занд об Италии, словно боясь, что она каким-нибудь поэтическим восторгом оскорбит его любовь к этой стране. Потом он внезапно спросил Жорж Занд:

— Много ль молодых людей с такими настроениями в Париже?

— Таких молодых людей, как Мюссе, вообще нет, но молодых людей, испытывающих горе, много в разных классах. Я знаю одного молодого человека из рабочей среды — это столяр Пердигье. Он нашел в себе силу бросить пить, он ходит из города в город, из департамента в департамент вот уже шесть лет. Внутренние противоречия, которые его терзали после личной неудачи, исчезли. Целью его путешествий является объединение всех компаньонажей и девуаров в огромный рабочий союз.

— Как, разве закон о цеховом устройстве рабочих прошел? — спросил Бейль.

— Нет, — ответила Жорж Занд. — Запрещены даже компаньонажи, но сейчас полиция смотрит на это сквозь пальцы.

— Так, быть может, эти легальные союзы допущены правительством с целью надзора? — спросил Бейль.

— Что вы, что вы! Разве это возможно?!

— Не доверяю вашему путешественнику, — сказал Бейль.

— А я ему очень верю, — настаивала Жорж Занд. — Это представитель новой Франции. — И, протянув Бейлю стакан, она сказала: — За новую Францию!

— За сохранение здоровья Мюссе, — предложил Бейль.

Мюссе открыл глаза и снова взялся за стакан. С его уст сорвалась непристойная шутка, которую Бейль подхватил, и оба захохотали. Посыпались анекдоты, сплетни и непристойности, от которых Жорж Занд морщилась. У нее выходило это так искренне, что Бейль минутами готов был поверить ей, но Мюссе, прекрасно знавший ее безудержный язык в иные минуты, продолжал, не смущаясь и не щадя своей подруги. Бейль встал и с пустым стаканом подошел к Мюссе.

— Ваш стакан, — сказал Мюссе и позвал прислугу.

Бейль вспоминал слова озорной итальянской песенки и притопывал в такт мелодии, держа в руках пустой стакан. Вошедшая прислуга остолбенела. Важное должностное лицо плясало в меховых сапогах. Широкий плащ с пелериной спустился с одного плеча, зеленая перчатка валялась на полу, и черный цилиндр был лихо откинут на затылок.

Последний лист альбома был пуст. Мюссе, плохо видя наносимые линии, поспешно набросал карандашом фигуру Бейля.

Поздно ночью, испытывая жжение и боль от выпитого вина, Бейль ворочался на деревянной скамье. За стеной раздавались грубые голоса. Женщина говорила:

— Пока все спят, полезай на чердак. Северный пароход пойдет завтра, тебя обещали укрыть. Жить больше так не могу. Сердце рвется на части. Пока не приедешь к Микеланджело, я не успокоюсь.

Грубый бас отвечал ей:

— Беспокойство везде одно и то же, тетка. Микеланджело тоже недалек от тюрьмы. Все мы кончим «женитьбой на вдове». Хуже всего, что эта сволочь Гризель таков же, как его отец. Он теперь жандармом в Лионе и недавно хвастал: «Отец казнил Бабефа и с ним шестьдесят пять, а я поведу на виселицу, — он сказал: «женю на вдове», — Жан Жака Руссо, Микеланджело Буонаротти

и всех шестьсот пятьдесят». Я предлагал смыть Гризеля, а в компаньонаже говорят: «Подожди!»

Бейль повернулся и стал громко кашлять. Голоса затихли. «Франция на вулкане — это клокочет подземная лава, если только я не галлюцинирую». Первый коммунист Франции, казненный в 1797 году, издатель «Народного трибуна», снова грозным призраком встал перед Францией в лице четвертого сословия.

Проснувшись в пять часов утра, Бейль быстро собрался и, вздрагивая от ночной прохлады, занял место в полутемном мальпосте.

Глава сорок седьмая

А. И. Тургенев виделся с братом в Швейцарии. 14 октября 1833 года Николай Тургенев женился на дочери карбонария Гаэтана Виариса — Кларе и уехал с нею. Александр записал в дневнике:

«Воскресенье. Женева. Брат и Клара уезжают. Я велел остановиться у пограничного камня; увидел его, вышли из кареты. Брат с нежностью подошел ко мне, взял меня за руку и с каким-то дотоле мне неизвестным чувством сказал мне несколько слов: «Что же мы не вместе, ведь однакож... Я вам все это... Вы все это сделали...» — что-то подобное. Он хотел говорить о моей поездке в Россию, которая беспокоит его. Я замял речь. Ощущения мои были неизъяснимы. Мы поцеловались, пожали друг другу руки и еще раз взглянули на разлучающий нас камень. Он сел в коляску...

...Пешком за колесами. 14 октября 1833 года, в семь часов утра, дописал и эту книгу с обновленною для меня жизнью. Начну другую, опять зеленую, здесь купленную. Где-то ее кончу? Опять то же сам у себя или у судьбы спрашиваю. *Потаенная жизнь еще не кончилась.* Но участь брата не тяготит ее более. С доверенностью смотрю на будущее, ибо вижу в нем для брата ясный и светлый образ Клары...»

А. И. Тургенев — брату Николаю.

«Рим, 16 декабря 1833 года, № 12. Ну, вот я снова в Риме. Это уже четвертый раз, как я сюда прибываю.

Пожалуйста, побывай у Кювье и скажи им, что очень благодарен за милое письмо, что никогда не забывал их дружбы и всегда вспоминаю с благодарностью о вечеринках их, но что *я не должен писать им из России.* Мадам Кювье пишет мне, что Бель-Стендаль был в Париже и возвращается в Рим. Если он еще у вас, то отыщи его и пришли с ним что-нибудь, например, книгу Шенье новую, или жилет, самый нарядный».

В Петербурге Соболевский, вместе с секретарем покойного Грибоедова Мальцевым, затеял постройку мануфактурной фабрики. Ему повезло. На Выборгской стороне заложил он Самсоньевскую мануфактуру. Его общественный вес значительно поднялся.

Только что прошел дождь, нисколько не освежив землю. Несмотря на декабрь, в городе жарко. Перед Бейлем снова тяжеловесные строения Чивита-Веккия. Кривые узкие улицы, главная площадь города. На площади св. Франциска таможенный агент закуривает трубку, набитую контрабандным табаком. Вот насмешливо здоровается, скаля зубы, первый мерзавец города, портовый комиссар Романелли. Вот, наконец, и консульская квартира с отвратительной мебелью, единственной, какую удалось достать. Огромные библиотечные шкафы, два комода, письменный стол и две конторки. На стене в простой бронзовой раме портрет Пасты, которую слышал в последний раз в «Танкреде» и опять опьянел от ее дивного голоса. На противоположной стене — портрет Гельвеция. Во дворе распрягают консульский экипаж. Два итальянца, переругиваясь, пятясь, несут баулы; гремят железные застежки, отваливается большой замок. Первым делом запираются в стол рукописи. Следует ли распечатывать сундук с книгами? Нет, его надо отправить прямо в Рим. В Риме до отпуска он жил у швейцарца Авраама Константена на маленькой улице Виа деи Барбьери. У Константена была свободная комната во втором этаже, в которой стояли кровать, кожаное кресло, небольшой столик и на полу сундук с книгами. Это было тайное убежище Бейля, известное лишь немногим друзьям. Туда приходили Тургенев и Соболевский. Оттуда втроем

уходили пить кофе в «Антико кафе греко», где однажды Тургенев показал на невысокого остроносого человека с длинными волосами и землистым цветом лица. Это был автор украинских повестей — Гоголь. Местопребывание Бейля внезапно открылось и даже неизвестно как. Просто в один прекрасный день Лизимак с развязным видом привез на квартиру Константена депешу. Вот почему, вернувшись из отпуска, после Парижа, Бейль не захотел останавливаться у Константена. Пусть милый швейцарец продолжает рисовать на фарфоре русских красавиц, с которыми познакомил его Бейль по просьбе Тургенева, заказавшего Константену миниатюру Потоцкой.

Утром баул отправлен на Виа деи Пьетра в гостиницу Чезари, где останавливался Тургенев. Следом выехал Бейль. Через три дня он явился в приемный час к посланнику. Латур-Мобур ничем не напоминал Сент-Олера. Сент-Олер, светский человек, державший салон, был сам писателем-историком и в то же время боязливым и исполнительным чиновником. У него неблагополучное аристократическое прошлое, и он не очень рассчитывал на доверие к нему июльского правительства. Он насквозь видел Бейля и в глубине души считал, что этот якобинец гораздо лучше знает итальянскую жизнь и политические интриги, чем французский посланник. Господин Сент-Олер был неумолим каждый раз, когда Бейль просил разрешения провести в Риме еще неделю. С Латур-Мобуром нужно поговорить откровенно. Сухощавый, морщинистый человек встретил Бейля без всякой приветливости. Бейль начал длинную речь. Посланник тихо и сухо прервал его заявлением:

— Зачем вам связывать себя бухгалтерией, корабельными журналами и паспортами путешественников? У вас есть для этого какой-то помощник. Живите, где хотите, а в случае затруднений приходите ко мне по утрам, я буду давать вам директивы.

Результат превзошел ожидания Бейля. Уплатив Чезари за месяц вперед, Бейль больше не беспокоился о Чивита-Веккия. Два раза в неделю мальпост увозил Лизимаку пакеты и два раза в неделю привозил Бейлю отчеты Лизимака и бумаги, требовавшие консульского распоряжения. Латур-Мобур был верен своему слову. Он прекрасно знал о состоянии консульства в Чивита-

Веккия и охотно подкреплял распоряжения Бейля своей подписью. У Чезари оказалось слишком шумно. На маленькой площади Минервы есть забавное сооружение барокко — мраморный слон, плотный, короткий, упрямо опустивший хобот и выставивший огромный лоб вперед. На спине у него воздвигнут мраморный обелиск, высокий и острый, дающий в сочетании с мраморным слоном самое странное впечатление. По дороге от этого слона в Пантеон возвышается неуклюжее здание с каменными выступами наличников и массивными стенами. В этот дом и переселился Бейль.

Вставая по утрам, он видел из окна молодых сабинских крестьянок в пестрых корсажах поверх платья, с большими корзинами цветов, овощей и рыночных товаров на головах. Папские жандармы и швейцарские арбалетчики в средневековых красно-желтых камзолах с пышными рукавами и старинными мечами на бедрах с грубыми шутками приставали к девушкам. Вереницы монахов и священников проходят мимо, спеша на Корсо, семинаристы в черных, зеленых, синих и яркоалых рясах идут в семинарию, к мосту св. Ангела. Изредка, разгоняя прохожих, проедет на осле, позевывая и показывая гнилые зубы, кто-либо из князей церкви в красной одежде и красной шляпе. Жандармы вытягиваются в струнку, руки взлетают к краю шляпы для отдания чести.

Лизимак недоволен тем, что все пакеты идут через посольство, но вместе с тем отсутствие Бейля развязывает ему руки. Он, фактически консул, заставляет путешественников забыть о господине Бейле, но когда они ворчат на то, что визирование паспорта обходится в пятьдесят скуди, Лизимак сочувственно кивает головой, потом с мрачным видом пожимает плечами и говорит: «Тарифы составлены господином Бейлем, поговорите с ним». И каждый раз в душе проезжающих остается досада на неуловимого господина Бейля, который способен, не будучи видимым, наносить им неприятности, несмотря на то, что его вежливый и предупредительный помощник старается их сгладить. Все-таки этот Бейль большой непоседа: сейчас его встретили на Виа делле Ботеге Оскура, а вчера вечером его видели в Неаполе на Виа Толедо. «Опять начались перелеты этого неугомонного француза, — говорит кардинал, управляющий полицией. — Что же, он на крыльях перелетает из Неаполя в Рим?»

В свое время покойный Курье познакомил Бейля в Риме с изумительной красавицей, своей подругой. Это знакомство продолжается, несмотря на то, что эта чудесная девушка сделалась теперь княгиней Каэтани. На Виа делле Ботеге Оскура, величественной и мрачной, словно созданной для тяжелых битв и долговременных осад, среди домов с окнами в железных решетках и разваливающихся домиков благородных, но обнищавших римлян, — возвышается фасад дворца, символ власти и славы, принадлежащий князю дону Филиппу Каэтани и его супруге. Как часто, забыв, что за плечами пятьдесят лет, Бейль стрелой влетал по ступенькам на верхнюю мраморную площадку дворца мимо пестро одетого портье, улыбающегося при виде всеобщего друга, синьора Бейля. Как часто сынишка дона Филиппа охватывал ручонками толстую шею этого француза, вскарабкивался ему на плечи и трепал ручонкой бакенбарды. Обстановка совсем не была похожа на парижскую. В любой час Бейль — дорогой гость и почти полный хозяин. Он уже давно не француз. Это настоящий миланец, с миланским говором веселой остроумной итальянской речи, с миланскими мыслями, с чувствами ломбардца и с вековечным, не тускнеющим образом Метильды Висконтини. Об этом никто не знает в Париже, об этом никто не знает даже и в Риме, равно как никто никогда не узнает о прекрасной дружбе женского сердца, подаренной ему Юдифью Готье.

Дон Микель и дон Филипп Каэтани продолжают разговор, когда входит Бейль, здороваясь и не прерывая, словно он член семьи. Немного погодя приходит молодой граф Джузеппе Чини с женой. Молодая, красивая, кокетливая, она наслаждалась своими двадцатью годами, своим успехом, красавцем графом Джузеппе и обществом Бейля.

В Дженцано, куда на лето выезжали Каэтани, Чини, прозванная графиней Сандр, и шесть или семь других семей, устраивали вместе с подростками-детьми игры под деревьями сада, и неоднократно старые дубы Дженцано были свидетелями того, как французский консул с глазами, завязанными платком, протягивая руки, осторожно переступал площадку при криках и хохоте играющих в жмурки.

Вот, наконец, он схватывает, ему кажется, молодого дона Филиппа за талию и кричит: «Вот он, узнаю!» — но,

подняв его на руки, вдруг чувствует шуршанье шелковых юбок и руки, срывающие у него повязку: покрасневшая графиня с важностью становится на землю, довольная своей выходкой, и поправляет прическу.

Дневник А. И. Тургенева.

«11 генваря 1834 года. Прочел пятнадцатую песнь, одну из прекраснейших в «Раю» Данта. Тут его генеалогия, рассказанная пращуром его Качья Гвида, и описание тогдашних нравов Флоренции, современных его пращуру, и опять об улыбке Беатриче:

— Che deentro ogli occhi suoi ardeva un riso[1].

13 генваря. Бал у Кривцова.

У меня сидел более часа Бель-Стендаль. Рассказывал много о Франции. Религия католическая не оживает. В Париже ежегодно при Наполеоне сорок пять тысяч гостей. При Бурбонах было меньше. Теперь опять столько же, потому что с досады и от скуки Сен-Жерменское предместье снова заходило в церковь, вместо того чтобы ходить на бал к королю. В провинции кюре вредят тем приходам, в которых население ненавидит иезуитов, а горожане любят свою революцию 1830 года, в то время как попы ненавидят ее. Отсюда поголовное отвращение к церкви в простом народе. Церковь Шазеля делает успехи и готовит протестантизм во Франции. Сен-симонисты спаслись от насмешек только начавшимися гонениями правительства. Аргу и Бартэ скоты — преследуют. Гизо умен и школы его учреждений прекрасны. Он мало прибегает к содействию Кузена и Вильменя, чтобы последние не приписали себе его собственных действий. Они уже упали в мнении как кандидаты. Минье съездил в Гишпанию, в поместье Тьерса, но не заметил и не вывез ничего полезного. Ренуар делает то, что от него хотят. Тьерс один выше всего министерства, а министерство равно с народом, но Тьерс делает что хочет из камеры и выпрашивает сумму на достроение памятников, только двух: триумфальной арки и арки Магдалины. Новых строить не будут, ибо он здраво рассуждает, что пора прекратить налоги с французской бедноты для поддержания великолепия Парижа. Вопрос: следует ли кончать начатое? Тьерс решил утвердительно. А Шатобриан? Шатобриан пал.

[1] Столь радостен был блеск ее очей... (*итал.*). (*Перевод М. Лозинского.*)

А мадам Рекамье? Махнул рукой. Все еще имеет влияние. Ведь судите сами: Париж — рай для старых женщин. Броглио неясно видит и говорит старые доктринерские вещи. Тьерс все-таки выше его. Имейте в виду, что сейчас *у французов одна любовь — поляки!* Их выписывают, дают им пенсии.

Возможно ли возвращение Бурбонов?

Надолго — невозможно.

4 февраля. Идучи по Корсо, встретил я папу, едущего в золотой восьмиместной карете. Он сидел один. За ним отряд конницы и жандармов... И короли французские перестали так ездить, с таким конвоем. Так возят только уголовных преступников.

В кафе встретил Беля. Болтал с ним о князе Вяземском. Сообщил ему содержание письма его о нем: «Недаром судьба свела тебя со Стендалем, автором «Красного и черного», величайшего романа нашей эпохи. Ты сам своими скитаниями и любовью к прекрасному похож на сего замечательного автора».

Вместе с Белем вышли из кафе. Он рассказывал мне о процессе Чезарини, о литературе, говорил о книге посмертных произведений Андре Шенье, кои он почитает поддельными и приписывает их Детуту. Мы бродили по Корсо, осыпаемому мелом и цветами идущего навстречу карнавального шествия. Бель остановил меня против дома банкира князя Торлония. «В этом дворце, — сказал Бель, — еще совсем недавно была церковь. Это единственная церковь в Риме, обращенная в частное жилище, *и то, чего не мог сделать папа Пий Шестой для своего племянника Браски, зарившегося на этот дом, то ныне удалось за деньги банкиру».*

Я зашел к графине Гурьевой. Встретил графиню Боргезе и дочь ее, Мортемар. Подошел к ним, сказал слова два примирения матери, пожал ей руку, и она обещала закидать меня конфетти. Я решил быть у ней сегодня на балу. Вечером получил записку от Беля. За один присест прочитал прелестную «Двойную ошибку» Проспера Мериме.

8 февраля. Обедал с Ланским. Играли оркестры. Музыка упоительная. Все сидевшие за столиками пели.

Воздух наполнился музыкой. Пили. Ко мне подсел Бель-Стендаль. Заказал алеатико. Болтали о многом и о предстоящем бале у австрийского посланника Лютцена.

Потом вышли на Корсо. Карнавал в полном разгаре. Черти, адвокаты, сановники, рыцари, маски, пестрота и яркость, огромные ленты и потоки цветных конфетти, засыпающие проходящих. Бег лошадей. Великое множество экипажей. Маскированные бросают в окна верхних этажей померанцы особой машинкой. Графиня Комон бросила на меня пасхальное яйцо, разбившееся на рединготе. Посыпалась мука, и я и Бель оказались убеленными паче снега.

18 февраля. Бель прислал мне книгу Ампера о Китае.

Был у Кривцова и на лекции Бунсена».

С Корсо, в дни карнавала, простившись с Тургеневым, Бейль каждый раз сворачивал на Пьяцца Навона. Это лучшее место в мире. Дома из серого, почти неотесанного камня, расположены полукругом; огромные серые плиты устилают площадь; фонтаны с тритонами, нимфами, нереидами и наядами из белого мрамора, позолоченного временем и позеленевшего от воды, выбрасывают широкие струи воды, сверкающие под золотыми лучами вечернего солнца. Среди белых мраморных фигур, населяющих площадь, и прохладных фонтанов с бассейнами выделяется одна чудовищная фигура — черный тритон из черного мрамора, сросшегося с белым куском неотесанного камня той же породы.

Графиня Чини в маске, хорошо знакомой Бейлю, потому что он сам принес ее с виллы Горация Вернэ, пляшет с доном Филиппом. Она третий день смотрит на него так насмешливо в узкие разрезы маски, дуновение каждый раз так поднимает кружево, когда, делая тур, она приближается к Бейлю, что Бейль решается объясниться. Полушутливо, полусерьезно он говорит с доном Филиппом. Чини смеется, и Бейль, начав с шутки, переходит к серьезной пламенной жалобе. Он говорит о своем полном одиночестве, о том, что в начале этого века, пятнадцать лет тому назад, он мог бы быть более счастливым, чем теперь, и его жизнь сложилась бы иначе. «Но эта женщина умерла в тот же год, когда умер ваш друг, — обращается Бейль к Каэтани, — в тот же день, когда был убит Курье». Дон Филипп отходит. Чини берет Бейля под руку. Они вместе садятся в коляску, чтобы поехать на Пьяцца На-

вона. Пока Бейль помогает своей даме ступить на подножку коляски, среди шума и возгласов веселящейся толпы раздается голос:

— Я его знаю. Это не то Байли, не то Бельи, черт знает как его фамилия, — одним словом, тот, который написал жизнь Гайдна, а в этом году снова выпустил книжку «О любви» [1]. Он ничего не понимает в музыке.

Это замечание принадлежит композитору Берлиозу. Его спутник проворчал недовольно:

— Знаю я этого медведя из Гренобля. Это своего рода дофинский монтаньяр Гебер — революционер, коммунист, атеист, вообще сочетание всех милых качеств.

— Как же его держат консулом? — спросил Берлиоз.

— Лучше, чем держать в Париже, — ответил неизвестный.

— Слышите, как вас честят? — сказала Чини, уезжая с Бейлем.

Карнавал прошел, наступили будни. Хорошо, если эти будни сопровождаются немногими минутами ежедневных неприятностей, но у Бейля вышло иначе. Господин Моле уже не министр иностранных дел. На его месте сидит генеральный секретарь герцог Брольи — дюк Броглио, как пишет о нем Тургенев. Он совсем не расположен к Бейлю как писателю, тем менее он желает терпеть в качестве консула господина Стендаля. Посланник, пожимая плечами, передал Бейлю бумагу: в 1832 году министр иностранных дел (увы, уже не граф Моле!) посылает ему предупреждение, в 1834 он получает самый настоящий выговор.

«Я имею основание думать, сударь, что, несмотря на особое предупреждение, полученное вами от моего предшественника, предупреждение, вследствие которого вы должны были бы подчиниться 35-й статье приказа от 20 августа 1833 года, в котором говорилось о непрерывном пребывании в Чивита-Веккия, вы продолжали часто отлучаться из этого города. Я согласен закрыть глаза на

---

[1] В Париже действительно Богер напечатал второе издание трактата «О любви», а Вердьер напечатал анонимно книгу Бейля «Путешествие по Италии и Швейцарии в 1828 году».

это упорное и длительное нарушение приказа лишь в том случае, если оно не возобновится. Советую вам, сударь, выполнить это, если вам хочется удержать за собой должность, порученную вам Е. В. Мне не представляется возможности, в виде исключения, освобождать вас от этой части ваших обязанностей...»

— Какой ужасный язык! Это язык пьяного полицейского. Чья это подпись? Кто этот господин Рини? — спросил Бейль.

— Кто бы он ни был, во всяком случае не в нем дело, — сказал Латур-Мобур. — Мое позволение остается в прежней силе, но я не могу устранить тех ваших «друзей», которые исподтишка делают вам гадости.

Бейль поехал в Чивита-Веккия. В Риме он писал «Брюлара», по утрам бегло делал заметки для «Исповеди» и продолжал писать для «Голубого портфеля», в котором лежала уже не одна глава неизвестно какого романа, посвященного Италии. Нужно было взяться за переработку «Зеленого охотника», или «Премольского леса», или вернее, «Левена», как сокращенно он называл свой роман.

Лизимак встретил его хитрой улыбкой и подобострастными вопросами о здоровье. Бейль нашел у себя на столе возвращенную докладную записку о правлении Фоссомброни во Флоренции, один из лучших его дипломатических документов, на создание которого он потратил столько времени. Материал был возвращен как «абсолютно непригодный», причем, просматривая пометки на полях, Бейль понял, что от него требуют воздерживаться от выражений «камарилья», «папское шпионство», «австрийский деспотизм» и т. д., так как эти выражения звучат оскорбительно и для французской власти. Вместе с этим документом пришло письмо от Юдифи Готье. Она писала:

«Я уже давно чувствую некоторое удивление оттого, что вы до сих пор в меня не влюблены. Я нахожу, что я должна бы прийтись вам по сердцу. Но успокойтесь, так можно писать только издали. Я слишком хорошо знаю, что всякий раз, когда я кажусь неприступной, вы уходите, но и когда я бываю мила с вами, вы исчезаете также. Откровенно вам скажу, что счастье говорить с вами и

наслаждаться вашим умом для меня дороже кратковременного помешательства влюбленных, не знающих, куда деваться, когда проходит головокружение».

Письменный стол был заперт. Однако, развернув последние страницы «Левена», он увидел на них кляксы, сделанные чужими чернилами. Казалось, кто-то копировал места, касающиеся правительственной организации избирательных подкупов. «Это не предвещает ничего доброго», — подумал Бейль. И, обрекая себя на долговременное сидение в Чивита-Веккия, снова принялся работать над романом. Он выдрал наиболее опасные в цензурном отношении места, потом, убедившись, что никого нет ни в соседней комнате, ни в коридоре, запер дверь на ключ и приподнял половицу. Он достал оттуда небольшой пакетик, из которого извлек тонкую, слегка пропахнувшую плесенью книгу под названием «Криптография». Весь вечер и всю ночь он проискал такое сочетание криптографического письма, которое дало бы ему единственный и неповторимый шифр. Вспоминая старые математические занятия, хорошо владея языком цифр, он к вечеру следующего дня имел вполне законченный полный шифр и изготовил сам ключ к нему. Его шифр совсем не был похож на дипломатические шифры Франции, простые и доступные любому политическому шпиону. Он явился результатом напряженных поисков страстного фантаста и образованного математика.

В течение следующего месяца работа пошла на лад. Бейль уже легко писал и шифровал. Никакой Лизимак, вскрывающий письменные столы, для него теперь не страшен. Все презрение к мещанской Франции, к акционерному обществу «Луи Филипп и компания» заключено в сухих и четких формулах зашифрованного письма; потом, не щадя себя в утомительной ночной работе, он заново переписал все в зеркало. Если бы даже какому-нибудь гению удалось найти ключ к зашифровке, то расшифроваться могли бы только буквы в обратном порядке слов. Он чувствовал, что конец его жизни может быть совершенно отравлен, и это сознание опасности пробуждало в нем суровое упорство. То же упорство сказывалось и в другой работе. Рукописи, купленные в Риме, давали сюжеты для самых чудесных повестей. В них были сухие протоколы старинных папских судов, повести о герцогине

Пальяно, о семействе Бранчифиоре; тут были наилучшие доказательства того мнения Курье, что старинная римская аристократия приобретала состояния развратом. Это подтверждается целиком «Хроникой семейства Фарнезе», в которой римский папа и проститутка выступают в качестве союзников в деле наживы и грабежа. Тут была интереснейшая повесть о Виттории Аккорамбони, заканчивавшаяся историей осады частного жилища с применением пушек и правил крепостной артиллерии. Это описание напоминало осаду дома Чиро Менотти, казненного пять лет тому назад в Модене. Его дом видел Тургенев и рассказывал о следах разрушения. Надо взять в Риме копии моденских протоколов, для того чтобы, превращая их в историю о Виттории Аккорамбони, заимствовать нужные краски у действительности. Тут была история семейства Ченчи. Дочь изверга принуждена была прибегнуть к отцеубийству ради спасения всей семьи, но и сама не получила спасения от христианнейшего милосердия папы. Надо ехать в палаццо Барберини, чтобы видеть портрет Беатриче Ченчи, нарисованный Гвидо Рени. Надо сделать еще одно дело. Не довольствуясь наличием этих отрывочных протоколов, надо вместе с Тургеневым побывать у монаха Марини и просить в Ватикане разрешения посмотреть протоколы шестнадцатого и семнадцатого веков. Это не трудно сделать через посла.

Наступили жаркие дни. Опять горячее солнце и ариакаттива по вечерам, опять лихорадка в крови и повторение старых ревматических болей. Необходимо сделать перерыв. Латур-Мобур разрешил переселиться в Монте-Альбано. В Ариччии Бейль вздохнул свободно. Холмы, сменившие собою когда-то грозно клокотавшие вулканы, были покрыты лесами и озерами, до краев наполнявшими кратеры. Среди густых лесов рядом с дубом растут неотцветающие дикие розы, и тысячи соловьев составляют оркестр дубовой рощи, дремлющей под лунным светом.

Эти дни в Монте-Альбано и в Ариччии пронеслись с невероятной быстротой. Уже осенью, встречая Бейля, Тургенев спрашивал, что делается с его глазами. Веки опухли, и красные полосы лежали у ресниц. Чтение двенадцати фолиантов, написанных ужаснейшим латинским почерком шестнадцатого века, не проходит даром. Два переписчика отказались работать. Приглашен третий, и в скором времени все двенадцать томов материалов будут готовы.

«Только Бейль мог выносить такую адскую работу в Риме», — говорил Тургенев. Бейль думал, вспоминая впечатления ранней молодости: «В соляных копях Галена, там, где огромные подземные озера насыщены соляным раствором, проводники бросают сухие, безлистные ветки грабины, которые через несколько минут покрываются кристаллами соли. Сухая и безлистная ветка звенит и при свете факелов переливается всеми цветами радуги. Сухие и мертвые протоколы старинных судов, исковые записи и тяжбы старой Италии, только соприкасаясь с насыщенным раствором моего воображения, могут загораться блеском и превращаться в живые и яркие картины. Будем работать!»

Четыре томика новелл готовы. Можно отдохнуть. По привычке все сравнивать с Францией, Бейль принимается за чтение французских материалов, мемуаров времен Людовика XIV, совершает поездку в Равенну и в другие северные города.

Лизимак после неудачной интриги подал в отставку, и Бейлю стало его жаль. «Куда деваться этому бедному греку?» — думал он. Министерство, наконец, узнало что-то помимо Лизимака и Бейля. Оно Лизимаку прислало предложение извиниться перед консулом. «Отношения становятся трагикомическими, — думал далее Бейль. — Я согласен притворяться, что плеск воды в стакане я принимаю за бурю, но я отказываюсь погибнуть в этой буре, если мне это предлагают». Он написал просьбу о переводе его на консульское место в любой южный пункт Испании, написал с полной серьезностью и с полной готовностью к переезду. Ожидая ответа, он закончил главу «Красного и белого» и начал писать следующую, рассказывающую о том, как молодой человек, не смогший вынести удушливой атмосферы Франции, уезжает в Испанию. Он хотел зашифровать эту главу, но не нашел на привычном месте шифровального ключа. Он уронил чернильницу, опрокинул письменный стол, в волнении бегая по комнате, но шифра нигде не нашел. Два часа он сидел в полуобморочном состоянии. Потом дрожащими руками взял последний переплетенный том, вставил его в рамы, переписал несколько строк в обратном порядке, глядя в зеркало, и пытался расшифровать. Это ему не удалось. Смертельно бледный ходил он по комнате большими шагами. Он лишен возможности прочесть произведение, на которое

потрачено столько времени. Опять начались попытки воссоздать процесс составления шифра. Но каждый раз выпадал какой-нибудь неуловимый поворот мысли. Бейль не узнавал самого себя. Его бросало и в жар и в холод. Он бросил попытку читать и хотел уничтожить написанное. Неожиданная потеря сил заставила его прилечь. Он проснулся только через сутки. Маленький римский врач Неппи, держа часы в левой руке, правой нащупывал у него пульс. Он покачал головой, заметив, что Бейль собирается говорить.

— У вас солнечный удар, — сказал он. — Вам нужен полный покой. Это пройдет бесследно.

Но Бейль месяц чувствовал непреодолимую слабость.

Отказ на просьбу о переводе в Испанию не вызвал в нем никакого огорчения. Другой пакет вызвал его удивление и досаду. Это был большой темнозеленый конверт министерства народного просвещения, содержавший диплом, подписанный Луи Филиппом, и знаки ордена Почетного легиона.

На краю города росли шесть кипарисов. За ними был маленький дом столяра Видо. Красивый старик был сыном французского офицера, обнищал и занимался столярным делом. Его жена, с очень молодым лицом и седыми волосами, со сжатыми от вечного горя губами, занималась шитьем и брала в стирку белье. Ей помогала дочь, двадцатилетняя девушка, тонкая, как стебель, голубоглазая, несколько суровая, как все люди, прямо смотрящие на жизнь. Видо делал книжные полки Бейлю и неоднократно высказывал ему порицание за его пристрастие к книгам. «Ничто так не портит человека, как книга», — говорил он. Бейль смеялся, спорил, но ему нравились тон и простая уверенность в своей правоте человека, не читавшего книг, но воплощавшего в жизни правила морали Руссо. Молодая девушка, в противоположность отцу, любила чтение. В ее суждениях было столько непосредственности и умения верно схватить сущность прочитанного, что Бейль все чаще и чаще заговаривал с нею, когда она приходила за книгами. Ему было грустно в минуты своего одиночества, а молодая Видо смотрела на него такими глазами, как будто обещала отогнать эту печаль. Однажды, после того как доверие и дружба устано-

вились между ними, он спросил, что сказала бы мадемуазель Видо, если бы Бейль предложил ей стать его женой. Она нисколько не удивилась и ответила совершенно спокойно: «Я была бы согласна, если вы не возобновите попыток отнимать у меня религию».

Видо — столяр, Бейль — консул. Девушка его любит, а он, кажется, тихий и спокойный человек. Но есть нехорошие слухи, во всяком случае надо посоветоваться если не с духовником, то с родным братом — монахом в Пьемонте. Бейль не получил ни «да», ни «нет», так как Видо ожидали ответного письма из Пьемонта. Лизимак посмеивался: «Вот когда сказался его настоящий характер. Аристократ, писатель, барон Стендаль, женится на дочери прачки. Мало ли других женщин? Нет, выбрать именно так, как требуют его якобинские взгляды. Это лучшее подтверждение политической неблагонадежности консула».

От Пьемонта рукой подать до берегов Изеры. Там, около Гренобля, есть дивная чертоза. Шартрезским монахам все известно, и вот монах Видо из Пьемонта наводит справки через монастырских лисиц гренобльской чертозы. То, что он получил, превзошло его ожидания. Столяр Видо в Чивита-Веккия весь вечер читал жене это ужасное письмо: *«О каком Бейле вы говорите? Если этот Бейль из Гренобля, то это атеист и нечестивец, богохульник и якобинец, противник бога и законных властей. Зовите его лучше Стендалем. Это новое имя антрихриста».* Отец и мать не дали благословения. Девушка поплакала и перестала видеться с консулом.

Глава сорок восьмая

Старший письмоводитель министерства иностранных дел, готовя черновик отказа на просьбу Бейля о переводе в Испанию, нашел несколько бумажных квадратов, испещренных формулами, условными знаками и цифрами. Это был ключ, составленный Бейлем для зашифровки романа о Левене, и на обороте одного из листков имелась надпись: «Красное и белое». Письмоводитель положил эти листки в конверт, запечатал и написал: «Отложить до выяснения». Пусть читатель знает: конверт этот

пролежал почти сто лет, до тех пор, пока молодой французский ученый не прочел романа «Красное и белое» и не напечатал его в полном виде в 1929 году.

В те дни Проспер Мериме слушал, как Мюссе читал свои стихи. То были стансы к брату Альфреда, Поль Эдм Мюссе:

Видел ты этот древний залив,
Где, покойно и вечно ленив,
Сладко шумит прилив?
Там Стендаль, этот дивный ум,
Полный счастьем глубоких дум,
Слышал этот волшебный шум.

За год перед этим Мериме кончил новеллу «Души чистилища», лучшую трактовку душевной опустошенности Дон Жуана. Весь следующий год он разъезжал по Франции. То были поездки должностного свойства, выяснявшие состояние важнейших исторических памятников Франции; то было сухое, довольно скучное изучение французской литературы. За год он ничего не написал, кроме писем булонской красавице, англичанке Дженни Декин. Во Франции время от времени бешеным огнем вспыхивало негодование рабочих. Но газеты молчали. Была тишина безвременья. Мериме чувствовал, что задыхается. Его новеллы становились все суше и суше. И вдруг в этот вечер, услышав стихи Мюссе, он почувствовал прилив освежающей тоски о друге и написал письмо Бейлю, одно из самых нежных, написанных им когда-либо. Он просил Бейля непременно приехать, надо было о многом поговорить. Бейль ответил слегка насмешливо, что Мериме, по его сведениям, путешествует с прекрасной испанкой и что он, Бейль, согласен приехать его поздравить, но лучше не в Париж. Мериме отвечал, что он не путешествует с прекрасной испанкой, но что, если Бейль захочет, он познакомит его с замечательной женщиной — Марией Мануэлой Монтихо. Бейль и Мериме назначили свидание в Лаоне.

Мериме уехал из Парижа грустный и растроганный, почти сейчас же после похорон отца. Мадам Анна Мериме думала, что опять должностная поездка, и советовала сыну отказаться, но, узнав, в чем дело, согласилась.

Бейль ехал с юга, похоронив не мало надежд. Письма Юдифи Готье его сильно разочаровали. Еще полгода тому назад он спрашивал ее о привычных, знакомых и милых вещах, напоминал ей мелкие привычки, трогательные при-

страстия. Она ответила, что рада будет его видеть, но часть перечисленных им вещей она забыла, а большинство привычек и привязанностей растеряла и разлюбила. Бейль все чаще и чаще ловил себя на мысли о том, что он входит в комнату, ожидая встретить кого-то, услышать чей-то голос. Он уже склонялся к мысли о том, что наихудшим уделом для него является свобода, которую он так ценил в молодости и с которой готов был расстаться в Милане. Преданная дружба, рыцарское уважение, самозабвенное почитание Метильды в первый раз заставили его совершенно забыть слово «свобода». Теперь это влечение было беспредметным. И, вставая по утрам на ночлегах, просыпаясь ночью от толчков дилижанса, он вдруг ловил себя на этой мысли. Нервы его напряглись до такой степени, что одного неосторожного слова соседа было достаточно для того, чтобы он почувствовал, как дрожат плечи от готовых вырваться рыданий.

В таком состоянии Мериме был ему необходим. Он рассчитывал, что разговор с этим человеком, таким справедливым при всей своей внешней сухости, поддержит его в тяжелое время. Списавшись из Чивита-Веккия с Мериме, он знал, что в назначенный день в одиннадцать часов Мериме будет под огромными каштанами лаонского парка. Как в молодости на свидание, вышел он из маленькой гостиницы без четверти одиннадцать и опоздал. Высокий человек в сером сюртуке, щуря глаза от солнца, зашагал ему навстречу. Они обнялись и долго не могли говорить. Из первых слов своего друга Бейль узнал о смерти Леоноро Мериме. Ясный, спокойный день, тихий, маленький город, в котором их никто не знал, говорили друзьям, что они не напрасно сделали этот выбор. Здесь провели они весь день, поверяя друг другу свои невзгоды и секреты, свою грусть от полного внутреннего одиночества. Бейль плакал, как ребенок. Мериме отворачивался, уходил от скамейки, вновь подходил, не чувствуя ни малейшей неловкости и нервничая оттого, что сам испытывал целый ряд незнакомых состояний. Двое мужчин, так не похожих друг на друга в жизни и так дополнявших друг друга в творчестве, в часы свидания являли собою пример самых совершенных человеческих отношений, без единого показного жеста; они не боялись чрезмерного проявления горя, их не пугала собственная застенчивость. Когда Бейль внезапно закрыл лицо руками, Мериме вдруг вспомнил

великолепную работу скульптора Жаннэ, изображавшую Марата. Мериме с жадностью смотрел на эти удивительные руки, восхитившие скульптора, снявшего с них слепок для своего Марата. Бейль помнил и любил Метильду с преданностью и самозабвением, отдавая себе отчет в каждом душевном движении. Мериме почувствовал бы себя совершенно растерянным, если бы он в одно прекрасное время стал супругом Дженни. Поверхностные увлечения и неопреодолимое физическое тяготение к женщинам злой породы создали в нем этот вечный страх неугомонного любовника перед большим, спокойным и житейским пристрастием к одному человеку. Переписка с булонской красавицей носила все признаки литературной затеи, но уже стала необходимостью. А в минуту горечи Мериме писал, что любая швея, продающая себя, чтобы помочь любовнику, сидящему в тюрьме, в тысячу раз лучше самой Дженни Пекин. И все же он был доволен, что эта женщина его понимала. За четыре года переписки она подарила ему три четверти часа своей жизни. Они встретились в Лувре, где Мериме видел ее всего лишь второй раз, и расстались так, что он не мог найти ее адреса в Париже. Мериме рассказывал об успехах без радости и вспоминал неудачи без печали.

Уже в Париже успокоенный Бейль думал о том, как велика разница между его поколением и тем, которое родилось в начале века, когда каждый год равнялся столетию. Минутами, переживая остатки старой болезни, Бейль чувствовал полный упадок духа. Он смотрел на себя как на третье лицо, и в таком состоянии, утром, ему легче удавались слова и обороты, характеризующие героев романа «Анри Брюлар»; он ходил по комнате (в своей квартире на улице Фавр) то сосредоточенно, то жестикулируя и произнося вслух наиболее богатые, наиболее четкие мысли, которые стремительно переводил затем на бумагу. Однажды в час дня за ним заехал Мериме и повез его в испанское семейство. Графиня Мария Мануэла Монтихо и две девочки, Евгения и Пакита, с любопытством ждали обещанного приезда господина Бейля. Евгении только что исполнилось девять лет. После часового разговора взрослых между собой она быстро вскочила на колени к Бейлю и потребовала рассказов о войне.

«Однажды под Молодечно инспектор коронных имуществ Бейль задремал в кибитке и проснулся на крутом

берегу около речки Студянки от выстрелов. Его каски не было на голове, и так как вы знаете, что на морозе страшно растут волосы, то вот появился этот чуб на лбу. Это знак московского похода».

Девочки благоговейно слушали.

Или:

«Дело было у Костель-Франко. Полковник Шестого драгунского полка вдруг закричал: «Бейте тревогу!» Мы схватили каски и через секунду были на конях».

Бейль стал частым гостем в доме Монтихо.

Когда он опаздывал и строгая англичанка укладывала Евгению и Пакиту спать, начинались просьбы о разрешении остаться. Он приходил в комнату девочек серьезный и важный, с грозным видом вынимал кипсеки Вернэ и литографии Жерара, и начиналось длинное объяснение аустерлицкой битвы.

Мериме писал странную, необычайную для него повесть: «Илльская Венера». Та же самая бесконечно соблазнительная и страшная Астра — богиня с немного раскосыми глазами, с чертами невыразимо прекрасными и злыми.

— Вы нехорошо относитесь к женщине, мой друг. Она для вас так же опасна, как цыганка Эсмеральда для монаха Гюго. Я уверен, что это вы надели Венере на палец кольцо и с тех пор боитесь, что произошло обручение. Знаете ли вы, что пройдут годы и вы начнете обожать кошек и собак?

— Вы мне это уже неоднократно предсказывали, — возражал Мериме. — Злые языки говорят, что вы уже обожаете собак. В Чивита-Веккия у вас пользуются большим почетом два пса.

— Да ведь я же хожу на охоту, — сказал Бейль. — Кстати, из этой проклятой Чивита-Веккия сегодня пришло извещение о том, что вице-консул Лизимак сломал замок моей комнаты, перерыл все бумаги и украл мое белье. Как хорошо, что здесь нет никакого Лизимака!

В магазине Мартине и Обера, на улице Дюкок, Бейль увидел картины и этюды модного Дебюффа. Это были портреты модных красавиц, весьма приукрашенных и в несколько нескромных туалетах. Бейль заинтересовался историей этого молодого художника. Ему показали его ранние картины. Они говорили о нем как о настоящем мастере.

Как же случилось, что этот человек опустился до превращения живописи в проституцию? История художника была настолько интересна и так характеризовала нравы теперешнего Парижа, что в три утра Бейль продиктовал стенографу, рекомендованному Проспером Мериме, отрывок «Федер, или денежный брак». Обнищание аристократии, нужда в деньгах молодежи и жесткое давление разжиревшего мещанина на вкус художника-портретиста приводят к тому, что талант совершенно угасает и остается сухое и мертвое отношение к действительности. Женщина, которую встречает на своем пути Михаил Федер, тоже является своеобразным продуктом буржуазно-католического воспитания. Монастыри в тридцатых годах этого столетия выпускали из своих пансионов женщин или благопристойных, набожных и глупых, или исковерканных и развращенных, под маской набожности. Но опять полная неудача с французской темой. «Федера» не удалось кончить так же, как не удалось кончить «Левена».

Министерство перевело Бейля на половинный оклад. Это прекрасно! Это дает ему возможность без конца растянуть отпуск и начать ряд путешествий в Шотландию, в Ирландию, на короткий срок поехать в Мадрид к Монтихо.

Дневник А. И. Тургенева.

«13 ноября 1835 года. Был у Жерара на званом вечере. Там Гумбольдт, Летрон, Мериме. Мадам Ансло занята с Гумбольдтом: он весь день провел с королем в Версале, который сам начал жаловаться на «Дебаты», что поместили статьи и речи, а между тем всем известно, что речи помещены с его согласия. Король же уверяет, что «Дебаты» действуют произвольно. За полночь засиделись при шутках Мериме и Гумбольдта о Корэфе и его свадьбе, о службе его при Гарденберге и при жене Гарденберга.

4 декабря. У Мятлевых на балу. Вся Парижская Русь там. Я представил Бальзака Лавальше.

26 декабря. Был у госпожи Лагрене. Болтал с птичкой, пил чай в салоне.

17 февраля 1836 года. У нас обедал Буонаротти, подробно рассказывал о Бабефе.

9 марта. У Жерара с Бальзаком о Сведенберге, коего ставят выше Якова Бема, Сен-Мартена и всех. Бальзак

также не любит Ламартина. «Ему не пристало быть Шателем», — сказал он.

13 апреля. Читал «Гробницы» Уго Фосколо.

20 апреля. У нас обедал и сидел весь вечер Буонаротти.

У мисс Кларк Мериме — рассказы. Оттуда к Жерару с Бальзаком. Разговор о многом и многих.

24 апреля. О Ривароле. *Эготизм* — английское слово.

15 мая у Давыдова с Мериме».

Начиная с 1835 года, А. И. Тургенев давал для пушкинского журнала «Современник» «Хронику парижской жизни». Она шла обыкновенно без подписи или с буквой «Э. А.», — то есть эолова арфа. Русский цензор безжалостно примешивал к звукам этой эоловой арфы скрип цензорского карандаша, и результаты бывали иногда весьма печальны.

«1 июня 1836 г. Нашел пакет от Вяземского с письмами от 8 мая, с письмами Толстых, с «Ревизором», а также с «Современником», в коем набросился я на свои письма и долго не мог успокоиться от бешенства.

Отнес карточку Филиппу Сегюру. Он уже в деревне. К мисс Кларк — она уже спит. У Жерара с Белем-Стендалем говорили о Риме, о Гурьевых и других. Мадам Ансло — и домой. Бесновался над «Хроникой русского» и долго не мог успокоиться от бешенства.

3 июня. К Ансло. Хозяин на первом представлении своей восьмидесятой пьесы. Хозяйка в беспокойном ожидании. Вдруг является около полуночи авангард приятелей. Пьеса удалась. За ними автор, весь в поту. С Ансло-женой о доходах за сию пьесу — Бель, мадмуазель Франклин. Проводил девицу до ее дома.

16 июня. В четыре часа утра был уже на границе и в пять оставил Францию».

«21 января 1837 года. Письмо к брату № 20. *Отдал письмо Аршиаку и завтракал с ним.* Он прочел мне письмо А. Пушкина о дуэли 18 ноября 1836 г. Чай, два фунта, отдал Аделунгу. После зашел к Пушкину... О Шатобриане и Гете, о моем письме из Симбирска, о пароходе, коего дым приятен глазам нашим».

Глава сорок девятая

Неугомонный Тьер управлял Францией, все больше и больше надоедая королю постоянными заботами о верности конституции и вечным страхом перед рабочим восстанием. Тьер стеснял Луи Филиппа, а его запугивание рабочим движением казалось королю намеренным и необоснованным. В 1836 году в Испании возникли так называемые карлистские войны, и французский министр захотел во что бы то ни стало помочь испанским буржуа в их борьбе против аристократии, мечтавшей о возврате изгнанного короля. 25 августа 1836 года, потерпев неудачу в подготовке войны, Тьер вышел в отставку, заявив, что аристократические реставрации, поражая буржуазию, открывают дорогу рабочим мятежам и что «от социализма может спасти только катехизис».

6 сентября 1836 года министром-президентом стал бывший министр иностранных дел Моле, когда-то наполеоновский сподвижник, человек спокойный, широко образованный и нефанатичный. Он был одинаково далек от доктринерской сухости Гизо и от авантюрного оппортунизма Тьера. Бейль, смеясь, говорил, что это назначение сделано в его пользу, так как у него с Моле прекрасные отношения. Он получил перманентный отпуск на половинном окладе, уехал в Париж и приступил к осуществлению старого литературного плана использования старинных итальянских хроник. В 1837 году он печатает в «Обозрении двух миров» «Историю Виктории Аккорамбони» и «Ченчи» и там же помещает сообщение об археологических работах в Этрурии под названием «Гробницы Корнето». В этом году он снова пытается вернуться к «Левену», но записывает только один эпизод, возникший после разговора с Соболевским о смерти Пушкина. Этот эпизод — вызов семью гвардейскими офицерами на дуэль литератора, неугодного правительству, с целью убить «на законном основании».

А. И. Тургенев был снова в Париже. Он писал в дневнике 27 января 1838 года, отсылая эти страницы П. А. Вяземскому:

«Париж. Полночь. Возвратился от Ламартина, но почти ничего нового не нашел на столе его. Советовался с ним и с женой его о том, что послать к вам. Он не мог ничего придумать, и оба указали мне на биографические записки Андриана. Тут присутствовал и сам автор — товарищ Пеллико, Конфалоньери и Беля, знакомого итальянским карбонариям. Помнится, я вам уже описывал Андриана. Он уверяет, что книга его может быть допущена в России. Я намерен послать ее через Е. Ф. М. Андриан сказал мне, что он как иностранец, не имеющий никаких связей в Австрии и не боящийся ни за кого, мог писать и писал без страха ни за себя, ни за других, *хотя, может быть, и не с полной откровенностью».*

Бейль в эти дни не виделся с Тургеневым. Он совершал свое четвертое и последнее путешествие по Англии, проводил вечера с Теодором Геком и Сеттеном Шарпом в клубе «Атенеум» в Лондоне и, сидя в первый раз в жизни в железнодорожном вагоне, делал вид, что движение колес по рельсам нисколько его не удивляет. Он читал корректуру «Обозрения двух миров» — то была «Герцогиня Паллианская», одна из самых жестоких итальянских новелл.

Из путешествия он вернулся здоровым и окрепшим. Отсутствие чиновнического нажима и интриг Лизимака, свобода передвижения и большая литературная работа вернули ему бодрость, здоровье и силы. В письмах к Мериме он отмечает юношескую горячность в отношении к женщинам как результат долгого забвения их. После путешествия в горную Шотландию, после поездок по глухим и пустынным ирландским побережьям, после посещений любимых мест Ричмонда и Виндзора он с необычайной легкостью переносил Париж, для которого он всегда был только наблюдающим странником, вечным скитальцем, опьяненным собственным умом и умением всюду зажигать жизнь.

Книжные продавцы Парижа и букинисты у Одеона, на набережной Сены, снова увидели эти великолепные руки с живыми пальцами, жадно перелистывающими страницы книг. Комната гостиницы на улице Фавр доверху наполнялась стопами исписанной бумаги и книжными тюками, зачастую приносимыми на геркулесовом плече самого Бейля. В ту пору в моду вошли путешествия,

описания местностей, путевые приключения. Сухие искусствоведческие отчеты инспектора Мериме раскупались нарасхват.

— За отсутствием неоткрытых стран романтики снова начали открывать Францию, — говорил Бейль, встречаясь с Мериме. — Я чувствую потребность отозваться на это.

И он отозвался. Он обязался одному издателю рассказать о своих поездках по Франции и даже получил авансом тысячу пятьсот франков за небольшой путевой очерк.

«Небольшой путевой очерк» разросся в обширный том, но Бейль этим не ограничился. Не беря с издателя денег, он с молниеносной быстротой предлагает ему второй том, потом третий, и всё за ту же цену. Издатель напуган; остановились на двух томах. Так появляются в свет «Мемуары туриста», герой которых — наш старый знакомый, поставщик нитяных колпаков на армию, вошедший когда-то в гостиную госпожи Ансло. Бейль сажает его в дорожный дилижанс и отправляет путешествовать по стране, которую «дураки называют прекрасной Францией». Автор снимает с себя ответственность за то, что этот армейский поставщик на своем грубом языке осмеливается говорить правду в глаза японцам. Когда колпачник замолкает, в дилижансе появляется торговец железом, потом его кузен. В конце концов по Франции путешествует некий безыменный коммивояжер, который раскрывает бытовые тайны марсельцев, бордосцев, бретонцев, нормандцев — словом, всех фальшивых и неуклюжих буржуа, проживающих между Бельгией и Испанией.

Напечатав эти два тома, Бейль немедленно забывает о них.

Они вышли анонимно и были с чрезвычайным недовольством приняты публикой. Мериме в ярости влетел в гостиницу на улице Фавр и, ударяя карандашом по странице, воскликнул:

— Какой-то негодяй меня начисто обворовал! Тут шестнадцать страниц без единой помарки списаны с моего путешествия по югу Франции.

— Восемнадцать, — поправляет Бейль.

Мериме с удивлением смотрит, потом бросает книгу и хохочет.

— Клара, дорогая, ведь не мог же я в такой короткий промежуток времени побывать всюду. Это не Ломбардия тысяча восемьсот двадцатого года, тогда я был моложе,

да и народ там лучше, чем во Франции. Я знал, что вы не обидитесь, но вот чего я боюсь: монолог торговца железом я взял из путешествия Миллина, — я боюсь, как бы Миллин не написал опровержения, клятвенно заверяя, что он никогда не торговал железом.

— Ну, в этом отношении могу вас успокоить: Миллин умер два года тому назад.

— Какое счастье! — вздохнул Бейль. — Расскажите, что делается в Париже.

— В Париже очень неспокойно. В прошлом году закончился процесс о тайном обществе «Времен года», построенном по типу прежних масонских организаций, а в этом году было восемнадцать политических процессов.

— В Италии то же самое, — сказал Бейль. — Братья Руфини в Генуе и Роморино в Пьемонте наделали много хлопот австрийцам.

— В газетах их называли простыми бандитами, — заметил Мериме.

— Вот до чего сильно это заблуждение, — сказал Бейль. — Имейте в виду, что в Италии не было бандитов в нашем смысле слова; почти все так называемые бандиты, или бриганты, являются республиканской оппозицией деспотическим проявлениям власти. Удивительно, как папские жандармы и австрийская полиция умеют создавать условия, толкающие людей на преступления. Но все так называемые преступники, начиная с семнадцатого века, являются желанными гостями деревень. Их не могут поймать только потому, что население не хочет их выдавать. В архивах Италии я нашел прямые указания на то, что составители придворных хроник и королевские летописцы проституировали историю. Они продавались, и, представьте, за недорогую цену, любому герцогу. Можете вы себе представить, что такой хроникер писал в угоду своему покровителю? Он клеветал на неугодных соседей и смешивал с грязью чистую волну народного негодования. В секретных протоколах семнадцатого века я читал ответы на суде так называемых бригантов. Это настоящие политические речи.

— Вы совершенно меняете установившиеся исторические взгляды.

— Дорогой мой, вы забываете, что для меня нет авторитетов.

— Вам пора изменить эту точку зрения. Во Франции авторитет — всё. Уменье отказаться от истины ради государственной дисциплины — первое условие нашего успеха.

— Успехи пройдут мимо меня, — сказал Бейль.

Князь Петр Андреевич Вяземский спрашивал, как пройти в 177-й номер.

— Это пятый этаж. Вам кого угодно?

— Мне нужно господина Бейля.

— Господина Бейля нет дома.

— Но мне показалось, что он сейчас вошел в эту дверь.

— Это вам только показалось, — упорно отвечал портье.

— Но ведь он сам вчера у господина Моле назначил мне этот час.

— Ах, тогда пожалуйте.

Вяземский постучал. Ответа не последовало. Он постучал второй раз. То же самое. Он постучал громче. В ответ раздалось движение отодвигаемого кресла и стук падения книги. Дверь распахнулась. Перед Вяземским стоял хозяин. Он был высок ростом и тяжеловат. Глаза пристальные, как у птицы, смотрели на Вяземского, стоящего в темном коридоре. Резко вырезанные ноздри. Бакенбарды уходят под подбородок. Бейль похож на коршуна, которого разбудила внезапная опасность. Вяземский сделал шаг вперед. Бейль узнал его и, наклоняя голову, широким жестом пригласил в комнату. Накануне у Моле шел разговор о беспрестанных попытках племянника Бонапарта — сына Гортензии — поднять движение в войсках в пользу бонапартистского переворота. Бейль рассказывал все известные ему анекдоты о Дюроке и других любовниках Гортензии, от которых мог произойти этот опасный авантюрист-претендент. Еще этого мальчугана голландский король признал бонапартенышем, но следующее произведение Гортензии прямо не знали, куда девать. Его фамилия Морни. Это очень опасный негодяй.

Прежде чем занять кресло, предложенное хозяином, Вяземский осмотрелся. Комната была в величайшем беспорядке. Над столом большая гравюра, изображавшая

Иродиаду, ломбардской школы. Огромный стол сплошь завален книгами и большими альбомами с гравюрами, изображавшими итальянский поход Бонапарта. На полу у самого окна разложена карта битвы при Ватерлоо. На подоконнике виды Кремля, портрет Кутузова, гравюра с изображением маршала Нея. На круглом столике в углу красовались маленькая старинная подзорная труба, треугольная шляпа с плюмажем и эфес старой шпаги с буквой «Н». Под столом темнели книги в пергаментных переплетах и огромные зеленые папки. Листки синей бумаги, исписанные мелким убористым почерком, были разбросаны на письменном столе. На одном из них Вяземский прочел:

Арриго Бейль, миланец,
поклонник Шекспира, Чимарозы и Моцарта.
Писал, любил, жил
от 1783 до???? года.

«Не похоже на то, чтобы он скоро заполнил дату смерти, — подумал Вяземский. — Это какой-то юноша по глазам и по умению работать живо и без передышки».

— Простите, что я не сразу вас услышал. Мне показалось, что это стучат у соседа. В последнее время я связан работой на срок, набрал очень много денег и должен написать на двадцать пять тысяч франков.

— О, это что-нибудь очень большое, что-нибудь из военной жизни, вроде «Мины де Вангель»?

— А вы читали «Мину Вангель»? — спросил Бейль.

— Да, читал и сделал вывод об опасности правды для женщины.

— Ну вот, как трудно дождаться одинакового толкования. Я знаю читателей, которые сделали выводы об опасности лжи. Но я вовсе не хотел писать нравоучительную повесть. Я хотел развить свою прежнюю тему о том, как женщина, наделенная исключительной силой чувства, не может быть понята нынешними французами.

— Итак, вы пишете большую вещь?

— Да, я заново переживаю свою молодость. Скажите, как дела Николая Тургенева?

— Он очень устойчивый человек, — сказал Вяземский, — но я боюсь за судьбу его брата. Вы обратили внимание на его непоседливость, на его вечную охоту

к перемене места? Это он сгорает от беспокойства о брате и, по-моему, не проживет долго.

Визит Вяземского был очень короток. Не снимая перчатки с левой руки и опираясь ею вместе с цилиндром на палку, он еще раз посмотрел на письменный стол, поднялся и вежливо откланялся. Бейль запер дверь на ключ и продолжал работу. Роман был уже совсем готов, но одна из глав затерялась в кипах бумаги и, к великой досаде Бейля, ее пришлось писать заново. Все лучшее, что было связано с этим романом, единственным любимым, в который он вложил всю свою очарованность жизнью, вдруг исчезло от необходимости заново переписывать предпоследнюю главу.

Под Греноблем была чертоза. Чертоза была также к югу от Болоньи. Отчего ей не быть в Парме, отчего этот красивейший город Италии не сделать местом, где в замкнутом горизонте гор и долин развертываются лучшие переживания и лучшие картины прекраснейших представителей лучшего народа на земле? Роман назывался «Пармская обитель», или «Пармская чертоза». Самые молодые, самые свежие впечатления собственной жизни Бейль пересадил в душу Фабриция дель Донго. Бейль был влюблен в своего героя. Он, теперешний пятидесятилетний Бейль, своим отношением к Сансеверина больше похож на графа Моска, этого сильного, умного и умеющего глубоко чувствовать человека. Фабриций всего лишь племянник Сансеверина, и если здесь восторженное отношение юноши сочетается с бескорыстным и большим чувством любви зрелого человека к героине романа, то она сама, эта бесконечно живая, восхитительная по уму, по быстроте и свежести чувств женщина, не раздроблена в нескольких образах романа, а дана в виде цельного характера, именно такой, какой была женщина, послужившая образцом для ее создания, миланская Метильда.

Под гнетом Австрии, ощущая позор собственной семьи, предавшей интересы страны австрийским захватчикам, живет семья дель Донго. Младший — Фабриций — этот чарующий, благородный юноша, которого судьба готовит в священники, убегает из дома и попадает уже в вечерние лучи героической славы Наполеона. То, чем другие кончали, уходя из истории, послужило для Фабриция исходным пунктом его героизма. Он уви-

дел закатные лучи грозного времени и спустился в сумерки отгоревшей жизни Италии. Эта страна — страна наилучших воспоминаний молодости.

Когда-то молодой Бейль был свидетелем внезапного пробуждения красивого итальянского города — Милана. Это было в июне, почти сорок лет тому назад; с уходом последнего австрийского полка этот живой и веселый народ вдруг понял, что после полуторавековой спячки, католической лжи и политического обмана человек получил снова право на риск, право на счастье, право на отдачу жизни за то, что любишь.

Но как описать битву под Ватерлоо? Как описать эту последнюю войну народов с Наполеоном, бежавшим с Эльбы, когда сам Бейль не только не верил в успех новой попытки императора, но даже не пошевельнулся, читая газету за мороженым в венецианском кафе «Флориана»? Когда-то, приехав в Кенигсберг, измученный побегом из Вильны и отступлением из Москвы, он узнал из серого клочка немецкой газеты, что Бородинский бой был одним из величайших сражений в мире, а между тем все офицеры, принимавшие участие в этом сражении, говорили ему, что это была большая сумятица, стычка отдельных отрядов, столкновения людей, панически машущих ружьями, стреляющих и колющих друг друга штыками. Собственные впечатления также подтвердили, что битва для участвующего в ней — просто дикая и нелепая свалка людей в кустарниках, на опушках и в полях, взрываемых невидимыми снарядами. Вот эту Бородинскую битву и нужно дать там, где идет описание Ватерлоо. Маршала Нея в бою Бейль видел сам. Он видел также молниеносное появление Бонапарта, когда небольшой отряд кричал приветствие и смолкал моментально, — все это было довольно прозаично. А смерть и ранения говорят скорее о том, что героические донесения выслуживающихся генералов — один из самых отвратительных видов человеческой фальши. Как-то раз голодный Бейль попросил у солдат кусочек хлеба. Фабриций тоже просит и получает отказ, сопровождаемый остротами. «Эти жестокие слова и общий хохот, вызванный ими, как громом поразили Фабриция. Значит, война не является тем благородным и общим подъемом душ, любивших честь выше всего, как он представлял себе

это на основании прокламаций и бюллетеней Наполеона?»

Это высшее понимание действительности, чуждое лжи и аффектации, пронизывало каждую строчку романа. Бейль перечитывал и мгновениями останавливался. «Да, это хорошо, это удалось, — думал он. — И все-таки меня будут больше всего читать лишь около 1935 года».

Перевернув страницу «Записок эготиста», он записал эту мысль о своем будущем далеком читателе, и ему стало легче. Приключения и тюрьмы Фабриция, любовь и интриги маленького итальянского двора, жизнь княжества, управляемого деспотом, повесившим когда-то карбонария и с тех пор всего боящимся, увлекли Стендаля. Достаточно ли хорошо показана природа нынешней власти, достаточно ли хорошо показана разница между итальянским и французским характером, падение революционной энергии во Франции, неистребимое стремление к свободе Италии? Достаточно ли рельефно изображена австрийская интрига, дробящая итальянский народ на крошечные монархии, которые образуют сеть полицейского абсолютизма Австрии?

«Да, это сделано хорошо, — говорил себе Бейль. — Все слои итальянского общества говорят своим языком, и основная мысль, что *«мании почтительности не хватит даже на нынешнее столетие»,* лучше всего подчеркивает мое отношение к авторитетам вообще. В людях остается все меньше и меньше страха. Человек все больше верит в себя. Каждая новая группа, ломающая историю, расширяет этот круг. И так будет до тех пор, пока это расширение не охватит человека целиком. Уже теперь скептическое отношение к самодовольству власти сильно подточило ее авторитет. Люди стали насмешливы, а где есть смех, там есть жизнь и движение вперед. Недаром я писал, что подлинная комедия невозможна у французов 1836 года, когда сам король проповедует фальшивую набожность и двор с банкирами делает постное лицо, одновременно подкидывая на биржу из секретных бумаг министерства такие сведения, которые сразу повышают акции, купленные королем под чужим именем. Уже теперь не пишут: «милостью божиею»; скоро наступит время, когда будут пересматриваться и слова «волею народа».

Глава пятидесятая

Бланки, Барбес и Бернар — последователи коммуниста Бабефа и друзья Буонаротти — к концу 1839 года полностью восстановили старую масонскую конспирацию в виде общества «Времена года».

12 мая 1839 года король и полиция были за городом на скачках. Утром «Времена года» захватили оружейные магазины, заняли один полицейский пост и городскую ратушу. Бланки был провозглашен главнокомандующим, было назначено временное правительство. Но не было связи с фабриками и заводами. Повстанцы были рассеяны городской полицией и стрельбой Национальной гвардии. Семнадцать человек были отданы суду Палаты пэров. Барбес и Бланки были приговорены к казни. Газета «Националь» выступила с требованием всеобщего избирательного права. Испуганные парижские банкиры стремились сократить даже те избирательные права, которые были предоставлены средней буржуазии. Министерство было напугано, король негодовал. В марте министр Моле вышел в отставку. Господин Гюго на первом представлении своей «Эсмеральды» получил сообщение о приговоре к смертной казни Барбеса. Он пошел в ложу короля и в стихах просил его о помиловании Барбеса. Луи Филипп прислал ему записку: «Дарю ему жизнь, но нужно вырвать ее из рук моих министров». Министры упирались, но дело кончилось пожизненным заключением в тюрьму Барбеса и Бланки. Это пожизненное заключение история сделала краткосрочным.

С уходом министра Моле для чиновников министерства иностранных дел открылась широкая возможность посчитаться с непокорным консулом. Только что вышли две прекрасные книги, украшавшие собою витрины парижских магазинов, — это «Пармская обитель» — большой роман, блестящая, ослепительно яркая хроника современной Италии, и «Аббатиса в Кастро» — старинная хроника, написанная в защиту итальянской молодежи, боровшейся за свободу в XVII веке. Обе книги были гимнами Италии, но тем не менее Апеннинский департамент министерства иностранных дел в Париже дал суровый нагоняй зажившемуся в Париже консулу.

«Что из того, что он знаток Италии, давший в докладных записках на имя Моле лучшие политические характеристики севера, юга, Романьи, что из того, что это автор блестящих хроник и замечательных романов? Нам нужен исполнительный чиновник Бейль, а до писателя Стендаля нам нет никакого дела».

В самые жаркие дни июня потянулись мальпосты по пыльным дорогам, везя хмурого путника, утомленного огромной работой. Голова, уставшая от зноя, не думала, глаза смотрели в окна на дорогу, на долины и горы, обсаженные лозняком и виноградниками, на оливковые рощи, на прямые, как стрелы, шоссе, бегущие через рисовые поля, на дороги римских деревень, где на каждом шагу встречаются гробницы, где на поворотах стоят ярко расписанные статуи мадонны, где на скалах в самых уединенных местах высечены глубоко кресты и надписи: «Синьор мио, дио мио» [1]. Все это было знакомо, и казалось, что уж прожита тысяча жизней.

Десятого августа 1839 года, посматривая на море из окна своей консульской комнаты, Бейль запечатывал в конверт следующее письмо:

«Чивита-Веккия 10 августа 1839 г.

Господину маршалу Сульт, министру иностранных дел Франции, Париж.

Господин министр, следуя приказу вашего превосходительства, я возобновил консульские работы в Чивита-Веккия сего 10 августа. По расписанию почтовых карет, я должен был прибыть раньше, но дважды был задержан в пути припадками подагры в Генуе и в Ливорно. Прошу вас принять, господин министр, выражение полной преданности.

Анри Бейль — консул».

Сколько раз в этом самом кресле, за этим самым письменным столом повторялся этот жест свертывания бумаги и заклеивания конверта, но почему-то именно сейчас с особенной остротой вспоминалась его гневная докладная записка в министерство с требованием о переводе в Испанию. Тогда чернильница стояла так же, так

---

[1] Господин мой, бог мой (*итал.*).

же лежали перья, и рука, взяв шифр, которым писался роман «Красное и белое», вместо того чтобы убрать его в стол, машинально положила в конверт. Все решается просто. Тут нет ни потери, ни кражи, только собственная рассеянность, но неудобно начинать об этом переписку, а «если я когда-нибудь буду в Париже...» «Почему я высказываю это в форме условного предложения? — подумал Бейль. — Конечно, буду в Париже, конечно, найду этот шифр. Но сейчас лучше об этом не думать».

Он вышел во внутренний дворик консульства. Виноградные кисти свисали с высокого одичавшего плетня, увитого лозами. Мальчишка итальянец кормил жирных голубей, Лизимак, выставив грудь, как петух, и заложив руки в карманы, созерцал свое царство. Стряпуха и разносчица стояли перед ним, как куры перед шантеклером. «Ого! — подумал Бейль. — Он выпячивает грудь, уже готовя ее к орденскому знаку. Представление уже прошло. А почему бы и нет?»

— До свиданья, Лизимак, — сказал он вслух и пошел пешком на станцию «Дилиженца велоче» — быстрых дилижансов.

Новый капо, начальник конного двора, не знавший Бейля, спросил у него документы. К счастью, они были с ним. Fu pagato per un posto nell interna dell carozza[1]. Через девять часов он был в Риме. Остановился в доме № 43 на Виа-Кондотти, потом в прохладе тихого вечера фланировал по испанской площади, взошел по испанской лестнице в церковь «Троицы на горах» и отправился к Аврааму Константену.

В Риме возобновились прежние связи. Радостно встретили старые друзья. Константен обратился к Бейлю с просьбой. По предложению господина Вьессе он написал книгу «Мысли итальянца о произведениях современной живописи», но у него ужасный язык. И вот по утрам начинается исправление корректуры. Сначала меняется фраза, затем дополняются мысли, потом новые мысли оказываются настолько свежими и яркими, что мысли Константена тускнеют. Автор яростно их выкидывает и весь загорается желанием перестроить книгу заново. Вьессе кричит, что они его разорят. Придется делать новый набор. Начинается война. Но она кончается полной

---

[1] Оплачено место внутри почтовой кареты. *(Примеч. автора.)*

победой Бейля и Константена. Выходит новая книга, принадлежащая двум авторам.

«Жизнь Анри Брюлара» вообще не может быть окончена, но частая одышка и головные боли говорят о том, что она не будет доведена даже до дня, предшествующего смерти. На всякий случай нужно ею распорядиться.

Бейль написал:

«Завещаю и дарю настоящую книгу Аврааму Константену, уроженцу Женевы, живописцу по фарфору. Если Константен не напечатает этой книги в течение тысячи дней со дня моей смерти, то я завещаю передать этот том следующим лицам: первое — Альфонсу Лавассер, издателю (Вандомская площадь, 7); второе — Филарету Шассль, литератору; третье — Анри Фурнье, издателю (улица Сены); четвертое — Полену, издателю, и пятое — Делонэ, издателю. А если случится так, что никто из этих лиц не сочтет возможным напечатать книгу в течение пяти лет после моей смерти, я завещаю эту книгу самому старому из всех издателей, проживающих в Лондоне, при условии, что его фамилия начинается буквою «К».

Бейль имел в виду Кольбурна, который платил довольно плохо и нерегулярно, но высоко ценил господина Стендаля и красиво издавал его книги без упоминаний имени автора. Французские журналисты переводили прекрасную английскую прозу на родной язык господина Стендаля. Переводы печатались охотно, в то время как оригиналы отвергались французскими журналами.

Готовя «Мемуары туриста», Бейль побывал в Гренобле. Пробыл он там всего один день и безрезультатно, как некогда, приезжая по делам Полины. Однако его интересовала история этих мест. Его отец купил когда-то имение Сент-Изме. Живя в Чивита-Веккия, Бейль скорее от скуки, чем серьезно, снова занялся французской темой. Он перечитал набросок романа «Ламиэль» и решил, что продолжать его не будет, но повесть о «Рыцаре Сент-Изме» вначале пошла хорошо.

Наступил октябрь. Погода переменилась. В Риме холодно, но в комнате есть камин. Это почти единственная комната с камином в Риме, а теперь, в отличие от прежних лет, Бейль с удивлением замечает, что он не мог бы

обойтись без шофретки или камина. Когда ноги зябнут — напухают веки, режет глаза, начинается головная боль. В один из таких дней почта, минуя Чивита-Веккия, сбросила во французском посольстве номера «Парижского обозрения», издаваемого Бальзаком. Этот знаменитый писатель, этот могущественный творец романов, вылитых из бронзы, пишет не отзыв, не рецензию, а восхитительную, опьяненную, пламенную статью о «Пармской обители». Целых семьдесят страниц разбора. Бейль испытывает состояние бурной радости. Он сидит в посольской канцелярии с ножом из слоновой кости, разрезает страницу за страницей и глотает их, не будучи в силах оторваться. Это поздняя слава, позднее понимание. Но Бальзак прямо говорит, что «Пармская обитель» — это величайшее произведение эпохи. С ним нельзя не согласиться в тех местах, где он делает упреки автору в неправильности языка и стиля. Ясно, что человек, ищущий наиболее верной мысли, не всегда бывает на высоте эстетических требований стилиста. Бальзака самого упрекают в том, что он засоряет язык художественных произведений массой научных терминов, новых слов и новых понятий.

Секретарь посольства вежливо положил перед читающим Бейлем два письма — одно от Мериме, другое от Бальзака. Мериме просит его выехать в Неаполь, откуда он собирается совершить путешествие по Востоку.

Глава пятьдесят первая

Бейль чувствовал приливы крайней раздражительности.

Из Рима пришел циркуляр всем консульствам прибрежных городов Папской области. Он сводился приблизительно к тому, что нужно сократить число путешественников-туристов. Ведь это же совершенно нелепая вещь поручать консулу уменьшить во всех странах число бездельников, энтузиастов, художников, писателей и торговцев, желающих посетить Италию. Бейль пишет: «Папская канцелярия совершенно не желает считаться с тем, что ежегодно проходящие через порт Чивита-Веккия двенадцать тысяч путешественников могли бы превратить этот город в цветущее и оживленное место.

Не желая идти этому навстречу, римская курия требует от консулов диких мероприятий, затрудняющих доступ путешественников в Италию. Когда кончится это мракобесие?» Отправив письмо, Бейль уехал в Неаполь. Три недели, проведенные с Проспером Мериме, промелькнули, как один день. Были в Помпее, в Сорренто, ходили на Мизенский мыс, были в Амальфи, через Атрани подымались в Вавелло. Глядя на сверкающее, ослепительное, бесконечно спокойное море, Мериме щурил глаза и слушал, как Бейль рассказывает историю этого старинного разбойничьего гнезда на орлиной высоте, где нормандских викингов сменяли арабские купцы и где каждый из народов оставил свои жилища. Поднимаясь от Амальфи через деревню Атрани на гору, где расположен Равелло, Мериме заметил, как уверенно шел Бейль по этому лабиринту. Они шли сначала по каменному руслу высохшего ручья, потом очутились в узком пространстве между домами, обозначавшими собою улицу, потом уперлись в тупик и, отодвигая развешенное белье, вошли в чей-то дом. Ребятишки ползали по полу. Черноволосый неаполитанец с трубкой кивнул головой Бейлю, как старому знакомому. Выйдя, они попали в узенький переулок, поднялись на одиннадцать ступеней по лестнице и опять вошли в какой-то дом. И так до самого выхода из деревни.

Мериме казалось, что, несмотря на свои тридцать семь лет, он устал гораздо больше пятидесятисемилетнего Бейля.

— Если бы мне было не так много лет, я испугался бы своего состояния, — сказал Бейль. — Одну секунду мне показалось, что сейчас зима и я иду по виленским коридорам через лачуги еврейского квартала, а ловкий разведчик-контрабандист Оливьери спасает меня от преследований казаков.

Тут только Мериме заметил необычайную бледность своего друга. Они присели на камень и долго отдыхали. В Салерно остановились в деревне. Бейль с любопытством отметил новое свойство своего друга. Мериме чувствовал себя лучше и непринужденней среди итальянских крестьян, чем в парижской гостиной. Это было странно у человека типа Мериме.

— Расскажите о путешествии на Корсику, — попросил Бейль.

— Самое интересное, что я испытал, — это встреча с семьями Бартоли и Рокассера в Сартене. Это — две враждующие семьи, почти как Монтекки и Капулетти, но без романической завязки. Я жил у Бартоли. Ее дочь — изумительная девушка, и мне большого труда стоило сохранить свое сердце в целости.

— А ей? — спросил Бейль.

— Она как будто осталась равнодушна. Там я был свидетелем замечательного выстрела. Мой приятель Рокассера двумя выстрелами из двуствольного английского ружья в мгновение ока уложил на месте двух своих противников и сам убежал в макки — это лесные заросли в глубине острова. Там еще царит закон Теодора Пола, неписаная конституция корсиканских бандитов, которые предписывают городам и селам свою волю и с которыми невозможно бороться. Их слушаются даже капралы, то есть главари отрядов, боровшихся за корсиканскую свободу. Своеобразный и дикий остров. Я ехал с молодым человеком — сыном Екатерины Бартоли. Он кончил университет, служил во французских войсках, но через месяц после приезда стал опять совершенным корсиканцем. Я был в так называемом соттано, в нижних ярусах Сартены, а наверху, в так называемом сопрано — верхних коридорах и ущельях — был дом их противников. То были какие-то вооруженные крепости. Я написал повесть.

И Мериме рассказал содержание повести «Коломба».

— Я советовал бы вам не превращать вашей повести в разоблачение. Имейте в виду, что такие вещи не проходят бесследно.

Мериме не обратил внимания на эти слова, но через год он оценил их. Корсиканцы отнеслись к повести Мериме, как к беспристрастному показанию свидетеля. В результате храбрый Рокассера, так восхищавший Проспера Мериме своей удачной стрельбой, пал жертвою вендетты, и, когда жандармы доставили его труп в Сартену, старый дядя убитых им юношей открыл ставни, год не открывавшиеся в знак траура, сбрил отпущенную бороду и, торжествуя, прошел по улице с повестью Проспера Мериме подмышкой.

Везувий приходил в ярость. Потоки лавы бежали по кратеру вниз, сжигая виноградники. Мериме и Бейль шли навстречу лаве.

— Разве вам недостаточно того вулкана, на котором вы живете? — спросил Мериме. — Италия со своими вечными восстаниями и нестихающей подземной работой напоминает мне эту гору.

— Я считаю, что нынешний Париж немногим спокойнее. Это тоже огнедышащая гора, и я убежден, что в недалеком будущем Франция переживет колоссальнейшую гражданскую войну. Я, впрочем, считал бы ее гораздо более целесообразной, чем все внешние войны, которые сейчас ведутся.

— Должен вам признаться, — сказал Мериме, — что природа гражданской войны меня очень занимает. В течение нынешнего года я больше всего занимался латинскими памятниками о социальной войне и заговоре Катилины. В сущности говоря, политический строй есть отражение каких-то других общественных отношений, и, пожалуй, материальные причины играют в политике первенствующую роль.

— Это точка зрения Барнава, — сказал Бейль. — Он указывал на то, что природа власти целиком зависит от формы собственности. Что представляют собою нынешние пародии на конституцию во Франции? Это кучка представителей от двухсот тысяч буржуа, называющих себя легальной страной, а вся настоящая тридцатимиллионная Франция не участвует в жизни этой парламентской говорильни. Она, следовательно, является страной нелегальной и должна делать выводы из своего состояния вне закона.

— Я все-таки думаю, что сильная монархическая власть могла бы уравновесить положение, — сказал Мериме.

— Вы смотрите назад, а не вперед. То, что годилось сто лет тому назад, сейчас просто невозможно. Единственно, что могут сделать парижские банкиры, — это организовать специальный подбор войск и поставить диктатором их генерала.

— Мне это безразлично, — сказал Мериме.

Бейль замолчал. Он смотрел на этого молодого человека, полного жизни, имеющего тысячу замыслов, собирающегося ехать на Восток, и вдруг почувствовал, что он капитулирует перед временем, что именно эти двадцать лет разницы пролагают пропасть между ним и Мериме; в то же время он чувствовал свою правоту.

«Это человек иного поколения, который меня никогда не поймет», — думал он.

Усталый, он несколько осипшим голосом заговорил о том, что нервы его приподняты и раздражительность его чувства достигла крайнего предела; он, как всегда, понимает гораздо больше, чем говорит, а не говорит только для того, чтобы не дать волю своим чувствам.

— Таким я был в молодости, таким я остаюсь и сейчас, — сказал он.

— Но вы еще молоды, — сказал Мериме. — Вам далеко до старости.

В Неаполе ходили по Константинопольской улице, целыми часами роясь по полкам букинистов. Мериме покупал все старые и новые эротические книжки, вышедшие на разных языках. Тут были и «Развращенный крестьянин» Ретиф де ла Бретонна и лондонское издание «Гамиани», памфлета на сатанинскую женщину, который молва приписывала Альфреду де Мюссе, после того как его бросила Жорж Занд. Бейль со смехом смотрел на увлечение своего молодого друга; сам он купил две книжки, на которые едва хватило денег. Это была редчайшая рукопись неаполитанских хроник, где его поразил рассказ о сестре Сколастике, и небольшая, чрезвычайно редкая книжка Карачиоло «Хроника Баянского монастыря».

После отъезда Мериме Бейль стал работать над историей Баяно. Выходила прекрасная новелла, одна из наиболее удавшихся ему. Он дал ей условное название «Опасная благосклонность, или излишняя милость вредит». Эта работа была прервана обширными депешами, приходившими из Парижа. Дипломатические сводки, гораздо лучше извещавшие консулов, чем газеты обычную публику, сообщали о состоянии нового для Европы, так называемого восточного вопроса. Со времени войны Греции за независимость, когда соединенные эскадры России, Франции и Англии в 1827 году напали на турецкий флот и истребили его при Наварине, произошли большие изменения в расстановке шахматных фигур на политической доске Европы. После русско-турецкой войны влияние Николая I на балканские дела возросло настолько, что европейские державы серьезно опасались

«русского засилья». И вот Николай I превращается из врага в опекуна турецкого султана. В 1833 году Египет, Сирия и Палестина захотели избавиться от турецких порядков и уйти из-под власти султана. Николай I послал на подмогу Турции русские войска, и стремление Египта и Палестины к самостоятельности было парализовано «капризом» московского самодержца. В этом «капризе» были тонкие расчеты. Шла война за рынки для дешевого русского хлеба. Благодарный султан в Ункиар-Скелесси договорился с Николаем по первому требованию России закрыть проливы для всех иностранных судов; Мегмет-Али, руководивший движением Сирии и Египта, под давлением России признал себя наследственным вассалом турецкого султана. Французская биржа была заинтересована в восточных рынках не меньше, чем другие державы, и когда в 1839 году Мегмет-Али снова поднял восстание, то опять сначала Россия и Англия, а потом Австрия и Пруссия заявили себя сторонницами власти турецкого султана. Но Франция выступила на защиту Мегмета-Али. Адмирал Лалан передал Мегмету-Али захваченный французами турецкий флот. Французские офицеры стали инструкторами египетской армии. Возникал вопрос о преобладании французского влияния в Сирии и Палестине, что было невыгодно Англии. Французам предложено было отказаться от покровительства Мегмету-Али. Дело зашло уже слишком далеко, и идти назад значило для Франции расписаться в том, что ее защита — беспринципная авантюра. Людовик Филипп и французская биржа пошли по этому пути. Бейль с негодованием перечитывал депешу за депешей, чувствуя себя скандализированным и тем, что он состоит на службе у министерства иностранных дел, и тем, что он косвенно принадлежит к составу французского чиновничества, связавшего себя с неблаговидной восточной авантюрой. Но когда пришло известие о расстреле бейрутских жителей, о том, что турки, подстрекаемые русским царем, устроили избиение палестинских евреев при молчаливом попустительстве сирийского консула, в дом которого тщетно стучались избиваемые семьи, Бейль пришел в совершенную ярость. Никто никогда не видел его таким. Прочитав депешу, он созвал всех служащих консульства и представителей посольского секретариата, бывших в Чивита-Веккия, и, невзирая на присутствие

русского консула, стал, стуча кулаками по столу, кричать, что ни один честный француз не должен сносить такого позора, что только дикая северная царская страна может допускать насилия над национальностями и что до тех пор, пока существуют такие консулы, как французский консул в Дамаске, он, Бейль, не может считать себя спокойным. Лизимак, смотря на русского консула Аратта, моргавшего большими глазами, словно не понимая, в чем дело, пытался вставить свое слово.

— Господин консул, следует ли забывать о том, что вы подданный его величества?

— Не ваше дело говорить мне об этом. Я объявляю, что с нынешнего дня и с этого часа я порываю с французским гражданством и не состою в числе подданных его величества. Я прошу вас, или, вернее, я приказываю вам составить соответствующее заявление министерству.

С этими словами он хлопнул дверью и вышел из кабинета. Через час Лизимак робко постучался к нему.

— Хорошо ли так? — спросил он, предлагая черновик письма и боясь, что Бейль откажется от своего намерения.

— Совсем не хорошо, — сказал Бейль, прочитав, надорвал и бросил лист. Потом взял перо и сам написал резкий, не оставлявший никаких сомнений протест с заявлением о выходе из французского подданства.

Лизимак не осмелился вмешаться. Он не осмелился даже писать в Париж. Первоначально он потирал руки, но через неделю, видя спокойное и уравновешенное лицо Бейля, начал думать о том, что он, вероятно, чего-то не учел, если думал о своем патроне как о человеке легковесном. «Или у него высокое покровительство, или он играет ва-банк, но, очевидно, чего-то я не понимаю».

Он окончательно растерялся, когда через месяц из министерства пришло полуофициальное отношение на имя Бейля с извещением о том, что господину Бейлю разрешается покинуть французское гражданство и натурализоваться в любой городской общине Италии, но вместе с тем министерство покорнейше просит господина Бейля не отказываться от звания французского консула. Лизимак ходил совершенно потерянный.

В Чивита-Веккия приезжал немецкий итальянец, или итальянский немец, молодой краснощекий художник Зедермак. Он приехал познакомиться с знаменитым

европейским писателем, роман которого «Пармская обитель» дал ему самые счастливые минуты жизни. Бейль сделал ответный визит, и в течение месяца Зедермак писал его портрет, по мнению Бейля, очень удачный и отличавшийся большим сходством.

Наступил 1841 год. Была весна, все цвело, в марте месяце начался перелет птиц на север. Бейль целыми днями, несмотря на жару и ветер, ходил по взморью в высоких ботфортах и в охотничьей куртке. Тысячи мелких и крупных птиц проносились в бездонной синеве средиземноморского неба. Волны ластились к песчаному берегу. Томительно сверкало солнце. Гулкие выстрелы нарушали сонную тишину буйной прибрежной растительности. Подстреленные перепела падали на песок, их уже образовалась целая горка. Собака, стряхивая с шерсти брызги морской воды, приносила птиц, упавших далеко от берега. Бейль с упоением заряжал ружье маленькими пульками и на большой высоте пробивал крылья усталой после большого перелета с африканского побережья птице. Это было упоительное занятие, в котором протекали целые дни. Веки покраснели от морского ветра, лицо загорело, зрачки выцвели. Бейль стал похож на мифического обитателя древних латинских лесов. Девушка Видо, с кувшином пресной воды на плече, долго и удивленно смотрела, как старый консул без промаха выпускает заряды. Этот старый француз — прекрасный стрелок. Он стреляет, как горные пастухи Романьи. Не похоже на то, чтобы он всю жизнь писал книги и бумаги.

— Господин Бейль, вам напечет голову, — смотрите, какие у вас красные глаза.

— Да, в самом деле, — сказал Бейль, — пора идти.

Ночью он плохо спал. Две недели береговой охоты вдруг отбили у него сон. Он поехал в Рим и говорил с доктором. Старик покачал головой и велел прекратить охоту. По пути от врача на Виа-Кондотти Бейль встретил Энгра — нового директора Французской академии в Риме, сменившего Горация Вернэ.

— Воображаю, как мой предшественник чувствует себя в Алжире, — сказал Энгр. — Художник должен прославлять честь французского оружия, но как прославлять то, чего Франция лишилась? Знаете ли вы, что по-

ведение высшего французского командования в Алжире прямо бесчестно?

— Знаю, знаю, — сказал Бейль. — Проведите меня к вам на выставку.

Вошли на виллу Медичи. Энгр водил Бейля от одного экспоната к другому. Подошли к маленькому мраморному амуру, который с печалью смотрит на свое сломанное крыло. Бейль остановился и почувствовал, как внезапный холод появляется в темени, застучали виски. Обращаясь к Энгру и жестикулируя, он бессильно старается произнести что-то и не может пойти дальше двух слов: «Мне вот...» Потом чувство теменного холода сменилось страшным жаром. Кровь ударила в лицо, веки засыпало песком, и комната закружилась.

«Рим. Понедельник, 19 апреля 1841 г.

Господину ди Фиоре. Париж.

Вчера мне делали вливание через левую руку. Нынче утром кровопускание. Симптомы неблагоприятные. Распухший язык заставляет меня бормотать.

Добрейший Константен навещает меня дважды в день.

Доктор Аллери из Экс а ля Шапель — папский врач — наблюдает за мной. Константен дает мне пилюли не слишком горькие. Я надеюсь скоро поправиться. Ну, наконец, я прекращаю писать, иначе, доктор говорит, что это письмо может стать последним. Я люблю вас по-настоящему, ди Фиоре, а это не часто встречается. Прощайте! Отнеситесь к происшествию весело.

Кондотти, 48.

P.S. 20 апреля припадок слабости, не поворачивается нога, онемело левое бедро.

21 апреля. Дело идет на поправку».

Доктор Прево, лучший специалист по подагре, живущий в Женеве, не согласился с соображениями Бейля. Если утром после шампанского нервы господина Бейля спокойнее, то яснее проступают признаки болезни. Он не хочет пить кофе — он делает правильно. Но самое лучшее, что он может сделать, это приехать в Женеву на полный врачебный осмотр.

В Риме у Константена хорошо живется. Он заботится о Бейле, как о ребенке, а старая тяжеловесная великанша Барбара проявляет свои заботы настолько, что даже крадет у Бейля вторую пару сапог. Все это были бы пустяки, но доктор делает третье кровопускание. Голова стала свежее, но зато ноги почти утратили способность к движению. Хуже всего, что нельзя найти некоторых слов. Приходится полчаса биться, чтобы вспомнить, как называется прозрачная жидкость в стакане, которая утоляет жажду и которую можно найти в любом колодце. Иногда язык распухает до такой степени, что заполняет рот. Вместо слов появляется какое-то мычание.

Неприятности. Французское судно «Поллукс» столкнулось с итальянским «Монживелло» и утопило его. Длинное разбирательство. Нужно выезжать на место, вести следствие, браниться с мошенником Романели — начальником порта, и смотреть в глаза одиннадцати итальянским дьяволам-матросам, которые под присягой подтверждают, что эти французы всегда и во всем бывают виноваты. 22 октября — отъезд из Чивита-Веккия. Отпуск. И ноябрь — Женева. Хотел пойти навестить дом Руссо, как когда-то в те дни совсем мальчишкой, приехав в Женеву, когда искал следов дижонской резервной армии Бонапарта. Это было сорок лет тому назад. И первое, что сделал, — посетил дом Руссо. Доктор Прево качает головой: «Никаких Руссо — лежать в постели».

8 ноября Бейль в Париже.

«Если вам когда-нибудь случалось — а мне это случалось часто — проезжать на пароходе вниз по течению Роны, то вы видели, как вблизи Авиньона пароход приближается к Понт де Сент-Эспри. Сердце щемит от ужаса. При ветре на реке близко подъезжать нельзя. В тихую погоду пароходы проходят под мостом. Вот еще мгновение, и кажется, что пароход зацепит за низкую арку или ударится об устои; прошла минута, и, давая волну, с клубами черного дыма, пароход уже за мостом. Таким же мостом является смерть. Событие — тяжелое и неприятное. Никакой бунт не поможет. Но оно совершилось — и настало полное ничто, в котором нет места сожалению об исчезнувшей жизни. Не следует этого бояться.

Могила Стендаля
Кладбище Монмартр в Париже

В конце концов не нужно от себя скрывать своих состояний. Ничего нет смешного в том, что я могу умереть на улице».

Записал эти мысли и пошел к Виргинии Ансло. Опять этот милый Тургенев.

«Недавно, охотясь на перепелов, летевших из Африки на вашу снежную родину, я с уцелевшими перепелками посылал проклятие вашей рабской стране. Когда же, наконец, господин Николай Тургенев получит туда доступ? Эмансипируется ли когда-нибудь ваше крестьянство?»

Дневник А. И. Тургенева.

«10 ноября 1841 года. От графини Разумовской к Ансло. Там Бель. Постарел, но с прежними претензиями на остроты.

23 марта 1842 года. Бегу к Ансло узнать о смерти вчера Бель. На дороге из кафе к театру, на бульваре. Давно ль? И без покаяния в грехах и насмешках!»

Днем еще Бейль работал, несмотря на запрещение врачей. Он переписывал предисловие к хронике «Сестра Сколастика», так и оставшейся неоконченной.

22 марта в семь часов вечера он упал, пораженный ударом, перед дверью министерства иностранных дел на Ново-Капуцинской улице. В два часа ночи, не приходя в сознание, без всяких страданий и слов, он перестал дышать.

Прошли сутки без вмешательства духовенства. Утром следующего дня Мериме и Коломб шли за гробом. Потом французские газеты, позабывшие о статье Бальзака, дали короткое сообщение о том, что на кладбище Монмартр состоялось погребение малоизвестного немецкого стихотворца Фридриха С т и н д а л л я. Молва о Стендале затихла надолго. Из Италии в Париж прибыл черный консульский ящик. Мериме и Коломб, раскрыв его, начали разбирать рукописи умершего друга.

Роман «Три цвета времени» А. Виноградова

Со времени выхода в свет известного романа Анатолия Виноградова о Стендале минуло почти четверть века. Роман выдержал не одно издание, пользуется широкой известностью в СССР, переведен на ряд иностранных языков.

А между тем литературная судьба этого любопытного произведения сложилась не совсем обычно: оно осталось незамеченным нашей критикой.

«Лишь нынче, живя в «Синопе» под Сухумом, я ознакомился с двумя Вашими прекрасными книгами «Осуждение Паганини» и «Три цвета времени», — писал Вяч. Шишков А. Виноградову в ноябре 1938 года. — Читал их с большим интересом, изумляясь Вашему мастерству и обилию материалов, над которыми Вам пришлось оперировать... А в первую голову изумляет меня отсутствие добропорядочной критики по поводу этих книг. Ваше имя незаслуженно остается в тени, тогда как Вы этими зрелыми книгами безусловно вошли в первые ряды советской литературы! В чем же дело?»

Роман «Три цвета времени» принадлежит к числу тех книг, форму которых, по собственному определению А. Виноградова, можно назвать «полубеллетристической». Ее своеобразие заключается в том, что, ставя перед собой в принципе задачу исследовательскую, автор сремится решить ее как художник, как беллетрист.

Следует поэтому хотя бы кратко остановиться на тех общих моментах, уяснение которых поможет лучше представить себе как своеобразие темы, поднятой А. Виноградовым в его книге, так и само существо романа «Три цвета времени»,

* * *

Имя великого французского писателя Анри Бейля, писавшего под псевдонимом Фридерик Стендаль, знакомо далеко за пределами Франции и особенно популярно у нас, в СССР. Стендаль — автор замечательных романов («Красное и черное», «Пармская обитель», «Люсьен Левен» и другие), представляющих собой яркие реалистические полотна, дающие широкую картину современной Стендалю действительности. Его творчество в целом отразило интереснейшие стороны общественно-политической жизни первой половины прошлого века.

«Настоящее и глубоко воспитательное влияние на меня как писателя, — говорил в одной из своих статей М. Горький, — оказала «большая» французская литература — Стендаль, Бальзак, Флобер; этих авторов я очень советовал бы читать «начинающим». Это действительно гениальные художники, величайшие мастера формы...»[1]

Стендаль был последовательным материалистом. Он был воспитан на идеях французских энциклопедистов. Под прямым влиянием философов-материалистов XVIII века, прежде всего под влиянием Гельвеция и Дидро, сложились его мировоззрение и эстетические взгляды. Решающую роль в формировании сознания и взглядов Стендаля сыграла буржуазная французская революция.

Детские годы великого писателя совпали с самым бурным периодом революции. Анри Мари Бейль родился 23 января 1783 года на юге Франции в городе Гренобле. «Семья, имя которой я ношу, — рассказывает Стендаль в автобиографических заметках, — по существу была семьей зажиточных горожан-буржуа».

Отец писателя, нотариус Керубин Бейль, был противником революции, человеком откровенно пророялистской ориентации, не боявшимся даже в разгар революции укрывать в подвале своего дома «неприсяжных»[2] католических священников. Мать Бейля, Аделаида Ганьон, умершая очень рано, была дочерью гренобльского врача. Доктор Анри Ганьон, человек широкого образования, поклонник энциклопедистов и «местный философ», сыграл, по воспоминаниям писателя, большую роль в возникновении его политических симпатий и антипатий.

Расхождения и ссоры Стендаля с семьей начались очень рано. Тайком от отца маленький Бейль, влюбленный в героику революции,

---

[1] М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, стр. 485—486.

[2] Так назывались священники, отказавшиеся присягнуть якобинской конституции 1793 года.

зачитывается Вольтером, Руссо и другими «якобинскими» писателями, при одном упоминании которых его отец приходит в ярость.

В 1796 году будущего писателя отдают в Центральную гренобльскую школу, организованную в силу декрета Конвента по известному плану философа Дестута де Трасси.

В школе юный Бейль приступает к изучению французских классиков. Постепенно приходит сильное увлечение математикой — этим «абсолютно точным источником истины, утоляющим юношескую жажду правды», — которое, кстати, не прошло для молодого Бейля бесследно. В какой-то мере, вероятно, и оно привило вкус к той ясной и логичной мысли, которая так характерна для произведений зрелого Стендаля.

Уже тогда Стендаль знакомится с трактатом Гельвеция «Об уме». В замечательном трактате Гельвеция с наибольшей силой сказались антифеодальные тенденции французских материалистов. А именно эта сторона книги привлекала юного Бейля, горячего приверженца идей революции.

Гельвеций выдвигал материалистическое толкование сознания, рассматривал ум как самый совершенный вид материи.

«Заблуждение, — говорил он, — отнюдь не присуще природе человеческого ума». В трактате утверждалось величие ума, его сила, его способность к нахождению истины. Ложные суждения происходят либо в результате страстей, либо в результате невежества. Но, однако, *облагороженные* страсти, по мнению Гельвеция, играют огромную положительную роль. Именно они являются источником прогресса, общественной активности, двигают общество вперед и т. д.

Гельвеций решительно отрицал всякие рассуждения о добре ради добра и о зле ради зла. Не люди плохи сами по себе, — невежественны законодатели, преследующие свои частные интересы и забывающие интересы широких масс! А самый большой и самый опасный вред для человека Гельвеций видел в религии.

Эти мысли великого французского материалиста в полном смысле слова захватили молодого Стендаля, на долгие годы определив его духовное развитие. Через много лет, вспоминая ранний период своей жизни, он писал: «Опорой для меня был лишь мой здоровый разум, веривший в книгу Гельвеция «Об уме». Я намеренно употребляю слово «веривший». Для меня, воспитанного под колпаком и горящего тщеславием, для меня, получившего свободу только благодаря поступлению в Центральную гренобльскую школу, для меня Гельвеций мог быть лишь совокупностью предвидения того, что я должен встретить в жизни».

В 1799 году молодой Стендаль покидает Гренобль и отправляется в Париж. Он намеревается поступить в Политехническую школу. Однако Париж, куда юноша стремился столько лет, быстро разочаровал его. Стендаль отказывается от своих первоначальных планов и поступает в Военное министерство. Вскоре он переводится в действующую армию, участвует в Итальянском походе в качестве адъютанта генерала Мишо. Так началась военная карьера будущего писателя, закончившаяся уже после 1814 года.

В 1802 году окончилась война с Австрией. Потекла будничная казарменная жизнь, лишенная всякой романтики. Не в силах мириться с этим, Стендаль тут же подает в отставку. Он уезжает в Гренобль, а затем, после новой ссоры с семьей, — в Париж.

В течение нескольких лет, живя в Париже на небольшое ежемесячное пособие от отца, молодой Стендаль с энергией отдается изучению философии XVIII века. На смену аристократическим забавам блестящего адъютанта пришел период упорных, настойчивых трудов. Стендаль вновь садится за Гельвеция. Он штудирует сочинения Монтескье, Кондильяка, Кабаниса, «Идеологию» де Трасси, «Опыты» Монтеня, читает Вольтера, Шекспира, Дидро, Расина, Корнеля, Лафонтена и многое другое.

К этому же времени относятся и его первые, до нас почти не дошедшие, литературные опыты. В числе их, видимо, была драма «Счастливый удел», которая, как можно предполагать, имела антибонапартистскую направленность.

Вообще отношение молодого Стендаля к Наполеону было сложным. С годами оно менялось. Юноша Стендаль, бросивший мечты о Политехнической школе ради участия в Итальянском походе, в успехах наполеоновской армии видел развитие и продолжение той героической революционной борьбы 1789 года, которая, как острый плуг, резала старый, прогнивший феодальный порядок Франции и Европы. Однако восторженный ореол, окружавший в сознании будущего писателя фигуру Наполеона, постепенно тускнел. Первые победоносные войны республики были позади. А к 1802—1804 годам в облике Наполеона отчетливо проступили черты диктатора, откровенно идущего к установлению буржуазной монархии.

Вероятно, в это время молодой Стендаль, ярый сторонник республики, пережил какой-то период охлаждения к Наполеону. Если судить по отдельным намекам, разбросанным в его обширной переписке, то весьма возможно, что Стендаль даже общался с участниками знаменитого заговора Кадудаля — Моро — Пирегрю, преследовавшего цели низвержения Наполеона и вскоре разгромленного Наполеоном,

Правда, период полного разочарования в Наполеоне продолжался у молодого Стендаля сравнительно недолго. В 1806 году он возвращается в армию, но на этот раз с трезвым пониманием как ее значения, так и роли самого Наполеона — деспота, буржуазного тирана. Отчетливо представляя себе эту сторону наполеоновской диктатуры, Стендаль, как и многие другие представители буржуазной демократии, разделял еще некоторые иллюзии относительно того, что Наполеон есть сила, которая в борьбе с феодальной Европой в какой-то мере отстаивает отдельные завоевания революции. Молодого Стендаля, как писателя, постоянно привлекала сама личность Наполеона — человека безусловно выдающихся качеств, таланта, воли, энергии и т. д.

Глубокое образование, блестящие способности, феноменальная память, умение мыслить предельно четко и ясно — все это очень быстро выдвинуло Стендаля в число наиболее талантливых и даже видных администраторов наполеоновской армии. Так, в 1809 году он — помощник военного комиссара, а в 1810 — уже аудитор первого ранга Государственного совета, инспектор движимых и недвижимых коронных имуществ.

Начало книги А. Виноградова застает Стендаля на пороге блестящей карьеры. К русскому походу Стендаль пришел зрелым двадцатидевятилетним человеком. За его плечами был значительный жизненный опыт, положение, перед ним раскрывалась перспектива занять одно из видных мест в наполеоновской иерархии.

* * *

Задача, взятая на себя А. Виноградовым, была значительно сложней, чем простое жизнеописание знаменитого французского писателя. Буржуазные беллетристы, писавшие о Стендале (а в их числе были даже и такие крупные мастера западноевропейской литературы, как Стефан Цвейг), интересовались главным образом фактами его сугубо личной жизни и, ограничиваясь этим, как правило, оставляли в стороне явления социальные, объясняющие истинное лицо великого художника слова. Такой принцип подхода к созданию образа реальной исторической фигуры, естественно, не мог удовлетворить советского писателя. В отличие от буржуазных беллетристов А. Виноградов задумал воссоздать Стендаля таким, каким он и был в действительности — крупным политическим мыслителем, творцом замечательных романов, выдающимся человеком своего времени, намного опередившим эпоху, в которую он жил, и потому долго ею не признаваемым.

Соединить в одном образе господина Анри Бейля и писателя Фридерика Стендаля, дать читателю в отличие от буржуазной беллетристики не субъективно понятый, не односторонний, а многообразный и живой, исторически правдивый и жизненно-цельный образ одного из крупнейших художников прошлого — вот та трудная задача, которую поставил перед собой автор романа «Три цвета времени».

Исследователь или писатель, берущийся за разрешение подобной задачи, вряд ли может рассчитывать на легкий успех. «Как преодолеть специфические трудности историко-биографической задачи беллетриста? — писал А. Виноградов А. М. Горькому. — Давление хронологической пружины подает разнокачественный материал без права выбора, издательство требует «дать эпоху»...»

Действительно, трудности этого рода возникают на каждом шагу писателя-биографа.

Нельзя нарисовать правдиво образ крупного исторического лица, все равно — государственный ли это деятель, полководец, поэт или кто-либо другой, не воссоздав в подлинно реальных красках картину соответствующей эпохи. А чтобы по-настоящему воссоздать эпоху прошлого, надо вскрыть главные тенденции ее развития, ее дыхание, ее движущие силы. Естественно, что возникает особая сложность, когда автор сталкивается с таким необычайным литературным героем (как это имеет место в книге А. Виноградова), каковым является талантливый писатель или смелый мыслитель, общественно-политические, этические и эстетические интересы которого чрезвычайно широки и разнообразны.

Таким образом, уже сама задача, вставшая перед автором романа «Три цвета времени», со всей неизбежностью требовала от него проявления ряда различных качеств — качеств исследователя литературы, историка и, одновременно с этим, художника-беллетриста...

С точки зрения жанра книга А. Виноградова является попыткой дать не только роман-биографию, но и исторический роман.

Эпоха 10-х, 20-х, 30-х годов XIX века, охватывающая события, описанные в романе, освещена автором глубоко и исторически верно. Чрезвычайно рельефно, под правильным углом зрения выступает перед читателем ряд значительных, важных явлений, имевших место в прошлом столетии — русский поход Наполеона, бегство Великой армии на запад, манчестерские волнения в Англии, вступление союзных войск в Париж, организация Священного союза, итальянская и испанская революция 1820—1823 годов, Июльская революция 1830 года во Франции и рабочие восстания в Лионе, выступление декабристов в России и т. д. Изображение политиче-

ской жизни правдиво отражает ту историческую ситуацию первой трети прошлого века, в атмосфере которой жил и работал Стендаль, созрело и развернулось его творчество. А. Виноградов правильно раскрывает историческую перспективу. Реальная расстановка сил, имевшая место в описываемые десятилетия, находит свое выражение в той общей панораме Европы, которая вырисовывается перед читателем в процессе его ознакомления с романом. В России — крепостное право и диктатура Романовых, в Австрии — Габсбурги, во Франции — торжество Реставрации, в Италии — австрийская жандармерия, в Испании и Неаполе — Бурбоны... Повсюду гнет деспотизма. Этот гнет все тяжелее и тяжелее, и, наоборот, все сильнее, все смелее проявление протеста со стороны широких народных масс. Европа тех лет являла собой в полном смысле слова бочку с порохом. Революционное движение росло и ширилось, вспыхивало то здесь, то там, в различных концах европейского континента, повсеместно вызывая кровавые расправы, расстрелы, виселицы и вновь... ответные выступления народа.

Именно на этом остром социально-политическом фоне общеевропейской и, в частности, французской действительности А. Виноградов лепит образ своего героя. Не случайно роман назван им «Три цвета времени». Стендаль любил цветовые ассоциации, прибегал к ним в названиях своих книг. Так, озаглавив роман «Красное и черное», писатель стремился подчеркнуть трагический характер судьбы Жюльена Сореля, сына плотника, казненного высшим обществом. Буржуазная же критика его времени подчас весьма просто истолковывала название романа: как намек на красные и черные сектора рулетки или игры в «Rouge et noire».

Основываясь на ряде замечаний Стендаля, А. Виноградов широко связывает представление о красном, черном или белом цвете — трех цветах времени — с различными сторонами общественно-политической жизни французского общества. Красный цвет — цвет революции, цвет нового; белый — цвет бурбонов, цвет аристократии и буржуазии; черный — цвет сутаны, католической реакции и иезуитского мракобесия. Вот почему название романа так удачно подчеркивает остроту и своеобразные особенности классовой борьбы эпохи Стендаля, выделяет то, что характеризовало становление и собственно развитие его творчества.

Ярко и многогранно развернут в романе образ главного героя романа. Этому помогает осведомленность А. Виноградова в вопросах русской и европейской истории XIX века, долголетняя архивная работа над творчеством Стендаля и его эпохой. Огромный фактический материал, собранный автором, дает ему возможность показывать своего героя с различных сторон. В отличие от некоторых

явно «скованных» персонажей историко-биографического жанра, Анри Бейль действует, разговаривает, спорит, волнуется или острит самым живым и естественным образом. Читатель видит Бейля в России, в период русского похода, в Германии и Англии, в Париже и Гренобле, в Милане, Риме, Турине, Неаполе, на Корсике... Наполеон, его маршалы, Байрон, Чаадаев, итальянские карбонарии, Меттерних и Франц Иосиф, Мериме, Бальзак, Гюго, Александр Тургенев и Петр Вяземский, десятки других деятелей прошлого, встречающихся на страницах романа, — все это не конгломерат случайных лиц, тщательно подобранных с целью усиления занимательности повествования. Разнообразные встречи и события, полные живых и ярких фактов, лиц, симпатий, антипатий, мимолетные, но точные характеристики отдельных исторических деятелей прошлого, сохраняя собственный интерес, подчинены основной идее произведения — они с разных сторон проясняют и освещают фигуру главного героя.

В этом смысле решению образа Стендаля в романе сопутствует и большой идейный размах исследователя литературы и объективная точность историка.

* * *

Писатель, работающий в жанре литературной биографии, часто ограничивается хронологической последовательностью фактов. Сложность материала, над которым пришлось работать А. Виноградову, заставила его уже с первых шагов ломать устоявшиеся рамки жанра, искать формы, адекватной своему замыслу, изыскивать новые принципы в построении романа.

«Три цвета времени» начинаются необычно для литературно-биографического произведения — с середины жизни героя. Правда, это не просто арифметическая середина, делящая биографию Стендаля на две равные части. Автор начинает свое повествование с момента, когда в мировоззрении Стендаля происходит, а точнее завершается, решительный перелом...

Поворотным пунктом в судьбе великого французского художника явилось его участие в знаменитом русском походе Наполеона. Русский поход стал своего рода водоразделом в жизни Стендаля. Его значение для понимания творчества и взглядов писателя трудно переоценить. Наблюдения, сделанные Стендалем во время пребывания в России, впечатления и глубокие личные переживания «московских дней» окончательно отрешили его от иллюзий. Вопреки всем ожиданиям и надеждам писателя, наполеоновская Франция не выполнила в России ни одной из тех своих миссий, которые в его

сознании были прочно связаны с завоеваниями буржуазной французской революции.

«Я ждал, — справедливо говорит в романе Анри Бейль, — что Франция объявит Польшу свободной от русского деспотизма, что в России мы нанесем удар рабовладению... Ничего этого не случилось...»

Как в решении только что указанной отдельной проблемы, так и вообще, стремясь с наибольшей полнотой воссоздать облик своего героя, А. Виноградов никогда не подгоняет друг к другу разноречивые факты прошлого. Это — одно из несомненных достоинств его книги, которое, может быть, следует отметить в первую очередь. Стендаль предстает перед читателем не как безгрешный носитель положительных идеалов, а как реальная личность своей эпохи, как человек, нисколько не свободный от противоречий, от ошибочных представлений.

Таким мы видим его и во время русского похода с первых страниц романа. Впечатления от России у Стендаля и обильны и разнородны.

С одной стороны, Россия кажется Стендалю «страной неслыханной грязи, самозванства, тупой покорности рабов и тупого самодурства господ», в которой «богатство помещиков, в большинстве случаев бездушных скотов, определяется таким странным понятием, как «душа», какая-то «копошащаяся масса паразитов, пьющая кровь спящего исполина». Но, с другой стороны, в письмах Стендаля проскальзывают иные мысли. Он восхищается архитектурой московских дворцов, «превосходящих все, что знает Париж». Пожар Москвы в определенный момент приобретает для него уже совершенно особый смысл. Он рассматривает его как акт величайшего героизма. Стендаль вспоминает при этом героический переход Суворова через Альпы. «Нет! Этой стране нельзя навязать чужую волю!» — думает он. А будучи уже за пределами тогдашней России, он прямо признается, что России не понимал...

Стендаль действительно не понял до конца смысла исторических событий, с таким драматизмом разыгравшихся на его глазах в России. Он не увидел прогрессивных слоев русского общества, которые самоотверженно боролись с царским произволом. Видимо поэтому даже руководитель крупнейшего крестьянского восстания в России Емельян Пугачев показался Стендалю простым самозванцем, а возможность появления самозванцев, с его точки зрения, лишний раз свидетельствовала о темноте, о безответности крепостного народа.

Ограниченность взглядов Стендаля на Россию сказалась и в том, что он не понял, что война 1812 года была для русских войной *отечественной.*

В его представлении крепостная Россия не могла одержать победы. Только разложение французской армии, по его мнению, предрешило исход борьбы в пользу России. Стендаль, разумеется, понимал это разложение гораздо глубже, чем простое мародерство, — как отход от великих идей революции. «Неужели возможно, — писал Стендаль, — чтобы безграмотная толпа донских крестьян, именуемых казаками, могла обращать в бегство тысячи французов, знающих, за что они сражаются? Россия побеждает вовсе не потому, что она хороша, а потому, что мы стали плохи».

Сейчас уже не представляет труда доказать несостоятельность и неправоту всех этих суждений великого французского писателя. Важно другое. Стендаль горячо ненавидел *крепостническую* Россию, и его ненависть к крепостному праву вполне совпадала с революционными чаяниями передовой части русского общества — той, которую сам он пусть и проглядел, — с идеями декабристов.

Эта мысль составляет, пожалуй, одну из характерных сторон авторского замысла. Она неслучайно нашла свое отражение в романе в образе молодого декабриста князя Ширханова, в сценах, посвященных русским событиям после 1814 года. Ведь тот факт, что книга А. Виноградова построена на сочетании двух планов — русского и французского — отнюдь не свидетельствует об авторском произволе, о желании или праве А. Виноградова, как писателя русского, брать в качестве центрального материала своего повествования прежде всего явления, связанные с русскими событиями.

В этом смысле экспозиция романа вполне оправдана. Она соответствует замыслу автора, его трактовке всего материала. И то обстоятельство, что Россия и «русский вопрос» сыграли значительную роль в судьбе Стендаля, справедливо нашло отражение в композиционном построении романа. Используя «русский материал», А. Виноградов преследует еще и другую цель — в какой-то мере он освещает облик Стендаля с помощью своего рода переклички его взглядов со взглядами наиболее передовых представителей тогдашнего европейского общества, в частности — русских декабристов.

Следует, однако, сказать, что эти главы в плане художественном подчас уступают главам, в которых автор повествует о встречах Стендаля с итальянскими карбонариями, а также многим другим не менее ярким и увлекательным страницам романа. Однако наличие этого второго аспекта в реализации главной идеи произведения представляет безусловный интерес.

* * *

Особой силы образ великого французского художника слова достигает тогда, когда А. Виноградов рисует его в обстановке современной писателю буржуазной Франции.

Шаг за шагом А. Виноградов раскрывает кризис надежд и иллюзий молодого Стендаля, утверждение в его сознании тех взглядов, которые в дальнейшем, все расширяясь и упрочиваясь, сделают его гениальным критиком дел и «подвигов» победившей буржуазии...

В неопубликованном предисловии к «Трем цветам времени» — оно хранится в Центральном Государственном Архиве среди бумаг и рукописей А. Виноградова — А. В. Луначарский очень справедливо указывал на внешнюю противоречивость облика Стендаля, противоречивость, по существу породившую длинную вереницу неверных толкований, оценок, теорий, которые, преимущественно в буржуазном литературоведении, так или иначе бытуют вокруг имени и творчества писателя, как правило искажая его облик.

В самом деле, революционность сознания, говорит Луначарский, и явные черты индивидуализма! Приемы ученого-естествоиспытателя в подходе к человеку, к его психологии, к его «духовной жизни», и вместе с тем откровенное любование нерассуждающей страстью, апофеоз сильных чувств, риска, безумной отваги, которые проходят красной нитью через романы и новеллы Стендаля. Стендаль — «предшественник самого трезвого реализма, какой только возможен в рамках художественности», и Стендаль — романтик!

Все эти особенности творческого облика великого французского писателя, зорко подмеченные Луначарским, действительно характерны для Стендаля. Однако противоречивость их только кажущаяся. В той или иной мере все они нашли свое выражение в образе Бейля-Стендаля, воспроизведенном автором романа «Три цвета времени». И при всем том читатель не видит в Стендале человека, раздираемого необъяснимыми противоречиями.

В Стендале жил дух великих французских энциклопедистов, билась революционная атеистическая мысль Гельвеция, Дидро, Кондильяка, была заложена глубокая вера в разум, в человека. Но его творчество развернулось в период, когда французская революция уже отгремела, когда крупная буржуазия, потопляя в крови рабочие восстания, прочно утвердила свое господство, когда собственно для одной части буржуазной интеллигенции началась пора горького разочарования, для другой открылся путь карьеры и наживы...

Стендаль не пошел ни по тому, ни по другому пути, до конца сохранив веру в светлое будущее. Оставаясь учеником и последо-

вателем энциклопедистов, Стендаль прекрасно ощущал отвлеченность идеалов буржуазного просвещения. Он очень пристально приглядывался к первым революционным выступлениям рабочего класса, хотя и остался в стороне от них. Стендаль подверг убийственной критике буржуазию, писаные и неписаные законы капиталистического общества. Он ненавидел буржуазную мелочность, бездушный расчет, размеренную жизнь обывателя, ненавидел мещанство. Человеческую личность Стендаль считал основной ценностью, основным критерием. И человек в его понимании — существо сугубо плотское, материальное, испытывающее все радости и все муки земного существования, но в то же время существо, преисполненное порывами к яркой жизни, к подвигу, к высокой и чистой любви...

Видимо, поэтому Италия так привлекала Стендаля — она, как ему казалось, давала простор для наблюдения над человеком, над «облагороженными страстями», являющимися «источником общественного прогресса» (Гельвеций). «Итальянский характер» для Стендаля — это непосредственность чувства, действия, воли, энергии. Италия тех лет представляла собой страну, где революционная ситуация была постоянно напряженной. «Итальянский характер», родившийся в восприятии Стендаля в какой-то степени на основе длительного изучения средневековых итальянских хроник, несмотря на его осторожное отношение к буржуазно-аристократической верхушке карбонарского движения, что очень тонко раскрыто А. Виноградовым в романе, давал и в годы творчества писателя пищу для размышления и восхищения.

Таким образом, эстетические взгляды Стендаля и его политические воззрения характеризуются органичностью, цельностью и последовательностью. А. Виноградов, принципиально отказавшись от установки на проникновение в тайники писательской биографии, сумел и на практике уйти от мелочной опеки Стендаля, которая бы разобщала и дробила большой образ. «Роман есть зеркало, проносимое по большой дороге», — говорит Стендаль в «Красном и черном». Целью А. Виноградова было сжать, собрать в единый фокус то необычайное богатство внутреннего мира художника, разносторонность которого, в силу широты своего диапазона, производила впечатление противоречивости.

Как, с помощью каких средств воссоздает А. Виноградов образ Стендаля?

Конечно, в рамках небольшой статьи трудно дать конкретный анализ художественной манеры писателя, очертить богатый и многообразный арсенал средств художественного воплощения, которыми он пользуется в работе над произведением.

Следует отметить поэтому те главные моменты, которые характерны прежде всего для его подхода к созданию того или иного образа или всего романа.

Первый из них заключается в том, что автор раскрывает характер происходящих событий, показывает действующих лиц преимущественно сквозь призму восприятия главного героя. Пусть отдельные факты русской истории периода Отечественной войны 1812 года получили в романе не совсем ту трактовку, которую современная историческая наука считает наиболее правильной. Россия, какой она предстает в романе перед читателем, может быть, и не вполне точно соответствует подлинной России тех лет. Однако обвинять автора книги за это было бы по меньшей мере несправедливо.

В большинстве случаев читатель имеет дело с событиями, преломленными в сознании Стендаля. Писатель заставляет нас смотреть на все происходящее глазами своего героя, причем нередко он делает это и в тех случаях, когда рассказ ведется от лица самого автора.

Искусно подбирая детали повествования, А. Виноградов включает в процесс активной характеристики героя самые различные факты многообразной действительности его времени и дает, таким образом, органичную характеристику главного персонажа.

Эту особенность художественной манеры А. Виноградова-биографа в свое время отметил М. Горький, ознакомясь с романом «Три цвета времени» еще в рукописи. «Очень хороша сцена у Гюго, и отлично рисует Стендаля его оценка Гюго» [1], — писал он в письме к А. Виноградову.

Другая сторона авторского подхода к созданию образа главного героя, которая также накладывает отпечаток на все построение романа, вытекает из того, что А. Виноградов рисует образ *писателя*. Его книга — по существу своеобразно раскрытая творческая лаборатория художника. Правда, автор нигде не позволяет себе попыток грубо вторгнуться в процесс создания литературного произведения. Но в целом «Три цвета времени» представляют собой талантливое истолкование моментов, во многом породивших Стендаля как писателя, определивших направление его творчества. В этом смысле образ главного героя романа — образ Бейля-Стендаля, безусловно гипотетичен.

Подобно тому как современные ученые-антропологи восстанавливают форму лица когда-то жившего человека, писатель вос-

---

[1] М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 30, стр. 180.

создает сложный облик художника прошлого. И для этого еще недостаточно введения в повествование эпистолярного наследия писателя: дневников, воспоминаний, корреспонденций, имеющих биографический характер. А. Виноградов, в отличие от многих авторов историко-биографических книг, начинает свою работу над образом Стендаля значительно раньше. Выражаясь условно, он проделывает только что указанный путь дважды. Он приходит к фактам личной биографии, отталкиваясь от основных проблем, от квинтэссенции творчества писателя, от его социально-этических требований и эстетических принципов. А уж затем снова возвращается к главным и характерным произведениям художника. Иными словами, в биографии писателя, в его мировоззрении, в окружающей его обстановке, в социально-политической действительности тех лет А. Виноградов постоянно ищет то, что в сочетании вызывает к жизни лучшие творения писателя, то есть то, что и делает Стендаля гениальным писателем. Выделяя эти стороны биографии своего героя, автор подводит читателя к правильному пониманию социальной *психологии* творчества Стендаля.

* * *

Роман «Три цвета времени», отвечая всем требованиям, предъявляемым к произведениям художественным, как уже отмечалось выше, содержит в основе своего замысла элемент исследования. Это обстоятельство ни в коей мере не является препятствием для достижения художественного совершенства произведения. Но вот отдельные, чисто исследовательские по своему характеру приемы, которыми иногда пользуется автор романа уже в самом процессе повествования, в самой художественной ткани произведения, разумеется, несколько ослабляют его впечатляющую силу. Отсюда, видимо, и проистекают некоторые слабости романа.

Особенно очевидно это в тех местах, где А. Виноградов, с целью широкой характеристики французского общества 30-х годов, прямо вводит в повествование реальные документы эпохи, в частности выписки из дневников русского декабриста А. И. Тургенева — материала самого по себе, конечно, очень ценного и впервые использованного в литературе. К сожалению, это наименее запоминающиеся страницы книги. И на их протяжении как-то незаметно теряется живость и яркость изложения, свойственные всему произведению.

Есть в романе А. Виноградова отдельные фактические неточности, случаи небрежности языка и т. д. Однако все эти недостатки носят, несомненно, частный характер.

В целом роман «Три цвета времени» является одним из выдающихся произведений советской литературы 30-х годов и по сей день остается в числе лучших образцов русского историко-биографического романа.

Роман «Три цвета времени», как известно, был высоко оценен А. М. Горьким. Великий художник пролетариата принимал живое участие в работе А. Виноградова над произведением, постоянно оказывая писателю дружескую помощь советами и ценными указаниями.

«Замечательно интересная книга!» — так заканчивает Горький в уже цитировавшемся письме из Италии свои замечания на присланную ему рукопись романа.

Действительно, «Три цвета времени» представляют собой большой интерес для самого широкого читателя, который с немалой пользой для себя ознакомится с богатым историко-литературным материалом, раскрытым в романе.

Э. БАБАЯН

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман А. К. Виноградова «Три цвета времени» впервые был опубликован в 1931 году издательством «Молодая гвардия», после чего неоднократно переиздавался.

В 1945 году в Гослитиздате вышло последнее прижизненное (пятое) издание романа.

В настоящем издании роман печатается по тексту издания 1945 года с исправлением опечаток и очевидных описок.

Подстрочные примечания, принадлежащие автору, даются с указанием: «Примеч. автора», а остальные сноски сделаны редакцией.

Стр. 10. *Золотой век, которому до сих пор слепое предание отводило место в прошлом, — впереди нас.* — Фраза взята из сочинения выдающегося французского мыслителя Сен-Симона (1760—1825) «Новое христианство».

Стр. 16. *...французские отряды остановились на вершине, за которой открылась картина сердца Азии.* — Французская армия подошла к Москве по дороге, ведущей от Филей к Дорогомиловской заставе. 2 сентября Наполеон вместе со штабом остановился на Поклонной горе, откуда была видна вся Москва.

...этот город Великого Могола... — *Великий Могол* или *Великие Моголы* — знаменитая тюркская династия Бабуридов, в течение трех столетий властвовавших в Индии. Фактически Бабуриды ничего общего с монголами не имели. В данном контексте употребляется в переносном смысле.

Дарю Пьер Антуан, граф (1767—1829) — французский маршал, один из сподвижников Наполеона I. С 1805 по 1809 год — главный интендант французской армии. В 1811 году получил пост государ-

ственного секретаря. В 1813 году был военным министром. Родственник Стендаля, способствовавший его военной карьере. Дарю известен также как талантливый переводчик Горация. В марте 1806 года он был избран членом Французской Академии.

Стр. 20. *Фобург* — предместье.

Номады — кочевники-скотоводы.

Немврод — легендарный охотник, основатель Вавилонского царства.

Дистрикт — судебный округ, уезд во Франции и Германии.

Стр. 22. *...первый телеграф Европы...* — Речь идет об оптическом телеграфе, который был сконструирован братьями Шапп в 1792 году и представлен Конвенту под названием семафора. Принцип семафора заключался в передаче знаков с помощью передвижных механизмов из нескольких линеек, видимых на дальнее расстояние со специально устроенных башен.

Стр. 23. *Он обладает даром Сибиллы... Сибилла* или *Сивилла* — так назывались в Древней Греции странствующие пророчицы, предсказывающие судьбу.

Стр. 24. *...шляпа с перьями и эгретками... Эгретка* или *эгрет* — украшение головного убора в виде торчащего вверх пера.

Стр. 27. *Берейтер* Анжелина — певица и актриса парижского театра Опера-буфф.

Стр. 29. *«Михаил Ней». — Ней* Мишель — герцог Эльхингенский (1769—1815) — один из наполеоновских маршалов. По происхождению сын бочара, выдвинувшийся в период революции. Принимал участие почти во всех войнах Наполеона.

...отнявший у меня книжку Аретино с рисунками Джулио Романо! — Аретино Пьетро (1492—1556) — итальянский писатель эпохи Возрождения. *Романо Джулио* (1499—1546) — знаменитый итальянский художник, талантливейший ученик Рафаэля.

Стр. 31. *Мортье, Бесьер, Бертье* — французские маршалы, сподвижники Наполеона.

Стр. 32. *...оставшийся в Москве директор русских архивов Бестужев.* — По всей вероятности, речь идет о чиновнике Вотчинного департамента А. Д. Бестужеве-Рюмине, впоследствии описавшем свое пребывание в Москве, занятой наполеоновскими войсками.

После резни помещиков в Витебской и Минской губерниях, которую устроила наша агитация среди крепостных рабов, пришлось отказаться от этого способа, как якобинского террора. — Фактически Наполеон отказался от освобождения русского крестьянства сразу же по вступлении в Россию. На территории Белоруссии и Литвы наполеоновская армия прямо выступила в качестве охранительницы крепостного угнетения, подавляя крестьянские восстания.

Впоследствии и сам Наполеон утверждал, что мог бы поднять против русского императора «большую часть... населения, провозгласив освобождение рабов... Но когда я увидел грубость этого многочисленного класса русского народа, я отказался от этой меры».

В представлении наиболее передовой части французского общества отказ Наполеона от освобождения крестьян в России был окончательным отказом от завоеваний буржуазной французской революции.

Стр. 34. *Сегюр* Филипп Поль, де, граф (1780—1873) — французский военный деятель и писатель. В 1812 году состоял в свите Наполеона I. В 1824 году опубликовал книгу «История Наполеона и великой армии в течение 1812 года».

Стр. 35. *Макдональд* Жан Этьен Жозеф Александр, герцог Тарентский (1765—1840) — французский генерал, наполеоновский маршал.

Мюрат Иоахим (1771—1815) — французский маршал, участник революционных походов и наполеоновских войн, один из личных друзей Наполеона. Сын хозяина постоялого двора. Во время переворота 18 брюмера (9 ноября 1789 года) руководил разгоном Совета пятисот. Был женат на сестре Наполеона — Каролине. С 1808 по 1815 год — король Неаполя. Расстрелян при попытке вернуть себе власть в октябре 1815 года.

Даву Луи Никола, князь Экмюльский и герцог Ауэрштедский (1770—1823) — маршал Франции, участник многих сражений наполеоновской армии; был ранен в битве при Бородино. Один из наиболее преданных Наполеону генералов.

Стр. 36. *...опальный генерал Коленкур... — Коленкур* Арман Огюстен Луи, де (1773—1827) — французский дипломат и генерал. С 1807 по 1811 год — посол при дворе Александра I, на которого имел известное влияние. В 1813 году и также в период «ста дней» — министр иностранных дел. В 1810 году старался безуспешно наладить отношения между Наполеоном и Александром I.

Стр. 37. *Лористон,* де, маркиз (1768—1828) — наполеоновский генерал. С 1811 года был послом в Петербурге. Взят в плен под Лейпцигом. После реставрации Бурбонов в 1815 году — маршал Франции.

Стр. 38. *...принц Евгений...* — Имеется в виду *Евгений Богарне* (1781—1824) — сын виконта Александра Богарне и Жозефины Богарне, впоследствии жены Наполеона Бонапарта. После восшествия Наполеона на престол в 1804 году, Богарне был возведен в звание государственного канцлера и получил титул принца французской империи. Талантливый полководец, добивавшийся успехов в ряде сражений наполеоновской армии.

Стр. 45. *«Поль и Виргиния»* — знаменитый роман французского писателя Бернардена де Сен-Пьера, вышедший в 1787 году.

...это был портрет Туссена-Лувертюра, вождя восставших негров. — Речь идет о Туссене-Лувертюре — предводителе восстания негров на острове Гаити, начавшегося в 1791 году. Туссену-Лувертюру посвящен известный роман А. Виноградова «Черный консул».

Стр. 48. *Родина Винкельмана, написавшего вот эту восхитительную «Историю искусств».* — См. примеч. к стр. 222.

Стр. 52. *Прегустатор* — слуга, пробующий блюда перед подачей их на стол.

Стр. 53. *Этот самый брат...* — Имеется в виду помещик И. А. Яковлев, отец великого русского писателя и революционера А. И. Герцена, не успевший выехать из Москвы и отправленный Наполеоном с письмом к Александру I. Упоминаемый факт подробно описан Герценом в главе I «Былого и дум».

Вольней Константин Франсуа, де, граф (1757—1820) — известный французский писатель, ориенталист, путешественник, один из представителей французского просвещения. В ряде работ выступил с критикой религии и церкви как оплота реакции. В период буржуазной французской революции был членом Учредительного собрания, но примыкал к умеренным правым. В «Истории Самуила, изобретателя миропомазания королей» (1816) дал сатиру на Людовика XVIII.

Конкордат. — См. примеч. к стр. 147.

Стр. 54. *Франция несла с собой новый гражданский кодекс и право на труд.* — Имеется в виду Кодекс Наполеона. См. примеч. к стр. 193.

Стр. 56. *Что это — речи в епископате?* — Дарю говорит не об определенной ступени церковной иерархии, а имеет в виду революционную организацию, возникшую из представителей народных масс в Париже в мае 1793 года. Заседания ее происходили в бывшем епископском дворце. Главенствующую роль в епископате играли так называемые «бешеные», стоявшие во главе широких масс рабочих, ремесленников, мастеровых и т. д. и сыгравшие большую роль в революции 31 мая — 2 июня 1793 года.

Стр. 59. *...устроили брелан.* — *Брелан* — французская азартная карточная игра, запрещенная Людовиком XIV и возродившаяся вновь при Людовике XV. Помимо общего названия, бреланами в этой игре назывались серии из трех одинаковых карт (три туза, короля и т. д.). В XVI веке во Франции бреланами назывались также игорные дома.

Стр. 60. *Крете* Эммануэль, граф (1747—1809) — министр внутренних дел Франции с 1807 по 1809 год.

Стр. 61. *Фома Кемпийский* — немецкий философ-мистик XV века, автор многих религиозных сочинений на латинском языке.

Стр. 65. *Кенкетка* или кенкет — комнатная лампа, в которой горелка находится не выше, а ниже резервуара с горючим.

Стр. 67. *Квинтал* — мера веса, равная 100 кг (одному центнеру).

Стр. 73. *...в бою под Красным 5 ноября. — Красный* — уездный город Смоленской губернии. В течение 1812 года под Красным дважды разыгрывались известные в истории Отечественной войны сражения русских и французов.

Стр. 81. *Керубин Бейль* — отец писателя, адвокат Судебной палаты города Гренобль.

Стр. 82. *...дать экспликацию сего дела. — Экспликация* — разъяснение различного рода условных обозначений на картах, планах и т. д.

Стр. 88. *Желал бы я повстречать этого французского щелкопера, мюскадена. — Мюскаден* — прозвище французской молодежи периода термидорианской реакции 1794—1795 годов, принимавшей участие в расправе над представителями революционной демократии; название произошло от мускуса, которым душилась «золотая молодежь» того времени.

Крылья огромного аэростата... — Речь идет об аэростате Франца Леппиха, строившемся под Москвой в селе Воронцове. Подготовкой и сборкой воздушного шара Леппиха интересовался Кутузов и за несколько дней до Бородинской битвы запрашивал о нем Ростопчина.

Стр. 93—94. *...от Острой Брамы до Ковенских ворот. — Острая Брама* — городские ворота в стене, которой Вильна была обнесена еще в XVI веке.

Стр. 96. *Дюрок* Жерар Кристоф, герцог Фриульский (1772—1813) — наполеоновский маршал, постоянный спутник Наполеона во всех его походах.

Стр. 98. *...великие характеры и ясные умы выродились со времени «Энциклопедии».* — Имеется в виду знаменитая «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремесел», издававшаяся под редакцией Дидро и Д'Аламбера с 1751 по 1780 год.

Стр. 99. *Первые уроки материализма были преподаны Бейлю во время двух революций...* — то есть в период между революцией 10 августа 1792 года, отрешившей от власти Людовика XVI, и революцией 31 мая — 2 июня 1793 года, вырвавшей власть из рук крупной буржуазии и расчистившей путь для революционно-демократической якобинской диктатуры.

Стр. 100. *Фернейский философ* — французский писатель и мыслитель Франсуа Вольтер (1694—1778). С 1761 до самой смерти Вольтер жил в поместье Ферней близ швейцарской границы, откуда вел оживленную переписку со своими единомышленниками и последователями.

Стр. 108. *Заговор Мале. — Мале* Клод Франсуа (1754—1812) — французский генерал, республиканец, один из руководителей тайного блока роялистов и республиканцев в период Консульства и Империи. Дважды (в 1808 и в 1812 годах) организовывал заговоры с целью низложения Наполеона I. Во время заговора 1812 года Мале выпустил ложные прокламации с сообщением о смерти Наполеона в России, с помощью двух воинских частей арестовал министра полиции Савари, освободил арестованных противников наполеоновского режима. Однако уже на следующее утро заговор Мале был подавлен, а сам Мале предан суду и расстрелян.

Сен-Жюст Антуан Луи (1767—1794) — французский политический деятель, якобинец, один из ближайших сподвижников Робеспьера. Комиссар Конвента в Страсбурге, а затем в Бельгии. После переворота 9 термидора был гильотинирован вместе с Робеспьером, Кутоном и другими.

Кутон Жорж (1755—1794) — адвокат, один из видных деятелей французской буржуазной революции и руководителей якобинской диктатуры. Принимал деятельное участие в подавлении контрреволюционного восстания в Лионе.

...восемнадцать лет тому назад французские крестьяне получили землю... — Речь идет о декретах Комитета общественного спасения периода якобинской диктатуры 1793—1794 годов. Добившись всей полноты власти, якобинцы осуществили широкую продажу крестьянам земель эмигрантов, возвратили крестьянам общинные земли, захваченные у них в течение последних 200 лет, безвозмездно отменили все феодальные повинности.

Стр. 120. *Чичагов* Павел Васильевич, адмирал (1762—1849) — участник Отечественной войны 1812 года. Подал в отставку, будучи обвиненным в неумении предупредить переправу наполеоновских войск через Березину, и уехал за границу.

Стр. 134. *...опера Моцарта на слова Метастаза. — Метастазио* Пьетро Антонио Доменико (1698—1782) — известный итальянский поэт, автор многочисленных оперных либретто.

Стр. 139. *«Тугендбунд»* (буквально «Союз добродетели») — политическое общество, возникшее в Германии в 1808 году с тайной целью борьбы с Наполеоном.

Стр. 143. *Пароход, в виде довольно неуклюжей барки с огромной самоварной машиной и гигантскими колесами, едва только был*

испробован против течения Сены и забракован машинистами... — Речь идет о модели парохода, сконструированной Робертом Фультоном и представленной им французскому правительству в 1803 году.

Стр. 144. *Сабреташ* — гусар, улан (франц.).

Стр. 146. *Фуше* Жозеф, герцог Отрантский (1759—1820) — французский политический и государственный деятель. Беспринципный карьерист, способный на любое предательство, расчетливый мастер политической интриги и полицейского шпионажа.

Стр. 147. *Лойола* Игнатий (1491—1556) — монах, основатель ордена иезуитов; требовал от своих учеников слепого повиновения церкви, во имя «славы божией» разрешал и прощал любое преступление.

Я считаю конкордат большой ошибкой. — *Конкордат* — договор между римским папой и правительством той или иной страны, определяющий права католической церкви в данном государстве. Наполеоновский конкордат с папой Пием VII был заключен в 1801 году. По этому договору католичество было официально объявлено религией большинства французов, папа передал правительству право назначать епископов и архиепископов и признал распродажу церковных имуществ в период революции.

Коадъютор — прелат, находящийся при епископе.

Стр. 148. *Жакмон* Виктор — один из ближайших друзей Стендаля.

Марест, барон — хороший знакомый Стендаля, один из его постоянных корреспондентов.

Стр. 151. *Крозе* Луи — близкий друг Стендаля, на протяжении долгих лет знакомства пользовавшийся неизменным уважением писателя. По профессии инженер. Совместно с Крозе Стендалем написаны «Характеры», а также заметки о Шекспире. В 1816 году Крозе частично редактировал рукопись Стендаля «История живописи в Италии».

Стр. 154. *Танагра* — древнегреческий город, при раскопках которого были обнаружены скульптурные изображения, отличающиеся высоким художественным совершенством.

Стр. 156. *Омбрелька* (от итальянского слова — ombrello) — зонтик.

Стр. 158. *Мант* — друг детства Стендаля.

Горячий республиканец Мант сблизился с заговорщиком генералом Моро и, кажется, виделся с Кадудалем... — *Моро* Жан Виктор (1763—1813) — французский генерал, одержавший ряд побед в период революционных войн. Способствовал возвышению Напо-

леона, но затем разошелся с последним и эмигрировал в Америку. В 1813 году по приглашению Александра I принял участие в борьбе с Наполеоном и был убит в сражении под Дрезденом.

Кадудаль Жорж (1771—1804) — один из предводителей шуанов в 1793—1799 годах. В конце 1803 года приехал из Лондона в Париж для организации заговора на жизнь Наполеона. Казнен в 1804 году после раскрытия заговора.

Стр. 160. *Немецкий министр Штейн был в то же время главой русских гражданских властей...* — *Штейн* Карл (1757—1831) — прусский государственный деятель. По требованию Наполеона в 1808 году был смещен, бежал в Австрию, а затем в 1812 году — в Россию. В 1813 году руководил управлением отвоеванных у Наполеона германских провинций.

Стр. 161. *31 декабря 1813 г. Анри Бейль получил приказ выехать...* — Бейль получил предписание министра иностранных дел о выезде в Гренобль вместе с графом де Сен-Вальером 26 декабря, но в действительности выехал 31 декабря.

Стр. 163. *Кипсек* — дорогое красивое издание, содержащее много иллюстраций или состоящее из одних гравюр.

Стр. 164. *...старая башня — свидетельница подвигов орлеанского батарда и гибели английского командира Суффолька, упавшего в реку во время битвы с Жанной д'Арк.* — Речь идет о знаменитом в истории Столетней войны сражении под Орлеаном (апрель — май 1429), в котором под руководством героини французского народа Жанны д'Арк (ок. 1412—1431) были разбиты английские войска, ведшие длительную осаду Орлеана. Под орлеанским батардом подразумевается граф Дюнуа-и-Лонгвиль (1402—1468) — побочный сын герцога Орлеанского (второго сына короля Карла V), стоявший во главе защитников Орлеана до прибытия Жанны д'Арк.

Батард — внебрачный ребенок.

Стр. 168. *Легитимная власть.* — Легитимизм — признание верховной власти в государстве наследственной. Выражение «легитимная власть» употребляется здесь для обозначения восстанавливающейся на троне старой династии.

Стр. 171. *...записал одно только слово: Гермиона.* — *Гермиона* — дочь легендарного царя Менелая и Елены Прекрасной. Согласно обещанию, данному отцом под Троей, была обручена с сыном Ахиллеса — Неоптолемом. Образ Гермионы часто использовался в античной литературе (Еврипид, Пиндар, Вергилий, Овидий и др.).

Стр. 177. *Он просит вас... просмотреть все бумаги Поздеева относительно крестьянских волнений...* — *Поздеев* Осип Алексеевич (1742—1820) — один из руководителей московских масонов, по социально-политическим взглядам — крайний реакционер-крепостник.

Стр. 178. *Трубецкой показывал мне письма Кутузова.* — Речь идет о письмах известного масона А. М. Кутузова, с 1787 по 1790 год жившего за границей.

Катенин Павел Александрович (1792—1853) — русский поэт и драматург. Славился переводами трагедий Корнеля, Расина и других французских писателей.

Стр. 180. *Женироваться* — стесняться чего-либо.

Местр Жозеф Мари, граф, де (1753—1821) — реакционный французский писатель-мистик, поборник клерикализма.

Стр. 188. *«С однофамильцем Ираклия — иезуитом Полиньяком.* — *Полиньяк* Жюль, князь (1780—1847) — французский политический и государственный деятель, назначенный Карлом X в 1829 году сначала министром иностранных дел, а затем первым министром. В июле 1830 года Полиньяк подписал так называемые «ордонансы», согласно которым упразднялась свобода печати, распускалась палата, избирательный закон существенно видоизменялся в пользу крупных землевладельцев. Ордонансы явились прямым поводом к началу Июльской революции 1830 года.

Стр. 191. *«Бревиариум Гримани»* — молитвенник Гримани.

Стр. 192. *Фортецца* — крепость (итал.).

Стр. 193. *Нынешняя Франция вопреки Бурбонам удержала Кодекс Наполеона.* — *Кодекс Наполеона* — свод законов, выработанный по приказу Наполеона специальной комиссией в годы Консульства (1799—1804). В начале XIX века Кодекс Наполеона явился наиболее полным и последовательным воплощением основ буржуазного права, а в дальнейшем оказал влияние на развитие законодательства всех европейских государств. Во Франции и в ряде других стран Кодекс Наполеона действует по настоящее время.

Стр. 194. *Брера* — название одного из миланских дворцов XV века, в котором помещается публичная библиотека, музей и картинная галерея с ценнейшими полотнами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Луини и ряда других итальянских художников преимущественно ломбардской и венецианской школы.

Траттория — трактир, ресторан (итал.).

Стр. 195. *...итальянского вице-короля Евгения Савойского.* — Видимо, имеется в виду не Евгений Савойский, австрийский полководец конца XVII и начала XVIII веков, а принц Евгений Богарне, уже упоминавшийся до этого в тексте, вице-король Италии с 1805 по 1814 год.

Монти Винченцо (1754—1828) — итальянский поэт.

Фосколо Никколо Уго (1778—1827) — крупный итальянский поэт первой трети XIX века; участник движения карбонариев. Ши-

рокой известностью пользовалось его произведение — «Последние письма Якопо Ортиса».

Пеллико Сильвио (1789—1854) — итальянский поэт. Участвовал в движении карбонариев. Наиболее известное произведение Пеллико, написанное им в заключении, — «Мои темницы» (1832).

Стр. 196. *...после того как Цизальпинская республика Бонапарта погибла и Милан из ее столицы превратился в город, угнетаемый австрийскими властями.* — *Цизальпинская республика* была образована Бонапартом в 1797 году и включала в себя ряд провинций Северной Италии. Республика находилась под покровительством Франции, ее территорию занимали французские войска. В 1799 году во время знаменитого итальянского похода Суворова Цизальпинская республика была упразднена, но в 1800 году вновь восстановлена Наполеоном с присоединением части Пьемонта. В 1802 году она получила название Итальянской республики, а в 1805 году была превращена в Итальянское королевство.

Цизальпинский — находящийся по ту сторону; в данном случае: к югу от Альп.

Стр. 198. *...убегал от знаменитого итальянского бандита Фра-Дьяволо.* — Имеется в виду известный итальянский главарь разбойничьих шаек (настоящее имя — Михаил Пецца), в 1806 году поднявший против французов всю Калабрию. В том же году был пойман французскими военными властями и повешен.

Стр. 200. *Священный союз* — реакционный союз между русским царем Александром I, австрийским императором и прусским королем, заключенный в 1815 году с целью подавления революционного движения в Европе.

Стр. 203. *Карбонарский венерабль или «мастер местной венты»* — председатель, руководитель местной карбонарской организации.

Стр. 204. *Симмонета* — вилла в окрестностях Милана.

Стр. 205. *Со времен Алариха.* — *Аларих I* (376—410) — король вестготов с 395 года. В 400 году вторгся в Италию. В 410 году овладел Римом и разграбил его.

Стр. 206. *Подобно Аппию Клавдию и Фламинию, он избороздил Италию шоссейными дорогами, которых страна не знала со времен древнего Ганнибала.* — Имеется в виду устройство в 305 году до н. э. цензором Аппием Клавдием, в целях закрепления вновь завоеванных провинций, дороги из Рима в Капую («Аппиева дорога»), сыгравшей впоследствии значительную роль в развитии торговых сношений и сохранившейся до наших дней, а также постройка по предложению трибуна Кая Фламиния стратегически важной до-

роги из Рима к реке По в период подготовки второй Пунической войны (218—201 до н. э.).

Стр. 207. *«Правительственный поэт» Соути...* — Речь идет об английском поэте Роберте Соути (1774—1843), представителе так называемой «озерной школы». Соути, выступивший в молодости с позиций революционера, постепенно превратился в умеренного буржуазного либерала-моралиста.

Стр. 221. *Яникул* и *Палатинский холм* — два из семи холмов, на которых расположен Рим.

Пиранези Джованни Баттиста (1720—1778) — замечательный итальянский рисовальщик и гравер.

Карчери — тюрьма, карцер (итал.).

Стр. 222. *...если вам нужна чистая античность, тогда возьмите немца Винкельмана...* — Речь идет об Иоганне Иоахиме Винкельмане (1717—1768), авторе знаменитого исследования «История античного искусства» (1764).

Стр. 225. *Массена Андре, герцог Риволийский* (1758—1817) — французский маршал, участник ряда республиканских войн и походов наполеоновской армии.

Стр. 229. *Бейль называл Шлегелей...* — Речь идет о братьях Августе Вильгельме Шлегеле (1767—1845) и Фридрихе Шлегеле (1772—1829), немецких писателях, представителях немецкой романтической школы.

Стр. 232. *...присоединив к отобранным платкам еще один, с крестом и понтификальными значками в виде ключей по углам.* — *Понтификальные значки* — символ папской власти. Понтифекс — название члена верховной касты жрецов в древнем Риме. Римские папы сохранили за собой титул Верховного Понтифекса.

Стр. 235. *Сиеста* — время полуденного отдыха в Испании и Италии.

Стр. 236. *Остерия* — трактир, харчевня.

Стр. 245. *...о которых писал Альфиери.* — *Альфиери* Витторио, граф (1749—1803) — известный итальянский поэт и драматург.

Стр. 247. *Офицер Рафаэль Риего.* — Речь идет об известном испанском революционере, вожде испанской революции 1820—1823 годов, Рафаэле Риего-и-Нуньесе (1785—1823), поднявшем в 1820 году вместе с полковником Квирогой восстание против абсолютизма. В 1823 году Риего был избран председателем кортесов. В том же году он был ранен в боях против французских войск, призванных королем Фердинандом VII, выдан королевским властям и 7 ноября 1823 года повешен.

Стр. 272. *...в казарму бурбонских кавалеристов.* — После 1815 года на трон королевства обеих Сицилий вновь вернулась так

называемая неаполитанская линия Бурбонов в лице Фердинанда I. Не следует путать с испанскими Бурбонами и царствовавшим в это же время в Испании Фердинандом VII.

Стр. 275. *...замечательный француз Поль Луи Курье. — Курье* Поль Луи (1772—1825) — французский писатель-публицист. Остроумные политические памфлеты Курье, впоследствии высоко ценившиеся Энгельсом, едко высмеивали Бурбонов и буржуазно-аристократические порядки посленаполеоновской Франции. В 1825 году неугодный правящим кругам публицист был убит в лесу вблизи своего загородного дома.

Стр. 283. *Россетти* Габриэле (1783—1854) — итальянский поэт, карбонарий, автор известных комментариев к «Божественной комедии» Данте.

...строгая и великолепная архитектура Палладия. — Палладио Андреа (1508—1580) — известный итальянский архитектор и теоретик архитектуры конца Возрождения.

Стр. 284. *Офтальмия* — заболевание глаз воспалительного характера.

Парлатории монастыря — гостиные в монастыре.

Стр. 288. *...после убийства герцога Беррийского...* — Герцог Беррийский был сыном графа д'Артуа, впоследствии короля Карла X, и племянником Людовика XVIII, в связи с бездетностью которого он должен был наследовать французский престол. Родившийся вскоре после убийства герцога Беррийского его сын Генрих получил титул графа Шамбора.

Стр. 297. *Базар* Сент-Аман (1791—1892) — французский утопический социалист, последователь Сен-Симона. Руководил организацией французских карбонариев.

Стр. 304. *Послали старика Мармона. — Мармон* Огюст, герцог Рагузский (1774—1852) — французский маршал, один из сподвижников Наполеона I. После 1814 года перешел на сторону Бурбонов.

Граф д'Артуа (1757—1836) — младший брат Людовика XVI и Людовика XVIII. В период французской революции — глава контрреволюционной дворянской оппозиции. После Реставрации вокруг графа д'Артуа группировались крайние роялистские элементы (в романе — «марсанский павильон»). Граф д'Артуа наследовал Людовику XVIII в 1824 году под именем Карла X. Реакционная политика Карла X, как известно, привела к Июльской революции 1830 года, во время которой он лишился престола и эмигрировал в Англию.

Марсанский павильон — название части Тюильрийского дворца.

Стр. 305. *...мечтает о восстановлении майоратов... — Майорат* — способ наследования, при котором имущество переходит нераздельно к одному лицу в порядке старшинства. Майораты преследо-

вали цель сохранения земельных богатств в руках крупных аристократов.

Стр. 308. *Виллель* Жозеф, граф (1773—1854) — известный французский политический деятель периода Реставрации. Крайний монархист.

Аббат Грегуар (1750—1831) — известный французский политический деятель. Во время французской революции 1789 года выступил за низвержение короля и подчинение церкви государству. В данном случае автор допускает неточность: Грегуар был избран в Палату в 1819 году и потому ссылка на то, что «Бейль... пять лет назад... повел бешеную агитацию и буквально протащил в Палату аббата Грегуара» явно ошибочна, так как, судя по всему, разговор относится к 1821 году.

Стр. 313. *флорентийское издание Пиранези...* — См. примеч. к стр. 221.

Стр. 314. *«пироскаф»* — пароход (греч.).

Стр. 315. *Habeas corpus act...* — начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 году.

Стр. 316. *Прибытие кораблей лорда Эльджина с украденным в Греции мрамором.* — Речь идет о нашумевшем в те годы скандальном событии: вывозе английским дипломатом, археологом-любителем Томасом Эльджином, приобретенной им довольно неблаговидно и за бесценок замечательной коллекции греческих мраморов.

Стр. 320. *Что книга страдает эготизмом, что форма ее неудобна, так как всюду выступает автор со своим «я».* — Имеется в виду трактат «О любви», вышедший в 1822 году.

Эготизм — преувеличенное представление о значении собственной личности.

Стр. 321. *Лафайет* Мари Жозеф, маркиз (1757—1834) — известный политический деятель. Участвовал в войне за независимость в Северной Америке. Во время буржуазной французской революции выступил на стороне третьего сословия и командовал Национальной гвардией. В 1792 году предательски изменил революции и перешел к интервентам. В период Июльской революции 1830 года сыграл видную роль, содействуя установлению буржуазной монархии Орлеанов.

Стр. 323. *...в беспрестанном наблюдении за мельканием кеевского челнока.* — Ткацкий челнок-самолет, приводимый в движение при помощи системы шнуров. Изобретен англичанином Джоном Кеем в 1738 году.

Стр. 329. *Нодье* Шарль (1780—1844) — французский писатель. На квартире Нодье с 1824 года собиралось первое литературное объединение французских романтиков («Сенакль»).

Вите, Ремюза, Ампер — французские журналисты, в те годы сотрудники упоминаемого в романе журнала «Глоба».

Стр. 331. *Арпан* — главнейшая древнефранцузская поземельная мера, равная 42,208 ара. Со времени введения метрической системы заменен гектаром.

Стр. 343. *«Катехизис промышленников»* — сочинение Сен-Симона (1823—1824).

«Новое христианство» — сочинение Сен-Симона (1825).

Стр. 348. *Гарденберг* Карл Август, князь (1750—1822) — прусский государственный деятель, канцлер с 1810 по 1822 год. Один из наиболее ревностных проводников реакционной политики Священного союза.

Стр. 356. *Констан* Бенжамен (1767—1830) — известный французский писатель и политический деятель буржуазно-либерального направления.

Страдиоты — конница, набиравшаяся в средние века венецианцами в Албании и Греции. В данном случае речь идет об участниках борьбы за освобождение Греции.

Стр. 365. *Бразеро* — жаровня *(исп.)*.

Стр. 369. *Диксионер* — словарь *(франц.)*.

Стр. 386. *Доганьер* — таможенный служащий (итал.).

Стр. 387. *Веттурино* — извозчик *(итал.)*.

...огромные фиаски красного и белого вина. — Фиаска — бидон или большая оплетенная бутыль (итал.).

Стр. 388. *Леопарди* Джакомо, граф (1798—1837) — замечательный итальянский поэт, под влиянием движения карбонариев порвавший с аристократической средой. Лучшие произведения Леопарди посвящены патриотической борьбе за освобождение Италии (ода «К Италии» и многие другие).

Стр. 390. *Уполномоченный французского правительства господин Ламартин...* — Речь идет об известном французском писателе и политическом деятеле Альфонсе де Ламартине (1791—1869). Как писатель Ламартин известен главным образом несколькими ранними поэтическими сборниками, в которых выступил с позиций реакционного романтика. В качестве министра иностранных дел и фактического главы Временного правительства после отречения Луи Филиппа Ламартин подготовил подавление Июньской революции 1848 года.

Стр. 392. *Калле* — узкая улица (в Венеции), тропа.

Стр. 398. *Академик Трасси* — французский философ; сочинения Трасси были популярны в начале прошлого века.

Стр. 402. *...все зависит от состава конклава.* — *Конклав* — собрание кардиналов в Ватиканском дворце, избирающее нового папу.

...отправился к художнику барону Жерару. — *Жерар* Франсуа, барон (1770—1837) — известный французский живописец, ученик Л. Давида. Один из видных представителей классицизма.

Там были Кювье с падчерицей Софией Дювоссель... — *Кювье* Жорж (1769—1832) — знаменитый французский естествоиспытатель.

Стр. 404. *«Насколько хороши испанские сайнеты, настолько плоха ваша «Гузла».* — Бейль имеет в виду сборник пьес П. Мериме «Театр Клары Гасуль».

Сайнеты — популярные комические пьесы в Испании.

Стр. 410. *...правоверный католик Ламенне.* — *Ламенне* Фелисите Робер, де, аббат (1782—1854) — французский публицист и политический деятель первой половины XIX века. Один из наиболее видных проповедников теории христианского социализма.

Что могут сделать иезуиты, у которых всего семь коллегий во Франции? — Имеются в виду средние и высшие учебные заведения иезуитов — коллегиумы.

Стр. 411. *Сент-Бев* Шарль Огюст (1804—1869) — французский критик. Наиболее значительные работы: «Историческое и критическое обозрение французской поэзии и французского театра в XVI веке» (1828), «Портреты» (1844—1852) и др. Сент-Бев известен также и как поэт.

Стр. 413. *Гизо* Франсуа (1787—1874) — французский буржуазный историк. Наряду с Тьерри и Минье дал первые попытки объяснения истории с точки зрения борьбы классов.

Стр. 416. *...всю Францию превратил в дом Чиро Менотти.* — Речь идет о заговоре итальянского революционера, карбонария Чиро Менотти, имевшем место в 1831 году в Модене. Заговор был организован с целью начать движение за демократическое объединение Италии. Когда заговор был раскрыт, сорок заговорщиков, собравшись на квартире Менотти, оказали решительное сопротивление войскам, — дом был взят лишь после вызова артиллерии.

Стр. 419. *Георгики* — ранняя поэма римского поэта Вергилия (70—19 до н. э.).

Стр. 421. *Шатобриан* Франсуа Рене, де (1768—1848) — известный французский писатель и политический деятель, игравший видную роль в эпоху Реставрации.

Стр. 427. *...Бейль взял томик Гражданского кодекса* — то есть Кодекса Наполеона.

Стр. 428. *Гельдерлин* Иоганн Христиан Фридрих (1770—1843) — известный немецкий поэт.

Стр. 435. *Тогда где же «Декларация прав»?* — Имеется в виду «Декларация прав человека и гражданина» — политический манифест революционной французской буржуазии, принятой Учредительным собранием 26 августа 1789 года, явившийся документом, провозгласившим основы нового буржуазного общества.

Стр. 442. *Лаффит* Жак (1767—1844) — французский политический деятель, глава одного из крупнейших в Европе банкирских домов «Перрего, Лаффит и К°». Сыграл видную роль в Июльской революции 1830 года, способствовал возведению на престол Луи Филиппа, сказав при этом знаменитую фразу: «Отныне господствовать будут банкиры».

Стр. 443. *...фавориты и дамбланши...* — виды экипажей.

Стр. 444. *Кузен* Виктор (1792—1867) — французский философ. Система Кузена носила эклектический характер.

Стр. 449. *«Политехническая школа, сударыня, это место, где я учился...»* — Стендаль не учился в Политехнической школе, как об этом говорится в романе. Вместо Политехнической школы, прибыв в Париж в 1799 году, Стендаль, увлеченный друзьями, попал в военное министерство, а вслед за этим в действующую армию Наполеона.

...какой-то Годфруа Кавеньяк. — *Кавеньяк* Годфруа (1801—1845) — французский политический деятель, республиканец. Принимал деятельное участие в революции 1830 года.

Стр. 455. *Прочтя письмо, Николай Тургенев покачал головой...* — Во всех изданиях до 1945 года после слов: «за что в Англии казнят, в остальной Европе делается правительствами», следовали строки: «К сожалению, и английское не делает в сем случае исключения; по крайней мере еще в недавнее время оно распечатывало письма в силу разрешения, данного тайным советом (privy council) во время войны Наполеона. Это разрешение было для публики тайною; но по случаю одной из тех вспышек, кои бывали так часто в Италии против австрийского правительства, *корреспонденция жившего в Англии Маццини была перехвачена на почте и сообщена австрийскому правительству.* Некоторые члены парламента узнали об этом и обратились к министерству с вопросом. Министр внутренних дел sir James Graham откровенно объявил, что письма действительно были перехвачены на почте, но что министры сделали это в силу упомянутого разрешения». Эти строки не вошли в последнее прижизненное издание 1945 года.

Стр. 462. *...и тут нашел Мериме, которого называют вторым Вольтером, а я Клингером...* — *Клингер* Фридрих Максимилиан (1752—1831) — немецкий писатель периода «Бури и натиска».

Стр. 463. *«Тьерс».* — См. примеч. к стр. 578.

Минье Франсуа Огюст Мари (1796—1884) — французский буржуазный историк, автор двухтомной «Истории Французской революции».

Стр. 470. *...иезуитская конгрегация. — Конгрегации* — религиозные организации, создаваемые церковью с XVI века и являющиеся мощным орудием в ее руках. Также — объединения католических монастырей.

Стр. 475. *...карикатурные листки «Шаривари». — «Шаривари»* — знаменитый французский сатирический журнал, издававшийся в Париже Филиппоном с 1832 года.

Готье Теофиль (1811—1872) — французский писатель-романтик.

Гамен — уличный мальчишка.

Стр. 487. *...Луи Филипп — лучшая из республик. — Луи Филипп* (1773—1850) — французский король с 1830 по 1848 год. Реакционная политика Луи Филиппа выражала прямые интересы французской финансовой аристократии. Во время Февральской революции 1848 года бежал в Англию.

Стр. 490. *Ордонанс* — во Франции королевский указ.

Стр. 492. *Моле* Луи Матье, граф (1781—1855) — французский политический деятель. В 1813 году — министр юстиции. С 1830 года — министр иностранных дел, а в 1836—1839 — глава Кабинета министров.

Аргу Антуан Морис Аполлинарий, граф (1782—1858) — французский политический деятель. В 30-е годы стоял во главе ряда министерств.

Перье Казимир (1777—1832) — крупный французский банкир, реакционный политический деятель. В 1830 году был избран Председателем Палаты депутатов. В качестве министра внутренних дел организовал жестокое подавление Лионского рабочего восстания 1831 года.

Стр. 498. *Телемах* — один из героев древнегреческого эпоса, сын Одиссея и Пенелопы.

Стр. 501. *...все дороги ведут в Рим — ну, а бриганты, милостивый государь... — Бриганты* — воинственное кельтское племя, жившее в Северной Британии. В течение долгих лет оказывало упорное сопротивление римским завоевателям. В средневековой Италии бригантами назывались разбойники.

Стр. 507. *...достал книгу 1828 года «Заговор равных Буонаротти» — история первого французского коммуниста Гракха Бабефа. — Буонаротти* Филипп (1761—1837) — один из первых французских революционеров-коммунистов. По происхождению — итальянец. В 1828 году в Брюсселе издал знаменитую книгу «Заговор

во имя равенства, именуемый заговором Бабефа» (2 тт.), воспитавшую целое поколение революционеров во Франции и Италии.

Стр. 530. *Французский консул Анри Бейль, ставший снова военным комиссаром...* — Речь идет о занятии французским экспедиционным отрядом Анконы и части Адриатического побережья, предпринятом французским правительством в феврале 1832 года после вступления в 1831 году австрийских войск в Папскую область.

Стр. 538—539. *...основал главные черты на тексте Плиния...* — Речь идет о Плинии Старшем (23—79) — древнеримском писателе и ученом, оставившем знаменитый труд «Естественная история в 37 книгах».

Стр. 542. *Плиний пишет, что он видел здесь Траяна...* — Речь идет о Плинии Младшем (ок. 62 — ок. 114) — древнеримском писателе, государственном деятеле, ораторе (сохранился его «Панегирик Траяну»).

Траян (53—117) — римский император (98—117), значительно расширивший границы Римской империи.

Стр. 545. *...якобинец Жорж Гро, обучавший его математике* — гренобльский математик, пользовался глубоким уважением Бейля. Не следует путать с Антуаном Жаном Гро (1771—1835) — видным французским живописцем, учеником Давида.

Контрафакция — издание чужого сочинения без ведома и согласия автора.

Стр. 546. *...несколько подражаю Пиндару. — Пиндар* — (ок. 522 — ок. 442 до н. э.) — древнегреческий поэт, автор торжественных победных од.

Стр. 554. *Сулла* Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — знаменитый римский полководец и диктатор, не проигравший ни одного сражения.

Стр. 557. *Первый коммунист Франции, казненный в 1797 году...* — Имеется в виду Гракх Бабеф (настоящее имя — Франсуа Ноэль Бабеф) (1760—1797), французский революционер, вождь утопически-коммунистического движения «равных» в период буржуазной термидореанской реакции, раскрытия «заговора равных». Бабеф был гильотинирован 27 мая 1797 года.

Стр. 562. *...прибегает к содействию Кузена и Вильменя...* — *Вильмен* Абель Франсуа (1790—1870) — известный писатель, политический деятель, профессор Сорбонны.

Стр. 565. *...дофинский монтаньяр Гебер... — Гебер,* вернее *Эбер* Жак Рене (1757—1794) — известный политический деятель буржуазной французской революции, по профессии — журналист. С 1790 года издавал газету «Отец Дюшен», которая пользовалась большим влиянием среди широких масс ремесленников и рабочих. Принадлежал

к левому крылу французской буржуазной революционной демократии. Один из наиболее влиятельных руководителей Парижской Коммуны. После революции 31 мая — 2 июня выступил против умеренной политики Конвента и дантонистов. В сентябре 1793 года был в числе руководителей народного движения, заставившего Конвент провозгласить террор, принять так называемый второй максимум и включить левых монтаньяров в состав Комитета общественного спасения. Зимой 1793—1794 года, ввиду нового ухудшения продовольственного положения, разошелся с Комитетом общественного спасения, выступил против Робеспьера и его сторонников и 24 марта 1794 года был казнен.

Монтаньяры — буржуазная революционно-демократическая группа депутатов Конвента. После изгнания жирондистов из Якобинского клуба осенью 1792 года понятия «монтаньяр» и «якобинец» стали синонимами.

Стр. 567. *Криптографическое письмо* — тайнопись, способ письма, понятный только для посвященных. Применяется обычно для зашифровки текстов.

Стр. 572. *...назначили свидание в Лаоне. — Лаон* — прежнее название Ланна, небольшого городка на северо-востоке Франции.

Стр. 578. *Тьер* (Thiers) Адольф (1797—1877) — реакционный политический деятель, палач Парижской Коммуны 1871 года.

Тьер вышел в отставку, заявив... что от социализма может спасти только катехизис. — Катехизис — книга, содержащая изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов. Более узкое значение — наставление обращающихся к церкви, предшествующее самому акту крещения.

Стр. 588. *Господину маршалу Сульт... — Сульт* Николай Жан де Дье, герцог Далматский (1769—1851) — французский маршал и государственный деятель. В течение 30-х и 40-х годов неоднократно занимал посты министров и премьер-министра.

Стр. 592. *Римская курия* — двор папы, его управление с высшей судебной коллегией.

Стр. 594. *...о социальной войне и заговоре Катилины. — Катилина* Луций Сергий (108—62 до н. э.) — политический деятель в Древнем Риме. Заговор Катилины, имевший место в 63 году до н. э., был направлен против сенаторской верхушки. Благодаря демагогическим обещаниям Катилине удалось привлечь на свою сторону часть плебса. Хотя сам Катилина преследовал только личные цели, заговор весьма характерен для периода упадка рабовладельческой демократии.

Это точка зрения Барнава. — Барнав Антуан (1761—1793) — известный политический деятель буржуазной французской револю-

ции. Будучи видным членом Якобинского клуба, перешел на сторону короля. Казнен в 1793 году во время якобинского террора за контрреволюционную деятельность. Как социолог, Барнав одним из первых приблизился к материалистическому толкованию истории, утверждая ту мысль, что общественные отношения определяются географической средой и развитием производства. Основная работа: «Введение во Французскую революцию».

Стр. 595. *Тут были и «Развращенный крестьянин» Ретиф де ла Бретонна... — Ретиф де ла Бретонн* (1734—1806) — известный французский писатель второй половины XVIII века, в лучших романах которого даны яркие натуралистические зарисовки быта дореволюционной Франции.

Стр. 598. *...Бейль встретил Энгра — нового директора Французской академии в Риме... — Энгр* Жан Огюст Доминик (1780—1867) — знаменитый французский художник, ученик Л. Давида. Один из наиболее ярких представителей классицизма в XIX веке.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Анатолий Корнелиевич Виноградов
ТРИ ЦВЕТА ВРЕМЕНИ
Роман

Редактор *С. Коляджин*
Художник *Л. Калитовская*
Худож. редактор *Ю. Боярский*
Технический редактор *В. Гриненко*
Корректор *М. Доценко*

Сдано в набор 6/IV 1956 г. Подписано в печать 5/VI 1956 г. А-06787. Бумага 84×108¹/₃₂. 20 печ. л.=32,80 усл. печ. л. 33,43 уч.-изд. л. + 8 вкл. = 33,75. Тираж 150.000.
Цена 11 р. 90 к. Зак. № 1000

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической промышленности, 2-я типография „Печатный Двор" им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.